

РЮРИКОВИЧИ



**ВСЕВОЛОД
БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
1154-1212**



**Москва
АРМАДА
1996**

РЮРИКОВИЧИ



ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО



**А. Филимонов
ПО ВОЛЕ ТВОЕЙ
РОМАН**



**Москва
АРМАДА
1996**

Составитель серии
Е. В. Леонова

Оформление серии
В. И. Харламова

ISBN 5-7632-0216-3

© Сост., художественное оформление, комментарии, АРМАДА, 1996

© Филимонов А. В., 1996



Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. VII. СПб., 1892



ВСЕВОЛОД-ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, по прозвищу Большое Гнездо (т.е. от многочисленного семейства), сын Юрия Долгорукого, родился в 1154 г.

В 1162 г., изгнанный из Суздальской земли вместе со старшими братьями Андреем Боголюбским, он с матерью (мачехой Андрея) уехал в Константинополь. В 1169 г. мы видим его в громадной рати Андрея, взявшей приступом Киев 8 марта. Всеволод остался при дяде Глебе, которого Андрей посадил в Киев. Глеб вскоре умер (1171), и Киев занял Владимир Дорогобужский. Но Андрей отдал

его Роману Ростиславичу Смоленскому, а потом брату своему Михалку Торческому; последний сам не пошел в разоренный город, а послал туда брата Всеволода. Оскорбленные Ростиславичи ночью вошли в Киев и захватили Всеволода (1173).

Вскоре Михалко выменял брата на Владимира Ярославича Галицкого (1174) и вместе с ним ходил, при войсках Андрея, на Киев для изгнания из него Рюрика Ростиславича.

В 1174 г. Андрей был убит, и Суздальская земля избрала в преемники ему старших племянников его — Ярополка и Мстислава Ростиславичей, которые пригласили с собой и дядей своих — Михалка и Всеволода. Вскоре начались междоусобия. В 1175 г. Михалко умер, и владимирцы призвали к себе Всеволода, а ростовцы — Мстислава, и опять началось междоусобие.

Верх взял Всеволод. По рязанским делам Всеволод пришел в столкновение со Святославом Всеволодовичем Черниговским, некогда радушно приютившим его. Святослав вторгся в Суздальскую область, но должен был удалиться в Новгород.

В 1182 г. князья помирились, и Всеволод обратился на богатую, торговую Болгарию. Потеря любимого племянника, Изяслава Глебовича, остановила удачно начавшийся поход и парализовала энергию Всеволода; заключив с болгарами мир, он возвратился во Владимир (1183).

Через три года он опять посылал на болгар войско, и воеводы его возвратились с добычей и пленниками. Половцы охотно служили Всеволоду за деньги, но в то же время часто беспокоили своими набегами южные владения его, особенно рязанские уклады. В 1198 г. Всеволод проник в глубину их степей и заставил их от р. Дона бежать к Черному морю.

В 1206 г. сына его, Ярослава, Всеволод Чермный, князь Черниговский, выгнал из южного Переяславля. Великий князь выступил в поход; в Москве к нему присоединился старший сын его Константин с новгородцами, а потом муромские и рязанские князья. Все думали, что пойдут на юг, но обманулись. Всеволоду донесли, что рязанские князья изменяют, дружат с черниговскими. Великий князь, позвав их на пир, приказал схватить их и в цепях отправить во Владимир; Пронск и Рязань были взяты; последняя выдала ему остальных своих князей с их семействами.

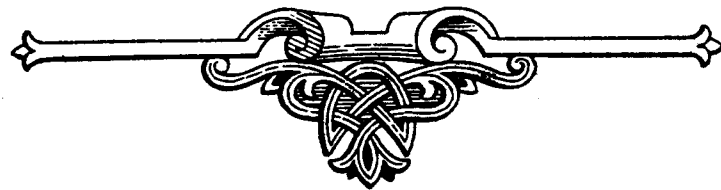
Всеволод поставил здесь сначала своих наместников и тиунов, а потом сына Ярослава. Но против последнего рязанцы возмутились, и Всеволод опять подошел к Рязани с войском. Приказав жителям выйти из города, он сжег Рязань, а рязанцев расселил по Суздальской земле; той же участи подвергся Белгород (1208). Два рязанских князя, Изяслав Владимирович и Михаил Всеволодович, избегшие плена, мстили Всеволоду опустошением окрестностей Москвы, но сын Всеволода, Юрий, разбил их наголову; те укрепились на берегах р. Пры (или Тепры), но Всеволод вытеснил их и отсюда; затем при посредстве митрополита Матфея, нарочно приезжавшего во Владимир, Всеволод помирился с Ольговичами черниговскими и скрепил этот мир брачным союзом сына своего Юрия с дочерью Всеволода Чермного (1210).

Всеволод скончался в 1212 г. Детей он имел только от первого брака с Марией, княжной чешской, которую некоторые известия называют ясьней (из г. Ясс), именно: четырех дочерей и восьмерых сыновей: Константина, Бориса (ум. 1188), Юрия, Ярослава, Глеба, Владимира, Ивана и Святослава.

Полное собрание российских летописей



РОМАН



ГЛАВА 1

полудню ростовская дружина дошла до Юрьевского поля, и тут решено было остановиться. «Стой, сто-ой!» — закричали со стороны Мстиславова отряда, где княжеские стяги уже стояли неподвижно под жарким июньским солнцем. Сам боярин Добрыня Долгий на скалившемся жеребце с плеткой в руке объезжал усталое войско и смотрел волком: кого тут осадить, чтоб шибко в бой не рвался?

А никого не пришлось осаживать. Вся дружина пешая тут и повалилась, где застал ее приказ, кое-кто тут же снял ноговицы и теперь студил в зеленой траве взопревшие босые ноги. Шутка ли, третий день в походе, два раза только и останавливались, жевали на ходу. Мстислав Ростиславич, тот, говорят, даже и не спал. Видели его вчера, когда проехал к передовому полку в окружении разодетых как павлины надменных отроков своих. Глаза князя горят, а сам бледный, за меч держится, вроде боится чего-то.

Известно, кого боится князь Мстислав — дяди своего, молодого Всеволода Юрьевича, который неделю назад сел на княжеский стол во Владимире после смерти брата своего — великого князя Михаила. По кончине Михаила нынче девять дней исполнилось. А Мстиславу-князю сидеть бы в Новгороде, пока сидится, а ко Всеволоду послать с поклоном: будь нам отцом, великий княже, а мы под твоей рукой станем жить и во всем твоей воле повиноваться. Так ведь нет! Давно уж Мстиславу нашептывали — и нашептали: выиграла гордыня, кинулся князь Мстислав в Ростов

дружину собирать да бояр ростовских слушать. А те и рады. Не любо им владимирское великое княжение. Раззادори князя Мстислава: хоть Всеволод тебе и дядя, а ты — старше и стол княжеский добудь. А мы поможем. Управимся с чернью владимирскую, тебя на трон посадим, и вся земля будет наша!

Будто бы Всеволод предлагал племяннику мир. И Мстислав, видя такое миролюбие, будто бы пошел на непятный, да уж тут ростовцы ему не дали мир заключить. В три дня собрали войско и выступили в поход на ненавистный Владимир. И князь Мстислав — хочешь не хочешь, а во главе. Заторопил поначалу: скорей, скорей. Обозы под Переяславлем отстали — а, ничего, догонят, к Владимиру налегке выйдем! А до него пути еще два дня добрых, кто с собой хлеба в суму захватил — тому хорошо. А кто последнюю горбушку сжевал — тот не печалься и не тужи: во Владимире всего вдоволь возьмем! Богатый город Владимир.

Теперь вот встали на полпути. То ли подмоги ждать, то ли обозов отставших.

Пешая сотня Ондreja расположилась в небольшой березовой рощице на краю поля. От князя никаких приказов, кроме как сидеть да ждать, не последовало, и сотник пребывал в раздумье: приструнить ли своих, чтобы были наготове к бою, либо дать им отдых. Подумав, решил махнуть рукой — будь что будет, а в случае чего собраться успеют. Сотня и сама склонялась к такому решению. Уж и костерки разложили, и говор потек мирный, неторопливый, и пошли нанизываться на прутья молодые подберезовики, которых много в этой рощице вылезло после дождя. Ярыга постоял-постоял да пошел искать кума, тоже сотника, — не удастся ли узнать чего нового. За себя оставил пока Любима Кривого, дальнего своего родственника.

Любим принял это как должное. Немного только огорчился — еще утром он доел последний хлеб с последней луковицей и сейчас разохотился было грибов на углях испечь: и прут срезал, и ошкурил его. А когда старшим над всеми остался — вроде неловко с грибами возиться. Теперь ходи с озабоченным видом, похлопывай этим прутиком по обуви, а близ костров, вокруг которых сидят да жуют твои подчиненные (эх, подольше бы Ондрей не возвращался), похаживай медленно — вдруг угостят. Да ведь не угостят.

Ну и не надо. Вот вернется Ондрей (скорей бы возвращался), попросит у него хлебушка. Сам затянул к себе в сотню — неужели хлеба не даст? А может, и сальца кусо-

чек. Наверное, есть у него сало-то. У них двор в Ростове богатый, свиньи огромные, страшные. Как их осенью режут — вся улица сбегается поглядеть. Сам протоиерей Илия приходит полюбопытствовать. Постоит, посмотрит, поужасается, вдруг улыбнется и осенит всех крестным знаменiem, да и пойдет себе в свой собор. Одну-то свинью, а то и двух ему Ондреева дворян на дом доставит, как положено от веку властью княжеской и отцами Святой Церкви.

Вспомнив Ондреевых свиней, Любим окончательно расстроился: на его собственном захудалом дворе таких не водилось. Не было Любиму Кривому удачи ни в жизни, ни в хозяйстве. Да вот взять хоть прозвище. Отец — верно, кривой был, бельмо на правом глазу имел. А тут оба глаза целехонькие, а прозвище так и приклеилось с малых лет. Матушка назвала Любимом, а отец пожелал перекрестить в Лазаря, чтобы носил христианское имя. Не пристало новое имя. После матушкиной кончины отец сильно во Христа уверовал, однако успел сына женить, потом в монахи постригся, а все накопленное, за всю жизнь сбереженное, пожертвовал в монастырскую казну. Ах, ларчик тот, окованный зверями, птицами да цветами заморскими, до сих пор перед глазами стоит! Сорок, а то и с полсотни гривен серебра в нем было. Да узорочье маменькино, да полотно тканого большой сундук почти полный. Все монахам досталось да игуменам. Сам отец ушел к святым местам, в Киев, и больше его Любим не видел. Только, кажется, родитель-то мало о сыне молился, оставленном им с молодой женой без наследства, с одним благословением. С этим ларчиком хотел Любим начать свою семейную жизнь, в купцы выйти, а то нанять работников да ткацкое либо гончарное дело завести. Нет, без серебра дело не начнешь.

Всего богатства Любимова — два раба, один старый, другой слабоумный. С них Любим и кормится. Старик Аким ложки да игрушки из липы режет, лапти плетет, на торжище относит. С другим же рабом, Янком, и смех и грех: этот — охотник. Его еще отец к охоте приспособил, показал, как из лука стрелять, силки ставить. Полнобил дурачок охоту! Так он в лесу и живет, избушка даже у него там, и не убегает, приходит домой исправно, приносит добычу — зайцев, птицу разную, шкурку бобровую когда. Положит кучей на крыльцо и стоит, как леший: лохматый, чумазый, мычит, улыбается, рукой показывает — берите, мол, берите. Будто подарок делает, а не законное приносит хозяину. Жена Любима, Ирина, вынесет Янку хлеба, он съест тут же, у крыльца, сколько ни дай. Потом обратно в лес

уходит, взяв пару лаптей, краюху, соли щепоть. Из чуди¹ он родом, а старик Аким — русский, деда еще закуп, сирота.

Запах съестного погнал Любима подальше от костра. Нарочито хмурая брови, будто не замечая пренебрежительных взглядов и насмешливых лиц, он пошагал деловито в ту сторону, куда ушел сотник Ондрей Ярыга.

Выйдя из рощицы на открытое место и поднявшись на небольшой холм, Любим огляделся. Княжеские стяги стояли все так же неподвижно, только еще виднелся возле них небольшой походный шатер князя Мстислава. Значит, остановка предполагалась долгая.

Большое войско собрали ростовцы! Весь лес, подступивший к Юрьевскому полю, заполнен был ратью, слышалось ржание коней, переклик сотен далеких голосов, и везде дымы от костров поднимались — не сосчитать. Одних пещцев, говорили, до десяти тысяч, а гридни княжеские! Страшные богатыри, на них и смотреть-то боязно. А конница боярская с броней да тяжелыми копьями! Против таких разве устоит кто, хоть и великий князь Владимирский?

Любим даже о голоде забыл — так ему понравилось быть в таком огромном войске. А ведь мог и не пойти с этим войском, сначала испугался даже, как узнал, что в Ростов приехал князь из Новгорода, Мстислав Ростиславич. Давний страх охватил Любима при одном упоминании Новгорода! А в ростовских-то церквах колокола зазвонили, по улицам бирючи² побежали — ополчение созывать. Нет, не пойду, решил тогда Любим. Князья воюют, ну и пусть себе воюют, а я уж навоевался, хватит.

К своим тридцати трем годам Любим всего два раза успел повоевать, а и того ему показалось достаточно. Первый раз, при отце еще, взяли в ополчение боярское — по человеку брали от двора — да повели осаждать Углич-город, тамошний князь чем-то обидел тутошнего. Три дня стояли под Угличем, стрелы кидали. Не достоялись ни до чего — город не взяли, а прошел слух, будто угличскому князю большая подмога идет — ушли в Ростов обратно. Ну, тогда хоть награду дали: пешему по десять кун³, конному — по гривне. Всех конных было двадцать, а Любим пеший ходил. А видно, после этих десяти кун и воинское счастье от него отвернулось. Когда покойный князь Анд-

рей Боголюбский собирал войско на булгар, Любим не захотел пойти. Он только что женился, жена, Иринупка, ходила брюхатая, за отцом надо было приглядывать, да не столько за ним, как за ларцом. Все равно не уследил и ларца не уберег! А вот Ярыга Ондрей, дальняя родня жене Ирине, — тот пошел, да с сыном, да дворовых пять человек, все на конях, да трое саней поставил в обоз. К весне вернулись, двух дворовых потеряв, зато с саями, груженными всяким добром. Озолотился Ярыга в том походе. Да ведь оно так — богатство богатых любит.

Как огорчился Любим тогда — не высказать. К тому же и ларца уж в это время след простыл, у монахов-то обратно не выпросишь. Родила Ирина девочку, да месяц всего дочка пожила — померла, сторела сухим жаром. Погоревал, потужил тогда Любим, а делать нечего, стали с Ириной дальше жить. И когда через пять лет снова начал великий князь Андрей собирать войско, теперь уже на Новгород, Любим сказал себе: вот случай-то, не упустить бы! Хотя Ирина, жена, в другой раз затяжелела и жалко было ее оставлять, а пошел с еще двумя охотниками в Переяславль, где владимирская засада стояла, а оттуда уже с малой дружиной догнали большое войско по пути к Новгороду. С дружиной и половцы шли. Натерпелся от них страху Любим! Дикие, в лохматых шапках, по-русски не говорят, а только гыр-гыр-гыр, того гляди, зарежут, ну их к лешему!

Хотелось до Новгорода поскорее добраться. Богатый город Новгород! Пока через сугробы продирались да кое-где на саях ехали, Любим все представлял себе сундук, который обязательно ему достанется, а в сундуке золото да серебро, жемчуг, камни да кубки драгоценные.

А вот Ярыга Ондрей не пошел тогда с дружиной. Хворым сказался, послал сына младшего, Василия, да того на полдороге лихоманка скрутила — вернулся. Любиму пораскинуть бы умишком, может, смекнул бы, что к чему. Каких бы мук избежал!

Разбили новгородцы войско великого князя, а вел то войско сын князя Андрея Мстислав, да сам еле спасся. Народу полегло тогда множество. Не хочется вспоминать, а вспоминается, как лесами выбирались из-под Новгорода, конину мертвую ели, в Великий-то пост. Волгу переходили по последнему весеннему льду, и много еще людей потонуло. Немало их и смерды новгородские по лесам переловили да убили: когда на Новгород-то шли, Мстислав много сел да деревень разорил. Еле живой добрался до своего

¹ Чудь — так русские летописцы называли прибалтийские племена эстов, финнов, карелов.

² Бирюч — глашатай, объявляющий по улицам постановления властей.

³ Денежная единица (куна) получила свое название от шкурок куниц, являвшихся своеобразными древними деньгами.

двора Любим, с трудом отходили его Ирина да старый раб Аким. Пять лет тому исполнилось.

Невеселые воспоминания, нахлынувшие на Любима, привели его в тревожное состояние.

Как-то нынче обернется дело? Ведь если правду сказать, не лежала душа у Любима идти в этот поход. Да бедность погнала. И сотник Ондрей соблазнил, прислал дворового своего со словами: я, мол, иду, и ты иди, дело большое, важное, выгоду сулит. Решился Любим, оставил жену Ирину с малым сыном Добрыней. И вот стоит теперь, вдаль глядит, на короткое время аж над целой сотней поставленный. Воин! Шлем помятый, великоватый, лыко надо подкладывать, колчан потертый — весь мех облез, у ножа засапожного конец обломан, — хорошо, в сапоге не видать. А лук — наоборот, новенький, незалосненный, белый, в темноте даже светится, словно игрушка, мальчонке отцом сделанная. Микулич Олешка вон смеется: Кривой, мол, новый лук выстрогал, ничего теперь, братья, не бойтесь, всех супостатов одолеем. А в сотне — смейся вместе со всеми. Да и не драться же с молокососом. Ну и смеешься тоже. Ладно, потерпим, недолго осталось. В бою языки-то прикусите.

Увидел Любим, как идет назад сотник Ярыга. Издалека заметно: чем-то доволен. Не шибко к своей сотне поспешает, шагает степенно — хозяин... Вот хлебушка-то и попросить, подумал, радуясь, Любим.

— Ну что, какие тут дела, боярин-батюшка? — еще шагов пятнадцать не дойдя до Любима, спросил Ондрей. Ласково вроде бы спросил, а с насмешкой. И, не останавливаясь, прошел.

Ну как тут хлеба просить, когда тебя боярином называют? Только улыбнулся Любим сотнику вслед: ничего, мол, не случилось. В роще заржали двое или трое — видать, слышали.

И вдруг, поворачиваясь за Ярыгой, увидел Любим, что шлем свой в руке держит. Ох ты, батюшка родный! Да когда ж успел снять-то? Стыдобушка горькая!

Лицо опажнуло жаром стыда, и он, поднеся шлем поближе к лицу, покачал головой и пальцем поковырял железом, будто для того и снимал. Еще раз покачал головой, поцокал языком и небрежно пихнул шлем на место, больно ударив в бровь. Тьфу!

Вот всегда с ним, с Ондреем, так. И не приказывает, а сам ищешь, как бы исполнить. Вчера под вечер, когда войско двинулось вдоль реки, на том берегу показались какие-то конные, человек пять. Кто такие — в сумерках не раз-

глядишь, да и далековато. Однако все разговоры сразу стихли. И те молчат, ничего не спрашивают. Стоят. Потом тронулись попутно, ближе к воде не подъезжая. Кто-то впереди колонны не выдержал, кричит: «Эй, здорово живете! Кто такие?» Молчат. Ну — враги, значит, владимирцы. Сотник Ярыга весь подобрался, смотрит хищно. А потом возьми и глянь на Любима, который рядом случился. Того же как черт под руку подтолкнул: дернул Любим стрелу из колчана, наложил ее, да поторопился. Стрела пошла косо и упала в траву у того берега. Зачем стрелял? Только ругани да насмешек натерпелся. Те, конные, сразу исчезли, как не бывало, только копыта простучали — нырнули в лес. А стрелу жалко! Наконечник железный, кованный, сам не сделаешь, пойдя купи. Кузнецы по три куны за десяток дерут, да не старыми кунами, а новыми. Где ж ты, стрелка моя певчая, теперь лежишь? Надо к сотне своей возвращаться.

Любим в последний раз глянул туда, где виднелся Мстиславов шатер, и пошел обратно в рощу. Там с приходом сотника возникло оживление.

— Господин сотник! Долго ли сидеть здесь? — спросил Олешка Микулич с развязностью, свойственной общим любимицам.

— Сиди, братцы! Князь совет держит! — громко сказал Ярыга, чтобы все его расслышали.

— Чего ж третьего дня не насоветовался? — пробурчал кто-то дальний, не понять кто.

— Ну-ка, ну-ка! — Ярыга весь напрягся, угрожал кулаком. — За такие разговоры сейчас князем палачам скормлю! Балуй там!

Но видно было, что неохота сотнику связываться. Почувствовав это, сотня загудела, зашумела, но без злобы, а так, для разговору.

— Не сердчай, господин сотник, — протянул Микулич. — Сам, чай, воин старый, знаешь, каково этак перед боем сидеть без толку. Сколько тому совету быть, не сказывали там?

— Не сказывали. Велено объявить: совет, мол, князь держит. А больше я не расспрашивал. — И сотник хитро улыбнулся. — Что-то они сегодня злые там все как собаки. Кума моего боярин Добрыня плеткой по хребту перетянул. Я уж и не стал соваться.

У костров засмеялись, но не все. Ондрей Ярыга тоже хохотнул, успев заметить, кто и как смеется, и важно протянул руку за угощением, которое ему придвинули на чистый тряпице. Выбрав что-то, степенно подсел к костру.

Любим даже и глядеть не стал, что это за угощение было. Хорошо хоть, про него забыли, не стали злословить.

С одной стороны, конечно, плохо, что остановились. По военной науке, насколько понимал ее Любим, надо было князю уж до города Владимира дойти, а там становиться в осаду. Любим так и надеялся, что придется в осаде стоять. Из своего небольшого военного опыта он заключил, что осаждать город куда лучше и безопасней, чем биться в поле. К тому же в поле свой харч ешь, а осадят город — войско кормить будут. Стоишь этак от стен вдалеке, кормишься из общего котла. То стрелу кинешь, то просто стоишь, кулаком погрозишь да непотребным словом ругнешься. А те сверху, со стен, кричат обидное, грозятся. Весело! Начнут ворота пороками¹ расшибать — гляди, а как расшибут, вперед не суйся. Вперед княжеская старшая дружина пойдет, а мы уж следом. Владимир — богатый город! Нынче долго можно осаду держать: тепло, пора летняя, ночи ласковые.

В поле — иное дело, в поле как набегит на тебя этаким дядя полторы сажени ростом да с колотушкой, а то с мечом или с топором! Куда спрячешься? А под конницу попадешь? Тут и бежать нельзя, сразу ложишься и помирай, может, живым останешься, если конь не стопчет, переступит, а умом тронешься от грохота да страха.

Но опять же, с другой стороны, пока стоим, можно и грибов напечь, подумал голодный Любим. Подобрал свой ошкуранный прут, пошарил взглядом вокруг, надеясь увидеть в траве коричневые шляпки.

Только грибы были уже все выбраны. Вот досада. Теперь надо подалеке отойти, поискать там. А далеко не отойдешь — сотник заругается. Ладно, если что — скажу, по нужде пошел.

Он решительно направился в глубь рощи, всей спиной ожидая сердитого окрика. Даже заломило спину. И когда стало совсем невтерпеж и захотелось оглянуться и поглядеть — заметили его уход или нет, — наткнулся Любим на целый выводок молодых грибов, да не подберезовиков, а боровичков-колосовиков, неведомо почему не попавших никому на глаза.

От такой удачи сразу повеселело на душе и голод стал ощущаться уже не тоскливой маемой в пустом животе, а жадным предвкушением грядущего пиршества. Любим быстро наломал шляпок и насадил их одну за другой на прут, да, пожалуй, многовато насадил — прут прогибался от тя-

¹ Порок — стенобитное орудие; таран.

жести, и пришлось его взять обеими руками, как ребеночка прижав к груди.

Выбрав подходящий костер, где углей было побольше, а людей вокруг поменьше, он наставил рогулек, тут же вырезав их из подвернувшейся разлапистой ветки, и, расположив наконец свой вертел над тихо играющими угольями, снял шлем, колчан, положил рядом с собой, прислонился спиной к шершавому березовому стволу и стал отдыхать, вполглаза следя за тем, как, шипя и начиная пускать пузыри, пекутся грибы ему на обед.

Проснулся он от грубого окрика и толчка сапогом в бок. Подхватился, тараща ошалелые спросонья глаза. Сотня вся была уже на ногах — оправляли одежду, оружие, шли к полю для построения. Глянул Любим на костер и увидел, как дымятся разбросанные угли, в которые был вдавлен прут с грибами — наверно, кто-то наступил нечаянно в суматохе сборов.

— Выходи, стройся! — кричал сотник. — Эй, Кривой, спишь? Ходи веселей, не отставай! Стройся, ребята!

Скоро все войско уже стояло в поле в несколько рядов, вытянувшись чуть ли не на версту. Любиму, стоявшему позади, не видно было, где князь, но по тому, как захопотал вдруг сотник Ярыга, строго покрикивая на свою и без того замершую сотню, понял, что едет кто-то из важных. Стук копыт приблизился, и Любим увидел на белом коне боярина Матяшу Бутовича с двумя своими отроками, державшими для пущей важности мечи наголо. Боярину было жарко в панцире, надетом поверх кафтана, и панцирь этот делал боярина еще толще.

— Кто сотник? Поди сюда! — хрипло крикнул боярин.

Ярыга подбежал, сдернул шлем. Бутович, слегка подавшись в его сторону с седла, стал вполголоса что-то говорить ему, тыча начальственным жестом в сторону поля короткопалой рукой. Ярыга слушал, кивал, лицо его из почтительного становилось строгим.

Потом боярин погрозил сотнику пальцем, как бы предупреждая на случай непослушания, и отпустил Ярыгу кивком головы. Привстал немного в стременах, всем телом поворачиваясь к застывшему строю.

— Братья! Ростовцы! — закричал Матяша Бутович, и, казалось, хрипота его голоса вызвана справедливым гневом. — Близо проклятый враг! Захотела свора владимирская своими рабами вас сделать! Чтоб вы платили им дань до скончания века! Так не допустим того! Не посраим отца нашего, светлого князя Мстислава Ростиславича! Добу-

дем ему славы воинской, а себе чести! Бог за нас, ростовцы! Ударим на врага окаянного! — Боярин, чуть присев в седле, набрал воздуха: — С Богом, впе... — не докричал, заперхал, закашлялся. Махнул в последний раз рукой в ту сторону, где должен был находиться владимирский князь-супостат, хлестнул коня и тяжело поскакал прочь, отроки же по обеим сторонам — с ним.

Ответом на боярское слово был всеобщий рев. Воины, распаяя себя, потрясали в воздухе кулаками, некоторые обнажили мечи и угрожающе потрясали ими, словно примериваясь для удара по невидимому пока врагу. Кричали громко — еще и хотелось понравиться именитому боярину. Любим, слыша, как холодеет спина от предчувствия близкого боя, тоже вынул из-за сапога нож и протяжно вопил, чтобы прибавить себе мужества. И в самом деле — храбрости как будто прибавлялось, уходил неприятный холод, начинало казаться, что все нипочем. Он знал, что полегчало лишь на короткое время.

Вскоре выяснилась причина остановки. Сторожевой отряд, посланный князем, вернувшись, донес, что Всеволод с большим войском движется навстречу. Решено было дожидаться обоза с припасами и оружием, снаряжать тяжелую конницу, длинные копья и доспехи которой везли на телегах, и выдвигаться дальше в поле, где уже поставить главный стан, а князю Мстиславу и воеводе Иванко Степаничу — рядить войско. Теперь обоз подошел и, стало быть, они скоро двинутся.

У Любима в обозе был легкий щит, плетенный из ивовых прутьев и обтянутый в два слоя твердой от старости, как железо, свиной кожей, да кусок кольчужки, которой едва хватало, чтобы, прицепив к племю сзади и с боков, прикрыть шею да плечи. Кольчужку эту отнял Любим у полоумного раба Янка, а где тот ее добыл — неведомо. Шастает по лесам, может, и наткнулся на чьи-то косточки. И не расспросишь, где да что, он только мычит да улыбается радостно. Один отец и мог с ним говорить. Еще в том мешке, где кольчужка лежит, припасено Любимом три других мешка, больших, один холщовый да два кожаных, для добычи. Да где она еще, та добыча-то?

Вдалеке запели рожки, подавая сигнал, и сразу воздух наполнился скрипом телег, звяканьем железа, ржаньем коней, топотом тысяч обутых в сапоги ног — войско тронулось. Пешие сотни на ходу строились в большие полки. На вершине невысокого холма, пугливо переступая стройными ногами, топтался всему городу Ростову известный своей

необыкновенной красотой хазарский жеребец старого воеводы Иванко Степанича. Сам воевода, маленький, седой, сидя на своем вороном любимце, сложенной вдвое плеткой делал отмашки сотникам, показывая, кому куда вести свой отряд.

Солнце давно перевалило за полдень и начало склоняться к закату, припекая затылки, однако небо понемногу затягивалось легкими перистыми облаками, что обещало убе-речь войско в походе от жары.

Через час порядок движения определился. Впереди, как и полагалось, шла старшая княжеская дружина, что пришла с Мстиславом из Новгорода, — на хороших конях, богато убранная, в украшенных серебром очкурах¹, в высоких племах с золочеными шишаками. С дружиной ехал и князь Мстислав, по старому обычаю битву должен был начинать он сам, бросив копьё в неприятеля или нанеся первый удар мечом. Князь был неразличим среди дружины, потому что был одет так же, как и его воины, и на то, что он находится среди них, указывали стяги и хоругви, несомые небольшим отрядом знаменосцев.

Вслед за передовым отрядом двигался вместе с обозом основной полк — чело. Большей частью шли пешие — стрельцы. Некоторые, поважнее, как, например, сотник Ондрей Ярыга, ехали на обозных телегах. Среди главного полка на отдельной телеге располагался большой отряд бубенщиков и рожечников, во время боя они должны были подбадривать своих боевой музыкой. На особом боярском возке, раскрашенном красной и золотой красками, сидели протоиерей Илия и диакон, находившиеся в полку для совершения молебна о даровании победы над врагом. И протоиерей и диакон, молодой рыжебородый мужик, взяты были в поход, видно, не по своей охоте и спешно: протоиерей испуганно глядел по сторонам и осенял крестным знаменем то едущего далеко впереди князя Мстислава, то — на обе стороны — весь пеший полк, то отдельных ратников, подходивших к его возку за благословением, а то быстро крестился сам, шепча что-то. При этом диакон вздрагивал и тоже крестился.

Слева и справа от основной части войска боярская конница образовывала его левое и правое крылья. Каждый боярин привел с собой своих воинов, «пасынков боярских». Много народу бояре и по селам своим скликали. А куда деться — люди подневольные. И то хорошо, что хлеб посеять успели.

¹ Очкур — пояс; шароварная опояска.

Любим шагал, стараясь полегче ступать на левую ногу: жало в сапоге, то ли портянка сбилась, то ли ноги набухли от долгой ходьбы. Попроситься на телегу он и не думал. Знал — не возьмут, и на то не обижался. Всю свою жизнь Любим удивлялся богатству человеческому. Удивлялся и сейчас, не в силах осознать огромности тех трат, что понесли бояре ростовские, собрав такое войско. Это ведь сколько людей вооружить надо, в доспехи одеть да заплатить — княжеской дружине и своим гридням да пасынкам, те ведь за свою службу дорого берут! Да всем вольным, вроде Любима, выдано по три гривны сейчас да по десять обещано потом, конному — десять сейчас да двадцать потом, а кто со своим оружием — еще потом по пять гривен. Да припасу съестного на все войско наготовить, а людей своих летом от крестьянства отнять — снова убытки боярам.

Говорят, приехал князь Мстислав Ростиславич с дружиною в Ростов помощи просить, на дядю своего Всеволода идти собрался, а бояре, мол, по доброте душевной ему в той помощи отказать не смогли. И вот не только войско набрали, но и сами мечами да саблями перепоясались и едут теперь либо головы сложить, либо князю Мстиславу престол добыть. Ради Мстиславовой гордости, выходит, потратились бояре? Матейша Бутович, например, про которого говорят, что он зимой велит снег с улиц себе на подворье стаскивать, чтоб зря не пропадал?

Нет, что-то тут не так. Эта война самим боярам понадобилась.

А ведь бояре-то и послали в Новгород за Мстиславом. И давно послали, еще жив был князь Михаил. И уж все припасено у них было, а то не обернуться бы так скоро, не успеть с походом. Ох и дела!

Как всегда, додумавшись до важной мысли, Любим почувствовал гордость за себя, за свой ум и тут же по привычке вспомнил жену свою, Иринушку: не зря все-таки она за него вышла. Не сладко ей живется, ни нарядов дорогих, ни узорочья не подарил ей Любим, ни палат новых не воздвиг. Весь век свой о богатстве мечтал, да только не давалось ему богатство. А ради счастья жены и сына Добрынюшки — думалось иногда — хоть в закупы продаться бы кому-нибудь, если б знал, что это принесет достаток в дом. Да за такую цену кто его, Любима, купит?

Жена Иринушка — кроткая, как голубица, никогда не попеняет мужу на скучную жизнь, а, наоборот, все ободрить да утешить старается. Ничего, мол, Любимушка, иные и хуже живут, а нам и вовсе нечего Бога гневить. Да, са-

мая большая удача в жизни Любима — Иринушка. Спасибо и отцу: просватал и женил. Как-то они сейчас там? На те три гривны, что выдали Любиму у воеводы Иванко Степанича, долго ли им жить? Хорошо еще, коли вернется Любим, да с добычей богатою. А ну как не вернется? Или вернется как тогда, из-под Новгорода, голый да босый?

Вот бы родиться князем или боярином! Им — что ни делается, все к лучшему. Одолеют князя Всеволода — еще больше разбогатеют. А если Всеволод их в плен возьмет, то им и в плену не худо. Все равно выкупятся, а званья своего боярского или княжеского не потеряют.

С такими невеселыми мыслями, прихрамывая, шел Любим Кривой навстречу неизвестной судьбе своей. И ему, и другим воинам, шедшим рядом, успела давно наскучить эта небыстрая ходьба, их лица понемногу теряли воинственное выражение, с которым слушали речь боярина Матейши Бутовича. Постепенно стихли возбужденные разговоры. Войско шло молча.

Вдруг что-то случилось.

Вокруг как-то разом все задвигалось, засуетилось, от передних рядов донеслись протяжные крики. Любим озираясь по сторонам, пытаясь осознать происходящее и больше всего боясь подумать о том, что все хорошее в его жизни уже кончилось.

Плотный рев многих тысяч чужих глоток ударил спереди и, становясь с каждым мгновением все сильнее, словно бешеный поток из прорванной запруды, захлестнул смешавшиеся ряды ростовцев. Владимирское войско налетело внезапно, могучей, необозримой рекой ринулось с пологих холмов вниз.

Видно было, как один за другим повалились княжеские стяги, и сразу вслед за тем к победному реву владимирцев добавился тоскливый вой многих сотен голосов со стороны обреченного на неминуемую смерть передового полка, и такой же плачущий вой всплеснул слева, где владимирская конница уже рубила пешцев и растерявшихся боярских отроков.

Дружина Мстислава, уводя князя от беды и заодно спасая себя, кинулась назад, в гущу большого полка. Она прорывалась сквозь ошалелые толпы, ударами мечей и сулиц¹ расчищая дорогу, сбивая воинов с ног и топча упавших. Никто даже не думал о сопротивлении врагу — так велик был охвативший всех ужас. Весь большой полк побежал,

¹ Сулица — ручное холодное оружие, род копья.

передние ряды, избиваемые стрелами, налетели на задние, и множество бежавших сразу погибло в немыслимой давке, раздавленные сапогами и проткнутые собственным оружием.

Недалеко от Любима в людском потоке метался и пронзительно кричал вороной жеребец воеводы Иванко Степанича. Он бил и бил задними копытами по набегавшим на него людям. В крупе коня торчали стрелы, а маленькое сухое тело воеводы, нога которого застряла в стремени, после каждого удара вскидывалось и взмахивало руками.

Теперь все беспорядочно бежали. Многие обезумевшие кидались к обозным телегам, пытались заворотить их назад и заваливали лошадей, бившихся в оглоблях. Любима толкнули в спину, он упал, поднялся и снова упал, попытался встать и поднять слетевший с головы шлем, но тщетно.

Совсем близко, сзади, надвигалась смерть. Любим успел вскочить и полуобернуться в сторону, откуда доносился конский топот. Увидел белое лицо бегущего прямо на него Олешки Микулича и сразу за ним — в полнеба, огромного, как из детских страхов, коня со всадником в вышине. Всадник занес топор для удара. В следующий миг раздался короткий стук, с Олешки брызнуло Любиму в лицо что-то теплое, горячее, и тяжелое тело, падая, спибло, придавило Любима к земле. Смерть пронеслась дальше, опажнув потным ветром и швырнув из-под копыт рваные куски дерна. Любим выбрался из-под Микулича, отталкивая липкими руками от себя его разможенную голову.

Он побежал, не зная, в какую сторону бежит. Приходилось то и дело перескакивать через убитых, катающихся по земле от боли раненых, разбросанный обозный скарб. Острая боль снова ужалила ногу и немного привела его в чувство: нет, спастись надо расчетливей. Любим огляделся, стараясь не замечать, как повсюду конные рубят бегущих, понял — туда, где вдали синела полоска леса, в котором еще утром мирно стояло их войско и куда сейчас уже бежали многие.

Он увидел валявшийся на земле меч в богатых, украшенных золотом и камнями ножнах и жадно схватил его, но через несколько шагов бросил. Тяжелое красивое оружие не прибавляло уверенности, а, наоборот, казалось опасным. Он побежал дальше. Справа в поле зрения попал всадник, догонявший пешего. Любим понял, что сейчас конный зарубит с ходу пешего и станет выбирать следующего. Любим упал плашмя. Потом, услышав глухой удар, осторожно приподнял голову. Владимирский всадник, уда-

ляясь, заносил меч на бегущего без оглядки молодого белобрысого отрока в красном кафтане.

Вот так — короткими перебежками, часто залегая, стал Любим продвигаться дальше.

Было жарко, и сердце колотилось в пересохшем горле. Он почему-то твердо был уверен, что добежит, спасется. В лесу схоронится, а там и домой дойдет.

После очередной отлежки он решил добежать до видневшейся впереди телеги, что стояла, скособочившись, с растопыренными оглоблями: отлетело колесо, а лошадь выпрягли. Может, кто-то спасся? Под телегой можно было отсидеться, переждать. Улучив мгновение, Любим перекрестился и что было сил рванулся вперед. И — добежал. Сунулся под телегу и отшатнулся: оттуда смотрели на него со страхом и злобой глаза сотника Ондreja Ярыга. В руке сотник сжимал выставленный вперед длинный острый нож.

— Куда? Убью! — прохрипел Ярыга. Потом, всмотревшись, узнал и опустил оружие. — А, это ты, сват. Лезь сюда быстрее.

Любим не был ему сватом, но обрадовался. Забравшись под телегу, он словно почувствовал себя под защитой этого большого, сильного человека.

— Вот что делается, сватушка милый. Разбили нас, — сообщил Ярыга. — И бояр побили, и князь будто убит. Выбираться надо отсюда. А? Коня бы поймать, сватушка дорогой. А? Я-то раненый. — Он показал намоченный кровью рукав. — Поди поймай коня. Вон конь стоит... Поди поймай, будь так добр.

Ну не чудо ли — невдалеке и впрямь стоял рыжий мохноногий неоседланный конек, удивительно спокойный посреди всеобщего беспорядочного движения. Может, его никто и не замечал из-за его спокойствия. Слегка только вздрагивая от диких криков, он даже щипал траву да хвостом отгонял слепней.

— Приведи, — повторил Ярыга. — На нем вдвоем убежим. Ты-то цел? А я-то, вишь, раненый. — И он снова показал на влажный черный рукав.

И Любим, как во сне, выполз из-под телеги и пошел к коню, стараясь ничего не слышать вокруг и идти помедленнее, чтобы животное не напугалась. Эх, клебушка бы кусок, подумал он, и эта мысль показалась ему на удивление знакомой, вот только не помнил он почему. Конь не испугался Любима, потянулся мордой, как к хозяину. Обими руками взявшись за пыльную косматую гриву, Любим повел его туда, где нетерпеливо ждал его Ондрей Ярыга.

— Ай, сватушка, ай, сватушка, — забормотал сотник в сильном волнении, все же не забывая ощупать, осмотреть конька. — Вот спасибо, вот спасибо. — Сунулся даже завернуть губу, чтобы зубы посмотреть — не стертые ли, но быстро опомнился. — Ну, подсади-ка меня, подсади. Ой, рученькой не владею. Вот к колесу его поставь, к колесу, да поддержи, а я залезу.

Ярыга поставил ногу на тележное колесо и жалобно застонал, перекидывая другую через коня. Неловко, ухватившись здоровой рукой за гриву, уселся. И тут вдруг внимательно глянул сверху на Любима, казалось что-то обдумывая. Любим, обмерев, снизу смотрел на Ярыгу, ставшего вдруг совсем чужим.

— Ладно. Садись быстрее, — грубым голосом, обозлившись, сказал сотник. Сев на коня, он сразу стал значительным и строгим. — Да быстрее, что ли! Вон — видишь? — Он показал рукой назад. По полю длинной цепью шли пешие владимирцы, добывая раненых и вороша мертвых.

Любим взобрался коню на круп и со странным облегчением прильнул к широкой спине Ярыги. Сотник ударил каблуками коня в бока, и тот потрусил к лесу.

Заколдованный, что ли, был этот конь, но на них никто не обратил внимания.

Когда до леса оставалось совсем немного, конская спина под ними внезапно ушла влево и вниз. Их скинуло на землю, но скакали они небыстро, сидели невысоко — обошлось. Конь попал ногой в сурочью нору и теперь лежал, не пытаясь подняться, только дергался, коротко рыдал, изгибал шею и глядел им вслед. Любим и сотник достигли наконец спасительных деревьев.

В лесу Ондрию Ярыге сразу приспичило справиться малую нужду. Он зашел за ближнюю березу, а Любим стал ждать его, чтобы дальше идти вместе. Мирное это дело, которым занялся сотник, заставило Любима поверить в спасение и немного развеселило. В самом деле, не все ж воевать, есть дела и поважнее. Это Любиму пришла в голову такая шутка, и он хотел было поделиться с Ярыгой, да передумал, заметив, как сердито подвязывает тот портки, выходя из-за деревьев и озираясь.

Тут Ярыга застыл на месте. Руки его замерли, глаза остановились, но взгляд был направлен не на Любима, а куда-то мимо него, за спину.

Любим хотел обернуться, да не успел.

Мир в его глазах внезапно стал совсем незнакомым. Любим удивленно скосил глаза и увидел торчащий у себя

из-под подбородка черный железный наконечник стрелы. Тут же шею перехлестнула огненная боль.

Стремительно становясь опять ребенком, Любим увидел Ондрия Ярыгу перед собой и, как к самому близкому и родному человеку, протянул ему свои крошечные ручонки. Но человек этот начал расти, тянуться вверх, потом ушел куда-то вбок и исчез, а с ним исчезло и все вокруг. И Любим уже не думал о нем, сворачиваясь калачиком, только в последнем младенческом крике открыл рот, высвобождая набравшуюся в него кровь.

ГЛАВА 2

В ночь перед походом ему приснился орел.

Это был, без сомнения, тот самый орел, которого дядя Всеволода, византийский император Мануил, велел сажать рядом со своим тронном на особую подставку, обшитую алым бархатом — чтобы когтистым лапам птицы было удобнее и они не соскальзывали. Клюв и когти орла были позолочены, что делало его еще более важным и грозным. Это был один из знаков императорской власти, каковым Мануил придавал большое значение. Он мог остаться спокойным, узнав, что венграми разорен какой-нибудь его город и жители убиты, рассеяны и уведены в плен. Но приходил в бешенство, если в одежде, принесенной ему, обнаруживал беспорядок, который мог — пусть и незначительно — принизить владыку в глазах подданных. Впрочем, бешеный гнев дяди никогда не выливался в крики и угрозы, как это бывало у русских князей: лишь глаза его суживались да голос становился тихим, вкрадчивым, так что маленький Всеволод долго не мог понять, отчего мертвеют одинаково лица слуг и приближенных, если Мануил не замахивается на них жезлом и не ругает бранными словами.

Приснившийся орел был тот, да не тот, потому что вместо крыльев у него были человеческие руки, и во сне он манил Всеволода куда-то, и это казалось страшным и непонятным: как поступить? Полететь, что ли, за птицей? Он чувствовал, что если захочет, то полетит, но не на погибель ли зовет златоклювая птица? А если отказаться и прогнать орла, то не будет ли это малодушием? Тем самым малодушием, которого начисто были лишены любимые витязи из сказок. Трусость не приличествует князю, а ведь он теперь — великий князь. Вспомнив об этом, Всеволод проснулся.

За окном едва-едва начинало рассветать. Марии не было рядом. Еще с вечера она удалилась на свою половину, плачущая, потому что знала: под утро за дверью послышатся тяжелые шаги, затем раздастся осторожный, но настойчивый стук в дверь, и низкий, густой голос воеводы Сбыслава скажет, что войско готово, все на ногах и на конях и пора выступать. Мария не хотела слышать этого. Да Всеволод и сам не хотел, что поделаешь?

— Прокша! — позвал он. Мальчишка не отзывался, и Всеволод, стараясь рассердиться, позвал громче: — Прокша, аспид!¹ Спишь, что ли?

Ответа все не было. Босой, в длинной рубаше, поживаясь со сна, Всеволод подошел к двери, толкнул ее. Мальчишка-слуга, уже вскочив с лавки, на которой спал, преданно смотрел в глаза молодому князю.

— Чего уставился? А ну, живей — умываться, одеваться! Живо у меня!

Прокша, дворянский сын, с такой истовостью кидался исполнять приказания, что Всеволода это неизменно веселило. Вот и сейчас раздражение ушло, и захотелось сказать парнишке что-нибудь строго-шутливое, как обычно. Он готов был с наигранной свирепостью заявить, что вот, мол, по твоей милости опоздаю, а войско ждать не будет. И осекся, вдруг поняв, что великому князю не подобает так шутить, потому как войско у него первое и нет уверенности в том, кто кому нужнее — князь войску или оно князю.

Умываясь, натирая зубы ароматической палочкой, как Марьюшка велела делать, и нетерпеливо помогая Прокше одевать себя, Всеволод думал, что очень многому теперь придется учиться заново и ко многому привыкать.

Юрята ждал его у крыльца, держа в поводу коней — своего и Всеволодова, словно заранее знал: не станет князь дожидаться, когда придут его будить, сам соберется. Всеволод, взглянув на Юрята, в который раз подивился: вот ведь, и годы не берут его. Был Юрята-новгородец для маленького Всеволода дядькой и пестуном, сказочником и защитником, для юноши Всеволода — учителем боевых наук и утешителем в юношеских горестях, поверенным в душевных тайнах. Таким остался и сейчас. Ни жены, ни детей своих не завел, Всеволод-княжич заменил ему семью. А поди, много красавиц вздыхало по нему, да и сейчас, наверное, любая за него пошла бы. Хоть седина в бороде Юрятиной, а стан стройный, как у девушки, плечи могу-

чие, руки железные, взгляд ясный. Только посмотришь на него — и на душе делается легче.

— Здравствуй, княжич, — весело поздоровался Юрята, называя Всеволода так по давней привычке. И, поняв оплошность, смутился: — Прости, государь. Пора ехать, бояре ждут. И войско уж стоит.

Перед тем как помочь Всеволоду забраться в седло — это княжичу-то, который не одного коня объездил! — Юрята любовно оглядел государя. Все было ладно пригнано и хорошо сидело — и короткий, расшитый золотом походный плащ, и серебряные бляхи нагрудного панциря прилегали ровно, без перекосов, и меч в дорогах, усыпанных камнями золотых ножнах казался в точности по руке. Подставив сведенные вроде стремени ладони под княжеский сапог, он посадил князя в седло. Потом взлетел на коня сам и уже старался все время почтительно находиться немного позади Всеволода.

Совсем рассвело, когда выехали из главных, Золотых ворот. Великий князь ехал впереди войска в окружении своей дружины. Лица воинов не все были ему знакомы: многие до него служили покойному брату Михаилу, но немало встречалось и новых лиц. Впрочем, Всеволод знал, что набором дружины, которая будет теперь старшей во всем войске, занимался сам Юрята, а во главе ее поставлен бывалый воин и знатный владимирский горожанин Четвертак, человек прямой и честный. Так что на дружину можно положиться.

Ополчение собралось небывалое. Казалось, половина города, взяв оружие, отправилась в поход с великим князем, а оставшаяся половина провожала войско. Тысячи людей стояли на стенах внешнего города, глядя вслед своим родным и близким. Всеволоду захотелось увидеть — может быть, напоследок — Марию, но он знал, что в числе провожавших ее не было: вчера еще распрощались, и он сам просил ее не устраивать заведенного обычаем прощального обряда с воплями и причитаниями, чтобы не бередить душу. Ему суеверно казалось, что так он вернее возвратится живым и невредимым.

Вслед за старшей дружиной в телеге везли уложенные стяги и хоругви: не до пышности, вчера на совете решено было выступать как можно скорее, чтобы успеть встать в засаду и ударить на неприятеля внезапно. Посланный вчера же утром дозорный отряд донес, что ростовское войско движется к Юрьевскому полю, сам город Юрьев минуя, и в поле-то как раз на них и ударить бы, когда начнут разворачивать походный стан. На том и порешили.

¹ Аспид — ядовитая змея; здесь: злой лукавый человек.

Без своих знамен ехала и боярская конница. Перед угрозой страшного врага, ненавистного всем Мстислава, бояре раскошелились и собрали добрую дружину. Юрята говорил, три тысячи конных в полной справе и с оружием. Да что бояре! Весь народ владимирский последнее готов отдать, чтобы не идти под ростовскую власть, под вероломных и алчных Ростиславичей. Помнили люди короткое да злое правление Ярополка, который с юга привел своих бояр и отроков ненасытных, отдав им город на разграбление и поругание. Никто не был спокоен ни за имущество, ни за жизнь свою. Матери боялись выпустить дочерей на улицу: разве уследишь за овечкой среди голодных волков? И ни защиты, ни справедливости. К Ярополку обращаться за правосудием даже и не стоило: сей князь настолько погряз во грехе, что даже святыню владимирскую — икону Божией Матери — у Соборной церкви отнял да зятю своему, рязанскому князю Глебу, подарил, а церковь ограбил и казну ее себе присвоил. Вот какие были времена. И видно, хочется Ростиславичам те времена вернуть. А ну, верни попробуй!

Широкая Владимирская дорога была как река в половодье — русло еле вмещало людской поток, и протянулся он, казалось, до самого края земли.

Всеволод думал: куда вынесет его эта река? В бурное ли море, где без конца придется скитаться по волнам — от одной битвы до другой, или к желанному спокойному берегу? В свои двадцать два года он впервые обрел собственный постоянный дом, собственный мир, по которому всегда так тосковала душа его, и потерять все это казалось ему невыносимо, хуже смерти. Поэтому он постарался использовать все способы, чтобы утихомирить Мстислава. Да и способов-то таких всего два: решить дело либо миром, либо войной. О третьем способе — отказе от великокняжеского стола — Всеволод и не думал.

Мир гордый Мстислав отверг, теперь получит войну. За Мстислава — наймиты ростовские, за Всеволода — Бог и вся Владимирская земля. Бивал Мстислава ныне покойный Михаил, побьет и Всеволод.

— Юрята! — позвал он. Подручник тут же возник рядом. — Как думаешь — успеем?

— Должны успеть, государь, — твердо ответил Юрята. — Сбыслав-воевода уж там, поди. Место выбирает. Вон глянь-ка. — Он показал вперед. — Видишь дальний лесок? Сосна еще рядом кривая. Видишь? Вот за леском этим речка, а за речкой уж совсем недалеко.

Он говорил почтительно, но как бы слегка небрежно, вроде хотел сказать: государь, не думай о таких пустяках, люди твои все сделают как нужно.

А вокруг занимался хороший летний день. Медом с лугов пахло, и кузнечики вокруг стрекотали, и в недалекой рощице соловей выделял колена да щелкал — видно, с ночи так и не смог остановиться. В такой день поставить бы в саду столы накрытые, посадить рядом Марьюшку да ближних своих — и неторопливо беседовать, государственные дела разбирать. А то пойти на Клязьму, устроиться на бережку в прохладе и смотреть, как в прозрачной воде играет рыба, а жарко станет — разбежаться и нырнуть с берега, распутивая толстых лещей и голавлей. Можно и на охоту отправиться, не ради добычи, нет, сейчас рановато еще — и птица на гнезде, и зверь после зимы жиру еще не нагулял, а просто так — покататься, поваляться на траве.

И в который раз уже Всеволод подумал, что неполюбимый брат Андрей, покойный великий князь, прав был в своем стремлении к единовластию. Пока удельные князья друг с дружкой знатностью меряются, не зная над собой вышней власти единого государя, Руси спокойно не жить. Даже братьев своих выгнал Боголюбский из русской земли — и Всеволода тоже, хотя и мал он был, — чтоб жили в Византии, подальше от соблазнов междоусобия. Обидел, лишил родины, милого крова, вот этой всей красоты, такой, что глянешь — и тихо ахнешь, на всю жизнь обидел, а все же был прав. За то и убили его.

Он, Всеволод, станет единовластным государем! Не зря и имя ему такое дано: всеми володеть станет. Крещеное имя — Димитрий, но ни он сам себя, ни другие его так не называют. Только жена, Мария, любя, зовет Митюшкой, когда рядом никого нет. Христианское имя ей милее.

Другое дело — имя Мстислав. Так будто и отдает призрачной, неверной славою. Сколько себя ни помнит Всеволод — всегда во врагах у него оказывались Мстиславы. Юношей воевал с Мстиславом Изяславичем Киевским. Три года назад, чтобы у Михаила отобрать великокняжеский престол, взяли Всеволода в плен, да осадили Михаила в Торческе трое Ростиславичей, не эти, а другие — Рюрик, Давид и отважный Мстислав же. И нынче — опять биться с Мстиславом. Может, здесь злой рок витает? Вот ведь навязание: с той или другой стороны, а Мстиславы все приходится Всеволоду племянниками, только те — двоюродными, а этот, нынешний, — родным. Сколь многочисленно потомство Рюрика, первого отца всех князей русских! С

каким упорством Рюриковичи убивают друг друга — есть ли где еще род столь могучий и столь злосчастный? Когда-то Всеволод с упоением старался изучить, запомнить все ветви этого огромного древа: так его поразило, что и он, растущий на этом древе молодым побегом, и остальные, до единого — и мощные, и хилые, — все от одного корня, от одной плоти.

Сейчас же выходило, что великому князю Владимирскому неприлично показывать на людях столь тонкое знание своей родословной. Это дело для худых и бедных, у которых одна радость — тешиться своей причастностью к великому. Сильный должен знать только сильных, а надобно будет выяснить, кто чей родич, так на это слуги есть: разыщут в книгах, разъяснят...

Эти мысли ненадолго отвлекли Всеволода. Однако тревога не унималась. Не хотелось ему этой битвы, ох не хотелось. Только ведь, раз суждено ему начинать княжение с войны, то уж поскорее бы. Поэтому он почувствовал облегчение, когда увидел подъезжавшего воеводу Сбыслава.

Воевода сказал, что место для засады в чистом поле выбрано удачное. За цепью холмов, называемых Авдовой и Юрьевой горами, войско будет невидимым для ростовцев. А они уж идут. Скоро все начнется.

Речка, которую пришлось переходить, называлась по-половецки — Кза. Истомленные жарой воины кидались в нее с удовольствием, стараясь лишь не замочить оружие. Черпали шлемами и ладонями чистую прохладную воду — напивались впрок на целый день.

Когда небо затянулось легкими облаками, владимирская рать уже расположилась в засаде. Всеволод не стал говорить речей: все было отговорено еще позавчера, на вечерней площади, когда владимирцы поклялись верой и правдой служить молодому князю и отстоять ему — княжение, а себе — свободу. Надлежало сидеть смирно, чтобы не увидал враг. Коням ржать позволялось, потому что место это было хитрое: кричи за холмами хоть во всю глотку — там, в поле, ничего не слышно, да к тому же ростовцам станет мешать шум собственного войска.

— Ребята! Сиди, готовься! — крикнул в последний раз воевода Сбыслав. — Повязки у всех есть?! Смотри, поглядывай!

Началось томительное ожидание. Всеволод со старшей дружиной находился на правом крыле, там удобнее всего было расположить конницу. Ростовцев уговорились брать сразу всей силой, лоб в лоб, и тогда уже поднять стяги и хоругви, да голосу никому не жалеть и стрелами бить беспрестанно.

Вскоре наблюдатели подали знак. Всеволод оглядел свою дружину. Лица злые, решительные. Он знал, что на него поглядывают: каков, дескать, будет в бою? Ведь ни для кого не было секретом, что такую огромную рать князь возглавил впервые. Молодой, неискушенный. А ему и самому неизвестно было, каков он окажется в бою. Вспомнил Марию. Как она там, одна? Взглянул на воеводу Сбыслава. Воевода выжидающе, не сводя глаз, смотрел на князя.

Господи, благослови. Ну — пора!

Всеволод вытащил меч из ножен и взмахнул им. Боевой клич войска, рванувшегося вперед, оглушил его. Князь ринулся с холма, направив коня туда, где, топчась на месте и мешая друг другу, ожидала ростовская конница. Взглядом выбрал себе противника — большого толстого боярина в панцире, растерянно пучившего глаза навстречу смерти и пытавшегося обнажить меч — что-то ему там мешало. Лицо боярина показалось знакомым, и от этого вся неуверенность, если она и была, исчезла, сменившись злобой: теперь рубить будем таких знакомцев! Всеволод стал отводить меч, примериваясь, но тут его обогнал Юрята, пригибаясь к холке своего гнедого. Миг — и тело боярина со срезанным верхом головы опустило руки и стало валиться на бок, отвесив одинокую нижнюю челюсть. Еще миг — и Юрята уже рубил на другую сторону, отхватив по плечу руку с занесенным коротким копьем у нерасторопного пешца. И слева и справа дружина рубила мечами — копыя в такой тесноте были бы бесполезны.

Наверное, из всего войска молчал один Всеволод. Может, он и крикнул в самом начале битвы, но сейчас молчал — стало понятно, что дружина оттеснила его от врага и больше не подпустит. Исход битвы был ясен — стоило посмотреть вокруг: воины с белыми повязками гнали в поле огромную беспорядочную толпу ростовцев, не оказывающих никакого сопротивления.

«Мстислав! Где?» — вспыхнуло вдруг в сознании Всеволода. Глаза искали соперника. Но Мстислав, если он и был здесь раньше, сейчас находился уже далеко. Дружина его бежала — наверное, это она, плотным отрядом уходящая от погони, виднелась там, впереди всех бегущих. Остывая, Всеволод вложил в ножны ненужный меч и распрямился в седле.

В поле еще шла безжалостная сеча. Лучники расстреливали ростовцев в спины, почти в упор, как загнанных оленей на охоте. Метались без седоков обезумевшие кони. Посреди поля виднелась красная повозка, незапряженная, на повозке кто-то, весь в черном, стоял, воздев к небу ру-

ку, в которой что-то поблескивало. Наверное, поп, подумал Всеволод, и ему окончательно расхотелось драться.

К великому князю тем временем съезжалось именитое боярство, еще не отдышавшееся после тяжелой работы. Немного в стороне стоял Четвертак с небольшим отрядом. Подъехал верный Юрята, спешил, взял Всеволодова коня и неторопливо, стараясь не нарушить торжественности, повел его на вершину холма. Там уже выстраивались знаменосцы с хоругвями и стягами. Тяжелые аксамитовые¹, изукрашенные жемчугом и золотым шитьем полотнища чуть колыхались под слабым ветерком. Шум битвы постепенно перемещался вдаль, затихал. Тут бы и порадоваться. А на душе у Всеволода нехорошо.

Ни подручнику Юрята, знавшему великого князя с детских лет, ни ближним боярам, в течение последних трудных дней жадно присматривавшимся к новому государю — каков будет? так ли высокомерен и своеволен, как Андрей? так ли добродушен и кроток, как Михаил? — никому из его окружения не было понятно, что же чувствует Всеволод сейчас, при виде полной победы над Мстиславом. А победа была полная. Отсюда, с плоской вершины Юрьевой горы, картина разгрома ростовского войска виделась вся целиком.

Тысячи мертвых тел, лежавших на поле, ждали теперь только одного — погребения. А совсем недавно они были гордыми ростовцами. Каждый ростовец кичится древностью своего города: спроси его про Владимир, так любой, кто бы он ни был — боярин ли, тиун² ли боярский, вольный горожанин-ремесленник или бедняк, влачащий жалкую жизнь закупа или наймита, — любой с презрением скажет: «Владимиры? Это каменщики наши, у нас их и на порог не пускают, а город их — это наш-де пригород». Не гордость это, а гордыня окающая...

Всякая гордыня неблагословенна, и много уж раз ростовцев от нее отучали. Учили их Андрей Боголюбский и новопреставленный Михаил, который заставил их признать себя великим князем. Не пошла наука на пользу ростовским боярам. Родных племянников Всеволода, Ростиславичей — Мстислава да Ярополка — прельстили, на всю жизнь сделали лютыми врагами своего дяди. Чего добились коварством? Сколько именитых ростовских мужей валается в чистом поле этом, как падаль, неотпетых, неоплаканных, ни славы, ни богатства не добывших?

¹ Аксамит — бархат (нем.).

² Тиун — судья низшей степени; приказчик, управитель.

Пойди сейчас, пройди по полю, погляди на мертвую рать. Что увидишь? Все те же русские лица увидишь — пожилые и молодые, бородатые и гладкие, не успевшие еще обрасти щетиной. Почему, когда рядил с боярами битву, больше всего думалось не о военных хитростях-засадах, не о том, достанет ли храбрости у владимирцев, и даже не о собственной возможной смерти — кто в нее верит в двадцать два года? Думалось о том, сколько же еще русские будут убивать русских?

Чтобы владимирцы в бою друг друга не побили, чтобы отличали своего от врага, велел Всеволод каждому воину на правую руку белую повязку надеть. Много на это холста беленого ушло. Что же, теперь на такой случай опять холсты запасать?

Великий князь Владимирский Всеволод Юрьевич, сойдя с коня, стоял молча, озирает расстелившееся перед ним широкое поле, отныне ставшее полем его славы. Эта битва для молодого князя была не первой: шестнадцати лет, совсем юным княжичем, ходил он на Киев, на Мстислава Изяславича, в ополчении одиннадцати князей. Правда, не по своей охоте ходил: была на то воля старшего брата, великого князя Андрея Боголюбского. И был тогда Всеволод самым младшим среди князей — одиннадцатым, и войску их за Киев пришлось сражаться больше с погаными торками¹ да берендеями². Но такого побоища ему до сего дня не приходилось видеть. И сколь велика его, Всеволода, вина в этом?

В этот миг неожиданно для себя, растерянного от множества вопросов, Всеволод стал великим князем. Он сел на престол несколько дней назад, но так ясно ощутил свое могущество и величие впервые и сразу. Словно сошло на него озарение. Он знал, что так будет всегда, и один Бог может лишить его величия.

Ощущение было и новым, пьянящим как вино, и давним, привычным, как бы данным ему с жизнью, при рождении. Природный ум подсказывал великому князю, что отныне он будет точно угадывать, когда ему приличествует позволять себе вопросы и сомнения, а когда подобает только править.

Он обернулся к стоявшим подле и увидел, что именно правления княжеского ждут они от него и готовы выполнить любое приказание, каким бы оно ни было.

¹ Торки — тюркское племя, родственное печенегам и половцам.

² Берендеи — тюркское кочевое племя в Южной Руси, заключившее союз с печенегами, побежденное половцами; исчезло в XIII в.

Умилным восторгом светились глаза Юрята, старшего друга и наперсника. Раньше у него такой взгляд появлялся лишь в храме Божием. У юного Гаврилы Настасича — после смерти своего отца самого богатого и самого молодого из бояр владимирских — щеки алели маковым цветом, как у девушки, впервые увидевшей суженого. Приземистый и грузный Федор Ноздря, у которого всегда при разговоре бегают глаза, теперь смотрел на нового всесильного хозяина ясно и прямо. И даже богатыри Петр Дедилец и брат его Мирон, известные противники всякой над собой власти, необузданные гуляки и сквернословы, стояли почтительно и строго.

— Воеводе сказать, что жду его во Владимире, — громко произнес великий князь. Это значило, что он со свитой отправляется в столицу всех городов русских, где будет ожидать возвращения войска с добычей и пленными. И ответственность за все ложится на плечи воеводы, а сделать ему предстоит немало, в три дня не уложишься. Изловить всех уцелевших из ростовской знати и еще тех, за кого можно получить хороший выкуп; собрать коней, оружие и всякий скарб. Пройтись по селам боярским — собрать скот и припасы, а главное — в Ростов наведаться, объявить, что великий князь ждет от них посольства. Впрочем, приказы такого рода выполняются войском с особенною охотой.

От холма поскакал в поле всадник — передавать воеводе княжеское повеление. Всеволоду подвели коня, и, оказавшись в седле, он почувствовал, как это сладко — быть уверенным, что все сделают по твоему слову. Свита великого князя спешно седлала коней. Малая дружина Четвертака уж давно была готова их сопровождать. Все было закончено.

А пожалуй, нет, не все.

— Да наказать ему, чтоб шибко не лютовали. Будет с них, — сказал Всеволод и, поворачивая послушного коня, краем глаза еще успел заметить, как от малой дружины кинулся в поле еще один всадник — вслед за первым.

ГЛАВА 3

— Добрынюшка! Гляди-ка! Вон она, видишь?

— Р-рыбка, дедушка? Р-рыбка? — Мальчонка недавно стал выговаривать букву «р» и пока не привык к ней, получая удовольствие от того, как сладко вздрагивает язык, когда ее произносишь.

— Вон, за корягой стоит, — показал Аким.

Мальчик, волнуясь, водил взглядом по воде, по листьям кувшинок, стараясь поточнее определить место, куда указывал палец старика. И тут он увидел ее, огромную щуку. Толстое как брусок тело рыбины, стоявшей рядом с полузатопленной черной корягой, было неподвижно. Щука растопырила красные перья, бока ее под солнцем переливались разноцветными пятнами.

— Красивая, — прошептал мальчик. И тут же повторил с удовольствием: — Кр-расивая!

Мгновенно щуки не стало. На том месте, где она только что была, вода взвихрилась и раздвинула круглые листья кувшинок, которые только что были неподвижны, словно приклеенные к ее поверхности.

— Ну что ж ты? Эх ты, рыбак, — пожурил Аким. — Рыба, она, милочка, любит, чтоб все тихо было. Ну, пойдем, другую поищем. А видать, сытая щука, коли нас с тобой испугалась.

Отсюда, где из Неро-озера вытекала небольшая речка, был хорошо виден город: большие городские ворота открыты и можно различить даже нарядных сторожей-стрельцов с саблями. И самое удивительное заключалось в том, что в озере этот огромный город отражался целиком, но вверх ногами. И длинная белая стена с узкими бойницами, которые хороши были тем, что из них можно стрелы кидать, а снаружи в того, кто кидает, попасть нельзя. И островерхие сторожевые башни, и даже золотые купола церкви, про которую дедушка сказал, что она — та самая, куда Добрыню водила маменька. Получалось сразу два города, и какой из них был лучше — тот ли, где жил Добрыня с тятенькой и маменькой на самом деле, или этот, другой, лежавший на воде, в котором жили одни только рыбы, любящие, чтоб все было тихо?

Сегодня дедушка Аким, как давно уж обещал, повел мальчика на озеро ловить рыбу. Разбудил его рано-рано, еще солнце не вставало, пришлось даже ждать, пока откроют ворота. Один стрелец им крикнул вслед: «Глядите, без рыбы не возвращайтесь, назад не пустим!» Поэтому во что бы то ни стало надо поймать большую щуку и показать стрельцу. Добрыня еще никогда не был на озере, и все здесь казалось ему очень интересным. Только непонятно было — как дедушка станет ловить эту щуку.

Аким повел мальчика дальше по берегу реки в поисках новой добычи. Ему помнились слова другого стрельца: «Что, дед, сдурел на старости лет? Иного дня тебе не будет?» И правда, надо бы выбрать день, когда все закончится. Да уж больно мальчишка извелся: где тятка да где тятка?

Хозяйка тоже сама не своя, как хозяйина проводила. Ох, хотел Аким сказать ему: не мешайся ты в чужое дело боярское! Да хозяин не любит, когда учишь его уму-разуму. А все-таки хотелось, чтобы молодой хозяин сходил на войну, только чтоб она была быстрая и легкая. Может, принесет хозяин злата-серебра, забогатеет, а то и холопьев новых заведет — и отпустит тогда Акима в монастырь. Хватит, пожил.

И жалко его, хозяйина, — ну какой он ратник? Дитем малым был, дитем остался. Ратник — это вон сосед Чумоха: зайдет к хозяину в избу — половицы трещат. Коней держит не для пахоты, а нарочно для ратного дела. И хозяйку жалко. Когда старый хозяин молодого на ней женил, она как-то сразу стала с Акимом ласковой, жалела его. Хозяйка — а будто милая внученька. Да все они как родные. Хоть и в холопьях, а жизнь с ними не тягостная, как у прочих. Просто жить устал Аким.

Ведь полвека прошло с тех пор как юношей Аким продался в закупы. Был он тогда совсем юным, шестнадцати не исполнилось, когда случился тот великий голод. Снег лежал в полях до самого мая, все не таял. А растаял — озимь под ним вся сгнила. Сеяли по грязи, ждали тепла. Чуть поднялись хлеба — мороз их ударил. Ну, все. Липовый лист, кору сушили, толкли и ели, конскую пададь найти считали счастьем. Потом только человеческая пададь везде дежала. Уходили тогда люди на юг. Воронам да волкам раздолье: ешь — не хочу. У Акима в чем душа держалась, смерти ждал, уж не хлеба, хотелось скорее помереть.

В Ростове полегче было. Там его и прибрал к рукам старый хозяин, договорились на десять лет. Родные все умерли у Акима-то, сам себе голова, заступиться некому. А хлебушка пожевал — и так ему еще захотелось того хлебушка хоть разок поесть, что согласился на десять лет, при свидетелях договор скрепили. Сначала, как отъелся, локти кусал, ан ничего не сделаешь. Решил: ладно, отслужу. Два года работал — землю пахал, хлеб сеял, за скотиной ходил. Тут у хозяина лошадь пала, тот бегом к тиуну, да так все обсказал, что записали Акима, как злодея, в вечные холопы. Он горевал тогда, а старый хозяин ему и жену привел, и избенку помог срубить — укоренил.

Жена была половчанка. Маленько успокоила она тогда Акима, потушила душевный пожар, зажгла пожар телесный. С нею прожил Аким двадцать четыре года. Звали ее по-их нему, по-половецки — Гайки, а он звал Ганя. Детей у них так и не было.

Перед смертью Гайки призналась Аким, что она жила и с тем, старым, хозяином. Прощения просила... Тот, старый, хозяин к тому времени умер. Аким не почувствовал обиды. Видно, погасли в нем все пожары — и душевные и телесные. А к тому времени у этого старого хозяина мальчонка вырос — нынешний молодой хозяин, как сына любил его Аким. Только и любить их, пока маленькие. Вырастают — сразу вспоминают, что ты холоп ихний.

Старик шел вдоль берега речки медленно, держа наготове хитрую снасть. К концу гибкого, но прочного ивового прута он привязал сплетенную из конского волоса петлю. Только сейчас их, шук-то, и ловить такой снастью, пока возле берега держатся. Заосеняет — рыба уйдет на глубину, и щука за ней уйдет. Мальчонке шибко посмотреть хотелось, как дедушка ловить будет.

Добрынюшка держался возле Акима, стараясь не шуметь. Шапчонку он снял — было жарко — и, как взрослый, засунул ее за пояс. Соломенные волосенки падали на глаза, мешали, и он то и дело нетерпеливым, отцовским движением отводил их со лба. Этот-то не станет его хозяином, подумал Аким, не успеет. Надо бы обстричь мальчонку, когда вернемся.

Да, да, пора в монахи подаваться. И заботушки поменьше, и душу спасешь, как старый хозяин любил говаривать. Пожалуй, если молодой хозяин вернется ни с чем, надо ему будет открыться, сказать про тайник.

Перед своим пострижением старый хозяин позвал Акима и дал ему тайком на сохранение горшочек с серебром да узорочьем покойной своей жены. Велел спрятать и хранить, пока не придет крайняя нужда, а коли ее не будет — перед смертью отдать молодому хозяину. Тот горшочек Аким зарыл в сараюшке, где куры. Отдать хозяину да пожаловаться на свою старческую слабость. Хотя не так уж слаб Аким, и старость пока не тяготит его, но притвориться слабым да больным холопу очень даже полезно. Отпустит его молодой хозяин, на радостях обязательно отпустит. Ведь так переживал, сокрушался об этой малой казне. Родного отца, к святой жизни приобщившегося, недобрым словом поминал! Отпустит. Вот только как они останутся без Акима? С Добрынюшкой жаль расставаться. Вон какой ладненький и смышленный, и сердечко у него доброе.

А, вот ты где, милая! Ну, сейчас мы тебя...

— Вот она, сынок, совсем рядом стоит. Видишь?

— Вижу, дедушка. Ой, поймай скорее, родненький!

Аким медленно, чтобы не спугнуть, завел тонкую петлю перед щучьей мордой и стал надевать на рыбу, стараясь не задеть плавников. Когда петля продвинулась к спинному плавнику, он сильно дернул удилице вверх. Захваченная поперек тулова, щука с шумом вылетела из воды и тяжело плюхнулась на берег.

— Вот мы ее как, Добрынюшка, — весело сказал старик.

Мальчик сидел на корточках возле щуки и разглядывал ее. Рыба не шевелилась, только безучастно дышали ее жабры. Потом она изогнулась и, подпрыгнув, снова увесисто шлепнулась.

— Ой, укусит! Береги руку, сынок! У нее вон зубы-то какие, — притворно испуганно проговорил Аким.

Добрыня отдернул руку и вскочил. С упрямым задором взглянул на Акима, засопев, набычившись, присел снова и погладил щуку по голове.

— А я не испугался! — гордо объявил он. — Тятка придет — я ему скажу, что щуки не испугался. Скоро тятка придет, а, дедушка?

— Скоро, сынок, — ответил Аким. И, чтобы отвлечь мальчишку от мыслей об отце, торопливо продолжил: — А давай-ка щуке кафтан сделаем! Ей без воды плохо, а в кафтане она у нас долго будет живая.

— А разве щука носит кафтан?

— Наденем — будет носить. — Старик достал из воды пучок зеленых водорослей и ловко обернул ими продолговатое тело рыбины. Концы водорослей заправил ей под жабры. Щука отнеслась к такому одеванию спокойно.

— Теперь лопушка надо найти. В лопушок завернем — она у нас до самого вечера проживет.

Добрыня живо разыскал лопух.

— Вот, сынок, а лопушок этот не простой. — Аким уложил щуку в суму, висящую у него через плечо. — Лопушок людей лечит. Бывает, когда кашляет кто-то сильно, так лопух варят и воду эту пьют. И все проходит. А если ноги болят или спина, то листья прикладывают.

— А пузо если болит?

— А от пуза ромашку варят. Да тебе же мамка давала пить, когда болело.

— Р-ромашка. Р-ромашка. — Добрыня снова забавлялся красивой буквой.

— А вот волчье лыко. Смотри ягоду не съешь, а то заболеешь. Да она и не сладкая. У него корень на человека сон наводит. — Аким обрадовался, что мальчонке интересно. — А вот это — папоротник, раз в году цветет, ночью, на

Ивана Купалу. Нынче он уж отцвел. Если этот цветок кто-то увидит, все его желания сбудутся.

— Хочу, чтоб тятка вернулся!

Добрыня подбежал к кусту папоротника, обнял его, захватив руками стеблей сколько смог:

— Папоротник, миленький, сделай так, чтоб тятка скорей вернулся!

Аким только крикнул огорченно. Не удавалось увлечь мальчишку разговорами, чтобы он хоть на день забыл об отце. И хозяйку молодую тоже донял. Ей и самой, видно, тревога душу терзает, а тут еще сынишка целый день все спрашивает да спрашивает. То плакать примется, то за ворота бегаёт смотреть, не идет ли тятка. Когда Аким предложил сводить Добрыню на Неро-озеро, она обрадовалась: своди, Акимушка, своди. Теперь, поди, еще о мальчонке начала тужить. Пора возвращаться, а то и самому неспокойно.

— Его еще, папоротник-то, к ранам гнойным да болячкам прикладывают, — сказал Аким.

Добрыня сразу отпустил растение и поглядел на свои руки.

— Пойдем другую щуку ловить? — спросил старик. — Нашей-то одной в мешке скучно.

К обеду они поймали еще двух, и ляпка сумы уже ощутимо давила на плечи Акима. Добрыня вызвался нести суму сам, хотя ему было тяжело. Решили поесть, а там и домой возвращаться. Сели на лужке у большой серебристой ивы. Достали снедь, завернутую в старую холстину матерью Добрыни: крутые яйца, пучок луку и большой кусок хлеба.

Когда собирались идти и Добрыня уже упрямо потянул к себе тяжелую сумку, рядом из кустарника раздался треск, и к ним на полянку вышла лошадь.

Увидев людей, она остановилась, потом нерешительно подошла и позволила старику взять себя за уздечку, один конец которой волочился по траве. Лошадь была справная, с новеньким седлом, надетым поверх потника, и короткими, затейливо кованными стремянами. Из седельной сумки высовывался изогнутый боевой лук и колчан со стрелами.

Замерев, мальчик смотрел во все глаза.

— Ты откуда такая взялась? — тихо спросил ее Аким. — Где хозяин твой?

И, поскольку лошадь ничего не ответила, обратился к Добрыне:

— Неладно что-то, сынок. На, поддержи-ка ее, а я покличу, может, отзовется хозяин.

Он сунул уздечку мальчику. Добрыня взял ее осторожно и стал держать на весу. Ему никогда еще не приходилось держать за узду большого коня.

Старик, сложив ладони воронкой, долго кричал во все стороны, но никто не откликнулся.

— Ну, тогда пойдем и ее с собой возьмем, — сказал он. Зашевелилась смутная, нехорошая догадка, Аким с трудом отогнал ее от себя. — Садись-ка в седло! Давай подсажу.

Добрыня был так взволнован сказочным событием, что не говорил ни слова. Необычно было сидеть на настоящем коне, вдыхая его теплый сладкий запах и вцепившись в луку седла — никогда бы не слезал!

Аким повел лошадь вдоль речки, чтобы снова выйти к озеру. До озера еще оставалось порядочно, как вдали послышался слабый, но частый колокольный звон. Так звонят при пожаре. Аль беда какая приключилась?

От озера было видно, как по дороге, ведущей к городским воротам, тянутся разрозненные пешие ратники. На стенах возле островерхих башен мечется стража. Аким прибавил шаг, украдкой поглядывая на мальчика: понял ли он?

Добрыня, видно, тоже заметил, что в городе неспокойно, он сидел по-взрослому нахмуренный, сжав губы.

Вскоре они выбрались на дорогу. Трое усталых ратников, как раз проходивших мимо них, равнодушно смотрели на старика и мальчика. У одного из воинов грязной тряпичей была перевязана голова, он опирался на гладкую и прямую палку, бывшую, наверное, обломком копья. Аким так и сунулся к ним.

— Люди добрые, что случилось? — дрожащим голосом спросил он.

— Что, что... Не видишь разве? — лениво ответил один.

— Да скажите же, — не отставал Аким. — Никак, побили нас?

Перевязанный вдруг озлился.

— Вас побьешь, как же! — высоко и силно заорал он, с непонятной ненавистью уставив бледное лицо на старика. — Тебя там не было, старый пес! На печи сидите! Не хотите небось подышать!

— Не ори на дедушку, дур-рак! — неожиданно крикнул Добрыня. — А то как дам!

Он храбро глядел на перевязанного, но на глаза нависли слезы. Перевязанный с удивлением замолчал —

наверное, думал, что ответить мальцу. Ничего не придумав, плюнул и зашагал дальше.

Из небольшого села, расположенного справа от дороги, бежали люди, кто — таща на себе, кто — везя на телеге мешки и узлы. Торопились к воротам — спастись за городскими стенами. Возле самых ворот красиво одетый, но без шапки и оружия всадник ругался со стражниками, норовившими, видно, закрыть тяжелые, обитые железными полосами створы, для чего несколько человек уже взялись за толстый брус, который служил засовом. Всадник, прижавшись к гарцующему коню, рукой грозил стражникам, и те все не решались двинуть створ. Из ворот вышел человек с мечом у бедра, что-то сказал всаднику, и тот, понукая коня, въехал в город, стражники опустили брус.

Возле самых ворот Аким ссадил Добрыню с коня и подошел к человеку с мечом. Трое пешцев, не взглянув, прошли в ворота.

— Батюшка, прости, не знаю, как величать тебя, — просительно начал Аким, но человек с мечом нетерпеливо перебил его:

— Чего тебе? Говори быстрее!

— Да вот лошадка наплась, да без хозяина. Возьми, сделай милость!

— А ты, видать, богатый — коней раздаешь, — зло хохотнул тот. И добавил: — Ладно, дед, уходи. Некогда с тобой тут. А коня — хоть брось, хоть себе возьми. Скоро владимирицы придут — им и отдашь.

Сказав это, он повернулся и пошел под стену, задирая голову и глядя на возню там, у сторожевой башни. Аким все же спросил ему вслед:

— Так, выходит, побили нас?

Человек махнул рукой, не оборачиваясь:

— Побили.

Аким перекрестился. Мальчик, глядя на него, тоже сотворил крестное знамение.

Старик отпустил лошадь и повел мальчика в город. А лошадь тронулась за ними, будто признав в них новых хозяев. Никак от нее отвязаться не удавалось. Не желая обидеть животину ударом, Аким ласково уговаривал ее отстать, и каждый раз, казалось, она его внимательно слушает. Но стоило им двинуться — она опять шла следом. В конце концов Аким взял ее за поводья.

Вокруг было неспокойно. По дороге, ведущей к Верхнему городу, и по прилегающим улицам бегало много народу, но на праздник было не похоже. Звонили колокола со

всех сторон, и этот звук, обычно такой переливчатый, раскатистый, теперь казался резким и тревожным. Добрыня уже не спрашивал Акима об отце, потому что сейчас ему спрашивать было страшно. Он подумал: лошади, наверное, тоже боязно, поэтому она и не отстаёт. Чем ближе они подходили к своему дому, тем становилось страшнее.

Две женщины поднимали с земли третью, которая все вскрикивала и норовила вырваться из их рук, чтобы снова упасть ничком. Была она без платка, со спутанными волосами и очень некрасивая. Только куры, будто ничего не замечавшие вокруг, бродили рядом, рылись в земле и клевали добытое.

Дома тятки не оказалось, а мамка сидела на крыльчке испуганная и будто бы не очень обрадовалась их приходу. Увидев лошадь, закрыла себе рот ладонью и смотрела на нее. Даже про рыбу не спросила. Тут только Добрыня вспомнил про щук. Забыли они с дедушкой тяжелую сумку. Но ее не было жалко, разве только немножко. Дедушка привыкával во дворе лошадь, и мать молча смотрела на нее.

— Вот, хозяйюшка, скотиной обзавелись, а ходили-то за рыбой, — бодро говорил дедушка слушавшей его женщине. — Да не горюй раньше времени! Вернется хозяин — а тут ему и конь готов.

— Уведи, уведи ее, Акимушка! — вдруг закричала мать. — Зачем привел? Теперь он точно не вернется! Знак это недобрый, выгони ее!

Лошадь и вправду теперь казалась недоброй, зловещей. Добрыня подбежал к матери, припал к ней и заплакал. А мать, одной рукой прижимая сына к себе, другой все махала на лошадь, и Аким, тихо охнув, перекрестился и стал отвязывать поводья. Лошадь не хотела уходить со двора, поворачивалась к воротам боком и норовила потянуться к охапке сена, которую старик положил на землю и от которой она уже успела отщипнуть клочок. Тогда Аким решил отворить ворота и выгнать скотину палкой.

Он подошел к воротам и отворил их. За воротами, видно собираясь постучать, стоял Сыч, пожилой староста их конца. Рядом с ним переминался с ноги на ногу — Аким сразу его признал — тот самый молодой дворовый Ондreja Ярыги, что неделю назад прибежал звать хозяина на войну.

Сыч, отстранив Акима, шагнул во двор, на ходу снимая шапку. За ним последовал и дворовый, сочувственно кивнувший старику.

И тут Аким подумал, что в монахи ему постригаться не время.

Загонщиков еще не было слышно, великий князь и все, кто находился с ним в засаде, уже нетерпеливо прислушивались: вот-вот из-за дальнего леса донесутся раскатистые звуки охотничьих рогов. Славной обещала стать нынешняя охота! Утром Всеволоду донесли, что стадо буйволов обложено, загонщиками отрезаны этому стаду все пути, кроме одного, и как только от государя будет дан знак, сразу погонят буйволов к засадному месту.

Главным ловчим — за неимением своего, опытного, а отчасти и в шутку — Всеволод назначил дворянского сына Прокшу, впрочем перед тем пристрастно расспросив его, поиспытав и обнаружив у юноши удивившие самого князя знания охотничьего дела. Выяснилось, что Прокшины дед и старшие дядья были завзятыми охотниками, держали даже выжловых собак¹, ходили на медведей и лосей и Прокшу брали с собой. Так что охотничье дело было для него знакомым.

И хотя должность старшего ловчего великого князя была для Прокши непомерно высока — в пору хоть бы и любому боярину — и назначение юнца могло быть с обидой воспринято кое-кем из приближенных, что не прочь были сами занять это место, Всеволод из озорства, которое частенько охватывало его в последнее время, взял да и приказал выдать мальчишке новую богатую одежду, коней, слуг — каких сам выберет. Одурманенный привалившим счастьем, Прокша, а теперь для многих Прокофий, вторые сутки с коня не слезал, сам мотался по лесам и дубравам, высматривал подходящую дичь для государя, расставлял загонщиков, придирчиво осматривал и отбирал собак, а если бы можно было — и буйволов сам перешупал бы и холки их мохнатые частым гребнем расчесал, так уж хотелось ему этой первой охотой угодить великому князю.

Однако своим назначением усердный Прокша был обязан не только княжеской шутке. В глубине души Всеволод чувствовал, что поступает правильно и дальновидно. С самого начала следует окружать себя молодыми верными людьми. Пусть их благополучие целиком зависит от его, Всеволода, прочной власти: пока он будет править — и они при нем останутся. Верно служить будут.

¹ Гончие; выжловка — сука, которая водит стаю; выжлятник — старший псарь.

А все обиженные и обойденные государевой лаской станут недовольство свое обращать не на князя, а на тех, кого он приблизил и возвысил. Ведь как в семье: если кому-то из детей не досталось пряника, обида не на тятку с мамкой, а на тех братьев и сестер, кому этот пряник достался.

И верно: Всеволод, скосив глаза влево, на юного Гаврилу Настасича, явственно увидел у того на лице неумело скрываемое чувство обиды. Боярин сей ревностно просил у великого князя достойной службы, но ничего пока не получил, кроме права везде сопровождать своего государя. Ничего, пусть осознает, что государева любовь важнее должности и любовь эту надо завоевать и постоянно поддерживать. А что касается Прокши, так у него сестра есть, годом младше, и, говорят, необыкновенной красоты цветок, каких на Руси еще и не видели. Что же, если так — то и женить Гаврилу на ней, он юноша нежный, к девичьей красоте очень чувствительный, а с Прокшей, под началом которого вся княжеская охота, теперь никому не зазорно породниться.

Мира и покоя — вот чего душа просит. По-хорошему на охоту княжескую выезжать надо на месяц, с большим обозом, с дружиною. Княгинюшку взять с собой, дочку с ее няньками, проехаться до самой Волги... Нет, нельзя надолго оставлять Владимир, предназначенный стать столицей всем городам! Нет пока мира на русской земле. Злодей Мстислав все рыщет где-то, все никак не утомится. Он было в Новгород вернулся, чтобы снова там сесть княжить, а новгородцы-то его и не приняли. Ну, еще бы! Почувствовал Великий Новгород силу владимирского князя. Теперь вот прислали послов, просить у Всеволода государя для себя. Туда посадником лучше всего будет послать племянника Ярослава, ведь и отец его, покойный Мстислав, сидел князем в Новгороде. Там и умер, там и погребен. Так тому и быть.

Наконец стало слышно загонщиков, и тут же сбоку донесся конский топот: это ловчий Прокша торопился к своему князю, доложить, что и как. Подъезжая ближе, он было собрался спешиться, чтобы пасть на колени перед Всеволодом, но тут опять веселое озорство нашло на князя. Повелительным жестом он оставил Прокшу в седле, словно поднимая его до положения находившихся здесь знатных мужей. Кое-кто поджал губы. Ничего, пусть привыкают.

— Ну что, отец Прокофий? Где твоя красная дичь? — нарочито строго спросил Всеволод, однако так, чтобы лас-

ка в голосе его все же не осталась ни для кого не замеченной. — Долго ли ждать прикажешь? Смотри, коли без добычи останемся!

— Гонят, государь, скоро здесь будут. Стадо большое, двадцать и две головы. Старый бык огромный! Я такого-то прежде и не видывал. — Прокша пытался побороть охватившую его робость, и от этого голос его, по-мальчишечьи звонкий, ломался и дрожал. Однако ловчий уже не делал попыток сойти с коня и держался в седле уверенно, но с почтением к князю, как и подобает.

— Что же ты такую страсть на нас гонишь? — шутливо сказал Всеволод. — Или тебе князя своего не жалко? Они же нас всех тут потопчут!

И даже те, кто сидел с поджатыми губами, осуждая князя за неуместное расположение к худородному мальцу, — даже те улыбнулись. А уж Прокша-то рассиялся как красное солнышко, влюбленными глазами глядя на Всеволода: не родился еще такой зверь, которого великий князь не одолеет!

Гонимое стадо должно было выбежать на просторную поляну, у края которой, укрывшись за деревьями, расположилась засада Всеволода. С князем были ближние бояре, и среди них — Кузьма Ратишич, доблестный муж, отличившийся в битве на Юрьевском поле. Зоркий на людей Юрята уж советовал Всеволоду обратить на Ратишича внимание как на возможного будущего воеводу. Сам Юрята, конечно, тоже находился рядом со своим князем, сейчас еще и в качестве оруженосца: он держал при себе запас стрел и несколько коротких копий с острыми железными наконечниками.

Вот уж раздался топот бегущего буйволиного стада, подгоняемого протяжным пением рогов и криками загонной челяди. Всеволод, чувствуя в себе нарастающее нетерпение, подобрался в седле и не глядя протянул Юряте руку, в которую тот вложил копьё. Оно пришлось князю по руке, так и просило броска, тяжелое острое железо словно само стремилось вперед, норовя увлечь за собой легкую деревянную рукоять. Всеволоду уже хотелось броситься на перехват приближавшегося зверя, но он выжидал, осаживая вдруг затанцевавшего под ним коня.

Конь, видимо, почуял буйволов и беспокоился. Дело известное: на княжеской охоте коню трудней приходится, чем на ратном поле. Там знай себе слушайся хозяина, а на охоте все не так, тут уж на седока не надейся, а сам гляди в оба — как бы тебя лось на рога не поднял, буйвол с ног

не спшиб либо медведь лапой брюхо не распорол. Хозяин-то на охоте опасности словно и не чувствует, так и рвется на встречу острым рогам да оскаленной пасти.

Может, в другое время Всеволод и погадал бы, о чем думает его конь, но теперь некогда.

Стадо выбежало на поляну. Впереди неслись буйволицы с молодымком. Молодые телята уже успели нагулять роста и веса и бежали резво, не отставая от родительниц. За ними держались несколько бычков-сеголеток, которых старому вожаку еще не пришла нужда выгонять из стада из-за соперничества. Наконец позади всех, будто заслоняя всю свою семью от неведомой опасности, шел сам вожак. Он был огромен и сед, и если бы опасность, угрожавшая стаду, была для него знакомой, он не стал бы спасаться бегством, а сам обратил в бегство любого противника. Сейчас же бежать его заставлял трубный рев, он доносился, казалось, отовсюду, а врага видно не было. Старый бык выглядел не испуганным, а лишь сбитым с толку и оттого разъяренным, он и бежал-то словно нехотя сотрясавшей землю трясцой, сердито похрапывая и не желая пуститься вскачь.

К нему-то и устремился Всеволод. Самый красный зверь — князю, поэтому на вожака больше не посягнул никто. Остальные засадные кинулись на стадо, успевшее проскочить вперед. На другой край поляны уже вылетел второй отряд засадных — преградить буйволам путь к бегству. Этот отряд почти весь состоял из княжеской большой дружины, а распоряжался им Мирон Дедилец. Второй отряд по уговору окружал поляну и не давал добыче уйти. Стадо смешалось. Буйволицы и молодые быки кинулись в разные стороны, налетая друг на друга, валя на землю тех, кто послабее. Может, вожак, поняв наконец, в чем опасность, сумел бы прорвать оцепление и вывести в этот прорыв если и не все стадо, то хоть нескольких буйволиц. Но вожак не сделал этого. Он заметил приближавшегося на коне врага. И, замедляя бег, начал разворачиваться для нападения.

Он еще находился боком ко Всеволоду, но уже грозно наклонял голову, украшенную тяжелыми загнутыми рогами. Ударом этих рогов он мог подбросить вверх молодого медведя, как котенка. Всеволод, встав в стремя, быстро бросил свое короткое копьё, целясь буйволу под лопатку, чуть повыше плеча, обозначенного под шкурой чудовищным бугром мышц. Но волнение подвело, и копьё вонзилось в крутой загривок, пропороло шкуру, но мяса, видать, не затронуло, бессильно повиснув в торчащей густой шерсти. Словно и не заметив укола, вожак бросился на князя.

Верный Юрята уже сунул Всеволоду другое копьё и успел, пока князь терзал поводьями испуганного коня, подскочить к быку с правой стороны и со всей силой хлестнул его плетью по морде, стараясь отвлечь гнев зверя на себя. Это удалось. С неожиданным проворством вожак переместился в сторону Юраты и ударил снизу, в грудь коня, опрокинул его едва не навзничь; конь все же извернулся и завалился на бок, позволив седоку упасть рядом. Теперь Юрята стоял перед свирепой громадиной пеший и безоружный. Копья, лук и стрелы валялись в траве, и не было времени их поднять.

Но копьё было у князя, и буйвол теперь опять повернулся к нему левым боком. Уже не думая о добыче, а только о том, как выручить друга, чтобы не кидать копьё, Всеволод заставил храпящего от ужаса коня броситься вперед и ударил наверняка. Копьё вонзилось точно под левую лопатку, Всеволод ощутил рукой через древко вязкий тяжелый удар смертно вздрагнувшей плоти и, перегнувшись в седле, успел еще весом тела надавить на оружие, вонзая его глубоко в мясо.

Бык упал на передние ноги, потом подломились и задние. Но умер он не сразу. Еще трижды животное пыталось подняться, уже без храпа, молча, поднималось и снова падало, потом несколько раз ударило ногами о землю как бы сиюсь убежать от смерти, но все было кончено.

Конь Юраты, оглушенный, тоже не вставал, и по тому, как судорожно вздымались его бока, было видно — долго не протянет, от страшного удара, наверное, что-то повредилось внутри. Старый бык весь дух из него вышиб, и конь медленно успокаивался, затихал, глядя в никуда затуманенным смертью взглядом.

Всеволод огляделся. Бойня на поляне шла к концу. Почти все буйволы лежали убитые, немногих оставшихся на ногах били в упор стрелами и копьями. Последнему молодому бычку Гаврила Настасич вогнал копьё в крестец и добил его, с жалобным мычанием волочащего по траве задние ноги, ударом топора в затылок. Остро пахло диким зверем, псиной и горячей кровью.

Почувствовав прикосновение к ноге, князь повернулся и встретил преданный взгляд Юраты. Тот стоял рядом, держа княжеское стремя.

— Спаси тебя Господь, княже. Уберег ты меня, — проговорил Юрята и вдруг, быстро припав, поцеловал ногу у Всеволода. Это было так неожиданно, что князь попытался ее отдернуть. Юрята выпрямился, но стремени не выпустил.

— Не надо так. Ни к чему это тебе, — сказал Всеволод, давась вдруг появившимся в горле комком. — Ты мне не раб, и рабом тебя видеть я не хочу. Ты мне друг дорогой. Ты вместо брата мне, помни.

— Запомню, государь, — просто и твердо ответил Юрята.

— Ну и ладно. Теперь ступай, управься там со всем. — Всеволод показал рукой в сторону разбросанной по всей поляне добычи. — И Прокшу ко мне пришли. Что-то я его не вижу.

Прежде чем уйти распоряжаться добычей и приготовлениями к пиру, который, по заведенному обычаю, должен быть тут же, на свежей крови, Юрята, виновато улыбнувшись князю, шагнул к своему коню. Достал из-за ноговицы свой нож, нагнулся над умирающим животным, тихо, с ласковыми словами зарезал его, сунув лезвие куда-то за ухо, вздрогнувшее было, но сразу застывшее.

И когда Всеволод посмотрел другу вслед, он неожиданно ощутил какую-то неловкость, чего раньше у него никогда не случалось с Юряткой. Великому князю, пожалуй, не стоило называть братом своего дядьку и телохранителя. Великому князю надо строго следить за своими чувствами, точно определяя их меру для каждого. Тот же Юрята говаривал: не показывай никому ни любви чрезмерной, ни гнева, люди видят в этом твою слабость, и даже те, кто тебе предан, будут слабостью твоей пользоваться. Мало ли тому примеров!

На миг стало страшно. Всеволоду представилось вдруг, как Юрята входит к нему в спальню и, так же виновато улыбаясь, достает свой засапожник¹. Вон он с конем-то как, а ведь любил его и холил.

Впрочем, нет, от Юрятки такого ждать не приходится, а этот внезапный страх — вовремя, не иначе Господь его послал. На будущее урок.

Такова уж доля государева — жить с оглядкой, за приветливой улыбкой подчас скрываются злоба и вражда. Надо будет про это с княгинюшкой поговорить, она, утешительница, всегда нужные слова найдет, и как бы душа твоя ни была смятенна, а успокоится и укрепитя. Княгине Марье — вот кому можно любовь свою открывать, рядом с ней можно быть и слабым, и растерянным, и даже смешным, не боясь потерять княжеского величия.

¹ Засапожник — нож, который носят за голенищем (или ноговицами); встарь — также ратный нож.

Как всегда, подумав о супруге, Всеволод успокоился. Они с Марьей были женаты седьмой год, но ему казалось, что с течением времени их любовь не переходит в привычку, а остается все тем же сильным чувством, в котором они когда-то признались друг другу.

Поженил их князь Андрей Боголюбский. В то время Андрей всюду искал себе союзников и, посылая сватов в Богемию, к богатому и влиятельному чешскому князю Шварну, рассчитывал укрепить связи Всеволода с западной знатью, а заодно и отдалить от себя. Думал Андрей, что князь Шварн даст юному зятю удел в своих землях. Но так не вышло, Всеволод остался в Киеве у своего брата Глеба Юрьевича, и от всей хитроумной задумки Боголюбского выигрыш достался только Всеволоду. Дела тогда творились великие, только что был изгнан из Киева князь Мстислав Изяславич, Андрей воевал с Новгородом, большие и малые князья делили между собой Русь, а рядом со Всеволодом оказалась невысокая тоненькая девушка, прямо в душу глядевшая своими доверчивыми оленьими глазами. Опять Мстислав осаждал Киев, вся Южная Русь кипела усобицами; дикие половцы опустошали незащищенные земли, а Мария, смешно выговаривая русские слова, старалась, по русскому обычаю, обихаживать своего супруга: и на войну его провожала с плачем, и встречала с радостью. И тосковала без него, как и он без нее.

Вот только сыном пока не благословил их Господь. Когда первый раз понесла Марьюшка, Всеволод, ошалевший от своего отцовского чувства, надеялся, что родится мальчик. И молился денно и нощно, и по совету всезнающего Юрятки для верности клал у изголовья супружеского ложа меч свой и лук со стрелами. А родилась дочь Елена — слабая и тихая девочка. Пять лет ей, а говорит мало, с куклами не играет, сидит себе в уголке целыми днями, то ли думает о чем-то, то ли просто так. Уж как Марьюшка к ней ластится: доченька, да не нужно ли тебе чего, не рассказать ли сказку, не скушаешь ли петушка сахарного? Посмотрит на мать да и скажет тихо: нет. Старухи говорят — Божья девочка, умиляются, дуры. Ах, сына бы великому князю! Да не одного, а хоть дюжину давай, и все будет мало! Вот бы с кем на охоту ходить. А потом и на ратное дело с собой брать. И Русь в наследство им оставить, твердо зная, что оставляешь в родных, надежных руках.

Очнувшись от нахлынувших дум, Всеволод увидел рядом с собой Прокшу. Ловчий, подъехав к князю, все же спешил и теперь ждал приговора своим трудам — ни жив

ни мертв стоял, держась за поводья коня, как утопающий за соломинку. Со стороны поляны к князю уже спешили участники охоты — те, кому было положено находиться возле государя. Ближе всех был раскрасневшийся Гаврила Настасич, и Всеволод еще раз подумал, что надо его женить на Прокшиной сестре и не тянуть с этим.

— Ладно, отец Прокофий, не дрожи, — сказал Всеволод. — Молодец, порадовал охотой.

Прокша от счастья заморгал глазами.

— С полем тебя, государь! — воскликнул Гаврила. — Экого ты зверя завалил!

— С полем, великий государь! С добычей! — заговорили вокруг.

Всеволод знал, что приготовления к пиру уже идут, но все равно ему нужно слово об этом сказать, иначе порядок нарушится. Этого слова от него все ждали. Он обвел взглядом приближенных.

— Ну что, славно поохотились, любезные бояре, — весело сказал великий князь. — Теперь прошу честь честью отобедать со мною и чашу вина испить.

— Слава князю! Слава! Уж мы-то выпьем за твое здоровье!

Все сошли с коней, перепоручив их слугам и дворовым людям, которых сразу вокруг оказалось множество. Уже стелились на траву белые льняные скатерти, расставлялась посуда — братины¹, серебряные кубки, блюда, бочата с солениями. Для пира княжеского все было, как всегда, припасено в обозе заранее, и даже если бы не дал Бог добычи, нашлось бы чем закусить. Убитых буйволов грузили на телеги — везти на княжеский двор, готовить угощение для горожан по случаю удачной княжеской охоты. Сволокли двумя конями и Всеволодова быка. Для пира же были оставлены два телянка помоложе и помягче. В стороне копали ямы для березового жара, свежевали молодых бычков, вертелы были уже наготове. Вскоре потянуло дымком от костров; на широкой поляне хватило места всем — и князю с боярами, и дружине. И вот наконец чаши и кубки наполнены. Не для таких ли мгновений живет человек?

Вся честная братия исправно выпила за здоровье князя, потом княгини, потом за охоту, а потом начался обычный русский пир — отрада телу и веселие душе.

¹ Братина — сосуд, в котором разносится всякое питье на всю братию, потом разливается по деревянным чашкам и стаканам.

Всеволод старался отпивать из своего кубка поменьше, но и от того, что выпил, ему стало на редкость хорошо. Вино было похоже на греческое — темно-красное, как кровь, — но отдавало медом и душистыми травами. Что за искусник его готовил? Захотелось есть, и Всеволод стал жадно утолять первый голод, отломив бок копченого гуся, блестевшего коричневым жиром. Все сидевшие рядом с князем казались ему необыкновенно добрыми и милыми сердцу. Так, наверное, оно и было. Оказалось, что интересно слушать, как толстый Мирон Дедилец хвастается своей кухаркой: уж такая она у него мастерица, всякий обед будто праздник. Особенно кстати кухаркино умение во время поста, когда животную пищу есть нельзя: такие пироги с грибами да каши готовит, что и мяса не захочешь. И солить-квасить всякий овощ тоже ловка.

— Что за травы туда кладет, не знаю. А поверишь ли, княже, — Дедилец пьяными, но честными глазами глядел на Всеволода, — веришь ли — до самого лета что груздок, что огурчик долеживают, да как живые, прямо с грядки, а уж на зубах хрустят! — Тут он спохватился, чтобы не подумали, будто он хает стоящие на столе соленья из княжеских погребов. А поскольку так оно и выходило, то Мирон, стремясь загладить оплошность, продолжил: — Я к тому говорю, княже, что, может, возьмешь ее у меня, бабу-то? Уж так для тебя, свет наш, постарается! Доволен будешь! — закончил Мирон с заметно огорченным выражением широкого своего лица.

Все, сидевшие рядом и слышавшие, посмеивались. Не смог удержать улыбку и Всеволод:

— Благодарствую, боярин. Да только как же я тебя стану обездоливать? Я лучше к тебе обедать попрошусь. Примешь?

Дедилец, переводя дыхание, только руками развел:

— Батюшка государь, отец родимый! Да мы для тебя!..

И вскочил на ноги с поднятым кубком:

— Слава князю нашему!

— Слава! Слава! — загремело над всей поляной. Все поднимались, пили и переворачивали кубки, показывая государю, что пьют за него до дна.

Всеволод с улыбкой глядел на них. Ему казалось, что все искренне радуются тому, что он их князь и властелин. Радость в душе Всеволода ничто не омрачало, а следовало все-таки поглядывать на подданных со вниманием. Зорок должен быть глаз государя.

Тут стали снимать с вертелов зажаренных телят под одобрительные крики всей захмелевшей братии. Всеволоду отделили лучший кусок, но поднести были обязаны в последнюю очередь, а пока он по долгу хозяина наблюдал за тем, как повара разделявают туши и раскладывают перед гостями багрово-коричневые, истекающие соком куски говядины. Но никто пока не ел, ожидая, когда поставят последнее блюдо перед князем. Затем, как водится, снова возгласили здравицу князю, княгине, славному городу Владимиру, опять переворачивали пустые чаши.

Потом мало-помалу пир вновь покатился по наезженной дороге. Звон кубков, звяканье ножей, разговоры. Вот уж Юрta махнул кому-то призывно рукой, и возле пирующих выстроились в ряд песельники с гуслями, рожками и бубнами. Спросили, что хочет великий князь вначале послушать. Всеволод велел петь про богатыря Олешу и Тутарина Змеевича. Песельники грянули в бубны, старший певец завел протяжно. Разговоры, шум, звяк — все смолкло, теперь вся братия слушала песню про то, как повадился Тутарин-змея русских девушек в полон таскать, детишек сиротить да разорять землю русскую. Погрустнели. Кое-кто закусил бороду, иной комкал шапку, вытирая слезы. Большой, грузный Мирон Деделец весь обмяк, плакал, мотал головою, подпевал: ах же ты, змея, змея поганая... Когда богатырь Олеша вконец осерчал и уже вознамерился срубить змею все его головы, заслушавшегося Всеволода тронули сзади за плечо.

Он обернулся. Подручник Юрta, трезвый, как монах, наклонился к его уху:

— Гонец прибыл, государь, из города. Недобрые вести привез. Князь Мстислав с рязанским князем Глебом опять войной на тебя пошли.

Может, он нарочно сказал «на тебя», а не «на нас», а может, и нечаянно, только слова его сразу оказали нужное воздействие. Всеволод почувствовал, что трезвеет.

— Велишь его сюда вести, гонца-то, или потихоньку в сторону отойдем, чтобы не переполошить никого до времени? — спросил Юрta.

— Пойдем.

— Давай-ка, государь, обопрись на руку.

Всеволод, опираясь на твердую, как полено, руку Юрta, поднялся, досадуя про себя на ослабевшие от выпитого вина ноги. Бояре, сидевшие рядом, зашумели, думая, что застолье кончается, раз князь уходит, а им не хотелось...

— Сейчас, сейчас вернемся, — успокоил их Юрta. — Князю отойти нужно.

Недалеко за деревьями стоял конь и рядом с ним — незнакомый Всеволоду отрок с испуганным лицом. Юрta уважительно встал на полшага от князя, чтобы не поддерживать его. Всеволод и сам теперь стоял на ногах твердо. Молодой отрок сорвал шапку и повалился ему в ноги, видимо не решаясь сказать то, что должен. Ткнувшись лбом в траву, он замер на некоторое время, потом осторожно поднял голову и поглядел на своего государя.

— Говори, — жестко повелел ему великий князь.

ГЛАВА 5

Добрыня открыл глаза и сразу подумал: вот сейчас мамка войдет, велит вставать к завтраку. Так вдруг стало радостно, будто мамка и впрямь была здесь, в сенцах. Тут же вспомнилось, что мамки нет, и тятки тоже. Обняв подушку, Добрыня заплакал, спросонья плакалось легко.

Сквозь затянутое бычьим пузырем окошко пробивался хмурый утренний свет. Дедушки в избе не было. Поплавав вдоволь, Добрыня вспомнил, что дедушка Аким еще вчера собирался пойти к брату Никифору по делам: хотел купить воз сена для коровы да сторговать сколько-нибудь овса для коня Найдена. В монастырском хозяйстве сено и овес были дешевле, чем в Боголюбове на торгу у купцов. Дедушка Аким обещал вернуться к обеду, чтобы им с Добрыней засветло успеть разгрузить воз и затащить сено в стойку. Небольшие трехрогие вилы, как раз по руке мальчику, стояли в сенях, прислоненные к стене, рядом со взрослыми, дедушкиными. И вообще дел было много: расчистить во дворе недавно выпавший снег, съездить с санками к колодцу — привезти бадью дымящейся морозной воды, днем подтопить печь — вон и дрова уже положены рядом, дать корове навильник сена. Это, пожалуй, для Добрыни самая трудная задача: к корове он относится с опаской — того и гляди, боднет. Дедушка говорил, что она старая, а ребятишек к себе не подпускает из-за обиды какой-то, которую ей причинили такие, как он, сорванцы.

На лавке возле окошка стояли две большие крынки с молоком — значит, Ракулица приходила, подоила корову, а Добрыню пожалела будить. Она добрая, помогает им с дедушкой по хозяйству. Всегда приласкает, приголубит, да только мамку, конечно, не заменит она.

Почувствовав, что опять подступают к глазам слезы, Добрыня вылез из-под одеяла, прыгнул на пол. Босые ноги обожгло холодом, отчего сразу стало веселее на душе, исчезли последние остатки утреннего сна. На теплой приступке стояли валенки, и Добрыня схватил их, предвкушая, как сладко сейчас станет в этих валенках замерзшим ногам. Накинул кожушок и выскочил во двор. Остановился на крыльце, зажмурился, пока глаза не привыкли к ослепительной снежной белизне.

Вот уже скоро полгода, как Добрыня с Акимом переехали сюда, к Боголюбову, в большое село Утицы, записанное за Боголюбовским монастырем. Прежняя жизнь их в Ростове-городе как-то враз поломалась, кончилась, и вот куда теперь их занесло.

Тогда, летом, случилось самое страшное, что могло только случиться. На княжеской рати убили Добрыниного отца, а через неделю и мать, все дни напролет плакавшая у окна, вдруг охнула, схватилась за грудь и тихо опустилась на пол. Ее перенесли на изложницу, брызгали водой, к ночи Аким привел какого-то темного и страшного старика, который дул мамке в лицо, шептал над ней непонятные слова. Но мамка перестала дышать, и все.

Добрыня помнил, что в те дни ему постоянно хотелось спать. Так бы лег куда-нибудь, чтобы не видеть никого, — и спал бы. Даже когда дальние тетки, пришедшие на похороны, подвели его попрощаться с мамкой в последний раз, он с трудом смотрел на нее слипавшимися от неборимого сна глазами.

В доме их стало пусто и жутко.

Дедушка Аким, погоревав об Ирине, которую любил как родную дочь, вдруг понял, что стал теперь вольным человеком, совсем как в юности. Лишившись родных и близких людей, он лишился и хозяев. Добрынюшка же был так мал еще, что не мог считаться Акимом господином. В обельной записи значилось: быть Акиму рабом по смерти хозяина и сына его. А про внука старого хозяина там не было сказано!

Как положено похоронив Ирину, Аким все же решил уйти в монастырь. Но куда пристроить мальчонку?

Сотский Ондрей Ярыга, самый близкий теперь родственник Добрыни, прикинул в уме: прокормить мальчика ему вполне по силам; кроме того, немалую выгоду он мог получить, если бы все узнали, что взял он на воспитание сына погибшего товарища, спасшего жизнь самому Ондрею. Богатство богатством, а кое-кто уже давненько стал косо

поглядывать на сотского: мол, и жаден не в меру, и на руку не чист. А ведь такому мнению о ближнем люди всегда верят. А Ондрей всерьез рассчитывал начать купеческое дело: торговать воском, пушینیной и другим товаром. Без людского уважения дело могло и не пойти. В гривне — сила, а молва худая впереди человека бежит, и гривной ее не остановишь.

Но времена были еще смутные, ненадежные. Пришлось покориться великому владимирскому князю, но и покряхтеть пришлось, отсчитывая вырытые из земли припасенные про черный день гривны. Тяжелую виру¹ наложил на Ростов князь Всеволод, и посадник в Ростове сел от него, и тысяцкий от него же. А эти уж постарались весь налог собрать до последней ветхой куны. Коней, скот взяли.

Ну — взяли, того уж не вернешь. Ничего. А сыновья у Ярыги взрослые, надо и об отделении думать. Женатые уж все. Тоже — расход. А три дочери на выданье — вот где расход! Женихов-то в Ростове сильно поубавилось, приданое нужно такое дать, чтоб взяли девок, тем более что и лицом и телом все три удались в отца.

Голова шла кругом. И когда взвесил все это Ярыга на своих тайных весах, такой помехой в жизни показался ему маленький Добрыня, что наотрез отказался он принять его. Обещал только сходить к тысяцкому и за покойного Любима заплатить виру, чтобы не отобрали у старика с мальчиком последнего имущества.

Аким в душе даже обрадовался, что Добрыня остается с ним. Самому мальчику он ничего не рассказал про то, что собирался отдать его в чужие люди. А надо было думать, как жить. На Добрынюшку смотреть было жалко — очень уж тосковал. Уйти бы куда, где поспокойней. Но как покинешь обжитое место, где, считай, всю жизнь протянул? Да и силы не те.

Никуда бы старый Аким не тронулся, если бы остро не чувствовал себя свободным человеком — не закупом, не холопом обельным, а вольным, как тот же Ондрей Ярыга. Страх стал точить старика: а ну как вспомнят ему его холопство да и впишут обманом в чью-нибудь чадь?²

Тут и случай подвернулся. На торгу разговорился Аким с пришлыми монахами-калугерами, пожаловался на судьбу, похвастался своей свободой. Оказались те монахи из Боголюбова монастыря, что под стольным городом Владими-

¹ Вира — плата за убийство; цена крови.

² Чадь — челядь; дружина; ополчение; воины; простая чадь — рядовичи.

ром. Села там, сказали, кругом монастырские, а и кто вольные — тоже живут. У святой обители работы много: и пасеки, и покосы, и огороды, и пастбища, и кожевенные, и валяльные промыслы, и даже кузницы есть. Приезжай, покупай избу да на работу нанимайся. Под отцом архимандритом да под великим князем жить куда спокойнее. И мальчонка там не пропадет, к ремеслу пристроится, а подрастет, захочет святой жизни — милости просим, глядишь — до архиерея дослужится.

Аким тогда представил тихого бледного Добрынюшку и так вдруг ясно увидел его в монашеской черной скуфейке, так тепло стало на душе, что тут же, на торгу, решил: надо ехать. Все выпросил у монахов до самых мелких подробностей, узнал, что через неделю собираются они обратно, напросился ехать с ними, благо телега и лошадь были свои — конь, которого они с Добрыней нашли тогда в лесу, так и остался у них, не объявился его хозяин, и Добрынюшка назвал коня Найденем.

Полоумный холоп Янка тоже теперь стал свободным. Явился из лесу как раз к похоронам, принес, улыбаясь своей улыбкой до ушей, целый мешок со шкурками бобровыми да кунными. Увидел Ирину в гробу, растерялся, замычал. Аким покормил его, оставил дома, а когда вернулись с погоста — его уж нет. Шкурки только оставил.

Собирались быстро. Робя, сходил Аким к старосте Сычу, рассказал ему все. Тот хоть и хмурился — с холопами был строг, — но все же с видимым облегчением отпустил старого да малого, небольшую, а все же заботу скидывая со своих плеч. За дом с подворьем и огородом заплатил, не торгуясь, да Аким и просил мало.

Починили давно висевшую в сених без дела упряжь. Выкатили из сарая телегу, смазали ступицы дегтем, погрузили нехитрый свой скarb — одежду да посуду. На самое дно упрятал Аким выкопанный ларчик с серебром, в нем теперь была вся их жизнь. Сходили в последний раз на могилу матери, в церковь — помолиться и свечку поставить. И в назначенный день тронулись в путь с монастырским обозом.

Когда проезжали село Утицу, Добрыня, немного оживший за время, проведенное в дороге, вдруг стал просить: дедушка, давай тут жить станем. Аким огляделся, и ему тоже понравилось. Село стояло на высоком берегу Клязьмы, окруженное лесами, на той стороне, в пойме, расстилались широкие луга с густой зеленой травой. Новая деревянная церквушка степенно возвышалась над стоящими рядом до-

мами, будто наседка над цыплятами. Переговорив с молодым и веселым братом Никифором, Аким решил здесь и остановиться. Никифор, который очень понравился Добрыне, устроил их на ночлег, перемолвился со знакомыми мужиками, и на другой день старик с мальчиком начали помаленьку обживать свое новое жилище — небольшую избу с белой печкой, надворными постройками, банькой и огородиком, в котором и чеснок был посеян, и лук, и репа. Через два дня тот же Никифор привел на двор корову — сердитую, молока дающую мало. Но зато недорогую.

Добрыне поначалу даже спать было жалко: так хотелось все рассмотреть на новом месте. Ему здесь очень нравилось, и понемногу горестные воспоминания последних дней вытеснялись новыми впечатлениями, тем более что у двора сразу же начали крутиться соседские мальчишки, даже на забор залезали, чтобы увидеть нового возможного товарища. Но кто был подлинно счастлив, так это старый Аким. Впервые у него был свой дом, свое хозяйство, да и внук теперь был только его, и больше ничей. Старик будто помолодел, бегал по селу, уговаривался с мужиками о покое, сходил в монастырь и был Никифором представлен отцу ключнику Симеону. Поклонился ему бобровыми шкурками и получил благословение, обещавшее в дальнейшем работу при монастырской скотине ли, при пчелах ли — там будет видно.

К ним в дом стала ходить живущая неподалеку бобылка Ракулица, помогала по хозяйству — доила корову, чинила одежду, стряпала. Была она еще не старая, ласковая, и дошло даже до того, что как-то раз Аким, угостившись пивом, которое она принесла, и проводив бабу, стал, как взрослому, говорить мальчику, что вот, мол, хорошая женщина, и жениться бы на ней было неплохо, да одна беда: Ракулица-то приписная, не вольная, как они, и как бы, женившись, не попасть опять в холопы.

Добрыня мало что понимал в этом, но видел, что дедушке страшно нравится вот так сидеть на лавочке и рассуждать. Одним словом, жили хорошо. С соседскими мальчишками Добрыня подружился; уж кто из них был вольным, кто закуп, а кто обельный — пока разбирать было нечего.

В конце лета стало тревожно. Через Утицу на Боголюбов и дальше на Владимир начали часто проходить вооруженные отряды княжеских дружинников. Аким помрачнел, приходя из монастыря, долго о чем-то думал, вздыхал, ходил побеседовать с соседями, тоже хмурыми. Оказалось: война.

Опять война! Добрыне было и страшно и любопытно, а дедушке Акиму, похоже, не любопытно вовсе. Он даже однажды вслух пожалел, что приехали сюда, где великий князь то ли защитит, то ли нет, а можно в пекло угодить. Но война была далеко, в Боголюбове говорили: князь в обиду не даст, отряды воинов больше не проходили через Утицу, Аким же стал сильно надеяться на монастырь, на его крепкие стены и на броню святости: не будет ведь дружина Ростиславичей рушить святую обитель, русские все, христианской веры.

И никаких не было больше известий. Осенью разговоры о войне прекратились, убрали урожай, Аким возил монастырскую репу, работал на пасеке — помогал ставить пчелиные колоды в омшаники, возил сено с дальних покосов. Он совсем успокоился. Запасов на зиму сделали довольно, да и монастырские подвалы были полны. В Акимову яму, вырытую им за рекой, где была разрешена охота, попался огромный кабан, и Аким с помощью брата Никифора целый день с утра до вечера провозился, забивая зверя, переправляя его на лодке через Клязьму, потом рубя его на куски во дворе. Немалую часть этого кабана Никифор увез с собой, да зажитникам¹ пришлось отдать едва не полть², а все же, разжившись солью, засолили в бочке на зиму достаточно.

Добрыня как-то вырос за лето, вся его одежонка стала ему мала, особенно валенки, в которых всю прошлую зиму лежали еще стельки меховые, чтоб нога не болталась. Пришлось Акиму везти его на монастырскую валяльню, где каталь обмерил ребячью ногу — и через три дня обувка была готова, опять слегка на вырост. А когда ноги в тепле, веселей живется.

...Добрыня постоял на крылечке, пожмурился, удивляясь пару, идущему изо рта: надо же, как зима, так дышишь паром, словно Змей Горыныч, а летом почему так не бывает? Пошевелил в валенках пальцами — тепло, хорошо. Сбегал за сарай, справил малую нужду. Большую пока не стал.

— Эй, Добряша, иди-ка, чего скажу!

Над забором возникла большая меховая шапка, а под ней круглые глаза и нос, весь в веснушках, которые и зимой не сходили. Дружок прибежал, Василко, куда-то с утра звать. По дому дел много, недосуг с ним.

¹ Зажитник — фуражир; вообще тот, кого послали для заготовки съестных припасов на войско.

² Полть — полтуши любого мяса.

— Нет, Василко, мне дедушка велел воды принести, — сказал Добрыня. — Да корове сена дать. Некогда. А чего скажешь-то?

— Там! Побежим скорей, Добряша! Там Савин с Шибаном медведя привезли! Сейчас шкуру будут снимать...

Эх! Может и подождать работа. Добрыня кинулся в дом за шапкой и рукавицами, сунул за пазуху кусок хлеба, оставленный для него на столе, и через мгновение выскочил на улицу. Приятели помчались к дому Савина-охотника. Бежать было недалеко, и у Савинова двора уже можно было разглядеть кое-кого из знакомых и товарищей.

Посреди двора, подвешенная на шестах за задние ноги, тяжело свисала огромной головой к земле мохнатая туша, Савин, стоявший рядом с ножом в руках, готовился снимать со зверя шкуру. Он показался Добрыне страшнее самого зверя. Но оторваться от этой картины не было сил, и Добрыня, притихший вместе со всеми мальчишками, завороченно глядел, как Савин, привстав на цыпочки, надрезал шкуру в паху и от паха — вниз по животу. Другие мужики ухватились, потянули — и шкура лохматой кучей, поблескивая влажной розовой изнанкой, легла на снег, а голая туша, обложенная желтым салом, похожая уже не на медведя, а больше на человека, обессиленно покачивала свисающими руками. Принесли рогожу, развязали веревки, медвежье тело шмякнулось тяжко, стали выпускать внутренности. В холодном воздухе запахло зверем, теплой сырой требухой.

— Гляди, гляди, — зашептал Василко Добрыне в ухо, — вон у него, вон! Видал какой? Боль-шу-щий!

И вправду — это было у медведя самое любопытное. Мужики, видимо, тоже так думали, потому что вдруг засмеялись, а Савин склонился над тушей, взмахнул ножом и бросил отрезанное своему кобелю, который на привязи даже не лаял, а хрипел перехваченным веревкой горлом. Кобель схватил брошенное на лету и, рыча, стал грызть, отчего мужики захохотали еще сильнее.

Здесь, в Утице, вообще шутки про всякое такое были в ходу, чего Добрыня, живя в Ростове, не слышал вовсе. Так что поначалу он не понимал, о чем это так весело говорят между собой друзья-товарищи. Над ним смеялись, а потом объяснили. Правда, ему пока это все не казалось таким уж смешным... Другое дело — любой сельский мальчишка знал такую прорву интересного про травы, рыб, зверей, лепших, домовых, что не верилось Добрыне, что и он когда-нибудь столько узнает.

Когда стали делить медвежатину, Добрыня вспомнил о домашних делах. Василко увязался за ним, и это было кстати — поможет довести тяжелые санки с бадьей до дому... По дороге домой все говорили и говорили об охоте на медведя.

Со стороны монастыря послышался набат — частые удары в большое било.

— Чего это бьют, а, Василко? — спросил Добрыня.

— Не знаю, чего звонят, — сказал Василко. — Нынче ведь не праздник. Побежим домой, а то вон меня мамка зовет.

Вдалеке, возле своего двора, стояла мать Василко и махала рукой, что-то крича. Василко подобрал шапку и, зажав ее под мышкой, пустился к дому. Добрыня тоже направился к своему. Частые удары не прекращались.

Дома, в избе, было еще тепло — не успело выстыть. На душе становилось все тревожней от звуков монастырского набата. Добрыня полез в топку, раздул угольки, положил кусочек бересты. Когда береста затрещала, разгораясь, наложил сверху щепок и три полена. Встал на лавку, открыл вьюшку. В печке чуть слышно загудело. За водой идти было почему-то страшно. Он вспомнил про корову, пошел за-дать ей сена. Мимо двора кто-то проехал в санях, на улице крикнули. Бросив вилы, Добрыня кинулся за ворота. Нет, это не дедушка. Ракулицы тоже не было, но она всегда приходила уже в сумерках, а днем работала в монастыре — ткала холсты.

Захотелось есть: с утра не ел ничего. Краюха хлеба так и лежала за пазухой. Накрошил ее в деревянную миску, залил молоком. Стал хлебать — вспомнил, что не закрыл хлев. Выбежал на крыльцо. Корова уже выглядывала наружу — собиралась выйти, что ли? Загнал ее обратно, затворил дверь. Вернулся в избу, снова принялся за еду. И тут услышал скрип полозьев — возле двора остановились сани. Дедушка приехал.

Аким открывал ворота.

— Добрынюшка, собирайся! — крикнул он. — Беда! Бежать надо! Носи все в сани, скидывай! — И побежал в хлев выводить корову.

Теперь видно было, как по улице, в ту сторону, где был монастырь, ехали на санях и бежали люди. Удары била слышались не так часто, как раньше, надолго замолкали. Вместе с людьми по улице шел скот — коровы, овцы. Метались, лаяли отвязанные собаки.

Быстро потаскали что под руку попало, погрузили. Аким привязал корову к саням, кинулся в хлев и вскоре вышел оттуда, держа что-то, завернутое в старую овечью шкуру, с которой сыпались сенная труха и земля. Кинул в сани — звякнуло.

— Ну, садись, садись, Добрынюшка! — И сам упал на сваленную в кучу лопотину¹, схватил вожжи. — Но, но, пошел!

Поехали, втиснувшись в общий поток. Корова тяжело ступала следом, не умея ходить по снегу. Добрыня сидел, держась за боковину, смотрел по сторонам. На Савиновом дворе, где сегодня снимали шкуру с медведя, до сих пор стояли жерди, на которых медведя подвешивали. Ворота были распахнуты, на снегу разбросаны были расписные деревянные миски и ложки...

Все село бежало к монастырю, под защиту монастырских стен. На улице было тесно, и Аким, боявшийся, как бы не столкнуться с кем, не запутаться, все внимание уделял коню, а на Добрыню даже не смотрел. Наконец, когда выбрались из села на дорогу, стало посвободнее. Аким оглянулся:

— Ничего, сынок, теперь успеем. Может, и спасет нас Пресвятая Богородица.

— Это что, дедушка? Война?

— Война, Добрынюшка. Поганные на нас идут.

— А кто это?

Добрыня раньше слышал про половцев, или, как их все называли — поганных. Но сейчас будто первый раз услышал.

— Они какие, дедушка? Страшные?

Аким не ответил, потому что корова вдруг споткнулась и упала. Замычала жалобно. Старик остановил коня, спрыгнул с саней, подбежал, помогал встать на ноги. Она встала на три ноги, переднюю подогнув. Не хотела ею ступать.

Сзади закричали, требуя освободить дорогу. Аким в отчаянии махнул рукой, отвязал корову, поехали дальше. Добрыня оглядывался, пока не подъехали к монастырским воротам. Кто-то из ехавших сзади согнал корову с дороги, и теперь она стояла по брюхо в снегу, не двигалась. Добрыня простил корове то, что она не любила его, и заплакал.

Вся округа сбегалась к монастырским воротам. Многие шли пешком. По дороге тянулись сани, наспех груженные пожитками. Возле ворот несколько монахов следили, чтоб

¹ Лопотина — верхняя ветхая одежда, тряпье.

не получилось затора, сердито кричали: «Давай, давай!» — если кто-то мешкал.

Аким с Добрыней въехали в ворота и оказались на широком дворе, заполненном бегущими людьми, саними, лошадьми, скотом. Стоял шум, но в этом шуме Добрыня почему-то сразу успокоился, перестал плакать. Аким снял шапку, перекрестился, поглядел на мальчика уже почти весело, наверное, и у него стало полегче на душе. Вокруг почти все были с оружием, и Добрыня тут же принялся разглядывать мечи в ножнах, шлемы с шишаками, червлёные, окованные железом щиты, простые, деревянные щиты, обтянутые кожей. Несколько человек тянули по земле, напрягаясь, большой чёрный котел, который тихо гудел, перекатываясь на колдобинах. Тут подбежал толстый монах.

— Куда с саними? — закричал он. — Хватит, не повернётся от ваших саней! Эй, на воротах! Кто там? Не пускать больше с саними! — Он погрозил кулаком и побежал к воротам. — Вели выпрыгать! А сани пусть рубят!

Толстый монах скрылся за воротами. Аким снова перекрестился и тронул вожжи — отъехать подальше.

— Эй, дедушка!

К ним подходил брат Никифор — его и не узнать было. Поверх чёрного одеяния он надел нагрудные латы, на голове вместо скуфьи — шлем с кольчужной сеткой, закрывающей затылок и щеки. В руках он держал лук, чем-то натирая тетиву, веселый, вроде бы ничего и не происходило вокруг. Дружески подмигнул Добрыне:

— Заробел, отрок? Ничего, не робей! Как сказано: против врагов моих оборонюся! — и постучал себя в железную грудь.

Аким, заметно обрадованный встречей, сунулся к Никифору:

— Честной инок! Никифор-батюшка! Что слышать-то?

— Давай, дедушка, выпрыгай коня да привязывай вон туда. — Он показал луком в сторону большой белой церкви, рядом с которой уже стояло десятка два коней. — Туда стрела не долетит. А санки твои пойдут ворота закладывать. У них, у поганых-то, сказывают, пороки с собой. Так что укрепить ворота надо.

— Откуда они взялись-то тут, поганые? Сроду, говорят, их тут не было?

— А они нынче чадь Мстиславова. Своей-то дружины, вишь, мало, так он поганых назвал. Грех-то какой!

Никифор хоть и улыбался, но говорил громко и зло, видно, хотел выговориться.

— А где защита нам? Что князь-то Всеволод Юрьевич? — спросил Аким.

— Где князь — неведомо, — жестко ответил Никифор. — Да надо думать — придет на подмогу, защитит святыню. Летом-то он был здесь с княгиней и с дружиной. И молебны служили, и отец архимандрит благословил его. Да утром-то как узнали, так побежали наши во Владимир. Продержимся с Божьей помощью. Нас-то, братии, здесь до двух сотен будет, да мужиков на стены поставим. Ничего!

Никифор помог старику выпрычь коня. Аким повел его привязывать, куда было сказано, настрого запретив Добрыне отходить от саней. Тут монаха окликнули, и он, еще раз подмигнув мальчику, убежал, придерживая болтавшийся сбоку тул¹ со стрелами.

Добрыня стал глядеть, как втаскивают по крутым лестницам на стену котлы, но тут на высокой звоннице снова ударили в било, со стены раздались громкие крики, люди вокруг забегали еще быстрее, и вот со скрипом и визгом медленно начали закрываться ворота. Опять стало страшно.

От коновязи прибежал Аким.

— Ох, внучек, — сказал он, тяжело дыша, — мы-то успели с тобой, слава Богу, а вот кто снаружи остался? Спаси их Пресвятая Богородица!

Ворота уже были закрыты и заложены толстым брусом, но даже в общем шуме можно было расслышать, как с внешней стороны кто-то стучал в них. Мужики подтаскивали к воротам тяжелые кули, несколько человек ставили бревна — подпирать. Какая-то девочка плакала и рвалась к закрытым воротам, ее за руку удерживал старичок-монах. Из храма послышалось пение.

— Пойдем-ка, Добрынюшка, — проговорил Аким, засовывая за пазуху сверток. — Это, поди, отец архимандрит слушит о спасении душ наших. Пойдем-ка в церкву.

— Нет! — крикнул вдруг Добрыня. — Я на стену хочу! Дратся с погаными!

Он сам не знал, почему так крикнул, это получилось как-то само собой, и Добрыня почувствовал, как слезы заволакивают ему глаза, но это были какие-то другие слезы, не те, что текут, когда жалко себя или больно. От этих слез он показался себе большим и сильным, как богатырь из сказки. Но дедушка Аким, не обращая внимания на преобразившегося Добрыню, схватил его за руку, сжатую в кулачок, и потащил за собой.

¹ Тул — колчан для стрел.

— Пойдем, пойдем скорей, — приговаривал он, таща упирающегося мальчика.

Церковь была полна народу. В основном здесь стояли женщины, много было детей. Добрыня даже разглядел товарища, но Василко, словно незнакомый, отвернулся и спрятался за чьим-то подолом. Рядом с Добрыней на коленях стояла старуха в черном платке и богато расшитой душегрейке. Она часто крестилась и, похоже, была сердита, что никак не удавалось поклониться: мешала теснота. Старуха сурово взглянула на Акима, покачала головой:

— Чего тебе здесь, батюшка? Иди на стену, бейся. Чего тебе с бабами да с малыми детьми? — Голова старухи мелко тряслась. — Тут одни немощные, а ты, я вижу, еще в силе. Иди, иди, а мы уже за всех помолимся. Я и сама бы пошла, да ноги не держат.

— Да вот... внучек у меня, — забормотал Аким, прижимая к себе Добрыню, словно желая оборониться мальчиком от старухиного взгляда.

Он как-то привык считать себя стариком, а здесь, в монастыре — особенно, и не думал даже, что кому-нибудь придет в голову послать его воевать. Такая мысль могла появиться лишь у такой вот древней старухи, которой он показался вполне молодым и крепким.

— Присмотрим за внучком твоим, — сказала старуха. — Иди, а то встану, срамить начну при народе да в церкви. Иди!

Ноги сами вынесли Акима из храма. Хор запел: «Победы православным христианам...», и это стройное многоголосое пение будто подтолкнуло Акима в спину. Он, еще не зная, что будет делать, двинулся по двору, ища себе занятия. Побежал к воротам, куда люди отовсюду стаскивали все, что могло укрепить завал. Присоединился к трем мужикам, толкавшим сани. Мужики ничего не сказали Акиму, даже не взглянули на него. Подкатили сани к воротам, поставили на попа. За воротами что-то происходило, это угадывалось по слабому дрожанию земли под ногами и странному звуку, который напомнил Акиму раскаты отдаленного грома. Конница! Он сразу засуетился, кинулся было к конюшням, но тут вспомнил, что никуда не ускачешь, и остановился. Неизвестно откуда пришла уверенность, что сегодня он умрет. Чувство близкой смерти оказалось таким знакомым! Точно так с ним было в юности, когда свирепствовал в Новгородской земле голод и смерть казалась неизбежной и даже желанной, не вызывала страха.

И Аким успокоился. Подумал лишь о Добрыне, с грустью, но уже как бы отчужденно: хорошо было бы, если бы мальчик умер легко. Жаль, не попрощались, а теперь некогда.

На утоптаный снег перед Акимом что-то упало. Он глянул — оказалось, стрела. Их уже много нападало сверху, некоторые с дымящейся паклей. Аким кинулся собирать стрелы, хватал их, отдирая тлеющую паклю. Набрав целую охапку стрел, он подбежал к лестнице, ведущей на стену, полез вверх. Вход на стену, под двускатную деревянную крышу, загораживал какой-то мужик, спиной привалившийся к перилам лестницы и строго глядевший в бревенчатую стену одним глазом; вместо другого глаза у мужика торчал конец стрелы с оперением. Аким нетерпеливо, но уважительно отодвинул мужика и шагнул вперед, к бойнице...

Монастырь отсюда показался ему островом посреди реки в половодье. Тысячи всадников в меховых, с железным верхом шапках с визгом неслись вдоль стены. По дороге притекали все новые тысячи, чтобы так же кинуться — одни направо, другие налево, заключая монастырь в кольцо, словно бурная и мутная вода, обтекающая валун, попавший на ее пути.

К бойнице, в которую глядел Аким, подбежал мужик в шлеме, в руках — лук.

— Что, отец? Стрелы принес? Давай! — радостно закричал он. Схватил всю охапку, бросил наземь.

— Я сейчас еще принесу! — заторопился Аким.

— Носи, носи! А то вон — дров подкладывай да мешай в котле, мне недосуг! — крикнул мужик и, прицеливаясь в кого-то внизу, спустил тетиву. — Ага, съел? Больше не захочешь! — засмеялся он и тут же схватил другую стрелу.

Аким подбежал к котлу, стоявшему на треножнике, под которым на железном поддоне горели дрова. В котле, оплавляясь и закипая по краям, плавали белые куски смолы; тут же, возле стены, стояли бочки с нею. Схватив длинную лопатку, стоявшую рядом, Аким стал мешать пронзительно и свежо пахнущее варево, подложил сухих дров. Увидел сквозь дым в нескольких шагах еще такой же котел, бросился к нему. Управившись с котлами, подбежал к лестнице — во двор, набрать еще стрел. Мужик, стрелявший из бойницы, крикнул ему вслед что-то одобрительное.

Из завала возле ворот шел слабой струйкой дым, — видимо, горящая стрела упала со ската и что-то внутри подожгла. Аким стал разбирать, обдирая ладони — рукавицы где-то потерял, — наконец увидел: тлеет рогожный куль, а

рядом, придавленный саями, топорщился ворох соломы, — видать, наваливая, забыли сбросить впопыхах. Сейчас займется, полыхнет. Много смолистых бревен. Аким потянул на себя тяжелое бревно, преграждавшее ему доступ к глеющей рогоже. Неимоверная тяжесть будто поймала его тело в свои лапы. В глазах потемнело, внутри что-то надорвалось. Бревно нехотя отошло. Аким просунул руку, неслухавшимися пальцами подцепил рогожку, вытащил, бросил рядом. Рогожка вспыхнула зеленым пламенем. Не слыша своего тела, Аким затоптал огонь. Посмотрел удивленно вокруг: все почему-то изменило цвет. Он собрал еще несколько стрел, сплевывая горячую черную слюну, что начала собираться во рту, и кое-как вскарабкался вверх по лестнице. Давешнего мужика возле бойницы не было. Много людей суеилось возле котлов, ковшами на длинных ручках черпали смолу, уносили к бойницам.

Как в тумане, Аким видел поганых, которые придвинули к самым воротам порок — длинное бревно с железным тупым наконечником, привешенное цепями к четырем столбам. Столбы крепились к широкой плоской телеге на колесах. На телеге, прикрываясь щитами, стояли люди и мерно раскачивали бревно, долбившее ворота.

К стенам бежали люди с лестницами, приставляли их, поднимались, падали под стрелами, дрались, крутились на снегу, обваренные смолой, и снова карабкались с криками, на миг показывая из-за круглых щитов свои злобные, с раскосыми глазами, нерусские лица. Уже покрыли поганые своими телами весь снег, но все так же кидались на стену, бросали веревки с крючьями, цеплялись, лезли и падали вниз.

Один крюк влетел в бойницу, возле которой сидел Аким, вгрызся в дерево, накрепко засел. Аким протянул слабую руку, попробовал расшатать — куда там! Вот сейчас поднимется поганый, с визгом набросится на него.

— Ну-ка, отец, поберегись, обожгу!

К бойнице подходил молодой мужик с ковшом. Аким обарадовался ему как родному, отодвинулся.

— Последышки остались, — сказал мужик. — Кончилась смолка-то, котлы пустые.

В бойнице мелькнула тень, и он, перехватив рукоятку поближе к ковшу, вылил смолу наружу. Тень пропала, и там завизжали.

— Не нравится, вишь, угощение-то, — вроде бы с сожалением покачал головой мужик. — Ну да ладно. А веревочку-то мы обрежем, нам тут веревочек не надо.

Он отбросил в сторону дымящийся ковш и вынул из сапога нож. Словно и не в бою находился, а у себя во дворе по хозяйству работал — просунулся в узкую бойницу, стал резать веревку. Дернулся раз, другой, третий — и затих, только посучил ногами напоследок.

Жгучая ярость охватила Акима. Он поискал взглядом, увидел топор, валивший возле мертвого монаха, и сделал попытку добраться до него. Ох, как захотела рука этого топора! Резкая боль внизу живота словно отрезала ноги. Он глянул — понял, что сидит и не может встать, а на грудь изо рта бежит черная струйка. Захотелось вздохнуть в полную силу, он вздохнул, поперхнулся, закашлялся, заливая черным пол перед собой. Приваливаясь к стене, Аким с сожалением подумал, что как следует откашляться так и не удалось — силы кончились.

Он уже не слышал, как прибежали от противоположной стены — за подмогой: там поганые перелезли через стену и прорубались к западным воротам. Пробьются к воротам, впустят внутрь все войско — тогда конец. Побежали туда, но мало кто. Защитников не хватало. Пороки половецкие уже прошибли ворота, там, снаружи, кипела толпа, готовилась разбирать завал.

Вот уже и на стенах стали рубиться. Сколь ни храбры монахи и мужики из окрестных сел, а все же их основными занятиями в жизни были труд да молитва, да и монастырь как крепость уступал любому городу, и враг превосходил числом многократно.

Вот надели четверо на одного русского, прижали к стене, зубами щелкают, а подступиться боятся: страшен топор в плотницкой руке, что столько дерева порубила за короткую мужицкую жизнь. Но умелы и хитры половецкие воины: трое вдруг замахиваются, отвлекают, а четвертый косо рубит сбоку кривой саблей. Смеются, довольные, оглядывают трепещущий труп. Нет, ничего с него не возьмешь — ни доспехов богатых, ни одежды, ни оружия. Скорей во двор надо, там вся добыча.

А уж во дворе монастырском их — тьма. Добивают последних монахов, волками кидаются на кладовые, выкатывают бочки с медом, тканое полотно режут саблями — делят, ловят коней, из-за них дерутся. Вот один схватил овцу за загривок, коленом прижал к земле, ножом вскрыл ей горло, приподнял, бьющуюся, припал губами, пьет. Вот потащили из покоев отца архимандрита богатые ризы, иконы византийского письма выламывают из серебряных да золотых, с камнями окладов. Вот двое — каждый тянет к себе

тяжелую от золотого шитья епитрахиль¹, ругаются. Потом, видать, договорились и ножом ее пополам, оба довольны.

Две большие церкви посреди монастыря да одна поменьше, у дальних ворот. Изю всех церквей — пение и плач. Вот где добыча! Бабы, девки, наверное, и девчонок много совсем малых! А золота, серебра у этих русских в храмах — на всех хватит. Двери закрыты? Это ничего, вон уже и пороки подтаскивают.

В храме стоны и вопли: все молящиеся поняли, защиты им больше ждать не от кого. Когда раздался первый удар, толпа качнулась от дверей к алтарю, разом смяв весь немощный причт² и оборвав службу.

Добрыня обеими руками вцепился в старуху, а она прижала его к себе, гладила по голове спокойной рукой. Казалось, она одна сохраняла присутствие духа — как стояла на коленях, так не сдвинулась, суровая и прямая. Удары в дверь становились все страшнее, но пока они продолжались, продолжалась и жизнь, потому что двери не поддавались. Толстые дубовые двери, изукрашенные искусной резьбой. Но вот они рухнули. Визжащая толпа хлынула в храм. Старуху вместе со вцепившимся в нее Добрыней отбросили в сторону, как щепку. Начали выгонять из церкви женщин, срывали с них платки, вглядывались — нет ли в ушах серег. Найдя, вырывали с мясом. Так же отрывали от женщин детей, выволакивали, вязали, складывали в стороне.

Добрыню ухватила сзади за козушок сильная чужая рука. Огромный половец с широким узкоглазым лицом внимательно оглядывал лежавшую перед ним добычу, потом повернулся ко входу, призывно помахал.

— Тюлгу! Ай, Тюлгу! — позвал.

Подбежал еще один половец — низкорослый, с длинными редкими усами. Большой показал ему на старуху и мальчика и, бросив несколько повелительных каркающих слов, пошел выбирать другую добычу. Тот, кого звали Тюлгу, ухватил обоих и, напрягаясь, поволок на двор. Старуха пыталась вырваться, царапала ему руки, но куда ей было, немощной, да еще и мальчик мешал, не отпускал. Во дворе, оттащив подальше от входа, Тюлгу вытащил саблю и рукояткой ударил старуху в висок. Она обмякла и затихла, и Добрыня понял: держаться больше не за кого. Мальчик пополз в сторону, но Тюлгу быстрым ударом сапога придавил его к земле и что-то каркнул. Подойдя к телу

¹ Епитрахиль — одно из облачений священника, надеваемое на тело под ризою.

² Причт — священно- и церковнослужители одного прихода.

старухи, надрезал одежду и вытащил кожаный мешочек. Встряхнул, развязал. И вдруг сделал то, чего Добрыня, глядевший на него снизу, страстно хотел — положил свою саблю на снег и стал обшаривать труп руками.

Больше всего боясь, как бы враг его не обернулся, и самого себя боясь тоже, Добрыня поднял тяжелую саблю. Сердце билось так громко, что ничего больше не было слышно. Затылок врага, еле прикрытый жидкими, смазанными салом косичками, так и просил удара. Добрыня обеими руками поднял саблю и ударил.

Но в последний миг, пересыпая найденное серебро в свой мешочек, Тюлгу бросил вороватый взгляд: не идет ли большой — и успел заметить этот удар.

Все-таки он был воином: быстрым движением вскинув руку, он принял удар по касательной. Но сабля все-таки добралась до мяса, хоть и не перерубила кость. Потекла кровь. Тюлгу с криком отпрыгнул. Мальчик стоял как взрослый, подавшись телом вперед, выставив левую ногу для упора. Стоял и смотрел остановившимися глазами.

Еще один поганый, удивленно цокая языком, оставив мешок, направился к мальчику, на ходу вынимая свою кривую саблю. Его остановил окрик большого половца. Тот, с богатым окладом от иконы под мышкой, подошел поближе и, не обращая внимания на Тюлгу, который стал показывать ему свою рану, остановился перед мальчиком и уставил на него свой узкий смешливый взгляд.

— Ай, урус! Храбри! — одобрительно сказал он.

А мальчик вдруг выронил саблю на снег. Тогда большой половец, отложив иконное серебро, снял с пояса свернутый кольцом длинный кожаный шнур, подошел к мальчику, быстро и умело связал его, как у себя в степи, надежно, вязал молодых диких коней.

Но Добрыня этого уже не почувствовал. Он спал.

ГЛАВА 6

Пирь и охоту пришлось временно оставить — угроза была слишком велика. Всеволод знал, что настоящей причиной, может быть даже не осознаваемой противником, были вовсе не честолюбие Мстислава и Ярополка, не гордость и буйный нрав рязанского князя Глеба. Это старая княжеская Русь, почувствовавшая опасность, сопротивлялась своей новой судьбе, не желала ее и боялась. Новая же судьба состояла в том, что наступали небывалые времена единовластия, когда придется всем подчиниться силе

владимирского князя, строить свою жизнь не по собственному хотению, а по его воле. Такой жизни строптивые князья уже понюхали при князе Андрее, а теперь, казалось, возвращаются прежние времена. Молодой князь Всеволод Юрьевич, сев на место Андрея, своего старшего брата, снова угрожал вольнолюбию княжеской Руси.

Но кое-кто думал иначе. Они как раз были не прочь встать под тяжелую руку сильного властителя. Да, придется платить подати, исполнять утвержденные государем законы, выставлять войско по его требованию, но зато в это беспокойное время можно быть уверенным: великий князь защитит, наградит за службу. В конце концов, так уж на Руси повелось — всегда среди князей был кто-то старший.

Раньше это был князь киевский. Из его рук получали и ласку и таску. Тем и заманчив был киевский великокняжеский стол, потому и желали его многие. И доставался он сильнейшему, повиновение которому могла снести даже княжеская гордость.

Нынче не тот уж Киев. Частые осады, смена князей лишили его былого величия, сильно разрушили и обезлюдили. Сидит в стольном граде Рюрик Ростиславич. Сидит, а власти не имеет. Вроде бы царствует, а сам косится на Святослава, потомка южных князей славного и владетельного рода Ольговичей. И у Рюрика и у Святослава отцы и деды, сменяя друг друга, княжили в Киеве, и долгая борьба двух родов — Ольговичей с Мономаховичами — составляла главную суть всей жизни Руси, была главным ее бедствием и привела к ослаблению и оскудению Киевского княжества.

А когда ты слаб — первыми это чувствуют твои враги, в коих недостатка нет никогда. Ослаб Киев — ослабла Русь. И вот уже король венгерский тревожит княжество Галицкое, Новгородскую землю терзают дикие чудские племена, которые недавно были тише воды, ниже травы и исправно платили дань по куннице с дыма. Конечно же поганые половцы — и лукоморские, и приднепровские, и донские — кинулись как волки на раненого лося. Да что там половцы и венгры! Свои, можно сказать, поганые, берендеи да ковуи¹, что всегда тебе служили, от тех же половцев у тебя искали защиты, селятся нагло в твоих разоренных городах, куда ты их, бывало, пускал из милости на зимнее суровое время. Приводят с собой свои стада, рабов своих, среди которых большая часть — русские, твои же смерды,

¹ Ковуи — тюркская народность в Древней Руси, на территории Харьковской и Черниговской областей.

захваченные под шумок. И вот сиди, думай: твой это теперь город или нет, посылать туда тиуна за данью или уж сразу дружину на них собирать. Не то пошлешь тиуном на сбор дани верного боярина, а обратно привезут посланные с ним рядовичи лишь голову его, завернутую в конскую шкуру. Со всем светом сражаться не будешь! Так что сильный князь-самовластец, покровитель, пожалуй, сегодня пришелся бы к стати, а что дальше — время покажет.

Весть о победе Всеволода на Юрьевском поле быстро облетела Русскую землю. Конечно, стараниями приверженцев Мономаховичей и с помощью народной поэтической склонности к преувеличениям битва эта была расписана, особенно в отдаленных княжествах, как дотоле не имевшая себе равных, а сам Всеволод представал чуть ли не в облике сказочного богатыря, собственноручно укладывающего врагов дюжинами направо и налево. И хотя в Южной Руси молодого князя хорошо знали и помнили его как бесприютного скитальца, во всем зависящего от старшего сурового брата, все же такой образ его был принят почти безоговорочно. Во многих гридницах певцы воспевали светлоликого великого князя Владимирского: от топота его коня земля дрожит, блеск его меча днем солнце затмевает. Многие сердца переполнялись гордостью за Русскую землю от своей принадлежности к этой земле, родящей таких героев.

Всеволод это хорошо понимал, особенно когда потянулись во Владимир посольства, задача которых была — помимо изъявления дружеских и даже верноподданнических чувств — высмотреть, что же он такое, этот новый великий князь, какова его сила и государственная мудрость.

Для молодого человека, еще не совсем привыкшего к власти и лестному общественному мнению, установление отношений с ближними и дальними соседями было, пожалуй, не менее трудной задачей, чем та первая победа над Мстиславом и Ярополком. Но юный годами Всеволод оказался неожиданно — даже для себя самого — опытен и мудр. Не зря, выходит, детство и юность его были лишены праздности и неги родительского дома. Чего стоил только византийский опыт — годы наблюдения за жизнью императорского двора, жизнью, полной придворного коварства и хитростей.

Подручнику Юряте было поручено набрать побольше осведомителей. Всеволод помнил слова дяди, императора Мануила: ничто так не подчиняет людей, как то, что ты знаешь о них. Делом этим занимались различные люди,

большей частью купцы, везде ездящие и ходящие и знающие все обо всех. Купцам этим были обещаны немалые льготы в их торговом деле. Охотно, даже не подозревая, что выступают в качестве видоков и послухов¹, делились сведениями о том, что творится при разных княжеских дворах, безудельные князья — захудалые отростки Рюрика древа, прибывавшие во Владимир напомнить великому князю о дальнем родстве, поискать у него службы и благополучной жизни. Сведения эти сходились к Юрятье, он велел доверенному писцу из монахов их записывать и представлял государю. В итоге всегда получалось, что послы владетельных князей, едва оторвав лбы от пола, повергались великим князем в изумление, когда он с доброй улыбкой спрашивал их о том, не выздоровела ли сухая ножка у младшего сына их князя, построил ли князь новую церковь взамен сгоревшей и куда это недавно отправил он младшую дружину с воеводой, который, поди, рад был удалиться от своей сварливой супруги. Всеволод, казалось им, знал все, и заранее подготовленные хитроумные речи теряли всякий смысл.

Великий князь не просил помощи, напротив — давал понять, что может без всякой помощи один одолеть всех врагов. На княжеском дворе и в гридницах пировали и просто так сидели могучие дружинники: Юрята нарочно подбирал молодцов покрупнее, выставлял их словно напоказ, и послы понимающе переглядывались при виде такой богатырской рати.

Посольские подарки принимались благосклонно, но послам как бы между прочим давалось понять, что ради такой безделицы не стоило совершать столь длинный путь. Так же исподволь намекалось, что если князья сами предложат свою помощь великому князю для борьбы с врагами, то это им зачтется в будущем и явится для них великой честью, ибо дело великого князя — правое, и Господь именно его поставил защитой и опорой всей Руси, и чудотворный образ Божьей Матери, пришедшей из Киева во Владимир, — тому подтверждение.

Послы возвращались обратно кто в веселом настроении, кто в грустном, но все они бывали равно очарованы умом и могуществом владимирского князя. А среди послов, как правило, не было людей случайных, для таких дел подбирались люди хитрые, сметливые и опытные. Вскоре о Всеволоде стали говорить по всей Руси и — чего не было

¹ Т. е. в качестве тех, кто подглядывает и подслушивает (шпионит).

раньше, во всяком случае после великих князей Владимира и Ярослава — иногда говорили просто «великий князь», и было ясно, что речь идет именно о нем.

Но создание доброй о себе славы было лишь малой частью забот, легших на плечи Всеволода.

На владетельных князей надежда была зыбкая: то ли дадут помощь, то ли нет. Помощь войсками от них Всеволоду была нужна для придания войне общерусского значения. Чем больше князей встанет под знамена Всеволода, тем явственнее эта война будет выглядеть справедливым Божиим делом, а не обычной княжеской усобицей. Враги великого князя Владимирского должны стать врагами всей Руси.

Справиться с Глебом Рязанским и своими племянниками Всеволод мог и сам. Однако тут же собирать дружину и кидаться в необозримые пространства на поиски врага было неразумно.

Одно дело, когда воюешь на своей земле. Другое дело — длительный поиск противника в чужих землях, зачастую разоренных, где трудно находить пищу и кров для войска. Можно месяцами водить полки по бездорожью, выматываясь и теряя силы. А можно предоставить противнику право рыскать по лесам, в мелких стычках теряя людей, загоняя коней, своими разбойными действиями восстанавливая против себя всех, а самому в это время укреплять свое войско и ожидать, когда уставший противник сам тебя найдет, но найдет готовым к бою, а значит, более сильным. Всеволод решил действовать именно так.

Правда, этим он обрекал на разорение и гибель тысячи людей. Стягивая все силы во Владимир, отзывая засады из укрепленных поселений, он лишал своих подданных защиты, и теперь они должны были положиться только на себя и на волю Божию.

Народ приносился в жертву великой цели — возвышению над всей Русью Владимирской земли и великого князя после окончательной победы.

Мстислав и Ярополк Ростиславичи с остатками своей дружины, к которой примкнули многие из ростовских бояр, боясь мести Всеволода, безошибочно выбрали себе союзника — рязанского князя Глеба. Ни Северная Русь — Новгород, ни Южная — Чернигов или Переяславль, не поддержали бы неудачников, поднявших меч на своего дядю. Глеб же Рязанский с готовностью принял их, даже устраивал пиры в честь гостей. Семена ядовитых речей, произносимых Ростиславичами на этих пирах, падали на удобренную почву.

Князя Глеба давно грызла зависть и злоба к своим богатым соседям. Рязанское княжество, находясь на отшибе, не могло похвастаться процветанием. С востока и юга Рязанскую землю беспрерывно терзали набеги половцев и волжских булгар. Языческая, не желающая принимать христианство мордва то соглашалась платить дань, то отказывалась и сама приходила и брала сколько могла пленных, скота и коней. Подати собирались скудные, торговое сословие, приносящее главный доход князю, было хоть и многочисленным, но бедным: торговля с Югом в последние годы стала опасной из-за постоянных войн, торговля с Севером также хирела — торговые пути проходили через Владимиро-Суздальскую землю, которая непомерными вирами и налогами разоряла купечество. Можно было принять главенство Владимира и, попав под руку владимирских князей, получить немалые выгоды, но Глебу гордость никак не позволяла это сделать, он считал суздальских властителей врагами и детей воспитывал в ненависти к ним.

Смерды на княжеских и боярских землях не столько пахали и сеяли, сколько тряслись от страха: не обдерут до нитки княжеские рядовичи, так половец наскочит. Многие бросали свои села, уходили в леса, к мордве, молиться Кереметю, искать защиты у деревянного идола. Горожане, в основном бедные ремесленники и проторговавшиеся купцы, садились в длинные лодки — ушкуи — и безжалостно грабили по рекам торговых людей, да так, что слава о рязанских ушкуйниках разнеслась повсюду. У князя Глеба не было средств построить себе каменный дворец, не на что было купить белого строительного камня. Поэтому ни в Муроме, ни в Пронске, ни в самой Рязани не стояло ни одной каменной церкви, не говоря уж о каменных домах. А Владимиро-Суздальская земля хвалилась своими храмами и дворцами, из белого камня знаменитыми византийскими умышьями построены были те дворцы.

Так что князь Глеб во время пиров с Ростиславичами жадно прислушивался к их жалобам на Всеволода. Предлагали они дело сколь заманчивое, столь и опасное — поход на Владимирскую землю, разумеется, победоносный. Особенно горячился Мстислав, ругая ругая дядю. Вынимал из ножен меч, хвастался, что порубил им черни владимирской без счета и не успокоится, пока этим мечом не снесет голову великого князя. Ярополк больше отмалчивался, много пил, но уверенность брата в победе разделял.

Глеб на своем веку повидал всякого, и легковерным его никак нельзя было назвать: ему шел уже шестой десяток,

на рязанский стол он сел еще совсем юным и знал цену запальчивости, вызванной завистью. Что будет с головой Всеволода — это еще было неизвестно, а вот то, что свою голову Мстислав пока не потерял — это чудо. Но с братьями в Рязань пришел сам Борис Жидиславич, знаменитый воин, бывший воеводою у Андрея Боголюбского. Человека величайшей хитрости, тонко чувствовавшего выгоду и всегда встававшего на сторону сильного, Жидиславича никак нельзя было обвинить в сумасбродстве молодости, и если уж он примкнул к Ростиславичам, то, значит, имел основания надеяться на их успех. Кроме того, в случае поражения Борису Жидиславичу грозила только смерть: княжеское звание не охраняло его, а прошлые грехи вызвали у народа такую ненависть, что даже имя его стало нарицательным. Он мог бы пасть к ногам Всеволода и предложить ему свою службу — в крайнем случае был бы к службе не допущен, но сохранил жизнь, ведь князь Всеволод был великодушен.

Но Жидиславич отверг такой прямой и легкий путь к спасению. Над этим стоило задуматься, и чем больше князь Глеб думал, тем сильнее разгоралось сердце его молодым желанием битвы и победы. Но где взять средства для его выполнения?

Дружина князя Глеба едва насчитывала тысячу человек, Рязань и Пронск могли выставить едва ли больше двух-трех тысяч конных. На пешую рать нечего рассчитывать, потому что войску надлежало быть подвижным. Остатки Мстиславовой дружины — еще две сотни на конях. Мало-вато сил для такого великого дела. Правда, все рвутся в бой, и воевода умелый, но против Всеволода это еще не сила.

Средство нашлось. Недостойное средство для русского князя, но что делать? Прибегали к этому средству и деды наши, и прадеды. Решено было призвать поганых.

Эти волки всегда готовы кинуться на Русь. Так пусть же (в последний раз, пообещал себе Глеб) послужат великому делу. С их помощью одолеем Всеволода, этим укрепится Рязань, а там и самих поганых прижмем, да так, что и следа от них не останется. Решение было одобрено и Ростиславичами, и дружиной.

Задумали так: пустить поганых вперед, самим же направлять их и за ними следовать, где достанет сил обойтись без них — обойдемся. Вспомнили о двух мелких полковничих князьках, уже с месяц сидевших в подвале Глебова дворца. Князь рассчитывал получить за них какой-нибудь выкуп, а если не дадут родичи выкупа, то порешить. Пе-

репутаных князьков вывели из подвала, велели наскоро помыться, чтобы отбить кислый запах, одели в чистое и привели в гридницу, где князьки были усажены за общий стол. Сам Борис Жидиславич, не раз имевший дело с половцами и немного говоривший по-ихнему, стал расспрашивать их. Князьки оказались котловыми кощей Елтук, хозяина такой большой орды, что он мог позволить себе находиться в небольшой ссоре с самим Кончаком — могучим туром степей — и утверждать, что происходит от великого Шарукана. Очень удачно получалось! Гордый, но малоизвестный Елтук-оба должен схватить эту приманку — возможность блестящего похода на Русь, после которого он своей бессмертной славой затмит таких известных ханов, как Кончак и Кобяк.

Одному из князьков дали двух коней — одного под седло, другого — чтобы везти подарки, наскоро насовали в мешки беличьих и куньих шкурок, пару кубков серебряных, саблю изукрашенную — и пустили в степь добираться до Елтук, проводили даже. Другого князька пока оставили при себе, на всякий случай. С утра поили его как следует, и он весь день, бессмысленно улыбаясь, слонялся по двору, сидел на лавке в гриднице, тянул какие-то свои волчьи песни, а то пытался приставать к дворовым бабам.

Недели через две приехало посольство от Елтук и тот, первый, князек с этим посольством. Елтук-оба согласен, сказало посольство, воинов у него много, и без войны им скучно. Но только такое условие: весь сайгат¹, что возьмет, половецкое войско, у него и останется, весь полон русский — также, и начальником над половцами будет Елтук же, а русским князьям над ним не быть.

Почешешь в затылке! Выходило так, что никому не подчинявшаяся сила впускалась на русскую землю беспрепятственно и, вместо того чтобы стать орудием в руках Глеба, грозила и ему самому. А отказаться от половецкого участия в походе было уже поздно, этот Елтук, видно, понял, что дела в Рязанской земле неважные, защиты рязанцам ни от кого не будет. Хочешь не хочешь, а теперь называйся союзником поганому.

Да и чего жалеть? Чернь владимирскую, которую Елтук-оба орда потащит на арканах через свои степи — продавать на басурманских базарах? Богатства княжеского? Да пропади она совсем, эта чернь, — смерды, их бабы и отродье. А из княжеских богатств, поди, и нам кое-что до-

¹ Сайгат — добыча (все, что не люди, не пленники).

станется. Думали с дружиной три дня, томили послов, в гридницу на совет не допускали, хотя давно все уже было решено. На четвертый день объявили согласие. Поганое посольство тогда сообщило, что в таком случае великий хан Елтук-оба приведет свое войско осенью, а еще вернее — с первым снегом. С тем и отбыли.

Итак, дело было начато. Нехорошее дело, черное. Собрали дружину боярскую, вместе с большой дружиной Глеба и полком Ростиславичей набралось около трех тысяч конных воинов. Ждать до осени не стали. Главное — победить, а кто победит — тот и прав будет. Для начала двинулись по общему договору на Москву.

Этот небольшой, но заманчивый для них городок взяли на удивление легко — и спалили дотла. Жители бежали в села, их травили, как зайцев. Прошлись по окрестным селам, много дыму пустили. Вокруг Москвы — глухие леса на сотни верст, надо было решать, куда идти дальше. Мстислав настаивал — прямо на Владимир, но Глеб, да и дружина его не решались. Так и пошли обратно в Рязань: еще и хотелось дружинникам поскорее привезти домой добычу. Пробыли там до осени, а со снегом, как и обещал, прибыл Елтук со своей ордой. Телег, повозок, волокуш для будущей добычи — сайгата — привез видимо-невидимо. В княжеском дворце приняли поганого, попиrowали, посовещались, ударили по рукам и — на Владимир.

Великий князь Всеволод остаток лета и осень употребил на то, чтобы усилить свою дружину. Исправно была собрана дань с полюдь, запаслись кормом для коней. Численность войска, которое в один день могло быть собрано и двинуто в поход, превышала двадцать тысяч человек. Укреплялись городские стены, на дорогах, по которым возможно было продвижение врага, ставились засеки. Но выступать в поход Всеволод не торопился, хотя приближенные и склоняли его к этому. После известия о разорении Москвы, казалось, великий князь немедленно должен был кинуться на врага, найти его и разбить. Так поступали все и всегда. Нынешняя же деятельность Всеволода напоминала не военную, а, скорее, хозяйственную. Это начинало злить многих близких ему людей. Но Всеволод не торопился.

Сейчас, когда болота набухли черной холодной водой, а ручьи превратились в глубокие реки, начать поход означало предоставить исход всего дела изменчивой судьбе. А на судьбу полагаться он не мог. Но если враг сам найдет его, что ж...

Поздней осенью, недовольный действиями Всеволода, к Глебу ушел Петр Дедилец. Брат его Мирон валялся у ве-

ликого князя в ногах, отрекаясь от брата и злых дел его, клянясь в верности. Медлить с походом становилось опасным. Не был ли угрюмый Петр Дедилец первой ласточкой, за которой и другие улетят к противнику? Что, если и другие примут осторожность и тонкий расчет Всеволода за его неспособность к войне или трусость? Великий князь не прогневался на простодушного боярина Мирона, но с походом не торопился.

Когда легли снега, пришли добрые вести из Новгорода, Южного Переяславля и Чернигова. Южные князья сообщали, что ведут ему на помощь свои полки. Всеволод мог торжествовать — Русь начинала признавать его. Шли к нему под руку дети Святослава Черниговского, сын брата Глеба Юрьевича — Владимир, князь Переяславский. Господин Великий Новгород, прямо называя Всеволода своим властителем и отцом, обещал прислать полки. Но полков этих не дождался и выступили наконец в поход. Год был на исходе. Без особых трудов взяли первый город, попавшийся на пути, — Коломну.

А с супостатом разминулись! В Коломне Всеволод узнал, что войско Глеба вместе с огромной половецкой ордой прошло на Владимир, но прошло западнее, через Муром. Эта ошибка могла дорого стоить. Пришлось спешно поворачивать назад, часть полков оставив с обозами. В пути получили тяжелую весть: город Боголобов, монастырь Боголюбовский, окрестные села захвачены, разграблены, жители безжалостно истреблены и уведены в полон.

Слава Богу, Владимир поганым взять не удалось. Но они, похоже, не очень этого хотели — выбирали добычу себе по зубам: монастыри, села боярские. Много пролили крови. Глеб со Мстиславом от орды ни на шаг, словно галки при вороньей стае, крохами добычи пробавляются, подсказывают, куда идти, кого грабить, за спинами поганых прячутся.

Пришлось их поискать, погоняться за проклятыми.

Через месяц сошлись. Встали стеной друг против друга. Меж двух войск текла река Колокша, приток Клязьмы, — глубокая, с крутыми берегами. Река все не замерзала, перейти ее было нельзя. Орда половецкая оказалась в ловушке: чтобы пробиваться обратно в свои степи, надо было переходить реку, бросив все награбленное. Этого им делать не хотелось. Не очень хотелось и воевать с большим войском великого князя. Но, пойдя на уговоры Глеба, поганые поставили обозы «покоем» по русскому примеру и стали ждать, когда лед на Колокше станет достаточно крепким.

После долгой слякоти, оттепелей, мокрого снега, сыпавшегося из низких серых туч, ударили морозы. Тихой ясной ночью выкатились звезды, взошел месяц в серебряной дымке. Ярко горели костры, и дым от них уже не стелился, прибиваемый к земле промозглым ветром, а поднимался в небо сотнями прямых высоких столбов. Были слышны каждый звук, каждое слово, каждый конский всхрап и нечаянный стук железа о железо.

Несмотря на позднюю ночь, оба враждебных стана — Всеволод на правом берегу и Глеб на левом — обнаруживали беспокойное движение. Все понимали, что тонкий речной лед крепчает, твердеет, — а это значит, что единственная преграда для решающей битвы скоро исчезнет, — и готовились.

Всеволод не спал нынче. Днем только чуть подремал в шатре: казалось, выспался за долгие дни безделья на всю жизнь. Все время сидел бы в шатре: невыносимо было глядеть на тот берег, где стоял враг, видеть, как налаживается в Глебовом стане некое подобие хозяйства. Там ездили на звериную ловлю пышными выездами, нарочно возвращались, везя добычу так, чтобы можно было наблюдать с этого берега: завидуйте, дескать, нашей удачливости. Там резали к обеду скот, которого множество было согнано из сел боярских и княжеских, сытно жрали, пили монастырские меды. Ездили к Елтукову стану за девками и бабами, торговались, покупали, тащили к себе в шатры. Кричали с той стороны: «Эй, владимирцы, давай к нам, угостим сладеньким!» Но в последнее время перестали кричать. Чувствовал Всеволод — нет у врага уверенности. Пока были у них мед да брага — храбрились, а теперь, видать, выпили все и притихли. Два дня назад перебрался от них гонец по хрупкому, ненадежному льду. Сказал, что князь Глеб-де готов кончить дело миром, разойтись полюбовно. Предлагал вместе напасть на поганых, душевно печалился о русских пленниках, ими удерживаемых. Будто не сам этих пленников поганым и отдал! Всеволод даже не стал совет собирать, велел гнать гонца обратно. Хотя бы и до лета тут стоять, а покончить с супостатами! Новому воеводе Кузьме Ратишичу велено было строже следить за порядком в войске, выставить больше сторожей, — а что еще можно сделать, когда Господь мороза не посылает? А сегодня вечером прибежал воевода, улыбается:

— Мороз будет, государь! Дождались!

Вся скука и сонная одурь вмиг соскочили с великого князя.

— Откуда знаешь?

— Примета верная, государь. Дрова в кострах гудят, поют. И ворона на дерево села, клев под крыло прячет...

Кузьма Ратишич не скрывал радости. Всеволод внимательно вгляделся в него: нет, рад искренне, не напоказ. Хороший воевода. И дружина его слушается.

А к ночи ударил мороз. Теперь надо было постоянно быть наготове. Всеволод сам объехал войско, велел всем проверить оружие, конскую сбрую. Велел увязывать возы, созвал совет. Несмотря на позднее время, собрались скоро — тоже не спали. Условились так: дожидаться, когда лед окончательно окрепнет, и ночью разделить войско надвое. Всеволод с большей частью владимирской дружины и обозами останется здесь, а сыновья Святослава Владимир и Олег в темноте пройдут лесом выше по реке, чтобы на рассвете напасть с двух сторон, и главное — не дать уйти поганым. Хитрость с запасными полками придумал сам великий князь еще во время долгих сырых оттепелей, и теперь ему было приятно видеть, что его предложение понравилось.

На том берегу в неярком свете месяца не было видно заметных передвижений, только горели большие костры, и от отгороженного возами половецкого стана доносилась то ли протяжная песня, то ли плач. Да еще потрескивал, схваченный морозом, лед на реке.

К вечеру следующего дня реку сковало так прочно, что хоть сейчас начинай битву. Всеволод, отправляя запасные полки, рассчитывал, что враг не заметит убыли в его стане, а для этой цели он решил утром, на виду у Глеба, еще раз поделить оставшееся войско — самому остаться здесь, на горе, которая называлась Прусковой, а обоз с небольшой частью дружины отправить вниз по течению и там, найдя удобное место, переправляться, создавая как можно больше шума. Ночью Святославичи с двумя полками ушли скрытно вверх по течению.

Утром, когда достаточно рассвело, обоз двинулся. Это было замечено в Глебовом стане: Всеволод с возвышенного места хорошо видел суету, возникшую меж вражеских шатров. Там спешно собирались, садились на коней, в открытом поле строились.

Тихим и спокойным казался половецкий стан. Это встревожило Всеволода, ведь поганые не могли не заметить, что битва начинается, и должны были что-то предпринимать. Но они будто ослепли и не делали ничего: все

так же столбами в розовеющее морозное небо поднимались дым от костров, неподвижно стояли возы и на сторожевой веже¹, которую они успели построить за время стояния здесь, еле видимый, не шевелился наблюдатель.

— Воевода! — позвал Всеволод.

Кузьма Ратишич, внимательно следивший за тем, что творилось на том берегу, тут же подъехал.

— Что про поганых скажешь, воевода? Не хотят воевать, что ли? — спросил Всеволод.

— Ждут они, государь, — ответил Ратишич и зло прищурился в сторону затихшей орды. — Они ждут-ут, собаки. Они, княже, ждут, когда мы друг дружку порубим, а потом ударят.

— А-а, — протянул Всеволод, — ну что же, хитры они, выходит. И правда — чего им зря коней морить да сабли тупить.

— Княже, — позвал Юрята, — смотри-ка туда.

От Глебова войска отделился большой отряд и двинулся на переем обоза, переправлявшегося ниже по реке.

— Не узнаешь князя Мстислава, государь? Не иначе как он, — сказал на ухо Всеволоду Юрята.

Всеволод вгляделся — даже издалека по багряному плащу поверх доспехов и особой привычке сидеть в седле, слегка откидываясь назад, можно было узнать Мстислава. При виде врага кровь ударила в голову великого князя. Пора было начинать. Всеволод оглядел свое войско. Готовы к бою, ждут приказа. Он нашел взглядом племянника, переяславского князя Владимира:

— Князь! Тебе начинать. Возьми свою дружину и вырубай обоз.

Молодой князь Владимир, прижав руку к сердцу, отдал великому князю короткий поклон и, повернув коня, легко поскакал к своим переяславцам. Полк двинулся навстречу отряду Мстислава, который не мог пока видеть приближающейся опасности: переяславцев скрывал крутой берег Колокши.

— Ратишич! Воевода! Готовы? — спросил Всеволод.

— Давно готовы, государь!

— Юрята!

— Слушаю, княже.

— Возьми людей, ступай за Святославичами. Поможешь в случае чего.

Юрята кивнул Ратишичу, и оба они поехали вдоль войска — выкликать охотников. Тысячный, не меньше, отряд

¹ Вежа — здесь сторожевое (высокое) сооружение.

вскоре построился и пошел берегом вверх по течению уже не таясь, открыто, да и при свете дня такую силу было не утаить.

Половецкий дозорный на веже задвигался, показывал рукой, свешивался вниз, видно, докладывал о передвижении во владимирском войске.

Тем временем справа раздался дружный рев многих сотен голосов. Всеволод глянул — это был князь Владимир со своими переяславцами. Они переправились по льду на другую сторону и устремились на отряд Мстислава, поднимая тучи снежной пыли. Мстислав полк торопливо ломал порядки, перестраивался.

А Глебово войско уже подошло к реке и понемногу, разрозненными кучками, переходило на эту сторону, но как-то без охоты, словно понукаемое непослушное стадо. Среди понукающих выделялась грузная туша воеводы Бориса Жидиславича. Рядом с воеводой сам князь Глеб, он все время привставал в седле и повелительным княжеским жестом приказывал войску броситься вперед. Но, видимо, зрелище, представшее взорам рязанцев, умерило их воинский пыл. По всему склону горы, выставив в небо частокол копий, единой стеной стояли тысячи воинов, а над ними, освещенный утренним солнцем, будто парил белоснежный шатер великого князя. Сам великий князь в белом с золотом корзне¹, на белом коне был спокоен, и так же спокойна была окружавшая его свита.

Всеволод и впрямь успокоился. Ему стало видно то, чего еще не видел Глеб: дрогнувший полк Мстислава в беспорядке отступал, преследуемый переяславцами, и впереди полка бежал Мстислав, низко пригнувшийся к шее коня.

Мстислав полк бежал к своему опустевшему стану, скоро это беспорядочное бегство заметили в войске Глеба, и оно растерянно остановилось.

И тут Всеволод отдал приказ идти вперед.

Юрята, уже порядочно отъехав со своим отрядом вверх по реке, услышал громовой рев сражения и сразу понял: владимирцы смяли и погнали врага. Ощутил острое сожаление: почему не остался с князем, ведь он, поди, сейчас в самую гущу кинется. Ну как не уберегут князя? Привыкший находиться при Всеволоде неотлучно, Юрята почувствовал нечто вроде обиды, какую чувствует любящий отец, обнаруживший вдруг, что сын его вырос и показывает отцу, что может обойтись без его опеки. Обида сменилась

¹ Корзно — верхняя одежда (плащ; зипун).

радостью и гордостью за Всеволода: как он хотел этой победы, что должна принести ему славу, равную славе прежних князей! Хотя об этом великий князь и не говорил своему подручнику, но Юрята хорошо знал Всеволода. Что ж — птенец вылетел из гнезда, оперился и стал орлом, на коего любому, кроме Бога, положено глядеть снизу вверх.

Однако дело было еще не кончено. Отряд, возглавляемый Юртой, находился сейчас как раз напротив половцев; в их стане все пришло в движение. Теперь они уже не выжидали, кто победит в схватке двух русских сил, чтобы кинуться на уставшего победителя, а явно готовились отразить нападение, причем не с той стороны, откуда доносились звуки побоища, а с противоположной. Это могло означать только одно — увидели Святославичей, зашедших к ним с тыла.

И верно. Вовремя ударили черниговцы. Сейчас доберутся до возов, начнется бой. Тут важно не дать поганым выскочить из своей же крепости и схватиться с полками Святославичей в чистом поле.

Весь тысячный Юртин отряд разом бросился на помощь черниговцам. Перескочили реку, по неглубокому снегу взойшли на берег — и поспели, как раз когда поганые заканчивали растаскивать возы, расчищая путь своей коннице. Из становища донеслись жалобные крики: наверное, кто-то из половцев, отчаявшись, рубил пленных.

В стан ворвались почти одновременно и черниговцы и владимирцы. Застигнутая врасплох орда уже не помышляла о сопротивлении, охваченная ужасом, она думала только о бегстве. Самые злые и отчаянные, визжа, еще размахивали саблями, а русские отряды меж тем вдавлились в гущу половцев, словно два кулака в тесто. И — началось.

Не чувствуя усталости, Юрята разил своим тяжелым мечом направо и налево, с потягом, не давал лезвию увязнуть в жесткой прокопченной коже половецких доспехов. Он решил пробиваться в середину стана, в самую гущу, вонявшую даже на холоде потом и кислым молоком: нельзя дать поганым построиться для обороны. Полк действовал как одно целое. Битва кипела и на возах: черниговские полки обоих Святославичей не давали половцам разбирать укрепления. Избываемая и теснимая половецкая конница, вернее, те, кто успел забраться на коней, сами, подаваясь, теснили своих и мяли, усиливая и без того охвативший орду ужас. Многие из русских спешили, так было сподручнее рубить поганых, пытавшихся укрыться в своих шатрах и под повозками, груженными награбленной добычей. Жители степей, половцы не умели драться в тесноте и гибли сотнями.

Они погибли почти все. Спасася только Елтук благодаря отряду личной охраны. Рубя единоплеменников, отряд кинулся в небольшой просвет между владимирским полком и черниговцами, вырвался из западни. Их не преследовали — никого сейчас нельзя было оторвать от беспощадной рубки.

Вскоре на половецкий стан навалились еще два владимирских полка, пришедших с той стороны, где войско великого князя только что разгромило дружину Глеба и Мстислава. Как потом выяснилось, их послал обо всем помнящий воевода Кузьма Ратишич, смекнувший, что полки эти для преследования Глебовой конной рати, пожалуй, не годятся, а вот помочь Святославичам и полку Юрята могут. И впрямь, прибывшая подмога не смогла бы сравниться в быстроте передвижения с опытными дружинниками, полжизни проводившими в седлах. Составлены эти полки были из мастерового люда по воинской повинности ремесленных городских слобод. Были здесь кузнецы, плотники, кожемяки, гончары, ткачи, десятка два монахов, благословленных на битву епископом. Подъехав к становищу, они оставили своих коней и полезли через возы, и когда Юрята увидел их, во множестве появлявшихся на стенах и спрыгивающих вниз, он понял, что теперь-то конец битвы близок и определен. Действительно, через некоторое время сеча стала затихать, но лишь потому, что рубить было больше некого.

Огромное пространство, огороженное возами, было заполнено мертвыми, ранеными, лошадьми, бьющимися в предсмертных судорогах среди людских тел, телегами с награбленным добром, поломанным оружием — обычными отходами всякой войны. Возле крытых повозок кое-где лежали убитые русские пленники, они так и не дождались спасения.

Юрята почувствовал усталость, опять кольнула легкая досада: старость, что ли, приходит? Раньше вроде бы и не ощущал такой тяжести в руках, а ведь бой продолжался, пожалуй, меньше часа. Или от чего другого эта усталость? Почему не приходит радость победы, да ведь и жив остался? Вот в чем дело, князя рядом нету! Первый раз Юрята не вместе с князем в бою. Не о ком сейчас заботиться, не кем гордиться, не от кого ждать ласкового слова. Он коротко вздохнул, переводя дыхание. Поехать, что ли, найти его? Но тут же подумалось: может, не очень-то ему и нужен? Хоть ты и нянчил его с малых лет, хоть и был для него долгие годы самым близким другом, а все равно ты для него — смерд, а он твой единственный хозяин на земле. Его дело — царствовать, твое — жизнь за него отдавать да милостей ждать...

Невдалеке послышался ребячий писк — так пищат младенцы, грудные. Юрята посмотрел туда и увидел ребеночка на руках у мертвой матери. Она сидела на земле, привалившись к колесу крытой повозки. Кровь из разрубленной головы женщины еще капала на сверток, сжатый окочевшими руками. К мертвой женщине уже подошел невысокий светлородый ополченец и осторожно разжимал руки покойницы, пытаясь освободить ребенка. Юрята хотел подъехать, но почему-то слез с коня, наступив на толстого, лежавшего навзничь половца, и едва не упал, оступившись на колыхнувшемся животе. Ведя коня за собой, подошел к повозке. Светлородый уже держал в руках испачканный кровью сверток. Он поглядел на подошедшего Юрята и виновато улыбнулся.

— Вишь, боярин, — живой младенец-то.

— Не боярин я.

— Ну оно и ничего. А ты, мил человек, не видал ли где поблизости бабы какой? Его, чай, покормить надо.

Светлородый на мертвую мать внимания не обращал, а вот ребенок, оставшийся в живых после такой бойни, видимо, умилял его. Надо же, среди тысяч убитых — живой, пищит. Он неумело держал сверток и пытался рукавом кофуха счистить с него примерзшие сгустки крови.

— Пойду поищу. Может, полон какой остался. А ты бабы не видел ли здесь? — снова спросил светлородый. — А-а, — он тихо засмеялся, — я уж спрашивал тебя. Ну, прощай, пойду.

Он направился к толпе, что собиралась у возов, — искать бабу, наверное. Шел, пошатываясь, как от счастья, прижимая младенца к себе.

Юрята вдруг взялся за кожаный полог повозки и, дернув, резко распахнул его. Заглянул внутрь. И отшатнулся, рука дернулась к мечу: из темной глубины повозки на него глядели чьи-то глаза.

Среди свернутых в трубку кож, мешков, тюков шерсти сидел мальчик с бледным лицом, уставившийся на Юрята. Он не кричал, не плакал, просто смотрел и не шевелился.

— Эй! Ты чей? — внезапно охрипшим голосом спросил Юрята.

Мальчик, казалось, не понимал слов.

— Да ты не бойся, — догадался Юрята. — Мы русские. Слышишь? Русские мы.

Мальчик наконец понял и кивнул. Из глаз исчез страх, сжатые губы разомкнулись, он начал плакать, не отрывая взгляда от Юрята, словно боялся, что тот исчезнет.

— Ну, иди ко мне, — сказал Юрята и протянул к мальчику руки. Ему так захотелось обнять мальчика, успокоить его. Ребенок, не переставая плакать, несколько раз дернулся, но с места не сдвинулся. Юрята понял, что он связан.

— Сейчас, сейчас. Ах ты бедняга. — Юрята тяжело взобрался на повозку, отбросил мешок. Руки мальчика за спиной были перехвачены тонким кожаным ремешком, который туго охватывал и ноги. Юрята сунулся к ногам, только ножа там не оказалось — потерял. Тогда, достав из ножен меч, неудобный в тесноте повозки, он осторожно, боясь задеть мальчонку, стал разрезать ремешки. Пути упали, но мальчик не шевелился, только плакал и дрожал. Юрята принялся отогревать посиневшие от холода кисти рук мальчика: растирал, дышал на них, опять растирал. Да, мальцу крепко досталось в плену у поганых: на щеке вздулся рубец от плетки, под слипшимися волосами надо лбом виднелась засохшая кровь. Пока Юрята растирал мальчику руки, тот всем тельцем пытался прижаться, прильнуть к его широкой груди — слышно было, как стучит его сердце. И этот стук маленького сердца наполнял душу Юраты неизъяснимой любовью и страхом, что ребенок может умереть.

Юрята разворошил лежащую в повозке рухлядь, нашел шкуру помягче и завернул в нее худенькое тельце. Мальчик затих. Выбравшись наружу, Юрята, одной рукой прижимая мальчика к себе, вскарабкался на коня, усадил ребенка перед собой. Но ведь просто так уехать пока было нельзя: великий князь поручил ему полк. Юрята поискал взглядом: никого, кто бы ему помог.

Вокруг шла работа. Прибыл обоз, а с ним владимирские жители, которые вместе с ополченцами разбирали захваченные возы, обшаривали мертвых половцев, стаскивали в свои сани собранное оружие, ловили лошадей. Неожиданно много оказалось везде русских пленных, они плакали, кланялись, обнимали своих освободителей, показывали раны и следы побоев. Шум и крики неслись отовсюду. Юрята взглядел знакомого сотника — Путилу, по прозвищу Бык. Такого можно оставить за старшего — даже рад будет. Добычей себя не обделит. А Юрята уже свою добычу взял.

— Эй, Путило! — крикнул Юрята, махнул рукой, подзывая сотника. Тот расслышал не сразу, был занят с виду заманчивым возом. Но вот оглянулся и живо подбежал, взялся даже за стремя, острыми глазками ощупывая сверток: что там?

— Так вот. Вы здесь приберетесь, и созывай всех, води к стану, за старшего будешь. Я до князя поеду.

— Ладно, старшой, приведу, — охотно согласился Путило. — Может, скажешь Святославичам, чтоб своих уводили поскорей?

— Не жадничай, Путиша, — погрозил Юрята сотнику. — Здесь на всех вам добра хватит. Глядите не подеритесь только. А насчет Святославичей ты верно сказал. Надо пойти, поклониться. Да не смотри, не смотри глазами-то. Мальчонка это...

Он тронул поводья и, увидав обоих Святославичей в дальнем конце становища, где они распоряжались своими черниговцами, поехал к ним. Молодые и очень похожие друг на друга удлинненными безбородыми лицами, оба князя, глядя, как он подъезжает, старались при чужом изобразить надменность, но у них это плохо получалось: слишком возбуждены были победой, а признав в Юрате подручника великого князя, и вовсе подобрели. Юрята подумал, что это хорошо, можно не спешиваться, не беспокоить мальчика. Вот только не помнил он, который из князей Игорь, а который — Олег.

— С поклоном к вам, княжичи. — Юрята вдруг понял, что если будет говорить с ними слегка покровительственно, то они это примут как должное. И тут же порадовался за Всеволода, порадовался за мальчика, которого держал перед собой на седле.

— Спасибо вам, княжичи, за подмогу. Без вас пропали бы.

— Тебе спасибо, — кивнув, ответил один, а другой засмеялся, польщенный похвалой. Все-таки совсем еще были они молодые, Святославичи.

— А я до князя еду, — сказал Юрята. — Вот, мальчонку нашел.

Но мальчик не вызвал у них любопытства, им больше хотелось узнать, сумеет ли Юрята как должно рассказать великому князю об их воинских подвигах. Он заверил их, что подробно обо всем расскажет Всеволоду Юрьевичу, и Святославичи, кажется, остались этим очень довольны...

Он ехал мимо разгромленного Глебова стана, где так же, как и в половецком, уже хозяйничали владимирцы. Мальчик иногда вздрагивал, и тогда Юрята торопил коня, но тут же осаживал его, боясь тряской тревожить найденца. Конь обижался, фыркал и недоуменно взглядывал на всадника, как бы укоряя его за такую езду.

Стан Всеволода на Прусковой горе уже сворачивался — князю не терпелось скорее во Владимир, въехать в город победителем раньше всех.

Солнце начинало склоняться к закату, наливалось красным, и шатер великого князя розовел в его лучах.

Первым, кого встретил Юрята, был воевода. Выглядел он так, будто его работа только-только начиналась и по сравнению с этой работой минувшая битва — пустяки. А может, и вправду так было. Ведь как, например, на охоте? Поединок со зверем длится единый миг, а потом ты с этим зверем повозись: и шкуру с него сними, и оскобли ее, и мясо поруби да просоли его. Так и воевода: нужно было ему собрать рассеявшиеся полки, принять пленных да тех, кто познатнее, отделить от простых, рядить обозы на сбор военной добычи: не то чтобы зорко следя за возможным разворовыванием добытого имущества, но и не совсем закрывая глаза, а так — вполглаза, прищурившись. И обо всем докладывать князю, который хочет знать о плодах своей победы как можно больше.

От князя сейчас и шел Кузьма Ратишич. Увидев Юрята, обрадовался:

— Юрята! Здорово, брат! Живой? — И вдруг обеспокоился: — А рать-то твоя где? Случилось что?

— Здорово, Ратишич! Да не бойся, целы все. Сайгат делят. Я там сотника Путилу за старшего оставил.

— Путилу? Это который? Не помню. А сам что же?

— А вот, видишь? Мальчонку нашел. Обогреть бы его да покормить.

Ратишич смотрел на Юрята и на сверток, соображая, как связаны два этих события — дележ добычи и мальчик. Махнул рукой:

— Ладно, брат. Говоришь, управятся там? Ну, тогда ладно.

— Князь-то у себя?

— У себя. Веселый нынче.

— Еще бы. Князя Глеба-то поймали?

— Поймали, — обрадованно сообщил Ратишич. — И сыновей его взяли — Игоря, Ярополка да Романа-князя. Ростиславичей обоих. Жидиславича-воеводу, борова толстого. А! Дедильца Петра тоже поймали!

— Да ну?

— Поймали. Пьяного, говорят, повязали в шатре. Ну ладно. Так, значит, управятся там без тебя-то? — В голосе Кузьмы Ратишича слышалась укоризна. — Ну, побегу. Эй, кто там? Коня мне! — крикнул воевода. — Прощай пока, Юрята.

Ему тут же подвел коня расторопный отрок. Воевода лихо вскочил в седло и поскакал прочь. За ним устремились его подручные — отряд человек в двадцать.

Юрята проводил их взглядом, слез с коня и со свертком направился к шатру великого князя.

Вот радость-то! Княгинюшка Марья понесла! Уж на втором месяце ходит, а сказала только вчера, когда проводили епископа черниговского Порфирия. Целую неделю он жил в княжеском дворце, все уговаривал Всеволода помиловать мятежников, намекал на кары небесные. Ну конечно — земными карами сейчас великому князю никто на всей Руси не отважится грозить, разве что по скудоумию. А епископ Порфирий умен, недаром послали именно его.

Пленные мятежники томятся в дворцовой темнице уже полгода. Томятся, правда, как кому положено по званию. Изменникам Борису Жидиславичу, ненавистному с детских лет, да Петру Дедильцу действительно хлеб в окошко бросают, да и хлеб особый пекут для них — колючий. В праздники получают они хорошую пищу. Да! А то ли не праздник — Марьюшка понесла! Надо сказать, чтоб их, злодеев, сытно покормили нынче. Да пусть Бога молят за свою заступницу. А князь Глеб с сыновьями содержится достойно. Да что князь Глеб — Мстислав, враг на вечные времена, живет, не зная огорчений. К нему бы еще братца, Ярополка Ростиславича, поселить, может, перегрызлись бы, передушили друг дружку. Прости, Господи, за такие мысли. Но улизнул Ярополк, где-то в рязанских землях скрывается, не иначе.

А князя содержат как и положено князьям: слуги у них, постели мягкие, помещения сухие, светлые, даром что темница, кормятся с княжеской кухни. Отцы священники к ним ходят. А к Мстиславу и женщина одна ходит, Юрята докладывал. Нельзя бы этого, да уж ладно — никто не видел.

С пленными князьями одна морока — ума не приложишь, что делать с ними, сколько еще томить в неволе телеса их княжеские? Казнить нельзя — все же побеги от одного ствола, от древнего Рюрика, от Владимира и Ярослава. Скажут: уподобился Святополку Окаянному, поднявшему руку на братьев своих — святых Бориса и Глеба. И отпустить нельзя — опять козни начнут строить, да и народ возмутится. Много, много крови пролили князья! Поруганные тела тех убиенных до сих пор стоят перед глазами.

О том говорили много с епископом Порфирием, и по нему видно было, что хоть и положено ему всех прощать, а этих не очень-то он простил бы. Рассказали ему про Боголюбовский монастырь, ныне лежавший в руинах, про священников, лишенных зрения и мужской силы. Сверкнет глазами Порфирий: мол, отцу святому мужская сила ни к чему, а зрение телесное он духовным зрением может заме-

нить, и вообще, мол, все по грехам нашим. Смешно! Вы проводить бы епископа на следующий день, да Всеволоду любопытно было поучиться у него разговорной хитрости: как это у человека те же слова, что и у тебя, а смысл совсем иной, противоположный.

Порфирий прибыл к великому князю не по своей воле, а по приказанию Святослава. Нашлись заступники у супостатов. И не освобождения пленников хотел Порфирий, а страшно было ему не выполнить Святославу волю. Вот как бояться до сих пор киевских князей даже и отцы церкви, самим Богом охраняемые. Ничего, придет день, когда и владимирскому князю перечить будет опасно. Он, этот день-то, уже пришел, только не все это понимают. Поймут.

Но и Святослав, непрочно в Киеве сидя, не сам стал таким добрым и великодушным. О его великодушии лучше помолчать — своя выгода всегда была для него превыше всех других забот. Прибежище Всеволоду, в юности гонимому, Святослав дал тогда не от любви — какая любовь у Ольговичей с Мономаховичами? — а из выгоды, и хорошо, что иная выгода ему тогда не понадобилась, не то сейчас Всеволод сидел бы в лучшем случае где-нибудь в Торческе или вовсе в Тмутаракани. Таков Святослав, таковым его все знают. А Порфирия-епископа с просьбой о помиловании мятежников послал он, чтобы не портить отношений с Мстиславом Храбрым, потому что сам его боится.

Мстислава мудрено не бояться. Это витязь отважный и бесстрашный, даже кажется, что умом повредился. Он опоздал родиться, ему бы жить в Русской земле, когда тут Змей Горыныч летал — вот была бы защита! Он, Храбрый, и Всеволода в плен брал, когда был в ссоре с Боголюбским, держал в заложниках, как супостата. При этом Храбрый незлобив, не коварен, и Всеволод не боялся тогда за свою жизнь, а к Храброму приглядывался, потому что много был про него наслышан. И все думал: вот странно — герой, красив, глаза сверкают, легенды про него слагают, дружина на него молится, в любой город входит — жители с колокольным звоном встретят. А хотелось бы Всеволоду его в друзьях иметь? Нет, пожалуй, лучше подальше от такой отваги. Да вот хоть сейчас, сказать смешно: сам поспешил попросить Всеволода за пленников, а прибегнул к помощи Святослава. Мономахович попросил Ольговича замолвить словечко перед другим Мономаховичем!

А Глеб Рязанский Храброму тесть. Святослав-то знает, что с Храбрым, как с балованным дитем, лучше согласиться, крику не оберешься. Теперь вот сиди, думай, что луч-

ше: выпустить князей или оставить в темнице, а на самом деле — кому полезней отказать, Святославу или городу Владимиру?

Всеволод поглядел на дверь и позвал:

— Юрята! Захар! Подите кто-нибудь!

Дверь тут же открылась, и с поклоном вошел новый кравчий Захар Нездинич. Глуповатое лицо его выражало всегдашнюю преданность и готовность служить, ноги в красных сафьяновых сапожках, короткие для длинного его туловища, словно ждали приказа куда-нибудь скорее побежать.

— Нету Юрята, государь-батюшка. Пошел к мальчонке своему. Заболел мальчонка-то.

Всеволод нахмурился, хотел было отпустить кравчего, потому что Юрята был ему нужнее для дела. Однако раз решил — лучше не откладывать.

— К мальчонке... Почему мне не сказывали?

— Так баба прибежала, государь. Ой, говорит, скорее, говорит...

— Баба... Ну ладно. Слушай-ка, Захар. Ты сейчас пойдешь, отошли всех, кого можешь... чтобы во дворе никого не было и в доме не болтались. Понял? А приведешь мне сюда князя Глеба, и сам возле дверей встанешь. Чтоб поменьше знали об этом.

В Захаровых глазах зажглось любопытство. Ему, видно, страсть как охота было узнать, что затевает великий князь со своим пленником.

— Ты глазами-то не играй, — как можно суровее произнес Всеволод. — Чтоб никто этого не увидел, говорю. Да с князем поосторожней, с почтением обращайся. Скажи: жду, мол, его для важной беседы, а не обидами считаться. И пошли все-таки кого-нибудь за Юрятю.

— Все сделаю, государь. Только князь Глеб-то, говорят, еле ходит. Ноги у него пухнут.

— Тут недалеко, дойдет. Мне, что ли, самому к нему на поклон идти прикажешь?

— Понял, государь.

Захар исчез. После его ухода Всеволод на миг пожалел, что не дождался Юрята — тот бы все сделал гораздо умнее. И с князем Глебом так бы поговорил, что того не пришлось бы долго ждать. Ну не отменять же разговор. Раз решился — надо. Епископ Порфирий как поучал? Не слушайся первого движения души, а слушайся второго. Вот сейчас как раз второе. Первое было — отдать их всех народу владимирскому. А третье движение души для них, может, еще хуже обернется.

Он оглядел покой. Вот сюда надо будет князя Глеба посадить: не под иконами, но и не у порога. Самому сесть напротив — возле окна, у столика с шахматами.

Со двора послышался крик Захара, но что кричит — было не разобрать. Эх, Юрята бы... Да полно, нужно ли таиться в своем-то доме? Раз князь захотел, значит, нужно, и пусть думают что им угодно.

В ожидании князя Глеба Всеволод задумчиво двигал шахматные фигуры, искусно вырезанные из желтоватого рыбьего зуба и черного дерева, украшенные разноцветными камушками. Играть-то он был небольшой искусник, а любил эти игрушки из-за красоты. Звери диковинные, воины в доспехах и даже с сабельками золотыми — красиво и успокоительно. Дочку, Еленушку, приносили из княгининых покоев — показать. Не понравилось ей, посмотрела исподлобья, отвернулась. Старухи сразу княгине давай шептать: Божье дитя, мол, чует, эта забава от лукавого. Марьюшка рассказывала — смеялась. Родила бы теперь сына! Всех бы простил на радостях!

За дверью послышались тяжелые шаги. Дверь открылась, и вошел, грузно переставляя ноги, князь Глеб, хмурый. Поклонился, а глазами так и рыскал — соскучился, наверное, по княжеским покоям. За спиной его мелькнуло глупо-торжественное лицо Захара, и дверь закрылась. Тишина, молчание Всеволода, сопение Глеба. Ожидание — кто первый заговорит. Всеволод усмехнулся.

— Здоров будь, князь Глеб. — Князь в ответ что-то пробурчал себе под нос. — Садись.

Сел, широко расставил ноги. Сидит, сопит, выжидает, волк.

— Нет ли жалоб каких? — спросил Всеволод, желая расшевелить собеседника.

— Жалоб? — побагровел Глеб. — Стыдно тебе, князь Всеволод! Где это видано, чтоб над княжескими седидами ругались, как ты надругался! Родичей своих в темнице гноишь, как татей!

— Много чего на Руси видано, князь Глеб. Да ты и без меня это знаешь. А что сидишь как тать в темнице, так то по делам твоим! — крикнул Всеволод. Нет, не с ругани надо начинать. — А про родство ты давно ли вспомнил? Не тогда ли, когда поганых назвал на Русскую землю?

Глеб закашлялся. Кашлял долго, обстоятельно, а когда закончил — успокоился, в глазах появилась хитреца.

— С погаными-то, князь Всеволод, нехорошо вышло. Да ведь за горло взяли, проклятые! Я и то их от многих злых дел предостерег.

— Видели мы, как ты их предостерегал, князь Глеб. Да и сам, поди, остерегался? Не много они тебе помогли.

— Большая беда земле нашей от племени поганого, — грустно сказал Глеб.

Замолчали.

— Ну, Русской земле от многих беды бывают, — наконец произнес Всеволод. — От тех, например, кто со своим управиться не может, а на чужое зарится. Эти разговоры пустые, князь Глеб. Мы с тобой не в шахматы играем — кто кого перехитрит. Друг дружку знаем. Знаем оба и то, что ты нынче мне принадлежишь с сыновьями вместе. И держал бы я вас под запором до самой кончины вашей. Да вот — просят за вас.

Глеб насторожился.

— Просит за вас Святослав, а ходатаем к нему зять твой, Мстислав Ростиславич. Теперь слушай, князь Глеб. Помнишь, как люди мои, народ владимирский, требовали вас выдать?

Глеб снова принялся кашлять.

— Помнишь, князь Глеб. Я же вас тогда не выдал, спрятал в темницу. А мог бы отвернуться либо за нуждой отойти — и разорвали бы вас на кусочки.

Глеб насупился: видно, вспомнил тот день, когда огромная вооруженная толпа обступила дворец Всеволода. Дружина князя еле сдерживала напор людского моря. Вот, казалось, сейчас прорвет — и хлынут, озверевшие, к саням, поднимут топоры... Всеволод спас их тогда, один остановил всех, вышел к народу, и, глядя на него, остывала толпа. «Слава князю!» — кричали. А их, пленных князей, тем временем дружинники увлакивали с глаз долой.

— Вот, князь Глеб, какова моя доброта к тебе. А теперь слушай. Позвал я тебя сказать: готов я забыть обиды, которые ты мне причинил. Готов отпустить тебя и сыновей твоих, если только поклянешься, что будешь отныне ходить в моей воле и детям велишь.

— А не то черни своей выдашь, что ли? — хищно спросил Глеб. — Не буду я в твоей воле ходить! Молод ты еще! Вот погоди... погоди...

— Годить я могу, а ты, князь Глеб, и подавно. Знаю: отпусти тебя — тут же побежишь против меня союзников собирать, и погаными опять не побрезгуешь. Вот от кого все беды нашей земле — от таких, как ты! Я повидал вас, таких родичей, князей высокородных! Как волки грызете брат брата, сын отца. А на Руси нужен один государь, единовластный!

— Ты... ты, что ли, будешь государем-то? — Князь Глеб весь налился кровью.

— Я буду государем, — твердо сказал Всеволод. — Тебе же, князь Глеб, еще раз говорю: хочешь из темницы выйти — откажись от княжества. Поезжай в южные уделы, к родичам. А в Рязани я князя своей рукой поставлю — может, кого из сыновей твоих, если мне покорен будет, а может, и кого другого.

— Нет! — закричал Глеб, вскакивая на ноги, плохо слушавшиеся его. — Моя Рязань! Не тебе, щенку, ею владеть!

Дверь в покой отворилась, и заглянул Юрята:

— Не прикажешь ли чего, государь?

— Зайди, — сказал Всеволод. Помолчал и в последний раз спросил: — Ну что, князь Глеб? Последнее твое слово?

— Лучше умру в неволе, а от княжества не откажусь, — тихо произнес Глеб, и впервые за время разговора лицо его стало спокойным и строгим. На миг Всеволоду даже стало жаль старика, но он тут же опомнился.

— Уведи князя, — кивнул он Юрте.

Всеволод остался один. Странно — после тяжелого разговора с заклятым врагом он чувствовал облегчение, будто камень упал с души. Стало быть, одним противником меньше? Да не одним — а сыновья его? А Мстислав? Хуже было бы, если бы Глеб принял предложенные ему условия. Ему ведь только до Рязани своей добраться, а там начал бы все сначала. Опять война. Почему же отказался князь Глеб? Клятву преступать ему не впервой. Все-таки сильна гордость княжеская! Из-за нее князья никаких здравых рассуждений не приемлют. А может, не поверил ему Глеб? Примет князь Владимирский клятву принародно, крест поставит целовать, потом с почетом отпустит, а в провожающие даст своих верных людишек с ножами засапожными... И до первого ночлега. Да, этим славны высокородные князья — по себе обо всех судят, а значит, не верят никому. Ну, как бы там ни было, а об этом можно больше не думать. Главный противник теперь — Святослав.

И вообще забот хватает. Новгород, например. Княгиня Марьюшка. Понесла ведь она. Радость-то! Пойти к ней, развеяться.

— Захар! — позвал Всеволод.

Кравчий тут же высунулся в двери. Вот ведь окаанный — по голосу узнает, когда достаточно лишь в дверь заглянуть. Ловок!

— Я к княгине пойду, — сказал Всеволод. — Обедать нынче там буду. Да! — Вспомнил что-то. — Этим... в темницу отнесите чего-нибудь. Гуся, что ли. Мяса какого. Ну, ступай.

В княгининых покоях Всеволода каждый раз умилял тот особенный уют, что умела придавать Марья любому помещению, где бы они с ней ни жили. И запах стоял какой-то легкий, спокойный, травами и цветами будто пахло, и чистота такая, словно вот только что прибрались, и солнце в окошках словно веселей светило. На его, Всеволода, мужской половине было так, да не так — и мыли-скребли, и травы развешивали, а не то. Что и говорить — женская рука. А может, это потому, что сюда всяких злодеев не допускают?

Марья была не одна. Две комнатные девушки помогали ей прихорашиваться к обеду. Веселые, шепчутся, будто три сестры, а не княгиня с холопками. И всегда так — все ее любят, не боятся нисколько.

Увидев князя, девушки поклонились и, поняв его желание, обе вышли в соседние покои, молча, и там уж только рассмеялись — необидно, нежно, как две горлинки проворковали.

— Митюшка! — потянулась к нему Марья.

Всегда она называла его вторым именем, крещеным. А ему нравилось: он и вправду чувствовал, что в нем как бы уживаются два человека, хоть и похожих, да не совсем. Один — Всеволод, князь, властитель и воин, а второй — ласковый юноша Димитрий, Митя. Один — для всех, другой — только для нее, для Марьюшки. Кто главнее? Когда как.

Поцеловались, сел рядом на низенькую скамеечку. Любил сидеть на ней, головой к коленям жены, чтобы она пальцами, легкими как ветерок, волосы его перебирала. Посмотрел снизу вверх на ее родное лицо, на милую родинку у правого виска. Родинку эту любил, не позволял, когда бывали наедине, носить подвески, ее закрывающие. В разлуке родимое это пятнышко вспоминал. Жаль только, разлук выходит куда больше, чем хотелось. Да возле жены всю жизнь и не просидишь.

— Как Еленушка? — задал Всеволод свой обычный вопрос. Хотя и знал, какой будет ответ.

— Кушала плохо. Потом сказала, головка болит у нее. Поспать положили. А ты как, Митя?

— Я, Марьюшка, сегодня князя Глеба велел привести. Поговорили с ним.

— Да я уж знаю.

Всеволод улыбнулся, покачал головой. Постарался Захар.

— И о чем договорились, знаешь?

— Ты не верь ему, Митюшка. Он хоть и в пожилых годах, а бесовский. — Княгинюшка рассердилась, сдвинула брови. — Он ведь жить не даст никому и сыновей своих погубит.

— И я так думаю, — сказал Всеволод. — Ну да ладно, с князем уж решено. Здесь будет.

Марьюшка кивнула, но лицо ее оставалось озабоченным. Сейчас за Глебовичей станет просить, подумал Всеволод с неудовольствием — в покоях жены ему не хотелось говорить о неприятных делах.

— Ты кого сегодня к обеду ждешь? — спросила Марья. — Успею я одеться?

— Никого не жду сегодня, — засмеялся Всеволод. — У тебя обедать будем, я уж Захару сказал.

Марьюшка тоже улыбнулась. Они с князем не очень любили обеды с гостями, хотя такие обеды великий князь обязан был давать — с приглашением бояр, тысяцкого, воеводы, богатых горожан. Не столько обедаешь, сколько совещаешься, обсуждаешь дела всякие да слушаешь похвалы себе и княгине. Одна морока. Поэтому иногда они обедали вдвоем. Ну, а гости, конечно, придут. Им на мужской половине накрукот. Ничего, сегодня без князя обойдутся.

— Марьюшка, голубка моя. — Всеволод привлек жену к себе, осторожно потрогал живот. Нет, пока еще ничего не слышно. — Скорее бы, а?

— Скорее нельзя, — ласково проговорила княгинюшка. — Потерпи немного.

— Ты смотри осторожней.

— Я и так берегусь.

Как-то они друг дружку понимали, вроде и слов не надо. Эх, сидеть бы вот так, вдвоем с ней, чтобы никто не мешал, ласкать женушку свою, гладить ей титочки (а как волосы ее пахнут!) и говорить о чем-нибудь простым и спокойным, думая: скорей бы ночь да в опочивальню. Так ведь не дадут...

В дверь тихо постучали. Вошла пожилая степенная женщина — княгинина ключница и домоправительница Долгуша. Сказала, что к обеду все готово. Спросила: может, не будить Еленушку, так-то хорошо спит. Решили не будить.

Помолившись, прошли в столовую. Пока Всеволод усаживался, Марьюшка успела о чем-то пошептать с Долгушей. Та ушла. Всеволод, которому сегодня все было любопытно, дождался, когда княгиня сядет напротив, и спросил: какие тайны от мужа? Марья немного смутилась.

— Не сердись, Митюшка, — сказала она. — Я велела в темницу чего-нибудь отнести. Пусть покушают за твое здоровье.

Всеволод рассмеялся, но промолчал. Ладно, пусть.

Подали обед — грузди с луком, запеченные в сметане, пирог с осетриной, налимьей печенкой и яйцами, жареную

утку, жареную курицу, малосольного новгородского сига, истекающего прозрачным жиром, копченый говяжий язык, телятину, сваренную в пиве с травами, на сладкое — черничный кисель, репу в меду, ватрушки. Для князя — красного вина и меда, для княгини — квасу мятного, душистого.

Всеволод любил смотреть, как Марьюшка ест — будто играет, будто ласкает каждый кусочек. Сам он мог съесть много, а был худ, никак не толстел, и княгиня часто над этим подшучивала. Вот и сейчас она знала — ничего князь не пропустит, каждого блюда отведаст. Всеволод начал с сига, потом выпил вина, потом съел груздь, другой, третий. Съел кусок телятины, вернулся к сигу.

— Марьюшка, а помнишь? У Святослава в Чернигове перс один угощал нас? Как оно называется? Ну, еще мясо рубят мелко, тестом защипывают и варят? Не помнишь, как называется?

— Нет, Митя, не помню я. Да мне оно и не понравилось тогда.

— С непривычки, должно быть. Привыкнуть надо — и понравится. Ты же вот печенку тоже не ела.

— А я и сейчас не буду.

— Ну и ладно. А я тогда один все съем.

— Митюшка! Все хотела тебя спросить. Как там Юраты сыночек, Добрыня?

— Захар говорит — заболел чего-то.

— Да я знаю, что заболел, а что с ним?

— Так ты у Юраты и спроси. Мне-то он не докладывает, — слегка обиженно сказал Всеволод. — Он с этим сыночком своим совсем дурной сделался. То вот нынче убежал, не сказавшись, а он мне нужен был.

— Ты не сердись на него, Митя. Сыночек у него уж больно хороший. А ты сердишься, потому что ревнуешь Юрату своего. И зря ревнуешь.

Всеволод подумал и вдруг засмеялся.

— А ведь верно, — сказал он. — Ревную. Привык к нему, как к брату родному. А он — на тебе, на старости лет сынка завел. Совсем бы уж тогда женился. Может, найдешь ему женку, княгинюшка? Он тебя послушает.

— И найду. Я уже с ним говорила, и строго. Нехорошо, сказала, если мальчишечка без матери.

— Ну? И он что тебе сказал? — с любопытством спросил Всеволод.

— Сказал — если женщина хорошая попадется, то подумает. А мне Долгуша сказывала, есть как раз одна женщи-

на хорошая в Суздале, из доброго рода, боярина Молчана Пука вдова, и мальчик у нее Добрыне одногодок.

— Мальчишке отец больше нужен! Да ладно, эти дела делайте как знаете. Ты-то вот, княгинюшка, роди-ка мне сыночка, пожалуйста.

— Молиться надо, Митюшка. Я отцу Порфирию уж наказала, обещал помолиться, чтоб Господь сына нам дал.

— Не Порфирия, а Луку надо просить. Порфирий-то еще чего намолит. Все они там, Марьюшка, враги наши, не за столом будь сказано.

— Ну тебя! Грех так говорить про святых людей!

Марьюшка вроде рассердилась, махнула на мужа рукой, а глаза смеялись. Все-то она понимала, другой такой и не найдешь. Всеволод смотрел на жену и думал, что в жизни еще много чего может случиться. Вдруг убьют его. Что тогда с ней станет? Ну, Юрята не даст ее в обиду. Да и о гибели думать нечего, пусть лучше другие о ней думают. Марьюшка, голубушка, сладкое яблочко. Да что же это время так медленно тянется? Когда уж ночь, наконец?

ГЛАВА 9

Князь Глеб, как и обещал Всеволоду, умер в неволе. Через неделю после разговора с великим князем, сидя вместе с сыновьями — Романом, Игорем и Ярополком — за ужином, покушав плотно, вдруг недоуменным взглядом оглядел их, словно не узнавая, откинулся, икнул и упал головой на стол. Пока бегали за лекарем, которого на княжеском дворе не случилось — ушел в город к свояченице, пока нашли его да привели, князь Глеб уж и остывать стал. На всякий случай лекарь попробовал ему отворить кровь, тертого хрену приложив к затылку и к вискам, но кровь из открытой жилы капнула в таз, а больше не пошла.

Хоронить Глеба Всеволод велел в Рязани, для чего немедленно снарядили отряд из большой дружины, князя в простом гробу уложили на телегу, и сопровождать тело отца был отпущен старший сын, князь Роман, который перед этим был вызван к великому князю и обещал ему свою покорность. Лето хоть и начинало только клониться к осени, но погоды стояли холодные, и по холодку, со сменными лошадьми, без задержки, князь Глеб должен был добраться до своей вотчины, не успев провонять. Роман обещал тотчас вернуться. Пока не был прощен.

Младшие братья Глебовичи, по отъезде Романа с телом, стали просить великого князя о встрече и были допущены.

Кланялись в ноги, былую свою непокорность объясняли волей отца, клялись в вечной дружбе. Обещали найти Ярополка Ростиславича и в доказательство своей верности великому князю выдать его. Всеволоду понравилось такое предложение, и в этот же день младшим Глебовичам было даровано прощение. Они даже были посажены за общий стол в гриднице — к неудовольствию Кузьмы Ратишича и Юрята, громко каялись в грехах своих, ссылаясь на скудость ума и малодушие, пили мировую.

Таким образом, Рязань становилась дружественной, да же более того — подвластной великому князю землей, хотя бы на время. И это было очень кстати, потому что не давал покоя Новгород — великий вольный город, не желавший над собой ничьей воли, кроме собственной. А собственная воля жителей сего обширного и богатого края была такова, что в неделе у них случалось и по семь пятниц, как у блядиных детей, по выражению летописцев.

Время потянулось странное — ни мира, ни войны. Посольства из южных краев стали прибывать реже, и заверения в любви и дружбе, посылавшиеся великому князю Владимировскому, напоминали те, полугодишной давности уверения, как черствый сухарь напоминает пышный калач, только что вынутый из печи.

Бранные победы владимирцев там, на юге, скоро забылись. А значит, нужна новая война. Но пока неизвестно — с кем воевать, кому ума вправить, да и видимой причины пока нет. Надо, однако, думать, что за причиной дело не станет...

Всеволод стоял зол и раздражителен, за обедом и на пирах, которых по случаю мирного времени устраивалось немало, сидел туча тучей. Неопределенность положения — это было хуже всего. Кое-что прояснилось, когда был схвачен человек, купец из Рязани, пытавшийся через дворовую девку передать князю Роману Глебовичу, жившему пока безвыездно при великом князе, грамотку от мятежного Ярополка Ростиславича. В грамотке предлагалось князю Роману покинуть великого князя, соединиться с ним, Ярополком, и, собрав войско, отомстить за все свои обиды. Князья Глебовичи и рязанский тысяцкий клятвенно уверяли, что не имеют связи с супостатом. Однако князь был тут же водворен в темницу.

Но разве это был такой уж опасный враг — Ярополк? Не только силы тратить на него — думать о нем не хотелось. Святослав же из Киева щедро раздавал уделы многочисленным своим сыновьям, Новгороду навязывал в князья

старшего сына Владимира — забирал под себя русскую землю, и вроде бы по праву. Явной причины для войны Всеволод найти не мог и поэтому гневался.

Княгиня Марья затеяла строить монастырь — нашла себе занятие на многие годы. Только и разговоров было о том, откуда лучше привозить камень, каких строителей нанимать — из немцев или из Царьграда, кого ставить игуменьей. Даже к мужу охладела, а это ему, ничем не занятому, было особенно обидно. Чуть не поссорились, когда он с язвительностью в голосе попросил ее поостеречься, чтобы вдруг самой не стать игуменьей в новом монастыре. Несколько дней после этого не виделись, потом Всеволод не выдержал, пошел в женины покои, просил прощения и получил его, правда не так, как ему хотелось, потому что княгиня Марья, как он сам об этом выразился, окромя титек, его никуда не допустила: берегла плод.

Кому, наверное, было лучше всех в княжеском окружении, так это Юрятье. У него словно началась вторая жизнь, вся заполненная обретенным сыном — Добрыней.

Тогда, зимой, Добрыня был плох. Говорил мало, часто плакал, болел, во сне и в бреду звал тятку с мамкой, дедушку. Дичился всех, кроме Юрятьы, от которого не отходил и скучал, если тому доводилось много времени проводить во дворце у князя или отъезжать по делам. К весне мальчик поправился и понемногу стал любимцем всего княжеского двора, даже сам великий князь не раз гладил его по головке.

Юрятьа испросил позволения поставить себе отдельный дом и вскоре перебрался туда с Добрыней из княжеского дворца, где раньше занимал небольшую светелку с двумя окошками. Прислугу пока не торопился заводить, потому что в ней и нужды не было: вся княжеская, а особенно княгинина дворня опекала их. Княгинины девки постоянно вертелись у Юрятиного крыльца, где полюбили сидеть на лавочке теплыми вечерами, грызя орешки. Они угощали мальчика сладостями и нарочито громко разговаривали. У всех у них почему-то брови стали чернее, щеки — румянее, а груди просто-таки удивительно выпятились. Юрятьа, глядевший теперь на житейские радости другими глазами, ни одной красавице не отдавал предпочтения.

Добрыня, если приглядеться, начинал походить на Юрятьу. Перенимал его походку — мягкую, будто кошачью, его жесты — как он отмахивал волосы со лба, как садился на лавку, складывая руки на груди. Носил деревянный меч,

пальцами чуть притрагиваясь к рукоятке. К лету стал называть Юрятьу тяткой.

Вскоре Добрынюшке стали малы порточки, ворот рубашки перестал сходиться, руки высовывались из рукавов. Юрятьа дивился, но знающие люди сказали, что по этому признаку суждено Добрыне вырасти богатырем. Юрятьа смеялся: правильно, не зря же имя сынок такое носит — богатырское.

Княгиня Марья не забывала заботиться о Юрятье, которого любила. С помощью Долгуши она устроила смотрины Юрятиной невесте, о которой говорила мужу. Любавой звали невесту, была она вдова, муж ее, боярин Молчан Пук, был убит еще в бою с ростовцами.

Любава была красива, но красота ее была неяркой, спокойной, такой, что мила бывает всем: тихие темно-синие глаза, опущенные густыми ресницами, коротковатый, чуть вздернутый нос, плавные плечи, певучий грудной голос. Она владела после смерти мужа двумя большими селами под Суздалем и просторным домом в самом Суздале. Был у нее сын Бориска, семи лет, одногодок Добрыне.

Княгиня Марья круто повела дело с Юрятиной женитьбой, женским чутьем понимая, что из счастливого своим отцовством Юрятьы сейчас можно веревки вить, и добились своего. Сватовство от имени великого князя с княгиней не допускало отказа. Немногочисленная родня Любавы быстро сделала все полагающееся: невесту привезли во Владимир, свели с Юрятьой, познакомили и через три дня уже пировали на свадьбе, не всякий раз понимая, кого славить — то ли молодых, то ли великого князя и княгиню, почтивших свадьбу своим присутствием. Тут же, в горнице, за маленьким столом сидели наряженные и прилизанные Добрыня с Бориской.

Любава украдкой поглядывала на жениха и тихо улыбалась, чуть-чуть краснея, когда представляла себе, как у них с Юрятьой будет ночью. Она была рада этому браку: и Юрятьа ей нравился, и радовалась она, что теперь чуть ли не родней становится самого князя Владимирского. И вообще она, Любава, находилась в самой цветущей и жаркой бабьей поре и жаждала любви, в свое время мало получив ее от мужа, который в опочивальне чаще оправдывал свое прозвище — Пук, чем свое мужское достоинство. Тело ее истосковалось по любви, и если бы не посватали — право слово, согрела бы с молодым соседом, купцом, о любовной силе которого так много ей рассказывали соседушки. Любава была благодарна судьбе, уберегшей ее от греха, и надеялась, что Юрятьа окажется не хуже того купца, и не ошиблась.

И поскольку с Юрятью у них все пошло хорошо, по сердцу ей пришелся и сыночек его. Оба мальчика с первых дней стали неразлучными, потому, наверное, что были разными: рассудительным, чуть медлительным — Добрыня и живым, непоседливым, хитрым — Бориска.

Юрята понял, что неожиданно стал богатым, когда, бывав по княжескому делу в Суздале — проверял засадный суздальский полк — заодно съездил со старым управляющим покойного мужа Любавы посмотреть села, что были теперь переписаны на него. Он стал наследником боярского имущества и, выходит, боярином. И нельзя сказать, что такие перемены в жизни огорчали его. Великий князь хоть и подшучивал над Юрятью, а все же, по настоянию княгини, возвел его в звание своего меченоши и думца, то есть как бы узаконил его положение при своей особе, повысил из дядек, да еще и жалованье положил — кормом, холстами, скотом и двумястами гривнами в год. Раньше Юрята пожал бы своими аршинными плечами и подумал: куда столько? Теперь же, глядя на мальчишек, беспощадно рвущих портки на деревьях и заборах, на Любаву, имеющую женскую слабость к нарядам и узорчюю, он твердо знал, для кого это богатство.

И любовь Юрятьи ко Всеволоду стала другой. Пожалуй, он не стал любить своего князя менее преданно, не сомневаясь, положил бы жизнь за него. Но от того, что великий князь теперь не только брал от Юрятьи все, что тот мог ему дать, — преданность и верность, но и сам давал, чувствую Юрятьи к князю как бы приобрело новое достоинство, стало спокойнее и увереннее. Такие перемены к лучшему были Юрятье очень по сердцу.

В приятных хлопотах прошло лето, наступила осень.

ГЛАВА 10

Весь день Юрята пробыл во дворце — пытался развлечь скучавшего Всеволода, играл с ним в шахматы, пытаясь поддаваться похитрее, чтобы князь не заметил. До обеда слушали жалобу представителей торговой слободы на владимирского тысяцкого Никиту, установившего, по их мнению, слишком высокую виру на ввозимые из Новгорода товары, отчего торговля с Новгородом во многом теряет свою выгоду. И с новгородских купцов Никита дерет лишнее — еще вдвое против своих. На что великим князем был дан долгий и туманный ответ; смысл этого ответа можно было после долгих раздумий свести к одному: не ваше де-

ло. Всеволод, сверх того, намекнул, что к зиме собирается перекрыть хлебные подвозы к Торжку, а то вольнолюбивые новгородцы что-то не торопятся идти под руку к великому князю Владимирскому, забыв, что хлеб получают от него и через него. Купцам было дано понять, что великий князь печется о возвышении Владимирской земли над прочими, а значит, и о возвышении граждан владимирских, и если кому-то не нравятся справедливые, хоть и высокие вируы на торговлю с новгородцами, тот пусть-ка поищет других торговых путей — может, найдет повыгоднее.

После обеда, на который приглашали и торгового старосту, разбирали донесения. В основном сведения были из Киева. Да, все, что подозревал Всеволод, подтверждалось: новгородские послы жили во дворце Святослава и были князем обласканы. Доносил купец Таракан. В Чернигове принимали половецких князей, а ведь недавно новгород-северский князь Игорь Святославич воевал с ними, защищая тот же Чернигов и Переяславль от Кончака. Не по замыслению ли Святослава возникла такая дружба с погаными? Сообщил приехавший из Чернигова князь Михаил, племянник князя Бориса Друцкого, не имевший своего удела. Одним словом, новости были малоутешительные, но поскольку к войне все равно приходилось готовиться, то, значит, пока все шло без изменений. Засиделись, однако, допоздна, думали: писать ли в Смоленск Роману и Рюрику Ростиславичам грамоту с предложением занять опять киевский стол и обещанием в этом деле помощи, дабы укрепить Мономаховичей на юге. Пока решили не писать.

Юрята шел домой уже в темноте. Подходя к дому, увидел в опочивальне свет, все внутри задрожало: ждет Любава, не ложится без него. Она и правда всегда его дожидалась, но каждый раз это его волновало: не привык еще.

Тихо запер за собой дверь. Сначала прошел к мальчишкам. Они уже спали. Нянька Ульяна, привезенная Любавой из Суздаля, тоже посапывала здесь, на лежанке. Взглянув на мальчишек, Юрята поднялся наверх по свежим, еще пахнущим сосной ступеням.

— Пришел? — спросила Любава. Она его так всегда спрашивала. Она уже готовилась ко сну — с распущенными темными волосами и в рубашке, поверх которой накинула платок, не потому, что прохладно, а для того, чтобы этот платок нечаянно соскользнул с плеч, когда она будет помогать мужу снимать сапоги, и чтобы он мог заглянуть за вырез ее рубахи.

Так и получилось. Сапоги снялись быстро, и прочее — тоже своим чередом. Юрята подхватил жену на руки.

Когда она — усталая, еще не отдышавшаяся — прильнула к его жесткому плечу, уже третьи петухи пропели. Свечу Юрята погасить забыл, а Любава не напустила, и мерцающий огонек погас, когда в окне забрезжил утренний свет.

— Ну, Любава, — прошептал Юрята в ее горячее ухо сквозь спутанные волосы. — Весь день только тебя и вспоминаю. Нехорошо это, поди, в мои-то годы, а?

Она, довольная, засмеялась, приподнялась на локте.

— Какие уж такие твои годы? Ты у меня самый молодой, самый ладный. — Смушенно хихикнув, она наклонилась над мужем. — Вот ты у меня какой молодой... вот... Ну-ка, дай руку. Вот. Чувешь, какой ты у меня молодой?

И тут снизу послышался стук в дверь, голоса во дворе. Кому бы это быть? Просто так никто не осмелился бы беспокоить Юрята. Значит, что-то важное. Он отстранился от тела жены, трезвея. Любава придвинулась к нему, обхватила, прижалась.

— Куда ты, миленький? Не ходи туда!

— Как это — не ходи? Надо пойти, узнать, что там...

Юрята надел порты, сорочку, накиннул на плечи кафтан. Сапоги пока решил не надевать, на миг задумался, взявшись было за пояс с пристегнутым мечом: брать? Потом решил, что не помешает, и взял оружие с собой. Спускаясь, увидел встревоженное лицо няни Ульяны, выглядывающей из спальни мальчиков, и, почему-то разозлившись, не стал спрашивать через дверь, а, откинув запор, резко распахнул ее.

В утренней полутьме узнал Богшу, дружинника из наряда, сегодня заступившего на охрану княжеского двора. Чуть поодаль стояли еще трое, которых Юрята не рассмотрел, вроде чужие. Откуда они? Здесь, рядом с дворцом? Юрята тут же похвалил себя за то, что взял меч.

— Слышь, чего скажу, — взволнованно зачастил Богша, никак не называя Юрята. Многие теперь не могли придумать, как его величать: по имени вроде неловко — большой человек, боярином — тоже непривычно, ведь еще недавно все его просто по имени звали. — Чего скажу-то, хозяин. Эти вот, — он показал на троих, уже потянувших на всякий случай шапки с голов, — из Рязани, вишь, приехали. Говорят, важное дело к князю. Мы им говорим: дождитесь утра, а они — нет, нельзя ждать, от князя самого велено ночью доставить. Мы говорим: чего доставить? А они: веди к князю, и все тут. Мы князя-то не стали будить, а вот

к тебе придумали пойти — может, чего укажешь? Они секретное слово сказали.

Юрята, на миг пожалев, что не надел сапог, рукой поманил к себе рязанцев.

— Что за дело у вас?

Один, самый старший по возрасту, нерешительно подошел:

— Вот ведь дело-то какое, боярин. Привезли ведь мы его...

— Кого привезли?

— Так ведь Ярополка-князя привезли, боярин. Вот дело какое. — Покосился на руку Юрята, при этих словах ухватившуюся за рукоять меча. — Они, наши-то, Глебовичи, велели найти его, Ярополка-то. А когда имали его, велено, такое дело, доставить Всеволоду Юрьевичу князю, но только чтоб тайно, говорят, как со Всеволодом-то Юрьевичем уговорено. Ночью, говорят, во дворец доставите, вот дело какое. Тайное слово, говорят, страже скажете: Юрьев. Что ж, боярин, примешь, что ли, Ярополка-то?

— Ждите. Сейчас.

Юрята вернулся в дом и легко, босой, взбежал по лестнице, вошел в опочивальню.

— Пойти мне надо, Любава. Давай спи.

Она своенравно дернула плечом, колыхнулась:

— Дня, что ли, мало? Чего им надо от тебя?

— Дело важное.

Надел сапоги, препоясавшись мечом. Шапку надел новую, с меховой оторочкой. С трудом оторвал взгляд от жены, повернулся и вышел. На ходу бросил Ульяне, все так же высовывавшейся из двери:

— На запор запирайтесь. Ребят на улицу сегодня не выпускать. Ясно?

— Ох, ох, — засуетилась Ульяна, накинула шаль, засеменила к двери. Юрята, подумав, остановился.

— И вот что еще. Самой скажи: пусть дома сидит. Могут сегодня всякие дела произойти. Я охрану пришлю, на крыльце будут стоять. Вынесешь им поесть чего — ну, сама знаешь. И чтоб из дому ни ногой.

Погрозив пальцем испуганной старухе, вышел на крыльцо. Тотчас же задвинулся запор. Юрята, досадливо крикнув, постучал.

— Ульяна! Ставни-то закройте, слышь?

Махнув рукой, шагнул с крыльца. Подошел к почтительно стоящим рязанцам.

— Ведите, что ли.

Вскоре крытая повозка въехала на княжеский двор, прожояемая любопытными взглядами стражи. Велев повозно-му править к дверям темницы — приземистого мрачноватого строения, находившегося в полусотне шагов от парадного входа в княжеский дворец, Юрята подозвал Богшу.

— Слышь! Охрану усилить. Ворота закрыть и пока никого не впускать и не выпускать. А там — как князь скажет. Я сейчас к нему. Да скажи всем — пусть молчат.

— Да правда ли то Ярополк?

— Не знаю, да и тебе знать незачем. То не наше дело, а княжье.

— Не наше дело! Они у меня брата убили!

— Делай как сказано.

Юрята направился в сторону темницы. Трое рязанцев уже вытащили из повозки связанного человека и держали его всеми шестью руками, словно боялись, что убежит. Юрята глянул навстречу злобному и испуганному взгляду из-под низко надвинутой шапки. Это точно был князь Ярополк.

— Ну, здравствуй, князь, — медленно произнес Юрята.

— Не трогай меня руками, смерд! — вдруг прокричал Ярополк.

— А вы, — обратился он к рязанцам, — меня еще попомните, изменники!

— Открывай, — кивнул стражнику Юрята. — А вы, мужики, идите куда-нибудь. Пойдем, князь.

В руках Юрята Ярополк затих, позволил ввести себя внутрь темницы, испуганно озирая свое новое пристанище. Юрята поразмыслял, куда бы его поместить, потом, усмехнувшись, подвел князя к двери, за которой сидел его брат Мстислав.

— К братцу тебя посажу. Побеседуете.

Открыл дверь, впихнул Ярополка в духовитую темноту.

— Счастливо оставаться, княже.

Рязанцы все стояли около повозки. Старший из них снова сдернул шапку, подошел.

— Боярин! Уйти бы нам, а? Мы бы и поехали себе, вот какое дело. Не годится нам здесь быть. Выпусти, боярин.

— Правда. Пойдем, — сказал Юрята.

Мужик засуетился, поворачивая лошадь. Поехали к воротам. Трое рязанцев шли рядом с Юрятьей, боясь от него отстать. Подведя гостей к страже, Юрята велел их выпустить. Повозка выехала, мужики, втянув головы в плечи и стараясь не глядеть на стражу, быстро вышли вслед, даже не попрощавшись, только старший перекрестился.

Надо было идти к князю.

Уже совсем рассвело. Юрята, направляясь в княжеские покои, гадал, огорчит или обрадует Всеволода известие о пленении его заклятого врага. Во всяком случае, надо князя будить, если еще не встал, — дело неотложное.

Мальчишка, комнатный, уже нес князю серебряный таз с водой — умываться. Испуганно поглядел на огромного Юрята, приостановился, вода плеснулась на пол.

— Встал князь?

— Встал, боярин.

Войдя к Всеволоду, который в длинной ночной рубаше сидел на постели, Юрята поразился испугу, мелькнувшему в глазах государя. Правда, может, ему только показалось. Юрята снял шапку, низко поклонился.

— Хорошо ли почивал, государь?

— Ты чего в такую рань?

— Дело важное, прости, государь. — Мальчишке: — Поставь воду-то и иди. — Когда за мальчиком закрылась дверь, сказал: — Князь Ярополк Ростиславич в темницу доставлен. Посадил его к братцу.

Всеволод вскочил в возбуждении, забежал взад-вперед по спальне.

— Поймали волка! Из дворовых видел кто?

— Стража знает. Я велел молчать, да каждому рот не заткнешь. Днем в городе будет известно.

— Бунт может быть. Как зимой. Что ж они, кто привез, — не могли его в дороге как-нибудь... Да нет. Я ведь Глебовичам велел его живого доставить. Ладно. Ты уж, Юрята, сегодня при мне будь, никуда не ходи.

— При тебе буду, государь.

Великий князь умылся, оделся с помощью Юрята, по его совету надел под кафтан доспех, хотя и неохотно. Сначала заупрямился:

— Жарко будет.

— Жарко не жарко, государь, а не помешает.

Дружину привели в готовность. Часть разместили во дворе, вокруг дворца и рядом с темницей, часть выставили за воротами, словно готовились к битве. Всеволод сходил к княгине, которая прислала узнать, что происходит, успокоил ее как мог.

К полудню о прибытии Ярополка стало известно всему Владимиру.

Из города прибегали, сообщали: в слободах волнение, люди вооружаются, выборных посылают к боярам, те говорят речи, собирают толпы, призывают всех идти к велико-

му князю, требовать выдачи пленников. Из бояр больше всех лютует Мирон Деdiceц, брата своего ругает, Петра, томящегося в темнице. А еще бояре Ноздря Федор, Никита-тысяцкий, Обрядич Павел, Завид Иванков. Воевода Кузьма Ратишич находится при дружине. Судя по всему, скоро толпа будет здесь. Ратишич велел спросить у великого князя: что делать дружине?

Всеволод не знал, что делать. Применить вооруженную силу против своих горожан было немыслимо. Выдать пленников разъяренной толпе — мало для него чести. Он, ратовавший за то, что не следует князьям проливать братскую кровь, даже таких злодеев, как Мстислав и Ярополк, будет в глазах народа лицемером и братоубийцей, вроде Святополка Окаянного.

Пришли из княгининых покоев. Марья просила мужа зайти к ней. В другое время Всеволод рассердился бы на жену, что она вмешивается в мужские дела, но сейчас, неуверенный, поспешил к ней, надеясь получить у нее совет. Марья, бледная от волнения, встретила его прямо у входа на женскую половину.

— Митя, не выдавай их, — сказала она. — Они тебе племянники родные.

— Да знаю, что не надо бы выдавать, — раздраженно ответил Всеволод. — А как не выдашь, если сейчас сюда весь город придет? Со своими, что ли, воевать?

— А ты Юрюту к ним пошли, к Ростиславичам. Он что-нибудь придумает.

— Что тут придумаешь? Не успокоятся люди, пока их в ключья не разорвут.

— Пошли Юрюту, Митюшка. А сам не выходи к ним.

— Ступай к себе, Марьюшка. Будь спокойна, пошлю.

Привлек жену к себе. Она обняла, поцеловала, словно провожала на войну. Обнимая Марьюшку, Всеволод неожиданно почувствовал, что желает ее.

— Соскучился я по тебе, жена.

Она чуть смущенно улыбнулась:

— Нынче буду тебя ждать. Поосторожней будь.

Всеволод ушел к себе повеселевший. Подозвал Юрюту, который пристально всматривался в даль из раскрытого окна.

— Юрют! Вот как надо сделать. Перво-наперво воеводе сказать, чтоб открыл ворота. Даже не так: пусть ворота прикроет, но не накрепко, чтобы сломать легко было. Дружину всю во двор. Народ придет, ворота сломает — сразу у многих пылу поубавится. Сейчас князя Романа сюда, в

моих покоях пусть отсидится. Не он им нужен, а Ростиславичи. Возьми человек пять, покрепче — ну, ты сам знаешь, кого взять, и будь при братьях. Остальные... — Всеволод задумался и решительно тряхнул головой: — Об остальных думать нечего. Их сразу выдашь. Ростиславичей же держи до последнего. Что-нибудь придумай, а я пока к народу выйду. Говорить стану. Может, и не придется брать грех на душу. По-другому не получится, будет бой с владимирцами — тогда никому несдобровать.

Юрюту слушал, кивая. Ушел.

— Захар! — позвал Всеволод.

— Я здесь, государь, — прибежал кравчий.

— Беги во двор, к бретьяницам¹. Столы чтоб были наготове, скажи. Выкатай меду пять бочек, когда знак подам, я на крыльце буду — увидишь. Еще чего-нибудь, ну — сам думай. Угощения надо много, гостей вон сколько!

Лицо Захара выражало облегчение. Раз речь зашла о столах с угощением, значит, дело обстоит не так плохо, как ему, трусоватому от природы, казалось.

Торопливо вошел воевода Кузьма Ратишич.

— Государь! Сюда направляется толпа, пешие все, с оружием. Я сделал, как ты велел.

— Дружине скажи: мечей не вынимать, не ругаться, стоять спокойно. Потом я на крыльцо выйду.

Убежал воевода. Всеволод подошел к окну, выходящему во двор. Сел так, чтобы его было снаружи не разглядеть, — немного сбоку. Оставалось ждать. Толпа горожан, ведомых тысяцким и боярами, уже приближалась к воротам. Над Владимиром плыл тревожный колокольный звон.

В ворота застучало множество рук, послышались крики. Толчок, другой, третий — и слегка задвинутый запор соскочил, распахнулись оба створа. Пришедшие, похоже, не ожидали такой легкой победы над воротами, поэтому во двор вошли не сразу, постояли, потоптались. Наконец решились — и потекли рекой. Бояре все были в первых рядах со своей вооруженной чадью. Копья, топоры, взятые на плечо. Многие в шлемах, кольчугах. Ну прямо готовое войско. Бери его и веди на кого хочешь. Пора выходить. Крики усиливались:

— Князя!

— Князя нам! Пусть послушает!

— Пусть Никита скажет! Князя давай!

¹ Бретьяницы — хранилища съестных припасов.

Крыльцо дворца и все подступы к нему были заслонены плотными рядами дружинников. Они стояли спокойно, не двигаясь, и это их спокойствие не позволяло горожанам кинуться громить темницу. Ну что ж. Надо поговорить. В таком деле разговор нужен. Всеволод перекрестился и вышел на крыльцо. Помедлив, снял шапку, поклонился на три стороны:

— Здравствуй, народ владимирский!

В ответ сразу сотни шапок поскрипывали с голов. На великого князя жадно смотрели. Словно сама многоликая Русь, жестокая и родная, приступила к княжескому крыльцу и еще не знала, что делать — пасть в ноги властителю или не пасть. Опомнились, раздумали на колени падать.

— Князь! Выдай нам Ростиславичей!

— Выдай злодеев!

— Тысяцкий, тысяцкий пусть скажет! Никита, говори!

Тысяцкий, не снявший шлема, обратился к Всеволоду:

— Великий князь! Ведомо стало народу, что привезли сюда врага нашего, Ярополка. Много бед принесли Ростиславичи и людям твоим, и тебе, княже! Не прихоть свою пришли мы тешить сюда, а правды искать. Выдай, князь, Ростиславичей! Ты нас знаешь, мы за тебя головы сложим. Честью просим!

Снова все зашумели, закричали, потрясая оружием.

— Князь! Выдай злодеев!

— Казнить их!

Всеволод поднял руку. Шум стал затихать. Все ждали, что скажет великий князь.

Стало почти совсем тихо.

— Слушайте, люди! Знаю все о бедах ваших, — заговорил Всеволод. — Ростиславичи много зла сотворили. И вы крепко бились с ними, и я вместе с вами бился. Но Бог не дал им погибнуть на рати! А сейчас они — пленники мои и ваши! Долг христианский мне велит не проливать их крови. А по крови они мне — родня. Но долг князя Владимирского велит мне отомстить за ваши обиды. Трудно мне решиться на такое дело. Я должен подумать!

И Всеволод, еще раз поклонившись народу с крыльца, вернулся во дворец. Поднялся в свои покои. Там он подошел к окну и начал наблюдать за тем, что происходит во дворе. Из окна ему хорошо была видна темница, окруженная плотным кольцом дружинников. Толпа народа, видимо озадаченная речью и внезапным уходом князя, начинала понемногу приходить в себя. Шум усиливался.

В дверь постучали. Вошел Кузьма Ратишич.

— Государь! Там князь Роман к тебе просится. Молит принять.

— Веди его.

Воевода ушел и скоро вернулся, впуслав бледного князя Романа Глебовича. Тот, будто в забытьи, повалился на колени, стукнулся — даже не лбом, а будто всем лицом — в пол. Смотрел по-собачьи преданно.

— Не выдавай им меня, великий княже! Не выдавай!

— Видишь, князь Роман, — Всеволод показал пальцем в окно, — не я вашей смерти хочу. Народ хочет. Не думали вы с отцом вашим, князем Глебом, когда меч на меня поднимали, что ненависть такую заслужите? Теперь добились своего.

— Пощади, князь! Клянусь — ни мыслями, ни делом против тебя не встану! Служить буду тебе верно!

Всеволод подошел к образам. Выбрал Спаса Нерукотворного, пронзительно глядящего прямо в душу из золотого обрамления. Снял, приказал князю Роману подойти. Крикнул в дверь:

— Эй, кто там! Воевода!

Зашел Ратишич, за ним еще кто-то. Всеволод не глядел на них.

— При свидетелях клянешься ли, князь Роман, на образе святом не выходить из воли моей? Говори — пусть все слышат!

Как раз за окном толпа взревела. Князь Роман на коленях подполз к иконе.

— Клянусь, великий княже!

Крестился, жадно лобзал иконное светлое золото. Боялся поднять глаза на Всеволода, глядевшего так же грозно и величественно, как Нерукотворный Спас.

— Ладно, князь Роман, поверю тебе, — сказал Всеволод. — Кузьма! Спрячьте князя, заприте где-нибудь.

И, больше не обращая внимания ни на кого, поставил икону на место, перекрестился, подошел к окну.

Дверь темницы как раз открывалась. На пороге, подталкиваемый сзади, возник Борис Жидиславич — толстый, седой, растрепанный. Он сопротивлялся, но сила, толкавшая его в спину, двигала его легко. Видно, Юрята хороших помощников себе взял.

Толпа взревела еще громче. Дружинники, закрывавшие подход к дверям темницы, слаженно расступились, и Борис Жидиславич по этому проходу был с силой брошен в колымажку. Десятки рук вцепились в него. Он замотал седую головой, забился. Вот — будто провалился

вниз, хватаясь за воздух, открывая рот в неслышном крике, но тут же начал подниматься, как бы расти над толпой, с багровым, изумленно выпученным лицом. Из округлого живота его и из груди вдруг, прорывая одежду, вылезло несколько острых копий, плеснуло кровью изо рта, раскоряченное тело бессильно обвисло. А уже по проходу тащили Глебова приближенного советника Олешича, замороженным взглядом смотревшего на толпу. Толчок — и скорее видимый, чем слышимый треск разрываемой плоти. Третьим появился Петр Дедилец, он вышел сам, его не толкали. Он мелко крестился и глядел в землю. Остановился на миг и, решившись, сам бросился в толпу.

Всеволод пытался найти в колышущейся толпе Мирона Дедильца, но не видел его нигде. А над Петром взметнулись топоры, резко опустили.

Вскоре изувеченные трупы как бы сами собой плыли в толпе — их передавали с рук на руки, терзая и нанося бессмысленные удары.

Всеволод видел, что толпа все еще не насытилась и спасти Ростиславичей вряд ли удастся. Что ж, он сделал что мог для их спасения. Юрята тоже постарался смягчить горожан, дать им хлебнуть вражьей крови для утоления мести. Хотелось бы знать, что происходит сейчас в темнице. Бьются ли об пол Мстислав и Ярополк, умоляют ли о спасении? Юрята придется их выдать, иначе толпу не утихомирить.

А Юрята как раз в это время занимался Ростиславичами. Ему в голову пришла очень простая мысль, и он действовал. А именно: велел своим дюжим помощникам дергать обоих князей покрепче, что и было выполнено. Подошел сначала к Мстиславу, вынул свой острый нож, приказал князю терпеть и, оттянув кожу над левым глазом старшего Ростиславича, полоснул по ней. Брызнула кровь. Затем Юрята то же самое проделал с другим глазом. Подождет, пока кровь зальет лицо и сорочку. Подошел к Ярополку, с ужасом глядевшему на него, и, не обращая внимания на этот взгляд, взрезал надглазья и ему. Посмотрел вокруг, увидел край белого полотна, выглядывавший из-под постельного покрывала. Железными руками оторвал длинную полосу, разделил ее надвое. Завязал белым глаза Мстиславу, то же самое — Ярополку. Все это делал быстро, молча, не обращая внимания на крики князей. Подождет немного, пока кровь хорошенько пропитает повязки. Кивнул помощникам:

— Я сейчас выйду. Их следом выводите, каждого — двое, и волоком. Пошли!

Он вышел наружу. Толпа, увидев Всеволодова подручника, стала затихать, ожидая, что он скажет. Юрята услышал, что обоих Ростиславичей вывели за ним следом, не оборачиваясь, громко прокричал:

— Народ владимирский! Бояре, купцы! Вот они, супостаты, злодеи, перед вами! За все обиды ваши им отплачено сполна! Как вы и требовали!

Юрята рассчитал верно. Вид злодеев, лишенных глаз, сделал свое дело. Шум толпы становился все тише. Русский человек на раненого и перевязанного руку поднять не может. Ростиславичи же представляли теперь зрелище жалкое. Обвисшие всей тяжестью тела в руках дружинников, в белых окровавленных повязках, они больше не были врагами. Возмездие свершилось. Толпа еще шумела возбужденно, но уже не грозно.

И тут раздался голос великого князя. Вся тысячная толпа, разом забыв о своих жертвах, затихнув, обернулась к княжескому крыльцу.

— Честные горожане владимирские! Супостаты наказаны вами! Слезы и кровь ваши отлились им сполна! И все враги земли нашей пусть знают: будет и с ними так же! Спасибо вам, дети мои!

Всеволод поклонился. Кланяясь, успел посмотреть в сторону темницы. Обоих Ростиславичей уже затаскивали внутрь, закрывали дверь. Снова тысяча глаз смотрела на князя, пытаясь осознать сказанное. И тут раздался восторженный голос:

— Слава князю!

И тотчас же поднялись вверх сотни рук, восторженно потрясая оружием:

— Слава! Слава! Нашему князю слава!

Всеволод выпрямился, он теперь стоял гордо — он был их единственной надеждой и защитой, великий князь Владимирский. Не глядя, зная, что где-то там, сбоку, его знака ждет кравчий Захар, он махнул рукой. Потом все же взглянул искоса. Помощники Захара — дворовая челядь — выносили и начинали расставлять длинные столы, выкатывали из открытых дверей бочки с медом, пивом, выносили кадки с соленьями, размещали между столов. Всеволод, пересиливая шум, прокричал:

— Прошу отведать угощения моего, закусить чем Бог послал! Выпейте за мое здоровье, люди!

Столы уже были замечены толпой, и она, радостно гогоча, валила к ним, взгромождала на них бочки. Всеволод с удивлением заметил, что многие прихватили с собой чарки, черепки, кое-кто и целый ковш. Все это было пущено в ход, уступив место засунутым за пояс топорам и заправленным за голенище ножам. Возле темницы уже расчищалась площадь, и дружинники волокли три изувеченных тела, чтобы погрузить их на телегу. На тела эти уже никто не смотрел, словно не хотели портить себе неожиданный праздник.

К крыльцу подошел тысяцкий Никита, поклонился в ноги князю:

— Государь, прости! Пришлось мне идти с ними, а то разорвали бы меня.

— Так уж и разорвали, — холодно сказал Всеволод. — Вот ты их и повел, чтобы они меня, твоего князя, вместо тебя разорвали...

— Не гневайся, великий княже! На супостатов твоих их вел!

— Ты зачем поставлен? Порядок рядить в городе. А ты мятежу потакал! — Всеволод погрозил Никите кулаком. — Про это мы еще поговорим, тысяцкий. А сейчас — иди, пей с народом. Да уводи их. Княгиню напугали, а она дитя носит под сердцем.

У крыльца собрались бояре — Федор Ноздря, Завид, Обрядич, лица виноватые. Как оправдание, они держали перед собой — чтоб не упал — мертвецки пьяного Мирона Дедильца. Когда успел-то? Переживает смерть Петра все-таки, хоть и клял его при народе всечасно.

— С вами, господа бояре, завтра поговорим. Сейчас идите, помогайте тысяцкому, чтоб порядок был. И еще, бояре. Вы мне весь убыток возместите, отчитаетесь перед Захаром. Прощайте на этом.

Часа через два стараниями тысяцкого двор начал освобождаться от народа. Бояре увели свою челядь. Прочие владимирцы, не находя больше питья в пустых бочках, потянулись с княжеского двора в город — догуливать. Тащили под руки тех, кто не мог идти.

Юрята, видя, что все кончается хорошо, перевел дух. Заперев перевязанных, чудом уцелевших Мстислава и Ярополка и отдав распоряжения охране, Юрята прошел во дворец. Дружина уже разошлась, оставался лишь небольшой отряд сверх того, что полагалось для несения службы. Дворцовая челядь утаскивала столы, катила пустые бочки, прибирала двор. На том месте, где валялись трупы, кто-то

разбросал свежие опилки, и только они, пожалуй, напоминали о случившемся здесь убийстве.

На крыльцо дворца вышел Ратишич, увидел Юрята, позвал:

— Юрята! Пойдем, князь тебя кличет.

Всеволод сидел у себя в покоях, в светлой горнице, задумчивый и тихий. Увидев подручника, нахмурился.

— Глаза им сам выкалывал?

Юрята огляделся: они с князем были одни. Успокоил:

— Не выколол, княже. Кожу только надрезал. А сейчас они уж тебя благодарят, верно.

Всеволод облегченно вздохнул, засмеялся.

— Ну, спасибо, брат. Ловко ты. Однако пусть все так и думают — выколол. — Он снова нахмурился. — Отпустим их, так они, если не дураки, прозреют. Еще, глядишь, в святые попадут.

— Такое может случиться...

— А попадут в святые — стало быть, я злодей. Еще и войной пойдут опять, а, Юрята?

— Думаешь, государь, им мало показалось?

— Мало не мало, а увидишь. А я вот о чем думаю. Ты народ владимирский сегодня видал?

— Государь...

— Силы много в народе. Это нам на руку. Пора уж нам силу свою всем показать. А то съедят. Князь Святослав — первый. Да и земляки твои, новгородцы, не нравятся мне.

— Новгородцы, государь, поди, только себе и нравятся. Страх в них нет — живут сегодня так, завтра — этак. На мосту через Волхов то и дело у них бой. — одна половина города другую бьет. Поэтому я от них ушел к брату твоему, князю Андрею. Новгород сегодня одного князя зовет, завтра его палками прогоняет — зовет другого. А княжеская власть должна быть сильной. Дозволь сказать тебе, государь.

— Говори. — Всеволод внимательно слушал.

— Сегодня обошлось все — Божья Матерь, наверно, помогала нам.

— Да и ты постарался, — засмеялся Всеволод коротко.

— Сегодня помогла Заступница, а завтра? Этак они повадятся ходить, когда им что не понравится. Народ избаловать можно... Так что, государь, твоя воля, а оставлять этого нельзя. Накажи тысяцкого, накажи бояр, старост — чтоб впредь неповадно было. Ты — один у нас князь. Накажи сурово. Так накажи, чтоб и помыслить не могли на князя своего оружие поднимать. Хочешь — меня пошли, мне поручи.

— Я об этом думаю, — сказал Всеволод. — Твоя правда, друг сердечный. Спасибо тебе за сегодняшнее. Завтра утром приходи, да пусть твои люди расскажут, кто из бояр что народу говорил, кто подстрекал. С тобой да с воеводой подумаем, кого наказать. Я сегодня устал что-то. Да и скоро темнеть начнет. Прощай.

Юрята, сходя по ступенькам крыльца, тоже почувствовал усталость: прошедшую ночь не спал, да и денек выдался — не дай Бог. Дойти скорее до дома да спать завалиться. Мальчишки, наверное, ждут. Да и Любава извелась вся. Улыбнулся про себя: сегодня ей от него ночью толку мало будет, греховоднице.

Любава сама открыла ему дверь, хотела броситься на шею, но остановилась, попятилась. Добрыня и Бориска тоже не подходили, стояли, глядя расширенными глазами.

Что такое, подумал Юрята. Оглядел себя. Ох, забыл совсем. Пятна крови были на груди, на полах кафтана, на рукавах. Кровь, везде кровь.

ГЛАВА 11

Как предсказывал великий князь, так и получилось: слепцы прозрели. Разумеется, это произошло не где-нибудь в безлюдном месте, например, на лесной дороге, вдаль от людских взоров, где чаще всего происходят подобные чудеса. Прибыв в Смоленск, где они попали под покровительство миролюбивого и добродушного князя Романа, они заказали в церкви Святого Глеба молебен в честь спасения душ своих от злодея Всеволода. Слепые князья, возимые на открытом возке, вызывали огромное любопытство, и к этому молебну в церкви и вокруг нее собралось множество народа. Во время службы коленопреклоненные князья вдруг оба схватились за головы, сорвали с себя повязки, и — о, чудо! — они видят! Об этом чуде говорилось вскоре по всей Руси. Оно настолько способствовало славе князей, что им уже мало кто припоминал их прошлые «подвиги».

Больше того — в конце осени в Смоленск прибыло посольство из Новгорода Великого. Весть о чудесном прозрении докатилась и до новгородцев, и они на большом вече постановили призвать Ростиславичей к себе. Своего князя, Всеволодова племянника Ярослава, с позором выгнали и, как бы в насмешку, поставили княжить в Волок Ламский, держа его там чуть ли не под охраной. Мстислав стал князем новгородским, а Ярополку дали Торжок. Таков был Новгород: ради прихоти своей, ради удовлетворения своего

тщеславия он с легкостью пошел на разрыв со Всеволодом, хотя от великого князя Владимировского во многом зависело благополучие Новгородской земли.

Всеволод, отпуская Ростиславичей, имел тайную надежду, что они прозреют где-нибудь в Черниговской земле, где умными представителями Ольговичей, к примеру Игорем Северским или Всеволодом Курским, будет правильно истолковано их прозрение, и это расположит многих южных князей к великодушному владимирскому князю. А вышло такое, чего предполагать не мог никто, даже, наверное, сами Мстислав и Ярополк. В самом деле — богата чудесами Русская земля!

Всеволод начал готовиться к войне. Было запрещено продавать хлеб новгородским купцам, а тех, что появлялись во владениях великого князя, задерживали и содержали под стражей. Скоро таких задержанных набралось довольно много, но казне великого князя их содержание не приносило заметных убытков: большую часть заботы об узниках взяли на себя владимирская и суздальская купеческие сотни. Кое-кто из низовых купцов имел знакомых среди новгородских торговых людей, иные рассчитывали завести подобные знакомства на будущее.

Пока в городах и весях, подвластных Всеволоду, наблюдался мир. Но мир странный: все хотели его нарушить, но никто не отваживался первым начать.

Мстислав, княжа в Новгороде, поначалу лелеял мечту отомстить великому князю, но скоро понял, что поднять новгородцев на Всеволода не удастся. Вольный люд мог сколь угодно выкрикивать на своем вече обвинения владимирцам, перечислять имена земляков, томившихся в плену, поминать обиды, — так что Мстиславу порой казалось, что вопрос об ополчении решен. Но одно вече собиралось за другим, горожане расходились по домам, вволю накричавшись, готовые завтра же вновь собраться на звонечевого колокола, а похода против великого князя все никак не приговаривали. Другое дело — ливонцы, чужь, вечные враги на севере и западе. Это были осязаемые враги, осаждавшие Плесков, набегами разорявшие новгородские земли. Против них подданные Мстислава всегда готовы были выступить, собрав какую угодно силу, но такой войны князь Мстислав не хотел. Ему невыносима была мысль о том, что можно вести огромное войско в сторону, противоположную Владимиру. Мстислав метался в своих палатах на Городце, как дикий зверь, посаженный в клетку. Его порой охватывало отчаяние, и он в самом деле казался себе зверем в ловушке.

Отказаться от княжеского новгородского стола он не мог — куда ему было идти? Вымаливать уделы у Мономаховичей нужно было раньше, сразу после чудесного прозрения. Он предпочел взять Новгород, прельстившись древностью и знаменитостью этого княжения. Видеть в своих руках мощь, способную сокрушить врага, и знать, что эта мощь не очень-то тебе подчиняется, скорее тебя самого подчиняет себе, было невыносимо. Но Мстислав и не мог позволить себе просто жить в полную силу, как он это себе представлял и как это было несколько лет назад во Владимире: с диким разгулом, отбирая имущество у зажиточных горожан, а их жен и дочерей превращая в наложниц. Да попробуй он только! Здешний народ не знает раболепства и покорности — палками выгонят из города! И Мстиславу приходилось жить тихо, как и подобает человеку, отмеченному Божьей милостью — возвращением зрения. Отвращение к такой благочестивой жизни разъедало душу Мстислава.

Нечто подобное происходило и в Торжке с Ярополком, которому также приходилось жить, оглядываясь на благочестивого брата.

Мстиславу оставалось только ждать, когда великий князь двинет свои полки на Новгород, и он ждал этого иступленно, даже молился тайком, чтоб не узнали, что он молитвами призывает врага. Но молитвы не помогали, и известий о приближающемся владимирском и суздальском войске не было.

А великий князь к войне был готов как никогда прежде. Отборная дружина, возглавляемая опытными и хитрыми вождями, насчитывала до десяти тысяч человек, и это без ополчения. С такой силой Всеволод чувствовал себя уверенно и мог позволить передышку. Некоторых пленных новгородских людей нарочно выпустили, чтобы, добравшись до родных мест, они рассказали о неслыханной мощи молодого владимирского князя, который вдобавок не коварен и не корыстолюбив, подобно некоторым, а великодушен и хочет только справедливости.

Видимых причин медлить с походом у Всеволода было, по крайней мере, две: беременность княгини Марьи и суровая зима. Главное — Мария: не хотелось ее бросать одну, со страхом ожидающую вестей с войны.

Причина же, известная лишь одному великому князю, та невидимая причина, удерживавшая его от похода, была очень проста: не хотел он проливать русскую кровь, не хотел войны с русскими. Всеволод чувствовал, что должен таить от всех, даже от княгини, свою приверженность к

миру, нежную любовь к Русской земле. Нежную и горькую, выросшую из тоски по родине в долгие годы византийского не то «гощения», не то плена.

Там все было не так, как здесь: одна земля, один блистательный император, один народ, одно войско, отражавшее многочисленных врагов. Там на человека, прилюдно поклявшегося не убивать родного брата, посмотрели бы с удивлением: к чему выставлять семейные дела на всеобщее обозрение? Если надо убить — убей, но без лишних разговоров, как делают все. И всеми будешь правильно понят.

Здесь же, на Руси, от тебя будто ждали постоянных уверений в преданности родичам. Даже тем, кто собирался поднять на тебя меч.

Можно было, свыкшись с византийскими нравами, прожить там долгую и спокойную жизнь под крылом императора Мануила, родного дяди. Но где-то далеко в полночной стороне лежала огромная святая Русь, ставшая для Всеволода и Михаила после смерти матери как бы заменой ее материнской ласки и любви. Как они мечтали о возвращении! Как обещали друг другу помнить о пролитых вместе в тоске по родной земле слезах. Русь нуждалась в них. Всеволод сердцем чувствовал: она звала, просила прийти, защитить, умиротворить.

Что больше всего поразило Всеволода, когда он вернулся, так это готовность русских князей клясться в любви к своему народу и братьям, клясться с целованием креста, при свидетелях, лучше бы — в храме Божием. И — готовность сразу забыть и клятвы и уверения. В том-то и дело было: тысяче человек с красного крыльца кричи хоть во все горло, как надывается сердце твое от невыразимой любви к Русской земле, а наедине, с близким родичем даже, так говорить поостерегись — как бы чего не заподозрил. Такие разговоры с глазу на глаз простительны только юношам несмышленным да неумным витязям, вроде Мстислава Храброго — этот, кроме как о чести умереть за святую Русь, больше ни о чем и не говорит.

И Всеволода быстро осекли, да и сам понял: надо жить, как все живут, тогда твое время придет быстрее. Так оно и вышло.

Случалось не раз скрещивать мечи с князьями — дальними и ближними родичами, не раз во имя своей великой цели искать дружбы тех, кого не любил, — того же Святослава, и княжение свое начать с войны и продолжать войной. И хотя Всеволод без колебаний посылал полки свои на бой, в душе его тлела незатухающая горечь. Вот чем

приходилось расплачиваться за великое княжение — душой своей, никому не видимыми слезами. Нельзя даже рассказывать об этих слезах.

А у народа, у собственного народа, разве не замечал великий князь признаков все того же пагубного двоемыслия? Слава доброту и великодушие государя, от него ждали дел кровавых и жестоких. Недовольны были тем, что он не казнил лютой смертью Мстислава с Ярополком, всех сыновей Глеба, не сжег его Рязань. Всеволоду докладывали, что в народе упорно говорят о его мести убийцам брата Андрея — Кучковичам. Якобы он, Всеволод, велел живыми зашить их в деревянные кораба и бросить в озеро, где они, непогребенные, уже третий год плавают и стонут по ночам. И говорят с восторгом, не христианским, а языческим. Неужели в благодарной народной памяти останется только жестокость, возведенная на престол славы?

Всеволоду очень хотелось иметь сына. Скорее сына! Вот кому поведать о муках души, вот кого наставить на путь жизни, передать любовь свою и опыт, вместе с юным князем взрастить новую Русь — единую и могучую, чтобы юный князь, правя Русью, никогда не обгарил меча русской кровью, а враги чтоб трепетали вечно. Имя юному наследнику уже было выбрано — Всеслав.

На исходе зимы княгиня Марья на удивление быстро и легко родила девочку. Назвали ее Всеславой.

Пир по этому поводу получился куда менее шумным и торжественным, чем предполагалось. Радостный и расстроенный одновременно, великий князь выслушивал поздравления, в которых слышалось утешительное: мол, какие государевы годы, еще даст Бог сыночка, да и не одного.

К весне из Новгорода пришло известие: князь Мстислав захворал не на шутку, исхудал, пищу не принимает. Видимо, Бог оставил его. И хотя Всеволод понимал, что Мстислав умирает от черной злобы к нему, все же не мог найти в себе злобы ответной. И, невзирая на намеки бояр и воеводы Ратишича, что вот теперь как раз время попытаться подчинить себе Новгород военной силой, войны не начинал.

В конце весны умер Мстислав. Это событие не принесло великому князю удовлетворения, несмотря на все выгоды, которые оно могло дать: новгородцы должны были оценить благорасположение великого князя, не поднявшего меч на них, приютивших супостата, и признать своим покровителем. Тем более что, узнав о смерти Мстислава, великий князь велел отпустить всех задержанных новгородских купцов, и даже без урона их торговле — обратно от-

правились с товарами, словно бы и не из плена. Увы! В который раз уже Всеволод убеждался, что доброта в глазах неблагодарных считается слабостью. Вместо Мстислава в Новгороде сел утрюмый Ярополк.

Приходилось только дивиться такой бессмыслице. Тысяцкий Милонег, в свое время обещавший Всеволоду помощь новгородцев против тех же Мстислава и Ярополка, теперь не пожелал воспользоваться удобным случаем заглаживать оплошность перед великим князем. Что за люди эти новгородцы? С виду — обыкновенные, рассуждающие здраво. Всеволод говорил с некоторыми из задержанных купцов — все они понимали, что без дружбы с владимирским князем Новгороду жить трудно, понимали, что Всеволод не стремится лишить их привычных вольностей и покровительство его не грозит новгородцам кабалой, а только усилит их, расширит торговлю, поможет обороняться от многочисленных врагов. Каждый вроде бы все это понимает, а как соберутся на свое вече — тут все их благоразумие пропадает. Мечи у них, что ли, чешутся? Ради бессмысленной вольности своей сажают на княжеский стол злодея Ярополка, знаменитого грабежами и насилием над своими подданными, — успел прославиться, когда краткое время княжил в Суздале. Правда, еще он знаменит чудесным прозрением.

Гневайся не гневайся, а вот задача: как же поступить? Все же идти на Новгород? А почему тогда на Мстислава не пошел? Скажут: боялся старшего Ростиславича, ждал его смерти. Ярополк-то рядом с братом — как селезень с орлом. Будучи родными братьями, схожи они были друг с другом лишь неизменностью своих желаний. Всеволод чувствовал: ничтожным Ярополком следовало пренебречь. А как пренебречь Новгородом?

В то время, когда желанием войны, казалось, были обуравемы все — от воеводы с дружиной до мелких ремесленников — и Всеволод никак не мог выбрать между необходимостью и ненужностью этой войны, сомнения его помог развеять верный друг Юрята. На одном из многочисленных советов, которые великий князь стал (это ему самому казалось) слишком уж часто собирать, подручник и меченоша сказал так:

— Не время, государь, сейчас идти на Новгород. Можно и войско положить, и города не взять, а врагов себе нажить на вечные времена.

Шум поднялся в гриднице, однако небольшой: Юряту и побаивались и уважали. Но перед великим князем хотелось

боярам показать свою воинственность, поэтому шум стал нарастать. Всеволод велел Юрятье продолжать. Тот продолжил:

— С Новгородом иначе надо. Ты, государь, опять им торговый путь заступи. Они князя Ярополка-то сами съедят.

И как-то сразу все вдруг поняли, что это правда, и верно — съедят. А Юрятье еще сказал:

— С ними как с балованными детьми: чем меньше нянчишься, тем больше липнут. Силу твою, государь, пусть знают. А посидят без твоего хлеба, с чудью навоюются — сами к тебе прибегут, сам тысяцкий Милонег приползет, тогда и разговор другой с ними будет. А воевать сейчас — силы даром тратить да тешить их гордость новгородскую.

У Всеволода будто камень с души упал. Казалось, были удовлетворены таким поворотом дела и дружина и бояре. Не страдала и честь княжеская от того, что столь важный вопрос решался не как обычно — силой оружия, а простой житейской хитростью. Снова стали задерживать новгородских купцов, только теперь держали их подольше и поостроже. Шутки кончились. На этот раз Новгороду давалось понять, что он лишен расположения великого князя.

А княгиня Марья снова понесла. На этот раз Всеволод имени будущему сыну не выдумывал, но с середины лета стал брать жену с собой на охоту: пусть сыночек еще в материнской утробе растет среди мужских суровых забав, пусть слышит лай собак, рев медведей да буйволов. Во время охоты Всеволод велел жене не отводить глаз от крови, ибо знающие люди ему сказали, что есть такая примета: если женщина на сносках глядит на сражение, пусть хоть не с врагом, а с диким зверем, то родит непременно мальчика.

По этому поводу они с княгиней даже ссорились несколько раз, так как Марья в эти приметы не верила и больше полагалась на волю Божию. Она советовала мужу строить больше церквей, особенно просила его о церкви в Дмитрове — городе, который возвел и назвал Юрий Долгорукий в честь рождения Всеволода. Сама же не оставляла своим попечением строительство монастыря. Для звонниц будущих соборов этого монастыря из немецкой земли были уже привезены колокола — два «улья» и две «сахарные головы»¹ да десяток мелких — ради затейливого звона. Советовала также Марья выписать колокольных мастеров и лить колокола здесь же, обучая своих людей этому искусству, чтобы колокол был в каждой церкви и улаждал слух и душу божественным звоном вместо грубых ударов же-

¹ Сахар вырабатывался в виде конусообразных глыб (голов).

лезного била, что нынче разносятся над многими храмами в дни праздников.

Мастеров — за большую плату — нужно было выписывать из земель бенедиктинского ордена, города вольных ремесленников Рейхенау. Дело это было долгое. Всеволод велел закладывать в Дмитрове церковь святого Димитрия Солунского, деревянную, потому что каменную пока не осилить, да и некогда.

Миновало лето в хлопотах и ожидании.

В Новгороде все также шло своим чередом. Не дождавшийся войны от владимирского князя, новгородцы вышибли Ярополка из города и на большом вече на Ярославовом дворище сильно ругали и тысяцкого Милонегу, ставя ему теперь в вину то, на что сами недавно подвигли его: принятие крестного целования от Ярополка и размирье с великим князем.

Ярополк снова сел в Торжке. Милонег, не желая единолично отвечать перед Новгородом и опасаясь немилости князя Владимирского, обратил свой взор на смоленских князей. Хитрый и опытный Милонег давно уже склонялся к тому, чтобы встать под руку этого влиятельного и сильного рода, перед которым к тому же не был ни в чем виноват. Правнуки Мономаховы, внуки Мстислава Великого, — Рюрик Ростиславич, сидевший сейчас в Киеве, выгнав оттуда Святослава, Роман Ростиславич, князь Смоленский, и братья их, Давид и Храбрый Мстислав — чем не защита Новгородской земле?

Милонег сам поехал в Смоленск и выпросил у Романа посадника в Новгород. Посадник — это еще не князь, но, будучи посажен рукой смоленского князя, послужит великой цели — охладит пыл князя Всеволода, власти которого Милонег боялся.

Обратно в Новгород посольство вернулось с ближним боярином Романовым, Завидом, его Роман назначил своим посадником.

Милонег был доволен. Он верил, что владимирский князь теперь не поднимется на Новгород, потому что не захочет портить отношений со смоленскими князьями, а значит, и его, Милонеговой, судьбе ничто не угрожает. Как все власть имущие, тысяцкий постоянно опасался всевозможных врагов и первого врага видел в князе Всеволоде. О своем благе Милонег заботился гораздо больше, чем о благе родной земли.

Если бы кто-нибудь сказал тысяцкому Милонегу, что великий князь не только не держит на него зла, но даже и не вспоминает о нем вовсе, вот бы он удивился!

А князь Всеволод, забыв о Новгороде, ожидал рождения сына. Долгие вечера, а иногда и целые дни напролет просиживал он с княгиней Марьей, молясь вместе с ней, просто разговаривая, иногда шутливо, а иногда и без шуток прося ее родить именно мальчика. Княгиня была совсем не против этого, ей и самой хотелось родить нового великого князя, тем более что две дочери у нее уже были. В этот раз должен был родиться мальчик: так выходило по всем признакам — живот огурцом, выпирающий вверх, младенец в животе толкается упорно, бьет правой ножкой, и левой тоже, в общем — обеими ножками. Ну, значит — мальчик.

Поздней осенью Марья родила. Теперь дочерей у великого князя стало три. Девочку назвали Верхуслава.

Начиналась зима, осеннюю грязь сковало морозами, медлить с походом стало позорно, и Всеволод с большой дружиной двинулся на Торжок, где по-прежнему злодей Ярополк сидел князем, а значит, представлял угрозу спокойствию владимирских и суздальских земель.

Волга уже замерзла, переправились через нее быстро. Дружина — а вел ее сам великий князь, не доверивший этого ни воеводе, никому из бояр и даже Юрюту не взявший с собой — рвались в битву. Еще бы — столько времени сидели без дела.

Торжок стоял на торговом пути из Владимирской земли в Новгород. Богатый был город и беспечный — укреплен слабо, будто нарочно показывал, что не ждет угрозы ниоткуда, если сам Господин Великий Новгород за ним. Мало что сделал для обороны города и князь Ярополк, да его и не случилось в Торжке: прослышав о восстании в Новгороде посадника от смоленского князя, устремился под Романово крыло, надеясь если и не пожить чем, то хоть переждать беспокойные времена, оставив данный ему Новгородом удел на произвол судьбы: на волю великого князя Владимирского.

Об этом в первую очередь сообщило посольство горожан, вышедшее навстречу Всеволоду. Послы кляли вероломного Ярополка, уверяя, что город не помышляет о сопротивлении.

Всеволод, за время похода под холодными ветрами остудивший свой гнев, решил города не брать, а только потребовать с него выкуп. И уж такой выкуп, с которым не стыдно возвращаться домой. В воображении Всеволода ви-

делись уже длинные обозы с добром, въезжающие во Владимир под колокольный звон и радостные крики. Но тут произошло такое, чего великий князь не ожидал.

Дружина вдруг отказалась ему повиноваться. Здесь, вдали от дома, она превратилась в неуправляемую силу, жаждавшую себе применения. К княжескому шатру пришли выборные и заявили от имени всего войска, что они долго ждали случая покарать государевых врагов и теперь, зная, как он заботится о жизнях своих воинов, хотят порадеть за его честь. Да и сам великий князь должен же понимать, что они пришли сюда не за тем, чтобы целоваться с обидчиками и слушать их лживые клятвы! Эти клятвы все равно будут нарушены, так что уже и сейчас стоит жителей наказывать.

Что было делать Всеволоду? Он мог, конечно, разгневаться, напомнить дружине, что он все-таки великий князь. Но решил не гневаться. Это был ему еще один урок: нельзя поддаваться раздражению настолько, чтобы вследствие этого начинать войну, а если уж начал, то следует заканчивать как полагается. Дружина оказалась мудрее своего князя.

Всеволод махнул рукой и теперь только наблюдал, как большой полк лавиной подкатился к невысоким деревянным стенам крепости, как открылись ворота и войско хлынуло внутрь. Торжок был взят на щит и к вечеру уже горел, освещая тревожным светом близлежащее поле, где были составлены сотни телег с добычей и пленными жителями.

Но дружина, не получившая должного отпора, еще не растратила боевого духа. Обозы с пленными и награбленным нужно было сопроводить во Владимир, но охотников не находилось: все требовали дальнейших военных действий. Понимали, конечно, что сам Новгород не взять — сил маловато, но оставался еще Волок Ламский, где под новгородским присмотром все еще княжил племянник Всеволода молодой князь Ярослав.

Теперь великий князь не противился воле дружины, но и дружина уже была в состоянии слушаться приказа своего государя. Всеволод сам составил отборный полк в тысячу копий, остальная часть войска была отряжена во Владимир с военной добычей. Войско тем более охотно приняло волю князя, что он представил дальнейший поход как воинскую хитрость. Двигаться обратно как бы всем вместе, той же дорогой через Дмитров, но, до Дмитрова не доходя, великому князю с отборным полком свернуть к Волоку Ламскому и нахрапом взять его. Хитрость понравилась, и теперь Всеволода послушались беспрекословно.

Так и сделали. Но, подойдя к Волоку, нашли сей город пустым. Ворота были открыты, всюду виднелись следы повального бегства. На крыльце княжеского дома стоял перепуганный Ярослав, ожидавший от Всеволода какой угодно казни за то, что не смог удержать в городе непослушных жителей. Князь Ярослав даже не предполагал, что радость, с какой дядя обнял его, во многом вызвана именно тем, что город оказался безлюдным.

Пока дружина занималась сбором добычи в городе и окрестных селах, Всеволод с удовольствием проводил время в обществе юного Ярослава.

В княжеском доме несколько дней шли непрерывные пиры, одни отряды уходили за добычей, другие возвращались с нею и тут же присоединялись к застолью, так что веселье продолжалось и всю ночь. Челядь князя Ярослава, не покинувшая город, а только посправавшаяся, повылезла из укрытий и теперь падала с ног от усталости, едва успевая обслуживать пирующих. Как и ожидал Всеволод, обильные возлияния понемногу утихомирили жаждавшее крови войско. Оно, в лице самых крепких воинов, было занято, помимо грабежей, тем, что поило князя Ярослава до бессознательного состояния, словно в этом и заключалась цель сего справедливого похода. Однако Ярославу удавалось, несмотря на молодость, перепивать многих: будучи подневольным владельцем волоколамским, он часто прибегал к пьянству, стараясь тем самым скрасить безрадостность такого положения.

Дружина прозвала своего князя Красным, так как он был хорош собою.

На переломе зимы великий князь с дружиной и добычей, разорив дотла Торжок и Волок Ламский, вернулся во Владимир.

Поход этот, наверное самый бескровный с древнейших времен, принес великому князю и славу и выгоду. Добычи было столько, что хватило всем.

Жителям Торжка, взятым в плен, отныне предстояло звать владимирцами, ибо расселялись они на владимирских землях — дмитровских, юрьев-польских, московских, ростовских, чтобы в дальнейшем служить великому князю, работать и плодиться для него и его потомства. Новопоселенцы писались и под бояр, и под монастыри, и под самого великого князя. Многих выкупил Новгород, и мало кому, наверное, пришлось жаловаться на судьбу, потому что могло быть и хуже.

Слух об удачливости и военной силе великого князя прокатился по всей Руси, и Русь снова благосклонно взглянула на молодого владимирского государя. Самому Новгороду он прищемил хвост! На Руси и не помнили, когда и кому это удавалось. Владетельные южные князья, правда, без особой радости встречали известия о возросшей военной мощи Всеволода, но зато у сказителей и песельников появился новый повод восславить русскую силу — новый, достойный воспевания князь, пожалуй встающий вровень с великими Владимиром и Ярославом.

Новгород не стал собирать войско для отмщения. Напуганные новгородцы собрали вече, думая не о войне, а лишь о своей безопасности. Ругая великого князя, они постановили призвать к себе смоленского князя Романа, хотя многие уже понимали, что если Роман Ростиславич и согласится на княжение, так только когда будет уверен, что не обидит этим Всеволода.

В Смоленск было отправлено посольство.

Роману, как и многим другим до него, польстило предложение Новгорода, и неудивительно: в душе какого князя хотя бы раз не появлялось желание занять стол первого Рюрика, отца отцов и деда дедов всех русских князей? Однако Роман, невоинственный по природе, действительно не решился сесть в Новгороде, не уверившись в благожелательном отношении владимирского князя. Было послано письмо Всеволоду — на прекрасном тонком пергаменте, составленное в весьма осторожных выражениях. Роман как бы утешал себя тем, что не просит Всеволода позволения, а только как брату сообщает о великой своей радости.

Ответ пришел незамедлительно. Великий князь Владимирский и Суздальский разделял радость князя Романа. Особенно радовало великого князя то, что Новгород будет находиться под властью представителя Мономахова дома, главой которого (по старшинству) как раз является Всеволод Юрьевич, потому что он хотя князю Роману и любящий брат, но на самом деле — дядя, против чего, наверное, никто не решится возражать, особенно в свете последних событий. Великий князь желал Роману всех благ, остерегал его от излишней доверчивости к изменчивым новгородцам — словом, давал наставления. К ответной грамоте, что написана была на гораздо менее красивом пергаменте, прилагалась великокняжеская печать, оттиснутая на красном воске обеими сторонами — святым Георгием и святым Димитрием. Святой Георгий сидел на коне в боевом облачении;

святой **Димитрий**, также в доспехах, стоял пеший, но с мечом, наполовину вынутым из ножен.

Князь Роман поехал в Новгород.

Получалось, что именно Всеволод поставил своего родственника новгородским князем; пусть об этом впрямую не говорил никто, но все знали — по сути это было так.

Снова наступил мир. Пришла весна — любимая пора Всеволода, а за весной — лето. Он и лето любил. Замыслы рождались большие: нужно было строить каменные стены вокруг Суздаля, Ростова, Юрьева, возводить храмы, чтоб не хуже киевских, справедливо управлять своим народом, родить сына. Княгиня Марья вновь была беременна.

И неудивительно — вернувшись из похода, Всеволод уделял ей большую часть своего времени. После третьих родов Марьюшка еще больше похорошела, совсем павой стала, в ней теперь с трудом угадывалась тоненькая юная девушка, которая не умела правильно говорить по-русски. Их любовь сделалась жарче, полнее, они стали отзывчивей на ласки друг друга, оказалось, можно, не стесняясь, говорить о своих тайных желаниях и исполнять их. Всеволод был счастлив.

Пока Марья носила столь долго ожидаемого сына — а это непременно будет сын, — Всеволод загорелся мыслью переженить всех своих приближенных — тех, кто еще не был женат. Первым стал боярин Гаврила Настасич. Давно уже у великого князя возникло желание породнить его с Прокшей, старшим ловчим, выдав за Настасича Прокшину красавицу сестру. Выяснилось, что Гаврила и сам об этом мечтает и собирался уже засылать сватов. Ну, а сватовство великого князя делало для Гаврилы этот желанный брак еще и весьма почетным.

Нашлась невеста и для Ярослава Красного — старшая дочь Романа Глебовича, князя Рязанского, сына покойного Глеба. Девушка не блистала красотой, особенно рядом с женихом, но этот брак Всеволоду был нужен, и Ярослав охотно на него согласился. Осенью справили свадьбы — одну за другой, так что гулянья и пиры продолжались почти целый месяц.

Храм Святого Димитрия в Дмитрове был к осени достроен, освятить его позвали черниговского епископа Порфирия. Было пышное празднество, владыка остался доволен, вернулся в Чернигов к Святославу с богатыми дарами, обещая молиться о даровании сына князю Всеволоду Юрьевичу.

Все складывалось на удивление легко и хорошо, словно сам Господь изливал милость на рабов своих, и это вселя-

ло надежду, что не оставит Всевышний благодатью их и в дальнейшем.

К концу срока беременности у княгини Марьи по лицу пошли темные пятна, лицо похудело, под глазами появились круги. Это было прямое указание на то, что родится мальчик — пьет из матери соки. Девочки так не ведут себя в утробе. Одним словом, все ждали большой радости.

Мамки и старухи, окружавшие княгиню, какими-то своими способами высчитали, когда ей рожать. Выходило — на день святого Димитрия. Сразу донесли Всеволоду, и это известие наполнило его покоем и уверенностью. Он теперь не сомневался, что у него родится сын.

Как ни тянулось время, а все же канун Дмитриева дня наступил. Вечером у княгини начались схватки, и Всеволод решил не ложиться — подождать, чтобы ему вынесли сына, а он бы на него поглядел. Ожидание было недолгим. Великому князю вынесли дочь.

Ее назвали Сбыславой, а по-христиански Пелагеей.

ГЛАВА 12

Все, что с ним произошло, Добрыня не то чтобы совсем забыл, но уже припоминал как давний дурной сон — и страшно, и в то же время привычно. Мало ли тяжелых снов приходится видеть! Смутно представлял своего родного тятку, погибшего на войне, как бы сравнившись с ним теперь в мере перенесенных страданий. Покойная мамка виделась как что-то ласковое, но расплывчатое, отчетливо помнились шрам на ладони и взгляд любящих печальных глаз. Словно сто лет прошло с тех пор.

И жизнь, что окружала его с того дня, как Юрята нашел его в разбитом половецком стане, тоже поначалу казалась ему сном... Но сном хорошим, светлым. В этой жизни был новый отец — он велел Добрыне привыкать к нему и называть отцом, — огромный, добрый, заслонивший все вокруг. И Добрыня привык, как только прижался к широкой жесткой груди.

А князь-государь — самый великий, выше заморских царей, которого можно видеть каждый день, — гляди сколько хочешь, шутит новый тятка, только глаза прижмуривай, а то ослепнешь. А государыня княгиня такая добрая, всегда приласкает, скажет ласковое словцо, совсем как мамка.

И все вокруг такие заботливые, и женщины с княжеского двора, и совсем не страшные дружинники, хоть и обвешанные оружием, а веселые. И новая мамка! Ее, правда,

почему-то Добрыня стеснялся, хотя ему и нравилось смотреть на нее. И нянька Ульяна — будто всю жизнь ее знал, такая хорошая бабушка. И конечно — Бориска, братец.

Столько всего сразу на Добрыню свалилось, что некогда порой и подумать о грустном. Только сел на лавку возле печи поглядеть, как бабушка Ульяна с двумя тетками тесто из квашни на стол вываливают — пироги стряпать, — как входная дверь скрипнула, заглянул Бориска:

— Добрыня! Ты чего сидишь?

Добрыня, чтобы не ругаться при бабах, вышел в сени.

— Чего тебе?

— Ты что, обиделся? Да я ж пошутил, глупый. Пойдем поиграем.

— Раз ты такой боярин выискался, то чего тебе со смердом играть? Вот и иди к Мишке сопливому.

— Да ну его, Мишку. Ты чего — правда обиделся? Это ты зря. Ведь мы братья с тобой, значит, ты такой же боярин, как и я.

— Ну, ладно.

— Только ты Юряте не говори, что я тебя смердом называл. А то он мне грозился всю задницу отбить.

— Не скажу, не бойся. А вот если еще раз обзовешься, так пожалуюсь.

— Эх, — озадаченно сказал Бориска. — Забыл. Чего-то ведь я завлекательное придумал, а вот с тобой заговорился — и забыл. А! Вспомнил! Побежали смотреть — мне Мишка говорил, что сегодня колокол будут поднимать!

— Это надо дома сказать. А скажешься — не пустят. Ну да ладно. Погоди, я шапку надену.

— А спросят — куда идешь? Без шапки уже не холодно. Замерзнешь — я тебе свою дам.

— Ладно. Пошли. Твоя шапка-то мне не налезет.

С княжеского двора, где стоял их дом, можно было выйти только через ворота. Никаких лазов и щелей не было. В ворота следовало выходить чинно, здороваясь со стражей. На этот раз случилась заминка. Знакомый стражник, дядька Ласко, остановил их:

— Здорово живете, удалцы! Куда это собрались?

— Нас отпустила мамка, — честно глядя в глаза стражнику, сказал Бориска.

— А Юрята не велел вас со двора выпускать.

— А мы колокол хотели посмотреть, дяденька, — сказал Добрыня.

— А-а. Это дело хорошее. Это бы я и сам пошел поглядеть, да не могу, — смягчился Ласко. — А ну, погодите-ка.

Он куда-то убежал и вскоре вернулся с мужиком, ведущим лошаадь, запряженную в телегу. Телега была нагружена мотками толстой веревки.

— Вот, малыцы, полезайте. Он как раз туда едет. И обратно вас привезет. Чуешь? — обратился Ласко к мужику. — Пусть поглядят, а с телеги чтоб ни ногой. За боярских детей мне головой ответишь.

Мужик ничего не говорил, кивал, неодобрительно поглядывая на мальчиков.

— Вы его не бойтесь, ребятки, — засмеялся Ласко. — Он не говорит, у него поганые язык отрезали.

Ехать было недалеко. Уже от ворот виднелся храм Успения — белоснежный, золотом огромного купола сиявший под весенним солнцем. Он стоял на высоком крутом берегу Клязьмы, еще не освободившейся ото льда. Рядом, вся загороженная лесами и спускающимися сверху веревками, высилась башня звонницы.

Мужик вдруг свернул телегу в проулок, и собор сразу пропал. Поехали по узкому проходу, мимо тесно стоявших домов. Во всем проулке никого не было. Мальчикам стало жутко. Возница уже несколько раз воровато оглядывался на них и дергал вожжи.

— Добрыня! Куда это он нас? — тихо спросил Бориска в самое ухо.

— Не знаю.

Добрыня, услышав от стражника, что этому мужику поганые отрезали язык, почему-то испугался. Мужик казался страшным — хуже половца. Вот теперь везет их куда-то и молчит. Да ведь он не может говорить.

— Ты, Добрыня, не бойся, — дрожа, шептал Бориска. — Если что — ему дядька Ласко задаст! А мы сейчас возьмем да и убежим.

Добрыню сковал такой страх, что он подумал с тоской: и убежать-то не сможет. Ноги не слушаются.

И вдруг переулок кончился, они выехали на открытое место. Собор оказался совсем близко и как на ладони. Площадь заполнена была шумом, скрипом, говором и движением. Мужик, улыбаясь, оглянулся на мальчиков.

— Ы, ы, ы, — сказал он, показывая на то, что творилось вокруг собора.

И тут Добрыня понял, что мужик нарочно вез их окольным путем, чтобы вся картина открылась мальчикам неожиданно.

Они увидели колокол, покоившийся на толстых желтых брусках, уложенных на земле, хотя пузатое тело колокола

заслоняли люди, копошившиеся вокруг него с веревками в руках. Множество длинных веревок тянулось с высоты к большим колесам, насаженным на столбы, вкопанные в землю. Вокруг колес, воротов, взявшись за торчавшие по бокам палки, стояли мужики.

Подъехали ближе. К телеге подбежал мужик в зеленом кафтане с плеткой в руке.

— Тебя сколько ждать? — закричал он на него, замываясь плеткой.

Возница показал рукой на Добрыню с Бориской, прижавшихся друг к другу и исподлобья глядевших на зеленого дядьку. Дядька оглядел обоих мальчиков — одеты хорошо. Опустил плетку, стал засовывать за пояс кафтана.

— Чьи будете, малыцы? — спросил он. — Вроде знакомые.

— А мы Юрятины, княжеского меченоши, — нагло ответил Бориска.

— Вон что... — протянул зеленый. — Поглядеть, что ли, приехали? Это дело хорошее. Слышь-ка, Ждан, — обратился он к нему. — Ты уж не торопись. Обошлись без тебя. Ты этих... отроков-то вон туда подвези. — Он показал рукой. — Ну, прощайте, отроки.

Торопливо повернулся и ушел.

— М-м-м, — громко промычал Ждан, передразнивая зеленого, глядя ему вслед. Потом глянул на Бориску с Добрыней и весело подмигнул. Мальчики засмеялись. Бориска надменно произнес:

— Отвези отроков вон туда...

Ждан смеялся весело, но странным гулким смехом, как в бочку. Добрыня раньше никогда не слышал, как смеются люди без языка. Они, безязыкие, наверное, вообще мало смеются. Подъехали, куда указал зеленый. Отсюда и вправду все виделось лучше.

В небольшом отдалении от общей толпы людей стояли священники, одетые в золотые и серебряные ризы. Среди них, возвышаясь, сидел на коне князь Всеволод и рядом — княгиня Марья. Оба держались торжественно и прямо, были не похожи на себя.

На площади понемногу стих шум. Теперь стало видно, что все, сколько ни было там, возле храма, людей, смотря в сторону князя Всеволода, будто ждут от него чего-то.

Когда шум стих и стало слышно только галок и грачей, кружившихся над площадью, князь поднял руку, подержал ее над собой и махнул. Пронзительно заскрипели ворота, люди, обступавшие их, двинулись по кругу, натянулись сотни веревок. Колокол, отливавший красноватым, нехотя

качнулся, словно вздохнул, и стал отрываться от земли — медленно и тяжело. Все выше, выше, пока наконец не ушел под толстые бруссы, венчавшие звонницу. Там,верху, задвигались, застучали молотками по дереву. Потом сверху стали падать веревки и падали, падали, пока не упали все. Площадь молчала.

Ударил колокол.

И с первым ударом, с первым певучим звоном тысячи людей обнажили головы и перекрестились. Запели священники, подняв хоругви, двинулись вокруг храма. Крестился, сняв шапку, сам князь, крестилась княгиня. Неотрывно глядевший туда, откуда лились волны бархатистого звона, крестился Ждан.

Добрыня тоже перекрестился, ощутив, как это с ним уже бывало, непонятное родственное чувство ко всем, кто сейчас был на площади вокруг храма. Даже к князю, даже к тому зеленому дядьке, что огрел бы его плеткой, если бы не боялся Юрята, княжеского меченоши. Хотелось плакать.

— Добрыня, ты чего? Все уж кончилось, — Бориска тронул его за плечо.

Проморгавшись, Добрыня взглянул: и правда, все заканчивалось. Опять площадь, как раньше, была заполнена народом — суевающимся, шумящим. Княжеская свита садилась на коней. Сам князь Всеволод, склонившись с седла, что-то говорил красиво одетому человеку, в котором даже изда-лека можно было узнать княжеского кравчего Захара. Праздник ушел.

— А вы здесь почему? Кто отпустил?

Подходил Юрята. За ним поспешал тот самый, в зеленом кафтане.

— Вот и я говорю, — тараторил он. — Без присмотра, не дай Бог что случится.

Юрята не слушал его. Сердито смотрел на мальчиков.

— Мы не без присмотра, — сказал Добрыня. — Мы с дяденькой.

— С таким дяденькой и пропасть недолго, — услужливо говорил Юрята зеленый. — Немой как столб, что ты с него возьмешь?

— А ведь я тебя знаю, — обратился Юрята к молчаливо сидящему Ждану. — Ты ведь с князем нашим под Киевом был? Это ты ведь тогда ковуев порубил, один — троих? За девочку вроде ты тогда заступился?

Ждан смущенно пожал плечами.

— А теперь что же — в закупах ходишь? — спрашивал Юрята. — Обеднял, что ли? Чей закуп-то?

Ждан виновато улыбнулся и указал на зеленого.

— Понятно.— Юрята по-прежнему не глядел на дядьку в зеленом кафтане, который теперь как-то скис и уже не делал попыток вмешаться в разговор княжеского меченоши с немым.

Ждан, зло глядя, провел ребром ладони по горлу и пальцем ткнул в зеленого. Тот отвернулся.

— Да, брат, скрутило тебя,— сказал Юрята.— А ведь сам князь тогда про тебя спрашивал. Что за витязь такой? А поганые тебя, стало быть, тогда ночью увели?

Ждан кивнул.

— Ну, хорошо,— сказал Юрята.— Сколько за ним? — обратился он к зеленому.

— Восемь гривен с лишком,— сокрушенно ответил зеленый.

— Да, немало.— Юрята широко улыбнулся.— Ты, брат, сейчас давай езжай, отвези мальцов домой. После найдешь меня — что-нибудь придумаем. А вы,— становясь строгим, обратился он к Добрыне с Бориской,— чтоб сидели дома как мыши, пока не приду. Любава там, поди, все глаза проглядела. Вот уж задницы готовьте.

Он махнул рукой и пошел туда, где был князь со свитой. Зеленый потрусил рядом, прижимая руки к груди, вроде оправдывался. Отойдя недалеко, Юрята остановился, полез в карман, достал что-то, вернулся, подошел.

— Слышь-ка,— сказал он.— Вот, возьми пока.

На широкой ладони Юрята лежало несколько шкурок — кунных мордочек и пара белых кусочков серебра. Ждан мельком обиженно взглянул, отрицательно помотал головой и тронул телегу. Поехали, теперь уже не окольным проулком, а прямой дорогой, по-над берегом Клязьмы, к княжескому дворцу.

Больше за все время дороги Ждан не оглядывался на мальчиков, да и они сидели молча, не заговаривая друг с другом. Однако Добрыня чувствовал, что произошло что-то хорошее и дядька Ждан очень этим взволнован. Вот он какой оказался, этот странный мужик. Надо же — как богатырь, один троих победил.

Когда въезжали на княжеский двор, в воротах стражник Ласко спросил их, что видели. Бориска принялся рассказывать, а Добрыня смотрел вслед Ждану — тот поехал к складам, больше так и не оглянувшись.

— Ну, Добрыня, домой побежим? — сказал Бориска.— Очень кушать хочется. Сегодня пироги пекли, мне нянька

утром говорила. Поди, уж готовы. Так есть охота, что прямо в самую середку пирога залез бы.

— Где вас носит, баловники? Со двора небось ходили? — Любава сидела на лавке и улыбочиво хмурилась.— Ну, подите-ка, я вас за вихры,— протянула она руки навстречу мальчикам.

Добрыня даже себе никогда не признавался, как он ждал таких мгновений — когда Любава обнимет. Она обычно прижимала их с Бориской обоих к себе, но Добрыня был на полголовы выше Бориски, и ему доставалось прижаться лицом к большой, сладко пахнущей груди. И страшно это было почему-то, и хотелось. Так и сейчас — Любава притянула их, притиснула.

— Сполоснитесь ступайте, да обедать. Отца-то не будет сегодня, велел его не ждать.

До Пасхи было еще далеко. На столе пироги с капустой, с ягодами, квас душистый, сладкая репа. Покрестились на образа, зажевали, задвигали челюстями. Любава села напротив, смотрела, как едят.

— Сыночки вы мои. Скоро подрастете, большие уж.

Добрыне исполнилось десять лет, Бориске скоро должно было стукнуть одиннадцать.

— А мы, мамка, колокол смотреть ездили,— сквозь непрожеванный пирог рассказывал Бориска.— Страсть какая! Чуть тыщу человек не убило. А князь вот так рукой показал,— Бориска встал с лавки и повелительным жестом повел куда-то вдаль,— и все опять наладилось. Его, князя-то, все слушаются, и колокол послушался, не стал падать. Он, князь наш, наверное, колдун?

— Бог с тобой, Бориска! — воскликнула Любава.— Ты гляди, нигде так не говори, а то выпорют тебя.

— Ну и жалко, что не колдун,— сказал он.— А так бы попросить у него... — задумался.

— И чего бы ты попросил?

— Я бы попросил... Чтобы меня большим сделал. И меч, и коня, и невесту попросил бы.

Любава засмеялась.

— Это не у князя надо просить,— отсмеявшись, сказала Любава,— это у тебя и так все будет. И не заметишь, как вырастешь. Коней вам с Добрыней отец к Пасхе обещал. А там и по мечу подарит. А невесту сам выберешь. Ты, Добрынюшка, не выбрал еще невесту себе?

— Ну ладно, мамка, некогда нам. Мы пойдем,— заторопился Бориска, потянул за рукав покрасневшего Добрыню.

— Рядом с домом играйте!

Вышли на крыльцо. Сели.

— Скорей бы Пасха, что ли, — сказал Бориска. — Тятка коней подарит. Ты какого хочешь? Я — черного.

— А я — белого.

— На белом-то только князь ездит. Ты гнедого проси. Только черного не проси, я первый сказал.

— А у меня был конь, — сказал Добрыня. — Но его поганые забрали.

— Чего ж ты им отдал? — спросил Бориска. — Я бы уж ни за что не отдал, ускакал. — И, вспомнив, что Юрята с мамкой не велели говорить с Добрыней обо всем, что касалось половецкого плена, замолчал.

— Я, может, его еще выручу, — сказал Добрыня. — Вот будет война с погаными...

— Он уж старым станет.

— Ну и пусть старым. А я его в конюшню поставлю и буду кормить.

Неожиданно накалились слезы. Не надо было про коня вспоминать, сразу поехало: дедушка, что ушел, не попрощавшись, мамка, равнодушно спящая в деревянном гробу, толстый половчанин, который совал связанному Добрыне палец в лицо и в притворном испуге отдергивал руку: «Кусат, кусат», — и ржал, оскалив белые зубы.

Бориска гладил Добрыню по плечу:

— Мы им с тобой еще покажем! Как пойдет князь на войну, попросимся к нему! Сядем на коней, достанем мечи и — бей поганых! — Бориска заскакал возле крыльца, воображаемым мечом рубя налево и направо.

Тут же решено было готовиться к грядущим битвам. Первым делом принесли из сеней луки со стрелами, почти совсем как настоящие, только поменьше — это им Юрята подарил. Все обещал сам поучить их, но ему редко удавалось: был занят. Нашли палку, воткнули ее в землю. Пришлось повозиться — земля еще не оттаяла как следует. На палку надели старый берестяной короб, весь истыканный, его им отдала бабушка Ульяна, чтобы в него стрелять. Угольком нарисовали кружок. Кто первый попадет — дает другому три щелчка.

И дострелялись. Как всегда, Бориска учудил. Прицелился, спустил тетиву, стрела скользнула по краю короба, развернулась и под прямым углом улетела как раз в окошко. Слюдяную пластинку выбило напрочь, а бабушка напугалась до полусмерти — разбила горшок и крынку.

Им даже не попало. Любава рассердилась на них так, что и ругаться не захотела. Пообещала все рассказать Юроте, когда тот вернется.

Хотя Юрота их еще ни разу не порол, только грозился, Бориска на всякий случай предложил Добрыне устроить одно представление. Только надо подождать, когда Юрота домой вернется и войдет к ним в спальню, куда они были посажены до его прихода. Добрыню и уговаривать не пришлось.

Когда свечерело и мальчики слышали, как Юрота вошел и Любава стала ему жаловаться, они тут же проделали все, как договаривались. Так что грозный Юрота с кожаным ремнем в руках, заглянувший в двери спальни, увидел обоих, лежавших на лавках голыми задками вверх. Они с Любавой потом чуть ли не полночи хохотали.

На следующее утро пришел вчерашний мужик, Ждан. Принес с собой котомку, в которой что-то шуршало.

Юрота встретил его дружески.

— А, заходи, заходи, витязь. Садись. Ульяна! Принеси чего-нибудь поесть нам!

Ждан прижимал руку к груди, отказывался. Рукой показывал на живот: полный, мол. Но квасу выпил. Развязал котомку, вытащил охапку бересты.

— Вон что. Рассказывать будешь, — удивился Юрота. — Ну, давай.

Мальчикам тоже разрешили смотреть. Ждан развернул бересту, расправил на столе. Нарисован был воин с мечом и лежавшие рядом с ним на земле трое.

— Это под Киевом, да? — спрашивал Юрота. — Это ты, стало быть, а это тех ковуев трое?

Ждан кивнул и расправил еще одну берестяную полосу. На ней можно было разобрать, что двое в круглых шапках несут третьего, тело которого перевязано веревками, Добрыня это сразу понял. Над всеми тремя нарисован был месяц.

— Ага. Это, значит, ночью было, да?

Кивок.

— А тебя, стало быть, сумели связать?

Кивок виновато. Ждан подпер щеку ладонью и прикрыл глаза.

— Сонного взяли?

Кивок.

Следующая картинка была странной. Стоявший на коленях человек, связанный по-прежнему, с открытым ртом. Рядом нарисован еще человек — в одной руке держит нож, в другой — что-то непонятное, с чего падают капли. Черточками показано. Ждан пошевелил губами, открыл рот. Там было пусто, только в глубине что-то двигалось.

— Как они тебя, брат, — сокрушенно произнес Юрота.

Ждан потыкал пальцем в бересту и показал Юряте палец, затем еще немножко отмерил от пальца.

— Больше года держали?

Кивок.

— Ну да, надеялись, за такого витязя выкуп хороший дадут. У них ведь так. Слушай — это не Заяц ли тебя выкупил-то?

Ждан отрицательно помотал головой. Достал еще бересту. Ее разворачивал, как показалось Добрыне, с гордостью. Потыкал. На бересте человек на лошади, а пятеро лежало рядом.

— Сбежал, значит? — весело спросил Юрята. — А это которые лежат? Никак, пятерых порешил?

Ждан радостно и смущенно улыбался. Мальчишки смотрели на него во все глаза. Надо же — обыкновенный мужик, на телеге ездит, а ведь сколько поганных уложил! И из плена убежал. Это они его нашли — Добрыня с Бориской!

— Ну, а потом как же? — спросил Юрята.

Ждан развернул последнюю бересту. На ней был нарисован целый рассказ, еле умещался. Сначала человек, что-то пьющий из ковша. Потом лежащий — он же — на земле. Потом — кланяющийся в ноги другому человеку, в котором Юрята сразу угадал вчерашнего дядьку в зеленом кафтане. Ждан закивал. В конце берестяной полосы был дом, из крыши которого высывались языки пламени, и даже сделана была надпись: огонь.

— Пил, значит, на радостях? — спросил Юрята.

Ждан гулко вздохнул, опустил голову.

— А потом у Зайца в долг взял. Не в купцы ли наладился?

Кивок.

— А погорел когда? Не от Глеба?

Кивок.

— Эх ты, купец торговый. Да с твоими руками разве торговать тебе нужно?

Ждан посмотрел на свои руки, потом — с улыбкой — на Юряту. Кисти рук у него были небольшие, но с виду ухватистые. Вдруг сжал кулаки, они сразу затяжелели, надулись жилами и буграми — прямо страх. А глаза веселые.

Такое же веселье и у Юряты в глазах зажглось.

— А ну-ка, погоди, — сказал он. Ушел в сени, там двигал что-то, потом вернулся. Держал в руках несколько круглых штук репы. Подмигнул Ждану.

— Не разучился еще? — И Добрыне: — Принеси-ка, сынок, меч мой, что в горнице.

Добрыня принес Юрятин меч, не тот, что в красивых ножнах, а другой.

— Ну, пойдем, брат. Вспомнил я, как тебя зовут. Неждан, что ли?

— Наоборот, тятка, — сказал Добрыня.

— Как это наоборот? А, наоборот, — Ждан, стало быть?

Кивок.

— Вот видишь. Такого Ждана-то я и ждал, — засмеялся Юрята. — Ну, сынки, пойдем, посмотрите на воинское искусство. Вам полезно.

Ждан держал меч обеими руками, как ребенка. Поглаживал. Вышли во двор. Немой сбежал с крыльца, вытащил меч из ножен, положил ножны на ступеньку, отошел шагов на десять. И вдруг ловко крутанул меч вокруг себя. Добрыня даже не понял, как это сделалось — рука вроде на месте оставалась, а лезвие вспыхнуло с обеих сторон, как будто у немого оказалось сразу несколько мечей. Ждан слегка расставил ноги, отвел руку с мечом чуть в сторону. На лице — удивление.

— Кидаю! — сказал Юрята. И быстро, одну за другой, побросал в немого все репины.

Тут опять случилось непонятное. От меча в руке немого остался один блеск, словно занавесой вставший перед ним, а рука сделала такое движение, будто он пытался поймать выходящую рядом бабочку.

Половинки репы валялись возле ног немого. Каждая репка была разрублена почти точно пополам.

Ждан гулко засмеялся. Подошел к крыльцу, поднял ножны, вложил меч и протянул Юряте.

— Ну, брат, — сказал Юрята. — Я тебя нынче же к воеводе отведу. А перед самим князем свое искусство показать не заробеешь?

Немой приложил руку к груди. Наверное, это означало, что не заробеет и покажет все, что умеет, и князю, и вообще кому угодно.

— Вот, сынки, — сказал Юрята. — Хотел бы я вас такими искусниками видеть. Но так все равно не научитесь. Такое от Бога дается — может, одному на всю святую Русь.

Он завел немого в дом, позвал Ульяну, велел перетряхнуть лари с одеждой — подобрать что-нибудь из старого. Юрятино было Ждану велико, но все же кое-как его одели. Накормили, хоть он и отнекивался.

После еды Юрята насовал репы в котомку Ждана и повел его показывать. Целый день немой, смущенный таким к себе вниманием, ходил за Юрятьой, рубил летящую репу, срезал мечом фитили у горящих свечей. За ним ходили с открытыми ртами. После обеда сам князь Всеволод со своего крыльца смотрел на представление. И надо же — узнал старого знакомого, удивившего его несколько лет назад во время осады Киева. Участь Ждана была решена. У великого князя появился теперь дружинник, один стойкий десятих, а то и целой сотни.

ГЛАВА 13

Великий князь Всеволод Юрьевич был в гневе. Все труды его, все мучительные поиски путей установления мирной жизни пропали зря.

Новгород опять уплывал из рук. И ладно, если бы просто уплывал — нет, из сопредельной земли, с которой возможны лишь торговые отношения и нет необходимости войны, превращался в грозного противника, страшного еще и тем, что неизвестно, когда ждать от него предательского удара.

Весь год с небольшим великий князь жил спокойно, считая Новгород устоявшейся вотчиной потомков Мономаха. Князь Роман, казалось смирившийся с главенством Всеволода, несмотря на весьма холодное отношение своих братьев Давида и Рюрика к великому князю, почел за лучшее не выставлять гордость и даже не отказывался платить владимирскому князю дань. Это не затрагивало княжеской чести, потому что Всеволод, ведя с Романом постоянную переписку, сумел так все обставить, что мягкий и незлобивый князь Роман и вправду убедился, что, поддерживая Всеволода, он тем самым поддерживает себя. Князю Роману нельзя было отказать в уме, но ему не хватало твердости, а с новгородцами иногда только твердостью и можно было сладить.

Вот почему, опять же по совету Всеволода, Роман оставил новгородский стол для своего знаменитого брата — Мстислава Ростиславича Храброго.

Мысль, что сей князь будто нарочно предназначен для управления вольным городом, давно приходила Всеволоду в голову. Во-первых, Новгород остался бы у Мономаховичей. Во-вторых, воинская храбрость и полководческое искусство Мстислава должны были сослужить городу великую службу — усмирить чужд и литву. Роман просил у

Всеволода помощи для этого, но великий князь не хотел рассеивать свое войско в северных лесах, да и понимал, что князь Роман, может быть, и хочет владимирских и суздальских полков, но вот граждане новгородские могут в этом усмотреть покушение на свою драгоценную свободу. И как бы вместо чужд не пришлось владимирцам сражаться с самим Новгородом. Еще же Всеволод хотел видеть Храброго на новгородском столе потому, что великий этот муж при всей своей отваге начисто был лишен коварства, отзывчив на дружбу, что можно было считать признаком недалекого ума, но в данном случае подходило Всеволоду как нельзя лучше.

Роман выехал из Новгорода с честью, с почетом въехал туда Мстислав. Тщеславие новгородцев было удовлетворено: своими властителями они всегда хотели видеть князей знаменитейших, о которых говорила бы вся Русь. И в то же время новгородцы не могли не понимать, что Храбрый, при всей видимости их добровольного — даже своевольного — выбора, все же сел в Новгороде как бы с согласия владимирского князя. Всеволод мог торжествовать.

И он торжествовал. Была послана грамота Храбром — такая же, как в свое время Роману, с выражениями дружбы, братской любви и обещаниями покровительства.

Когда-то Мстислав Храбрый с братьями взял Всеволода — тогда еще юного безудельного князя — в плен и держал в заложниках, вынуждая Михаила отказаться от Киева. Теперь Храбрый становился другом великого князя Владимирского, на помощь которого мог рассчитывать в будущем, в том числе и на то, что Всеволод поможет Рюрику или Давиду сесть в Киеве. Скорей всего, конечно, Рюрику, ибо он мечтает о киевском столе.

Великому князю можно было жить спокойно. Заниматься, например, строительством. А то руки до него не доходят. Можно было думать о будущих делах — о расширении земель, о стране волжских булгар, что манила своим богатством и настораживала своей воинственностью. Да и вообще — мирная жизнь предполагает не меньше дел, чем военная.

И перед Мстиславом Храбрым появился наконец достойный противник — ошестинившаяся тысячами копий и в то же время неуловимая чужд, возникающая словно ниоткуда, разоряющая города и селения и исчезающая бесследно в густых лесах.

Был еще один враг — Плесков. Князь Роман, как владелец новгородский, посадил туда сына своего Бориса. По оставлении же Романом новгородского стола плесковичи

подняли бунт, заключили Бориса под стражу, видимо беря пример с худших обычаев своей столицы. И решили не подчиняться никому.

Храбрый же всегда считал: чем больше врагов, тем лучше. Даже с малой дружиной мог он победить дружину вдсятеро сильнейшую. Сам его вид, воинственный огонь, горевший во взгляде, вдохновляли его войско, и оно сражалось, забывая о смерти. Здесь же, в Новгороде, Храбром удалось собрать двадцать тысяч человек, большей частью конных. Похоже, у новгородцев действительно накопилось на душе. Все двадцать тысяч рвались в бой, и счастливым Мстислав повел их.

С чудью было надолго покончено. Это значило: свободные торговые пути на Запад и к карелам, обогащение Новгорода, а с ним и Владимирской земли, продающей Новгороду хлеб. Это означало укрепление во всей Руси Мономахова дома, способствовавшего таким великим делам.

С городом Плесковым Храбрый разделался во вторую очередь. Племянник его Борис получил теперь такую власть над мятежным городом, о которой раньше и мечтать не мог.

Казалось, с врагами покончено. Но Мстислав уже не мог остановиться сам.

Кто-то из новгородцев, кого, видно, Бог разума лишил, а может, наоборот, слишком большой ум дал, пожаловался Храбром на давнишнюю, стопятнадцатилетней давности, обиду: тогда, в те давние годы, полоцкий князь напал на Новгород и даже разрушил его частично.

Что? Разрушил? А сколько пути до Полоцка? Дней пять? Вперед, на Полоцк! Отомстим за обиду новгородскую! Ляжем костями все, как один, а чести Новгорода не уроним!

Это решение — брать ни в чем не повинный Полоцк — было принято сразу, несмотря на то что ни в чем не повинный полоцкий князь Всеслав за того Всеслава, своего прадеда, отвечать не мог, так как даже отец его тогда еще не родился. А во-вторых, этот, нынешний князь Всеслав — ни больше ни меньше — приходился Храбром зятем, женат был на его дочери, и на свадьбе гуляли вместе, целовались, клялись в дружбе навек. Внуков Храбром уже нарожал.

Однако все двадцатитысячное войско двинулось к Полоцку. Конечно — все, как один. Никто на дороге не попадается! Да и не было в то время на всей Русской земле такой силы, которая могла бы Храброго остановить.

А остановить его могло только доброе слово. И хорошо, что Роман в Смоленске узнал об этом походе — успел

перехватить брата, за Великими Луками уже, когда Полоцк ворота запирает. Роман просто попенял брату: не дело, мол, мстить невинному за грехи его далеких предков. И Храбром этого оказалось достаточно. Он произнес перед войском речь, убедив всех в ненужности похода, пообещал скорую войну с Ливонией, и довольное войско, отягощенное добычей, взятой у чуди, возвратилось победно в Новгород. Русь могла вздохнуть с облегчением.

В этом был весь Храбрый. Грозный для врагов, он доверчиво складывал оружие перед тем, кто спешил назвать его другом. Великий князь иногда думал, что, пожалуй, мог один остановить войско Храброго: для этого было нужно лишь выехать навстречу князю Мстиславу и раскрыть объятия. Порой Всеволод, вообще-то настороженно относившийся к Мстиславу, готов был увидеть в нем просто крайние свойства русского человека, что не похож ни на кого другого. И тогда прощал ему все его недостатки, даже недалекость ума, которую в других людях, особенно лишенных великодушия Мстислава, не терпел.

Жить было можно, имея такого соседа. Всеволод, зная, что всегда найдет ключи к его сердцу, уже предполагал, какую силу увидит Русь в объединенных владимирских и новгородских полках, видел и свое главенствующее в них положение. Но век храбрецов недолог. Возвратившись в Новгород со славой, князь Мстислав вскоре умер.

Новгородцы искренне оплакали его. Едва ли это был не лучший их князь. Но не они одни горевали по Храбром. Владимирский князь тоже неожиданно для себя тяжело пережил эту потерю. Никто во всей Руси, наверное, не смог бы понять, почему Всеволод так грустит о Мстиславе Храбром.

А Всеволод, узнав о его смерти, почувствовал горечь и пустоту в сердце. Он знал, отчего это: со смертью Мстислава Русь лишалась еще одного — и едва ли не последнего — витязя из тех, о которых слагают сказания, витязя прямодушного, отважного, не желающего богатств, а радеющего лишь о славе родной земли — той Руси, которой она, может, когда-то была, если верить этим сказаниям. Откуда же, как не из тех времен, приходят такие витязи, при жизни вызывающие столько презрительных усмешек у алчных собратьев своих? Такие, как Храбрый, словно опоздали родиться на несколько сотен лет, но прошли через свое время, не замавав себя ни предательством, ни корыстолюбием, ни хитростью. Вот и со смертью Мстислава Храброго ушла частица той Руси, которую одну и любит русский человек.

Увы, Всеволод знал о себе, что не принадлежит к такому роду людей, как Храбрый. Нелицемерно горюя о Мстиславе, он в то же время думал о том, кого теперь сажать в Новгород. По всему выходило, что это место должен занять Рюрик Ростиславич, как родной брат Храброго, вдобавок напоминающий его вспылчивым нравом. Такой ход еще более укрепил бы владимирского князя. Рюрик в качестве соседа даже больше удовлетворял Всеволода, чем Мстислав. Он более уравновешен, предсказуем. Потом, отказавшись от своего любимого, но никчемного Киева в пользу Святослава, он способствовал бы умиротворению этого старшего из Ольговичей. И конечно, в этом случае оба они — и Рюрик и Святослав — своими княжениями будут обязаны ему — великому князю Владимирскому. Надо было только уговорить взбалмошного Рюрика отказаться от киевского стола, на котором он весьма непрочно сидел, пока этот стол жаждал занять Святослав.

Всеволод начал действовать. В Киев было отправлено посольство — уговаривать Рюрика. В Чернигов было отправлено посольство — предлагать мирный исход дела Святославу. Особая грамота написана была черниговскому епископу Порфирию: Всеволод верил в его расположение и просил содействия. Порфирий, несмотря на то что был поставлен константинопольским патриархом, боялся коварного и жестокого Святослава, но мог все же при случае представить князю Черниговскому разумные доводы.

Рюрик посольство принял, но прямого ответа, по сути, не дал. Пространно писал о том, что Киев — мать всех русских городов и что отец Рюрика — Ростислав, и дед — Мстислав Великий, и прадед — Владимир Мономах, и прапрадед — Всеволод Ярославич, и прапрапрадед — Ярослав Мудрый, и прапрапрапрадед — Владимир Красное Солнышко, и так далее, и так далее — все были киевскими князьями, все заповедали своим потомкам это священное княжение и ему, князю Рюрику, негоже было бы оставлять Киев.

Всеволод знал Рюрика и понимал, что это — не обычные разглагольствования, использующиеся, когда нужно скрыть истинные намерения. Все же Рюрик чем-то напоминал брата — Мстислава Храброго, и ему, наверное, и вправду казалось, что сидеть в полуразрушенном Киеве, теша себя призрачной властью над разоренными землями, действительно значит служить старинной княжеской чести. И ради этой чести, уходящей корнями в древние времена, он готов был отказаться от могущественного новгородского княжения. Причина отказа, безусловно, заключалась еще

и в том, что Рюрик не хотел, даже к своей выгоде, получить Новгород из рук владимирского князя. Все же Всеволод не терял надежды и продолжал уговаривать Рюрика.

Тем более что от Святослава пришел самый благожелательный ответ, какого только можно было ждать. Святослав поминал давнюю их дружбу, говорил, что давно пора забыть княжеские раздоры, одобрял желание Всеволода посадить Рюрика в Новгород — чтоб наследовал брату, всеми оплакиваемому Мстиславу. Медоточивое письмо Святослава и обрадовало Всеволода, и насторожило. С одной стороны, Всеволод мог предположить, отчего вспыхнула вдруг у Святослава любовь к нему. Причиной тому могло быть то, что два месяца назад сын Святослава Владимир, гость у Всеволода по его приглашению, догостился до свадьбы. Великий князь женил князя Владимира Святославича с полного его согласия на своей юной племяннице Пребрание, дочери покойного брата Михаила. Святослав и Михаилу когда-то клялся в любви.

Но, с другой стороны, Всеволод знал и самого Святослава. Знал его коварство, уклончивость. Знал и о ненависти его к потомкам Мономахов. Поэтому великий князь решил добиваться своего, но очень-то беря в расчет Святославовы уверения в дружбе. Не, как оказалось, было уже поздно.

Не зря подозрение охватывало душу, когда Всеволод думал о черниговском лисе. Святослав и похож был на лиса острым носом и бегающими глазками. На кого он, однако, ни был бы похож, а в людской природе, кажется, разбирался куда лучше молодого владимирского князя. Как громом поразила Всеволода весть, пришедшая из Новгорода как раз в то время, когда он надеялся получить ясный ответ из Киева. На новгородском столе теперь сидел этот самый Владимир Святославич, с которым недавно только обнимались на свадебном пиру!

Святослав разбил все надежды. Он-то, хитроумный, знал, чем взять новгородцев — страхом перед силой владимирского князя. Как воронью стаю пугалом устранил их. И забыли новгородцы, в чем только что клялись умирающему Мстиславу Храброму — любить и беречь детей его и братьев, не изменять племени Мономахову.

Теперь Святослав, располагая не только черниговскими, но и новгородскими полками, вышибет гордого Рюрика из Киева, Давида и Романа — из Смоленска и, подчинив себе огромные земли, без всякого сомнения, двинется на Владимир, посылая с дороги письма, полные упреков и отеческих сожалений, что приходится вести войну с родственником.

Все надежды на мир приходилось если и не похоронить, то, по крайней мере, надолго забыть. Война, как видел Всеволод, неминуема. Сейчас он был готов уже не ожидать действий противника, а ударить первым. Великий князь гневался.

Но, гневаясь, Всеволод понимал, что направление удара нужно тщательно обдумать. Врагов вдруг оказалось много — а какой самый опасный?

Тем временем случилось то, что должно было случиться.

Святослав малыми силами выбил гордого Рюрика из Киева. Тот на удивление легко расстался с вотчиной своих пращуров и прапращуров и едва сумел без потерь отвести дружину в Белгород, небольшой городишко в десяти верстах от Киева. Там недалёковидному Рюрику Ростиславичу предстояло лелеять свою княжескую гордость, лишившись почти всего.

Прошло лето. С наступлением осени гнев Всеволода начал утихать. Великий князь рассудил, что ни на Новгород, ни на Киев полки вести сейчас нельзя, потому что Святослав, может, больше всего хочет от владимирского князя такого подарка — в ответ на боевые действия поднимет против Всеволода и Новгород, и Южную Русь. Святослав хотел именно выманить Всеволода со всем войском из владимирских пределов. Ни в коем случае, решил великий князь, ни в коем случае не нужно поступать так, как хочет Святослав. Надо вывести его из терпения. Тот, кто ожидает удара, уже не будет захвачен врасплох.

Приняв решение выжидать, Всеволод почувствовал себя вновь спокойно и уверенно. В самом деле — чего торопиться? Если Святослав считает себя властителем Руси — пусть считает. Пусть сидит себе в Киеве и думает, что правит Новгородом. Тщеславие сего князя победит его хитрую осторожность: Святослав обязательно кого-нибудь обидит, обязательно захочет показать свое превосходство, а значит, ввяжется в войну. С кем — там будет видно, но эта война поубавит его силы, вот тогда с ним можно будет поговорить.

Стояла ранняя осень, очень теплая и сухая. Забот у Всеволода и без всякой войны было достаточно. Чего только стоило убрать выдавшийся на удивление щедрый урожай! Плоды Владимирской земли обильным потоком притекали к великому князю. В этот год даже те поселяне, что писались истужными, то есть платившими дань князю или боярину не в установленных количествах, а сколько смогут, отдавали полной мерой. Мудрено было и разместить горы зерна, многочисленные стада коров, свиней, ба-

ранов. Повсюду спешно строились бретьяницы и скотницы. Пожалуй, только теперь Всеволод начал осознавать, каким богатством он владеет.

Большим утешением в жизни были дочери-погодки, Всеслава, Верхуслава и Сбыслава. На них только взглянешь — и уходит куда-то из души всякая злость, не гневом, а радостью наполняется сердце. Всеволод полюбил теперь проводить время в княгининых покоях с женой и дочерьми. Даже старшая — Еленушка, замкнутая и болезненная, с появлением сестер стала оживать, чаще улыбалась, подолгу могла играть с ними, сама их укачивала, меняла пеленки, помогала ухаживать. Как-то Марья сказала Всеволоду, что не надеется дожидаться от Елены внуков и, видимо, так уж суждено девочке — всю жизнь пробыть рядом с матерью. Что ж, Всеволод и сам так думал. Лучше, чем с матерью, Елене нигде не будет, да и куда ее отпустишь, такую слабую? А насчет внуков — вот они, три красавицы, небось не задержатся под родительской крышей. О сыне великий князь почти не говорил с женой. И она таких разговоров не начинала. Да и какие тут разговоры, когда сидишь, бывало, в княгининой светелке, а дочки по тебе ползают, за нос хватают, лепечут что-то.

В один из таких дней начала осени, когда Всеволод с Марьей только что отобедали и, по обыкновению, ушли на женскую половину — поиграть с дочерьми, к ним в дверь постучали. Их не часто беспокоили, знали, князь не любит, когда прерывают его отдых в кругу семьи. И Всеволод, услышав этот робкий стук, подумал: вот оно, начинается. Кончилось блаженное время. Марья, сразу почувствовавшая перемену настроения мужа, с тревогой взглянула на него.

— Кто там? — спросила она. Только что была веселой, и вот — веселье как не бывало.

Чинно, с поклоном, вошла ключница Долгуша.

— Меченоша твой, государь батюшка, к тебе просится. Говорит — дело неотложное.

Помрачневший Всеволод, ничего не сказав жене, пошел на свою половину. Юрята ждал его в прихожей перед спальным покоем князя, как всегда спокойный, сдержанный. По нему не скажешь, что случилось плохое.

— Ну? Что? — спросил Всеволод.

— Там, государь, человек прибежал от Глебовичей, из Рязани. Князь Игорь, Ярополк да Владимир послали спросить — не примешь ли? С жалобой к тебе.

— Не говорил, на кого жалоба? Хотя знаю — на князя Романа жаловаться будут. Ну, а ты что?

— А я, государь, уже человека того послал обратно к князьям, — улыбаясь, сказал Юрята. — Велел ему звать их. Они тут встали, от Владимира недалеко. Скоро будут.

— Ишь ты. А если бы я не захотел их принять?

— Ну — уехали бы. А только, не гневайся, государь, послушать их надо. Тут без князя Святослава не обошлось.

— Так. Посылай кого-нибудь, пусть скажет князьям, чтоб не мешкали, ехали скорее.

— Да уж послал, да так и наказал. Стрелой прилетят, государь.

— Проведешь их ко мне в опочивальню.

— Не прикажешь ли, государь, еще кого позвать? Воеводу, что ли?

— Нет. Сначала один с ними поговорю.

Ждать князей и правда пришлось недолго. Во двор княжеский въехали втроем, без всякой свиты, кони бока раздувают, с губ каплет пена. Торопились Глебовичи.

Зайдя в опочивальню великого князя, замялись — видно, не могли решить, как вести себя. Младший, Владимир, помешкав, упал на колени. Игорь и Ярополк, переглянувшись, последовали его примеру. Всеволод, хоть и приготовился к тяжелому разговору, все же не мог мимоходом не полюбоваться таким началом. Князья, видно, заранее договорились, как будут держаться перед великим князем, но вот увидели его — и поникли. Значит, сильно припекло Глебовичей.

— Встаньте, братья. Негоже вам так, — произнес Всеволод, выждав, однако, немного.

Глебовичи, стараясь не спешить, поднялись с колен, сели, куда им было указано. Говорить начал князь Ярополк, как старший:

— Защиты твоей просим, великий княже. Пропадаем со всем.

— От кого же защиты? — спросил Всеволод, пристально глядя в глаза Ярополку. — Не от брата ли своего, князя Романа?

— От него, великий княже, — заговорили Глебовичи все разом. У них отлегло: заметили, с какой неприязнью Всеволод произнес имя их брата. — Разоряет нас, уделов лишает. Силой выгоняет. Уж и сражения были, великий княже.

— Нехорошо, — произнес Всеволод. — Что ж ему, Рязани мало?

Сочувствия к младшим Глебовичам у него не было. Великий князь давно ощутил нечто вроде разочарования: ожидал, дело будет поважней, чем обычная княжеская

схлока. По всей Руси князья-братья друг у друга волости отнимают — что ж тут удивительного? Было бы удивительно, если бы в мире жили. С этим делом разобраться легко: послать к Роману, а лучше — вызвать его сюда и пригрозить. Отдаст братьям и уделы, и добро награбленное. А покрепче пригрозить — так и своего добавит. Видели мы князя Романа. Весьма не крепок князь Роман.

— И Глебова дружина с ним, и сам князь Глеб, — сокрушенно сказал Ярополк.

— Князь Глеб? Святославич? — даже привстал Всеволод.

— Святослава сын. Роман-то совсем предался Святославу.

— Мы ему, великий княже, уж прости, твоим именем пеняли, — сказал Игорь Глебович. — А он говорит: мне-де князь Всеволод не господин, я, говорит, его и знать не хочу. Князь Святослав-де мне тесть и отец, ему, говорит, единому служу, в его воле хожу.

— А Святослав-то к нему и прислал Глеба с дружиною, — сказал Ярополк. — Что делают, княже! Села разоряют, жителей избивают. Над девками, бабами надругательства учиняют.

— Он, Роман-то, говорит — Рязань-де под Святославом прочнее стоять будет, — возмущенно произнес молчавший до этого младший, Владимир Глебович. — А потом, мол, мне князь Святослав и Владимир отдаст, и Суздаль. А князю Всеволоду, говорит, тебе, княже, значит, — поправился Владимир, — князю Всеволоду село, мол, дам для прокормления, и будет с него.

Всеволод молчал. Да, далеко протянулась рука князя Святослава. Не осмелился сам напасть, так чужими руками заgrabеть хочет. Ножом в спину. Ладно, князь Роман.

— А что ж молчите, князья, — Роман-то поминал мне князя Глеба, отца вашего? — спросил вдруг Всеволод. Захотелось проверить свою догадку: такой человек, как князь Роман, обязательно должен на смерти отца нажиться — не богатством, так хоть сочувствием ближних.

Глебовичи замолчали. Все-таки князь Глеб им тоже приходился отцом, и умер он по вине Всеволодовой или нет, а у него в плену. И Глебовичам не хотелось об этом говорить.

— Поминал, княже, — нехотя ответил Ярополк. — Да мы ведь помним, как все было.

— Хорошо, что помните. — Всеволод решил немного покривить душой. — Вы при этом были — должны помнить. Я князя Глеба любил, как отца, — сказал он, внимательно глядя на Глебовичей. Те — ничего, не моргнули даже. — Не я

на него руку поднял, а он на меня. И руку свою обагрил князь Глеб в крови невинной по самое плечо.— Всеволод встал, почувствовав знакомый гнев.— А не вы ли, князь, с ним вместе свои руки в крови пачкали? Взяты вы были: ты, князь Ярополк, и ты, князь Игорь, на Колокше, вместе с отцом вашим, который путь в Русскую землю поганым открыл! Я же князя Глеба простил. На этом вот самом месте.— Всеволод указал в пол, и все трое послушно направили туда взгляды,— на этом месте предлагал я князю Глебу мир и любовь. Но он отверг. Не смог побороть злобу свою ко мне.

«Не надо бы их очень-то князем Глебом попрекать,— подумал Всеволод.— А впрочем — ничего. Послушнее будут».

— Я вас от гнева людского спас. И отца вашего спас,— продолжал он.— Не испугался на себя навлечь гнев владимирцев. А брат ваш, князь Роман, здесь икону целовал, клялся в вечной дружбе. Князь Глеб-то покрепче его был. А вы,— Всеволод встал, возвысил голос,— вы почему свою клятву нарушили? Почему Роману не дали отпор? Трое ведь вас. Дружины, что ли, мало?

Глебовичи сидели, наливаясь краской стыда. Ярополк, не глядя в глаза великому князю, пробормотал:

— Мало, княже. Большую дружину держать не на что. Вотчины наши людьми оскудели. Иной раз пошлешь в зажитые тиуна — пустой возвращается. Нечего, говорит, с поселян взять.

— Вот. Тиунов-то у вас хватает,— успокаиваясь, сказал Всеволод.— А людьми не управляете. У меня вон,— показал рукой на окно,— всего на всех хватает.

— И дружина у тебя, княже, хороша,— вдруг ломающимся голосом отчаянно сказал Владимир.

Всеволод улыбнулся:

— Хороша, говоришь? Ладно. Увидите еще, князь, мою дружину.

Он помолчал, подошел к окну. Потом, повернувшись к образам, медленно и торжественно положил крестное знамение. Краем глаза посмотрел на Глебовичей. Стояли, усердно крестились.

— Юрята! — позвал великий князь.

Дверь тут же отворилась.

— Воеводу ко мне зови,— сказал Всеволод.

— Так я посылал уж за ним. Вот он, здесь сидит,— улыбаясь, произнес меченоша и посторонился, впуская озаченного Кузьму Ратишича.

Подскакал незнакомый всадник в полном вооружении. Не доезжая до великого князя, спешился, сделал несколько шагов, подломил ноги в коленях.

— Дозволь говорить, княже.

Всеволод мельком поглядел на нового телохранителя. Немой сидел спокойно, за рукоятку меча не брался. Значит, узнал.

— Это твой? — спросил все-таки Всеволод у воеводы.

— Мой, государь.

— Говори,— позволил Всеволод.

— В городе спокойно, государь. Ворота открыты, никто не заметил нас. Дружина на берегу, обедает. Кабанов жарят. Сотни две человек, кони стреноженные, недалеко в стороне. Которые под седлом, которые расседланы.

— Ну что же,— сказал великий князь.— Молодец, воевода. Не обманул.

Ратишич подобрел лицом, кивнул. Он обещал великому князю подойти к Коломне окольным путем, чтобы раньше времени не обнаружить себя. Дружины взяли на Коломну пятьсот человек, остальных Юрята повел к Рязани. Глебовичи остались при великом князе. Шли лесом, а могли бы и дорогой — пустынна была Рязанская земля. Села разоренные, одни старики да старухи в них. Да и тех мало — народ весь разбежался.

Во время похода наткнулись на двух девчонок — едва поймали. Обе растерзанные, дрожат. Кое-как добились от них, пока рассказали: пришла в село дружина, чья — не знают. Отца убили, когда за мать заступился. Их обеих хотели ять¹, да они убежали в лес. Тут девчонки ввали, наверное. Стыдились, не хотели признаваться, что сделали с ними. Великий князь, привыкший уже смотреть на таких вот девчонок отцовскими глазами, велел дать им еды, одежды какой-нибудь, по две гривны серебра. Девчонки на серебро посмотрели как на цацку²: не видали никогда. Попросили нож. Немой отдал им засапожник. С тем и ушли.

— Ну, воевода, что думаешь? — спросил великий князь.

— Что думать, государь? Ударить на них — и все. Пока они коней поймают, пока седлать станут — всех возьмем,— уверенно сказал Ратишич.

¹ Изнасиловать.

² Цацка — игрушка; забава.

— От коней надо их отрезать, княже, — посоветовал человек, что принес вести. Он уже встал с колен.

— Без тебя знаем, Ласко, — строго отрезал воевода. — Иди к своим, скажи, чтоб готовы были тотчас.

Человек кивнул и ушел.

— Мне сколько народу дашь, Ратишич? — с улыбкой спросил Всеволод. Ратишич тоже улыбнулся:

— Тебе, государь, негоже с такой малой дружиной воевать. Мы тебя нынче побережем.

— Меня есть кому поберечь и без вас. Ну что же — начинать? Вперед?

Двинулись все разом. Лес наполнился топотом коней, звяканьем железа. У всех ратников — так уж повелось с Юрьевского поля — на правой руке надета была белая повязка, чтобы в гуще схватки сгоряча не рубануть своего.

Выкатились из леса на луг по-над крутым берегом Оки. Прямо по ходу видна была дружина, расположившаяся на обед, почему-то не выставившая охрану. Наверное, вблизи города чувствовали себя в безопасности.

Великому князю не давали вырваться вперед — оттирали. И Немой старался. Ловко это у него получалось. Всеволод невольно передернул плечами, когда представил, что увидит сейчас, как Немой впереди него ворвется в стан беспечной дружины.

Они были все ближе. И что-то в их поведении показалось Всеволоду странным. Среди разлегшихся на траве воинов не наблюдалось особенного движения, присущего людям, что собраны в отряд и готовятся к бою. Кто-то махал рукой навстречу призывно: идите, мол, к нам. Кое-кто вообще не двигался. Некоторые лежали возле дотлевающих костров среди обглоданных костей и бочонков из-под меда и пива.

Один все-таки шел навстречу Всеволоду, что-то держа в руках. Шел с трудом, обеими руками держал это. Да ведь это же братина у него! Расплескивает.

И тут Всеволоду довелось увидеть такое, чего он никогда не видел и потом не увидел за всю свою жизнь. Да и не хотел бы видеть.

Немой, бросив коня влево, огибая стоявшего ратника, сверкнул мечом. И Всеволод, осаживая своего жеребца, смотрел, как голова дружинника, не меняя какого-то бессмысленного выражения лица, как бы кивнула и отделилась от туловища. Оставляя позади себя густо брызнувшую черную кровь, голова мягко и точно упала в братину, которую туловище все еще держало перед собой. На не-

сколько мгновений Всеволод забыл обо всем на свете, только смотрел не отрываясь, как человек несет сосуд со своей головой. Но это, слава Богу, продолжалось мгновение — туловище расслабилось, качнулось, и вот они уже лежали по отдельности: и голова, и братина, окрашенная кровью, и безголовый ратник.

Всеволод поискал глазами Немого. А тот, оказывается, и не видел дела рук своих. Выплесывал на своем коне перед князем, оглядываясь по сторонам: кто следующий? Кто захочет приблизиться к государю? Замычал, зауhal вдруг, стал показывать пальцем.

— Государь! — крикнул издали Кузьма Ратишич. — Что делать-то? Они пьяные все!

Вот так дела. И вправду — что делать с дружиной, пьяной до бесчувствия? Все можно было предусмотреть, но такого, конечно, никто не ожидал. Однако это хорошо, что пьяные.

— Оружие, сбрую содрать со всех! Самих связать! — приказал Всеволод. — Воевода! Сейчас в город поедem. Смотри, чтобы из наших никто не пил. Скажи: пьяного замечу — выдрать велю.

Ратишич оставил небольшую часть войска — управлять с побежденными. Остальные двинулись к Коломне.

Всеволод теперь был уверен, что никакого сопротивления им оказано не будет. Так думал и воевода, так думала и вся дружина. Войско шло вдоль Оки, хорошо видимое с городских невысоких стен. Ехали весело, со смехом вспоминая свою незадачливую ратную победу. Великий князь рассказывал Кузьме Ратишичу про отрубленную голову, воевода удивлялся, цокал языком. Но, похоже, не верил. Всеволод обратился было к Немому за подтверждением, но махнул рукой. Решил обязательно рассказать Юрятье — тот поверит. Эх, жаль, никто больше не видел. Вот так Немой. Женить его надо, а то бобылем живет. Нехорошо.

Коломна — небольшой приземистый городок — встретил войско великого князя спокойно. Несколько раз ударили в железное било — кто-то, видимо, испугался, но его одернули, и тревожные удары прекратились так же внезапно, как и начались. Мужики, попадавшие на дороге, ведущей в город, завидя Всеволода, снимали шапки, падали на колени. Ворота стояли открытые. Въезжая внутрь, Всеволод узнал на одном из створов косую разлохмаченную ссадину, неизвестно чем проделанную в дереве. Вспомнил — и удивился: тому уже скоро четыре года исполнится, а эта рваная отметина не забылась. Даже и то вспомнилось, что тогда, че-

тыре года назад, он, увидев эту ссадину, так же подумал: чем бы это могло быть сделано? Поразительно, какие вещи хранит память.

От соборной площади навстречу войску уже спешил городской тысяцкий. Седые волосы до плеч, шапка в руке, хромает. Тот самый, прежний. Жив еще. Поклонился.

— Княже! Всеволод Юрьевич! Милости просим! Вот привел Господь еще раз тебя увидеть!

Осьмак, Федор Осьмак — вот как его зовут. Надо же, всякая мелочь помнится.

— Здорово, Федор-тысяцкий, — улыбаясь оттого, что вспомнил имя старика, сказал Всеволод. — Чье это войско пьяное у тебя там?

— Не наши это, князь-батюшка, — поспешно проговорил старик, — не наши. — И разулыбался, заметив подъезжавших Глебовичей. — Владимир Глебович! Княже! Князюшки дорогие! Слава Богу. — И снова Всеволоду: — А это не наши там. Это князя Глеба Святославича дружина. А сам-то он, князь Глеб-то Святославич, у себя в покоях сидит. С утра на ловлю ездили. Устали.

— Вот мы к нему в гости и зайдем, — весело сказал Всеволод. — И ты, тысяцкий Федор, приходи. Князю своему, — он кивнул на Владимира Глебовича, — ответ дашь, отчитаешься. А больше в городе войска нет?

— Нет, никого нет. Они все пировать поехали. А князь — к себе... То есть... вот... к Владимиру Глебовичу домой.

Направились к княжеским палатам. Народу попадалось мало — большей частью сидели по домам. Снимали шапки, кланялись. Видно было, не бояться. Смотрели на пришлую дружину с любопытством, узнавали владимирского князя, Глебовичей.

Во двор княжеский въехали беспрепятственно. Владимир все озирался: что изменилось здесь, пока вместо него хозяином был Глеб Святославич?

Дружина располагалась во дворе. Уже потащили откуда-то охапки сена для коней, сыпали в стоявшие возле конюшен ясли овес. Хотя князь Владимир и ничего не говорил, Всеволод, покосившись на него, вполголоса сказал Ратишчу:

— Погляди тут, воевода. Коней пусть покормят, а больше чтоб ничего не брали. Все же мы у князя Владимира в гостях.

В палаты вошли впятером: Всеволод, трое Глебовичей и, конечно, Немой, которому никто не осмелился приказать остаться во дворе. А великому князю с такой охраной было спокойней.

У двери в княжеские покои стояли двое дружинников с оружием. Увидев князей, поклонились. Всеволод велел им идти во двор, найти воеводу. Ушли. Немой снял руку с меча.

Князь Глеб Святославич сидел у накрытого стола бледный, но спокойный. Он все понял, заметив из окошка въезжавших во двор чужих ратников, возглавляемых Всеволодом, которого он хорошо помнил по Чернигову. Встал молча, с достоинством поклонился.

— Ну, здравствуй, князь Глеб Святославич, — насмешливо сказал Всеволод. — Что ж ты дружину свою так распустил? Все войско пьяное.

Глеб Святославич пожал плечами, по-прежнему ничего не говоря. Усмехнулся. Эта усмешка вывела из себя молодого Владимира.

— Смеешься, собака? — закричал он, хватаясь за меч и наступая на Святославича. Тот, невооруженный, попятился, уронил скамью, рукой слепо шарил, стараясь нащупать оружие, не отводил от князя Владимира глаз. Немой, находившийся немного сбоку, сразу выдвинулся вперед, вопросительно взглянул на Всеволода — не знал, как поступить. Всеволод повысил голос:

— Остынь, остынь, князь Владимир! Раньше надо было горячиться! Теперь, когда бой закончился, мечом не махи!

Князь Владимир медленно остывал, так и не вынув меча из ножен.

— Давно не видались, князь Всеволод Юрьевич, — сказал наконец Глеб, и Всеволод снова услышал, как удивительно похож его голос на голос отца: такой же, будто надтреснутый, как и у князя Святослава.

— Как здоровье родителя твоего? — спросил Всеволод. — Не болеет князь Святослав-то?

Глеб снова усмехнулся.

— Твоя взяла, князь Всеволод. Мне теперь — что? Прикажешь обратно к отцу ехать, в Киев?

— Зачем в Киев ехать? Далеко. — Всеволод постарался усмехнуться еще небрежнее Глеба. — Ты у меня погостишь. Заодно посмотришь, как мы, залешане, лапотники, живем. Согласен?

Усмешка на устах князя Глеба съезжилась, пропала совсем.

— Тебе, князь Всеволод, моего согласия и не надо. В плен меня берешь?

— А хоть бы и так. Ты не спрашивай, — сказал Всеволод. — Лучше закусим чем Бог послал. Что тут у тебя?

И сел к столу. Немой придвинулся к стене, прислонился, застыл. Хоть до утра так простоит — не шелохнется. Вслед за великим князем подсели и Глебовичи — каждый стараясь держаться подальше от Святославича.

— Эй, Фимья! — негромко позвал Глеб.

Возле дальней лежанки колыхнулась и откинулась занавесь, появилась невысокая полная девушка, необыкновенно красивая лицом. Поклонилась легко, несмотря на полноту. Смотрела без смущения. Старшие Глебовичи снисходительно улыбались, хмыкали. Князь Владимир смотрел на девушку молча.

— Поди скажи там, пусть подадут чего, — начал Глеб, но девушка, не слушая его, подошла к князю Владимиру и поклонилась ему отдельно от всех.

— Здравствуй, княжич, — сказала она, глядя своими глазами на Владимира. — Не чаяла тебя так скоро видеть. Радость-то какая.

Владимир дернулся, хотел вскочить, но не вскочил.

— Ты тут... тут... с ним, значит, да? — с трудом выговорил он, глядя на девушку и тыча пальцем в сторону князя Глеба. — Обрадовалась, да?

— Тебе обрадовалась, княжич, — пела красавица. — Прости меня, глупую.

Князь Владимир все дергался, пыхтел. Не то хотел наброситься на девушку с кулаками, не то раздумывал, бросая огненные взгляды на Глеба — не кинуться ли на соперника. Немой у стены пошевелился.

— Ну, будет! — хлопнув ладонью по столу, объявил Всеволод. В присутствии этой девушки ему почему-то захотелось, чтобы она знала, кто здесь главный. — Ты, милая, ступай. Пусть принесут чего-нибудь да готовят на всю дружину. Мы, князь Владимир, у тебя переночуем, а завтра тронемся.

Красавица уплыла. Некоторое время сидели молча, брали со стола кто что хочет. Всеволод углядел копченый язык, взял кусочек, пожевал. Постепенно начинал чувствоваться голод. И то — с утра не ели.

Князь Владимир встал из-за стола.

— Я, князь, пойду, схожу. Мне... мне с тысяцким надо поговорить. — Лицо князя Владимира выразило сильное желание найти тысяцкого и поговорить с ним.

— А, вот и хорошо. Поди, князь Владимир, — сказал Всеволод. — Да не сочти за труд, скажи воеводе — пусть людей на ночь располагает. Пленных тоже надо устроить. Найдешь тысяцкого — скажи, пусть помещение какое-нибудь приготовят для пленных. Ну, посчитайте, сколько их

там. Потом воеводе же скажи, чтоб послал кого-нибудь за нашим обозом — чтоб к вечеру здесь были. Да пусть на счет охраны распорядится. И последи, чтобы оружие, что мы взяли, во дворе не валялось. Потом, как все устроите, скажи воеводе, что жду его здесь. И сам с ним возвращайся.

Слушая наказы, Владимир, кажется, порывался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Поклонился, ушел.

— Негоже нам, князья, за столом в оружии сидеть. Давайте мечи ваши, а Немой за ними присмотрит, — сказал великий князь. Оба Глебовича заторопились, снимая мечи с поясов, отстегивая нагрудники. Немой принимал оружие. Глеб тоже протянул ему свой меч.

— Ничего больше нет у тебя, князь Глеб? — спросил Всеволод. — Я это к тому говорю, чтоб тебе какая мысль в голову не пришла. Если имеешь надежду — лучше оставь.

Глеб нахмурился, нехотя сунул руку под стол и, вынув оттуда длинный нож в ножнах, подал Немому.

— Вот так-то лучше. Не бойся, князь Глеб, я тебе сейчас не враг, за столом-то. Сегодня отдохнем. И вы, князья, сегодня не сердитесь на него. Эх, если бы нам всем почаще за дружеским столом встречаться, на пирах душу отводить — и земля бы Русская спокойней жила. Далеко князь Роман-то? — вдруг быстро спросил Всеволод, в упор поглядев на Глеба. Тот вздрогнул, поперхнулся. — Отвечай, когда спрашиваю!

— У себя он, в Рязани... Сказал — в Рязань пойдет, — растерянно говорил Глеб.

— Давно ушел?

— Давно... дней семь...

— Сюда не собирался? Знали вы, что Глебовичи ко мне поехали помощи просить?

— Он сказал... что ты, княже, не осмелишься помочь им дать, когда узнаешь, что я здесь, — краснея, выговорил Глеб. И уже без усмешки, испуганно поглядев на великого князя, словно только что начал понимать, что с ним, сыном князя Святослава, произошло.

— А-а-а. Вот за кого князь Роман спрятался, — зло сказал Всеволод. — Тебя князь Святослав сюда отправил?

Глеб кивнул.

— Вот она, ваша порода Ольгова. В дружбе клянетесь, а в сапоге ножи прячете! — Всеволод почувствовал знакомый удушающий гнев. — Ладно, князь Глеб. Только вы не по себе дерево задумали срубить. Я это еще отцу твоему, лису старому, в глаза скажу. На лбу ему напишу — вот этим! — В руке у Всеволода сверкнул нож, такой же заса-

пожник, как и у Глеба. — Вот что с вами будет! — крикнул Всеволод и с размаху воткнул лезвие в стол.

Тяжело дышал, старался успокоиться. Глеб, Игорь и Ярополк сидели притихшие, даже жевать перестали.

— Нет, князь Глеб. Не могу сегодня с тобой за одним столом сидеть, — твердо произнес Всеволод. — Ступай, посиди где-нибудь. За тобой приглядят.

Глеб, оскорбленный, встал. Великий князь поглядел на Немого, тот вышел вслед за Глебом. За столом воцарилась тишина. Понемногу опять начали жевать — чтоб легче было молчать. Немой вернулся и снова стал у стены.

Скоро появились воевода с князем Владимиром. Воевода веселый.

— Все хорошо, княже. Пьяниц разместили, — улыбаясь, докладывал он, снимал меч, доспехи, передавал Немому. — Я у князя Владимира еще бочку пива выпросил — поставили им туда, пусть пьют за твоё здоровье. Обоз наш пришел, встретят его. Дружина довольна. Я нашим настрою запретил пить. Попозже схожу, проверю. Ну а нам-то, княже, позволишь по чарочке? — Смотрел хитро.

Всеволода наконец отпустило. Засмеялся:

— У князя Владимира проси. Он хозяин.

Девки уже вносили на подносах всякую снедь. Фимья тоже появлялась, ставила что-то на стол, поправляла, передвигала, снова уплывала. Владимир старался на нее не смотреть. И все же взглядывал. Совсем еще юный был князь Владимир. Что на душе, то и на лице. И великому князю это нравилось.

Ну, а дальше дело пошло и вовсе гладко. Ели, пили, хвалили мед. Всеволоду пить не очень хотелось, он лишь прихлебывал из своего кубка, и каждый раз к нему совались — подливать.

Глебовичи, видно радуясь, что день заканчивается хорошо, налегали на хмельное. Прислуга вносила светильники, расставляла. На дворе начинало темнеть. Всеволод повеселел, подшучивал над Кузьмой Ратишичем, говоря, что Юрята может выпить больше воеводы раза в два и не запьянеет. Ратишич обижался и доказывал великому князю, что не раз перепивал Юрята. Глебовичи не знали, кому и поддакивать, вежливо хихикали, косели на глазах.

Неожиданно напился юный Владимир — до бессознательного состояния. Сидел, сидел, не принимая участия в разговоре, — вдруг повалился лицом в блюдо. Пора было застолье заканчивать. Все же какая-никакая, но шла война. Собирались ведь выпить совсем немного, и вот гляди ты, что получилось.

Стали расходиться. Девки убрали со стола. Воевода, поклонившись, отправился перед сном проверить — как там дружина. Игорь и Ярополк увели пьяного брата. Немой выскользнул за дверь. Всеволод остался один.

Голова была ясной, спать почему-то не хотелось. Он, кажется, знал почему.

Дверь тихонько отворилась, и в покои выплыла толстая Фимья, неся сложенные стопкой свежие полотняные простыни.

— Постельку тебе перемену, княже.

Всеволод не сказал ничего, только усмехнулся. Подумал: вот и князь Глеб так же усмехается. Отчего при этой девушке ухмылочка так сама и лезет на губы? При Марьюшке не бывает такого.

Про Марьюшку думать не хотелось.

Фимья застелила постель. Подплыла к князю. Поклонилась.

— Не нужно ли чего, княже?

Глаза ее, в полумраке теперь совсем темные, смотрели прямо. Красивая просто до невозможности.

Всеволод подумал, что на ее вопрос можно дать только два ответа: либо сказать — да, и она останется, либо — нет, тогда ее не станет здесь, в покоях.

Стояла, ждала. Руки сложила на животе. Кисти рук маленькие, наверное, мягкие. И не толстая вовсе — просто налита девушка здоровьем, жизнью, сладостью... Да что там раздумывать.

— Помоги мне сапоги снять. Устал я что-то.

Темные глаза улыбнулись. Поплыла к двери. На миг испугался: уйдет? Задвинула засов. Подошла к постели, ждала. Всеволод тоже подошел, сел, вытянул ноги. Склонилась. В русых волосах — пробор, чистый, ровный. Приговаривала мягко, словно ребенка укачивала:

— Вот мы сейчас князюшке разуем, разденем, спать положим. Будет нашему князюшке тепло-тепло, сладко-сладко.

Помогла снять кафтан. Всеволод не утерпел, тронул груди.

— Сейчас, милый, сейчас.

Подошла к столу, дунула на светильник, дунула на другой. Третий не задула.

Приблизилась. Сбросила верхнее платье. Улыбнулась, взялась за подол рубашки, потянула вверх. Забелела, закрутилась в полутьме. Перекинула косу за спину, подошла ближе, розовыми сосками к самому лицу.

— Ну, вот, князюшка. Давай-ка, ложись скорей.

Потянула его, податливого, за собой.

Утром двинулись на Рязань.

Великий князь еще раз пристрастно допросил разбуженного Глеба Святославича, который клятвенно подтвердил, что все силы Романа находятся в Рязани и что оставляемой Коломне бояться нечего: он и сам, князь Глеб, хотел идти на соединение с Романом, ведь нужно было им договориться о дальнейших действиях. На вопрос Всеволода, о каких действиях собирались у него за спиной договариваться мятежные князья, Глеб ничего ответить не мог, оправдываясь тем, что ходит в воле Святослава, без его отцовского позволения сам ни на что решиться не может. Словом, Рязань под самым боком у Владимирского княжества превращалась в оплот Святославовых сил. В этом случае дробить силы оказывалось невыгодно ни Роману мятежному, ни Святославу, и, значит, Коломну можно было оставить на время без дружины — ей пока ничего не грозило.

Бледный, с помятым после вчерашнего возлияния лицом, князь Владимир никак не мог решить — то ли ему остаться в городе, что было предпочтительней, или уж не отставать от Всеволода, с ним пойти к Рязани и там снять славу защитника справедливости. Говоря по совести, ему хотелось остаться в княжеских покоях, отлежаться, а поправившись, принимать городских жителей с жалобами и просьбами, распекать того же тысяцкого и, разумеется, простить измену ключнице Фимье, которая вчера так обрадовалась возвращению князя Владимира, законного своего владельца. Чего там — возможность остаться в Коломне и княжить обещала томному и расслабленному Владимиру множество маленьких и больших удовольствий.

Но оставить великого князя, когда дело еще не закончено? Даже тяжелое похмелье, лень и похоть не смогли оборотить княжеского честолюбия. Владимир отправился вместе с дружиной великого князя. Правда, на коне еще ехать не мог — мутило, поехал в крытом возке.

Тысяцкому Осьмаку самим великим князем было велено пленных Глебовых ратников препроводить во Владимир, собрав и вооружив горожан, числом достаточным для сопровождения. Все расходы по этому делу, разумеется, ложилась на город — и за такую милость Коломне еще следовало благодарить князя Всеволода, ибо тем самым, хоть и в небольшой степени, искупалась вина коломчан, не сумевших защитить своего юного князя Владимира. Тысяцкий это понимал и благодарил.

Отсюда, от Коломны, до Рязани было самое большее два дня пути. И нужды в провожатых уже не было: река Ока сама выводила Всеволода на Рязань. Следовало поспешать, ибо на сердце у великого князя было неспокойно — Юрята и Четвертак с основными силами уже, наверное, подошли к рязанским стенам. И хотя войска у них было достаточно, чтобы взять город и покрупнее, все же в таком деле, как осада, лишних войск не бывает, и поддержка пяти сотен дружинников могла пригодиться кстати.

Ехали почти все время высоким берегом Оки, не пряча войска в дубравах и лесах, понемногу принимавших нарядный осенний вид, до самой Рязани прятаться было не от кого, и Всеволод жалел, что поспешность этого похода не позволила ему требовать с Коломны достаточного количества судов, чтобы сплавиться вниз по Оке.

Путешествие по воде казалось сейчас великому князю столь желанным, потому что плавное движение мимо неторопливо проплывающих берегов в желто-багровых кущах как нельзя лучше отвечало его нынешнему благодному расположению духа. Всеволод словно забыл, что следовало бы гневаться и настраивать себя на грядущую беспощадную битву. Даже вероломный князь Роман порой виделся ему не таким уж виноватым и казался порой жертвой обстоятельств. Ох уж эти обстоятельства! Сколь они бывают разнообразными и, стекаясь в причудливые сочетания, какое воздействие оказывают на нас, несмотря на наше сопротивление!

Отчего давешний грех ему совсем не видится грехом, думал Всеволод. Ночь, проведенная в сладких трудах с красавицей ключницей, не вызвала чувства вины перед княгиней Марьей, и даже наоборот — сейчас, когда так свежи были воспоминания о мягком и свежем теле соблазнительницы Фимьи, любимая супруга представлялась еще более желанной, чем раньше. Такое случилось со Всеволодом впервые со дня свадьбы. Раньше, даже при виде Марьюшкиных придворных девок-красавиц, игривые желания если и приходили, то ненадолго. Но вот — случилось. И Всеволода сейчас занимал вопрос: если считать произошедшее грехом, то какой это грех — княжеский или человеческий? Князю многое позволено его положением, происхождением, властью. Сам же князь может позволить себе и того больше. Тому достаточно примеров. Юные наложницы-полонянки, жены, заточаемые в монастыри. Да мало ли? Князю простится, его грех замолят епископы. А для людей любострастие их правителя — едва ли не самый из-

винительный порок. Если, конечно, этот порок не отягощен страстью к насилию и не окрашен злобой.

Как странно, из всех земель, существующих под солнцем, только на Руси целомудрие представляет собой одну из важнейших ценностей. И только у русского князя мимолетная любовная забава способна пробудить если не угрызения совести, то, по крайней мере, необходимость привести свою душу в состояние равновесия. Не стал бы взвешивать на невидимых духовных весах такую мелочь, как обладание чужой женщиной, ни суровый германец, ни сладкогласный византиец, ни горделивый поляк, ни уж тем более хитрый половчанин. Так почему же русский князь испытывает нужду в самооправдании?

А Фимья была хороша...

С великого князя многое спросится, и многое от него потребуется. Так пусть и дано ему будет многое. Неожиданным образом ласковая пышнотелая красавица заставила Всеволода глубже и полнее почувствовать свое значение как великого князя, призванного на великие дела...

Конь под ним шел ровной и мягкой рысью. Всеволоду, ехавшему во главе полка, было покойно в седле, приятно думалось, и даже сама необходимость вести войну сейчас почему-то казалась не такой тягостной, как обычно. Передавалось ли его приподнятое настроение дружине или счастливо складывавшиеся пока обстоятельства похода были тому виной, но все в войске выглядели веселыми, и даже Глебовичи, еще вчера подавленные и молчаливые, оживленно беседовали друг с другом и не очень обижались на шутки Кузьмы Ратишича. Эти шутки, касавшиеся как безрадостного, зависимого положения рязанских князей, так и их неумения пить и не напиваться, говорили о том, что воевода Ратишич свою службу у великого князя ставит выше родовитости Глебовичей, и Всеволоду это нравилось. Хотя в другое время он, может, и одернул бы воеводу.

Войско двигалось не слишком быстро: Всеволод решил больше не опережать обоз настолько, чтобы потом выяснять его местонахождение. Внезапность удара по мятежному Роману Глебовичу, возлагавшаяся на передовой отряд под началом Юрята, а полку Всеволода надлежало вступить в бой на неуставших и накормленных конях и со всей возможной торжественностью, то есть — с поднятыми знаменами и хоругвями. И припасы, и тяжелое оружие, и расшитые золотом знамена везлись на телегах.

К концу первого дня, двигаясь без остановок, не встретили никого, лишь вышли на обозначенный притоппанной

травой след Юрятиного войска. Следы было не меньше суток, значит, следовало предполагать, что Юрята уже осадил Рязань или вот-вот сделает это.

Полуторатысячный конный полк, проскакавший по этим местам накануне, должен был основательно потревожить зверье в близлежащих лесах, поэтому ловлю не стали затевать — могла затянуться и оказаться неудачной, на вечернем привале ужинали собственными запасами: варили кашу, жевали вяленое мясо и грызли лук, а также пустили в дело коломенские гостинцы, предусмотрительно захваченные на княжеской поварне.

Великому князю подали солидный кусок осетрового бока, копченного с душистыми травами, предложена была и заманчиво булькнувшая небольшая корчага¹, но Всеволод пить отказался и предостерег дружину. Спать было велено вполглаза, выставили сторожу, наказав сотским за ночь не меньше трех раз сделать смену, дабы не оказаться захваченными врасплох.

Ночь, однако, прошла спокойно, если не считать, что великому князю даже в небольшом походном шатре стало холодно и он выходил наружу — греться у костра. Зато комар не беспокоил.

Утром Всеволод отдал приказ всем быть готовыми к немедленной битве. Дружинники надевали латы, разбирали с телег длинные тяжелые копья. Шутки и смеха, как вчера, уже не было слышно: все понимали — сегодня будет бой.

Двинулись. Великий князь распорядился выслать вперед дозорный отряд человек из пяти. У Всеволода не осталось и капли вчерашнего благодушия, это чувствовал и воевода, напустивший на себя нарочно суровый вид, и Глебовичи, также выглядевшие сосредоточенными. Все же им предстояла битва с родным братом, неотвратимость которой они, может быть, только сейчас по-настоящему осознали, и кто знает, что творилось в их душах? Не испытывали ли они сожаления по поводу своей поспешной жалобы великому князю? Пожалуй, только князь Владимир по молодости не мог еще о будущем размышлять так, как его старшие и более опытные в жизни братья Игорь и Ярополк. Князья, встав под руку владимирского князя, могли оказаться между молотом и наковальней, то есть между Всеволодом и Святославом. Неизвестно, как еще сложится их судьба, — получив уделы из рук великого князя, не будут ли они в дальнейшем обречены до конца дней жить не по собствен-

¹ Корчага — здесь: глиняная бутылка.

ной воле, а лишь прислуживать в междоусобной борьбе великим властителям Руси?

Немой ни на шаг не отставал от Всеволода — держался слева и чуть сзади. Великий князь, с юных лет своих привыкший видеть на этом месте Юрята, к своему удивлению, легко притерпелся к новому человеку возле себя. Юрята был друг, воспитатель и надежный телохранитель, но многое изменилось с тех пор, и Всеволоду стало неловко видеть стареющего и седеющего друга вечно готовым к исполнению желаний своего повелителя. Кроме того, Всеволод чтит в Юрята ум, дальновидность и, что особенно важно, понимание его, великого князя, судьбы и предназначения.

Всеволод давно уже решил, что подручнику настало время поручать более сложные дела, чем опека и защита князя, которые были, по сути, основным занятием Юрята. Доверив другу разгром половецкого войска на Колокше, Всеволод рассчитывал самого Юрята приохотить к власти и научить этой властью пользоваться. Юрята и вправду, как показалось Всеволоду, изменился после того удачного дела, но тенью великого князя быть все же не переставал. Поневоле приходилось давать ему все новые поручения, чтобы и сам он, и все окружающие привыкли к новому положению Юрята — не дядьки-воспитателя, а помощника великого князя и правой его руки.

А потом Юрята привел к Всеволоду Немого — похвастаться необычайным искусством, с каким тот владел мечом. И, видимо почувствовав, что Немой пришелся государю по сердцу, предложил заплатить за него закупной долг огнищанину¹, включить в дружину и назначить личным телохранителем. Всеволод достаточно видел таких у других князей, заведенных ими по византийскому обычаю; те телохранители смешили его своей спесью, происходившей от безделья и близости к господину. Немой обещал стать не таким. Свое освобождение из закупов и назначение на столь ответственную должность считал великим счастьем, перед которым меркли все страдания, выпавшие на его долю. Это видно было по глазам, а Всеволод очень доверял выражению глаз, веря, что словами можно обмануть, а взглядом — нет, по крайней мере его, великого князя.

Немой словно всю жизнь тут и был, рядом со Всеволодом, — неутомимый, безмолвный, понимающий все без лишних разговоров, удобный, как привычная одежда. Вроде бы и не совсем человек, потому и не страшно было его оби-

¹ Огнищанин — крестьянин; землепашец.

деть невзначай, да и обижать его было не за что. Ведь не заслуживают обиды верный конь и любимая собака.

После полудня впереди показались всадники, скакавшие навстречу полку. Это возвращался дозор, и, судя по торопливости этой скачки, с новостями. В дружине, если кто и разговаривал, — затихли, насторожились.

Скоро увидели, что у дозорных лица радостные. Великий князь остановился, слыша, как за спиной стихает шум конного полка. Полк прекращал движение вслед за предводителем.

Не слезая с коня, осадив его, подъехал Ласко: во время похода дружинникам, как бы уравнинным в воинских правах с великим князем, неписанный походный закон позволял не спешиваться в его присутствии. Ласко чаще других посылал в разведку, и по тому, как он первым хотел сообщить добытые сведения, ему это занятие нравилось. Ласко перевел коня на шаг и остановился.

— Дозволь сказать, княже, — обратился он к Всеволоду.

— Говори, — стараясь не выказать нетерпения, ответил великий князь.

— За тем вон лесом, — Ласко показал вдаль, — рать побитая лежит. Романа-князя войско.

— Романово, говоришь? — Всеволод даже привстал в стременах. — Как побитая? Сколько их?

— Видимо-невидимо, княже, — радостно сообщил Ласко. — Все поле устлано.

— Ты погоди радоваться, — оборвал его Всеволод. — Что же там, все мертвые, что ли? Живой-то есть кто?

— Немного живых, — сразу убрав с лица улыбку, ответил Ласко. — Только покалеченные. Говорят: по приказу князя Романа дружина тебе, княже, навстречу шла. А тут, говорят, наши из лесу на них и налетели. Всех побили и дальше двинули, на Рязань.

— А князь Роман?

— Князь Роман, говорят, в Рязани, с малым войском. Повезло, говорят, вам, владимирцы, что нашего князя с нами не было. Мы бы, говорят, при нем не растерялись бы. Это там один говорил. Сидит, ругается, а у самого печенка горлом идет. Прямо при нас и помер.

— Помер, значит?

— Помер, княже. Изошел весь, — ответил Ласко, при этом рукой коснувшись, как бы невзначай, рукоятки меча, будто нарочно давая понять, что рязанский дружинник умер не без его помощи.

Всеволод глянул на остальных разведчиков и по их лицам понял, что Ласко действительно зарубил раненого.

— Ладно, охотник. Теперь запомню тебя, — сказал великий князь и, предоставляя самому Ласко догадываться — добром или злом помянет ему когда-нибудь сделанное нынче, приказал: — Вперед!

Уже стали попадаться свидетельства разыгравшейся не-вдалеке битвы. Вот выбежали на опушку леса кони без всадников и встали, не решаясь ни приблизиться к войску, ни броситься обратно в лес. Кто казался им страшнее — лесные лютые звери или люди с оружием? Вот неясно темнеющее в траве пятно оказалось убитым воином, лежавшим вниз лицом, след на примятой траве говорил о том, что он долго полз, пока не обессилел и не помер. Куда хотел доползти, чего искал — никто теперь не узнает.

Вот оно, место сражения. Теперь уже можно было видеть, что произошло здесь, на открывшемся глазу широком поле. Беспечная Романова дружина двигалась вдоль Оки, когда полк Юрята кинулся из прилегающей дубравы, словно из засады. Сеча была жестокая и скорая, у рязанцев не оказалось даже достаточно телег, чтобы укрыться за ними и построиться для отпора. Мертвые тела валялись всюду, как брошенные куклы, которыми войне надоело играть. Теперь она, наверное, отправилась на поиски других кукол — устлать ими еще одно поле и опять искать новых.

Судя по всему, побоище было недавно — утром этого дня. Воронье еще только начинало слетаться на свой пир, кружило над полем, не осмеливалось садиться. Кровь на мертвых телах и на траве еще не почернела, и изредка слышался стон умирающего. Оружие валялось на земле, латы с polegших не были содраны. Это значило, что, управившись с рязанцами, Юрята не теряя времени двинулся на Рязань.

Всеволод отметил это про себя, подивившись тому, как властно Юрята распорядился своим войском. Разбить без потерь такой большой отряд и не позволить дружинникам отвлечься на сбор военной добычи, заставив их, еще разгоряченных боем, без отдыха двигаться дальше, может даже перевязывая раны на ходу — это подтверждало правильность решения: не зря он наделил Юрату воинской властью. Всеволод помнил, как не послушалась его самого дружина при осаде Торжка. С тех пор он особо требовал от своих воевод умения повелевать войском — чтоб беспрекословно слушалось. И Ратишич и Юрята были надежными, умелыми воеводами.

Дружины, посланной князем Романом, больше не существовало. Кто уже нынче станет пищей воронья и лесных

хищников, кого Ока унесла вдаль, а те немногие, которым, может, удалось спастись, уже не представляют угрозы. Рязань беззащитна.

И опять перед великим князем предстают сотни и сотни мертвых русских лиц — перекошенных яростью, разрубленных, навсегда удивившихся тому, как быстро настал конец жизни. А если бы не глупость и подлость князя Романа — были бы живы и сейчас, смеялись, разговаривали бы друг с другом. Едва ли не впервые Всеволод, оглядывая устланное трупами пространство, ощутил нечто вроде досады — досады рачительного хозяина на убыток, понесенный хозяйством, как если бы сгорели от нерадивости слуг кладовые или мор свалил стадо, которое могло принести немалый доход. Пропадало имущество. Поэтому Всеволод велел Ратишичу выделить людей — только для того, чтобы собрать оружие, ободрать доспехи, отловить коней.

— Хоронить не надо, — жестко сказал он. — Пусть их Рязань хоронит.

Приказав это, он увидел, что Ратишичу понравилось приказание. Воевода был доволен, что великий князь не тратит лишних слов над поверженным противником, не сокрушается больше о загубленных душах единоплеменников, но заботится о благе своей дружины.

Сердце его сейчас было холодным — жалости к врагу не было, как не было и ненависти. Чтобы подбодрить свое войско, великий князь приказал достать и распустить большую хоругвь в честь победы владимирцев. Это было встречено восторженно. Теперь на Рязань двинулись скорым шагом. Еще по дороге должен был попасться небольшой городок Борисов, но он представлялся великому князю весьма малым препятствием. Всеволод не удивился бы, обнаружив его уже разоренным Юратой. В этом походе все делалось как бы само собой. Побеждены две рати, взята без шума Коломна, почему бы Борисову не разделить участь более старших городов?

Получилось похоже. К вечеру полк Всеволода, подойдя к Борисову, был встречен дружиной Юрята. Верный друг объяснил своему государю, что теперь, когда князь Роман потерял войско и цель близка, негоже ему, Юрате, отнимать славу у великого князя. Рязань следует брать под личным управлением Всеволода — один вид княжеских хоругвей и знамен повергнет в ужас тех, кто еще собирается давать владимирцам отпор.

Пока обе дружины, смешавшись, перестраивались для нападения на Борисов, слова Юрята подтвердились самым

явным образом: город, прикинув численность княжеского войска и разглядев владимирского князя, а рядом с ним — сыновей покойного князя Глеба, решил сдаваться.

Ворота отворились, и посольство вятских¹ мужей городских пешим ходом двинулось к шатру великого князя. Нужды ставить шатер не было, но Всеволод нарочно приказал его поставить, — пусть жители Борисова увидят, что он не шутки шутить сюда пришел. Зайдя в шатер и дождавшись, когда посольство опустится на колени, Всеволод некоторое время подержал их так, прежде чем надменно вышел в сопровождении сурово нахмуренных воевод и — так и быть — милостиво принял сдачу города.

Борисов по прежней договоренности считался удельным городом князя Ярополка Глебовича. Вот князю Ярополку и было поручено распорядиться городом — чтобы обеспечить дружине хорошее угощение и удобный ночлег. Было это задачей непростой, ибо городок оказался настолько мал, что едва ли превосходил числом жителей численность дружины великого князя. Ярополк Глебович понимал сложность порученного дела и мигом погнал посольство — тысяцкого и старост — перед собой, словно послушную скотину, обратно в город, на ходу поучая и наставляя. Судя по быстроте, с которой бежали послы, подгоняемые Ярополком, наставления были доходчивыми.

Однако Всеволод не мог не заметить, что такое полубовное соглашение с неприятельским городом не понравилось дружине. Особенно его полку, воинам которого почти не пришлось расходовать свой боевой пыл за время похода. По сравнению с дружиной Юрты, что уже могла похвастаться победой, одержанной над сильным войском князя Романа, полк великого князя, не только не имевший потерь, но даже не получивший ни одного удара мечом, чувствовал себя несколько виноватым. Случай со взятием Торжка готов был повториться, тем более что Борисов выглядел еще более незащищенным, чем Торжок и Коломна.

Недовольство дружины объяснялось не только ее желанием постучать мечами о чужие шлемы, да и шлемов в Борисове едва бы нашлось с десятков-другой. Дружина вправе была рассчитывать на добычу. Кто не знает, что военная добыча, которую берешь сам, неизмеримо больше той, которая выплачивается побежденной стороной по договору. Нынешняя же плата и вовсе грозила обернуться для дружины великого князя всего лишь обильным пиршеством и

¹ Вятские — знатные.

теплым ночлегом под крышей, ну еще разве что парой гривен с двумя ногатами¹ на человека в придачу. И то если тысяцкий с криканием и жалобами на непомерные поборы со стороны князя Романа сумеет собрать с города серебро. Это никого не устраивало, и дружина начала роптать.

И великий князь, начинавший уже подумывать, как осадить возроптавших своих воинов, внезапно вспомнил Коломну и толстую ключницу Фимью, подарившую сладкую ночь по собственному желанию. Всеволод поймал вдруг себя на том, что, думая о городе Борисове, куда ему предстояло сейчас войти с дружиной, одновременно думал о ночлеге и неизвестной пока женщине или девке, что разделит с ним этот ночлег. Девка эта вдруг показалась Всеволоду столь желанной и просто необходимой, что он испугался: а вдруг она не захочет? Сидеть за столом, пируя с приближенными, выбрать взглядом ее — широкобедрую, грудастую — и мучиться мыслью: пожелает прийти к нему ночью или не пожелает? И стараться привлечь ее внимание, понравиться ей. Унизительно! Он, великий князь Владимирский и Суздальский, ныне берущий под свою руку и Рязань, и всех князей рязанских, владетель всего сущего, второй после Бога, будет смиренно ждать ласк глупой бабы?

Не бывать тому! Ляжет он сегодня спать один или нет, но и эта баба, и город Борисов, и сыновья князя Глеба, и вся Рязанская земля пусть знают — все, что с ними отныне будет происходить, произойдет по воле великого князя.

Великий князь повернулся к дружине:

— Братья!

Шум, ропот, недовольное движение, звяк оружия — все сразу стихло.

— Братья! Воины владимирские! — повторил Всеволод, чувствуя, как рождается в нем неведомая ему ранее жестокость. — Много вы потрудились для славы и чести земли вашей и князя вашего! Не щадили вы жизней на поле битвы, и за это вам низкий поклон.

Всеволод поклонился затихшей дружине, стараясь, чтобы поклон не получился слишком глубоким.

— Хочу, чтобы знали вы, братья! Я, князь ваш, более всего пекусь о благе вашем! Хочу, чтобы вы получили, что должны получить!

Он окинул взглядом войско и увидел лица, загоревшиеся жадным ожиданием.

— Отдаю вам, братья, сей город! Он ваш по праву!

¹ Ногата — древняя монета: четыре на одну серебряную куну.

— Слава князю! — первым вскричал Кузьма Ратишич, срывая шлем и размахивая им над головой.

— А-а-а! Слава! Слава! — загремело вокруг. Молчали только сам Всеволод, Юрята, Немой и Глебовичи. Глебовичи, конечно, оттого, что исконная вотчина их предков обретала нового хозяина — сурового и властного.

Еще Всеволод увидел, как, не дойдя до городских ворот, остановился князь Ярополк и с ним — посольство, обрадованное тем, что дело, к их удовольствию, обещало закончиться тихо и мирно. Они стояли перед самыми воротами и удивленно смотрели, как все огромное войско великого князя потекло по дороге в город, потекло неторопливо, но с такой недвусмысленной угрозой, что было понятно: не гости едут, от которых всего лишь неудобств жди, едут хозяева, и единственный способ уцелеть — не противиться их воле, пасть ниц, отдать все, что захотят взять.

Непонятным образом весть о решении великого князя отдать город на разграбление мгновенно стала известна всему Борисову. Поэтому, когда дружина прошла через ворота и стала делиться на небольшие отряды, растекавшиеся по улицам и переулкам, город казался вымершим. Ни человека, ни собаки, ни курицы.

Вскоре застучали железные кулаки в ворота и ставни, залаяли псы во дворах, завизжали свиньи, вытягиваемые из хлебов, заплакали-запричитали бабы. Кое-где можно уже было различить шум скоротечных схваток: видимо, не всем горожанам хотелось безропотно расставаться с имуществом и честью. Дружина лихо расправлялась с непокорными.

На миг Всеволод почувствовал жалость к беззащитным жителям, но усилием воли поборол ее. Пусть расплачиваются за ошибки своих князей и подольше помнят его тяжелую руку. Поэтому, когда от ближайшего богатого дома, где хозяйничали его ратники, подбежала вопящая простоволосая женщина и кинулась в ноги княжескому коню, умоляя не губить и заступиться, Всеволод даже не взглянул на нее с седла, проехал мимо, только успокаивающе похлопал по шее коня, испугавшегося криков бабы.

Мелькнуло рядом бледное лицо Ярополка Глебовича. Видимо, хотел что-то сказать, но не решился. Пристроился к Игорю и Владимиру, и все они, Глебовичи, плотной кучкой потянулись в хвосте свиты Всеволода, двигавшегося к дому князя.

Дворцом это крепкое на вид, но старое деревянное сооружение можно было назвать лишь потому, что в нем иногда ночевали князья, охотившиеся в этих местах. Но

вид приземистого дворца скрашивала стоявшая рядом церковка с затейливой резьбой; она имела даже позолоченный крест над крошечным деревянным куполом. В лучах заходящего солнца крест светился умиротворяющим светом, словно в городе ничего не происходило. Просторен и широк был княжеский двор, куда челядь, понукаемая проголодавшимися дружинниками, уже выносила столы и лавки для пира. Мудренное дело — приготовить место для двух тысяч человек!

Хорошо еще, что не все две тысячи собрались на княжеском дворе: добрая половина устроилась в городе, найдя, очевидно, у местных жителей и кров и пищу. Одним словом, в Борисове наступил праздник. Пировали весело. Скоро отыскались и песельники, и гусельщики, и рожечники. Далеко за полночь в городе раздавались крики, девичий визг, песни, ругань, топот нетрезвых ног.

В этот раз князь Всеволод пировал со своей дружиной. Они заслужили такую награду. Да и славословия великому князю, провозглашаемые тысячным хором, приятно ласкали слух Всеволода, несмотря на то что посуда на столах дрожала. Роскошью яств пир не отличался, да и понятно — где им было, жителям Борисова, догадаться заранее о той радости, которая их ожидала сегодня. Но ничего! Храброму воину в походе не до разносолов, была бы чарка доброго меда да хлеба ломоть. Здесь, правда, на столах были и осетры вареные и копченые, и стерлядь, и свиные окорока, и нежная селедка, тающая во рту, и всякая битая птица — и вареная и жареная, и говядина, запеченная целыми полтями, и грибы, скользкие и хрустящие, и зайчатина — чего только не лежало на столах...

После полуночи великий князь отправился почивать, подосадовав про себя, что за все время пира так и не увидел нигде привлекательного женского лица. Ни молодых баб, ни девок среди прислуги, разносящей яства, не оказалось. О, коварное и хитрое женское племя! Тут что-то не так. Наверное, почувствовали, змеинное отродье, исходящую от великого князя угрозу их прелестям. По-прятались... О, Всеволод их много перевидал на своем веку, в чем смело признавался Немому, который, поддерживая государя, вел его в спальню. Очень растрогало Всеволода то, что Немой хоть и не мог ничего сказать, но все-все понимал и со всем соглашался. Получив в награду от государя обещание «золотых гор», Немой сам раздел его и уложил в постель, после чего государь, препоручив себя воле Божией, опочил.

Утром, проснувшись, Всеволод не сразу вспомнил, где он. Ночью терзали страшные сны, Всеволод неподвижно глядел в незнакомый потолок. Потом постепенно ночные страхи ушли, сменившись тяжелой головной болью. У изголовья стояла на низеньком столике расписная братина с одуряюще пахнущим рассолом, сулившим бодрость. Всеволод припал к холодному сосуду и долго тянул приную, жгучую, вышибающую слезы прохладу. Все похмелье смывалось с души, уходило из головы, из глаз, из груди и живота. Пока пил — вспомнил, что сегодня надо взять Рязань.

Уже и дружина собиралась, Ратишич распоряжался во дворе, сотские бегали, созывая разбредшихся ратников. Юрята стоял на крыльце, сложив руки на груди, и одним своим видом заставлял всех шевелиться быстрее.

Оказалось, для великого князя уже сварена крутая стерляжья уха с хреном и слуги только и ждут, когда государь проснется, чтобы подать. Всеволод, после рассола ощутивший сильный голод, тут же эту чудную уху потребовал. Надышавшись горячим рыбным паром, нахлебавшись огненного прозрачно-желтого варева, он наконец почувствовал себя готовым к тому, что нынче предстояло.

Умылся, оделся, перепоясался мечом и уже не как мажущийся с похмелья юнец, а как предводитель непобедимого войска вышел на крыльцо. Конь его, вычищенный и накормленный, ждал возле, и стоило Всеволоду забраться в седло, как тут же вся дружина последовала примеру князя.

До Рязани дошли быстро, оставив обоз далеко позади. Опять пожалев, что придется трястись в седле, вместо того чтобы ехать на лодке, Всеволод решил: как только вернется во Владимир, прикажет приготовить и держать для таких случаев в разных местах челны и ладьи, способные вместить дружину. Мало ли — придется опять к той же Рязани идти или по Волге к великому городу в земле серебряных булгар.

Рязань — большой город, хорошо защищенный крепкими стенами, в Рязани сидел князь Роман, и он должен был заставить горожан долго и отчаянно сопротивляться. Рязань была богатым городом, ее кладовые под крышу были наполнены новым урожаем; князь Роман мог держаться хоть до зимы, не опасаясь, что население будет голодать.

Может, так бы и получилось, осади город кто другой. Но во главе дружины, расположившейся под стенами даже без осадных приспособлений — ни пороков, ни лестниц для взлезания на стены при войске не было, — был сам владимирский князь. Одно его имя, один вид белоснежной боль-

шой хоругви, развернутой возле княжеского роскошного шатра, заставляли трепетать как дружинников князя Романа, так и городских жителей. Перед городом стоял великий князь в расцвете своей славы, князь, не знавший поражений, князь, стеревший в порошок самого грозного князя Глеба Рязанского.

И князь Роман, получивший Рязань из руки великого князя, теперь собирался эту руку укусить, как неблагодарный пес, а значит, всей будущей обороне города придавался какой-то недобрый смысл, заставлявший рязанцев чувствовать себя скорее виноватыми и понимать, что сопротивление великому князю владимирскому поставит Рязань на путь неисчислимых бедствий.

Испуганный князь Роман, поднявшийся на стену, чтобы взглянуть на войско Всеволода, увидел рядом с великим князем своих родных братьев, столь несправедливо им обиженных. Лишать младших Глебовичей законных уделов было совсем не нужно. Обижавший своих братьев выглядел в глазах людей неправым, обижавший же братьев лишь из злой прихоти казался неправым втроене. Сражаться за него мало кому хотелось.

Оглядывая со стены сильное войско владимирцев, не понесшее урона в сражениях с отрядом Глеба Святославича и его собственным, князь Роман чувствовал себя непроказившим мальчиком, ожидавшим порки. В стане защитников города он также не находил себе поддержки — люди старались не встречаться с ним взглядами, перешептывались, хмурились.

Приготовления к отражению врага делались неохотно: котлы под горячую смолу почему-то застревали на лестницах и никак не хотели подниматься на стены, а если поднимались, то огонь под ними никак не хотел разгораться — дрова дымили и гасли, вооруженные горожане двигались вяло, будто тяготясь своей святой обязанностью защищать родной город, оружие в их руках выглядело не устрашающе, как бывает, когда воин и его меч слиты воедино, а отчужденно друг от друга, словно не перед боем, а перед сложением оружия у ног противника.

Святослав, князь Киевский и Черниговский, единственный, кто не осуждал князя Романа за несправедливость по отношению к братьям и непокорность великому князю Всеволоду Юрьевичу, был далеко. Так что никакой опоры у него не было.

Две силы — осажденные и осаждающие — приготовились к дальнейшим событиям, еще не зная, как эти собы-

тия будут развиваться. Всеволод глядел на Рязань, уже понимая, что осадного боя не будет — слишком мало угрозы таили в себе городские стены, не укрепленные воинским пылом защитников, растерянно взиравших на неподвижные владимирские полки.

Великого князя вдруг осенила счастливая догадка. Он знал, что все взоры рязанцев сейчас прикованы к нему. Сейчас именно он олицетворял ту мощь, которой так боялась Рязань. И тут подумалось: а ведь взять город может он сам, князь Всеволод, и взять не приступом, а только одним своим хорошо рассчитанным движением.

Всеволод приказал принести стулец и поставить его перед шатром, на виду у осажденных. Войску своему приказал не двигаться. Когда стулец был принесен и поставлен, великий князь неторопливо спешился, велел увести коня и уселся, всем своим видом показывая равнодушие к судьбе Рязани, словно она была уже взята.

На князя Романа вид Всеволода, праздно сидящего перед своим шатром, подействовал гораздо сильнее, чем если бы великий князь находился в седле с обнаженным мечом в руке. По-хозяйски усевшийся на стуле Всеволод будто отнимал у Романа право на битву, снисходительно лишал его последних доводов в свое оправдание. И князь Роман дал приказ открыть ворота, а войску — сойти со стен. Князь Роман теперь имел острую потребность приблизиться к великому князю и поклониться ему, даже припасть к его ногам, если так будет нужно. И пусть весь город это видит: всем своим утром князь Роман чуял, что, унижившись перед Всеволодом, он потеряет прежнюю власть и силу, но приобретет новое могущество — ответ великой мощи великого князя. Пожалуй, даже хорошо это вышло, что Всеволод осадил Рязань, — это придаст всей картине больше торжественности и смягчит сердце повелителя, увидевшего, что город положен к его ногам. Князь Роман велел подать коня и в сопровождении нескольких бояр выехал из города навстречу победителю, стараясь не спешить.

К шатру великого князя Роман уже подошел пешком, ведя коня под уздцы. Приблизившись к Всеволоду, по-прежнему сидевшему на стуле, он ожидал гневного взгляда великого князя и уже готовился ответить на этот взгляд полным княжеского достоинства поклоном. Но Всеволод даже не шевельнулся ему навстречу, смотрел то на него, то на Рязань вполне равнодушно, и Роман, испугавшись такого равнодушия, дождался, когда глаза великого князя

остановились на нем в очередной раз, и торопливо опустился на колени.

Мир заключали в княжеском дворце. Отныне рязанские князья клялись верно служить Всеволоду и во всем быть ему покорными. Святослав ими — и Романом в первую очередь — признавался врагом, притязаниям которого сыновья покойного князя Глеба были обязаны противостоять. Рязанская волость делилась на всех по справедливости, но хозяином ее провозглашался владимирский князь, теперь принимавший от Глебовичей уверения в том, что он их отец, а они — его дети. Рязань выплачивала Всеволоду огромную дань — десять тысяч гривен единовременно, и до скончания веков по две векши¹ со двора от всех городов рязанских, с боярства и зажиточных торговцев — особо, да урожаем, да скотом, да изделиями искусных рязанских умельцев — златокузнецов, к изделиям рук которых Всеволод питал большую слабость.

Были составлены грамоты, скрепленные великокняжеской печатью, и в присутствии отцов Церкви и выборных горожан торжественно оглашены. Глебовичи прилюдно целовались друг с другом, обещая в дальнейшем жить в братской любви и согласии, как родные братья. Отслужили молебен в честь радостного события.

Город, несмотря на то что приходилось развязывать мощную, облегченно вздыхал: обошлось без пролития крови, без сожжения, без разграбления.

Привычные князья вновь усаживались в своих уделах, получали покровительство великого князя Владимирского. Появилась определенность в дальнейшей жизни. На Рязанской земле воцарялся мир.

После молебна, целования икон, клятв и уверений радостное событие было отмечено невиданным пиром. Весь город уставлен был столами, и казалось, все горожане без исключения за этими столами сидят. Дружинники великого князя на этот раз пользовались большим почетом — каждому горожанину, от первого богатея до какого-нибудь многодетного бедолаги, было лестно усадить владимирского ратника рядом с собой, угостить чем Бог послал и, конечно, выпить сладкого меду или браги.

И владимирцы и рязанцы говорили на одном языке, одинаково относились к жизни и с удивительной легкостью братались за чарой хмельного напитка, несмотря на то что еще недавно, повернись дело иначе, перерезали бы друг

¹ Векша — белка.

другу глотки. Больше того, все понимали, да и разговор об этом часто заходил, что, может, наступит такое время, когда возникшее по воле князей размирье заставит владимирцев и рязанцев биться друг с другом. Не важно, что договор заключен на вечные времена.

Но сейчас, даже рассуждая о возможных грядущих боях, на дружеском пиру все осознавали себя одним народом, детьми одной великой матери — Руси, и сердца всех были полны любовью к матери всех русских людей, терпеливо сносящей сыновние обиды и горько страдающей от сыновних раздоров.

Теми же самыми чувствами были охвачены и князья, пировавшие во дворце. Щедро лилось в чаши дорогое греческое вино, душистые меды и наливки, щедро лились и славословия великому князю, братской взаимной любви всех князей, лились слезы любви к родной земле.

Всеволод, старавшийся сохранить трезвую голову, понимавший истинную цену этим клятвам, все же не мог противиться ощущению, что побежденные и покорные Глебовичи искренне любят его, и не принужденной любовью слабых к сильному, а настоящей, благодарной любовью, которой он, великий князь, был, несомненно, достоин. Сильный, спертый от дыхания, винных паров и дыма светильников воздух большой гридницы казался Всеволоду сладким воздухом дружбы и всеобщего умиротворения.

Пировали три дня, после чего владимирское войско отправилось восвояси. На этот раз двигались медленно, отягощенные богатой данью и добычей, часто делали остановки, устраивали охоту.

Золото осени догорало, осыпалось, ночи делались прохладнее, опьянение от легкой победы проходило, сменяясь привычными раздумьями о том, что будет дальше, насколько прочным окажется мир с Рязанью, что сделает Святослав, когда узнает о пленении сына, и какими новыми бедами и угрозами обернется для Владимирской земли воинское счастье великого князя, какую ненависть родит оно в сердцах южных князей и у мятежного Новгорода. Уже следовало готовиться к новым сражениям. И теперь, вдали от родного города, и дружине и князю все нетерпеливее хотелось скорей вернуться домой, увидеть родных, порадоваться тому, что вернулись живые и с победой. Тоска по дому заставляла все войско идти быстрее.

Дальше всех великого князя провожал юный князь Владимир Глебович — до самой Коломны. Настойчиво приглашал Всеволода остановиться там на денек-другой, хотел

еще раз угодить гостеприимством. Всеволод посмотрел на город. Там, в княжеских покоях, хлопотала, наверное, узнав о приближении великого князя, толстуха Фимья, уверенная, что великий князь не в силах будет отказаться от ее престестей.

А во Владимире ждала любимая супруга Марьюшка, любимые дочери — ясные голубки. Всеволод решил в Коломне не останавливаться, и войско проследовало мимо — на Владимир.

ГЛАВА 16

Узнав о пленении сына своего, Глеба, Святослав пришел в ярость. Всегда старавшийся на людях выглядеть спокойным и приветливым, теперь выпустил свой гнев на свободу: не стесняясь присутствия бояр и двоюродного брата, князя Новгород-Северского Игоря Святославича, он изрубил мечом стол, за которым любил обедать, переколотил дорогую посуду. Лицо Святослава, будто стянутое книзу узкой седеющей бородкой, дергалось, уста извергали непристойные проклятия. Не так было жаль сына — с сыном, конечно, ничего не случится, — как невыносимо жаль уходящей власти, уходящей силы, уходящей жизни.

Злоба, за последние годы накопившаяся в душе, теперь требовала действий более решительных, чем Святослав предполагал. Не хитростью можно одолеть мальчишку Всеволода, а только силой. Правда, этот выскочка, византийский выкормыш, стал необычайно силен. Только и разговоров что о владимирском князе: всех он побеждает, удивляет умом и великодушием. Хитрости и лукавству, уверениям в дружбе он не поверит. Значит, настало время скрестить мечи. Война неизбежна. Предлог достойный — отец желает спасти любимого сына. Нужно немедленно собрать родичей. Собрать войско и ударить — а там пусть Бог рассудит.

Святослав метался по огромному обеденному залу княжеского дворца. Нарочно наступал на осколки посуды, чтобы хрустели под ногами. Ближние бояре не смели глаз поднять на своего князя. Знали его жестокость и коварство, тем не менее никто из них ни разу не видел Святослава в таком состоянии. Лишь бывший за обедом князь Игорь Святославич смотрел на князя без страха, с сочувствием. Этот прямой и честный взгляд, на который все время приходилось наталкиваться взбешенному Святославу, понемногу успокоил его. В самом деле, негоже великому князю Киевскому терять княжеское достоинство. Святослав не-

сколько раз глубоко вздохнул, утишая гнев, сел. Меч еще до этого вложил в ножны, хотя рука так и тянулась рубить все, что подвернется. Обратился к Игорю Святославичу:

— Что скажешь, князь Игорь? Теперь войны нам не мивовать.

— Что скажу, князь Святослав? — Игорь, к досаде Святослава, не называл его ни великим князем, ни государем. — Война с Мономаховичами — дело большое и трудное. Ее начать легко, а закончить? Это тебе не с погаными воевать.

Замечание князя Игоря насчет поганых было сделано не случайно. Он как бы ненавязчиво, чтобы не выглядело упреком, напоминал Святославу о победе над Кончаком. Эту победу Святослав одержал с помощью Рюрика и Давида Ростиславичей, а также их брата — Романа Смоленского. Они и есть Мономаховы потомки. С владимирским князем Всеволодом да с волынскими князьями — как раз половина Руси. Доброе ли дело будет — воевать с половиной Руси, со вчерашними союзниками?

— Не пойдут за ним Мономаховичи, — быстро ответил Святослав. Не надо было даже пояснять — за кем. Речь шла, конечно, о Всеволоде.

— Пойдут или не пойдут, а все же с войной подождать надо, — сказал Игорь Святославич. — Князь Всеволод много раз мир предлагал. И ты, князь Святослав, ему предложи дело миром решить. От большого горя побережешь землю русскую.

Нет, зря Святослав затеял этот разговор с Игорем. У таких, как Игорь Святославич, только доблесть да честь на уме. Ты им одно говоришь — они тебе другое. Не понимают того, что скоро все могут перейти под руку Всеволода. Хотя им, может, все равно, под чьей рукой ходить — киевского князя или суздальского. Ведь они Русь защищают.

— Да, князь Игорь, твоя правда, — стараясь говорить печально, произнес Святослав. — От наших распрей Русской земле мало хорошего. Напишу князю Всеволоду, попрошу сына отпустить.

Князь Игорь сразу почувствовал, что Святослав притворяется и, может быть, недоволен им. Ссориться со Святославом ему не хотелось.

— Как ты решишь, князь Святослав, так пусть и будет. Ты старший из нас, ты — наш отец, а мы — твои дети.

И в этот день о Всеволоде больше не говорили. Вскоре Игорь Святославич отбыл к себе, надеясь, что разум Святослава и его знаменитая хитрость и жизненный опыт под-

скажут киевскому князю такой выход из положения, при котором не пострадает честь и можно будет не начинать войну. Хотя Игорь и принадлежал к роду Ольговичей и, точно так же как Святослав, был внуком Олега Гориславича, а значит — исконным противником потомков Мономаха, владимирский великий князь Всеволод Юрьевич нравился Игорю. Нравился своей, несмотря на молодость, воинской удачливостью, своим великодушием, которое порой — увы — денилось ниже полезной хитрости. Но и хитростью своей Всеволод тоже нравился новгород-северскому князю. То была хитрость государя, заботившегося о благе своих подданных. Игорь Святославич много знал о делах Всеволода и почему-то, думая о его успехах и укреплении могущества владимирского князя, не видел угрозы ни себе, ни своей земле, ни своим родичам. Сила Всеволода была какая-то словно родственная, спокойная, не в пример силе его брата Андрея, князя Боголюбского, что не давала Ольговичам жить спокойно. Во всяком случае, Игорю не хотелось бы встречаться со Всеволодом на поле брани. Правда, еще Игорю не хотелось, чтобы кто-нибудь из его родичей узнал об этом.

Проводив князя Игоря, Святослав стал думать.

Более всего злило Святослава то, что он был перед Всеволодом виноват. Зная желание владимирского князя жить в мире со своим беспокойным соседом — Новгородом, Святослав всячески настраивал новгородцев против Всеволода. Это удавалось настолько легко, что совесть могла быть спокойна: Новгород и так не жаловал молодого князя, вообще не любил Суздаль и Владимир.

Зачем Святославу это было нужно? Какая у него была забота столько хлопотать о расстройстве дел в далекой Суздальской земле? Своих хлопот хватало. Киевский великокняжеский стол — такое место, что, сидя на нем, знай поворачивайся: как бы не согнали.

А зачем было великому князю Киевскому связываться с Глебовым отродьем, князем Романом? Вероломство отца его, князя Глеба, было притчей во языцех, и сын отцу, пожалуй, не уступит. Опять науськивая князей на Всеволода, надеялся Святослав чужими руками уничтожить ненавистного владимирского князя. Сына с дружиной послал ему в подмогу, Романа. Теперь сын — пленник, а Всеволод, наоборот, посмеивается, — мол, умнее всех оказался. И вот из-за того, что Святославова хитрая игра больше не является тайной, из-за того, что, лишившись возможности строить козни Всеволоду, Святослав будто лишился привычной почвы под ногами, сжигает его душу злора.

А как не злиться? Все свое приходит в упадок. Нет больше прежнего богатства киевского, нет пышности, скудеют поля, никем не обрабатываемые — в людях недостаток. Поганные в Киевской земле — как у себя дома. В самом Киеве — пожары, этот год чуть Софийский собор не сгорел. Киев полон нищих, голодных, погорельцев. Уходят безвозвратно те благословенные времена, когда слово киевского князя было законом для всех.

Молодой город Владимир растет и крепнет. А юный князь Владимирский становится все сильнее. Хоть и воюет, а из каждой войны выходит с прибытком. Того и гляди, начнет всех забирать под свою руку. Не родича ли своего, князя Рюрика, норовит в Киеве посадить?

Благополучие Всеволода мешало жить Святославу куда больше, чем бедствия его собственных уделов. Казалось Святославу — если убрать Всеволода, то и всей Руси станет легче. А почему — Святослав даже себе бы не смог объяснить. Как он жалел теперь об упущенной возможности! Ведь Всеволод в пару гонений со стороны Боголюбского был у Святослава гостем — и в Чернигове жил, и в Киеве. Знать бы тогда! Мало ли что могло случиться: напоролся бы на копье юный князь во время охоты или заболел бы да и не выздоровел, да мало ли еще чего?

А Святослав по душевной своей доброте не только не применил ни одного такого способа, но и помогал юному Всеволоду, наставлял его — как можно занять владимирский стол. Не на пользу обернулись самому Святославу эти советы! Правда, тогда Святослав действовал так из собственной выгоды — против сильного Андрея Боголюбского. Хорошо, пусть так. Но ты помни добро, помни услуги, оказанные тебе, признай Святослава как старшего среди всех князей, поклонись Киеву. Он же не хочет кланяться, плюет на древний киевский стол, сам хочет быть всем князьям главою. Можно ли такое стерпеть? Стерпеть такое нельзя.

Пока Святослав решил не торопиться, великого войска не собирать. О сыне, томящемся в плену, на время забыл — будто бы князь Глеб по собственной воле отправился к Роману, а значит — сам пусть и выпутывается. Просить за сына — лишний раз признавать силу Всеволода. Надо подождать, собраться с мыслями, выбрать удачное время — и тогда уж ударить. Время само подскажет случай.

Через несколько дней, захватив с собой княгиню, любимца своего Кочкаря и кое-кого из дружины, Святослав поехал на охоту в окрестности Днепра.

Осень в этих теплых краях еще только начиналась. Охота была славной: много зверья кормилось в тучной днепровской пойме. Стада непуганых оленей подпускали ловцов совсем близко. Плавни кишели жирной, отъедавшейся перед отлетом птицей.

Святослав любил охоту и, несмотря на возраст, обладал отличным зрением и метко стрелял из лука. Здесь, на свобде, далеко от Киева, Чернигова и прочих городов, ему не нужно было бороться за власть. Но если бы он не был уже отравлен этой властью, жадной подчинять себе, завистью к более удачливым! Святослав не пил даже вина — ему достаточно было того опьянения, что испытывал он, зная, как круто может изменить чью-то судьбу, возвысить одного, уничтожить другого. Потому даже в разгар погони за зверем, даже прицеливаясь в тяжелого белоснежного лебедя, Святослав не забывал о власти, о борьбе за нее. Здесь, на звериной ловле, просто было немного посвободнее, но ощущалась и некая пустота, словно недоставало чего-то, к чему стоило приложить усилия. Святослав не мог слишком много времени посвящать праздным занятиям.

В день, когда было уже решено заканчивать ловлю и возвращаться домой, Святослав обратил внимание на Кочкаря. Тот явно хотел сказать что-то важное своему князю, но не решался в присутствии других людей. Святослав хорошо знал своего любимца — был Кочкарь для него и оруженосцем, и постельничим, и наушником, перед Святославом трепетал и никогда бы не отважился беспокоить его по пустякам. Что такое мог знать Кочкарь, что нужно утаивать от дружины? Когда Святослав остался с Кочкарем один на один, спросил без обиняков:

— Что таишься? Говори.

— Не знаю, как и сказать тебе, княже...

— Говори как есть. Я ведь вижу, случилось что-то.

— Ничего не случилось, княже, — пробормотал Кочкарь. — Тут недалеко, дня ходу не будет, Давид Ростиславич на ловле с княгиней своей. — И, помолчав, добавил: — Людей у него мало. Десятка два всего.

Святослав молчал, пораженный внезапной мыслью. Решение всех вопросов, так мучивших его в последнее время, вдруг вспыхнуло перед ним, простое и ясное. Вот он, тот самый случай, от которого зависит судьба. Сам Бог, видимо, подсказывает Святославу, как победить. Может, и не Бог, а дьявол. Но будто нарочно подбрасывает Давида. Убить его! И сразу идти на Рюрика и его убить. И конец Ростиславичам. Ну и что же, что они союзники Святосла-

ву, все равно они Мономаховичи, а значит, убить их будет праведным делом. Начиная убивать с ближних — и доберешься до самого дальнего. Без Ростиславичей князь Владимирский останется в одиночестве. Роман Рязанский его предаст, Роман Смоленский слишком мягок — Всеволоду не подмога. Волынские князья далеко, да и не до Всеволода им — венгров бы удержать. Один, один останется Всеволод Юрьевич. Тут-то и собрать войско да ударить на него. Святослав представил, как Всеволода в цепях приводят к нему в Киев... Нет, рано еще.

— Подбери кого понадежней, — приказал он Кочкарю. — Всем скажи, пусть снимаются и возвращаются домой. Кого подберешь, оставь здесь. Остальные пусть обоз и княгиню до Киева сопровождают.

— А спросят если, почему, мол, князь остается?

— Не спросят, — уверенно ответил Святослав. — А княгине я сам скажу.

Кочкарь постарался. Вскоре княжеский стан был свернут, и обоз и княгиней и частью дружины отправился к Киеву. Со Святославом осталось тридцать человек дружинников, которым ничего не надо было объяснять. Знал Кочкарь княжескую дружину — кому можно злое дело предлагать, а кому нет. Дождались, пока обоз скрылся вдаль, и тогда двинулись на поиски князя Давида Ростиславича.

Нашли его только на следующий день, к вечеру.

Стан князя Давида расположился на самом берегу Днепра. Святослав велел поднять свою хоругвь, чтобы Давид не встревожился раньше времени, видел, что киевский князь не таится, ведь они как-никак союзники. На виду у Давида Ростиславича неторопливо приближались, стараясь не выказывать никаких враждебных намерений.

Князь Давид не обеспокоился, увидев Святослава с его людьми. И дружине своей не дал никакого знака. Они с князем Святославом много раз встречались на охоте, вместе гонялись за дичью. Никакой вины перед Святославом князь Давид не чувствовал. Наоборот, Святослав был ему обязан за помощь против половецкого нашествия в прошлом году. Хорошее было время! Крепко наказали поганых. И вот теперь могут наслаждаться мирной жизнью. Сейчас сядут у костра, поднимут чаши, вспомнят былое.

Святослав заранее приказал своим: князя не трогать, рубить дружину. Князя Давида Святослав хотел убить сам. Храня на лице улыбку, подъехать поближе, потом, как это делаешь, чтобы не спугнуть гуся или утку, медленно наложить стрелу и медленно прицелиться в незащищенную

грудь, уже видя наливающиеся сначала удивлением, потом смертным страхом глаза, и — ударить.

Так оно, может, и произошло бы. Но Святослав, думая о князе Давиде как о жертве, обреченной на заклание, забыл, что Давид был опытным воином. И улыбка Святослава его не только не успокоила, но по этой улыбке он все понял. Когда Святослав выстрелил, а дружина его кинулась рубить не успевший опомниться Давидов отряд, Ростиславич успел вскочить на ноги и закрыться лежавшей рядом с ним сырой оленьей шкурой, которую стрела хоть и пробила, но князя не задела. Как выдавший виды боец Давид осознал, что его людей уже не спасти, — они, застигнутые врасплох, падали, не успевая ответить ударом на удар.

Давид едва успел вытащить из шатра супругу, схватив ее за руку и прикрываясь все той же шкурой, добежать до воды, прыгнуть в лодку и оттолкнуться от берега. Стрелы впивались в борта лодки, дырявили шкуру, одна попала Давиду в руку, одна — в ногу, но лежавшую на дне лодки княгиню не задело.

Мощно загребая веслом, князь Давид отводил лодку все дальше от берега, пока не оказался недосягаемым для стрел. Ему было видно, как беснуется и трясет кулаками князь Святослав. Несколько дружинников Давида все-таки сбились в небольшую кучку и вчетвером или впятером приняли бой. Это помогло князю уйти вниз по течению, скрыться до темноты в прибрежных зарослях.

Спустя некоторое время в ладьях, взятых на месте побоища, проплыл Святослав со своими дружинниками вниз по течению, к Вышгороду. Князя Давида не заметили.

Давид понял, что Святослав надеется найти его в Вышгороде, следовательно, туда идти было нельзя. К брату Роману в Смоленск — нельзя, через черниговские земли не пройти. Он решил пробиваться к Рюрику в Белгород. Вернулись с супругой к своему разоренному стану, поймали там несколько коней и направились к Белгороду.

Святослав всю ночь просидел под Вышгородом, ожидая князя Давида. Но не дождался. С утра кинулся искать Давида, обшарил все окрестности, но тщетно. Злоба обуяла Святослава: такое дело провалилось... Где теперь искать князя Давида? Откуда ждать возмездия? И возвращаться ли самому в Киев, который теперь может оказаться ловушкой? Может, Давид уже в Смоленске и с помощью брата князя Романа собирает войско? Святослав знал, что один он Киев удержать не сможет, да и вообще дела складыва-

лись таким образом, что речь шла уже о гораздо более значительных битвах, чем оборона Киева.

Недолго раздумывая, Святослав стал собираться в свою исконную вотчину — Чернигов, предварительно разослав гонцов к родичам с приказом прибыть к нему на совет.

В Чернигове сидел князем брат Святослава Ярослав Всеволодович. Через несколько дней туда съехались, послушные зову старшего из Ольговичей, дети Святослава князья Олег и Владимир, князь Всеволод Курский и брат его Игорь Новгород-Северский, единовластно занявший этот знаменитый на всю Русь княжеский стол по смерти брата Олега.

Совет был недолгим. Князь Святослав, не жалея черной краски, расписывал вероломство князя Давида. Но поскольку он знал, что родичам все уже известно, то и не стал весь свой гнев — о, гнев его был искренним — относить к случаю на звериной ловле. Князья, чувствуя, что дело здесь не только в этом, ждали главного. Наконец Святослав перешел к этому главному:

— Я князю Всеволоду благоволил всегда, и вы это знаете. Много добра ему сделал. Но ни ему, ни Ростиславичам верить ни в чем нельзя. Сколько знаю их проклятое племя — столько пакостят они мне. Пришла пора отомстить Мономахову отродью. Чтобы и мне и вам жить спокойно. Для того и позвал вас, чтобы объявить свою волю: собирайте дружины свои и ополчение и покончим с Ростиславичами и князем Всеволодом.

Единственным, кто мог возразить Святославу на этом совете, был Игорь. Для новгород-северского князя приказ начинать войну не был неожиданностью. С того последнего разговора со Святославом князь Игорь долго думал о предстоящей войне — слишком хорошо он знал Святослава, знал, как завидует он молодому великому князю Владимирскому. Знал князь Игорь и то, что среди всех Ольговичей никто так не стремится раздуть угли давней вражды между потомками Олега Гориславича и Мономаха, как Святослав. Об этой вражде юным князьям рассказывали с детства, как только они начинали что-то понимать. Возможно, если бы сам князь Игорь не был воспитан в такой же вражде ко всем Мономаховичам, он бы мог задуматься о том ущербе для Руси, который эта вражда приносила. А уклоняться от битвы, с кем бы она ни была, не позволяла князю Игорю его честь воина. И он ответил Святославу за всех князей:

— Теперь, князь Святослав, я вижу, что война необходима. Скажу прямо: горькая это необходимость. Ты, князь

Святослав, должен был мир охранять. Думали мы, что ты только об этом и заботишься, а не.

Говоря это, Игорь смело глядел на Святослава, лицо которого сделалось красным и злым. От слова Игоря многое зависело. И Святослав не посмел бы наказать новгород-северского князя, если бы тот послушался: слишком силен стал Игорь.

— Впрочем, мы готовы повиноваться тебе, — закончил Игорь. — Ты нам как отец, ты старший из всех нас, и наше дело — служить тебе.

У Святослава отлегло от сердца. И хотя он знал, что когда-нибудь припомнит князю Игорю эти речи, сейчас почувствовал нечто вроде благодарности — согласие Игоря придавало его затее благородную окраску, возводило мелкую, мстительную затею до высот справедливой борьбы за спокойствие на Руси.

Вслед за Игорем войну одобрили все. Князей, включая и Святослава, конечно, пугала огромность войны, какой Русская земля, может, еще не видела. Но если они хотели победить, начинать должны были первыми, и поэтому решено было немедленно собирать войска. Вооружить всех, кого можно, в том числе и поселян, закончивших к этому времени все крестьянские работы.

Чернигов, где теперь находился Святослав, стал походить на осажденный город. Каждый день тысячи вооруженных людей — конных и пеших — собирались под его стенами, раскидывали станы. Дружины младших братьев Святослава и сыновей его вместе с полками — Трубчевскими, Переяславльскими, Путивльскими, Киевскими — образовали, пожалуй, не такое уж большое по численности войско. Трудно было набирать людей в разоренных областях Ольговичей, но если учитывать, что во главе этого все же огромного войска стояли прославленные воины, такие, как Игорь и Всеволод Святославичи — князья Курский и Новгород-Северский, — то силу этого войска следовало увеличить по крайней мере вдвое.

В это время князь Давид Ростиславич, ослабевший от ран, добрался до Белгорода, где его удивленно встретил еще ни о чем не знавший брат Рюрик. Рассказ брата о том, как Святослав напал на него, потряс Рюрика, который превыше всего ценил княжескую честь и вероломство считал самым гнусным преступлением. Однако следовало заканчивать бесславное сидение на краю Руси, в Белгороде, окруженном степями, — эта мысль приободрила Рюрика. Настало великое время для Ростиславичей, понял Рюрик.

Кровь брата должна быть отомщена. Киевский стол вновь по праву достанется Рюрику. Славные битвы предстоят!

Едва дав подлечиться Давиду, Рюрик стал его торопить. Не имея пока никаких известий ни из Смоленска, ни из своих днепровских городов, нельзя было начинать военных действий. Давид и сам горел желанием сразиться, но рука, раненная стрелой, может, самого князя Святослава, еще болела, и ему пока не хотелось покидать Белгород.

Братья понимали, что вдвоем и даже с помощью Романа, старшего брата, одолеть Ольговичей будет трудно. Напрашивался вывод, о котором ни Давид, ни Рюрик не хотели говорить. Но говорить пришлось: полки великого князя Всеволода Юрьевича были уже столь известной на Руси грозной силой, что обойти их упоминанием в мыслях о предстоящей большой битве было невозможно.

Но стоило ли обращаться за помощью к Всеволоду, даже в такое тяжелое время? Не будет ли это означать, что, покончив со Святославом и Ольговичами, можно потерять свою независимость и попасть под руку владимирского князя?

Этот вопрос давно уже волновал братьев Ростиславичей, особенно ценивших то, что они не подвластны ни чьей воле. Они давно почувствовали желание Всеволода главенствовать. Попросить у него военной помощи? Порешили на том, что пока нужно от этого воздержаться, попробовать справиться самостоятельно, тем более что Смоленская земля во главе с братом князем Романом была очень сильна, а князь Роман, понимая значение войны со Святославом, выступит на их стороне.

Тут пришло известие из Киева: стольный град стоял пустой, без князя. Теперь уже дожидаться, пока у Давида заживут раны, стало некогда.

Рюрик, бросив свой Белгород, побежал со своей дружиной к Киеву. Может, это было с военной точки зрения не самым удачным поступком, но, зная, что можно беспрепятственно сесть на вождельный киевский стол, Рюрик ничего не мог с собой поделать.

Давид отправился в Смоленск к Роману, чтобы там собрать большое войско.

Заняв Киев, Рюрик немного успокоился и стал размышлять более здраво. Подвергать город очередной осаде, не имея, может, достаточных сил для ее отражения, ему уже не хотелось. Но и ко Всеволоду за помощью обращаться ему, гордому, было нелегко. Он написал в Галич волынским князьям Ярославу Галицкому, зятю своему Роману

Мстиславичу и стал ждать от них благоприятного ответа и помощи.

Эта война для обоих Ростиславичей — Рюрика и Давида — началась с великого горя. Давид прибыл в Смоленск как раз ко гробу, в котором лежал только что усопший князь Роман, старший из всех Ростиславичей, вслед за Мстиславом Храбрым оставивший этот жестокий и несправедливый мир.

Давид унаследовал смоленское княжение. Вот он стоит вместе со смоленским епископом Константином в храме Святой Богородицы, принимая власть над огромнейшей русской областью. Горе от потери брата, которого он очень любил за доброту и кротость, как бы смягчалось сознанием своей силы. Ему и жаль было князя Романа, и в то же время он не мог не думать о том, что Роман умер вовремя.

Ростиславичи — один в Киеве, другой в Смоленске — собирали войско, ожидая Святослава нападения и выбирая время, когда самим можно будет напасть.

Наступила зима, а война все еще не начиналась. Святослав и его родичи пока не думали беспокоить Ростиславичей. По разным известиям, получаемым из Чернигова, братья начинали представлять себе картину назревающей войны несколько по-иному, нежели вначале. Все больше и больше они убеждались в том, что главным станет удар Святослава по владимирскому князю, и основная суть этой войны — не спор между ними и Святославом из-за полуразоренных днепровских городишек, а противоборство старой и новой Руси, сшибка двух сил настолько великих, что сами Давид и Рюрик могли считать себя лишь мелким сором на пути двух этих сил. Святослав как бы пренебрегал ими; никаких предложений помощи не делал и Всеволод.

Так начался новый, 6699 год.

Огромная рать Святослава двинулась к Владимиру. Помимо русских дружин, небольшую часть войска составляли половецкие полки, нанятые Святославом, прельщенные возможностью пограбить богатые залесские города.

Тьма и горе надвигались на Владимирскую землю. Великий князь Всеволод Юрьевич двинулся навстречу Святославу многотысячной ратью, сопровождаемый небольшими дружинами рязанских Глебовичей. Отойдя на сорок верст от Переяславля-Залесского, на крутых берегах небольшой реки Влены Всеволод расположил, словно огромный щит, свое ополчение. К этому же месту вышел Святослав. Опять противников разделяла река. Началось великое стояние. Никто не хотел нападать первым.

ГЛАВА 17

На совете, проходившем в шатре великого князя, дело едва не дошло до ругани, и если бы не Всеволод, бояре и воеводы могли наговорить друг другу много непростительных слов, а то и схватиться за мечи. Неприятель стоял так близко, что до него долетала пущенная через реку стрела. Перебрасываться стрелами можно было сколько угодно, но это не причинило никому вреда, — оба войска были начеку.

Встав в месте, укрепленном самою природой, Всеволод определил для своей рати: выжидать нападения Святослава. Великий князь был верен себе — он не желал допускать и малейшей возможности проиграть битву. С высокого берега Влены войско Святослава было видно как на ладони, и войско это было настроено весьма решительно. Владимирцы не уступали противнику в решительности и были готовы по приказу великого князя ринуться в бой, но Всеволод справедливо полагал, что тот, кто нападет первым, поставит себя в невыгодное положение.

Мало кто был с этим согласен. Полностью поддерживали Всеволода только Юрята, Четвертак, ставший недавно суздальским тысяцким, да осторожный Федор Ноздря. Старший воевода Кузьма Ратишич, может, и имел свое мнение насчет того, как надо действовать, но пока не высказывался. Гаврила Настасич, вооруживший и посадивший на коней более тысячи ратников и поэтому имевший в совете не последний голос, настаивал на немедленном нападении. Мирон Дедилец, Твердислав, Вышата Охотин, Касьян, Василий Волос, Жирослав, Нежата Иванич — все великие суздальские и владимирские мужи, бояре, каждый из которых привел сюда многочисленные дружины, — все настаивали на скорейшей битве. Роман, Игорь и Ярополк Глебовичи, видимо чувствуя, что великий князь нападать первым не станет и никому не позволит, также высказывались за битву.

— Вижу, бояре, вам не терпится мечами позвенеть, — говорил великий князь. — Знаю, что все вы в битвах испытаны, сам с вами ходил на врага, видел, что спины своей вы никому не показываете. Только не надо спешить нынче. Пусть они первыми полезут, тогда и ударим в ответ.

Не соглашались. На самого Юрята поднимали голос, самому великому князю возражали. Перед лицом такой опасности вроде бы как сделались все равны. Видя, что уже готовы быть произнесены обвинения в трусости, а то и еще хуже — в измене, Всеволод прекратил уговоры и употребил власть.

— Такое мое слово, бояре. Вам приказываю стоять при своих полках и с места не двигаться. Я, ваш государь, вам это строго приказываю! Если кто ослушается — не погляжу на прежние заслуги и на нынешнюю нашу дружбу с вами.

Всеволод еще ни разу так сурово не говорил со своими. Но по-другому остановить их наступательный порыв было нельзя. Подавленные государевым гневом, который казался им несправедливым — они же рвались в бой за своего государя, — бояре разошлись по своим полкам, чтобы объявить его верховную волю.

Великий князь лично объехал войско и целый день убеждал воинов не перечить ему. Казалось, достиг желаемого — полки согласились подчиниться.

Однако день проходил за днем, и воинственные настроения во владимирском войске росли. Воины ходили хмурые, злые, поглядывали на тот берег, ввязывались в бессмысленное перебрасывание стрелами. Стали возникать ссоры — раздражение требовало выхода, и ругань, даже драка могли возникнуть из-за какой-нибудь мелочи — нечаянного толчка, отдавленной ноги, места у лошадиной кормушки. Пресекать эти ссоры Всеволод велел беспощадно и возложил ответственность на Юрята, приказав ему набрать для этого сотню надежных и спокойных людей.

Но сколько могло так продолжаться? Дружинники Святослава по целым дням кричали с того берега обидные слова. Великий князь запретил отвечать. Запретил также зря кидать стрелы. Самым лучшим было бы, если бы Святослав двинул войска вперед. Но Святослав медлил. Помня, как не смог удержать свою дружину от взятия Торжка, Всеволод боялся, что и на этот раз может наступить миг, когда, охваченные яростью, его полки ринутся вперед и вновь воинская удача станет зависеть от множества случайностей. Великий князь решил на жестокий, но отчаянный шаг.

Когда большому стоянию исполнилось полмесяца, Всеволод пригласил Юрята и Ратишича к себе в шатер для тайной беседы.

— Что бы там ни думали в полках, — сказал он, — а я знаю: если мы первыми ударим, то уподобимся зайцу, который прямо волку в пасть лезет. Вспомни, воевода, — обратился великий князь к Ратишичу, — как было на Прусковой горе. Помнишь ли?

— Помню, как не помнить, государь, — грустно ответил Ратишич.

— Знаю, войско недовольно, — продолжал Всеволод. — Но знаю также и то, что нынешняя битва всех наших про-

шлых побед стоит. И вижу, что положение наше незавидное: и ждать нельзя, и наступать нельзя. Вот что я решил. Завтра с утра призову Глебовичей и велю им ударить. Пусть всеми своими дружинами ударят. Если смогут Святослава погнать, тогда все войско вслед за ними пустим. А если не смогут...

Всеволод помолчал и твердо договорил:

— Если не смогут, тогда наши горячие головы немножко поостынут. Но, по правде сказать, на это я больше надеюсь.

— Господи, на смерть Глебовичей посылаешь, государь, — ахнул Ратишич.

— Пусть малая часть поляжет, зато остальным будет наука, — сказал Всеволод. — Бог видит, как не хотел я этого, но иначе нельзя. Что скажешь, Юрята? Злое дело я задумал?

— Война — дело злое, — ответил Юрята. — А ты, государь, правильно решил. Надо их укусить. И чтоб все наши это видели.

— Чтоб все видели, — повторил Всеволод. — Может, поумнее станут. Ты, воевода, боярам скажешь: пусть удерживают своих, когда Глебовичи пойдут. На том и порешим.

Было видно, что Кузьма Ратишич потрясен суровым решением своего государя. Такого он не мог припомнить, чтобы часть дружины обрекалась на уничтожение и гибель в назидание остальным. Но возражать Всеволоду воевода не стал: перед лицом того, что должно случиться завтра, он почувствовал себя таким беспомощным, что не смел и подумать о возражении. Он вышел из княжеского шатра.

Юрята остался с государем. Ждал — не прикажет ли великий князь удалиться. Но тот молчал. На хмуром лице Всеволода появилась безжизненная улыбка.

— Не хочешь мне слово утешительное сказать, брат? — вдруг спросил Всеволод. — Ну, утешь меня, скажи, чтоб я своих людей пожалел. За Глебовичей ты просить не станешь, но все равно и за них заступись. Мне тогда легче будет, и я приказ свой отменю. Ты же знаешь, я жалостливый.

Юрята не сразу нашелся, что ответить. Он видел — с князем неладное творится. Знал Юрята своего государя и понимал, что сейчас в душе Всеволода идет борьба — расчетливый жестокий властитель борется с юным княжичем.

— Моих утешений, государь, тебе мало будет. Да и не нужны они тебе, — сказал Юрята. — Прости меня, недостойного, а только я тебя, Всеволод Юрьевич, помню с детских

твоих лет. И знаю, что зла ты никогда никому не хотел делать. И сейчас вот здесь, — Юрята постучал себя по груди, — вот этим местом слышу, как у тебя душа болит. А ты, государь, должен знать, что твоя правота тебе дается свыше. И ты должен эту правоту раньше всех узнавать, хоть и болит душа, хоть и жалко людей. Завтра все увидят, что ты прав. Хочешь, я с Глебовичами пойду?

— Нет. Тебя не отпущу, — сказал Всеволод. — Может, и верно, Господь мне мою правду посылает. Это ты хорошо сказал. — Всеволод засмеялся. — Случится что с тобой — кто меня наставлять будет? Ладно, ступай. Немоу скажи — пусть зайдет.

Когда в шатер вошел Немой и почтительно остановился у входа, Всеволод велел ему хорошенько отдохнуть этой ночью, потому что завтра день будет трудный. В эту ночь шатер великого князя сторожили Юрятины дружинники.

Наутро Глебовичи пришли к Всеволоду. Будучи вызванными отдельно от всех, они догадывались, что Всеволод собирается поручить им нечто важное, но пока не могли понять что и заметно волновались.

— Ну что ж, князь, — обратился к ним великий князь. — Давно вижу, рветесь вы сразиться с врагом. Сегодня день настал. Тебе, князь Роман, тебе, князь Игорь, и тебе, князь Ярополк, поручаю ударить на супостата. К своим дружинникам присоедините еще и суздальцев Ратишича. Ваше дело — начать, а там и мы подсобим.

— Спасибо за честь, великий княже, — ответил за всех Роман. Не очень-то он был рад этой чести...

Через час все большое войско великого князя, выстроившись в длинный ряд на высоком берегу, следило за тем, как пошел вперед отряд Глебовичей, подкрепленный суздальскими дружинниками. Отряд насчитывал две тысячи человек.

Найдя самое удобное место для спуска, Глебовичи повели отряд через реку. В этом месте берег не был особенно крут, но нанесло много снега, и кони вязли по брюхо. В это время из Святослава стана заметили продвижение неприятеля и стали готовиться к бою. Когда наконец двухтысячное войско Глебовичей перебралось через реку, там все уже было готово для их встречи.

Теперь Святослав мог играть с нападавшими, как кошка с мышью. Он позволил Глебовичам единым полком ударить на свой стан, а тем временем окружал их. И когда напор рязанцев и суздальцев ослаб, так как им пришлось подниматься вверх по пологому склону и вдобавок дорогу им

преградил спешно развернутый обоз, Святослав послал в бой брата Игоря Северского — князя Всеволода.

Едва половине отряда Глебовичей удалось спастись, и то только потому, что сами рязанские князья, увидев, что их окружают, не захотели расставаться с жизнью и побежали, увлекая за собой свои дружины. Суздальцы же прижали бой.

Бой этот был недолгим. С высокого противоположного берега вся владимирская рать в молчании наблюдала, как уничтожался суздальский отряд — таял, как ледышка, брошенная в печь. Глебовичи со своими рязанскими дружинниками перебирались обратно через реку, а суздальцы вскоре устлали снег своими телами, и вот уже дружинники Всеволода Святославича принялись грабить их трупы на виду у владимирцев, похвалялись добычей перед войском великого князя, звали, приглашали напасть на них еще разок. В стане Святослава царило торжество — легко далась победа.

Великий князь Всеволод, отправив рязанских князей на битву, даже не вышел из своего шатра — не хотел смотреть, как гибнут его люди. Он выжидал.

Первым к нему в шатер пришел Кузьма Ратишич — просить прощения. Повалился в ноги, клял себя, что не поверил государю. Обещал держать войско в полном послушании.

Вслед за воеводой стали собираться бояре. Пристыженные, они благодарили Всеволода, что уберег свое войско от участи суздальцев.

О Глебовичах не упоминали. Они укрылись в своем шатре, хотя могли и не укрываться: все видевшие разгром их отряда понимали, в какое положение рязанские князья попали. Никто Глебовичей не осуждал. Они ведь своим бегством спасли хоть часть войска.

Невыгодность нападения на Святослава стала очевидна всем, и многие знатные мужи чувствовали вину перед великим князем за гибель суздальцев. Теперь все согласны были выждать.

Противостояние продолжалось. Противники укрепляли свои станы, которые постепенно приобретали вид небольших, хорошо защищенных городов. Святослав, поверивший было в то, что Всеволод нападет на него первым и тем погубит себя, понемногу разуверился и злился, глядя на неприступный стан владимирцев. Положение Святослава становилось все более неловким: он вел свою рать на великую битву, вошел в Суздальскую землю и вот сейчас был вынужден остановиться. Князья, бывшие с ним, требовали действий. Но Святослав, так же как и Всеволод, понимал: кто начнет большую битву, тот и проиграет.

Дни летели один за другим.

В один из ясных дней конца зимы, когда солнце будто пробует свою силу, прежде чем начать припекать по-весеннему, к стану Всеволода с той стороны подъехал небольшой возок, запряженный парой лошадей. В возке, сопровождаемый ближним боярином Святослава Лазарем Михалковичем, сидел знаменитый киевский священник Нифонт, бывший Святославовым духовником. Он привез грамоту от киевского князя, о чем доложил с неподобающим его сану вызовом в голосе, будто доставил приказ победителя побежденному.

Однако торжественности и почета, на которые, может, рассчитывал отец Нифонт, не получилось. Посольство к великому князю допущено не было, Нифонта и боярина оставили сидеть в возке, грамоту отобрали и унесли в шатер к Всеволоду, словно это было не письмо великого киевского князя, а записка от управляющего. Вообще Нифонт заметил, что его приезд не произвел впечатления на владимирцев. В их стане царил порядок, спокойствие и послушание.

Тем временем Всеволод читал в присутствии воеводы Ратишича Святославову грамоту.

«Брат и сын мой,— писал Святослав.— Имев искреннее удовольствие служить тебе советом и делом, мог ли я ожидать столь жестокой неблагодарности? В возмездие за сии услуги ты не устыдился злодействовать мне и схватил моего сына. Для чего же медлишь? Я близ тебя: решим дело судом Божиим. выступи в поле, и сразимся на той или другой стороне реки».

— «Кмет¹ князь Святослав»,— произнес Всеволод, заканчивая чтение.

Ратишич хохотнул смущенно.

— Ну что, воевода,— послушаем мудрого совета? — спросил Всеволод.

— Думаю, этого князь Святослав не дождетсЯ,— преданно улыбаясь, ответил воевода.

— Послов вели отвезти во Владимир,— приказал великий князь.— Может, рассердится Святослав и свой лоб нам подставит. Тогда мы по нему и щелкнем.

Послы с сопровождением отправились в плен — ожидать лучших времен.

Святослав действительно рассердился, опять в своем шатре рубил мечом посуду, насмерть перепугав прислуживавшего ему отрока. Но войско свое все же не двинул.

¹ Кмет — в Древней Руси — витязь.

Положение его становилось все затруднительнее. Скоро должны были подойти к концу припасы, а новых взять было негде — окрестные селения все разорил, когда шел сюда. Надежда на подвоз из Киева была слабая: эти-то запасы с трудом собирались в обнищавших уделах, а если сейчас их еще раз ограбить и все же собрать обозы, то кто знает, можно ли будет эти обозы провести мимо Ростиславичей.

Итак, Святослав понемногу начал осознать, что победоносный поход не удался. Впереди был неприступный Всеволод, находившийся к тому же на своей земле и всегда могущий в случае чего пополнить свое войско, сзади было смоленское княжество, где Давид и Рюрик тоже не сидели сложа руки, тревожили Чернигов. В собственном войске могли начаться неприятности — половецкая орда, недовольная бесплодным стоянием, грозила уйти, сразу ополовинив воинскую силу Святослава. А если ее задержат, то как бы с ними не пришлось биться самим — уже было несколько стычек, на которые дружинники, измученные бездельем, сами нарывались, задирая вспыльчивых половецких князьков.

Меж тем приближалась весна. Она грозила распутицей. Это сгубило бы войско Святослава еще вернее, чем Всеволод. Святославу оставалось сожалеть, что он не решился сразу ударить на врага, захотел его перехитрить, а перехитрил самого себя. О том, что не сделано, жалеть было поздно. Надо было решаться и уводить войска, пока не начал таять снег.

В начале весны Святослав снялся и налегке двинулся к Новгороду, провожаемый громкими радостными криками владимирцев. Весь стан, все обозы с добычей, награбленной во время удачного начала этого похода, — все доставалось Всеволоду, который опять мог считать себя победителем. Суздальская и Владимирская земли были спасены.

Чтобы его отступление не выглядело позорным бегством, Святослав дал небольшой крик и сжег город Дмитров, в котором родился Всеволод. Город стоял пустой, население не дожидалось для себя еще более печальной участи и покинуло дома. К большой досаде великого князя, в Дмитрове сгорел только что построенный храм Святого Дмитрия Солунского, ведь постройке его так радовалась в свое время княгиня Марья.

Едва успев до разлива рек достичь Новгорода, Святослав был встречен там как победитель — с епископом, крепкими и колокольным звоном. Город, встречая киевского

князя, был охвачен непонятной радостью, хотя ничего особенного не происходило, если не считать прибытия такого количества известных южнорусских князей — и все они были близкими родичами новгородского князя Владимира Святославича. Прозревший слепец Ярополк также испытал на себе вновь вспыхнувшую к нему любовь новгородцев. Лучшего, чем Ярополк, защитника восточных новгородских пределов трудно было себе представить: всем была известна ненависть Ярополка к владимирскому князю. Ярополку вновь дали Торжок, в третий раз он садился там княжить, пообещав Новгороду крепко за него стоять.

С весной приходили обычные заботы. Купцы собирались отплывать к ганзейским городам, ремесленники готовились к сбыту своих товаров и ожидали подвоза чужеземных — шкур, железа, тканей; землепашцы начинали пахать и сеять. Новгород принимался за работу и понемногу терял любопытство к южным князьям и их дружинам, которые ему приходилось кормить. Всех стали раздражать половцы, приведенные Святославом. Чужая, иноязычная вооруженная орда вызывала в городе недовольство, тем более что ее содержание также ложилось на плечи новгородцев. Участились случаи воровства и грабежей — поганые начинали искать себе занятий и находили их поблизости.

Выборные горожане через тысяцкого пытались воздействовать на своего князя Владимира. Тот, чувствуя, что Новгород может обойтись с пришлым войском весьма негостеприимно, стал намекать отцу, что пора бы ему двинуться на Киев и вновь занять княжеский стол, согнав с него Рюрика. Святослав и сам знал, что засиживаться в Новгороде становится опасно, и уверял новгородцев, что ждет лишь, когда подсохнут дороги. Дороги вскоре подсохли — весна заканчивалась на удивление теплыми и сухими днями.

В самом конце весны Святослав со своей братией, забрав с собой половцев, покинул Новгород. В Суздальскую землю идти второй раз не решился.

Всеволод узнал об этом и, узнав, понял, что победил Святослава. Во Владимире и Суздале состоялись благодарственные молебны, отшумели пиры с угощением горожан. Столы были поставлены прямо в княжеском дворе, куда мог зайти всякий и, если пожелает, принять чашу вина прямо из рук великого князя. Недостатка в желающих, конечно, не было, и Всеволоду пришлось изрядно потрудиться, наполняя подставляемые все новые чаши, кубки и ковши.

Святослав направился к Киеву, желая завершить неудачный поход против Всеволода победой над Ростиславичами.

По пути, лежавшему через кривскую область, полоцкие и витебские земли, он набирал себе все новых союзников, заставляя таковыми становиться местных князей — Васильковичей, Всеслава и Брячеслава, других князей, опасавшихся не столько дружины Святослава, сколько половецких орд. И как было не опасаться? Тех, кто отказывался присоединиться к войску Святослава, ждала участь князя Глеба Друцкого.

Глеб Друцкий заявил Святославу, что не поднимет руки на Ростиславичей. Может, такую смелость он взял на себя, надеясь на помощь Давида. Помощь и вправду шла от Смоленска, но, увидев огромную рать Святослава, Давид повернул обратно. Святослав отдал Друцк поганым, и те за день осады разорили окрестные села и сожгли стены внешнего города, не сумев взять укрепленный княжеский дворец. Сам князь Глеб при защите Друцка погиб.

Чтобы держать половецкую орду в узде, Святослав отдал ее под начало Игоря Святославича. Имя этого князя да и тяжелая рука его были хорошо знакомы поганым. Орда, начинаяшая уже своевольничать — а это для Святослава особенно нежелательно было в киевских областях, куда он и направлялся теперь, — подчинилась и, оставив мысли о грабеже незащищенных днепровских городов, послушно пошла со Святославом к Киеву.

Но Святослав был уже не тот, что в начале похода. В главном он потерпел неудачу — не смог расправиться с могущественным противником, владимирским князем, и все нынешние дела, хоть и имели видимость важную, казались Святославу незначительными. Давид и Рюрик не представляли большой угрозы Ольговичам. Однако же Киев нужно было занять, чтобы весь поход получил хоть какое-то оправдание. Отправив князя Игоря с ордой искать Ростиславичей, Святослав подошел к Киеву и обнаружил, что город брать не придется. Он был пуст, князя Рюрика в нем не было. Святослав, терзаемый дурными предчувствиями, вошел в Киев, сел на княжеском столе и отпустил союзников и родичей с дружинами по домам. Нечем становилось кормить так много ртов.

Князь Игорь Святославич, предводительствуя ордой в поиске Ростиславичей, не забывал об увеселениях. Вместе со своим старым знакомцем князем Кончаком он по дороге устраивал охоты, благо Кончак вез с собой немало ловчих соколов, к которым питал страсть, разделяемую Игорем. Оба охотника — Игорь и Кончак — хорошо знали друг друга еще до нынешнего Святослава похода.

Шесть лет назад Игорь бил Кончака под Переяславлем и тогда же вынудил этого влиятельного половецкого князя заключить мир с Ольговичами. Двум князьям было что вспомнить. Они уважали силу и воинский опыт друг друга, и время в походе летело для них незаметно. Игорь не раз говорил Кончаку, что хотел бы видеть его русским, на что Кончак уверял Игоря, что тот, благодаря своему мужеству и благородству, вполне достоин занимать одно из первых мест среди половецких князей.

Наконец полк Игоря и половецкая орда встали на берегу реки Черторый возле Дулебского озера на длительную стоянку и здесь внезапно подверглись нападению Рюриковой дружины.

Сеча была страшная. Игорев полк и орда были разбиты и уничтожены. Сам Игорь вместе с Кончаком едва успели на ладье уйти к Чернигову. Кончак потерял лучших своих мужей — брата Елтута, князей Козла Сотановича, Тутура, Бякобу, Чугая, Конячука и многих других знаменитых воинов.

Собрав через несколько дней жалкие остатки своего войска, Кончак вернулся обратно в свои степи, обещая себе никогда больше не служить русским князьям. Игорь отправился в Киев к Святославу, понес ему печальную весть.

Туда же, в Киев, Рюрик отправил посольство с предложением мира. Расстроенный Святослав охотно согласился заключить мир, хотя условия, которые выдвигал Рюрик, могли считаться оскорбительными для князя Киевского. Ему оставался только Киев, а все города по Днепру отходили к Ростиславичам. За это Святослав признавался Ростиславичами старейшим и они давали ему клятву верности. Особо оговаривалось отдельное условие, касающееся половцев. Поганые должны были быть признаны врагами Руси, и задача не допускать их больше в русские земли объявлялась общей для Ольговичей и Мономаховичей. Рюрик и Давид не могли не поставить этого условия: ненависть к поганым была присуща всему их роду. Летом мир был подписан.

Так закончился поход Святослава. Итогом этого великого предприятия явилось то, что наибольшую выгоду получил великий князь Владимирский Всеволод Юрьевич. Его владения оставались почти не тронутыми войной. Его враги теперь были слишком заняты тем, что следили за выполнением мирного договора, чтобы еще думать о войне со Всеволодом. Новгород оставался недружественным, но думал о защите своих рубежей, а не о союзе со Святославом. И вообще — Всеволоду из Новгорода поступали сведения о

том, что Святослав, пока весновал там, произвел на многих влиятельных новгородских мужей весьма неприятное впечатление. Всеволод знал, что так и должно быть: вольные новгородцы не могли не увидеть во властолюбии киевского князя угрозу своим вольностям.

Всеволоду оставалось выжидать, когда Новгород обратит свои взоры к нему, предлагающему дружбу и покровительство, а не рабство. В умении выжидать своего часа великому князю Владимирскому на Руси не было равных.

ГЛАВА 18

— Не плачь, Любавушка, — говорил Юрята, глядя вздрагивающее плечо жены. — Пора им учиться ратному делу, не маленькие.

— Как это не маленькие? — Снова вскинулась Любава, на этот раз не забыв прикрыть одеялом груди. — Бориске двенадцать только, а Добрыне и того нет. Пропадут они там!

И опять уткнулась в подушку, всхлипывая. Юрята поморщился: ему казалось, что весь этот плач жена завела не потому, что так уж переживала за мальчишек, а чтобы лишний раз показать, что ее голос в доме не последний.

Как ни была хороша семейная жизнь Юрята, а все же он порой с грустью вспоминал преимущества прежней холостяцкой жизни. Особенно когда насыщался Любавой, недолгое время после этого. Или когда она проявляла свой нрав, пытаясь ему перечить в пустячных, на его взгляд, делах. Сейчас эти два условия как-то совпали, что случалось очень редко. Непонятно, почему нужно объяснять женщине то, что она все равно не уразумевает своим бабьим умом, а должна принимать, потому что ей так положено. Испокон веку сыновья с отцами на войну ходят, а матери дома плачут. Ну и плачь себе тихонечко! Ругаться-то зачем? Лежали тихо-мирно, уже совсем засыпать было начал — и на тебе, завела разговор со слезами.

— Кто сказал, что пропадут? Ничего им не будет, — все еще примирительно пытался говорить Юрята. — Я за ними не пригляжу, что ли? Ждан тоже присмотрит. Добрынюшка от него и не отходит, когда тот не с князем. Да и не пустит их никто в бой. Смотреть будут. Я в их годы вон уже с войском на литву ходил, а был как Добрыня ростом. И ничего со мной не сделалось.

Любава между тем всхлипывала все реже. Полное, атласное плечо, выглядывавшее из-под одеяла, понемногу успокаивалось.

— Дело недолгое, — продолжал Юрята, — ничего с ними не случится. Ночи сейчас теплые. Да хоть бы и зима была — пусть привыкают. Им возле князя быть, глядишь — воеводами станут. И князь говорит, чтобы я их с собой взял.

— Князю, конечно, своих сыновей хочется, — вдруг не сварливым, а каким-то жалеющим бабьим голосом произнесла Любава. — Родных-то деток он бы, чай, не брал на войну.

— Да что ты? Князь только об этом и мечтает. Сколько раз говаривал: дочек на коней не посадишь.

— Все бы вам на коней да на коней. Ну, спи.

Юрята сразу закрыл глаза, но почувствовал, что сна нет. А ведь собирался заснуть — завтра вставать чуть свет, готовиться к походу. Коней посмотреть, сбрую. Мальчишек собирать дольше, чем себя. Им дело незнакомое, а надо, чтоб собраны были честь по чести.

— Спи-и, — протянул Юрята. — Сама взбулгачит, а потом спи ей. Что ты эти разговоры завела на ночь глядя? Ведь говорено-переговорено. Весь сон теперь порушила.

Любава помолчала, потом снова начала вздрагивать. Юрята пригляделся: не плачет ли? Нет, смеется. Ну вот — теперь смешно ей стало. Что будешь делать с бабой? Впрочем, известно, что с бабами делают.

Юрята просунул руку под одеяло и прошелся ладонью по привычному и милому пути: по спине к мягко раздвоенным ягодицам. Любава коротко и сладко вздохнула, перевернувшись на спину, позволяя мужу раскрыть себя.

После уже не ругались и заснули. До расставанья им еще оставалась одна ночька — завтрашняя.

Утром начались сборы. Когда Юрята спустился из опочивальни, мальчишки уже ждали его. Проснулись ни свет ни заря, бегали, наверное, коней своих смотреть, не случилось ли чего с ними за ночь?

Дело, которое Юрята называл недолгим, было еще и обычным — предполагалась осада города Торжка. Сей город, восстав из пепла, вновь посадил у себя князем Ярополка Ростиславича. Увы, Господь, послав в свое время князю Ярополку чудесное прозрение, по ошибке, наверное, вставил ему волчьи глаза. Этими глазами Ярополк неустанно глядел в сторону Владимирской земли и вел себя вполне по-волчьи. Действительно как волк возле деревни: всех жителей не съест, а овцу утащит. Новое зрение, видимо, застило Ярополку ум. Тревожа беспрестанно рубежи Всеволодовых владений, каждый раз получал отпор: великий князь заботливо охранял свои границы. С малой дружиной,

какую только и мог содержать разоренный Торжок, на что надеялся князь Ярополк? Новгород ему не помогал и не обещал помощи — требовал лишь охранять Новгородскую землю, а не воевать с могущественным соседом. Неоткуда было ждать помощи Ярополку, и все же он снова и снова нападал на села по реке Тверце, ходил к Угличу, жег и грабил все, что можно, и каждый раз еле успевал унести ноги, преследуемый, точно волк, до первого леса.

Князю Всеволоду, наслаждавшемуся покоем и радостями мирной жизни, Ярополк очень досаждал. Если бы еще кто другой! Но этому своему заклятому врагу великий князь спускать новые обиды не собирался. Не собирался и уговаривать его одуматься и прекратить вражду, как поступил бы с другим князем, будь то хоть сам Святослав! В середине лета Всеволод объявил поход на Торжок.

Можно было не ходить самому — послать Ратишича с дружиной или Юрята — да хоть кого, потребовав, чтоб Ярополк был доставлен на простой телеге и в цепях. Всеволод решил идти во главе войска, и княгиня Марья даже не отговаривала его, понимала, что великий князь должен сам покончить с племянником.

Добрыня и Бориска, молодые Юратичи, как их уже стали многие называть, давно просились на войну. Но война войне рознь, и в такое дело, которое могло обернуться большой кровью, Юрята сам бы не взял их и даже пригрозил отодрать ремнем. Этот же поход, по общему мнению, не обещал быть сколько-нибудь трудным. А мальчишки выросли довольно крупными, особенно Добрыня, уже доставший Юрте почти до плеча. Так что сынам было объявлено, что они будут участниками настоящей осады. От счастья Добрыня покраснел, а Бориска даже забыл выкинуть какую-нибудь забавную штуку, которые из него обычно так и сыпались.

У мальчишек, чтоб им быстрее привыкалось к воинской жизни, все должно быть как у настоящих ратников. Вместе ходили на княжескую кузню, где работал со своими сыновьями с виду страшный, но добрый кузнец Медведко. Заказывали шлемы по размеру, нагрудные щитки, кольчужки, наконечники, поножи¹. Мечей и сабель у кузнеца было — только выбирай. Бориска сразу вцепился в легкую сабельку, изогнутую наподобие персидской. Добрыня же, как верный ученик немого Ждана, не захотел изменить раз и на-

¹ Поножи — здесь: ножные металлические пластины, прикрывающие ноги от ударов.

всегда полюбившемуся оружию и выбрал меч себе по руке, тут же возле кузницы похваставшись перед Медведковыми сыновьями своим искусством.

До настоящего владения мечом еще было далеко, но Добрыня уже не раз устаивался одобрительного кивка Немого, потому что сразу понял главное — меча не надо бояться, не надо к нему относиться как к постороннему предмету в твоей руке, а надо считать его продолжением руки, ощущать живым, управлять его поведением и знать, что мечу нравится, а что — нет.

Меч требовал сильной кисти, мощного запястья, подвижного плеча. Этого в достаточной мере у Добрыни пока не было, но он усердно выполнял наставления Немого и каждый раз чувствовал, что сегодня тяжелый меч самого Немого казался вроде бы легче, чем вчера.

Бориске же прямой меч казался скучным, хотя и грозным оружием. Ему по ночам снились кривые сабли, как у приезжающих ко владимирскому торгу купцов из далеких полуденных стран. Девичья гибкость сабли, таящая в себе и смертельный змеиный укус, и скрытую мощь удара, заволаживала Бориску, и, прицепив любимое оружие к поясу, он сам стал казаться себе красивее и умнее.

Юрята не мог налюбоваться на своих мальчишек. Вырастали воины. Коней он им подарил, каких просили: Добрыне — гнедого, а Бориске — вороного с белой звездочкой на лбу. Теперь к мальчишескому запаху примешивался неистребимый запах конского пота и седельной кожи — пахли, как и положено ратникам.

Нынче, в последний день перед походом, нужно было проверить все снаряжение, и Юрята вдруг подумал, что впервые увидел сыновей в полном боевом облачении и на конях. Отчего-то вспомнился день, когда он нашел Добрыню, связанного, в разгромленном половецком стане. Мог ли он тогда думать, что малыш, доверчиво прижавшийся к нему, так прирастет к сердцу, так переменит его жизнь? Ведь во многом благодаря Добрыне появился у него и второй сынок — Бориска, появилась жена Любава. А так бы жил себе да жил бобылем при князе.

Мальчигов одолевало нетерпение: скорей бы завтрак кончился и можно было бы начать сборы.

— Ну-ка ешьте! — прикрикнул он на ребят. — Ратник перво-наперво должен быть сыт. В походе не знаешь, когда поесть удастся. Так что первая заповедь — наедайся впрок.

— Пока пузо не лопнет, — невинно сказал Бориска.

Добрыня приснул молоком, которое при словах отца начал послушно пить, и закашлялся, стараясь делать вид, что ему не смешно.

— Ладно, острые вы языки, — засмеялся Юрята. — Посмотрим, что в походе запоете, третий день не евши.

— А мы зверя застрелим или птицу, — тут же нашелся Добрыня.

— А ну как зажарить времени не будет? Сырыми жевать станете? — Теперь Юрята пришла охота пошутить, и он блаженствовал, стараясь оттянуть миг, когда надо будет встать и приниматься за дела.

— Ну и что? Можно и сырыми. Вон Ласкинич Сбышко на спор лягушку живую съел. И ничего. Только в животе три дня квакало. — Бориска чуть хихикнул.

— Будет тебе, балабон, — засмеялась Любава, маша руками на Бориску. — Три дня квакало! Скажет же!

Добрыня упал лицом на стол и трясся, не в силах остановиться. Он пытался заставить себя прекратить глупый смех — ведь воину перед походом не пристало, но только ему начинало казаться, что живот, сведенный смехом, по-немногу отпускает, как в воображении вставал Сбышко Ласкинич, долговязый, тощий, но с выпуклым животом, и словно наяву виделись его выпученные глаза, а из пуза слышалось «квак» — и снова смех валил его на стол. Один Бориска, похоже, не находил в сказанном ничего смешного и сидел даже слегка хмурый, только каждый кусок, подносимый ко рту, почему-то начинал подозрительно осматривать, будто сам опасался проглотить лягушку. Наконец, отсмеявшись, Юрята встал из-за стола, перекрестился. Все перекрестились вслед за ним.

— Пойдем, что ли.

Любаве тоже сегодня предстояли хлопоты. При осадах да и вообще в походе дружина ест из общего котла, для чего припасы возятся за войском. Но какая жена, мать или сестра упустит возможность наготовить своим мужикам в дорогу разных вкусных вещей — чтобы жизнь походная казалась им слаще, чтоб ели да вспоминали, кого оставили в родных домах. Юрята просил Любаву не слишком стараться, потому как пища воина должна быть простой, но Любава и слушать не хотела. Тем более и тесто поставлено было с вечера, и уже из новой, недавно пристроенной к дому кухни доносились запахи стряпни — там Ульяна с двумя девками, отобранными из полона и подаренными Любаве самой княгиней Марьей, занимались приготовлениями к большому печению пирогов со всевозможной начинкой.

Мальчишки во всем снаряжении были отведены Юртой к воеводе Ратишичу и вписаны в охрану обоза. Немного было обидно — почему не в большой полк, поближе к звону сабель и свисту каленых стрел? Но воевода, перемигнувшись с Юртой, обстоятельно объяснил молодым воинам, что обозы в войске — едва ли не самое опасное место, потому что неприятель, сознавая их важность, первым делом ударяет как раз по ним, и охрана обоза доверяется обычно самым опытным и надежным бойцам. Мальчишки удивленно уставились на груженные телеги, что должны были завтра составить обоз, а пока занимали всю левую половину просторного княжеского двора. Мальчишки больше не обижались, их будущая служба показалась им вполне достойной.

У воеводы Ратишича сыновей не было — одни дочери, и он, к общей досаде Добрыни и Бориски, завел с Юртой долгие рассуждения о том, как хорошо иметь взрослых сыновей, и как в этом смысле повезло Юроте, и что он, Ратишич, уже, наверное, сыновей не дожидется, но очень надеется дождаться внуков и в связи с будущим рождением этих внуков возлагает большие надежды на Добрыню и Бориса Юртычей, потому что именно они должны будут, женившись на красавицах дочках Ратишича, произвести этих внуков в большом количестве на радость деду.

Впрочем, Бориска вроде бы не очень и досадовал: вопрос будущей женитьбы казался ему вполне уместным и важным, только показывать это ему не хотелось. Тем более из пятерых дочерей Ратишича три были уже почти взрослыми и все три ему нравились страшно. Добрыня же о дочерях воеводы и думать не хотел: обе пленные девушки, подаренные княгиней Марьей, — звали их Неданка и Малява — занимали его сердце. Добрыня знал, каково быть полонянином. И пусть обе девушки были довольны своей жизнью в доме княжеского подручника, все равно Добрыня решил, когда подрастет, жениться на обеих, а потом отпустить их на свободу.

Удалось мальчишкам в этот день увидеть и самого великого князя. Юрота, и желая похвастаться перед Всеволодом своими сыновьями, и смущаясь своего отцовского счастья перед государевым, которое пока не спешило дарить Всеволоду сыновей, все же проехал с мальчишками мимо княжеского крыльца как раз в то время, когда на крыльце стоял князь.

Всеволод окликнул Юроту, подозвал всех поближе, одобрил снаряжение юных ратников и сказал, что будет лично следить за воинскими успехами ребят. Лицо велико-

го князя было немного грустным, но ласковым, и при взгляде на него сразу чувствовалось, что это не простой человек, даже не простой князь, а великий, почти святой, вроде тех, кто изображен на иконах. А рядом с великим князем стоял немой Ждан, смотрел на мальчишек и улыбался во весь свой молчаливый рот, даже подмигнул. Много впечатлений оставил этот день.

Вечером в доме пахло пирогами, а было невесело. Даже Бориске не хотелось веселиться, как давеча за завтраком. Любава то и дело вытирала слезы концом платка, Юрята жевал сосредоточенно, будто что-то разглядывал перед собой. Мальчишки вдруг осознали, что это значит — последний вечер в родном доме перед уходом на войну.

Юрята с Любавой ушли спать рано, сперва заставив лечь мальчишек. Добрыня думал, что не сможет заснуть в эту последнюю ночь, будет думать о том, как бы не струсить в бою, представлял себе будущего врага, с удивлением каждый раз вспоминая, что враг окажется русским и, наверное, успеет что-то сказать перед тем, как Добрыня его убьет. Но он тут же уснул и всю ночь видел этого врага, пытаясь узнать знакомые русские слова, а они почему-то не узнавались, и это было самое странное.

Утро оказалось совсем не таким, как вчерашний веселый день, хотя событий за это утро произошло не меньше. Другим был и Юрята — суровым, сдержанным. Мальчики видели его таким не впервые, но теперь суровость отца их тоже касалась: из детей, одетых в боевые доспехи, мальчишки превратились в настоящих воинов, и для того, чтобы это превращение завершилось, недоставало самого простого — битвы. К битве и смерти были готовы все вокруг — от Ратишича и Юрята до обозного мужика, надевшего по этому поводу шлем.

Но никто не боялся вокруг мальчиков, и это чувство общего презрения к возможной смерти виделось мальчишкам едва ли не самым главным в предстоящем походе. Они изо всех сил старались быть похожими на всех дружинников сразу, — и когда войско кричало славу князю Всеволоду Юрьевичу, и когда тронулись вместе с возами, и когда двигались по дороге, обжигаемые горячим солнцем. В войске было еще несколько мальчишек, видимо так же, как Добрыня и Бориска, взятых отцами или старшими братьями, но к ним не хотелось приближаться, чтобы этим случайно не выделиться из общей силы.

Миновали город Дмитров, чернеющий обгорелыми бревнами стен. Здесь великий князь, шедший впереди войска,

велел сделать остановку. Ему захотелось осмотреть то, что осталось от города. Осталось немного, но судя по тому, что встреченные возле Дмитрова поселяне, падавшие на колени перед великим князем, почти все везли на телегах бревна, город собирался отстраиваться. Остановка была недолгой, двинулись дальше, чтобы до вечера успеть встать на большую стоянку в одном дне перехода до Торжка.

Юрята, редко бывший с мальчиками, потому что его всегда требовал к себе князь Всеволод, как взрослым, объяснил им, что сначала хотели взять Торжок наворотом, с налету, неожиданно выдвинувшись из леса. Да вот беда — посланный загодя вперед отряд дозорных доложил, что город закрыт и ворота заложены. Каким-то образом князь Ярополк разведал о приближении войска, и князь Всеволод даже думает, нет ли у Ярополка соглядатая во Владимире?

— Вот, сынки, — сказал Юрята, ужиная вместе с мальчиками. — Один человек может такое большое дело сорвать. Если б не предупредил кто-то князя Ярополка, мы завтра бы город взяли и домой уже собирались. А нынче придется долго воевать. Так вот, запомните, что одно только слово может битву выиграть. Запомните и держите язык за зубами, лишнего не говорите никому.

Бориска тут же, конечно, горестно вздохнул, как бы сожалея о том, что предстоит всю жизнь помалкивать. Но Юрята знал, мальчики поняли, что он хотел им сказать, как и всегда понимали его.

С виду город Торжок словно похож был на князя Ярополка, каким Добрыня себе его представлял: ошетиненным, глядевшим исподлобья узкими, безжалостными глазами. Городские стены, недавно отстроенные, казалось, из всего, что попало строителям под руку, тем не менее выглядели неприступно, в прорезях бойниц под самыми скатами крыши иногда можно было разглядеть затаенное движение. Ни жители Торжка, ни князь Ярополк с дружиной не ждали ничего хорошего от войска владимирского князя и, видимо, собирались биться крепко.

О быстром взятии города нечего было и помышлять. Великий князь велел разбить стены, начинать осаду. Из Торжка вели две дороги, обе были тут же надежно перекрыты. Город брался в кольцо — численность войска Всеволода позволяла это сделать. Два больших отряда встали невдалеке от тех и других городских ворот — отразить в случае чего вылазку Ярополка, пока устраивается стан: из бревен и телег возводится укрытие для припасов и запасных коней; раскидываются на пригорке шатер великого

князя, шатры воевод и знатных бояр, считавших ночевку у костра под телегой недостойной для себя; размещаются старшая дружина князя и полки воевод и бояр; устраиваются котлы для приготовления пищи; даже роются колодцы для чистой воды. Всеволод считал, что осажденные, глядя на уверенно, по-хозяйски располагавшееся войско неприятеля, потеряют свой боевой дух.

На сей раз великий князь ошибся. Когда на следующее утро владимирцы пошли на приступ, молчавшие до этого стены встретили наступавших многоголосым ревом, каменным градом, дождем из стрел. Многие были ранены, их с трудом удавалось выносить из-под стен, прикрываясь деревянными щитами — двое держали щиты, отбивая удары камней и стрел, двое несли раненого. В стане Всеволода раздавались стоны и крики умирающих, священник еле успевал отпевать усопших, а со стен Торжка неслись победные крики осажденных.

Пороков Всеволод с собой не захватил. Помня опыт прошлого, когда его дружина с легкостью взяла этот город и сожгла его, он не думал, что Ярополк сумеет так быстро и надежно укрепиться и осада будет долгой. Собрав совет, великий князь предложил послать за пороками во Владимир. Можно было послать и за кузнецами и за железом, чтобы попытаться сделать пороки прямо здесь, на месте, но этот путь казался еще дольше. И воеводы, и бояре заявили, что справятся и так. На завтра был назначен новый приступ.

Добрыне и Бориске, как и другим мальчикам, пришлось потрудиться за эти дни. Забыв свое оружие и доспехи в телеге, где помещался их семейный припас, они взялись помогать лекарям. Лекарей было двое, оба из немецкой земли, они плохо говорили по-русски, и для них надо было делать много всякой работы: носить и греть воду, помогать в самых простых лекарских делах — промывании и перевязывании ран, стирать кровавые тряпки, чтобы снова пустить их на перевязку, бегать по разным поручениям. Вот что такое была настоящая война: расколотые черепа, выбитые и выколотые глаза, неправдоподобно распухшие, посиневшие сломанные руки и ноги.

Новый приступ был таким же неуспешным, как и первый. Правда, теперь раненых и убитых было гораздо меньше — береглись. Пробовали поджечь стены — неудачно, горожанам всякий раз удавалось погасить огонь. Всеволод велел прекратить попытки взять город боем, и началась осада.

Теперь Юрята стал чаще бывать с сыновьями. Сидел с ними у костра во время обеда и ужина. Брал с собой в

объезд городских стен, показывая мальчикам, как они устроены и что надо делать, чтобы на них забраться. Несколько раз посылал обоих в ночные дозоры вместе с дружинниками. В осаде жизнь мальчиков ничем не отличалась от жизни взрослых воинов. Так прошли три недели.

Объявляя долгую осаду, князь Всеволод надеялся, что в городе мало съестных припасов. И действительно, откуда бы им взяться — подвоза из Владимира не делалось уже давно, а крестьянские поля в разоренных самим же Ярополком окрестностях лежали в запустении, поросшие полынью и лебедой. В этом была видна вся сущность князя Ярополка, знавшего в жизни одно: напасть, ограбить, а думать просто о жизни с ее заботами и хлопотами считавшего делом, недостойным князя. Не стоило, значит, Ярополку обижаться на то, что судьба в конце концов загнала его в ловушку, и пусть он еще огрызается, но дни его сочтены.

В Торжке начался свирепый голод. Во время обеда в стане великого князя все население поднималось на стены и смотрело сквозь прорези бойниц голодными глазами. Жители Торжка больше не выкрикивали обидных слов. В городе не топились печи — кончилось зерно, и печь хлеб стало не из чего.

Однажды Добрыня увидел поразившую его картину: со стены кто-то сбросил веревку с крюком на конце и, подцепив валявшийся уже несколько дней под стеной раздутый труп лошади, пытался втащить его наверх. За веревку сильно тянули, но лошадь на полдороге сорвалась с крюка и упала вниз, лопнув и, очевидно, подняв такую вонь, что больше ее не беспокоили. Наверно, жители так оголодали, что хотели ее съесть, подумал Добрыня, и сам себе не поверил. Рассказал обо всем увиденном Юряте. Тот, несмотря на такое страшное дело, даже будто обрадовался.

— Что ты, сынок? Неужто правда? — спросил Юрята и, перекрестившись, добавил: — Ну, слава Богу, теперь, значит, скоро осаде конец. Домой поедem. Надо государю доложить. — И направился к княжескому шатру.

Было ясно: долго Торжку не продержаться.

На исходе следующей недели жители перевязали дружину князя Ярополка и его самого и открыли ворота. Страшно было глядеть на толпы голодных людей, хлынувшие из городских ворот к стану владимирцев просить хлеба. Остановить их смогли только выставленные копыя. Многие с радостью соглашались стать пленниками в обмен на миску пищи, хлебную корку. Их кормили, связывали и готовили к отправке во Владимир. В плен брали, однако, не всех, а

тех, кто покрепче, их было более тысячи. Остальных жителей ждала не менее суровая участь — они оставались зимовать в Торжке, сожженном по приказу Всеволода почти до основания. Великий князь был разгневан на город, оказавший ему такое упорное сопротивление, он приказал разрушить и сжечь внешнюю стену, а от нее уже огонь пошел по всему Торжку, и тушить пожар было некому.

Князь Ярополк, как и хотел Всеволод, был закован в цепи и посажен один в телегу на солому, даже не прикрытую дерюжкой.

Сворачивали стан, грузили добычу, взятую в Торжке. Неожиданно много оказалось серебра, дорогих тканей, посуды, женского узорочья, камней — все это, несомненно, было плодом разбойной деятельности Ярополка и хранилось в подвале его дома. Не только мстить великому князю, значит, заставляла Ярополка браться за оружие — грабил он и купцов на торговых путях, и незащищенные селения на своей же земле. Пока укладывали все это, порешив делить во Владимире, минуло три дня.

Добрыня и Бориска в эти дни были предоставлены самим себе. Все дела, связанные с добычей, касались только взрослых, и мальчиков гоняли от возов, чтоб не мешались под ногами. Они от нечего делать сколотили мальчишечью ватагу, в которой Бориска, хоть и не был самым старшим, тут же стал предводителем. Вместе лазали по окрестным лесам, объедались ягодами и орехами, стреляли из луков, ходили смотреть на пленных и князя Ярополка.

Юрята появлялся редко — был при князе. В последний день перед отправкой обозов во Владимир появился особенно озабоченный. Объяснил мальчикам, что они пойдут домой с товарами и полоном, потому что пришли вести тревожные: новгородское войско движется к Торжку. Это грозило настоящим сражением, не то что сидеть в осаде, поэтому Юрята сказал сыновьям, что на этот раз воинской науки с них достаточно.

По правде говоря, мальчикам и самим уже хотелось домой. Жизнь среди воинов, занятых погрузкой добычи, наскучила им, и предстоящее сражение почему-то не казалось тем событием, что развевает эту скуку, а вызвало чувства не очень определенные, похожие на страх. Тем более что в сознании мальчиков войско, идущее на выручку осажденному городу, плохо увязывалось с образом врага. Сборы в дорогу не заняли много времени, и на следующий день обоз тронулся — сотни возов с добром и пленными, припасами и оружием.

Добрыня и Бориска были при своих возах. Войско под началом великого князя должно было двигаться следом, прикрывая отход.

Дорога домой всегда радостнее, чем дорога на войну. Пусть она кажется более длинной, пусть ее омрачает легкая досада, что тебе по малости лет не довелось сразиться с настоящим противником, пусть, встречаясь глазами с кем-нибудь из пленных, чувствуешь перед ними вину непонятно за что — все равно радость от скорой встречи с родными местами заглушает все другие чувства.

Пять дней заняла переправа через Волгу. На ладьях перевозили пленных, товары, ставили по несколько возов на плоты. Переправившись на свой берег, снова рядили обоз, не трогаясь дальше, потому что великий князь приказал не дробиться на отдельные части, а идти всем вместе. На третий день переправы подтянулось войско Всеволода, не встретивши по пути никаких новгородских полков. Опять ненадолго стали станом на волжском берегу и, окончательно переправившись и урядив возы, двинулись уже к Владимиру.

Разговоры о новгородской рати, будто бы шедшей выручать попавшего в беду князя Ярополка, понемногу утихли. Великий князь ежедневно посылал дозорных на заход солнца — в ту сторону, откуда следовало ждать новгородцев, и каждый день посланные возвращались, докладывая, что никакой угрозы не видно.

Это могло быть хорошим знаком, а могло быть и плохим. Новгород мог простить великому князю Торжок и Ярополка, а мог, науськиваемый Святославом, собирать сейчас большое ополчение и, стало быть, надо скорее возвращаться домой и принимать меры. От Волги двигались уже поспешно и вскоре прибыли во Владимир.

В город вступили, встречаемые с великим торжеством. Казалось, все население приветствовало великого князя: толпы людей стояли вдоль дороги, ведущей к Золотым воротам, на городских стенах махали шапками тысячи людей. Звонили колокола надвратной церкви, и над всем городом плыл торжественный звон, какой бывал только во время больших праздников. Несмотря на возникшую опасность войны с Новгородом, великий князь и все его войско пребывали в радостном состоянии духа. Всеволод приветливо кивал горожанам, падавшим на колени перед своим государем. В толпах встречавших дружинники узнавали знакомых, родных. Вроде бы полки не ломали строя и никто не смешивался, но многие, пройдя через ворота, оказывались уже

крепко навеселе. Впрочем, в такой день ни сотники, ни во-евода не обращали на это внимания.

Добрыня с Бориской тоже наслаждались встречей. Они конечно же надели на себя, невзирая на жаркий день, все свои доспехи и оружие и ехали рядом, устаиваясь по дороге многих одобрительных замечаний, иногда весьма смущающих.

Два юных красивых отрока на красивых конях действительно вызывали у жителей и особенно жительниц, встречавших войско, большое любопытство. Одна молодуха, например, указав подружкам на Бориску, громко объявила, что у такого хорошенного ратника наверняка и сабелька такая же. Бориска покраснел и долго потом оглядывался на смеющихся девушек, пытаясь разглядеть получше ту, которая такое про него сказала.

Добрыня же все такие лукавые замечания принимал просто за выражение народной любви. Ему казалось, что все вокруг должны сейчас чувствовать то же, что и он: ту самую знакомую дрожь в горле от сознания себя единым целым со всеми, любовь ко всем и счастье, что ты русский и этого никто и никогда у тебя не отнимет.

Юрята, когда войско с обозом втянулось в город, оставил великого князя и присоединился к сыновьям: ему хотелось, чтобы они подъехали к дому все вместе. Поскольку Всеволоду тоже не терпелось скорее увидеть княгиню и дочерей, он отпустил подручника, которому хотел было поручить распорядиться добычей.

Следовало разместить пленных жителей Торжка и взятые товары на княжеском дворе, переписать все ценное для дальнейшего дележа: каждый дружинник, участник похода и осады должен получить равную со своими соратниками долю. Дележ назначил великий князь на послезавтра, и об этом было сообщено дружине. Распорядителем имущества и пленных Всеволод взамен Юрята назначил кравчего Захара. Кравчий с радостью встретил государя на княжеском дворе и весьма доволен был поручением. Тут же собрал подчинявшуюся ему дворню и послал в город за многочисленными родственниками, чтобы помогали. Может, так и вправду было лучше, чтобы одни брали добычу, а распоряжались ею другие.

На послезавтра был назначен и большой пир великого князя с дружиной и боярами, а также угощение горожан. Захару Нездиничу предстояло много дел, и он занялся ими с великим рвением.

Дружинники разошлись по домам. Великий князь уже в княгининых покоях наслаждался встречей с женой и до-

черьми. На какое-то время кравчий Захар становился самым главным в окрестностях княжеского дворца. Он тут же начал пользоваться этим главенством: до самого вечера размещал пленных, скот и добро, а с наступлением сумерек уселся со своей родней составлять общую опись добытого, без стеснения обсуждая, сколько он может присвоить лично себе и сколько дать родственникам. Нездинич не знал, что опись добычи уже была у Юрята. Тот нарочно не сказал об этом кравчему, чтобы после, желательно в присутствии великого князя, сравнить оба списка — свой и Захаров. Юрте не нравился кравчий Захар, пользовавшийся расположением Всеволода. Раньше великий князь не терпел рядом с собой людей, подобных Захару — всегда стремившихся угодить, а на деле угождавших только себе, и подлинную службу великому князю полагавших только в непрестанной лести.

Юрята с мальчишками уже был дома и готовился пойти в баню. Сидел на широкой лавке возле печи, сняв доспехи, оружие и сапоги, думал, как лучше: сначала помыться с Любавой, а потом запустить Добрыню с Бориской, или пожертвовать супружеским удовольствием ради отцовского — попариться с сыновьями, а потом сесть за стол. Решил, что Любава подождет, и выбрал мальчишек.

Через час они уже втроем охлестывались дубовыми веточками, кричали и охали от жара, смывали с себя многодневную походную грязь, хохотали над шутками Бориски, смущением Добрыни, когда он, выскочив на минутку остудиться в предбанник, наткнулся на Маляву, молодую девушку-рабыню, которая принесла им бадейку с квасом.

А в доме готовилось праздничное угощение, полагавшееся ратным людям, вернувшимся с войны. Счастливая Любава вместе с девушками и Ульяной накрывали стол скатертью, уставляли его всевозможными закусками и, хотя скоро блюда ставить было уже некуда, расстраивались, что вроде многого еще не хватает для такого праздничного случая. Хлопоты прекратились только тогда, когда Юрята, Бориска и Добрыня степенно, как и подобает мужчинам, уселись за стол, помолившись, и воздали должное вкусной домашней пище. Любава влюбленными глазами глядела на то, как весело едят ее мужички. Ради удачного возвращения сам Юрята налил мальчикам по чаше меда, велел, однако, как следует поесть сначала. От выпитого хмельного напитка ребята слегка осоловели, но бодрились, особенно старался Бориска, все порывавшийся рассказать о девушке, так смешно говорившей о нем сегодня у городских ворот, но

так за весь вечер и не решился, удивлялся только про себя, что воспоминание об этой девушке стало особенно ярким, когда выпитый мед побежал по рукам и ногам и ударил в голову, и само это воспоминание тоже было как хмель.

Бориска пообещал себе, что найдет эту девушку, и тут же почувствовал, как слипаются глаза. Добрыня тоже сидел, борясь со сном, и даже не обращал внимания на Малаву, прислуживавшую за столом и украдкой поглядывавшую на него. Наконец Юрята заметил, что сыновей одолевает сон, и отправил их спать. Вскоре и Любава поднялась к себе в спальню. Юрята посидел еще немного, выпил меда, закусил ядреным моченым яблоком, подождал, пока уляжется пища и пройдет немного времени, пока Любава там, наверху, приготовит постель, и только тогда поднялся к ней.

— Соскучилась я без вас, — спустя час говорила Любава, устало прижавшись к плечу мужа. — Без тебя соскучилась. Теперь-то надолго ли ты вернулся? Не будет ли опять войны?

— Разное говорят, — отвечал Юрята. Ему было так хорошо, что не хотелось сообщать жене о предстоящей войне с Новгородом.

ГЛАВА 19

Вместо большого ополчения из Новгорода прибыло большое посольство.

Весть об осаде и взятии Торжка одновременно дошла до новгородской дружины, возглавляемой князем Владимиром Святославичем, и до новгородских жителей. Владимир Святославич вместе со Святославом, отцом своим, в то время охотился в окрестностях Пскова.

Досягательство Всеволода на Торжок Святослав расценил как прямой вызов лично ему и продолжение войны, поэтому тут же велел сыну идти воевать с владимирцами. Новгородская дружина отправилась защищать свою землю. Поскольку сил у Владимира Святославича для войны с великим князем было недостаточно, войско отправилось сначала в Новгород — собирать новые полки.

Прибыв в свой город, князь Владимир Святославич, к досаде и удивлению, не увидел того гнева, что так легко обычно охватывал новгородских граждан, когда они узнавали о нанесенных им обидах. На этот народный гнев князь Владимир сильно рассчитывал, втайне от отца надеясь с помощью новгородцев разбить Всеволода, то есть совершить то, чего не смог добиться Святослав с огромным войском.

Новгород же, казалось, был мало озабочен падением Торжка и бедствиями Ярополка. Посадник, тысяцкий и знатнейшие бояре в ответ на требование своего князя Владимира Святославича немедленно собирать большое ополчение отвечали уклончиво: да, конечно, надо бы наказать князя Всеволода за беспримерную дерзость, да вот только дел много, и средств на войну мало, и люди воевать не хотят. Князь Владимир Святославич опасался показать влиятельным новгородским мужам свое недовольство — знал, что криком и угрозами с этими людьми ничего не добьешься.

Он решил действовать по-другому и приказал собирать вече на Ярославовом дворище — месте, где со времен Ярослава Мудрого решались самые важные государственные дела. На таком вече, думал Владимир Святославич, новгородцев легко будет зажечь призывом к защите их исконных вольностей, ущемления которых со стороны Всеволода Новгород давно опасался. Князь Владимир был совершенно уверен в успехе, так как за ним стоял его отец — великий Святослав, старший среди всех Ольговичей. Волей или неволей, но свободолюбивые новгородцы должны будут подчиниться.

Получилось же совсем по-другому. Большое вече выслушало речь Владимира Святославича в неприятном для него молчании и откликнулось на нее весьма неожиданно. Один за другим выступали знатные горожане, бояре, и все, как один, высказывали общее мнение: Новгороду не обойтись без сильного заступника и покровителя. Князя Святослава же новгородцы таким заступником считать отказались. Открыто сравнивали Святослава и Всеволода, рассуждали о действиях того и другого в последние годы. При явном одобрении огромной толпы граждан, собравшихся на вече, Святослав был признан слабодушным и вероломным властителем, Всеволод же, как государь юный, твердый душой и могущественный, объявлялся чуть ли не благодетелем Новгородской земли. К тому же Святослав находился далеко, в Киеве, а Всеволод был соседом. Благодаря Святославу, не гнушавшемуся нанимать поганых, Новгород видел их у себя, и многие жители от них пострадали. Всеволод же не только не нанимал половцев, но мог считаться надежным защитником от них в дальнейшем. И вообще род Мономаховичей был предпочтительнее рода Ольговичей, ведь новгородцы еще не забыли светлых дней княжения Мстислава Храброго, спасшего их от литвы и чуди.

Кончилось тем, что прямо на вече князю Владимиру Святославовичу было предложено возвращаться к отцу, по-

кинув новгородский стол, и передать Святославу, что Новгород больше не признает его своим господином и отныне заключает союз со Всеволодом Юрьевичем. И тут же, в присутствии своего, уже теперь бывшего, князя, новгородцы стали выбирать послов во Владимир — бить челом Всеволоду, просить его дружбы и требовать от него себе нового князя.

Посольство отправилось на следующий же день, дождавшись вначале, когда город покинул бывший князь. Владимир Святославич, сгорая от стыда и бессильного гнева на новгородцев и почему-то на родного отца, князя Святослава, покинул город ранним утром, чтобы как можно меньше людей на городских улицах увидело его позор. Он ехал, думая, что скажет Святославу, как оправдывается перед грозным отцом за потерю Новгорода — такого лакомого куска, владение которым столь тешило Святославову гордость. Ошибался Святослав — никто этими людьми владеть не может, управляет ими лишь их собственная воля, и за эту волю теперь ему, Владимиру Святославичу, предстоит расплачиваться. Из владетельного князя, повелителя огромного, древнейшего на Руси княжества, он опять становился княжичем, находившимся в полном подчинении отца. Ему приходилось возвращаться в южные земли, раздираемые усобицами, поделенные между многочисленными Ольговичами и влиятельными смоленскими Рюриком и Давидом — отцовскими противниками, которые могут не позволить ему, Владимиру Святославичу, спокойно сесть в каком-нибудь небольшом днепровском городишке. Незавидная доля...

Новгородские послы прибыли ко двору Всеволода Юрьевича спустя две недели: быстрее двигаться посольству было нельзя, степенность их продвижения по Суздальской земле должна была подчеркнуть их дружеские намерения, поэтому много времени посольство уделяло разъяснениям всякому, кто имел право интересоваться целью их появления, куда они едут и зачем. Кроме того, послы должны были впереди себя пустить благоприятные о себе слухи, чтобы по прибытии во Владимир быть встреченными доброжелательно.

И они были приняты с почетом. Всеволод принял их ласково, задал пир в честь такого важного события, не скупился на похвалы Новгороду и совсем очаровал послов. Те требовали себе князя, винулись перед Всеволодом за то, что по глупости своей не принимали его дружбы и давали приют его врагам, ругали Святослава и сына его, обещали вечно служить великому князю как отцу своему и благодетелю.

Свои благодеяния Новгороду Всеволод начал оказывать сразу же: велел освободить и отпустить всех пленных жителей Торжка, вернув им часть имущества, выдав телеги и коней, наградив каждого за перенесенные лишения серебром и шкурками. Эти затраты были весьма полезны, во всяком случае — пока. Всеволод знал, что благодарность живет в людских сердцах недолго, но вернувшееся в Новгород посольство не должно было по пути забыть о щедрости и великодушии великого князя и сообщить о том новгородцам. Послы также получили весьма дорогие подарки.

Великий князь был доволен. Он еще раз мог убедиться в правильности своих действий: Новгород подчинился ему без войны. Не стоило, конечно, обольщаться на этот счет, дружба Всеволода с новгородцами только начиналась, ее предстояло долго еще укреплять, и, зная непостоянство новых друзей, великий князь мог ожидать всякого. Но все равно на душе было радостно.

Начиналась новая жизнь — на какое-то время можно было забыть о войнах и междоусобных расприх и просто наслаждаться покоем и семейным счастьем. Князем в Новгород Всеволод послал свояка, Ярослава Владимировича, жившего в Суздале.

Сей князь, хоть и был внуком Мстислава Великого и приходился Всеволоду свояком, отличался необыкновенной глупостью. В свое время самовластец Андрей Боголюбский, как и брата, Всеволода, женил его на племяннице богемского князя Шверна, полагая этим укрепить родственные связи с западными владетельными мужами. Но из этого так ничего и не вышло: князь Ярослав Владимирович, не в силах понять, что от него требуется, вернулся в Суздаль, где и жил с тех пор. Супруга его Анна, двоюродная сестра княгини Марьи, казалось, тоже поглупела от общения с мужем. Во всяком случае, Марья, раньше любившая Анну, теперь совершенно к ней охладела и ограничивалась посылкою сестре небольших подарков к праздникам. Когда Всеволод укрепился на владимирском столе, его свояк стал намекать, что неплохо бы часть великокняжеского бремени переложить на его, Ярослава Владимировича, родственные плечи. На каком основании? На том основании, что раз они со Всеволодом женаты на сестрах, то и править Русской землей должны вместе и особенно — пользоваться плодами этой земли. За просьбами свояка явно стояла воля его супруги, потому как Ярослав Владимирович до такого не додумался бы. Всеволоду пришлось поставить его на место, так же намекнув, что присутствие Ярослава Влади-

мировича в столице великому князю неприятно. И с тех пор свояк тихо жил в Суздале с супругой и немногочисленной дворней, ни во что не вмешивался и ничем не тревожился — бурные события последних лет его миновали, так как великий князь ни разу не потребовал от свояка какой-нибудь службы.

И вот теперь служба потребовалась, да какая! Достойная самых великих мужей, славившихся умом и храбростью, требовавшая особых качеств, присущих прирожденным государям. Разумеется, ни одним из таких качеств Ярослав Владимирович похвастаться не мог. Но Всеволод выбрал именно его.

Дружба с Новгородом у великого князя только начиналась. При всех заверениях новгородского посольства в вечной покорности Всеволод понимал, что его отношения с вольнолюбивым городом пока строятся по желанию самих новгородцев: мы тебя, великий князь, попросили — ты нам дал. Через некоторое время Новгород передумает и скажет: заberi, великий княже, от нас своего ставленника. Так пусть уж этим ставленником будет такой, какого не жалко. Всеволоду нужны были совсем другие отношения с Новгородом: я пожелал видеть на вашем столе такого-то князя, и вот я вам его даю. Гордых новгородцев следовало приручать постепенно. И князь, если уж он поставлен в Новгороде из руки Всеволода, должен ему быть во всем послушен, а главное — лишен способностей затевать козни против своего повелителя. Так что лучше князя Ярослава Владимировича и не придумаешь. Всеволод вызвал его из Суздаля, ошарашил приятной новостью, и вскоре новый новгородский князь, сопровождаемый посольством, отправился в путь — занимать древний княжеский стол.

Как только Ярослав Владимирович утвердился в Новгороде, Всеволод решил помириться со Святославом. Сын Святослава Глеб до сих пор содержался в темнице, в том самом помещении, где сидел Глеб Рязанский. На этот раз по приказанию великого князя на узника были надеты цепи, это говорило о том, как разозлен был Всеволод коварством Святослава. Теперь же злиться больше не стоило. Глеб Святославич был раскован, выпущен из темницы, обласкан и щедро одарен.

Однако Всеволод не торопился отправлять Глеба Святославича к отцу в Киев. Не нужно, чтобы это выглядело как обычное вызволение узника из темницы, совершенное по государевой воле. Глеб должен был вернуться к Святославу как друг Мономаховичей, еще лучше — как родственник.

Поселив Глеба в своем дворце, окружив его слугами, позволив ему охотиться в окрестностях Владимира, для чего старший княжеский ловчий Прокша поступал в распоряжение гостя, великий князь всячески оттягивал отъезд. Надо сказать, Глеб быстро понял: такой роскошной жизни, какую он ведет здесь, у Святослава ему не видать, и сам не особенно рвался домой. Тем временем Всеволод занялся поисками невест для Святославовых сыновей: с врагами следовало породниться. Святослав стар, и после его смерти останется много бойких наследников. Всеволод, заглядывая в будущее, думал не о Святославе, а о его сыновьях, с которыми ему предстояло жить в соседстве. Один из сыновей Святослава — Владимир — уже был женат на племяннице Всеволода. Та же участь — породниться с великим князем Владимирским — должна была ожидать и других Святославичей.

Невеста для Глеба вскоре нашлась, ею стала дочь Рюрика Ростиславича. Великому князю было непросто убедить Рюрика: еще на остыли обиды, нанесенные ему и Давиду Святославом. Но желание укрепить мир оказалось сильнее обид, и Рюрик Ростиславич дал свое согласие.

Невесту для другого Святославового сына подсказала Всеволоду жена. У отца Марьи, князя Шварна, было несколько дочерей, и сейчас как раз подросла младшая — Христина. Самое время жениться настало и для младшего Святославича — Мстислава. Этот брак мог иметь далекие последствия, благоприятные для Всеволода, и теперь уже можно было опасаться несогласия Святослава: захочет ли тот столь близкого родства с владимирским князем? Разговорам о браке предшествовала переписка. Всеволод уверил Святослава, что забыл бывшую между ними вражду, хочет жить в дружбе и любви, не посягает на Киев; последнее было хорошо известно Святославу, кроме того, ему льстило, что непобежденный Всеволод сам предлагает породниться, в глазах Ольговичей это могло скрасить неудачи, которые потерпел от владимирского князя Святослав, — проигранную войну и потерю Новгорода. Святослав согласился.

В конце зимы 6690 года в Киеве были заключены оба брака.

Хотя Всеволод на свадьбу не поехал, незримое его присутствие ощущалось всеми. На свадебных пирах владимирские послы, объявляя о том, какие подарки прислал Всеволод молодым, неизменно провозглашали здравицы в его честь, и вообще, несмотря на присутствие Святослава, Рюрика и других Ольговичей, выглядели едва ли не главными гостями.

Пробыли в Киеве, однако, недолго и вскоре отъехали во Владимир, что могло означать: некогда нам тут с вами бездельничать, ждут нас более важные дела, а именно — служение нашему государю, который вам не чета. Получалось, что все эти киевские торжества — с богослужениями, с широкими пирами — состоялись только благодаря милости великого князя Всеволода Юрьевича.

На Русской земле наступил мир. Мечи были вложены в ножны, горечь обид залита вином и до времени забыта.

Самым старшим и сильным среди всех князей безоговорочно был признан Всеволод.

Для него это было время торжества и зрелости. К своему тридцатилетию он подходил едва ли не самым могущественным и владетельным государем из всех, какие были когда-либо на Руси. Ему подчинялись большие княжества, а те, кто ходил в своей воле, не помышляли о том, чтобы помериться силой со Всеволодом. Он был богат: дань стекалась во Владимир отовсюду. Всего этого Всеволод добился сам. При этом он не проливал понапрасну людскую кровь, не сдирал с подданных семь шкур, не запятнал себя вероломством, коварством, клятвопреступлениями.

Настала пора великому князю подумать о прожитом и свершенном. Доволен ли он? Того ли добился, чего хотел? Только ли могущества, богатства, власти и покоя? И сколько всего этого нужно человеку? И как жить дальше — в роскоши и праздности, подобно византийским императорам, или продолжать стремиться к чему-то недостижимому, не находить покоя и гореть как Божья свеча, подобно князю Мстиславу Храброму?

Приближенные великого князя радовались победе своего государя, народ владимирский ликовал: всем было ясно, как распорядиться хорошей жизнью, которая наступила благодаря Всеволоду. Крестьянам — пахать землю, сеять и убирать хлеб, боярам — жиреть и богатеть, собирая налоги с крестьян. Священникам — служить Господу, крестить и отпевать прихожан, прихожанам — молиться в церквах, рождаться и умирать, когда придет срок. Златокузнецам — выделывать хитрые узорочья, а красавицам их носить. А что делать стоящему над всем этим великому князю — пить, есть, охотиться и ждать смерти?

Лишившись врагов, Всеволод словно потерял видимую цель в жизни. Пока ему грозила опасность, сомнений не было: в преодолении этой опасности великий князь видел свой долг и предназначение. Нынче, примирившись с врагами, он растерялся. Мысль о том, чтобы стать единовла-

стным государем всей Руси, больше не приходила к нему: Всеволод понял, что будь он и вдесятеро сильнее и проживи хоть два века, хоть три — все равно этого не добьется. Да и для кого стараться? Сыновей у него нет, потратить он всю жизнь на завоевание соседних княжеств — кому это все достанется после его смерти?

Зима прошла, наступило лето, принесло обычные летние занятия: выезды на охоту с дружиной, боярами и княгиней, игры на открытом воздухе — долгие, шумные, с песнями, величаниями и славословиями. Великий князь, как замечали все, предавался развлечениям не с той страстью, что раньше, был задумчив. Охотно возвращался домой под разными предложениями.

Стал много читать. Особенно часто перечитывал греческие сказания, описывавшие жизнь Александра Македонского, какое-то время только о нем и говорил. Очевидно, видел в нем душу, родственную своей. Более же всего восхищало Всеволода в Александре не то, что он мечом своим завоевал огромные пространства, а что когда-то, разглядев главную опасность для мира в многочисленном потомстве колен Измаиловых, ополчился на них, изгнал далеко в северные пределы и там заточил всех в горе высокой. Об этом можно было думать как о сказке, но уж очень походило на правду. Откуда-то ведь берутся поганые? К тому же — пророчество Иезикииля, гласящее: придут от стран полунощных на землю Израилеву Гог и Магог.

Прошло лето, осень, наступила зима. Чтения стало больше, и времени для размышлений прибавилось. У великого князя стала понемногу зреть мысль о походе на соседних поганых — волжских булгар. К весне мысль окрепла и превратилась в желание.

Всеволод начал готовиться к войне. Помимо тайной причины, толкавшей его к этой войне, о которой кроме самого Всеволода, может, знала лишь княгиня Марья, существовало еще несколько причин, и они делали предстоящую схватку с Гогом и Магогом неизбежной.

Причина первая: следовало напомнить о себе. К сожалению, без войны князь не мог достигнуть славы, ему улея хозяйственная деятельность, цветущие города, сытый и довольный народ в расчет не принимались. Русь, признавая Всеволода могущественнейшим из князей, ждала от него подвигов, соразмерных его величию.

Причина вторая: земли, лежавшие на восход солнца, очень привлекали Всеволода. Там текли огромные реки, высились могучие тысячелетние леса — благодатный край

для русского человека! И кроме того, расширять свои владения можно было лишь за счет этих земель.

И третья причина, самая главная. Вооружаясь в течение нескольких лет для защиты от врагов, Всеволод собрал огромную дружину. В мирное время тысячам дружинников приходилось существовать на жалованье, и хоть оно было немалым, все же возможная военная добыча, ожидавшая его в богатой болгарской земле, не давала покоя.

Все настойчивее дружина требовала от великого князя войны. Воевода Ратишич предупреждал Всеволода, что настрояния в войске ненадежные. Многие открыто призывали начать войну, а именно поход на поганых, и если князь почему-либо откажется, собирались сделать это без князя. Имена особо рвущихся в бой подстрекателей были известны, но что толку? Утихомирить одних — начнут мутить воду другие. Вдобавок содержание такого большого войска понемногу опустошало государеву казну, а в мирное время ее можно пополнить только новыми поборами с населения — значит, вслед за дружиной недовольство начнет проявлять и весь народ. Поход был решен и назначен на лето.

Дождаться лета Всеволод хотел, чтобы впервые попробовать провести войско по реке — на ладьях, как он давно задумал. Для этой цели было построено несколько сот вместительных судов, которые ждали своего часа.

Как только вопрос о войне решился, задумчивости у великого князя как не бывало. Он повеселел, стал деятельным. Сам готовил дружину, вникая во всякую мелочь. Написал Святославу, прося прислать сыновей для святого дела — войны с погаными. Святослав прислал сына Владимира, того, что был женат на Всеволодовой племяннице. «Дай Бог, брат и сын мой, — писал Святослав, — в наши дни сотворить нам брань на поганых». То, что Святослав написал «в наши дни», особенно понравилось Всеволоду, потому что отвечало его душевному движению. Давид Смоленский прислал сына. Из южного Переяславля прибыл юный племянник великого князя, Изяслав Глебович. Глядя на племянника, горевшего страстью сразиться с врагами земли Русской, Всеволод вспоминал себя в таком же возрасте, — а Изяславу было пятнадцать лет. Почему-то именно Изяславу великий князь поведал свои тайные мысли: целую ночь просидели они в покоях Всеволода, и юный князь горячо соглашался с рассуждениями о высоком предназначении, соглашался с тем, что русское оружие должно служить русским, а не убивать их, — и верил в Гога и Магога.

Всеволод очень любил племянника и решил во время похода последить за ним — чтобы не лез в пекло.

По велению своего государя явились во Владимир рязанские князья — Глебовичи. Им воевать не хотелось, к тому же было видно, что между собой они в ссоре, — никак не могли поделить вотчинные земли, но деваться некуда: великий князь приказал — и пришли, приведя с собой сотни по две конных.

Когда лето было в разгаре, войско под началом Всеволода тронулось в путь. На ладьях плыли долго, наконец, будучи уже в болгарской земле, решили идти сухим путем. При впадении в Волгу небольшой речки Цевцы обнаружили большой остров, там и оставили все ладьи и с ними для охраны белозерскую дружину, помогли ей разбить стан для отражения возможных нападений врага и дальше двигались уже на конях, держа путь в Великому городу. Так называли свою столицу здешние болгары, сами прозываемые «серебряными».

Великий князь впервые был в тех местах, как и большинство князей и дружинников, идущих с ним. Но, наверное, лишь у одного великого князя сердце билось с таким волнением: впереди достойная цель, сам Александр Македонский не мог бы желать лучшей. Всеволоду рассказывали о булгарах, об их большом городе, и он вполне верил рассказам, только про себя думал, что стоит ему самому взглянуть на поганую твердыню, как зрением души он увидит то, чего не разглядели другие. Он обязательно узнает во врагах не просто врагов, а ту темную силу, против которой ему самой судьбой предназначено поднять меч. До Великого города оставалось каких-нибудь два-три дня пути.

Через день в степи была замечена конница. Далеко — не разглядеть чья. Вот они, подумал Всеволод, и отдал приказ изготовиться к бою. Сам для такого случая надел доспехи, окольчуженный шлем, велел своему немому телохранителю приглядывать за юным князем Изяславом. Собирался первым броситься вперед. Войско также не выказывало колебаний.

От той далекой конницы отделились пять человек и направились к войску великого князя. Всеволод почувствовал раздражение: значит, битва откладывалась, предстояли переговоры, может, торг, не так все должно было получиться. С темной силой надо сразу начинать сражение, не слушать мольбы о пощаде, не поддаваться хитростям, а рубить и гнать ее до полного уничтожения.

Но дело обстояло и вовсе не так, как думалось. Подъехавшие пятеро оказались обычными половцами-куманами,

к тому же сносно говорившими по-русски. Спешились, упали на колени перед Всеволодом и объявили, что они воины хана Емяка-обы, ведет их на Великий город один болгарский князь, чтобы отомстить родичам за какие-то обиды. И этот князь болгарский просит позволения служить такому большому войску и готов встать под начало большого князя.

В это мгновение Всеволод почувствовал себя будто просыпающимся от стыдного сна, когда первым желанием становится оглянуться, посмотреть — не видел ли кто только что происшедшего со мною во сне? Вот тебе и силы адавы! Все здесь точно так же делается, как и на Руси. Так же режут друг дружку князья-родичи, так же готовы нанять себе в помощь хоть самого черта, так же становятся под чьи угодно знамена, если воевать можно с выгодой.

Нет, понял Всеволод, если этих несчастных болгар, затворившихся сейчас, наверное, в своем Великом городе, считать силами тьмы, то тогда надо воевать со всей Русской землей. Просто все везде одинаково. Может, где-то получше, где-то похуже, но суть одна. Всеволод понял, что никакой священной войны нет, а идет обычный военный поход за добычей. Надо же куда-то дружину водить, чтоб не застоялась.

Он тут же потерял к походу всякий интерес. Однако отменить поход было нельзя, да и не стоило, раз прошли такой долгий путь. Булгарскому князю с его половецкими наемниками было милостиво разрешено присоединиться к войску великого князя Владимирского. Восхищение болгарина и Емяковых воинов — о, они, конечно, слышали про великого князя — не польстило самолюбию Всеволода. Он уже забыл о своих мыслях, мучивших его почти целый год. К счастью, он умел быстро забывать, если хотел: сумел справиться и со стыдом за самого себя — чего только не придет в голову от безделья, хорошо еще, что никто не знает об этом. Он понял, что и болгарский князь, и хан Емяк вполне могут как-нибудь сговориться и пограбить его вотчину или рязанские уделы, и надо бы им внушить, что дело это безнадежное и гибельное.

Великий город серебряных болгар, открывшийся перед войском Всеволода, выглядел как все города, приготовившиеся к осаде: закрытые ворота, высокие стены, сложенные из камня, без деревянных накатов, как на Руси, но с бойницами. Перед главной городской стеной еще были построены земляные укрепления — невысокие валы, перед ними рвы — преграда для конницы. За каждым валом

поблескивали во множестве шлемы и наконечники копий — болгарская пехота готовилась во всеоружии встретить врага.

Стало ясно, что с лету город не взять. Решили, как обычно, разбить стан и готовиться к долгой осаде. Как только его шатер был поставлен, Всеволод созвал совет: рассудить, как вести осаду, расспросить болгарского князика, что там у них в Великом городе за укрепления, откуда их сподручнее взять и сколько примерно войска может быть на стенах. Булгарский князек готов был отвечать, но тут снаружи послышался шум битвы, и весь совет вышел из шатра — узнать, что происходит.

Всеволод ощутил, как сердце упало: это, конечно, юный князь Изяслав со своими тремя сотнями дружинников не стал ждать окончания совета, ринулся на земляные укрепления. Не уследил за племянником великий князь. Ничем не смог помочь Изяславу и немой телохранитель Всеволода, бросившийся по знаку его спасать юношу. Через несколько минут приступ как бы сам собой закончился, дружина Изяслава откатилась назад, оставив на валу и рогатках несколько мертвых тел и бьющихся лошадей, а самого молодого князя принесли к шатру со стрелой под сердцем. Князь Изяслав хотел оправдать высокое предназначение, о котором ему столько твердил Всеволод, и теперь прощался с молодой жизнью, так ничего и не оправдав.

Для Всеволода война сразу закончилась. Он передал управление войском воеводе Ратишичу, велел внести племянника в шатер и целых десять дней не отходил от него, пытаясь хоть как-то загладить свою вину перед умирающим Изяславом. Осада продолжалась, но попытки приступа больше не было.

На десятый день великий князь велел снимать осаду и уходить. Вид неприступного города уже успел охладить самых рьяных охотников до добычи. Обратно двигались быстро, Всеволод надеялся доставить Изяслава домой живым. Возле того места, где они оставили свои лагери, виднелись следы большой битвы, которую белозерская дружина вела здесь с булгарами, пока все войско топталось под стенами Великого города. Белозерцы разгромили поганых, несмотря на свою малочисленность. Изяслав умер. Он так и не смог ничего больше сказать в своей жизни.

Всеволод с небольшим отрядом сопровождения повез тело племянника во Владимир. Белозерцам приказал гнать лагери обратно, а войско с воеводой отпустил в Мордовскую землю за добычей, чтобы хоть этим оправдать поход.

Во Владимире Изяслава похоронили со всем почетом у соборной Успенской церкви. Вскоре вернулся Ратишич с дружиной, приведя пленных и множество скота. Теперь пути в болгарские земли были дружине ведомы, и ее можно было время от времени туда посылать, чтобы не скучала.

Прошел еще год. Русь, на время забывшую о внутренних распрях, беспрестанно тревожили здешние враги. На западе литва опустошала новгородские владения, и князь Новгородский Ярослав Владимирович, не зная, что противопоставить врагу и как это делается, все больше раздражал и восстанавливал против себя своих подданных — новгородцев.

На юге против половцев объединились Рюрик и Святослав, разбили их, взяв семь тысяч пленных и самого хана Кобяка, которого вскоре казнили на Святославовом дворе в Киеве. Победа была полная, поганые далеко отступили в степь. Еле спасся знаменитый хан Кончак.

Великий князь Владимирский не принимал участия ни в войне с литвой, ни в битве с Кончаком. Когда новгородцы прислали сообщить Всеволоду, что больше не хотят иметь у себя князем его ставленника, Всеволод не почувствовал обиды, которая еще год назад, несомненно, вспыхнула бы в нем от такого известия. Новгород избрал себе в князья сына Давида Смоленского — Мстислава, ходившего со Всеволодом на болгар. Великий князь удовлетворился тем, что Давид спросил у него согласия, прежде чем отпустить Мстислава в Новгород.

Всеволод после неудачи болгарского похода и гибели любимого племянника, которого он хотел усыновить и в чьей смерти винил себя, перестал заниматься умствованиями по поводу великих целей своей жизни. Он стал больше времени проводить с княгиней и дочерьми, уже подростками прелестными девочками, снова увлекся охотой, полюбил бить острой рыбу, часто устраивал пиры, где пил больше обычного, с увлечением слушал рассказы очевидцев событий, происходивших на севере и на юге, и только радовался, что его земель война не коснулась. Он не посылал дружину на помощь союзным князьям, но легко отпускал ее на грабеж Булгарии и Мордвы. Большие дела, казалось, перестали заботить великого князя. Что-то умерло в нем — он это с грустью чувствовал. Ему не было любопытно, что ждет его впереди.

Одно обстоятельство, правда, сразу подчинило себе все помыслы и чувства Всеволода: осенью выяснилось, что княгиня Марья беременна.

Еще одной победой над Киевом явилось поставление во Владимир епископом игумена Спасо-Берестовского монастыря Луки. Единственное, в чем зависел Всеволод от бывшей южной столицы Руси, так это в церковных делах. Только киевские митрополиты, поставленные греческим патриархом, имели право назначать епископов в русских княжеских уделах.

Поскольку митрополит в Киеве был обычно греком, то и старался утверждать епископами своих соплеменников. Присутствие во Владимире киевского ставленника вызывало у Всеволода досаду, потому что он, великий князь, волей или неволей вынужден был подчиняться владыке, навязанному со стороны, пусть хоть и по праву константинопольских патриархов. Всеволод решил этот вопрос неожиданно легко.

Когда митрополит Никифор прислал епископом суздальским и ростовским Николая — грека, великий князь просто выпроводил его и потребовал себе Луку. И давний обычай был сломан. Ни Святослав, ни митрополит Никифор не захотели перечить Всеволоду, и Лука был утвержден. Великий князь поселил его во Владимире и, таким образом, перенес епископский престол в свою столицу, благо Успенская церковь вполне отвечала всем условиям, чтобы считаться епископским кафедральным собором. Правда, Берестовский собор был пятиглавым, а Успенский имел одну главу, но Всеволод уже несколько раз обсуждал с Лукой возможность перестройки собора.

При всей своей значимости победа над киевским митрополитом не принесла бы Всеволоду такой радости, если бы не епископ Лука. Всеволод с детства любил его. Приехав на Русь из Византии мальчиком, он нуждался в опеке, в ласковом слове, особенно после смерти матери. Лука, уже тогда игумен спасо-берестовский, часто бывал в Чернигове, в Киеве, ему пришлось по сердцу юный княжич, и они очень подружились. С той поры Лука почти не изменился — был все такой же худенький старичок с необыкновенно добрым лицом, не способный никому сказать худого слова.

Правда, виделись они с великим князем редко: епископ Лука не оставлял своим вниманием ни суздальскую, ни ростовскую, ни переяславскую епархии и постоянно находился в разъездах. Со Всеволодом же старался встречаться больше по делу: когда надо было передать государю чью-нибудь жалобу, попросить помощи в строительстве церкви где-нибудь под Ярославлем или если великий князь, соску-

чившись, сам звал к себе епископа — просто посидеть, поговорить, как встарь. Лука считал нескромным докучать Всеволоду, пользуясь давним знакомством и дружбой.

Сегодня, однако, причина для того, чтобы находиться в княжеском дворце, была значительная: с утра у княгини Марьи начались схватки, не очень сильные и с перерывами, но судя по тому, что сроки уже пошли, нынче княгиня должна была родить.

Утром епископ Лука в присутствии великого князя и знатнейших мужей владимирских отслужил молебен о благополучном разрешении от родов рабы Божией Марии и теперь находился вместе со Всеволодом на княжеской половине, всячески успокаивая великого князя, который с самого утра, узнав о том, что княгиня рожает, впал в угнетенное состояние. Непонятно было, отчего государь так переживает, ведь княгиня рожала не в первый раз. Таким подавленным Всеволода не видели еще ни разу.

— Что, княже, тоскуешь? — говорил ему Лука, с трудом удерживая желание погладить его по голове. — Радоваться надо, а ты печалишься. Подумай, радость-то какая!

— Я радуюсь, отец Лука. — Всеволод называл епископа, как привык с детства. — Мне Марьюшку жалко. Ох, как они кричат, когда рожают.

— Немножко кричат, да. Так и младенец кричит, как на свет появляется.

— А я ведь спрашивал ее: больно это бывает? Нет, говорит, не больно. Смеется.

— Это страдание Господь посылает во искупление грехов наших. Сказано: рожать будешь в муках, — сказал Лука и тут же пожалел о сказанном. Истина эта хотя и священная и незыблема, а Всеволод ждал от него каких-то других слов. — Недолго осталось, — успокаивающе произнес Лука, — потерпи, княже. — И не удержался, погладил Всеволода по голове.

Великий князь тут же отозвался на ласку, потянулся к старику. Тот обнял его, поцеловал в лоб. Перекрестил.

— Что ты, княже? Слезы у тебя. Ах ты Господи, — растроился Лука. — Не надо плакать, сынок.

Всеволод закрыл лицо руками, посидел так немного, потом справился с собой, вытер глаза.

— Не буду плакать, отец Лука. Расскажу тебе, что меня мучит.

— Расскажи, Расскажи, сынок. Кому же, как не мне?

— Сына я хочу, отец Лука, — выдохнул Всеволод. — Уже скоро пятнадцать лет, как жду, а Господь не дает нам с

Марьюшкой. Ты, отец Лука, меня с детских лет знаешь. Помнишь, какой я был? Ни отца, ни матери, из милости жил при князьях. При Святославе твоём. А теперь? Захочу — и Святослав в моей воле ходить будет. И все будут. А только, отец Лука, — Всеволод тоскливо поглядел на епископа, — я не хочу. Зачем мне все это? — Он обвел руками вокруг. — Ты же сам говорил: не земных богатств надо стяжать, а небесных. Но, впрочем, богатства земные — вещь хорошая. Но это пока я жив. А умру?

Лука внимательно слушал князя. Он умел слушать, глядя на собеседника добрыми, словно просящими глазами.

— И я вот как положил себе, отец Лука, — продолжал Всеволод. — Если не даст мне Бог сына — отпущу всех. Оставлю себе Дмитров и там тихо доживу свое. А Владимиром пусть Святослав владеет.

— Что говоришь, княже? Опомнись! Да ты ли это?

— Пусть Святослав, или сыну какому своему отдаст. У всех сыновья есть. Пусть берут, может, друг друга меньше резать станут. У них вся жизнь — в стяжательстве. А мне и копить не для кого.

— Замолчи, князь Всеволод! — вдруг жестко сказал Лука.

Всеволод взглянул удивленно — никогда еще не слышал, чтобы старик так разговаривал.

— Я этих слов от тебя не слышал, а ты их не говорил, — по-прежнему сурово произнес Лука. — Слушай лучше, что я тебе скажу.

Всеволод притих, недоверчиво смотрел на старика. Что мог тот сказать ему, столь много и горько размышлявшему о своей жизни? Любые слова, любые утешения жизнь опровергает с легкостью, и то, что ты считаешь добром, оказывается злом, возвышенное — низменным, и раз в конце всего находится смерть, то не это ли доказывает тщетность всяческих слов и устремлений.

— Послушай меня теперь, князь Всеволод Юрьевич, — сказал Лука. — Ты ведь меня знаешь, я мудрствовать не люблю, и слова мои будут простые. Живу я на свете долго и многое повидал. И больше всего видел, как нарушаются заветы Господа нашего. Князя Святослава знаю, и брата его Ярослава, и всех Ольговичей. Видел я, как гибнет земля наша. И не надеялся дожить до светлого дня. Ну, я — монах, мне легче. За весь род людской молиться не трудно, а о себе я мало заботился. Думал — доживу себе спокойно игуменом, выслужу царствие небесное.

Лука помолчал и снова подобрел лицом.

— И вдруг ты, княже, сел на владимирский стол. И врагов своих разбил, и сам укрепился. Мне, князь Всеволод

Юрьевич, — поверишь ли — будто солнышко в жизни засияло. Ведь я тебя помню с малых лет, знаю хорошо и люблю как сына. Прости мне, княже, дерзость мою, — улыбнулся Лука. — И в Киеве и в Чернигове мне много пришлось хулы на тебя услышать. А мне то и в радость: ругаются, думаю, князья, значит, нашлась на них управа! Тебе ли, князь Всеволод, печалиться? Ты — всей Русской земли надежда. Ты ей пропасть не даешь, врагов в страхе держишь. Нынче обиженному есть у кого защиты просить, злого и жадного есть кому наказать.

Лука встал, подошел к иконам, поклонился, положил крест. Обернулся к Всеволоду:

— Не себя, княже, слушай, а Русскую землю слушай. Не ради себя живешь, а ради нее. Эка беда — сына нет. Найдешь преемника себе. Да и сыновья у тебя будут, вот помани мое слово. Я денно и нощно Господа стану молить. Ты ведь молодой еще, и княгинюшка твоя молодая. Нарожаєте сыновей — будете жить как в большом гнезде.

— Хоть одного бы, отец Лука, — смущенно сказал Всеволод.

Он понемногу успокоился. Не то чтобы Лука сообщил ему что-то новое. Он и сам знал, как важен для всей Руси. Но одно дело, когда носишь в себе эту уверенность и в любой миг готов с ней расстаться, и совсем иное дело, когда тебе об этом говорят, и знаешь, что не лгут. Старик правду сказал.

— Известное дело — не всех сразу, — засмеялся Лука. — Сначала одного, потом еще.

— Узнать надо, как там Марьюшка, — сказал Всеволод. — Эй, кто там?

Дверь открылась, и мягко вошел отрок Власий, новый слуга из родни кравчего Захара. Что-то много Захаровой родни стало вокруг. Как-нибудь посчитать надо будет.

— Что княгиня? Нового ничего не слышно? — спросил Всеволод.

— Ничего не сказывали, княже. Сказали только — поклон тебе княгиня передает и просит не скучать, — ответил отрок.

— А что же ты мне не передал поклон?

— Беспокоить не хотел, княже.

— Иди узнай. Может, еще чего узнаешь, — велел Всеволод. И когда Власий собрался уходить, добавил: — И еще скажи: кто мне первым весть о сыне принесет, если сын родится, того награжу. Ну-ка, стой!

— Что, княже?

— Святому отцу поклониться забыл.

Власий с готовностью, словно только что заметил Луку, отмахнул поклон.

— Прости, святой отче.

— Бог простит. Ступай, — ласково улыбаясь, сказал Лука. И когда Власий ушел, хитро глянул на Всеволода: — Это чей такой отрок?

— Да Захара, кравчего, сыновец¹ ли, еще ли кто — не упомнишь их.

— А-а, понятно. Ты бы, княже, сходил туда, что ли. Чего здесь сидеть да киснуть. Тут без тебя управятся. Да и обедать пора.

— И правда, — оживился Всеволод. — Что-то есть хочется. Отобедаешь со мной, отец Лука?

— Отобедаю, княже. Я уж сегодня от тебя не отстану, не обессудь.

— Я тебе всегда рад, отец Лука, — сказал Всеволод. — Только знаешь, не хочется мне сегодня здесь обедать. Гостей нынче нету, а вдвоем мы с тобой много не съедим. Да мне и кусок в горло не полезет, когда Марьюшка там. А пойдем-ка мы в гости к кому-нибудь?

— Незваный гость — самый дорогой, — улыбнулся Лука. — К кому же пойдем?

— Да к Юряте моему. Я уж давно ему обещал, а все времени не найду.

— К Юряте пойдем. Он меня тоже приглашал.

— Предупредить надо, — сказал Всеволод. — Эй! Отрок!

Власий был тут как тут.

— Это ты? — удивился Всеволод. — Я же тебя отправил узнать, как и что.

— Я уже узнал, княже, — кланяясь, сообщил отрок. — Пока ничего. Велели передать, что княгиня веселая, тебе кланяется. Квас пила, а кушать не стала.

— Ну, куда ей сейчас кушать. Ты вот что, отрок. Юряты, подручника моего, дом знаешь?

— Как не знать, княже.

— Беги к нему, скажи, мы с отцом Лукой обедать придем. Если самого дома нету — найдешь, передашь. Захару тоже скажешь, что я там обедаю.

Когда Власий убежал, Лука, помявшись немного, спросил Всеволода:

— А что, княже... Захар-то, кравчий твой, тоже с нами обедать будет?

¹ Сыновец — племянник (сын родного брата).

— Нет, не будет, — ответил Всеволод. Он знал, что Лука недолгобливает кравчего. — Он, отец Лука, к Юряте ни ногой. Юрята, видишь, уличил его в воровстве. Захар, правда, отговорился тогда, но с тех пор как Юряту увидит — трясется весь.

— Прогнал бы ты его, княже. Нечистый он на руку, и душа у него злая. Зачем такого в дому держать?

— Как прогонишь? Без него все хозяйство рассыплется. И Марьюшке он ловок угождать. Та, чуть что случилось, сразу: где Захар, что Захар? Ладно, пусть себе живет. Это бабы его мне навязали. А с бабами разве поспоришь?

Великий князь с епископом еще немного посидели, говорили. Майское солнце уже перевалило за полдень, жара, принявшаяся было, начала спадать. Самое время для обеда. Надо было дать Юрятиной хозяйке подготовиться как следует для приема таких редких гостей. Лука вдруг вспомнил, что вчера ему рассказали любопытное: пришли купцы из Киева, и там, говорят, в Киеве, солнце пропало.

— Как это пропадало? — удивленно спросил Всеволод.

— Да врут, наверное, княже. Среди бела дня, мол, солнце сделалось как месяц и звезды на небе высыпали. А из месяца этого будто бы искры сыпались.

— А может, не врут, отец Лука, я про такое слышал. Это знамение, говорят, бывает перед бедой. — Всеволод даже привстал. — Ох, не с случилось бы с Марьюшкой чего. То-то у меня предчувствия какие-то нехорошие.

— Полно, княже. Какое знамение? А хоть бы и знамение, так ведь не здесь, а в Киеве, — сказал Лука. — Жалею, что рассказал тебе эту байку.

— Это надо разузнать. — Всеволод разволновался. — Найти надо купцов этих.

— Найти-то их можно, да только зачем? Говорю тебе, княже, не для нас сие знамение было. Скорее уж для Святослава. Ты что, — шутливо погрозил пальцем Лука, — мне, святому епископу, не веришь?

— Тебе верю, отец Лука.

— Ну тогда пойдем в гости.

Дом Юряты находился недалеко от княжеского крыльца, и идти туда было недолго. Всеволод и Лука не торопясь вышли из княжеских покоев, спустились по ступеням и оказались на крыльце. Немой, бывший тут же, двинулся за ними вслед, но Всеволод знаком показал ему, что они идут к Юряте, и Немой, заулыбавшись и закивав, отстал.

— Сам-то не боишься его? — спросил Лука.

— Побаиваюсь, отец Лука, — со смехом ответил Всеволод, когда они уже отошли от крыльца настолько, что Немой не мог их слышать. — Да зато в бою с ним спокойно. Что мечом вытворят!

— Да, мне сказывали, — промолвил Лука. — Такого бы богатыря да брату твоему покойному, князю Андрею, — вздохнул он и украдкой взглянул на Всеволода.

— Был бы жив Андрей и сейчас, — произнес Всеволод и нахмурился.

— Стало быть, и во Владимире княжил бы? — лукаво спросил старик. — Эх, княже, это ведь я нарочно так сказал, чтобы подразнить тебя. А ты вон — сердисься. Хорошо это, что сердисься, такое мне любо видеть. Это я, князь Всеволод, к разговору нашему давешнему, — шепнул заговорщицки Лука.

Всеволод кивнул. Ничего больше не сказал. Так, в молчании, они подошли к Юрятиному дому.

Свой дом Юрята пышно украсил — нашел во Владимире искусных древоделов-резчиков, и они уж потрудились на славу, чтобы угодить государеву подручнику. Окошки были убраны резными наличниками, резьба изображала разные цветы и диковинных зверей, балясины крыльца также светились свежееобточенным деревом, по всему торцу крышных скатов тянулась затейливая узорчатая вязь.

В таком доме жить да жить! И хозяйка у Юряты хорошая, права была Марьюшка, что заставила его жениться. Как бы сейчас он один был? Седой весь стал Юрята. Хоть и крепкий еще, а годы понемногу начинают брать свое. Сколько ему нынче? — думал Всеволод. Да уж за пятьдесят. И все бы до сей поры меч мой таскал да ногу помогал в стремя всовывать. А теперь-то вот — при семье, и сыновья у него растут. Надо приглядеться к сыновьям его, да к чему-нибудь пристраивать, большие уже! Подумать. Как там Марьюшка? Не началось ли? Позовут, если начнется.

В доме поднялась суета: увидели приближавшихся гостей. Юрята в лазоревой сорочке, красным поясом подпоясанный, нарядный, вышел на крыльцо.

— Здравствуй, государь, и ты, святой отец. Слава Богу, что пожаловали.

— Вот, Юрята, решили попробовать, хорошо ли твоя Любава пироги печет, — нарочито строго произнес Всеволод.

— И правильно, что зашли, — сказал Юрята. — Тебе, государь, сегодня развеяться надо, а там, во дворце-то, покоя ведь не дадут.

Он спустился с крыльца и, бережно поддерживая Луку, возвел его наверх. Войдя в дом, Лука перекрестился на образ, объявил «мир дому сему», благословил с улыбкой Любаву, склонившуюся перед ним. Стол был уже накрыт, Юрята постарался, чтобы государю угодить, — чего там только не было!

После короткой предобеденной молитвы стали садиться за стол. Любава собралась было уйти, но Лука остановил ее: — Не обижай нас, хозяйюшка, посиди с нами.

Всеволод тоже попросил ее остаться. Любава, несмотря на то что просили ее сам великий князь и епископ, вопросительно глядела на мужа. Юрята кивнул. Уселись.

Разбогател подручник — князю и епископу были поставлены серебряные кубки для вина, серебряные же блюда, положены золотые двузубые вилки с витыми ручками из рысего зуба. Вино налил в кубки дорогое, красное, как рубин. Встал, поклонился гостям. Те — в ответ. Закончили с поклонами, стали есть и пить.

Две девушки молодые приносили все новые кушанья, и князь не отказывался ни от одного. Любава без смущения глядела на важных гостей. Время от времени поглядывала на Юрята, вроде бы прося его о чем-то. Хмурилась слегка от того, что молчит. Наконец сама решилась:

— Государь, позволь, тебя спрошу.

— Спрашивай, хозяйюшка, — ответил Всеволод слегка удивленно. Не ожидал, что Любава начнет разговор.

— Как княгиня? Говорят, у нее началось.

— Утром было. Сейчас пока ничего. Квас, говорят, пила.

— Дай ей, Господи, — протянула Любава. Все перекрестились.

— А ваши ребята где? — спросил Всеволод. — Пусть бы с нами посидели, большие ведь.

— Их, государь, до вечера не будет, — улыбнулся Юрята. — Они на реку отправились коней купать.

— Это правильно, — сказал Лука. — Воины растут. А воин своего коня должен содержать в чистоте.

— А позволь и тебя спросить, святой отец, — попросила Любава.

— Спрашивай, доченька.

— Верно говорят, что солнце пропадало?

— Да дай ты гостям поесть спокойно, — строго обернулся Юрята к жене. — Не сердись на бабу глупую, святой отец. Наслушается сплетен и сама не знает, чего ей надо.

— То, доченька, сказки, ты не верь, — ласково ответил Лука.

Воцарилось молчание. Немного еще посидев, Любава встала, поклонилась гостям.

— Пойду я, гости дорогие. Что-то мне неможется. Простите, коль что не так сказала. — И, выйдя из-за стола, ушла, перед этим не забыв зыркнуть на мужа.

— Ну, Юрята, берегись, — развеселился Всеволод. — Припомнит тебе глупую-то бабу.

Юрята смущенно помотал головой. Встал, налил еще вина князю и себе. Лука вина не пил, понюхал только.

— Ты и вправду, святой отец, не сердись на нее. Как ей сказали бабы про солнце-то, так она сама не своя делалась. И меня задержала. За здоровье матушки государыни выпить надо, — предложил Юрята.

Выпили во здравие матушки государыни. Юрята, как замечал Всеволод, избегал говорить в его присутствии о детях: наверное, зная давнее желание Всеволода иметь сына, не хотел понапрасну тревожить душу. А теперь вот заговорил:

— Выпьем, княже, за сына твоего!

— Да погоди ты с сыном-то! — досадливо поморщился Всеволод. — Еще сглазишь.

— Руби мне тогда правую руку, государь. — Юрята протянул могучую руку над столом. — Вот увидишь, что я правду говорю. Мне сегодня сон приснился. Я даже Любаве его не рассказывал.

— Ну-ка, что за сон? — с любопытством посмотрел на Юрята князь.

Но тут за окнами послышался стук копыт — сыновья приехали. Слышно было, как привязывают коней возле крыльца, поднимаются, переговариваясь, смеясь чему-то. Открыли дверь, вошли оба — и замерли, увидев великого князя, сидевшего за их домашним столом, вдобавок, как им показалось, с недовольным видом. Бориска первым опомнился, склонился до пола, Добрыня — вслед за ним.

— Ну, здравствуйте, отроки, — шутливо-строго сказал Всеволод. — Молодцы, прямо к обеду пожаловали.

— Здравствуй, великий государь. Здравствуй, святой отец, — растерянно пробормотали оба, не зная, как себя вести. Юрята любовно хмурился, оглядывая сыновей.

Уж это не мальчишки были. Добрыня ростом, наверное, отца уже догнал, плечи раздались, руки крупные, с красными кистями — полоскался в воде, а она еще холодная. Светлые волосы перетянуты ремешком, сзади заплетены в короткую косу. Бориска пониже и потоньше, но на верхней губе пух чернеется, глаза совсем взрослые, умные, и

острижен коротко. Оба румяные, запыхавшиеся, в простых полотняных сорочках, холщовых портках, заправленных в легкие сапоги. И оба при оружии, перепоясаны: Добрыня — коротким мечом в кожаных, с медным наконечником ножах, Бориска — изогнутой саблей в тусклом серебре.

— Ох, хороши у тебя сыны, хозяин, — похвалил Лука. — Воины!

— Молодые еще, святой отче. Без оружия никуда не ходят. В баню — и то норовят захватить. Благословишь их, отец епископ?

— Надо благословить, надо, — еще больше подобрел Лука. — Ну, отроки, подходите-ка.

Оба приблизились к епископу и встали послушно перед ним на колени. Лука их уже не раз благословлял и причащал, так что они не робели. Другое дело — великий князь. Мальчикам хотелось глядеть на него не отрываясь. Лука благословил их, и они встали.

— Вот, сыны, какой у нас праздник нынче, — торжественно произнес Юрята. — Гости к нам пожаловали, каких и во всем свете не сыщешь. Позволишь им с нами пообедать, государь? — спросил он у Всеволода. — Они, поди, голодные.

Великий князь разрешил, улыбаясь. Он не испытывал к приемным детям Юрята чувства умиления, как княгиня Марья, но теперь почему-то ощутил тепло в душе, глядя на них. Может, подействовало то, как уверенно подручник пообещал ему сына? Великому князю стало даже приятно смотреть на них и думать, что у него будет сын, и станет он когда-нибудь таким же большим, и — кто знает — не будет ли один из этих ладных юношей его воспитателем и защитником, каким был Юрята для великого князя?

Добрыня и Бориска сели у дальнего края стола, ели, стараясь не спешить, но иногда забывали, подгоняемые молодым голодом. Поглядывали на Всеволода. Их успокаивало, что великий князь, как и они, ест много и с удовольствием.

— Чего так рано вернулись-то? — спросил Юрята. — На весь день отпрашивались.

— А нам сердце подсказало, что гости у нас, — невинно сказал Бориска. Добрыня вмиг покраснел, напрягся, сдерживая смех, не решаясь прыснуть.

Всеволод захохотал. Отметил про себя, что давно так не смеялся — свободно, легко. От этого стало еще веселее. Лука тоже оценил шутку и даже вытер заслезившиеся от смеха глаза. Юрята, привыкший уже к Борискиным выкру-

тасам, только покачал головой. Ох, не доведет когда-нибудь Бориску язык до добра.

— Сердце, говоришь, подсказало? — спросил, отсмеявшись, великий князь. — Ну что же, верно оно вам подсказало. Юрята! Налей-ка им вина. Ничего, что молодые, сегодня можно. Пусть за моего сына выпьют.

На этот раз Бориска промолчал, подождал, пока отец — невиданное дело — нальет им вина. Поднял кубок, словно это было для него привычным. Добрыня повторил за ним тоже. Поднялись оба. Поклонились сначала отцу, потом великому князю и Луке.

— За твоего сына, государь, — с непонятно откуда взявшейся сердечностью сказал Бориска. Добрыня не сказал ничего, только кивнул. Оба осушили кубки до дна.

— Ну, теперь закусывайте скорее, — благодушно велел Всеволод. Ему стало хорошо здесь, в доме Юрята, и он пожалел, что не бывал в гостях у подручника раньше. Для великого государя в гости ходить — непростое дело. К иному боярину зайдешь, так он потом перед всеми нос задирает, будто у князя в особой милости. А другие завидуют. У Юрята по-другому. Славно здесь и уютно. А покойный князь, Юрий Владимирович, отец Всеволода, сын Мономаха, говорят, и к простым людям заходил, и пировал с ними, не чинясь и не считая это умалением своей княжеской гордости. Позавчера, кстати, годовщина смерти его была, вспомнил Всеволод. Двадцать восемь лет.

Ребята жевали, после выпитого вина еще больше краснелись, сидели свободнее. Разговор пошел поживее.

— На охоту хотите отправиться со мной? — спросил Всеволод.

Конечно, они хотели. Давно уж просили отца, чтоб замолвил словечко перед государем. Но отец отговаривался, что малы, мол, еще. Вот, подумал Всеволод, другие своих отпрысков так и норовят подпихнуть поближе к князю, а Юрята — он не такой.

— Что же ты, хозяин? — спросил великий князь. — Стрелять-то они как — умеют?

Умеют. И с коня на полном скаку, и с бега, и так, а Бориска даже из-под конского брюха мог стрелять, а это почти никто даже в большой дружине княжеской не умеет. И копьё могут кидать метко.

— А мечом, государь, их твой Немой учит владеть. Особенно его. — Юрята показал на Добрыню. — Он уже и показать кое-что может.

— А пусть покажет, коли может, — подхватил Всеволод. Ему все любопытнее становилось разговаривать с Юрятичами.

Добрыня покраснел, встал из-за стола, поклонился, вышел. Юрята объяснил Всеволоду, что пошел в кладовую — репу выбирать, если еще осталась прошлогдняя. Для одной такой хитрости репа ему нужна.

Лука сидел, блаженно улыбаясь: старика понемногу начинало клонить в сон.

Но тут в дверь постучали. Вошел отрок Власий.

— Княже! — воскликнул он истоиво. — Там, говорят, началось!

Наскоро попрощавшись с Юрятьой, Всеволод поспешил к себе. Лука — за ним, моргая, сгоняя дрему с глаз. Юрята проводил их на крыльцо и перекрестился, глядя вслед.

Всеволод решил было сгоряча пройти прямо в княгинины покои, но, поглядев на Луку, передумал и прошел к себе. Сели. Разговаривать вроде было пока не о чем — думалось только о том, что сейчас происходит там, на женской половине, где в дальнем помещении, нарочно убранном для такого случая, мучилась от боли княгиня Марья. Епископ Лука вполголоса бормотал что-то, изредка крестясь, — молился, но Всеволода его молитва не успокаивала, а, наоборот, заставляла больше волноваться: великому князю казалось, что все теперь зависит именно от этой молитвы, тихо творимой епископом, и если он скажет хоть одно слово не так, то все надежды на появление сына рухнут. Всеволод тоже стал молиться про себя, потом подошел к иконам, висевшим в переднем углу рядом с изложницей, и опустился на колени. Лука тут же присоединился к нему, стал молиться громче. На миг Всеволоду показалось, что он услышал крик жены, и он даже сделал движение остановить Луку, но крик больше не повторился, и они продолжали молитву.

Всеволод не знал, сколько времени прошло, пока они с епископом стояли перед иконами, когда в доме, теперь уже наяву, послышалось движение, топот чьих-то ног, голоса. Вот сейчас придут, скажут.

В дверь осторожно постучали.

— Кто там? — нетерпеливо крикнул великий князь. — Войди!

И опять появился отрок Власий, с постной улыбкой на круглом лице.

— Поздравляю с сыном, княже, — важно выговорил он.

— С чем? С кем? — быстро переспросил Всеволод. — Как ты сказал?

— С сыном поздравляю, сын у тебя, княже, — повторил отрок.

— Слава тебе Господи! — возгласил Лука. — С большой радостью тебя, государь!

— Да, да, — еще не совсем понимая, сказал Всеволод.

Он вдруг заметил, что стоит еще на коленях. Встал. Поглядел на улыбавшегося Луку. Начал понемногу осознавать всю радость происшедшего. Сын? Да неужели? Ах, Марьюшка, ах, голубка моя! Подарила сыночка. Что теперь ни сделаю для тебя — все мало будет. Скорее надо идти, взглянуть, может, покажут, дадут взглянуть хоть одним глазком?

Отрок Власий все стоял, не уходил. И чего стоит? Сказал — и уходи себе, нечего глаза пялить на то, как великий князь радостные слезы вытирает. И выгнать вроде не за что. Ах да! Награду же ему обещал, если о сыне скажет. Это он награды ждет!

И тут великий князь окончательно поверил, что у него родился сын.

ГЛАВА 21

Заезжий купец не обманул, и Любаве бабки правду сказали — действительно было знамение в Киеве, и солнце среди дня превратилось в месяц, и звезды на небе выпали.

Все так и поняли — знамение не к добру. Очень испугались, в народе стон стоял и смятение. Виданное ли дело? Что-то будет? Страшно!

Единственный, кто не испугался этого знака, был князь Новгород-Северский Игорь Святославич.

Гордый и воинственный, князь Игорь, к своей досаде, не принимал участия в победоносной войне с половцами, которую вели год назад Святослав Киевский и Рюрик Ростиславич. А не участвовал князь Игорь в этой войне по очень простой и обидной для него причине — его не позвали.

Старый Святослав недолюбливал двоюродного брата Игоря за его стремление к самостоятельности, гордый нрав и способность перечить Святославу; кроме Игоря, никто из родственных князей не осмеливался ослушаться киевского князя или возражать ему. Начиная войну с погаными, Святослав не без основания надеялся, что она будет успешной: дружина его была сильна и многочисленна, а кроме

того, он быстро сговорился с Рюриком, который выставил дружину еще более сильную. Прими Святослав еще помощь Игореву, исход войны будет тот же, а гордости и самомнения у Игоря прибавится.

Поэтому приготовления к походу велись быстро и тайно от черниговских князей. Прошлым летом Святослав и Рюрик на берегах Орели разбили Кончака — и это было особенно обидно Игорю. В этом можно было даже увидеть недоверие князей к Игорю Святославичу — не взяли, мол, его потому, что он с ханом Кончаком в дружбе, следовательно, не поднимет на него меча.

А какая была битва! Какая победа! Одних пленных взяли семь тысяч, в том числе и знаменитого на всю степь басурманина, имевшего приспособление для стрельбы живым огнем. Хана Кобяка, также давнего Игорева знакомого, за злодеяния его казнили на дворе у Святослава. Великая победа, а вот Игорь Святославич только облизнуться смог издалека.

Была у Святослава еще одна причина не брать с собой Игоря. Князь Рюрик Ростиславич четыре года назад Игоря с его другом Кончаком разбил, да так, что Игорь еле ноги унес. Такое не забывается. А если свести их в одну рать да пустить на общего врага, то, глядишь, помириться могут. Общий успех многое помогает забыть. А слишком большой дружбы между Игорем и Рюриком Святослав не хотел.

Игорь Святославич перетерпел обиду, ничем не показав Святославичу недовольства, даже ни разу не упрекнул его. Но решил отплатить ему той же гривной. Горд был князь Игорь! Целый год он вынашивал мысль о том, как поставит на место Святослава, столь откровенно пренебрегшего им и поставившего его перед другими князьями в неловкое положение. И решил: собрав самых близких родственников, ничего на этот раз не объявив Святославичу, самому пойти на поганых и разбить их, да так разбить, чтобы имя их навсегда забылось. Хана Кончака в железных цепях привезти в Киев! Разве он не в силах это сделать? Воины его храбры и умелы, с конца копья вскормлены. И какое великое дело свершится! Чье имя будет в Русской земле более славным, чем Игоря Святославича?

Подобно Святославу и Рюрику, свой поход Игорь готовил тайно. Лишь брату Всеволоду, князю Курскому, предложил участие, да племяннику своему князю Святославу Ольговичу. Оба согласились с радостью. Игорь взял с собой и своего юного сына Владимира — так был уверен в успехе.

И вот тут-то случилось: как только выступили, так солнце и пропало.

Игорь Святославич, глядя на постепенно исчезающий солнечный ослепительный круг, чувствовал не испуг, а скорее разочарование. Разумеется, это было знамением, и знамением слишком явным. Так как уже целый год все помыслы Игоря были связаны с этим походом, он не усомнился ни на миг в том, что знамение относится именно к нему.

А войско остановилось, напуганное. Кто крестился, кто прикрывался щитом от неведомой, грозившей с вышины опасности. Небо становилось все мрачнее, вот уже и звезды появились. Они мерцали среди дня совсем как ночью, и знакомое мерцание почему-то успокоило Игоря. Если это предзнаменование, то не обязательно плохое, решил он. Солнце тем временем превратилось в узкий серп, а вскоре серп этот стал понемногу расти, звезды одна за другой исчезали, вокруг светало, и на душе князя Игоря становилось все спокойнее.

— Братья! — закричал он, когда все кончилось и солнце по-прежнему светило сверху на землю. — Это тайна Божья, и она никому не ведома! А нам от судьбы своей все равно не уйти! Что Бог сотворит, то и будет! Вперед!

И войско послушалось. Переправились через Донец и через несколько дней соединились с полками Всеволода Святославича, который ни о каком знамении не слышал. Это еще больше подбодрило войско Игоря. И дальше двигались уже без опаски. Игорь словно забыл, что находится далеко от Русской земли, в землях половецких. Ему хотелось идти все дальше и дальше, будто он надеялся добраться до того места, откуда, как из бездонной ямы, выходят на свет все орды поганые, и завалить эту яму, засыпать ее, чтобы холм порос навеки черными травами.

И успех, казалось, был уже близок. Посланные вперед дозорные, имевшие задание взять языка, вернувшись, сообщили, что недалеко стоят вежи¹ половецкие, и не брошенные, а с людьми, и скот там ходит, надо бы ударить. Ударили — и, на удивление легко отогнав за небольшую речку многочисленный отряд поганых, заняли вежи и взяли богатую добычу и золотых украшений немало, тех, что в мешочках кожаных хранились, и тех, что на половецких бабах и девках были надеты, и тканей заморских, и шкур дорогих. А девок и баб — много в вежах оказалось; пока всех переловили по степи — достаточно времени прошло, начало уже смеркаться. Решили дальше не идти. Тут же заноче-

¹ Вежи — здесь: шатры.

вать. Веселились всю ночь, с девками играли, песни пели. Легкая победа вселила уверенность, развеяла сомнения.

Игорь Святославич разрешил дружинникам даже немного выпить.

— До самого Лукоморья дойдем, братья! — говорил он за вечерней трапезой, сам возбужденный вином. — Туда дойдем, куда и деды наши и прадеды не доходили!

Хорошо майской ночью в степи, пусть даже и половецкой! Пахнет цветами и травами душистыми, поют птицы незнакомые, степные, звери какие-то перебрехиваются вдали. Дует ласковый теплый ветерок, доносит непонятные шорохи, скрипы, посвист. Не страшно!

Заснул Игорь Святославич, заснули князья, заснула вся дружина. Завтра опять в поход, к новым победам, к невиданной славе, на великие дела!

А утром увидели: со всех сторон окружила их несметная половецкая сила. Вот тут-то понял князь Игорь, что означало то знамение. Понял он также, что теперь его дружине конец.

Ведь предупреждали его! Нашлись трезвые головы, советовали не заходить так далеко в степь. Так нет! Еще и ругали князь Игорь: как нам теперь вернуться, на смех поднимут вас и меня с вами заодно. Стыда не оберешься! Страшнее смерти стыд! И пошли дальше, чтобы найти свою гибель.

Знакомые стяги половецкие трепетали на ветру. Кому, как не Игорю, различить их: вон знак самого Кончака, вон — Кзы Бурновича, вон Токсобичи, Колобичи, Тертробичи — все знатные половецкие роды собрались ради такой красивой редкой дичи. Залетели соколы далеко, попались в сети.

Можно было сдаться, позволить себя обезоружить и развести по вежам, потом же послать гонца в Киев, к Святославу, или к Рюрику. Они у себя достаточно наскребут поганых для обмена. Должен согласиться на это хан Кончак. И жизнью сколько будет спасено! И все будут довольны таким исходом.

Особенно Святослав! Уж он-то поглумится над своевольным князем Игорем! Даст ему вдоволь насидеться в плену у поганых и только потом обменяет и заставит считать это великой милостью, а Игоря — по гроб себе обязанным и жизнью и честью.

Не бывать тому.

Князь Игорь Святославич приказал войску готовиться к битве.

Но двигаться не пришлось. Поганые не стали подпускать к себе сильную, умелую, готовую умереть в битве дружину. Они начали расстреливать Игореву войско издалека. Стрел у поганых было достаточно, и луки их били далеко — мощные луки степных жителей, привыкших иметь дело с большими пространствами. В то время как русские луки, с какой силой их ни натягивай, не в состоянии добросить стрелу до половецких рядов. Разоренные вежи служили плохой защитой полкам Игоря, и они гибли, ничего не успев сделать.

Первыми гибли лошади. Людям пока доставалось меньше, но и их находили тонкие, гибкие, злые стрелы, проникавшие в каждую щель, в любой просвет между щитами, в не защищенные броней и кольчугой участки тела. Самого Игоря поразили две стрелы: в левую руку и бедро. Понимая, что надо пробиваться к воде, он приказал собрать всех оставшихся в один кулак и ударить по половецкому строю.

Войско вышло из укрепления и бросилось вперед, на каждом шагу теряя десятки людей, которые оставались лежать на земле, все утыканное стрелами. И возле небольшой реки Каялы наконец сошлись с погаными в рукопашном бою.

Но уже от Игоревых полков осталась едва треть, а половцев еще прибавилось вдвое. Игорь, без шлема, страдающий от ран, на отобранном у половца коне, кидался в самую гущу битвы, то ли стараясь подбодрить своих воинов, то ли ища смерти. Эта рубка была недолгой. Лишь несколькими воинам удалось перебраться через реку и укрыться в густом прибрежном кустарнике. В плен попало лишь около сотни, и почти все были ранены. Остались в живых и все четыре князя: у половцев было столь большое преимущество, что они могли себе позволить сохранить в битве эту «ценную дичь». Теперь они получили возможность торговаться со Святославом. Тут же, когда бой затих, к израненному, но оставшемуся в седле Игорю подъехал довольный Кончак и приветствовал старого друга. Но дружеского разговора не получилось. Радостное лицо победившего врага оказалось для Игоря последней каплей, он потерял сознание.

Князей и оставшихся в живых ратников развели по вежам. На следующий день хан Кончак решил дать знать на Русь о своей победе. В половецком плену находился купец из Киева по имени Просович, ходивший к Тмутаракани Запозным путем. Его и отпустили на Русь, дав коня и велел донести самому князю Святославу о случившемся. Просович умчался.

Так закончился поход князя Игоря Святославича. Кончак должен был быть благодарен старому другу: ничего лучшего для половцев новгород-северский князь не мог придумать и осуществить. Во-первых, сам Кончак, сумев собрать и подчинить себе все крупные половецкие объединения, теперь был главным ханом, признанным всеми остальными. Даже строптивый Кза больше не посягал на первенство. Во-вторых, почти не понеся потерь, половцы уничтожили черниговскую дружину, и, значит, путь на Курск, Путивль, Чернигов, Переяславль был открыт — приходи и бери что хочешь.

За эти услуги или просто по старой дружбе Кончак вскоре забрал Игоря из орды Тарголовичей, где тот находился в качестве личной добычи князька Чилбука, и поселил у себя, придав небольшую охрану, составленную из воинов хорошего рода, говорящих по-русски и могущих составить Игорю Святославичу приятное общество. В распоряжении князя были отдельный шатер, соколы для охоты и даже русский священник, за которым нарочно съездили в Чернигов. Юного князя Владимира Кончак тоже поселил вместе с отцом, не желая, чтобы Игорь тревожился о судьбе сына.

Игорю Святославичу ничего не оставалось, как вести праздную жизнь. Днем он выезжал вместе с сыном и стражей на охоту. Иногда к ним присоединялся и хан Кончак, но только в первые дни.

Потом Кончак повел свои орды на беззащитную Русь. Кза требовал похода сразу на Чернигов и Курск — об этом раньше половцы и помыслить не могли, опасались княжеских дружин, а теперь, поскольку дружины лежали в половецких степях, расклеванные вороньем, ранее недоступные прекрасные русские города просто сами просились в руки поганым. Но Кончак почему-то отказался вести войска на удельные земли своих дорогих пленников и сошелся с Кзой на том, чтобы взять южный Переяславль. Туда и двинулись.

Трудно описать чувства Святослава, когда он узнал о разгроме Игоревых полков. Он испытывал и гнев, потому что с ним, как со старшим из Ольговичей, не посоветовались, и злорадство, потому что в глазах всей Руси князь Игорь выглядел наказанным за свое непослушание Святославу.

Конечно, ему было жаль напрасно погибших воинов, которые еще могли послужить и ему самому, как это было раньше, — дружина его младших братьев, если нужно, становилась его собственной. Но, может, еще больше он жа-

лел, что Игорь Святославич остался жив. Умерший, вернее, погибший со славою от рук поганых, князь Игорь мог бы сослужить Святославу хорошую службу, пожалуй, не хуже, чем сослужил хану Кончаку. Смерть Игоря, а заодно и брата его, Всеволода Курского, Святослав мог использовать для укрепления своего влияния на Ольговичей. Теперь же надо было извлекать пользу из плененного князя Игоря, томившегося в далеких чужих степях.

Святослав был большим умельцем по части извлечения пользы для себя. Он тут же собрал князей и знатных бояр под Киевом, в городе Каневе, и много речей говорил о судьбе своих несчастных двоюродных братьев, часто прерываясь душившими его рыданиями. Особо подчеркивал, что раньше был сердит на своевольного князя Игоря, и вполне справедливо, но сейчас, конечно, забыл все полученные от Игоря обиды и жалеет его, как родного неразумного сына. Всем рассказывал свой сон, который ему якобы приснился как раз накануне — это он выяснил — Игоревы поражения. А снилось ему, как сыновья накинули на него черное покрывало, стали поить каким-то синим вином, осыпать жемчугом, а в это время у княжеского дворца куда-то подевалась крыша, и все это происходило под неумолкающий вороний гай. Сон был действительно похожим на вещий. И Святослав велел писцам записать его и распространить, что и было сделано.

Но рассказывать сны можно долго, а действовать надлежало немедленно. Святослав велел созывать большое ополчение. Оно не теряя времени двинулось искать противника. Через несколько дней обнаружили многолюдную орду, которая, не принимая боя, тут же начала уходить. Святослав велел прекратить преследования и, вернувшись обратно в Киев, распустил князей по домам. На самом деле в его намерение совсем не входило идти на выручку Игорю. Отогнав поганых в степь, Святослав посчитал, что этого достаточно.

А Кончак в это время уже осадил Переяславль, где находился Владимир Глебович, племянник великого князя Владимирского. Переяславльская дружина была немногочисленна, не могла прикрыть от тысячных орд беззащитные пригороды и окрестности.

Затворившись в городе, несколько дней воины князя Владимира отражали приступ за приступом, сам князь получил три тяжелые раны копьями, едва спасая от смерти — его отбили жители, тоже вооружившиеся кто чем мог и влезшие на стены.

Под Переяславом стояли орды Кончака, а Кза со своими отправился к Путивлю и тоже не встретил на пути никакого сопротивления. Села и небольшие городки вокруг Путивля были разрушены и сожжены. Половцы брали в плен только самых молодых, здоровых и красивых — сотнями и сотнями, связав, гнали в свои станы. Дальше этим пленникам суждено было попасть на азиатские невольничьи рынки, где их, придиричиво ощупывая и заглядывая в зубы, покупали заморские купцы, выбирая работников и наложниц.

Длинные вереницы русских пленников потянулись по русским дорогам, подгоняемые половецкими плетями, — все дальше и дальше на юг, через леса, степи, болота, пески. Многие из них не дошли и легли вдоль этих малохоженных дорог, уже равнодушные ко всему, даже к воронью, которое вылевывало их голубые русские глаза.

Святослав же с братом Ярославом пока обдумывал, кого посадить на освободившиеся княжеские столы в Новгороде-Северском и Курске. Младшие дети Игоря Святославича служили главным препятствием, потому что законно наследовали своему отцу, а также дяде Всеволоду Святославичу, и, отстранив их от наследства, Святослав сильно повредил бы себе даже в привычных ко всему глазах Ольговичей. Впрочем, как старший в роду Святослав, так и Ярослав, князь Черниговский, могли считаться покровителями этих городов и областей, и города, оставшиеся без князей, как бы все равно им принадлежали.

Узнав о бедах Путивля и южного Переяславля, Святослав, однако, не торопился собирать войско для того, чтобы отомстить поганым и освободить пленников. Он на этот раз даже не стал изображать горе и произносить зажигательные речи, просто сидел у себя в Киеве и делал вид, что управляет Южной Русью.

Он переживал обычный приступ растерянности и обиды на весь белый свет. Так бывало, когда он в глубине души чувствовал себя виноватым в какой-нибудь беде и подозревал, что всем известно, что он чувствует себя виноватым.

Лето шло, а он все сидел почти безвыходно в своем дворце, не выезжая на охоту, не устраивая пиры, которые так любил, потому что на пиру у него была возможность выглядеть с самой лучшей стороны — щедрым, хлебосольным хозяином, угощающим из своих рук многочисленных гостей — от знатных бояр до самых простых горожан-ремесленников.

Целыми днями Святослав сидел у открытого окошка, из которого хорошо был виден тринадцатиглавый Софийский собор, в другие дни радовавший глаз белизной своего камня и золотом куполов, а нынче казавшийся столь же малозначительным в своей пышности, как и его, Святослава, великое киевское княжение.

В один из таких светлых и скучных летних дней вдруг со стороны Боричева до Святослава донесся какой-то неясный шум, к которому вскоре добавился колокольный звон. Первая мысль была: поганые в город ворвались! Почему ничего не знаю? Но потом, прислушавшись, решил: нет, не так звонят. Звонили радостно, а не тревожно, вместо размеренных ударов над городом неслись игривые переливы колокольного разноголосья. Что такое? Праздника вроде бы нет, а если был бы — с утра бы звонили. Крикнул слугу:

— Кочкарь! Поди пошли кого-нибудь, пусть узнают, что такое. Почему звон?

Кочкарь убежал. Его не было довольно долго. Потом наконец явился, переминается с ноги на ногу, не знает, видно, какую новость принес князю — добрую или недобрую.

— Ну, чего молчишь? — спросил Святослав. Даже сердце забилося — что скажет?

— Там, великий князь, ты не поверишь, — Игорь Святославич...

— Что? Князь Игорь? Врешь!

— Не вру, великий князь. Сам его видел. Он в церковь Богородицы зашел в Пирогошную. Там рады все, в колокола звонят.

— Да тебе не помнилось ли? Откуда он возьмется?

— Так с ним половчанин какой-то. Рассказывает — бежали из полона и прямо сюда. Коней, говорит, загнали. У князя, говорит, прямо перед городом конь пал.

— Вот как... — протянул Святослав. — А сын-то его с ним, что ли?

— Чей сын?

— Да Игоря-то. Князь Владимир молодой. Не видал того?

— Нет, сына не видал.

— Уж не пропал ли где по дороге?.. Ну, хорошо. Я думаю, князь Игорь, как помолится, ко мне придет. Ты распорядись там, пусть здесь у меня стол накроют. Проголодался, поди, князь с дороги-то.

Кочкарь ушел, ухмыляясь, отдавать распоряжения насчет обеда. Святослав, оставшись один, на мгновение почувствовал себя как набедокуривший мальчишка, ожидаю-

ший прихода сердитого отца. Вот так дела! Убежал, значит, князь Игорь! Теперь придет, спросит: почему не выручил, князь Святослав? Почему войско не прислал на поганых?

Впрочем, чувство вины быстро погасло. Да что это я, подумал Святослав. Не мне, а ему, князю Игорю, смущаться надо. Я, что ли, его на поганых гнал, силой его заставлял? Нет, он сам, ни мне, ни кому другому не сказал, пошел. Я его еще повиню! Он у меня прощения попросит!

Игорь появился через час — долго молился, благодарил пресвятую Богородицу за спасение. Был он одет в потрепанную, но свою одежду, правда, без доспехов. Оружия тоже никакого. Войдя в покои Святослава нарочно бодро и стараясь выглядеть независимым, тем не менее склонился едва ли не до пола, чего раньше никогда не делал для двоюродного брата, даже несмотря на его возраст и положение.

— Будь здоров, великий князь Святослав Всеволодович, — громко и торжественно произнес Игорь, и голос его вдруг задрожал, захрипел. — Вот, принимай гостя... явился к тебе...

Святослав, собиравшийся встретить Игоря с некоторой холодностью, слегка смутился при виде князя, который, казалось, еле сдерживал слезы. Чтобы загладить неловкость положения, Святослав подошел к нему и обнял. Игорь тоже сжал его в объятиях и затрясся в беззвучном плаче. Святослав подождал, пока он справится с собой. Похлопал по плечу.

— Ну, будет, будет. Рад видеть тебя, князь Игорь Святославич. Какой судьбой ко мне? Сядем, расскажешь.

Игорь уже успокоился. Наверное, за последнее время ему часто так приходилось: взгрустнуть и успокоиться. На днях раз по двадцать. Оно и понятно — жизнь в плену не сладкая. Поди, не раз вспоминал старого Святослава, которому раньше и перечил, и должного почтения не оказывал. Вот, князь Игорь Святославич, что значит волей старших пренебрегать.

Сели, Игорь жадно выпил две чашки вина одну за другой. Перевел дух, робко заглянул в глаза Святославу:

— Простишь ли меня, великий князь?

Ага, великим князем называет. А раньше-то: князь Святослав да князь Святослав. Так и хотелось, бывало, сказать ему: ну, знаю, что князь Святослав, дальше-то что? Ни разу не сказал.

— Что мне прощать тебе, князь Игорь Святославич? Ты уж пострадал, поди, все свои грехи искупил.

— Нету больше дружины моей, — грустно сказал князь Игорь. — Полегла мая дружина. Какие были богатыри! Как

бились! Словно львы среди волков. Все погибли, великий княже. А я вот жив. Мне бы одному за всех вину принять, а вышло наоборот — дружина мой грех искупила.

— А ты в плену, говорят, был?

— Кончак меня к себе взял, мы ведь с ним старые знакомцы, — сказал Игорь. И, искоса взглянув на Святослава, добавил: — Ты же его сам, великий княже, хорошо знаешь...

Святослав опять мгновенно пожалел, что Игорь не погиб вместе со всей дружиной.

— Откуда мне знать его? Вот сродника его, Кобяка, мне довелось узнать. Здесь, на моих глазах, ему голову срубили, на шесть недель и носили по городу. А Кончака не помню. Ушел он тогда от нас с князем Рюриком.

— Прости, коли не так что сказал, великий княже, — извиняющимся голосом проговорил Игорь.

Ох, изменился Игорь Святославич. Верно говорят — для гордого плен хуже смерти. Вот и кланяться научился, и голос стал приятнее.

— Расскажи, князь Игорь, как убежал-то от них?

— Держали меня свободно, — сказал Игорь. — Ну, охрану дали, конечно, но жил я хорошо.

— А сын-то твой, князь Владимир, где сейчас?

Игорь сразу погас. Будто на горящее полено ковш ледяной воды вылили.

— Сын мой там остался, великий князь. Я его не смог с собой взять. Моя охрана пьяная спала, а его бодрствовала. Поймали бы нас обоих.

— Вот ты, князь Игорь, сидишь здесь, а сыну твоему поганые, поди, кожу со спины дерут, — жестко произнес Святослав.

Игорь даже откинулся назад, удивленно поглядев на Святослава. Потом, видно вспомнив, что киевский князь в плену у половцев не сидел и тамошних порядков не знает, сказал:

— Нет, великий княже. Сын за отца у них не ответчик. Я бежал — меня лови и наказывай. А Владимира не тронут.

— Ну и как же ты его вызволять будешь?

— Я думал, великий князь, ты мне дружину дашь... — уже по-другому удивленно сказал Игорь.

— Дружины я тебе, князь Игорь, не дам! — не считая нужным сдерживаться, крикнул Святослав. — Дружину сам набирай! Мою волость поганые день и ночь тревожат! А ты хочешь, чтобы я тебе дал свои полки и ты бы их опять положил? Не жди этого!

Святослав бросился от стола к окну. Игорь сидел, глядя перед собой в одну точку.

— Знаешь, князь Игорь, где твой Кончак побывал? — уже спокойнее спросил Святослав. — Он Переяславскую волость разорил, Путивль едва не сжег. Целые волости без людей остались по милости твоей. Где твоя дружина была? Что ж она их не защитила?

Игорь не отвечал. Но видно было — собирался с ответом. Давать отвечать ему не следовало.

— Молчишь, князь Игорь? Потому что сказать тебе нечего. Потому что ты меня не спросил, побежал на поганных, и тем ни славы себе не добыл, ни земли своей не защитил. Почему мне не сказал ничего?

— Один хотел... сам хотел, великий князь, побить поганных, — с трудом произнес Игорь.

— Нет, ты не этого хотел! Ты меня обойти хотел! Вот и получил то, чего добивался. Запомни, князь Игорь. Я — старший в Русской земле! И если с погаными надо воевать, то я с ними буду воевать, а вы все, князья, — помогать мне.

— Твоя правда, великий князь Святослав.

Что-то быстро он согласился. Еще покричать на него? Или уж хватит? Святослав медленно, будто нехотя, вернулся к столу, сел, налил вина в чаши. Выпили. Обычно Святослав пил очень мало, а сегодня почему-то хотелось.

— Ты поел бы, князь Игорь. Там тебя кониной-то не потчевали?

— Нет, хан Кончак не велел мне подавать то, что они едят. Да там еды хватало и без того. Дичь когда. Оленей ловили, зайцев.

— А вот у меня нынче зайцев нету. Некогда было и на ловлю ездить, как в старые времена, — сказал Святослав.

— Хочу, великий князь Святослав, еще и за твое здоровье выпить.

— Выпей, но гляди, не опьяней, — сказал Святослав. — Княгиня обещала к нам выйти, на тебя хотела поглядеть. Может, и еще кто зайдет. Ты ведь теперь герой. Ну, ну, не дуй губы на старшего.

Игорь выпил, но будто через силу. Посидели молча.

— Что нового делается в Русской земле, великий князь?

Святослав задумался. Действительно, что нового происходит? Вроде бы и лето кончилось уже, скоро осень, половцы наведывались — так это Игорю уже известно. Никто вроде не умер.

— А! Вот тебе новость, князь Игорь. У Всеволода Суздальского наследник родился.

— У вели... у князя Всеволода Юрьевича! Добро! — повеселел князь Игорь. — Я помню его жену-то, по Чернигову еще. Ах, красавица была! Не такая, что огнем опалит, а такая, что смотрел бы и смотрел на нее. Поди, и сейчас хороша. — И Игорь осекся, вспомнив, что князь Святослав всю жизнь живет с некрасивой женой.

— Вам бы, молодым, только о том и думать — хороша, не хороша, — с издевкой произнес Святослав, хотя Игорь был, может, на какой-нибудь десяток лет только и младше. — А что противник наш укрепляется, до этого вам дела нет!

Святослав помолчал, пожевал кусочек рыбы. Запил глотком вина.

— Я уж думал, не даст сыновей Господь князю Всеволоду, — злобно выговорил он. — А он, вишь, нового великого князя Владимирского родил. Твои внуки, мои внуки — все под ним ходить будут.

— Почему это? — вскрикнул князь Игорь.

— А потому, что он по половецким вежам за девками не бегает, дружину свою бережет. Поди возьми его! Помнишь, князь Игорь, как зимой стояли?

— Как не помнить, великий княже.

— Вот то-то. Ему слушаться некого, князь Игорь Святославич. Над ним старших нет. Он сам — великий князь и сам себя слушается. А сын его подрастет — все переймет от отца. А даст ему Господь еще сыновей — вот это будет сила.

Святослав говорил поучая, но не строго. Потому что видел — князь Игорь слушает очень внимательно.

— Пока я жив, я князю Всеволоду не дам самовластничать на Руси, — сказал Святослав. — А ведь я не вечный. Ну как умру, что вы все, Ольговичи, будете делать? Он вам жить не даст. Да что там, — Святослав махнул рукой. — Из вас, поди, половина к нему после моей смерти сама перебежит.

— Да что ты говоришь, великий княже?

— Знаю, что говорю. Я, князь Игорь Святославич, — Святослав доверчиво наклонился к Игорю, — тебе одному признаюсь: кабы у меня душа не болела за всю землю Русскую — сам бы под его руку встал. Был бы за ним как за стеной каменной.

Святослав говорил, а сам глядел на князя Игоря — что думает? Не хочет ли выразить согласие? В такие доверительные мгновения многое можно о человеке узнать.

Но Игорь смотрел прямо в лицо Святославу, будто не понимал. Да, видно, дальше мыслей о чести и воинской славе он не заходит в своих размышлениях. Ну, оно и хорошо.

— Выпей, выпей еще, князь Игорь.

Игорь выпил.

— На слова мои не обращай внимания, князь Игорь. Так это я, рассуждаю просто, — сказал Святослав.

— Твое здоровье, великий князь.

Игорь Святославич еще выпил. Ему вдруг все сделалось нелюбопытно. Сколько раз он представлял себе эту встречу, сколько слов приберег, казалось, произнеси их — сожгут все вокруг. Что толку от этих слов! Здесь слова ничего не значат. Святослав, как всегда, не откровенен, хитрит. То ли ругает тебя, то ли выпытывает что. Насколько все же проще на поле брани. Вот меч в твоей руке, вот конь, вот враг. И небо над головой.

Игорю Святославичу стало очень жаль напрасно погибшей дружины.

Он взял кувшин с вином и снова наполнил свой кубок.

ГЛАВА 22

Пожар начался утром. Легкий ветерок, что всю ночь еле слышно шелестел начавшей уже желтеть листвой, с рассвета вдруг окреп, дунул и понес со стороны Торга, от бретяниц, доверху набитых сухим сеном, облачко дыма в сторону плотницкого и седельного концов. Вслед за первым облачком, еще сумевшим истончиться по пути, пошли одна за другой целые тучи, и тут, несмотря на запоздалый звон, полетевший со звонницы ближайшей к Торгу деревянной церкви Петра и Павла, со звуком, издавека напоминавшим мучительный вздох больного человека, полыхнули разом две крайние бретяницы, и от них, треща и постанывая, занялись близлежащие строения. Огонь от торговых рядов, пожирая по пути купеческие лавки и гоня перед собой толпу людей, двинулся к слободам, тесно застроенным домами, словно искал новой пищи для себя.

И август и сентябрь радовали всех сухой погодой. И сено свезли, не погноив, и хлеб успели убрать. Ночи тоже стояли теплые, звездные, приходилось во дворах жечь гнилушки, чтобы комар не заедал. Много развелось в этом году кусачей нечисти. Многие спали на сене, в телегах — дома спать было жарко. В Клязьме ребяташки да и взрослые купались, несмотря на то что Ильин день давно минул. Все

деревянное, даже колодезные срубы, высохло до звона, и вода в колодцах опустилась глубже обычного.

Старосты концов по распоряжению тысяцкого ходили по дворам, велели следить за огнем, во дворах не разжигать, грозили наказанием. Но разве уследишь за всеми. За последние годы много новых домов выросло во Владимире — улицы стеснились, дома лепились прямо к церковным стенам, проулки стали узкими — в ином месте вдвоем не разминешься. И вот — загорелось.

Все же первый звон сделал свое дело — по всему нижнему городу колоколили церкви, предупреждая жителей. А сама церковь Петра и Павла уже дымилась снизу доверху от жара, который обступал ее с трех сторон. В церкви весело и звонко лопались цветные стекла, вставленные в узкие оконца для красоты, — дар богатых купцов, привезших эти стекла из Византии. Звонница замолчала, и тут словно желтая змейка взлетела по бревенчатой стене вверх, к высокому восьмигранному куполу, через несколько мгновений церковь вспыхнула и тут же стала неразличимой в сплошном море огня.

По всему городу из домов выбегали люди, некоторые в исподнем, для того чтобы тут же ринуться обратно в дом, что-нибудь надеть. Бежали по улицам прочь от наступавшего огня, несли с собой все, что успели захватить. Выгоняли из хлевов скотину, надеясь, что она сама отыщет дорогу к спасению. Кони, коровы, овцы вперемежку с людьми забивали узкие проходы между домами, ломая изгороди, кидались вскачь по огородам, давя сочную ботву, топча капустные кочаны. В некоторых местах, где дым становился особенно густым, трудно было определить, в какую сторону двигаться, и толпы испуганных людей и скота бежали по неузнаваемым улицам прямо к огню.

Так погибли многие. Дома загорались целыми десятками, насыщая уличное пространство нестерпимым жаром, от которого вспыхивали волосы и одежда у людей, вытекали глаза у коней и коров, дымилась шерсть на овцах, кричавших пронзительными голосами. Обожженные люди отбивались от мечущихся животных, рубили топорами, били копьями и сами падали, придавленные тушами.

Еще вчера родная слобода, мирно пахнувшая навозом, теплой землей, кожами, деревом и кислой опарой, превращалась на глазах в геенну огненную. Толпам людей, которым удалось вырваться на простор к высокому берегу Клязьмы, приходилось скатываться с откоса вниз, к воде: ветром сюда несло весь дым, пропитанный удушливым запахом горящей плоти, и рвотный кашель выворачивал лег-

кие наизнанку. Некоторые, чье безумие начинало пересиливать первоначальный страх, пытались прорваться назад, будто можно было еще спасти родных или имущество.

Множество народа собралось на площади перед Успенским собором. Здесь пока еще не так жарко, но огонь высокой стеной уже приближался и сюда, поглощая по пути расположенные неподалеку богатые дома, из окон которых летели выбрасываемые наружу шубы, ткани и посуда. Набирая все больше силы, огонь начинал охватывать собор, ослепительно белеющий среди черного дыма и плещущих рваных языков пламени.

От княжеского двора, расшвыривая в стороны бессмысленный народ, пробивался к собору отряд дружинников с телегами, посланный спасать святыню — икону Божией Матери. Когда двое дружинников без особого почтения вытащили ее, сверкающую золотом и камнями, из дверей собора, многие вокруг стали падать на колени, но чудотворная быстро была укутана холстом, уложена в телегу вместе с другими иконами, золотой и серебряной церковной утварью, богато расшитой одеждой, и, когда прочее, наспех захваченное, было рассовано по седельным мешкам, отряд умчался по не охваченному пока огнем проулку туда, где, защищенный каменными стенами, покоился среди моря дыма и огня дворец великого князя.

Вскоре жар выдавил толпу с площади к реке. Вокруг собора горели мелкие деревянные постройки. Белый камень быстро чернел, ручейки расплавленного олова, сверкая, стекали по закопченным стенам. Со скрипом и треском, вскрикнув медью напоследок, осела звонница и выбросила к храму огромные желтые руки пламени, словно пытаясь дотянуться до непоколебимо стоявшего в вышине креста. Крест не дрогнул перед огнем, он будто знал, что должно прийти спасение. И оно пришло.

Ветром понемногу надуло мелкие облачка, потом небо начало сереть, хмуриться, потом почернело — и наконец первые холодные капли упали на раскаленную землю. Пошел дождь, то усиливаясь, то переходя в густую благодатную морось, то снова щедро проливаясь на шипящие бревна. Капли вскипали на горячем камне, в лужицах олова белый пар мешался с едким синим дымом, хлопья гари, носившиеся в воздухе, напитавшись влагой, тяжело опускались вниз. Отчетливей начинало пахнуть холодной едкой копотью. К обеду пожар совсем прекратился, лишь кое-где из дотлевавших кострищ, бывших когда-то домами, церквами, лавками, сочились струйки сизого дыма, но гореть уже было нечему.

Весь нижний город выгорел. Погибло много жителей. Однако в сгоревших кузницах сохранились наковальни и железные орудия, в ямах у кожевников остались нетронутыми заквашенные кожи, да и у плотничьих топоров пропали только рукоятки. Уже на следующий день, покрестясь на обгорелый Успенский собор, видимый теперь отовсюду особенно хорошо, народ взялся за обустройство. Разбирали родные пепелища с воплями и причитаниями, находя обгорелые трупы, гадали — свой или не свой, голосили над теми, кого удавалось узнать, но уже подвозили бревна, расчищали место для новых домов, копали, стучали топорами, начинали заново отстраиваться. Жертв могло быть неизмеримо больше, если бы часть населения, те, кто поопытнее, боясь пожаров, не уходила ночевать в поле вместе со скотиной.

Пожар сравнял всех. Спешили постройиться до зимы, до холодов. Собирались всей бывшей улицей, ладили избу одному, потому другому, и так — всем. К первому снегу город забелел свежошкурными бревнами, к неистребимому, казалось, запаху дыма добавился запах смолы и свежего дерева. На Торгу снова стали появляться купеческие лавки, кое-где успели даже и небольшие церковки поставить: а как же, ведь надо народ и крестить и отпевать.

Одним словом — пережили беду. Помогала и великая княгиня — сама раздавала погорельцам хлеб, куны, кому и овцу давала, а кому и корову. На княжеский двор позволено было пускать просителей, она к ним выходила, выслушивала, звала к себе старост, наказывала им строго следить, чтобы помощь распределялась справедливо.

Великий князь тоже не остался в стороне. От казны своей щедро уделил средства на восстановление церквей. И самое главное — решил перестроить Успенский собор, да так, чтобы был не хуже киевской Софии.

Давно уже великий князь Всеволод хотел иметь в своем стольном городе храм, не уступавший ни красотой, ни величием знаменитым южным храмам, вроде киевского Спаса-Преображения на Берестове или черниговской Успенской в Елецком монастыре. По главному собору и о князе судят. Но времени на строительство все не находилось, а потом и желание пропало. На деятельность жены, все возившейся со своим монастырем, Всеволод смотрел снисходительно и без зависти: тешится Марьюшка, ну и ладно. В последние два года великий князь вроде бы охладел даже к своему давнему соперничеству со Святославом.

А нынче, с рождением сына, юного князя Константина, будто обновили и самого Всеволода. Он снова стал вели-

ким князем — властным, жадным до славы и действий, ведущих к славе и власти.

Когда Всеволод первый раз принял на руки маленький комочек плоти, долгожданного сыночка, будущего властителя и защитника Русской земли, он почувствовал, что жизнь только начинается. Все предыдущие испытания, выпавшие на его долю, когда он был еще никем, и доставшиеся ему, когда он стал великим князем Владимирским, и скитания, и сражения, и муки радости, и горечь разочарований — все это было только для того, чтобы на свет появился этот крошечный сморщенный младенец, недовольно пыхтящий на руках обомлевшего от счастья отца.

Всеволод ожил. В нем проснулись все давние мечты и желания. Он вдруг загорелся мыслью: строить. В самом деле, негоже великому князю жить в своем стольном городе, где все, от княжеского дворца до главного собора, построено другими — дедом Владимиром Мономахом, отцом Юрием Долгоруким, братом Андреем Боголюбским. Все они находили даже в самые трудные времена возможность и средства для строительства. А что же он, Всеволод?

Святослав Киевский хоть и был в последние годы сильно озабочен, как бы расправиться с владимирским князем, да получить столь желанное ему первенство среди родичей, да вытеснить Рюрика с Давидом из их пределов и самому там укрепиться, хоть и жгли его эти насущные заботы, а все же о строительстве не забывал. Новый огромный храм в Чернигове, говорят, почти закончен. А Всеволод за все эти годы расстарался только на Дмитровскую церковь, да и ту Святослав сжег вместе с городом.

Пожар во Владимире для великого князя, не знавшего еще, за что приняться, пришелся как бы кстати. Цель теперь была ясна и хорошо видна из верхних окон княжеских покоев. Почерневший Успенский собор следовало не чистить да исправлять — его следовало перестроить.

Вместе с епископом Лукой днями сидели, придумывали, каким быть новому кафедральному собору. Он должен был затмить своей красотой и величием все церкви не только во Владимире и Суздале, но и в южнорусских городах. Определили будущему собору пятиглавие — уже существующий огромный купол соберет вокруг себя еще четыре, размером поменьше, как бы показывая, что вокруг великого князя так же соберутся все другие князья и так же будут осенены золотым светом его мудрого правления и вместе составят единую Русь.

Лука привел из Козьмодамианского монастыря монаха-умельца из греков. Неведомо какими путями попал этот грек во Владимирскую землю, но по-гречески с великим князем говорил как бы неохотно, а потом и вовсе перешел на русский язык. Он без робости выслушал все наставления Всеволода, поклонился и отбыл, а через несколько дней принес на двух листах пергамента изображение будущего собора.

Грек — а звали его Акинфий — предложил окружить стены старого здания галереями, которые и будут поддерживать добавочные купола. Таким образом храм расширится до пяти больших прясел на каждой стороне, построенных вровень с крышей, на которой покоится средний купол, а новые купола устремят вверх все величественное здание. И Всеволоду, и епископу Луке очень по душе пришли эти рисунки и спокойная уверенность Акинфия в своей правоте. Так и решили строить.

Из белого камня, конечно. Акинфий даже знал, откуда самый лучший белый камень привезти можно. Видно, у себя на родине был строитель не из последних. Все рассчитал: и сколько каменотесов потребуется, и сколько лошадей для подвоза камня, и сколько золота на купола, и сколько олова на крышу. А нужны были еще искусные резчики, и кузнецы, и изографы — ну, эти уже в последнюю очередь.

На все строительство Акинфий, прикинув, положил три года. Что ж, три года — срок небольшой для такого великого дела. Без колебаний великий князь назначил грека старшим на этом строительстве, велел ему, не смущаясь, приходить, когда нужно, и требовать, что понадобится. А если кто будет чинить препятствия, сообщать великому князю. Умельцев Акинфию выписывать разрешалось откуда захочет, хоть из Греции, хоть из немецкой земли, но все же, сказал Всеволод, надо бы сначала среди своих поискать, вдруг найдутся? Акинфий обещал поискать.

Так что вместе со строительством нового города взамен сгоревшего началось переустройство главного собора. Расчищали подъезды к обгоревшему зданию, копали глубокие рвы, и к зиме уже повели укладку каменного основания. Вокруг строительства выросло множество деревянных помещений и просто навесов, где с первым снегом каменотесы приступили к обтачиванию камня, который уже успели подвезти из полуденных¹ земель до начала осенней распутицы. Местный белый камень, из которого строил Бого-

¹ Т. е. южных.

любский, Акнифий отверг как не отвечающий требованиям прочности.

Когда установились холода и по дорогам замерзла раскисшая грязь, Всеволод отправил Ратишича и Юрюту с дружиной на болгар, прямо указав на богатые города Собекуль и Челмат: там следовало взять хорошую добычу. Предстояли большие расходы, дружина должна была кормить себя сама, да и княжеская казна нуждалась в пополнении. Сам великий князь на этот раз с дружиной не пошел — нашлись у него более важные дела. А если сказать откровенно, не хотелось Всеволоду уходить от Марьюшки. После рождения сына она почему-то похудела, стала будто даже меньше ростом и до того напоминала великому князю ту, давнюю Марьюшку, которая еще по-русски-то изъяснялась с трудом, что он глазам своим не верил. Будто прибавилось к нынешней его любви то, прежнее чувство и от этого она засияла ярче.

Дочери — Сбыслава, Всеслава и Верхуславушка — целыми днями готовы были возиться с младшим братцем, но Марья им, конечно, этого не позволяла. Константин был еще мал, и девчонки, играя с ним, могли ему чем-нибудь повредить. Другое дело — Еленушка. Марья даже в глубине души надеялась, что повзрослевшая дочь — а ей шел уже шестнадцатый год, — взяв брата на руки, проснется от вечного своего сна, двинется душой к нему и начнет понемногу жить.

Елена к этому времени стала взрослой девушкой, и если бы не постоянно безразличный ко всему ее взгляд и старушечья привычка поджимать губы, ее можно было бы считать даже миловидной. Княгине Марье казалось, дочери не хватает какой-нибудь малости, толчка извне или изнутри, чтобы исчезла у нее эта выморочность, порозовели щеки, по-девичьи порывисто задышала бы уже хорошо обогнавшаяся грудь. Но все было тщетно. Елена так же равнодушно приняла брата, как всех появившихся одна за другой сестер. Ни улыбкой, ни удивлением, ни хотя бы отвлечением не отозвалась она на поднесенного ей Марьей Константина. Надежды княгини растаяли, и она теперь могла себе признаться, что затеяла когда-то строительство монастыря, потому что понимала: там Еленушке и влачить свои дни, и лучшего места для нее не будет.

Иное дело — сестры. Все три как на подбор: темноглазые, смешливые, такие шалуны, что просто беда с ними. А между тем великий князь уже говорил, что несмотря на юный возраст дочерей, кое-кто уже намекал на свое жела-

ние породниться с ним. Не хотел говорить кто, отмахивался — рано еще, мол. Но княгиня Марья все-таки вытянула из него: оказывается, князь Рюрик Ростиславич сына своего непременно хочет женить на дочери Всеволода — любовью, кроме Елены. Княгиня Марья даже всплакнула. Как быстро время летит, скоро разлетятся доченьки. Взяла с мужа слово, что спешить он не будет, позволит дочерям вырасти возле нее. Всеволод обещал.

В начале зимы случилось у великого князя горе.

Младшенькая, Сбыслава-Пелагея, простудилась и слегла. Проболела недолго. Становилось ей все хуже и хуже, дышала с трудом, горела так, что губы обжигало, когда ко лбу притронешься. Когда немного отпускало ее, лепетала что-то непонятное, наверное, с ангелами разговаривала на их языке, перед тем как они ее к себе забрали. Умерла Сбыслава ночью, тихо, никто и не слышал, даже княгиня Марья, которая не отходила от дочки, тут же рядом с ее постелькой дремала на стульце. Смотрит — а Пелагеюшка уж не дышит, ручки сложила на груди, и личико спокойное, грустное. Пять лет прожила всего на свете.

Всеволод в эти дни от Марьи не отходил. И за нее боялся, и за себя — как бы чего не натворить. Злоба какая-то взяла великого князя: не уследили? Не уберегли? Кто не уберет? Покажи ему тогда любого да скажи: вот, княже, по чьей вине Сбыславушка померла — рубанул бы мечом наотмашь. Сам себя не узнавал Всеволод. Очень горевал из-за любимицы своей. Потом много плакали они вдвоем с Марьей, и понемногу полегчало.

Всю зиму во Владимир везли белый камень, необработанный, глыбами. Акнифий подсчитал: так выходило дешевле и быстрее. Со старого собора, забранного по самую маковку лесами, бережно снимали старую резьбу — плиты, украшенные птицами, зверями и святыми. Целыми днями со стороны собора доносился стук деревянных молотков, скрежет тесал. В ясные морозные дни сахарно белели вокруг закопченных стен груды белого искрящегося камня. Работа шла полным ходом.

В конце зимы потянулись обозы с добычей из Булгарии. Сопровождавшие их дружинники с обветренными до черноты, но довольными лицами, все в серебряных болгарской работы нагрудниках, увешанные драгоценным оружием, рассказывали о победоносном походе. Войско Ратишича заступило болгарам все пути подвоза продовольствия. Булгары пытались разбить владимирцев, но в поле им это было не под силу. Это ведь не то что за городскими сте-

нами отсиживаться — под началом опытного Ратишича дружина была поганых в хвост и в гриву. И вообще — слабые они были воины, болгары, не крепкие на рати — они больше люди торговые, и города их полны всякого добра. А если их купцам пути перекрыть, то торговля хиреет, и чтобы возобновить ее, болгары готовы отдать любой выкуп, какой им ни назначишь. Дружинники говорили, что многие в войске воеводы Ратишича против того, чтобы скоро возвращаться домой, и просят великого князя о подкреплении и позволении воевать, пока не начнутся весенние паводки. Всеволод отправил обратно с пустым обозом еще три сотни конных. А просились чуть ли не все. Всем хотелось отвесть богатой добычи.

Дружина вернулась как раз к разливу рек, но Клязьму перейти не сумела. Тронулся лед, потом река вышла из берегов, и войско с многочисленными возами вынуждено было разбить стан и стоять в виду Владимира, окруженное со всех сторон озерами талой воды. Перекрикивались с родными недели три, пока вода не сошла: снегу этой зимой выпало много и таял он долго. Наконец переправились, на дощаницах переправили возы. Воевода лично доставил великому князю во дворец треть добычи — едва не десять пудов золота и серебра в украшениях и слитках. Таков был уговор: две трети добычи получила дружина, а третью часть — князь.

Щедро пожертвовав на строящиеся храмы и монастыри, Всеволод призвал Акинфия и велел ему изыскивать умельцев колокольного литья. Акинфий сказал, что про таких на Руси он не слышал, возможно, в Киеве есть у князя Святослава, но вряд ли он захочет поделиться ими с великим князем, так как, по слухам, ведет большое строительство, заканчивая в Чернигове Благовещенский собор. Великий князь прав, считал Акинфий: чем выписывать мастеров колокольного дела из далеких стран или выискивать их у русских князей, нужно обучить своих, здесь, во Владимире. Нет такого, чему русский мужик не смог бы научиться. А для учения действительно нужно выписывать знающих людей, и лучше всего поискать их в немецкой земле, где, наверное, до сих пор льет колокола старый Теофил. Как подсохнут дороги, надо отправлять кого-нибудь туда, а лучше всего будет, если Акинфий съездит сам. Всеволод дал согласие.

Весна была самым любимым временем великого князя. С ее приходом он чувствовал, будто вместе со всей пробуждавшейся природой его душа тоже жила полнее и ра-

достнее, сбрасывая накопившиеся за долгую зиму грустные воспоминания, как молодой лист отбрасывает шелуху почки, разворачиваясь к солнцу. Вместе с тем Всеволод иногда сожалел о том, что полнота и радость жизни сейчас для него означают совсем не то, что в юности. Может, не стоило жалеть о юных годах, об утраченной доверчивости, о наивных надеждах молодости? Кто знает! Каким он был сейчас, Всеволод нравился себе гораздо больше, чем тот неопытный юный княжич, каким он был когда-то. Радость великого князя состояла сейчас в осознании своего могущества и власти, в любимой жене, подарившей ему наследника, в том, что если река блестит на солнце, то это — его река, в том, что знаменитые и сильные князья мечтают женить сыновей на его дочерях, наконец, в том, что лари и поставцы в его покоях полны золота и серебра. Вот чему рад подлинный властитель Русской земли.

И весна тоже принадлежала великому князю. Весна погонит в рост хлебные колосья, урожай с которых ляжет в его закрома. Весна призовет на его землю из дальних краев перелетных птиц, заставит плодиться зверей в княжеских лесах для его охоты. Весна высушит дороги для его непобедимой дружины. Весна вырастит траву для его стад. Весна вдохнет в него новые силы и желание жить.

Всеволод полюбил объезжать свои владения. В сопровождении Немого он отправлялся в город, смотрел, как идут работы на строительстве собора, навещался на Торг — справиться у лавочных сидельцев, что нынче почем; ему доставляло удовольствие видеть, как перед ним падает на колени вся площадь — словно трава под порывом ветра. Проезжал по кривым городским улицам — нарочно было велено делать их кривыми, чтобы при пожаре не возникала воздушная тяга. Едучи по такой улице, хорошо было вернуться из-за угла к какой-нибудь церковке с одиноко висящим ржавым билом на жалком подобии звонницы и позабавиться, как оторопь берет всю улицу, порой кажется, даже кошек и собак, не то что людей, пока кто-нибудь, спохватившись, не кинется звонить — славить великого князя. Всеволоду стало нравиться заходить без предупреждения к своим боярам, отмечать про себя радостное возбуждение хозяев и вдруг, в разгар веселой беседы, нахмуриться и уйти. Он замечал, что после таких представлений добромименные мужи, не в силах догадаться о причинах государственной немилости, становятся податливей и услужливей.

Великому князю еще больше стало нравиться знать все обо всех. Память его могла вместить многое. Верные люди

по-прежнему собирали сведения у купцов и монахов, возвращавшихся от святых мощей, дворовых людей, что за кунью мордочку готовы были рассказать, кто вчера ночью тайком приходил к их хозяйке-вдове. Писцы под наблюдением Юрята исправно все записывали, деля сведения на внешние и внутренние, и потом Юрята все относил государю. Всеволод стал у него бывать частенько, даже вместе с Марьюшкой и дочерьми, при виде которых Добрыня краснел и говорил мало, но зато сильным басом, а Бориска, наоборот, так начинал сыпать шутками, что девчонки уставали от смеха и долго потом дома не могли успокоиться.

Великий князь раньше всех, даже раньше Игоря Святославича, к которому эту весть повез нарочный гонец, узнал о том, что сын Игоря, молодой князь Владимир, в плену у хана Кончака женился, и не на ком-нибудь, а на самого Кончака дочери. Это лишний раз дало Всеволоду повод подосадовать на непонятную удачливость Ольговичей во всем. Кроме, конечно, борьбы с ним, великим князем, но и то до известных пределов.

Вот, пожалуйста, смотри: князю Игорю Святославичу уже под пятьдесят, седой уж весь, внуки взрослые. И вот он берет дружину, сына младшего, брата искушает, бросают они свои уделы и идут Бог весть куда. Несмотря на знамение! Солнце-то не зря тогда пропадало! И всю свою дружину, на которую столько затрачено, кладут под полoweцкие стрелы. Коней бы хоть пожалели! И что? И — ничего, как с гуся вода. Живет у Кончака не хуже, чем у себя в вотчине, захотел убежать — убежал. Сына своего, плоть и кровь свою — бросил! А волости свои без защиты оставил — то-то погуляли там поганые. Теперь и с Кончаком породнился. Хочешь — поезжай к нему да пируй на свадьбе, а хочешь — снова набирай дружину, у Святослава попроси, он даст — и опять иди войю. Может, еще одну дружину положишь, так Кончак не то что дочь — на радостях сам за тебя замуж пойдет!

Судьба Игоревой дружины, если по правде, не очень огорчала великого князя. На то они и ратники, чтоб сражаться и погибать, насильно никто их в дружину не брал. Но вот что бесило: ведь бессмысленный кровавый поход этот прославит Игоря Святославича на всю Русь, сделает из него удалого витязя. Всеволод никак не мог примириться с таким свойством народного сознания. В самом деле: если живешь, честно исполняя свой долг властителя и христианина, оберегая покой своих подданных, заботясь об их благополучии, стремясь наладить дружеские отношения с

соседними князьями, чтобы процветали торговля, искусство и земля украшалась во славу Божию — никто о тебе и думать не будет, словно тебя и нет. А наделай глупостей, добро бы еще глупостей, а то — крови пролей побольше, тут и прослывешь знаменитейшим! Всеволод не раз говорил Юрята, да и княгине Марье говорил: вот увидите, скоро мы про отважного князя Игоря Святославича песни услышим.

Но вообще жизнь шла своим чередом, неплохо шла. Тем более что княгиня Марья опять была в тягостях.

ГЛАВА 23

Юрята пришел домой непривычно сердитый: разругался с Захаром Нездичичем вдрызг. Захар, собачья душа, давно был у Юрята на подозрении. Да что там на подозрении — обкрадывал государя, и княгиню Марью норовил обмануть при всяком удобном случае. Был он теперь не просто кравчим, а не поймешь кем — и покосами он распоряжался, и скот княжеский под его надзором пасся и плодился, в швальни и в валяльни он свой нос совал.

Ну, раз великий князь ему прощает — ладно. У Юрята и другие заботы есть, чем думы о татьбе Захаровой. Но тут случай вышел. Как-то, в начале лета еще, возвращаясь со Всеволодом с охоты — выезжали они пробовать новых выжлей, — довелось им ехать мимо стада княжеского. Большое стадо, дорогу перегородило, стали ждать, пока пройдет. Тут случайно взглянул Юрята на одну корову, а у нее примета такая забавная: на плече пятно, на человеческий глаз похожее. Ну — глаз и глаз. Поглядел и забыл. А вчера, к вечеру уже, возвращался от бояр на Федора Ноздри после одного делового разговора, и как раз мимо Нездичичевых палат проезжал. Они, Нездичичева родня, широко обстроились, пожаром их не очень задело, а у княгини Марьи помощь получали как горькие погорельцы. Ну и прочие доходы, конечно. Это — дело не наше. А то дело, что баба их дворовая коров загоняла. Вот ту самую корову, с глазом-то на плече, Юрята увидел — сразу и вспомнил, откуда животное.

Невелика беда, конечно, а не удержался сегодня, спросил Захара: как молочко-то от княжеской коровки, живот не пучит? Даже не так спросил, чтобы строго, а вроде как бы в шутку. Другой бы на месте Захара тоже отшутился или сказал, что пасет свою корову в княжеском стаде, чтоб за ней лучше присмотр был, или — бык там уж очень

хорош, или еще что. А Захар-то как взвился! Раньше, бывало, в глаза глядит преданно, а сейчас силу почувствовал. И побить его неловко — происходило все в княжеских покоях, ждали, когда великий князь выйдет. И смолчать не смог. Вот и пришлось, как святой отец Лука говорит, перебрасываться блядословными укоризнами.

Дурак он, что ли, Захар этот? Не понимает, что своим ором себя с головой выдал. Полный дурак. Дурак-то дурак, а умеет к государю и к княгине подлезть! Обидно за князя и княгиню. Юрята рассказал все жене и чувствовал, как обида понемногу уходит. На себя только осталась: зачем спорил с дураком? Говорят ведь: если увидишь на дороге дерьмо — обойди его, но не трогай, если не хочешь знать, как смердит.

— А знаешь, Любава, что я подумал? — вдруг усмехнулся Юрята. — Ведь корову-то я погубил. Захар ее, поди, сейчас собственноручно кончает. Бедная коровушка!

— У тебя все бедные.

Ответила строго. Была Любава наконец беременна, ее тошнило, и она часто беспричинно сердилась. Вот и сейчас — начала слушать вроде с любопытством, сочувствовала, а под конец построжела.

— Ладно, — примирительно сказал Юрята. Старался не раздражать жену. — Ребята наши где — не знаешь?

— Добрыня — у Прокофия, а Бориска в город подался, знакомого навестить.

— Гляди ты! Порознь стали ходить. Раньше-то все вместе да вместе.

— Так Бориске не захотелось к Прокофию-то. Что он — собак не видал? Ему на людей охота посмотреть.

— И на него чтобы смотрели, — засмеялся Юрята. И, увидев, что Любава начинает сердиться, сказал поспешно: — Да я ведь что, Бориска парень молодой, ему только и похвастаться сейчас. Потом уж не то.

— Что потом? — встревожилась Любава. — Войну, что ли, князь затевает?

— Да нет, нет! Какая война? Ничего не говорил князь про войну, — сказал Юрята. — Это я к тому, что вырастет, постареет — тогда уж не покрасуетя.

— Ну да! Молчал бы уж! Весь сивый, а как на улицу выходить, так целый час причесываешься, — ядовито сказала Любава. — Все гребни обломал. Не для полюбовницы ли прихорашиваешься?

Нет, что-то сегодня с бабой неладное творилось. Не надо бы ей много воли давать. Юрята нахмурился:

— Что ж мне, к князю лохматым идти? Ты давай не заговаривайся!

Любава замолчала, отвернулась к окну. В который раз Юрята пытался разгадать вечную загадку: по-настоящему она сердится или притворяется? Ее не поймешь. Полюбовницу вот выдумала. Да что ж это такое? Все на него стали голос повышать. В былые времена достаточно ему было взглянуть на человека — и тот сразу ласковый делался. Старость, что ли, приходит? Не должно бы. В руках, в ногах сила есть. А Любава? Живот-то у нее от кого? От стариков дети не рождаются.

Нет, дело тут не в старости. А просто давно Юрята заметил, что как-то изменилась жизнь. Не в том дело, что из бобыля, все богатство которого было — меч, конь да любовь к княжичу, он превратился в состоятельного, семейного, имеющего вес при княжеском дворе человека. И не в том дело, что князь стал другим — он и должен был стать другим. Жизнь изменилась! Будто и говорить вокруг все стали иначе, а в чем иначе — не понять, только частенько чувствуешь себя как человек, рассказывающий всем о каком-то случае, а его все уже давно знают. И понимаешь, что знают, а рассказываешь, потому что надо рассказать.

Вот и Любава такая же стала — из тех, кто знает, о чем хочешь рассказать. Может, она и всегда была такая? Да ведь ночью-то не разглядишь, да и некогда в душу заглядывать, когда и без того есть на что смотреть. А по ночам все больше и встречались, днем-то дела, служба княжеская.

— Любава, — сказал Юрята. — В чем я виноват перед тобой? Скажи.

Она быстро обернулась, и Юрату удивило, какие вдруг сделались у нее испуганные глаза.

— Ты что говоришь-то?

— Не говорю, а спрашиваю. Уж больно ты строгая стала.

— Да ведь... неможется мне, — смущенно оправдываясь, проговорила она. — Что ты к сердцу принимаешь глупости бабы?

Кажется, едва не заплакала.

— Ну ладно, ладно. Поди-ка ко мне, посидим рядом.

Любава мягко поднялась, пересела к мужу на лавку, прижалась теплым боком, голову прислонила к плечу. Он обнял ее, легонько — чтобы не сломить чего — прижал. Сила-то есть еще.

— Тошно мне что-то, ладо мой, — прошептала Любава. — Мысли всякие нехорошие. Боюсь чего-то.

— Чего тебе бояться? Я ведь с тобой. Ребята с тобой. Вот скоро родишь еще девочку, чтоб была красивая, как ты.

— Нет, лучше мальчика.

— Да вон у нас их сколько, — улыбнулся Юрята.

— Нет, нет, я загадала. Если княгиня Марья девочку родит, то мы их поженем потом.

— А если княгиня мальчика родит?

— Тогда девочку мне без пользы. Сына князь на какой-нибудь княгине женит. А дочку, может, и за нашего сынка отдаст.

Юрята удивился:

— Так он может теперешних своих дочек за наших ребят отдать.

— Не может. Не понимаешь ты. Они обе уж просвата-ны, мне княгиня говорила. А когда мы с княгиней родим да подрастут наши деточки, князь Всеволод, может, и отдаст нам дочку.

— Почему это отдаст?

— Отдаст. Я княгиню Марью уговорю. А потом, — Любава взглянула на Юрята, — ты ведь тоже при князе будешь не из последних. За твоего сына он отдаст.

— Может, и отдаст, — пожал плечами Юрята. Ему не нравился этот разговор.

— А породнимся мы с князем, — сказала Любава, и в голосе ее Юрте слышались хищные нотки, — тогда все по-другому будет.

— Что будет? Чего тебе другого надо?

— Ох, не понимаешь ты. Целый век при князе, а что нажил?

— Тебя вот нажил с приданым, — сказал Юрята. Ему все больше не нравился разговор.

— А за дочкой, — шептала Любава, — за дочкой-то князь и город даст.

— Так ведь не тебе даст, — сказал Юрята, — а сыну нашему.

Любава снова поглядела на мужа, увидела, как сердится. Спохватилась:

— Ой, что это я? Разнежилась. Пойду-ка прилягу, пожалуй. Голова что-то кругом.

Встала и ушла. Наверх теперь поднималась только на ночь.

Юрята остался сидеть. Ужинать еще было рановато, хотя и можно бы. Но ему не хотелось есть одному или с Любавой, хотелось дожидаться ребят. Любава ему почему-то сейчас была неприятна, словно чужая. Он знал, что это

пройдет. Но пока лучше поужинать с ребятами. Вот с ними — совсем другое дело! Легко и хорошо. Когда говоришь, они тебя слушают. Ну, Бориска, может, и не так, а вот Добрынюшка — да. Какого сыночка послал Господь! Этот вырастет славным воином, много чести добудет и себе и князю. А ведь случайно нашелся. Не попадись та повозка — что стало бы с Добрынюшкой?

Тут как раз затопали на крыльце знакомые шаги. Зашел Добрыня. Увидел Юрята, обрадовался:

— Один сидишь, тятя?

Любил бывать с Юрятьой наедине.

— А где маманя? Бориска не прибежал?

— Не прибежал твой Бориска. Вы чего не вместе-то? Не поругались ли?

— Нет, — засмеялся Добрыня, — с ним не поругаешься.

— А вот и пошел бы с ним. Там ребята, наверное, девушки.

— Да... — Добрыня пожал плечами.

Совсем как я, подумал Юрята.

— Ну садись. Ужинать будем. Мамка приболела что-то. Может, выйдет к столу. Ульяна! — крикнул Юрята.

Из притвора, ведущего на кухню, выглянула нянька.

— Собирай на стол, что ли.

— Сейчас, сейчас, батюшка. — Ульяна скрылась.

Скоро прибежала Малява, поглядывая на Добрыню, начала накрывать на стол. Как обычно, Добрыня старался не встречаться с ней взглядом. Юрята вздохнул: не задурила бы парню голову, подумал он. Продать ее, может?

Однако не похоже было, что Добрыня готов поддаться Малявиным чарам. Он уж и забыл, что когда-то мечтал на ней жениться и отпустить ее на волю. Может, потому и забыл, что почувствовал: на воле ей не бывать.

Собрали ужин, и решили Бориску не ждать. Кто его знает, когда придет. Любава не вышла — сказала, что совсем разболелась и есть не хочет. Ну и ладно. Помолились наскоро и приступили. Им можно было не разговаривать — они прекрасно обходились без разговоров. Поглядывали друг на друга, улыбались — и достаточно.

Был бы Бориска за столом — стоял бы сейчас смех. И Любава бы перевозмогла болезнь. Девки крутились бы вокруг стола, прыскавая в рукава.

— Видал, как Малява на тебя поглядывает? — вдруг спросил Юрята. Он сам не знал, почему так спросил. Наверное, потому что мысли об одном: как вырос сынок!

Добрыня опять пожал плечами. Смутился.

— Это я к тому говорю, что ты сторожись с ней, — сказал Юрята. — А то смотри, может, отдадим ее кому?

— Не надо. — Добрыня помотал головой и смутился еще больше.

«Не торопись, сынок, с этим делом. И жениться вообще не торопись», — хотел сказать Юрята.

Вместо этого спросил:

— Может, женить тебя? В твои годы уж многие женятся.

— Я еще молодой, не нагулялся, — быстро ответил Добрыня. И по тому, как он ответил, Юрята понял, что этот вопрос ему уже задавали и, наверное, научили, как отвечать.

— А что? — повеселел Юрята. — Невесту тебе хорошую найдем, внуков твоих буду нянчить. Жаль, у князя дочки обе просватаны.

Добрыня посмотрел на Юрята удивленно и вроде просяще. Не знал, видно, что дочки просватаны.

— Ну, это я так. Шучу. Насчет дочек князя-то, — сказал Юрята. — А насчет невесты подумай. Захочешь — найдем невесту. У меня уж и на примете есть. А то, может, сам найдешь?

Добрыня почему-то сидел, окаменев лицом. «Зря это я завел такой разговор, — подумал Юрята. — Надо бы отвлечь его».

— Ты у Прокши был? — спросил он.

Добрыня молча кивнул.

— О чем говорили?

Добрыня нехотя пожал плечами. Не хотел разговаривать, переживал. До Юраты наконец дошло.

— Да ты что, сынок? Взаправду про князьких дочек думаешь? Про какую? Старшую? Младшую?

Добрыня мучительно, будто преодолевая что-то, кивнул. Покраснел.

— Вон что... — протянул Юрята. — Ты, сынок, выкинь это из головы. Что ты? Они ведь государи. Не чета нам.

— Ну и пусть, — твердо и тихо проговорил Добрыня.

— Не думай даже и не мечтай. Это только сказки такие бывают. Что ты? Ее за князя отдадут. Верхуславу-то. Ей так на роду написано.

Добрыня молчал. Потом с трудом сказал, глядя в стол перед собой:

— Тятя... уприси князя, чтоб не... не отдавал ее.

— Уймись! — крикнул Юрята и с силой грохнул кулаком по столу. Толстые были доски, а посуда подскочила. Никогда еще не кричал он на Добрыню. В притворе появилось испуганное лицо Ульяны.

Добрыня даже не моргнул.

— Да что на вас нашло на всех? — воскликнул Юрята. — То одна, то другой.

Добрыня непонимающе глянул, снова опустил голову.

— Сынок... — тихо и нежно сказал Юрята. — Я князя знаю, как тебя, с твоих лет. Он меня сам братом называл. Но попросить его за тебя я не могу. Это же князь! Великий князь! Господин наш и хозяин. После Господа Бога второй.

Добрыня внимательно взглянул на Юрята и снова отвел глаза.

— Они не такие... не такие, как мы. Нельзя им с нами. — Юрята осунулся, даже как будто постарел. Потом посмотрел прямо на Добрыню и сказал: — Сынок, забудь про это. Пообещай мне, что забудешь. Ладно?

Добрыня помолчал, потом посмотрел в глаза Юрате и кивнул. При этом, как показалось Юрате, чуть улыбнулся.

Неужели и он что-то понимает, чего я не понимаю, испуганно подумал Юрята. Но лицо Добрыни уже было почти спокойным. Он взял яйцо, очистил и откусил. Проглотил словно напоказ: вот, мол, я ем. Успокойся, тятя.

Как ни было Добрыне горько после разговора с отцом, все же в душе он чувствовал страшную радость от того, что Юрята узнал его тайну. Тайне этой должно было скоро исполниться три месяца. Дочь великого князя Добрыня полюбил весной, когда князь с княгиней и дочерьми зашли к Юрате по случаю праздника Воскресения Христова. Князь Всеволод был тогда весел и добродушно настроен, княгиня, как всегда, добра и ласкова, а дочки, Всеслава и Верхуслава, которых Добрыня видел много раз, в этот день показались ему теми самыми ангелами, о которых поют в церкви. И в то же время они были никакие не ангелы, а живые девочки — лукавые, смешливые и такие прекрасные, что Добрыня даже забыл о том, что сам великий князь сидит у них в гостях и надо на него глядеть с благоговением, пытаясь не утерять ни одного слова из того, что он скажет, и ждать, что он обратится именно к тебе. Князь Всеволод и вправду о чем-то его спросил, но Добрыня не слышал, и получилось неловко. Юрята был недоволен.

Всеслава была старше и, может быть, красивее сестры, но Добрыне полюбилась именно Верхуслава, хотя ей только еще шел седьмой год. Конечно, он и не думал о малышке как о женщине или хотя бы девушке, понимал, что она еще ребенок. Но ему вдруг стало страшно, что он может жить, не видя ее круглого смеющегося личика, ее маленьких рук, которые не могли лежать спокойно и посто-

янно искали себе занятия, не видя, как она изо всех сил пытается выглядеть взрослой и в то же время как бы смеется над этим. И еще, первая мысль, которая всякий раз появлялась у Добрыни, стоило ему взглянуть на щебечущую Верхуславу, была: она скоро подрастет. Прежде всего в ней угадывалась будущая красавица и только потом уже красивый ребенок. Вот эту будущую девушку, еще не выросшую, Добрыня в ней и полюбил.

Он и сам знал, что князь есть князь и дочь его — княжна — не пара даже сыну государева подручника, боярина, думца. К тому же он, Добрыня, был сыном незаконным. Будь князь Всеволод каким-нибудь захудалым князьком с дюжиной дочерей, тогда можно было еще надеяться. Но князь Всеволод, как много раз говорил Юрята, был самым великим и сильным среди всех князей, и дочери его должны выходить тоже за знаменитых и сильных князей из Рюрикова рода или за государей чужеземных стран.

Но попробуй отними надежду у молодого, пылкого сердца! Добрыня верил, что к тому времени, как Верхуслава подрастет, он заслужит на поле брани такую славу, что великому князю ничего не останется, как в награду выдать за него дочь.

И Добрыня готовился стать знаменитым воином. По пятам ходил за немым Жданом, когда тот не был при князе, и просил его учить искусному бою. А Ждан с радостью учил его. И Добрыня уже знал, что может помериться со многими воинами, хотя бы и из княжеской дружины. Он просил Юрята отпустить его на болгар, взять с собой, когда тот поедет, но Юрята пока ничего не обещал. Он чуть ли не молился — хотя грех было об этом молиться, — чтобы напали половцы. Тут бы никто не удержал Добрыню. Но поганые не нападали на великого князя, будто чувствовали, что Добрыня их ожидает, и грабили южные княжества. Про это много разговоров было. Но придут же они когда-нибудь и сюда!

При мысли о том, что когда-нибудь половецкая орда явится и на их землю, Добрыня даже повеселел и вроде бы на душе стало полегче. Ну и что же, что просватана Верхуслава? Ее княгиня не отпустит от себя, такую малолетнюю. Подождут еще несколько лет, да хоть десять. А за это время многое может случиться. Были в его жизни разные случаи. А он, Добрыня, вот он — жив и здоров. А что сын он Юрате не родной — ну что ж. Пусть ему кто-нибудь об этом скажет!

Добрыня устал сегодня. До обеда с Бориской в конюшне возились, потом ездили на Клязьму. Наплавались до изнеможения. А после обеда Немой его долго гонял. Бориске хорошо: он пообедал, похлопал себя по пузу да и подался в город. Не сказал, куда пойдет. Это он уже не впервой так. И Добрыню с собой не звал. Ну и ладно. А Добрыня зато к Прокофию-ловчему ходил щенят смотреть. Прокофий про охоту любопытно рассказывает — слушал бы и слушал. Еще говорил, что великому князю скоро, может, к следующему лету пришлют диковинного зверя для охоты — пардуса. Будто бы этот зверь одной лапой медведя убивает и хозяину прямо к ногам приносит. И Прокофий говорил, что сильно боялся этого пардуса, но великий князь ему сказал, что при этом звере нарочный человек будет, которого зверь слушается. И еще Прокофий переживал, что с таким зверем великому князю уж ни собаки не будут нужны, ни соколы, ни сам он, Прокофий. Вот бы на пардуса этого взглянуть.

— Тятя, — сказал Добрыня, — я спать пойду.

— Устал? Поди, поди, сынок. Я вот посижу еще чуток, подожду, может, придет Бориска. А то не буду ждать — тоже лягу. Не говорил он тебе — не заночует ли у кого?

— Не говорил. Или... — замаялся Добрыня. — Вроде хотел у знакомцев переночевать, у Даньши вроде...

— У какого Даньши?

— У Олексича Даньши.

— А-а. Это ладно. Так постой — Олекса-то уехал два дня как, говорил, что сына с собой берет. Не взял, что ли?

— Не взял, наверное. Не знаю, — сказал Добрыня, стараясь не смотреть Юрате в глаза.

— Съездить к ним, спросить? — как бы в раздумье проговорил Юрята. — Ладно, не маленький, не пропадет. Иди спать, сынок.

Добрыня ушел к себе. Пожалуй, надо тоже ложиться, подумал Юрята. Представил, что сейчас пойдет звать Любаву, а та за день выспалась, поднимутся вверх, и тут ей какая-нибудь вожжа под хвост попадет, и заведет Любава долгий разговор со слезами и упреками, и будешь лежать и скрежетать зубами. Побить-то ее нельзя. Да и не бил он ее никогда, теперь-то уж что начинать. Хотя порой хочется. Ну, надо идти звать. А то один ляжешь — обидится. Тоска от всего этого берет. Скорее война бы, что ли.

Решил все же идти спать. Сходил, разбудил дремавшую жену, поднялись вверх. Легли.

К некоторому его удивлению, Любава нынче вела себя тихо и ласково. Не помешала ему заснуть.

Ни к какому Даньше Бориска не собирался идти ночевать. У него цель была другая.

Отправился он ловить жар-птицу за хвост. Звали ее Потвора, и, несмотря на молодой возраст, уже несколько лет она вдовела, похоронив старого мужа, бывшего старостой купеческой сотни. Жила с двумя старыми няньками в большом доме на не тронutom прошлогодним пожаром Заболонье, у церкви Святой Параскевы, где и располагались в основном купеческие дома — с высокими глухими заборами, широкими дворами, с нагромождением товарных хранилищ и надворных построек, сплошной полосой тенистых яблоневых садов, отделенных от Клязьмы.

Вела Потвора жизнь не то чтобы веселую, но и скромницей не была. И на гуляньях ее можно было увидеть, и на Торгу, где она, выбирая нужную покупку, бойко перешучивалась с лавочными сидельцами и приказчиками.

Дочку ее Господь прибрал еще во младенчестве. Сватались к ней, и не раз, но замуж снова она выходить не спешила. А охотников до нее находилось много: привлекала она и своей молодостью, и богатством, так как после смерти мужа осталась хозяйкой солидного торгового дела, которым, правда, не занималась, передоверив дело пожилому хромому приказчику. Тот вел дело исправно: и себя не обижал, и хозяйку.

К Потворе ходили не только сваты, подкатывались к ней и любители сладенького, даже сам тысяцкий Никита, говорят, предлагал ей тайную любовь взамен на влиятельную свою помощь в торговых делах. Но мало ли что говорят об одинокой молодой женщине. Впрямую же ее никто ни в чем не мог обвинить.

Все это о ней Бориска выведал разными путями. Началось же все с того дня, когда, проезжая мимо церкви Параскевы на новом своем коне, которого хотел проверить в поле за городом, увидел попавшуюся его навстречу молодку и вмиг узнал в ней ту самую, что пошутила над ним, юным ратником, вернувшимся из похода на Торжок.

После того случая, происшедшего недалеко от городских Золотых ворот, бывая в городе — на Торгу, в слободах с разными поручениями, в соборе, — везде искал ее взглядом. Тогда-то, не успев ее разглядеть как следует, запомнил только глаза, одарившие его таким взглядом, какого он еще ни от кого не удостаивался. Бориска думал, что стоит ему увидеть ее, как спадет это наваждение, потому что она наверняка не та девица-красавица, что снилась ему

в стыдных, но желанных снах, а вовсе пожилая тетка, да вдобавок замужняя и с кучей детишек.

И узнал ее сразу, даже не всматриваясь, просто сердце забухало где-то в животе: она, та самая! Впились глазами. Что делать? Остановить коня — нельзя, не станет говорить на улице с чужим. Спросить о чем-нибудь? О чем? Обычно слова всегда находились, а тут, пока придумывал, верный конь пронес его мимо. Ну, дальше пришлось ехать. Хлестнул его по крупу, ускорил ход. Она его, конечно, не узнала.

С того дня он и начал ее выслеживать. Проще всего было на Торгу подкараулить, к толпе покупателей приблизиться и, глядишь, перекинуться словечком. Стал надевать синий кафтан, шапку высокую, с куньей оторочкой. Обязательно нацеплял на пояс саблю, с ней больше мужества чувствовал в себе, а потом никак не шла из головы та сабелька, которую хотела поглядеть Потвора. Вроде сабля у пояса уже чем-то, только им двоим известным, их связывала.

Имя ее узнал легко: встретил на Торгу и услышал, как называл ее молодой приказчик, выставивший разный скобяной товар, мимо которого она проходила. Была со старухой, зорко поглядывавшей по сторонам и степенно кланявшейся встречным знакомым. Старуха эта и навела Бориску на удачную мысль.

Подав куну нищенке, постоянной обитательнице торговой площади, посулил ей целую ногату, нет — две, если сообщит ему нужные сведения. Убогая, может, с час молотила языком, так что в конце концов Бориске стало неловко: уж на них стали коситься, любопытствуя, о чем это красиво одетый отрок боярский, а то и княжеский, так долго разговаривает с никчемной старухой, которую даже не зовут никак.

Было это в самом начале мая, как раз перед Пасхой. Бориска дожидаться не мог Светлого Воскресенья — задумал встретить Потвору и похристосоваться с ней троекратным поцелуем. Юрята не отпустил в Страстную субботу на всенощную: я, мол, с великим князем буду стоять, а вы — со мной. Чтоб всем вместе быть. Не станешь же объяснять Юрята, вот мамка — он чувствовал — отпустила бы. Днем, кое-как отделавшись от Добрыни, Бориска побежал на Заболонье — встретить хоть на улице.

И встретил ее, но теперь не со старухой, а с целым выводком молодух, а это было еще хуже. Снова пришлось проходить мимо, не сбавляя шага. Заметил, правда, что,

когда молодухи, поравнявшись с ним, зашушукались и засмеялись, она не засмеялась с ними, а только поглядела на Бориску с удивлением, точно силилась его узнать.

Когда он, бывало, околачивался возле взрослых, то всегда прислушивался жадно к разговорам про девок, баб и про то, как с ними нужно обращаться. Дружинники князя, например, часто о таком беседовали. Из всех разговоров выходило одно: бабы любят подарки и нахрапистость. Хорошо, подарок можно раздобыть, но не попроси же на улице на Потвору, как конный на пешего, не станешь совать подарок. На помощь станет звать, побьют еще. Сначала познакомиться надо. Опять же — как? Он-то хоть и чувствует себя уже взрослым, а — мальчишка для нее, она-то ведь и замужем была, и вообще, конечно, немолодая. Лет на семь, никак, старше Бориски.

И никого нет, чтобы помочь познакомиться. Никак Бориска не мог сладить с этим наваждением. И когда видел ее — нехорошо, и когда не видел — тоже нехорошо. Как-то теплой ночью не мог заснуть, лежал, в темноте глазами лупал — такая тоска взяла, ну хоть из дому беги да у нее на пороге ложись, чтобы ноги вытирали, и чуть не надумал пойти к Юроте просить: сватай! Откажет тебе — попроси княгиню Марью, откажет княгине — попроси великого князя. Ему Потвора, конечно, не сможет отказать. И действительно, хотел Бориска утром говорить с матерью да с Юротой. Слава Богу, что заснул. Утро вечера мудренее: когда проснулся, передумал идти.

И хотелось забыть ее уж скорее, да и делу конец. Бориска стал к разным девкам приглядываться, и нравились ему некоторые, а все не то. Колдунья она, эта Потвора, не иначе. Прислушила.

А жить все равно было хорошо! Лето играло, лес зеленел, река сверкала под солнцем. Скоро князь на ловлю будет выезжать, их возьмет с Добрыней. Мамка осенью родит братца или сестричку — забавно. К зиме, может, в болгарскую землю снова поход будет — на войне все забудется, заживет, он это чувствовал. Пока же время от времени не мог с собой сладить, тянуло на Заболонье, в торговый конец.

Вот и сегодня после обеда, хоть и собирался давеча с Добрыней пойти на княжескую выжлятню, посмотреть молодых собак и поговорить с ловчим Прокофием о предстоящей охоте, ощутил, что его словно веревка какая тянет прочь с княжеского двора, знакомый поводок, привычный, которому приятнее не сопротивляться, а подчиняться, — и

отправился в город, с облегчением пообещав себе сделать это в последний раз.

Он спустился по дороге к кривому проулку, вышел к площади, где строили большой собор, прошел мимо, торопясь, чтобы случайно не заметил кто-нибудь из распорядителей — хорошо знали его в лицо, тот же Акинфий или помощники его, и могли дать какое-нибудь поручение. Проскочил, слава Богу. Дальше — к Торгу, где и надеялся увидеть мучительницу свою.

Обежал все ряды три раза, разглядывая выставленные товары. Смотреть на горшки, ткани, седла и сбрую, замки, косы, серпы, обувь, деревянную посуду было скучно, столько раз все видно. Потвору в рядах не встретил, даже возле ее лавки, где сутился тот самый старичок-приказчик, споря с покупателями. Нет, нужно идти к ее дому. В расстройстве и уверенности, что сегодня, а может и никогда, больше ее не встретит, решил пойти окольным путем на улицу, где стоял Потворин дом, с другого, противоположного конца, и уж снова пройти мимо нее, возвращаясь домой.

Улицы были пусты в этот послеобеденный час, и ничто не отвлекло Бориску, ничто не задержало. Кляня себя, что мозолит глаза всем на этой улице, что стал посмешищем, он, стараясь идти неторопливо, сдерживал желание убыстрить шаг, потому что подозревал: из-за прикрытых по случаю жаркой погоды ставней за ним наблюдает много любопытных глаз, медленно тащился вдаль вереницы добротных домов.

Немудрено Бориске быть замеченным: жители все друг дружку знают наперечет, а он еще и одеянием своим в этот будний день выделяется, как муха на куске сахара — бархатная синяя шапочка вроде подшлемника, чтоб голову не напекло, синяя шелковая сорочка, расшитая на груди затейливым узором, красные штаны тонкого полотна и мягкие зеленые сапожки с загнутыми кверху носами. А сабля! Она здесь, на скучной и пыльной улице, даже ему самому кажется нелепой!

Вот и ее дом. Знакомый снаружи, будто свой. Ни движения в нем не видно, ни единого звука не слышно. Ворота закрыты, ставни наглухо затворены. Там, внутри, наверное, прохлада, пахнет травой, только что скошенной где-нибудь поблизости, на берегу Клязьмы, и разбросанной по полу для свежести. Потвора, наверно, пообедав, лежит сейчас у себя в спальне, на постели, в одной рубашке, чтобы не было жарко, и дремлет, раскинувшись. Лучше себе и не воображать этой картины! Или не дремлет, а усадила

свою няньку-старуху рядом с собой и велела ей рассказывать сказку... Вот бы переодеться старухой и проникнуть в дом к ней, да чтоб она не заметила подмены. Какую бы сказку стал ей рассказывать?

Впереди, там, где лежал Торг, послышался шум. Что бы это могло быть? Народу нынче в рядах немного, да и с чего бы им так шуметь? Даже если бы все разом с сидельцами вдруг заспорили, то и тогда не набралось бы голосов для такого шума. Дом Потворы уже остался позади. Бориску рассердил этот шум, и он решил с пути не сворачивать, хотя обычно старался не вступать на улице ни в какие происшествия.

Шум от Торга слышался все явственнее, в нем можно было различить весьма грозные выкрики. Что это? Вора поймали? Или купец выбросил на прилавок гнилой товар, успел кому-то всучить, а теперь отпирается, его, конечно, приказчики да другие купцы поддержали, а за обманутого покупателя вступились — и пошло. И — завертелось побоище, втягивая в себя все новых участников, а они и не знают, кого бить, и бьют тех, кто поближе стоит.

Должна стража на шум прибежать. Кого свяжут, кому по шее дадут — восстановят спокойствие. Бориска был очень сердит на Потвору, что она не встретила его нынче, и, чтобы не казаться самому себе смешным, как бы невзначай тронул саблю, висевшую слева на поясе, и, решившись, твердо пошел на шум.

Однако по мере приближения к торговым рядам благоразумие в Бориске начало понемногу пробуждаться. В самом деле — чего испытывать судьбу! Мало ли что там происходит. Примут за соглядатая да возьмут в кольцо — сабелькой не отмахнешься от толпы. И чего люди шумят в такой ясный летний день?

Бориска решил не переть на рожон, а обойти торговую площадь сбоку. Может, удастся рассмотреть, в чем там дело. Глядишь — и не придется вмешиваться, тем более что уже и желание пропало. Он свернул в ближайший проулок — так, ему казалось, выйдет к складам, пробравшись между которыми незаметно подберется к тому месту, откуда доносились крики. Удивительно и немного страшно было идти пустым проулком — ни возле домов, ни на огородах некого было спросить, что происходит, или хотя бы ободриться видом человека. Какая-то неведомая сила утянула весь народ туда, на площадь.

А, нет, все же Бориска здесь не был один. Он крался вдоль длинной бревенчатой стены бретьяницы, когда из-за

угла, куда он собирался свернуть, послышался топот шагов и хрип запыленного дыхания. Бориска непроизвольно прижался спиной к бревнам, успев мгновенно подосадовать, что, наверное, испачкал новую сорочку смолой, и взялся за рукоятку сабли. Кто-то направлялся сюда по проходу между бретьяницами, и, судя по звукам, производимым этим человеком, явно не просто прогуливался. В проходе, еще невидимый, кто-то тонко и тихо завизжал, и тут, сразу появившись, оба — их было двое — оказались перед испуганным Бориской.

Один из людей, по одежде, как с облегчением увидел Бориска, был княжеский дружинник; он тащил за шиворот второго, тщедушного мужика в рваной рубахе, без шапки, босого. Волосы мужика были растрепаны, глаза выпучены от удущья — дружинник, на голову выше его, таща, стянул горло воротом холщовой рубахи. В дружиннике Бориска радостно узнал дядьку Ласко, которого хорошо знал.

Но такого Ласко ему еще не доводилось видеть. Лицо дружинника было отрешенное, как у мертвого, только глаза жили на нем, горели огнем. Вывернув из прохода за угол, прямо под Борискин взгляд, Ласко тут же переложил сипящего мужика из правой в левую руку, толчком приоткрыл к стене, крепко ударив затылком, и свободной теперь правой рукой медленно и нежно потянул нож из-за сапога, все ближе присовываясь лицом к выпученному лицу того, сразу как-то затихшего.

Когда нож выскользнул из-за голенища, Ласко, вдруг задержавшись на миг, оглянулся по сторонам и увидел Бориску, оскалился, отпрянул от мужика. Тот послушно дернулся вместе с рукой дружинника, сжимавшего его горло. Ласко узнал Бориску, ощеренный рот его закрылся, сложившись в недовольную улыбку. Незнакомый мужик обесиленно прильнул щекой к руке, держащей его теперь почти на весу.

— Юрятч, — зло, но все же как к своему обратился Ласко. — Ты как здесь? Зачем?

Он еще раз посмотрел на мужика и брезгливо отбросил его обратно к стене. Мужик, всеми расслабленными костями ударившись о бревно, на подогнувшихся ногах сполз и стал похож на кучу тряпья, из которой торчали две большие желтые ступни.

Бориска не знал, что сказать. Тот самый дядька Ласко, не раз хохотавший над Борискиными шутками, теперь не был похож на того весельчака, всегда располагавшего к дружескому разговору. Но все же это был именно он, тот

самый Ласко. Встряхнул головой, как после купания, взглянул на нож в своей руке и пригнулся положить его на прежнее место. Выпрямился и теперь уже почти знакомыми глазами нацелился на Бориску.

— Ты с Торга убежал, что ли? — спросил, подмигнув.

— Нет... я тут шел, слышу — кричат, — как бы оправдываясь, сказал Бориска.

— А-а. Да эти вот, — Ласко показал на мужика, — ходят, воду мутят. Там дружки его еще остались. Ну, наверное, их уже взяли наши. — Дружинник пнул ногой кучу тряпья. Куча пошевелилась, блеснула глазами из-под спутанных волос и снова затихла.

— Мятаж устроили, — продолжал Ласко. — Против князя народ подбивать. Вира им, видишь, велика. А то, что князь их кормит, это они забыли. Ладно, мы тут с ребятами случились. Побили их маленько. — Ласко хмыкнул. — Тут, Юрятч, главное дело — до звона их не допустить. Начнут в било колотить, соберут народу толпу, а сами, глядишь, в суматохе чем-нибудь и разживутся. И других сманят лавки грабить. У-у! — И он, вроде даже беззлобно, опять пнул мужика ногой, но тот вдруг выругался, откинул белое лицо с жидкой кустистой бороденкой, закатил глаза, словно от боли.

— Ишь прикидывается, — презрительно сказал Ласко. — Однако это хорошо, Юрятч, что я тебя встретил. Его отпускать-то нельзя. Надо в темницу доставить или к тысяцкому — дознание провести. На тебя, Юрятч, вся надежда. Ласко быстро оглядел Бориску.

— Вот, при оружии ты. Это хорошо. Ступай, побег и к Торгу. Там кого из наших увидишь — Блуда, Братилу, Сыся, — сюда их веди. Скажи — я звал. А я этого пока поостерегу, пса шелудивого.

— А где идти-то? — растерянно спросил Бориска. Ему почему-то страшно не захотелось туда, на площадь, молчавшую сейчас и потому казавшуюся ему еще более опасной, чем раньше.

— Вот здесь пройдешь, — с готовностью, даже, как показалось Бориске, с услужливостью показал Ласко. — Вот тут проходом прямо и прямо, не сворачивай, а там сам увидишь.

Бориска, стараясь не показывать своего нежелания, придерживая саблю, пошел. Перед тем как завернуть за угол, в проход, оглянулся. Ласко стоял, долгим взглядом провожая его. Потом, подбадривая, улыбнулся неприятной улыбкой и махнул рукой: иди, иди, мол.

Бориска пошел между складами по утопанной, покрытой слежавшейся золой тропке. От того, что сзади оставался знакомый дружинник, было не так боязно. Вот впереди, в просвете между нагромождением построек, появились торговые ряды. Он прибавил шагу и вышел к площади, заранее готовясь отыскать взглядом красные кафтаны княжеских дружинников.

Но он их не увидел. Среди народа, находившегося на площади, дружинников не было. И вообще — все выглядело так, словно ничего здесь не произошло, правда, народ — мужики отдельно, бабы отдельно, — стоя кучками, что-то обсуждал. Пробежала стайка ребятишек. Заунывно запел кто-то неподалеку: «Квасу холодного, квасу холодного с хреном!» Бориска постоял растерянно, не понимая, что должен делать: поручение выполнить было нельзя.

Он направился вдоль Торга, заглядывая в лица попадавших ему навстречу людей. Невольно отмечал про себя всякий раз, проходя мимо баб, что Потворы среди них нет. Никого из дружины, для того чтобы позвать их на помощь дядьке Ласко, он не встретил. Натолкнулся, чего раньше здесь с ним никогда не случалось, на несколько колючих злых взглядов. Стало одиноко среди этой, такой чужой сегодня, толпы. Бориска подумал: хорошо бы выбраться отсюда и побегать домой. И тут же понял, что домой, как ни хочется, пойти не удастся: там, на задах, за складами, ждал его помощник дружинник Ласко, стороживший злого человека, из одной, наверное, воровской братчины с теми, кто так недобро косился на него. Бориска повернул назад.

Проход, через который он выбрался к Торгу, отыскался не сразу: был закрыт телегой, груженной кулями. Но Бориска все же отыскал его и побегал по тропе между бретьяницами, торопясь скорее добраться до того места и предложить Ласко провести преступника не через площадь, а задами, вдоль огородов, а там выбраться на какую-нибудь улицу поспокойнее. Вот и угол, за который надо завернуть.

Дядьки Ласко там не было, а мужик все сидел. Не похож он был на злодея-разбойника — обычный мужик-смерд, какие тысячами копошатся в земле, таскают бревна, жуют хлеб из тряпицы, глядя в одну точку, валяются пьяные в лопухах во время праздников. Вот как сейчас. Бориска глянул — и отшатнулся: рубаха, которую мужик скомкал обеими руками на животе, была вся черная от крови. Лица его не было видно, голова свисла на грудь.

— Ты что же наделал?

Бориска даже подпрыгнул от испуга, мгновенно оборачиваясь на голос. Недалеко от него стояли двое, смотрели. Один постарше, седоватый, другой молодой, синие глаза на красном лице. У обоих в руках короткие толстые палки. Откуда подошли? Следили за ним, выслеживали. Стояли, пока не двигались. Сабля! Бориска судорожно схватился за оружие.

— Ты не хватай железку-то, отрок,— по-прежнему не двигаясь, произнес тот, кто постарше.

Второй, помоложе, спросил сурово:

— Твоя работа? За что его убил?

«Они думают, это я убил мужика,— понял Бориска.— Рассказать им».

— Нет, нет. Я его не убивал,— стараясь быть спокойнее, проговорил он.— Я пришел вот только что, а он лежит.

— А что ты здесь забыл? Ты чей? — спросил пожилой.— Боярина Нежила отрок? Что высматриваешь?

И тут Бориска, вспомнив глупое лицо старого боярина Нежила, почувствовал некоторую обиду. Нежилова чадь была презираема всеми: боярин будто нарочно разводил у себя на подворье таких же, как сам, глупых и злобных ребят — некрасивых лицом, не брезговавших отнимать даже у нищих их жалкую добычу. Отроки боярина Нежила были притчей во языцех, и сказать кому-нибудь, что ему место среди них, считалось немалым оскорблением. Бориска сразу успокоился. Рука на сабле слегка разжалась и лежала вольно, не стискивая изогнутую рукоятку, но и не собираясь покидать ее.

— А ты кто такой, чтобы меня спрашивать? — В своем голосе Бориска с удовлетворением услышал спокойную утробу.

Они переглянулись.

— Мы вот сейчас тебе покажем, щенок боярский, кто мы такие,— проскрипел пожилой. Молодой, перехватывая палку поудобнее, шагнул в сторону и вперед. Охватывали, значит, с боков. Гнев, мягко и сладко поднявшись откуда-то из живота, ударил в голову. Бориска ловко выхватил саблю из ножен. Тяжесть клинка придала ему восхитительную силу и смелость. Старый как будто замешкался в нерешительности, но молодой не стал останавливаться, кинулся на Бориску, крутя колом над головой. Но в последний миг, спасаясь от рубящего удара сабли, присел и отпрыгнул в сторону, к мертвому мужику. А сзади уже набегал пожилой, и Бориска, не успевая размахнуться во второй раз, сунул клинок ему навстречу, одновременно почувствовав

скользнувший по плечу обжигающий удар твердого дерева и — правой рукой — наткнувшуюся на острие дернувшуюся живую плоть. Пожилой с криком отпрыгнул, выронил дубину. И теперь уже пришел Борискин черед отпрыгивать — он оглянулся и увидел молодого с поднятым над головой колом совсем близко. Бориска не попал по молодому, но отогнал его и сам наконец догадался попятиться назад, отступая. Пожилой сидел, прижав руку к груди. Молодой, видя, что Бориска отошел уже на порядочное расстояние, подбежал к пожилому и нагнулся над ним, пытаясь определить, насколько тяжело ранен его товарищ. Тут Бориска почувствовал, что ему надоела битва. Он увидел путь для отхода: вдоль огородов поворачивала вниз, к реке, и дальше скрывалась среди деревьев тропинка. Бориска что есть духу бросился по ней, оглядываясь. Погони за ним не было.

Очутившись под прикрытием листьев, он ощутил уверенность и даже заставил себя рассмеяться.

Стыдно было за свой страх, который он испытал сегодня несколько раз. Он, считавший себя уже настоящим воином, повидавшим за свою жизнь и убитых и умирающих, испугался каких-то смердов, которые сами должны были испугаться его.

Он долго сидел под раскидистым дубом, пытаясь погасить горевший в душе огонь стыда и найти оправдание своему бегству. Но оправдания не находилось. Одно жалко: не хотелось, чтоб забили колями безвестно — мамка бы потом убивалась. От такого оправдания стало еще стыднее.

Он опять вспомнил Добрыню. Тот бы не стал убегать. Ну, Добрыне хорошо, он уже и поганого когда-то успел саблей порубать. Он спину никому не покажет, печально думал Бориска, ковыряя острием сабли росший рядом гриб.

Неизвестно, сколько надо тут сидеть, дожидаясь, чтобы стыд прошел. Бориска решительно поднялся на ноги. Единственно, чем можно успокоить душу, — это вернуться назад и поискать этих двоих. Взять их и доставить — хоть к тысяцкому, хоть куда. А не захотят подчиниться... Что ж, он не убежит во второй раз.

Бориска пошел обратно, очутился у огородов. Там уже бабы какие-то копались, пололи грядки, выставив зады. Завидев его, выпрямились, разглядывали, прикрываясь ладошками от солнца — оно уже начинало закатываться. Пройдя мимо огородов, немного попетлял между деревянными строениями и вышел опять к тому самому месту.

Там никого не было — ни мертвого мужика, ни тех двоих. Бориска даже подумал, что ошибся, но нет — на траве,

возле стены, где раньше сидел мужик, виднелись следы крови, рядом валялись обе дубины. Он побегал по проходам между бретьяницами, но не обнаружил обидчиков, только напугал каких-то мужиков, сгружавших с телеги тяжелые бочки.

Торг уже заканчивался, лавки закрывались, и народ расходился. Покружив по площади, похोдив вдоль лавок, Бориска направился прочь, сам не зная куда. Возвращаться домой ему совсем не хотелось. Разговаривать со своими — с Юртой, с Добрыней — даже подумать об этом было невозможно. Ему казалось, что как только они его увидят, так сразу все узнают.

Но зверский голод, поднявшийся в нем, понемногу все же примирил Бориску с возвращением домой. Хорошо было бы поспеть к самому закрытию ворот — когда солнце совсем сядет. Чтобы, оказавшись дома, наестся и сразу залечь спать. А завтра снова вернуться сюда, походить, поискать. Бориска даже немного повеселел.

До закрытия ворот, однако, было еще далеко. Он решил искупаться и еще больше ободрился. Казалось, вместе с потом и пылью сегодняшнего дня он смоем большую часть той скверны, что мучила его. Ощутил вдруг себя липким. Надо было опять спускаться к Клязьме.

Теперь он шагал уверенно, вызывая поглядывая по сторонам. Его даже немного обижало, что никто не обращает на него внимания. Впрочем, люди на улицах, попадавшиеся ему, имели вид степенный, а многие и одеты были не хуже Бориски. Он проходил по Заболонью, а здесь народ жил богатый.

Найдя спуск к реке, Бориска долго бродил по берегу, выбирая место для купания. То дно ему казалось илистым, то коряга торчала из воды, отбивая всякую охоту купаться. В конце концов он наткнулся на хорошее место — тихую заводь с травянистым берегом. В заводи играла рыба — слышались всплески, расходились круги. Бориска прислушался: никого вокруг, значит, никто и не помешает. Он быстро разделся и бултыхнулся в воду.

Блаженство охватило его. Прохладная вода охладила тело, умыла свежестью лицо, приласкала волосы. Расходившиеся от него волны уносили все плохое, каждой частичкой он словно впитывал новую радость и молодую уверенность в себе.

Плечо, по которому вскользь прошелся удар колом, слегка побаливало. Бориска оглядел: ничего, посинело немного, а кожа цела. Надо будет Добрыню попросить, что-

бы поучил мечом махать, как это он делает. Бориске стало казаться, что с сегодняшнего дня все изменится, жизнь пойдет по-другому, лучше, чем до этого дня. Наполоскавшись вдоволь, он вылез на берег, постоял немного, обсыхая, попрыгал, выливая воду из ушей. Оделся. Взялся за пояс с саблей, чтобы подпоясаться. И тут услышал приближающиеся шаги.

Кто-то направлялся сюда, и в Бориске мгновенно проснулись все его страхи и вся решимость их перебороть. Пятясь, он спрятался за кусты, присел, скрывшись в густой высокой траве. Ему вдруг захотелось, чтобы это были те двое. Посмотрел бы он на их морды, когда он выскочит из кустов с обнаженной саблей, неотвратимый, как сама смерть. Бухнутся в ноги, конечно. Бориска подался чуть вперед, наполовину вытащив клинок из ножен.

На полянку вышла женщина. И как только Бориска увидел ее, он понял, что все сегодняшние волнения и потрясения выпали ему только для того, чтобы после всего он получил вознаграждение — оказался именно в этот миг именно в этом месте. Может, она, колдунья, сама это ему наколдовала. Потому что женщина была Потвора.

Даже не оглянувшись туда, откуда пришла, Потвора стала снимать одежду.

Бориске уже доводилось подглядывать за купающимися девками. Но здесь все было не так. Он знал, какой она окажется. Она такой и оказалась. Потвора немного постояла, поглаживая себя по грудям и животу — как только что он стоял на этом же самом месте. Потом, улыбаясь, медленно вошла в воду. Поплыла. Бориске сразу стало скучно, и он принялся разглядывать свою ладонь, ожидая, когда Потвора закончит купаться и вылезет на берег. Очень скоро он этого дождался. И снова глядел на нее — как стекают капли по коже, как отжимает она слегка намокшую косу, как, будто нехотя, одевается и, вздохнув, собирается уходить. Тогда он встал, спокойно шагнул ей вслед и тихо позвал:

— Потвора.

Она всем телом обернулась к нему. Попятилась. Он стоял, упревая руки в бока, и улыбался.

— Ты кто? — спросила она. — Чего тебе?

Но не убегала. Остановилась даже, видя, что и он не трогается с места.

— Подглядывал, что ли? — спросила она. — Бесстыдник! Уходи отсюда!

Он молчал, раздумывая: кинется ли она бежать, если он попробует подойти.

— А я ведь знаю тебя, — сказала Потвора. — Такой хорошенький и такой безобразник. Ну, уходи! — Она махнула на него рукой, повернулась и спокойно пошла прочь.

Бориска смотрел, как она уходит. И тут вдруг само придумалось, взял и сказал. Даже удивился, как душевно получилось:

— Постой, красавица моя. Позволь хоть поглядеть-то на тебя!

Она остановилась. Тронула рукой метелку травы, росшей рядом. Полуобернулась.

— Ишь ты. Как говоришь-то складно. — И, уже обернувшись, сказала с улыбкой: — Не нагляделся еще, значит? Ну, пойдем.

ГЛАВА 25

Сколько мирному времени ни продолжаться, а войны все равно не миновать. Великий князь давно уже ждал: у кого первого кончится терпение и разыграет гордыня — у Святослава ли Киевского, у Давида ли и Рюрика Ростиславичей, все еще противившихся воле великого князя, а может, рязанские князья захотят укунить руку, их кормящую? Впрочем, где им.

Давиду в Смоленске, правда, тоже не до противоборства со Всеволодом Юрьевичем: Давид Ростиславич сидит в Верхнем городе, в своем дворце, закрывшись от народа своего на все запоры. Смоленск бродит, словно пиво в бочке: на каждой улице — вече, в каждом доме достают горожане из укладок и ларей давно залежавшееся оружие и броню, насаживают наконечники от старых копий на новые древки: когда весь город охвачен волнениями, оно, глядишь, лишним не окажется.

Бледный от гнева, Давид меряет шагами просторные покои своего дворца, склоняясь к тому, чтобы посадить дружину на коней и двинуть на подданных.

Рюрик и Святослав, ныне связанные узами вынужденной дружбы, озабочены даже не тем, чтобы оспаривать друг у друга Киев и днепровские города. Бушует половецкая степь, волны орд подкатывают к границам киевским и черниговским, не позволяя князьям успокаиваться, не дают им и достаточно времени, чтобы строить козни против владимирского князя. Сколько такое будет длиться?

Неспокойно на Руси. Только владимирские и суздальские земли живут мирно. Выезжая на полудне, великий князь Всеволод всякий раз может убедиться: народ доволен жизнью, доволен своим государем. Везде его встречают радостными криками, колокольным звоном, образами украшенными. Все любят Всеволода Юрьевича: после слабовольного и неудачливого Долгорукого, после жестокого Боголюбского земля Суздальская узнала длительную радость благоденствия.

Бывают, конечно, смуты и в Ростове, и в Суздале, и даже в стольном граде Владимире. На всех не угодишь — недовольные и смутьяны всегда найдутся. С такими князь Всеволод поступает жестко: в цепи — и в яму. Там не побунтуешь.

Украшается вотчина Всеволода. Растут новый Успенский собор во Владимире, белокаменная Богородичная церковь в Ростове. Иных — и каменных и деревянных — без числа. И в каждой славят Господа и великого князя.

Уже который год осень щедро одаривает урожаем владимирских жителей. Еще и с прошлого года хлеб остается, а уже новый надо засыпать в закрома. Вон в Новгороде кадь¹ ржи стоит гривну, во многих домах хлеб на столе не каждый день. Что ж, никто новгородцам не мешает поклониться великому князю — тогда будут с хлебом. Великий князь знает, такой день обязательно придет — поймет Новгород, что без покровительства Всеволода Юрьевича ему не обойтись. А пока — можно подождать. Сын великого князя, Константин, подрастет как следует, а к тому времени и новгородцы созреют. Что толку затевать с ними войну? Это как с пчелами: мед можно бортничеством добывать, а можно ульи ставить. Бортник найдет дикое гнездо, мед оттуда вытащит — и все, с этой пчелиной семьей больше ничего не получишь, ищи другую. А тот, кто семью приручит, каждый год будет с нее мед получать, и семья останется в целости.

Дружина великого князя без дела не сидит, но против своих единопоместников меча не обнажает: бьет половцев, отгоняя их от своих границ в глубь степей, ходит на болгар, себя обогащая и князю принося доход.

Дома у великого князя совсем хорошо: подрастают две дочери-красавицы, невесты для владетельных государей, уже пробует сынок, княжич Константин, вставать на ножки. Не очень у него это пока получается, но всему своя

¹ Кадь — кадка; любая обручная посуда.

пора, встанет юный княжич крепко на ноги, взмахнет мечом и устршит всех врагов, а может, сделает то, что отцу не удалось и, наверное, не удастся — станет единым государем всей Русской земли, укрепит ее и избавит от княжеских раздоров и усобиц. А если Константину окажется это не по силам, то, может, пошлет ему Господь брата — помощника. Ведь княгиня Марья опять беременна. Ну, как бы там ни было, а теперь уже есть кому великокняжеский стол оставить. С такой уверенностью и жить легче.

Но мир скоро должен был закончиться. Всеволод давно ждал этого.

В любой войне едва ли не главное — не дать застать себя врасплох. Хорошо знать свою силу, но хорошо также знать и намерения ближних своих. Великий князь не забыл, как напали на него мятежные Мстислав и Ярополк. Не то чтобы он испугался тогда, но это чувство внезапного бессилия перед неизвестностью — сколько их? где они? куда идут? — он не хотел больше пережить. Большой кровью заплатила тогда Владимирская земля за беспечность своего государя. Да, именно беспечность, ибо долг великого князя в том, чтобы не тратить время на развлечения, когда не защищена земля от врагов.

Всеволод получал сведения со всей Руси. Он знал, что происходит во всех княжествах. Вместе с приближенными обдумывал, с какой стороны ждать войны и от кого. Великий князь ждал войны великой, ради великих целей. Нигде не таилось больше причин для войны, чем в великом противостоянии Ольговичей и Мономаховичей. Но как раз за Святославом ничего подозрительного не замечалось. Рюрик был ему надежным сторожем.

Ожидая чего-то большого, значительного, человек порой не придает значения малому. Вот так и великий князь: пристально вглядываясь в Южную Русь, где были сосредоточены основные силы, противодействующие ему, словно забыл следить за змеиным гнездом, которое находилось у него прямо под боком.

Смирив рязанских Глебовичей, Всеволод считал — да и сами они неустанно уверяли его, — что теперь его воля будет для них законом. Уделы свои, полученные хоть и в вотчинах отца, князя Глеба, они, Глебовичи, взяли из рук великого князя. Чем быть недовольными? В сущности, рязанские князья получили в своей жизни гораздо больше от Всеволода, чем от Глеба. Великий князь неоднократно щадил их жизни, а ведь мог и не щадить. Они каждый раз об этом забывали.

Один из братьев, Ярополк Глебович, скончался вскоре после большого стояния на Влене. Но осталось еще пятеро. Никто из них не был обделен наследством, и под покровительством владимирского князя они могли жить в своих уделах, ничего не опасаясь, даже гордясь перед другими такой надежной защитой. Так думал и Всеволод.

Когда брат поднимает руку на брата — что движет его рукой? Та ли сила, что вложила камень в руку Каина? Наверное, так. Но ведь и камень можно не во всякую руку вложить — иная оттолкнет его. Но есть руки, всегда жадно раскрытые для такого камня, сами ищущие его.

Взаимная ненависть братьев Глебовичей — да была ли она? Ничем они друг перед другом не провинились. Что могли сделать весьма пожилым уже Роману, Игорю и Владимиру юные Святослав и Всеволод Глебовичи? Разве только то, что никогда не противодействовали владимирскому великому князю. Но об их противодействии тогда и говорить было нелепо: Святославу в год похода князя Глеба с Мстиславом и половцами на Владимирщину едва исполнилось семь лет, на три года только старше его был Всеволод Глебович, юноша мягкий и добродушный, превыше всего, казалось, ценивший в жизни свою супругу, спокойную жизнь возле нее и деток своих, сыновей и дочек, рождавшихся у него чуть ли не каждый год.

Может, заговор старших Глебовичей против младших и состоялся потому, что оба они — Святослав и Всеволод — были юны и невоинственны. Испытание присоединить к своим владениям еще и небольшой городок Пронск, где и сидели младшие братья, не мешая друг другу, помогло старшим преодолеть взаимную неприязнь и объединиться. Хотя свежи еще в памяти Игоря и Владимира были времена, когда Роман их вышиб из их уделов и охотно уничтожил бы самих, если бы смекалистые Глебовичи не кинулись спасаться к владимирскому князю.

Роману очень хотелось завладеть Пронском. Этот небольшой городок, не так давно построенный князем Глебом, мог служить отличной опорой для противостояния великому князю Владимирскому. Князь Глеб для того его и построил на берегу речки Прони, начав строительство сразу с крепостных стен. В городе могла укрыться большая дружина, там были просторные склады для продовольствия, от протекающей рядом речки по желобам, скрытым в земле, поступала вода. Отсюда можно было делать набеги на Владимирскую землю, всякий раз возвращаясь под прикрытием неприступных стен. Князь Роман думал, что, заняв

Пронск, он будет лучше вооружен против великого князя. Этой выгодой он и хотел привлечь братьев.

Еще вчера непримиримые враги, Роман, Игорь и Владимир в начале лета сошлись в Рязани, где на широких пирах помирились за чашей вина. Они сидели за столом в просторной гриднице и, несмотря на примирение, зорко следили друг за другом, пили, на всякий случай, каждый из своего кувшина. Роман, уже почти неотличимо напоминавший отца, князя Глеба, такой же тучный, приземистый, с бегающим взглядом колючих глазок, глубоко спрятанных в сероватых лохматых бровях, приступил к делу без обиняков. Он знал своих братьев, знал, что у всех у них в жилах течет одна кровь, и по косвенным намекам, звучавшим в нарочито пьяных веселых речах Игоря и Владимира, сразу понял, что к нему в Рязань мириться они ехали, уже догадываясь, какова истинная цель их замирения.

Слабому не нужно зарабатывать вину перед сильным — он и так виноват уже тем, что слаб. Еще не зная, как будут делить между собой несчастный Пронск, все трое — Роман, Игорь и Владимир — тут же, в гриднице, договорились, что лучше бы младшим братьям просто исчезнуть из жизни. Игорь и Владимир сначала не очень настаивали на непременно убийстве Святослава и Всеволода, говорили, что достаточно просто вышибить их из Пронска, даже позволив младшим Глебовичам вывезти с собой скудную казну, дабы не так остро чувствовать себя нахлебниками при дворе какого-нибудь сердобольного родственника. Пусть себе идут живые! Глядишь — пожалеет их кто-нибудь, да хоть бы и Святослав Киевский, бывший всегда ласковым с Глебовичами, а то и владетельный и могучий ныне Рюрик Ростиславич. Мало ли городов по Днепру, посадит где-нибудь Всеволода Глебовича, а Святослав Глебович будет при нем. Даром, что ли, жена Всеволода Глебовича приходится Рюрику двоюродной внучатой племянницей? Еще и благодарить старших братьев станут.

Но Роман, будучи заметно умнее своих недалёковидных братьев, отверг их великодушные порывы. Дело надо делать, решил он, так, чтобы концов не оставалось. К чему оставлять на свободе и в живых младших братишек? Чего ради? Уж не любви ли братской? Оставь им жизнь, они потом начнут пороги обивать у влиятельных государей, искать управы.

Роман нарочно в этой беседе не стал упоминать имени великого князя — и так ясно, у кого могут просить защиты Всеволод и Святослав. Не там ли, не во дворце ли у Все-

волода Юрьевича бились лбом об пол сами Игорь и Владимир, жалуясь на него, Романа? Не нужно было Роману лишний раз напоминать об этом братьям, хотя бы и не впрямую.

И так было ясно братьям, что во всем — во всех их бедах, бесправном положении среди других князей, в том, что приходится жить в деревянных палатах, а не каменных, в том, что поганые терзают набегами, даже в том, что хлеб порою плохо родится, — во всем виноват он, великий князь Владимирский и Суздальский Всеволод Юрьевич. Вот кого бы с размаху, разогнавшись на коне, рубануть мечом наискось... Но — его не рубанешь.

Смертный приговор младшим братьям был решен где-то между пятой и шестой чашами вина.

Жить старшим братьям сразу стало веселее. Они были повязаны кровавой порукой, общим важным делом. Это была настоящая жизнь — с ясной целью впереди. Можно было даже и не торопиться. Еще лучше — сделать все под шумок, когда князь Владимирский отвлечется на какие-нибудь великие свершения. Он ведь был занят только великими делами. Вот и дожидаться бы такой поры, когда мелкие внутрисемейные разборательства Глебовичей покажутся ему недостойными внимания. Узнает Всеволод Юрьевич, что рязанских князей поубавилось, покачает головой укоризненно, может, пригрозит. А что толку? Хоть к каждому рязанцу дружинника своего приставь, а Святослава и Всеволода этим не воскресишь.

Братьям заранее хотелось так думать — это придавало их намерениям некий оттенок удачливости. Немного портило всю картину то, что великий князь Всеволод почему-то питает непонятную благосклонность к своему тезке — Всеволоду Глебовичу, и тот охотно и часто бывает во Владимире, даже ненаглядную супругу свою и детишек оставляя дома ради возможности побеседовать с великим государем. Что-то их роднит. Ведь не только имена.

Но все это были мелочи. Ядовитая кровь князя Глеба кипела в жилах старших братьев, застила их разум, и без того невеликий, красным туманом. Обозначив младшеньких как врагов, они уже ненавидели их. В конце лета начали действовать.

Было несколько попыток убить младших братьев поодиночке. Верный человек на охоте пустил во Всеволода стрелу, да только оцарапал и погиб зря: заметили дружинники, что это был не случайный выстрел, и долго думать не стали — не успел Всеволод Глебович понять, что происходит,

и схватиться за раненое плечо, как Чирятый, человек, подкупленный старшими братьями, уже падал с коня — голова налево, туловище направо. Еще отряд посылали перехватить Всеволода на полюдь, но Всеволодовы воины храбрее оказались, прогнали засаду, нескольких убив. По душу Святослава также посылали людей, да, видно, какая-то сила и впрямь младших братьев охраняет: убежал Святослав, уцелел.

И ведь поняли младшие Глебовичи, откуда ветер, приносящий стрелы, дует. Съехались вдвоем и с того дня не разлучались, и если отправлялись куда, дружины брали с собой достаточно. А тут — осень, дождями все дороги расквасило, болота разлились. Не очень-то погоняешься за дичью, когда кони по брюхо вязнут.

Братья решили ждать холодов, пока же расстались на время. Владимир уехал в Коломну, Роман — в Рязань, Игорь — в Белгород рязанский. Уговорились держать связь между собой, чтоб по первому зову — вперед! Святослав с Всеволодом засели в Пронске — всех городских жителей выгнали на работы по укреплению этой твердыни — стены наращивали, копали рвы, втыкая в дно заостренные колья. Младшенькие свезли в Пронск всю свою жизнь — все, что собрано было на полюдь.

И успели загородиться! Когда дороги сковало морозами, старшие осадили Пронск. Но сразу было видно, что ни изъездом, ни на измор город не взять. Все же разбили стан, ездили вдоль стен, смотрели. Потом охота пошла, ставили тенета на зайцев, вытаскивали жирных медведей из берлог, стреляли оленей. Пронские жители поглядывали сверху, со стен, ругались, грозились, иногда кидали стрелы.

Снимать осаду не хотелось. Столько готовились... Зачем тогда мирились, переламявали свою гордость? Снять осаду — стыда не оберешься перед молокососами, а самое главное — не закончилось бы тогда хрупкое перемирие между старшими братьями. Дружина у каждого готова, добыча ей обещана. А этим дуболомам не все ли равно, кому глотку резать — Святославу ли, Игорю ли, Роману ли. Так что уж лучше было в осаде постоять — занятие хоть и не самое веселое, да зато безопасное.

И вели, конечно, осаду из рук вон плохо. Дружинники где-то и вино доставали, и брагу. Да что там где-то. В Пронске и покупали у жителей. Глядишь вечером — а ни сторожей, ни постов, все по шатрам сидят и уже таковы, что на холод никого не выгонишь. Что делать — старшие братья и сами начали от скуки к чарке прикладываться.

И не уследили. Пропустили не какого-нибудь гонца на резвом коне — из города убежал сам князь Всеволод Глебович, да еще с десятком дружинников. Куда побежал — известно, во Владимир сразу и отправился, к хозяину своему, челом бить. Святослава же оставил в Пронске, поручив ему супругу свою и детей.

Братья забеспокоились, но время прошло — и все улеглось. Всего-то навсего приехали к Пронску послы — княжий меченоша и думец Юрята, боярин Федор Ноздря, небольшое число ратников с ними. Привезли от великого князя грамотку и на словах передали, что, мол, Всеволод Юрьевич, всех любя как отец, просит их опомниться, напоминает о Святополке Окаянном, о том, что русским князьям не следует обнажать мечи против единоплеменников.

Одним словом — ничего такого, что могло бы смутить братьев. Ну, посидели с послами в шатре, поговорили. Посольство важное, вино пить отказалось. Очень настаивали, чтобы просьба их государя была выполнена.

Роман слегка перепил и разгневался. Понять его, конечно, было можно — стыд за бесславное стояние под стенами Пронска падал прежде всего на него, как на старшего. Разгневаешься тут. Стал кричать, что в своих уделах они сами себе хозяева, советы им ни к чему, ни в чьей воле ходить не желают. Бранил послов, ногами топал, но за меч, однако, хватило ума не браться.

У Игоря Глебовича, разгоряченного отвагой брата, появилось, правда, естественное желание: раз мы, мол, такие хозяева в своих уделах, так зачем зря слова тратить? Не лучше ли тут же и доказать свою независимость, убив послов?

Да только Юрята, князя Всеволода думец, сразу это намерение понял и так выразительно положил ручищу на рукоять меча, так подобрался и глянул в мутные глаза Игоря, что вопрос сам по себе отпал. Отпустили их с миром — а что еще оставалось? Великому князю, сказал Роман, протрезвет наутро, кроме того, что вчера было говорено, другого ответа не будет. Посольство уехало с каменными лицами — жаловаться Всеволоду Юрьевичу на непокорных. Осаду решили не снимать.

И снова потянулись дни, которые надо было чем-то заполнять. Охота прискучила, пьянство не радовало, а отупляло только. Братья все чаще огрызались друг на друга, встречаться из-за этого стали реже, каждый сидел в своем шатре и клял остальных. Вот пройдет зима, растает снег, развезет дороги, вода отрежет всякие подходы и подвозы — что тогда делать? Надо было на что-то решаться.

Порука, что связывала их и совсем недавно внушала уверенность, теперь тяготила. Каждый хотел уйти, и каждый боялся, что, уйдя, обретет в оставшихся братьях сильных врагов, не чета Святославу. Осаду не снимали.

И досиделись. Опять явилось посольство, даже и не посольство, а войско целое. Все тот же Юрята, а с ним ратников несколько сотен. Нагло улыбаясь — ух, смерд! — объявил Юрята, что великий князь Всеволод Юрьевич, отменно любя юного Святослава, не желает его гибели и посылает дружину с припасами в Пронск как залог мира. Дескать, должно у старших Глебовичей хватить ума и соображения, что поднявший меч на княжеского дружинника все равно что поднял его на самого великого князя. А всей Руси известно, особо подчеркнул Юрята, что на Всеволода Юрьевича, великого князя и государя владимирского, меча лучше не поднимать.

Так что в присутствии владимирской отборной дружины, выгодно отличавшейся от грязных, опухших за время осады воинов рязанских, ворота Пронска были открыты и тремстам дружинникам было позволено беспрепятственно войти в город. На стенах горожане шапками махали. Ворота закрылись, и Юрята с оставшимся войском уехал обратно, не задерживаясь на этот раз в стане Глебовичей.

Рязанское войско, посчитав себя оскорбленным — владимирцы будто не обращали на них внимания, — пыталось, правда после всего уже, поднять шум. Но, как и в первый раз, опоздали. Нужно было сразу бросаться и рубить. Пошумели, покричали, кое-кто даже пытался вдогон уходящей владимирской рати отправиться, да так ничем и не закончилось опять. Одного принесли разрубленного потом, но что там с ним произошло — дело темное. Так и успокоились.

Продолжалась осада. Под городом — рязанцы, в городе — владимирцы. А ведь начали с того, что хотели младших Глебовичей зарезать. Таковую вот загадку загадал Всеволод Юрьевич.

А великий князь в ту пору просто был в хорошем расположении духа.

Заботы и тревоги, связанные с ожиданием княгининых родов, разрешились самым счастливым образом. В начале зимы Марьюшка подарила Всеволоду второго сына, которого нарекли Борисом. Теперь уже можно было посмеяться над страхами великого князя, что умеет он производить на свет лишь дочерей. Княгиня Марья просто цвела — еще как будто помолодела после второго сына. Мамки-няньки ходили довольные: государыня всех готова была ласкать и

награждать, так сама была рада, что Всеволоду Юрьевичу смогла сыночком угодить. Да и великий князь серебра не пожалел, по случаю рождения Бориса одарил всех дворовых, а уж скольких напоил-накормил — того народу и не счесть.

Душа великого князя, в ту пору разнеженная семейным и государственным счастьем, которое наконец-то, после стольких ожиданий, снизошло на него, казалось, не желала совершать гневных движений. Все ему сейчас были милы, и даже те, от кого он ожидал козней, виделись в другом свете.

Сам великий князь понимал, что эта слегка жалостливая любовь ко всем есть не что иное, как проявление его давно забытых юношеских свойств. Но он, зная, что это пройдет, как только довольство и счастье станут привычными, волею великого князя позволял себе продлить это состояние, потому что оно было ему приятно.

Поэтому, когда к нему в покой был допущен весь разгоревшийся от долгой езды по морозу молодой рязанский князь Всеволод Глебович, великий князь принял его предупредительно-добродушно, как бы давая понять, что любая новость может быть подана и так и этак, в зависимости от чего к этому известию может сложиться и такое отношение, и этакое. Важно не торопиться, прислушиваться к себе, спрашивать: не повредишь ли ты в горячке и запальчивости ближнему своему, напрасно навлекая на него гнев великого князя? Всеволод Глебович начал рассказывать с самого начала.

Благодаря хорошему отношению к нему великого князя Всеволод Глебович мог не сковывать себя условностями, которые устанавливаются между государем и подданными. Он сразу ухватил суть: государь, по воле которого живут столь многие, не может печься только о ком-нибудь одном. Он должен печься обо всех, ибо, несмотря на склонности и привязанности его человеческого сердца, его государеву сердцу одинаково дороги все. Всеволод Глебович старался не приукрашивать свою речь разными преувеличениями, чем очень многие князья грешили, а просто рассказал, как все было.

И даже при таком скупом изложении рязанских событий старшие Глебовичи оказывались кругом виноваты. Как ни хотелось Всеволоду Юрьевичу сохранить душевное спокойствие, но злость все же сдавила ему горло. В который раз уже князь Роман Глебович поднимал на него руку! Ведь это именно на него поднял руку князь Роман, задумавший убить родных братьев, князь Роман Глебович, бив-

шийся с великим князем еще на Колокше, вместе с погаными грабивший владимирские пределы. Позорно струсивший и бежавший от Святослава — для великого князя это был единственный воинский позор, поэтому он и не забывался. Внешне похожий на своего отца, но раболепно заглядывающий в глаза, унаследовав Глебово коварство, он был лишен отцовской твердости. Ядовитый змей, он должен быть раздавлен!

И все же он — подданный, пока открыто не заявивший о своей непокорности, а значит — все еще находящийся в руке великого князя и имеющий право на его покровительство. Решение великий князь отложил.

А пока поселил Всеволода Глебовича у себя, осыпал его ласками, одаривал дружеской беседой. Старался успокоить рязанского князя, видя, как тот страдает по оставленным в Пронске жене и детям. Княгиня Марья тоже душевно прониклась сочувствием к Всеволоду Глебовичу, упрашивала мужа дать войско. Великий князь сделал по-иному.

Как раз в это время вернулась дружина из болгарского похода, и с ней — Юрята. Всеволод Юрьевич считал, что лучше Юрята никто не сможет поговорить с мятежными Глебовичами, и отправил его послом. Хотя у Юрята, пока он воевал с булгарами, тоже родился сыночек и верному Всеволодову подручнику надо было бы дать возможность на него как следует налюбоваться, великий князь именно Юрята услав к Пронску. Сыновья Юрята, вернувшиеся с ним из булгар, просились с отцом, но он не взял их — дело было спешное и строгое.

С Юртой отправился многоопытный боярин Федор Ноздря, к тому же бывший не менее тучным, чем князь Роман Глебович. Могло и это пригодиться: тучные люди как-то легче договариваются между собой.

Но даже когда великий князь выслушал ответ Романа, привезенный Юртой, он не стал спешить с войной.

Придумали с боярами так: поместить в Пронске владимирскую дружину. Ну не совсем же выжили из ума старшие Глебовичи, неужто мало учены великим князем, неужели осмелятся? Решили отправить на это дело охотников — кто пожелает сам. Набралось достаточно. Для устрашения Глебовичей взяли дружины побольше — просто чтобы знали, что воинской силой великий князь не оскудел. В этот раз Юрята взял с собой сыновей. Вернувшись, рассказал, как было дело.

Теперь хоть князь Всеволод Глебович мог спокойно жить: ему казалось, что лучшей защиты для супруги и де-

тей его и придумать нельзя. Всем так казалось. Великому князю — тоже. Поскольку Глебовичи разрешили владимирцам войти в Пронск, то это могло означать одно: осада ведется уже без прежнего ожесточения. Все от нее устали, и, видно, скоро старшие братья разойдутся по своим уделам. В ожидании таких вестей Всеволод Глебович продолжал жить у великого князя.

Великий князь наслаждался жизнью, занимался своими делами, их у него было множество. Взять хотя бы изготовление колоколов — Всеволод Юрьевич просто горел страстью завести у себя такой промысел. Уж из немецкой земли выписаны были двое стариков — учеников знаменитого Теофила, давно почившего, но оставившего свои тайны людям, и эти два старика уже набрали себе помощников из владимирских горожан и за немалую плату учили их этому искусству. Великий князь, увлекаясь делами, казалось, забыл и про Глебовичей, и про осаду. А забывать было рано.

Но разве можно себе представить непредставимое? Поверить в невероятное? Нельзя. Это и во благо, что нельзя, — иначе у собственной матери куса из рук не возьмешь, будешь думать, что он отравлен. Это и во зло — потому что иной раз возьмешь кусок из родных рук, а он отравлен. Так что верь, но сомневайся.

Никто, конечно, не мог себе представить, что если Пронск будет взят, то больше всего поспособствует этому не кто иной, как юный князь Святослав Глебович.

Проводив владимирскую дружину, князь Роман начал думать. Но даже его изощренный на всякие хитрости ум не мог подсказать решения, которое его удовлетворило бы. После того как триста владимирцев сели в Пронске, ему особенно обидно было снимать осаду. Тем более что оба ненавистных брата — Игорь и Владимир — теперь ждали от него именно этого. Всеволод Юрьевич снова оказывался победителем! Если он, Роман, снимет осаду, то вдобавок к стыду поражения удостоится еще и презрения братьев. Как ни мала его к ним любовь, а все же ссориться с братьями ему не хотелось.

И он не смог придумать ничего лучше, как вызвать этого молокососа Святослава на переговоры. С осажденными быстро договорились, и Роман Глебович отправился в Пронск один, без оружия и сопровождающих. Конечно, он припрятал нож — на своем обширном теле он мог и целый меч незаметно спрятать. Неизвестно, зачем ему был нужен этот нож — ведь не для того, чтобы зарезать Святослава

тут же: тогда ему, Роману Глебовичу, верная гибель. Скорее всего, взял он нож с собой, потому что пообещал: оружия при нем не будет.

И, войдя в покои, увидев испуганные глаза Святослава, глядевшего на страшного старшего брата, как курица-клубка на лису, Роман понял, что выбрал самое правильное решение. Давно было нужно так сделать. Он начал, однако, с предисловий.

— Здорово, брат, — хмурясь якобы по-отечески, произнес Роман. — Как живешь?

— Хорошо живу, брат, — послушно ответил Святослав.

— Братья тебе кланяются, — по-доброму сказал Роман. — Так и говорили: передай, мол, брату от нас поклон.

— Спасибо, — ответил Святослав.

— Как тут дружина владимирская? Не обижает тебя?

Князь Роман был озабочен. Как бы хотел сказать: смотри, если станут тебя обижать, то мы им — ух!

— Нет, не обижают.

— Ну, это хорошо, что не обижают, — удовлетворился Роман. — Так не обижают, говоришь?

— Нет, нет, не обижают, — поспешно заверил Святослав.

— Так, так. А вот ты нас почему обижаешь? — спросил удивленно Роман.

— Я? — испугался Святослав. — Я... нет...

— Вот так нет. А воевать с нами кто затеял?

Святослав молчал. Двое его бояр — Онаний Клюк и Осип — никак ему не помогали, хотя и обещали поддерживать в разговоре с братом. Он их не осуждал — думал, что они просто боятся князя Романа, как и он сам, Святослав, боится до немоты. Онаний и Осип замаслившимися глазками глядели на князя Романа Глебовича. Роман увидел, что можно говорить прямо.

— Брат! Хватит уж нам ссориться, — сказал Роман. — Что ты людей в осаде держишь, голодом моришь? Сдай нам город.

Святослав с удивлением посмотрел на Романа. Он помнил, как обещал брату Всеволоду, поехавшему за помощью во Владимир, держать город во что бы то ни стало. А теперь вот говорят — сдавай.

— Брат-то твой, — сказал Роман и поправился: — И наш тоже сейчас во Владимире жирует. Великому князю пятки лижет. Хорошо ли это, князь Святослав?

— Нет, пятки лизать — это конечно же нехорошо.

— Мы же братья твои, — сказал Роман. — Сдай нам город. Ведь не съедим же мы тебя.

Святослав взглянул на безмолвствующих своих бояр Онания и Осипа. Вид их сам за себя говорил: сдай город, князь Святослав.

— Сдай нам город, — повторил Роман. — И будет у нас по-прежнему любовь. Все простим друг другу. Ведь братья же мы. Не чужие. Только под владимирского князя не ходи. Он нам всем — главный враг.

Задумали так. Бояре с дружиной вяжут владимирцев — и тут же открывают ворота. Тех, кто станет сопротивляться, убивать на месте. Для этого среди людей, верных Всеволоду Глебовичу, поставить Святославовых дружинников. Святославу ничего не делать. Бояре сами обо всем позаботятся.

Так и сделали.

ГЛАВА 26

— Тятя, — сказал, подъехав, Добрыня. — Мы с Бориской поспорили. Он говорит, что попадет стрелой в летягу¹, а я ему не верю. Вот ты нас рассуди.

— А на что поспорили-то? — улыбаясь, спросил Юрята. Всякий раз он с удовольствием поглядывал на сыновей. Как возмужали! Пошли им на пользу булгарские степи. Добрыня уж на полголовы выше отца. Если дальше так расти будет — с сосну вырастет.

— Пospорили на гривну, — ответил Добрыня. Голос низкий, сильный. Совсем взрослые оба. А все бы им играть. Правда, из-за летяги он и сам бы поспорил. Вот только что-то уж много — гривна. Корову купишь.

— Не бойся, тятя, у тебя не попросим, — засмеялся, догадавшись, Добрыня. — Свои имеются.

Правда. Получили они свою законную долю добычи — и Добрыня и Бориска. Юрята им посоветовал приберечь — мало ли на что серебро может понадобится. Но они копить еще не умеют. Играют, наверное, потихоньку в зернь², сладости покупают у персов. Добрыня Любаве колтушки³ подарил серебряные с золотом, Юрята — пояс. Вот он, пояс-то. Ох и красив! По красному полю золотой узор вышит, пряжка — два льва сцепились. Юрята его теперь и не снимает.

— Ладно, будь по-вашему, — сказал он. — Ну, где летяга-то?

¹ Летяга — летучая белка, полетуша.

² Зернь — игра в кости или зерна.

³ Колтушки — сережки.

Бориска ехал впереди — лук наготове, стрела наложена. Поводья бросил, смотрел вверх, высматривал на соснах, в ветвях темно-рыжий комочек, готовый прыгнуть, расправить свой плащ и плавно перелететь на соседнее дерево. Юрята тоже стал внимательно смотреть — любопытно было ему, сможет или не сможет Бориска попасть. Стреляет-то он метко. Юрята несколько раз видел на сучьях беличий перескок, но это были простые белки, а ребята поспорили на летягу.

Ага, вот она. Она по веткам-то не прыгает, как ее родичи, а ходит.

Бориска остановил коня. И Добрыня остановил, и Юрята. И все, кто рядом с ними ехал, остановились. Слышали про спор, тоже всем хотелось поглядеть на стрелка.

Белочка глянула вниз на длинную, тянущуюся — на сколько хватало ее беличьих глаз — вереницу конных вооруженных людей. От них сверху поднимался пар. Конские копыта глухо похрупывали рыхлым снегом.

Она покачалась, покачалась — и прыгнула на понравившуюся ей пологую толстую ветвь сосны. Растянув в стороны все четыре лапки, расправила свой плащ. И, уже подлетев к ветке, передними коготками цепко ухватившись за чешуйчатую кору, ощутила неожиданный тычок. Стрела пробила ей плащ возле левой задней ноги. Она едва не упала вниз от неожиданности и боли, но сумела удержаться, поползла по ветке к стволу, волоча стрелу за собой. Добравшись до спасительного ствола, она наконец опомнилась и принялась, попискивая от боли, перегрызать стрелу, причинявшую ей такое неудобство.

Внизу закричали сразу много голосов. Летяга, забыв про боль, стала глядеть вниз. Потом снова принялась за стрелу.

Войско тронулось. Дружинники одобрительно цокали языками, выстрел им понравился.

— Пропала моя стрела, — сокрушенно сказал Бориска. — Зато гривну выиграл.

Добрыня возмущенно мотал головой.

— Нет! Не годится! Ты ж ее на ветке достал, а не когда она летела!

— А мы как договаривались?

— В летягу попасть. В ле-тя-гу, — объяснил Добрыня.

— Ну вот. Я же попал — все видели. Давай гривну, — довольным голосом сказал Бориска.

— Так она уже сидела!

— Ну так и что? Все равно — летяга. Давай гривну.

— Тятя! — обернулся Добрыня. — Скажи ему! Что он врет?

Юрята развел руками

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Бориска-то вер-но говорит. Ты наперед, как уговариваешься, следи за словами-то.

Бориска ехал подбоченясь, нарочно глядя в сторону. Не выдержал, засмеялся, поглядел на расстроенного брата. Добрыня тоже улыбнулся, но все-таки показал ему кулак.

— Ладно, хитрый. Я те припомню.

— Гривну-то давай.

— После отдам, — сказал Добрыня. — За мной не пропадет. Если б ты по-честному спорил, так не выиграл бы. Подождешь.

— Как это подожду? — возмутился Бориска. — А если завтра бой будет? Я, может, голову сложу.

— Борис! — прикрикнул Юрята, до этого слушавший молча, с улыбкой. Сразу построжал. — Придержи язык-то! Что говоришь?

Бориска и сам почувствовал, что пошутил неладно. За-молчал, наскоро перекрестился. Разговор затих надолго.

Это было второе посольство в Пронск. Назавтра они должны были подойти к стану Глебовичей.

Степная война стала для Добрыни и Бориски первым настоящим военным испытанием. Юрята, понимавший, что рано или поздно мальчишкам надо становиться воинами, на этот раз их не жалел. Стычек с булгарами было всего две, и каждый раз Юрята брал их с собой. Добрыня оба раза, стоило ему оказаться возле врагов, одним своим видом и двумя-тремя взмахами меча обращал их в бегство и не столько дрался, сколько искал, с кем бы схватиться, или шел в угон за привлечшим его внимание булгарином. Но Юряту удивляло, с какой страстью кидался в бой Бориска. Все вокруг кричали — ясное дело, с криком рубиться легче, а он, бледный, сжав губы, впереди всех вылетал на вражеский отряд — и рубил, торопливо и с виду нерасчетливо. Однако сам при этом ухитрялся не получать ударов. Дружинники, даже самые опытные, наперебой хвалили Юряте его сыновей. Его переполняла гордость. И после боя, когда каждому определяли его долю добычи, ребята получили много.

В этих стычках они убили своих первых людей. Юрята знал, как это бывает тяжело, в первый-то раз. Хотел их поддержать, успокаивал. Но их можно было не успокаивать. Они справились сами.

И Юрята позавидовал сыновьям. Его первый человек был русский — свой, новгородец. Если начнешь вспоми-

нать, так он до сих пор помнится до последней черточки, какой был, пока кровь не хлынула ему на лицо из разрубленного лба. И потом тоже были русские. А ребятам все же поганых довелось убить. Добрыня — понятно: болгары — они ведь лицом похожи на половцев-куманов. Один народ, только одеты побогаче. У Добрыни с погаными свои сче-ты. Ну а Бориска — тот, значит, тоже молодец. Не ожидал Юрята от него такой отваги. Дай Бог, чтоб довелось ребятам мечи обнажать лишь на поганых.

А вернулись домой — там радость. Любава-то родила! На месяц позже государыни княгини Марьи, и тоже сыночка. Стали думать, как назвать, хотели по святым книгам, но Юрята поглядел на Добрыню, вспомнил кое-что и сказал твердо: назовем Любимом. Добрыня обрадовался, потом запечалился, потом снова обрадовался. Отца-то его, он говорил, Любимом звали.

Тут бы и побыть с семьей, тем более что по Любаве Юрята соскучился. Она после родов раздалась, потолстела — еще стала красивее. И ласковее стала вроде бы, как казалось Юрята, смотрела на него чуть виновато. А он наслаждался домашним счастьем. Полюбил смотреть, как Любава кормит: ловко вынет налитую молоком грудь и бережно так подносит к ней сыночка. Глаза туманные.

Раза три и довелось посмотреть, как она кормит. Великий князь послал с заданием — послом к рязанским Глебовичам. Туда съездил — как помоев нахлебался. Хоть и князья высокородные, а хуже иного смерда. Так и хотелось с ними полаяться.

Вернулся во Владимир, великому князю доложил, что и как. И через неделю — обратно поезжай. Теперь, правда, веселее ехать — с войском. Ребята попросились, не стал им отказывать. Пусть проветрятся, что им дома сидеть! Если какие мысли дурные мучают — на морозе да на ветру всякую тугу из головы вынесет. Вон они какие оба. В войске — как дома. Ну, великий князь теперь должен благодарить Юрята, что вырастил ему таких воинов. Это не в самом деле — благодарить, а просто говорится так.

Бориска и Добрыня и впрямь чувствовали себя в походе среди войска легко и уверенно. Недавно было, кажется, — на простого повозника смотрели как на воеводу. А теперь и на воеводу глядят как равные. Но — с почтением все же. Старшего всегда уважают, наглости в них нет.

После летяги ехали молча, дышали паром. Подмораживало. Думали каждый о своем.

Добрыня вспоминал Верхуславу. Удалось ему ее увидеть недавно, вскоре после того, как из похода вернулись. Княгиня с обеими дочками собралась куда-то ехать, селись возле крыльца в расписной возок. Верхуславушка чуть выше стала, подросла, еще больше походит на взрослую девушку. Добрыня тут рядом и оказался. Нарочно, чего уж там, околачивался у княжеского крыльца. Как повозку подали — крытую, с медвежьей полстью, вокруг на конях отроки нарядные, шапки соболями и кафтаны на соболе, — понял, что сейчас увидит ее. Сошла она с матерью и сестрой с крыльца — ах, загляденье. В белоснежной накидке, алых сапожках, поверх меховой шапочки покрыта узорчатым платком — княжна, да и только. Добрыня, конечно, встал как вкопанный, хорошо еще — шапку догадался снять. А поклониться ума не хватило.

И ведь заметила его! Его, правда, трудно не заметить, оглоблю такую. Но она не как на оглоблю на него поглядела! Узнала, лукаво улыбнулась, отвернулась и потом, пока княгиня Марья ее в возок не загнала, еще два раза на Добрыню взглядывала. И княгиня его увидела издалека, кивнула ласково. Государыня княгинюшка! Не отдавай ты ее никому! Да ведь все равно отдадут. Добрыня, однако, целый день ходил как пьяный.

Юрята сказал точно, подтвердил, что девчонки, княжны, обе просватаны. Всеслава — за сына князя Ярослава Черниговского, Верхуславу — за сына князя Рюрика. И о Ярославе и о Рюрике Добрыня слышал, но сам их не видел, тем более — сыновей их, так что их как бы не существовало, и угроза потерять Верхуславушку была какой-то невзаправдашной. В нее можно было легко не верить.

Борискины думы были совсем другого рода. Он чувствовал себя так, как и должен чувствовать взрослый мужик, а именно — хозяином женщины. Не мужем, не владельцем рабыни, а подлинным ее хозяином, обладателем души. Правда — не совсем, ведь Потвора была не проста, и порой Бориска не мог понять, что же она на самом деле думает или каково у нее на сердце. Но ему было достаточно и того, что он понимал. Ему так даже больше нравилось. Он и сам был такой.

Первый раз с Потворой — тогда, летом, хоть и стал для Бориски потрясением, но все же оставил легкий привкус разочарования. Впервые это, наверное, всегда разочаровывает, хотя бы потому, что сколько бы об этом ни знал, все равно воображаешь, что у тебя случится не так, как у других. Потом все становится понятней.

Потвора была намного старше Бориски, но в чем-то оставалась несмышленной девочкой, и ему это страшно нравилось. Это ему льстило. Сначала он думал, что на ней-то и женится, добьется разрешения у матери и у Юрята. Но потом понял, что ему не хочется с ней появляться на людях, открыто заходить к ней в дом. Ему с ней хотелось так, как сейчас, — пробираться в условленное время тайком. Ей, наверное, тоже хотелось только так.

И все равно — Бориска был мужчиной, которого проводила в поход возлюбленная. Со слезами, объятиями и всем, чем положено. Пусть тайно, но искренне. И Борискину душу наполняла сейчас ровная спокойная радость.

К вечеру войско остановилось на последнюю ночевку. Завтра должны были подойти к Пронску. Развели костры, ждали, пока подтянется обоз. Жевали захваченную из дома снедь. Как всегда накануне дела, чтобы отгонять мрачные мысли, сидя у костров, рассказывали сказки, байки. Были среди дружинников и свои искусные рассказчики, их слушали затаив дыхание, открыв рты. Ночь впереди была длинная.

Утром стали готовиться к последнему переходу. Теперь уж до осажденного Пронска оставалось ехать недалеко. Юрята, с утра выглядевший озабоченным, дал приказ всем надеть брони¹ и разобрать оружие из возов. В прошлый раз посольство закончилось мирно, но нынче, увидев приведенную на подмогу князю Святославу Глебовичу владимирскую дружину, старшие Глебовичи могли внезапно напасть. От них можно было ожидать всего, особенно теперь, когда были обозлены долгим и бесплодным осадным стоянием. Дружинники доставали из возов нагрудники, кольчуги, щиты, тяжелые копья. Увидев столь хорошо вооруженную силу, Глебовичи еще подумают, прежде чем начать мечами размахивать.

Обозам Юрята велел держаться поблизости, не отставать. Тем более что двигаться за войском по утоптанной дороге им было легко. Когда все собрались, солнце уже поднялось. Тронулись быстрым ходом и к полудню уже увидели вдаль осажденный Пронск и стан Глебовичей — грязно-белые шатры князей среди простых воинских шатров, сшитых из шкур и грубых крашенных холстин.

Увидев знакомую картину, Юрята с удовлетворением отметил, что она не претерпела изменения с того дня, как он с посольством уехал отсюда во Владимир. Значит, Гле-

¹ Броня — род кованой одежды из металлических пластин, колец, сетки (латы, панцирь, кольчуга, куяк).

бовичи хотя бы не предпринимали попытки взять город. Раздумывают, значит. А если раздумывают, то это уже не такие опасные враги. Юрята понял, что приказание великого князя будет выполнено и владимирская дружина войдет в Пронск.

Юрята велел войску остановиться на пологом откосе холма, сходявшем к небольшой речушке, что замерзла внизу среди засыпанных снегом кустов. Отсюда, с возвышенности, дружина, осененная целым лесом поднятых копий, должна была произвести на рязанское войско да на Глебовичей большое впечатление. Сначала надо было устроить переговоры.

Юрята стал набирать себе отряд сопровождения, отбирая, как он любил, самых внушительных с виду воинов. Встретив просящие взгляды сыновей — они понимали, что началось дело и сейчас нельзя просить, а нужно только ждать распоряжений старшего, — поколебавшись, включил их тоже. Все-таки он побаивался того, что могло произойти возле шатров коварных рязанских князей. Сыновья были довольны — не понимали еще, что это не в чистом поле драться. Прикажет князь Роман убить их — и не уберечься от верной смерти, полетят из-за каждого шатра стрелы и сулицы.

Надо было спешить — зимний день короток, неизвестно, сколько времени отнимут переговоры, а Юрята хотелось до вечера все закончить и сразу отправиться назад. Он даже не велел спешиваться и костров разводить.

Посольство отправилось. Сыновья старались держаться поближе к Юрята, да он и сам хотел этого. Все-таки будут рядом, если что случится.

В стане Глебовичей их давно заметили, по стягам, которые велел поднять Юрята, узнали владимирцев. Можно было уже разглядеть приземистого князя Романа, который стоял возле шатра и разглядывал приближающееся посольство. Юрята приказал всем принять вид доброжелательный, в соответствии с тем, как велел ему на прощанье Всеволод Юрьевич: стараться ничем не раздражать и без того злых Глебовичей — ни видом своим, ни речами.

Так, улыбаясь дружелюбно, словно ехали на свадьбу, и приблизились к княжескому шатру. Остановились перед князем Романом на вполне почтительном расстоянии. Юрята, передав поводу Добрыне, один спешил к нему, подходя к Роману Глебовичу, отвесил ему вполне уважительный поклон.

— Здравствуй, князь Роман. Велел тебе кланяться великий князь Всеволод Юрьевич.

Поскрипывая слезавшимся снегом, от своего шатра подходил заспанный Игорь Глебович — видно, только что разбудили. Заметил Юрята, будто заплулся даже. Вспомнил, как давеча предлагал братьям его убить, помнил и трусость, охватившую его, когда могучий владимирский посол положил руку на меч свой. Сейчас, однако, Юрята стоял перед князем Романом и улыбался. Князь Игорь справился со смущением и, стараясь шагать степенно, подошел к брату.

— А-а, — протянул Роман, глядя на Юрята. — Опять ты пожаловал. Вроде недавно был?

На самом деле Роман узнал Юрята, как только посольство отделилось от неподвижно темнеющей сейчас вдалеке владимирской рати. Но сделал вид, будто узнал только что — неуместно было высокородному князю узнавать какого-то там холопа. Юрята это понял, поэтому улыбка его стала еще ласковой.

— Князь Роман! Государь наш, Всеволод Юрьевич, великую печаль имеет от несогласия вашего. Послал меня тебе слово сказать.

— А войско зачем привел с собой?

— Пройдем, князь Роман Глебович, к тебе в шатер. Там будем говорить.

Помявшись немного, не зная еще, на что решиться, Роман все же кивнул головой и, видя, что стоящий возле шатра слуга уже с готовностью откинул полог, грузно повернулся и, пригнувшись, вошел в шатер. Юрята шагнул следом, как бы не замечая движения князя Игоря, и прошел прежде него. Игорь Глебович, скособочившись, юркнул следом, чтобы никто не успел увидеть такого унижения. Отряд сопровождения, в котором были Добрыня с Бориской, не спешиваясь, стал ждать Юрятиного возвращения.

Тем временем рязанцы, уже успевшие позавтракать, а кое-кто и принявши с утра чарку хмельного, видя, что битвы с владимирцами вроде бы не будет, подходили ближе, обступали, расспрашивали, что и как. Владимирцы дружелюбно отвечали, напирая на то, что приехали с миром, и войско, стоящее на холме неподалеку, не имеет намерения воевать со своими братьями рязанцами. Беседа становилась все более веселой и оживленной. Бориска, на случай если обратятся к нему, заготовивший шуточку, сидел, потупясь, поигрывая кожаной кисточкой от пояса. Ему надо было, чтобы его кто-нибудь спросил, почему с посольством так много войска. А он бы тогда ответил: сами, мол, удивляемся, пошло нас из Владимира малое число, да вот беда —

в обоз женок с собой в дорогу взяли, ну и расплодились нечаянно. Бориске в последнее время много приходило на ум шуточек про всякие такие мужские-женские дела. Но рязанцы, как назло, не спрашивали про войско, может, из суеверия. Юрята все не выходил от князя Романа. Там, в шатре, было тихо, разговор шел спокойный, без ругани и криков. Это хорошо.

— Вот чей ты, значит, отрок, — вдруг услышал Бориска совсем рядом. Сказано было со злобой.

Возле него стоял ратник в кожухе, накинутом поверх кольчуги. На безбородом лице — знакомые синие глаза. Бориска вздрогнул, вскинулся в седле, и конь его, почуяв неладное, переступил ногами, дернул головой. Это был тот самый, с которым был тогда бой возле Торга, тот, от которого Бориска убежал и которого разыскивал так долго. Нашелся наконец-то. Но откуда он взялся здесь, в стане Глебовичей?

— Узнал, отрок? — Мужик смотрел, глаза вроде как побелели. Резко шагнул вперед, пугая. Бориска, не отрывая взгляда от его лица, схватился за саблю. Заметил недоумевающий взгляд Добрыни.

— Эй, Бандюк! Не балуй!

Подходил высокий худой рязанец, по одежде — сотник. Заметил, наверное, что двое готовы сцепиться.

— Что гостей плохо встречаешь? — спросил он, пододвигая. Борискин обидчик сразу сник.

— Знакомого встретил, господин сотник, — угодливо пояснил он.

— Вижу я, какого знакомого. Ты, братец, не бойся его, — обратился сотник к Бориске. — Он не тронет.

— А я его и не боюсь, — сквозь сжатые зубы процедил Бориска.

Добрыня подъехал поближе, держа под уздцы отцовского коня. Он уже не улыбался, как было велено, — почувствовал, что происходит что-то нешуточное, но не понимал, отчего так побледнел только что бывший румяным от мороза Бориска.

Сотник переводил взгляд с Бориски на того, кого он назвал Бандюком, и обратно. Да, эти двое готовы кинуться друг на друга. Вспыхнет драка, кинутся разнимать — вытащат оружие из ножен, начнется резня. И, выручая своих, двинется с холма на стан владимирское войско.

— Бандюк! Уходи отсюда! — приказал сотник. И, видя, что тот, все не отрывая взгляда от Бориски, медлит, прикрикнул: — Ну! Кому сказано? Пошел вон!

Бандюк медленно двинулся прочь, через каждый шаг оглядываясь. Добрыня тронул Бориску за плечо:

— Бориска! Чего ты рассердился? Кто это?

— Да виделись когда-то, — повернул к брату бледное лицо Бориска.

— Ты на него не обижайся, — сказал Бориске сотник. — Такой уж он беспокойный, Бандюк-то. Любит подражаться. Сам-то он не рязанский, — поясняющим голосом продолжал он. — К князю в дружину недавно записался. А ты его не бойся.

Бориска промолчал.

— А скажи-ка, братец, — спросил сотник, будто его только что осенило, — а что это вас так много пришло-то, а?

Бориска подумал, что хотел на такой вопрос шуткой ответить. Забыл только — какой. Надо же — все время помнил, а теперь — забыл.

Тут полог княжеского шатра откинулся, и вышел Юрята. Остановился на пороге, надевая шлем и нарочно мешая выйти топчущемуся у него за спиной князю Роману. Помедлил миг, шагнул вперед. Князь Роман — следом, за ним — Игорь.

— Значит, мы, князь Роман, договорились, — сказал Юрята. — Я сейчас своим скажу, чтоб трогались, а сам к воротам поеду.

Роман кивнул, вроде бы устало махнул рукой: поезжай.

— А уж мы сразу обратно, — продолжал Юрята. — Задерживаться не будем. А великому князю я поклон от тебя передам.

Князь Роман остро поглядел на Юрята, хотел что-то сказать, но не сказал.

Юрята сел на коня.

— Ты, ты и ты, — показал он на троих из своего отряда, в том числе и на Добрыню. — Поедете со мной к воротам. Остальные возвращайтесь. Скажете там, чтоб поторапливались. Пошли!

Юрята, Добрыня и двое владимирцев поехали к Пронску — договариваться, чтоб открыли ворота, впустили дружину с обозом. Бориска с остальными отправился обратно — туда, где на холме стояло войско. Проезжая по стану, он взглядом выискивал того, Бандюка, хотя понимал, что драться с ним здесь не придется. Хотел все же его увидеть еще раз.

Тот, видно, тоже хотел повидаться с Бориской. Подждал его на входе. Поманил рукой: нагнись, мол, скажу чего.

Холодея от злобы, Бориска перегнулся с седла, придвинулся к ненавистному лицу.

— Не договорили мы, отрок, — улыбался Бандюк. — Ежели ты не только бегать умеешь, как заяц, то вон — видишь лесок?

Бориска глянул туда, куда показывала рука. Там, в той стороне, где располагалось владимирское войско, немного левее, виднелась рощица, словно несколько деревьев отбежали от большого леса, да так и замерли на месте.

— Вижу.

— Вот за этим леском полянка хорошая. Я тебя там ждать буду.

— Это я тебя там ждать буду, — сунулся к его лицу Бориска. — Смотри не задерживайся.

— Не бойся, щенок, не задержусь.

Расстались они улыбающимися — со стороны могло показаться, будто прощаются добрые знакомые.

Вскоре владимирская дружина с обозом, в котором были припасы для людей и коней, направлялась к Пронску. Ратников было триста человек. Дружину в город запустили быстро, тут же закрыли ворота, заложили изнутри. Дело было сделано, и Юрята, довольный, что все обошлось без кровопролития, велел войску уходить. Бориска подъехал к Юрята.

— Отец, хочу попросить тебя.

Бориска редко называл Юрята отцом, и тот сразу встревожился, почуяв неладное.

— Случилось что?

— Дело у меня одно есть. Отпусти меня ненадолго, — строгим голосом, непохоже на себя, проговорил Бориска.

— Да какое дело здесь? О чем ты?

— Дело небольшое. Я вас скоро догоню, — сказал Бориска. — Не задержусь.

Юрята вдруг увидел в сыне такую непреклонную волю, что понял: отказывай не отказывай, а он все равно сделает по-своему.

— Ладно, сынок, — растерянно сказал он. — Может, возьмешь с собой кого-нибудь? Хочешь — Добрыня с тобой пойдет?

— Никого не надо. Я сам.

— Как знаешь, сынок. Только быстрее — мы ждать не будем.

Бориска кивнул, повернул коня и ускакал. Поехал к далекой рощице. «Куда это я его отпустил?» — ужаснулся про себя Юрята.

Войско уже тронулось по той же дороге обратно. Шумел снег под копытами, слышались оживленные разговоры,

смех — все были довольны, что избежали боя с рязанцами. Юрята подозвал Добрыню:

— Сынок! Куда это Бориска поехал?

— У него, тятя, там ссора вышла с одним. — Добрыня показал на стан Глебовичей. — Они, наверное, биться будут.

— Ты поезжай за ним, Добрынюшка. Не дай Бог что случится.

— Да он не велел. Тебе велел передать, что скоро вернется.

— А ты все же поезжай, — обеспокоенно сказал Юрята. — Мало ли что случится. Поможешь.

Добрыня улыбнулся, отрицательно помотал головой.

— Нет, тятя, не велел он. Да ты не бойся, ничего с ним не будет.

В голосе Добрыни была такая уверенность, что Юрята не то чтобы успокоился, но передумал останавливать войско. Да, подросли сыновья, теперь у них свои дела, а ты, отец, не мешайся. Сами стали своим жизням хозяева. Поединок касается только двоих. Ни как начальник войска, ни как отец Юрята не мог запретить Бориске биться со своим обидчиком. Единственное, что он мог, — это послать кого-нибудь за мертвым телом, если Бориска не вернется.

А Бориска тем временем уже приехал на ту самую поляну. Место здесь было действительно удобное — укрытое со всех сторон, и даже снег был утоптан — новый еще не успел засыпать многочисленные следы конских копыт и несколько пятен крови. Полянка эта, видимо, служила рязанцам местом для такого рода разбирательств.

То, что этот Бандюк оказался в войске Глебовичей, не было удивительным. Мало ли людей, желающих добывать себе пропитание мечом, приходит в княжескую дружину. Будь только свободным человеком, имей коня, доспехи и оружие да покажи, как умеешь им владеть. Бориску удивляло то, что, упрасивая Юрята взять его с собой в этот поход, он не понимал, что именно его толкает на эту просьбу. Почему ему так захотелось пойти с отцом — после полуторамесячной походной жизни снова к ночевкам на снегу, от теплого родного дома, от ласк любовницы. А ведь это было так ясно! Ведь он знал, что встретит своего врага. Сердце подсказывало, а ум не понимал. Какая удача, что Юрята согласился взять его с собой!

Бандюк приехал вскоре, один. Без предисловий обнажил оружие. Бандюк вынул меч, а у Бориски была сабля — та самая, что и тогда. Съехались, стали кружить по поляне

друг против друга, выбирая удобный миг для нападения. Бандюку не молчалось.

— Ах, щенок, щенок, — приговаривал он. — Ну, сейчас я тебя половинить буду.

Бориска не отвечал, присматривался. Тогда, в тот день, в руках у Бандюка была всего лишь дубина, и орудовал он ею умело. Мечом, кажется, тоже пользоваться умел. Локоть правой руки только держал близко к телу. Наверное, сначала ткнет, ударит острием. А рубить уж потом будет. Понятно.

— Ишь как ты улепетывал, — продолжал Бандюк. — Жаль, не догнал я тебя. Убежал как заяц.

Ага, дразнит. Хочет выманить на себя, щитом закроется и снизу ткнет. Понятно.

— Родителя-то помнишь моего? — говорил Бандюк. — Убил ведь ты родителя моего.

Бориска хоть и был нацелен на схватку, но отметил про себя, как потеплело на душе. Эх, знать бы раньше! Не так бы переживал из-за своего позорного бегства. Убил родителя. Ну и этого сейчас убью.

Бандюк вдруг поглядел куда-то вбок, словно увидел там что-то. Бориска в свой счастливый миг, перед тем как повернуться в ту же сторону, всем телом догадался: это обман. И в следующий миг успел отбить щитом удар. Сразу же, с навеса, рубанул по руке, держащей меч. Не отрубил, но рука повисла, раскачиваясь. На конский бок полилась кровь.

Изменившимся лицом Бандюк уставился на Бориску. Потом глянул на разрубленный рукав, вниз — на воткнувшийся острием в снег свой меч. Задержался вдруг в седле, забил пятками в конские бока. Конь трусцой побежал прочь.

Бориска посмотрел вслед. Потом тронул своего коня, быстро нагнал мотающегося в седле Бандюка и с наслаждением несколько раз рубанул сверху — по спине, по шее, по руке, которой тот пытался закрыться. Тело врага перевалилось на бок и мешком упало на снег, одной ногой оставшись в стремени. Конь его сразу остановился и глядел на Бориску, словно хотел сказать: хватит, все уже. Бориска и сам видел, что все закончено.

Изрубленное тело валялось на снегу, который быстро напITYвался кровью. Но даже и к мертвому этому телу Бориска продолжал испытывать ненависть. Смотрел, раздумывая: не рубануть ли напоследок? Потом вздохнул, передрнул плечами и сунул саблю в ножны. Пора было ехать, догонять своих. Посмотрел на Бандюкова коня: не забрать

ли с собой? Все же хоть и небольшая, но добыча. Плюнул, махнул рукой и поехал.

Поединок отнял мало времени, и вскоре Бориска нагнал владимирское войско. Юрята, ехавший сзади, с огромным облегчением посмотрел на сына. Спрашивать ни о чем не стал: Бориска не был ранен, лицо спокойное, довольное. Слава Богу.

Добрыня тоже ни о чем не стал спрашивать брата. Захочет — сам расскажет. Бориска ехал рядом с ним, молчал. О чем-то своим думал. Потом вдруг засмеялся, повернулся к брату:

— Добрыня! Про гривну-то не забыл? Смотри не забудь.

— Не забыл, — улыбнулся в ответ Добрыня. — Домой приедем — отдам.

И дальше Бориска уже ехал в совсем хорошем настроении. Вообще поход выдался удачный. Великий князь будет доволен. Вот только, вспомнил Бориска, жаль — шутку свою, которую придумал, не успел никому рассказать.

Ну, это ничего. Надо ее хорошенько запомнить, а слу-чай, верно, еще представится.

ГЛАВА 27

Вслед за теми тремя сотнями дружинников, которым великий князь велел войти в Пронск на подмогу Святославу, он отправил еще войско, придав ему свояка — князя Ярослава Владимировича, несостоявшегося новгородского посадника. Судя по своему неумению и всегдашнему нежеланию вести боевые действия, Ярослав Владимирович мог способствовать скорейшему окончанию усабицы между братьями Глебовичами. Излишнее, проистекавшее из особых свойств ума князя миролюбие, которое так повредило ему в Новгороде, под стенами Пронска могло оказать решающее воздействие на Романа с братьями. Великий князь рассчитывал, что Ярослав Владимирович сразу приступит к ним с увещеваниями и, может, смягчит их сердца. То, что Глебовичи сделали — развязали войну против ни в чем не повинных младших братьев, войну, которая заведомо, при любом исходе не могла им принести ни славы, ни чести, ни богатства, — все это заставляло великого князя порой думать, что Бог лишил Глебовичей ума. А если так, то чем более скромным умом будет обладать человек, ведущий с ними переговоры, тем скорее он сможет с ними договориться.

Но князь Ярослав Владимирович вскоре вернулся обратно ни с чем. Он не стал подходить к Пронску, когда до-

зорные донесли ему, что город, судя по всему, взят: дружинники Глебовичей сворачивают стан, беспрепятственно входят в город и выходят из него через ворота. Опасаясь своим появлением растревожить рязанцев и вызвать битву, насчет которой он не получил от великого князя никаких указаний, Ярослав Владимирович велел войску идти назад. Более подробно рассказать великому князю о взятии Пронска он не сумел.

Потом выяснились подробности. Оказалось, что князь Святослав распорядился связать владимирскую дружину и открыть ворота. В плену у старших Глебовичей также оказались жена, дети и верные бояре Всеволода Глебовича. Таким образом, взятие Пронска становилось для великого князя вдвойне обидным: Роман не послушался его, а Святослав предал. Необъяснимый поступок Святослава, который предпочел дружбе и покровительству великого князя владимирского краткое — до следующего раза — замирение с братьями, только что чуть не убившими его, заставляло подумывать о том, не смести ли с лица земли эту породу. Чего можно ожидать от таких людей в дальнейшем? Ни верности клятвам, ни хотя бы просто благоразумия от них не дождешься. Стоит ли терпеть их рядом с собой, постоянно готовых нанести удар в спину? Стоит ли верить их обещаниям, которые они дают с такой легкостью, словно для того лишь, чтобы немедленно их нарушить?

Великий князь решил действовать. Для начала он вооружил Всеволода Глебовича и послал его в Коломну, чтобы он там обосновался и ждал прихода основного войска. На этот раз великий князь собирался лично возглавить поход против старших Глебовичей. Одновременно с этим Святославу в Пронск было послано письмо, в котором приказывалось немедленно возвратить свободу тремстам пленным владимирцам. Это письмо было необходимо, чтобы братья знали: великий князь помнит о своих людях. Безумные Глебовичи, узнав о приближении возмездия, могли истребить пленных. Письмо составлялось долго: Всеволоду Юрьевичу хотелось подобрать особенно простые и доходчивые слова, в которых самый предубежденный чтец не смог бы углядеть для себя обид и, значит, ответить на письмо каким-нибудь непредвиденным зверством. «Люди, которых ты захватил, — писалось в послании Святославу, — это мои люди. Отпусти их, не задерживай. Они люди мирные, когда с ними поступают мирно». Неизвестно, что произвело на Глебовичей большее впечатление — это письмо или слухи о готовящемся на них нападении, но все триста человек с

оружием и конями были незамедлительно отпущены и при-
были во Владимир. Пока великий князь вызволял пленни-
ков, Всеволод Глебович сел в Коломне и внезапными стре-
мительными набегами опустошал окрестности Пронска.

Вскоре старшие Глебовичи стали осыпать брата Всево-
лода уверениями в своей вечной братской любви. Теперь,
словно пьяницы, протрезвевшие после крепкой попойки и
ужаснувшиеся тому, что они успели спьяну натворить,
старшие Глебовичи готовы были назвать Всеволода Глебо-
вича не только братом, но и отцом своим и покровителем.
Жена и дети были доставлены Всеволоду Глебовичу в Ко-
ломну. Точно такие же уверения летели во Владимир, и ве-
ликий князь также — в который раз — назывался отцом.
После всего, что случилось, очередные клятвы Глебовичей
вызывали у Всеволода лишь омерзение. Однако напряже-
ние спало, и великий князь медлил со вступлением в Ря-
занскую землю. Тем более что наступала весна, дороги
становились непроходимыми. Но это не означало для Гле-
бовичей спасения. Они должны быть наказаны, должны по-
чувствовать на себе тяжелую руку великого князя, и он
собирался начать войну, как только спадет вода в реках.

На несчастье рязанских князей, весна выдалась бурная.
Уже в марте снег почти растаял, а в апреле уже было
можно выступать. И великий князь выступил.

Но найти Глебовичей в их вотчинах оказалось непросто.
На месте оказался только Святослав, так и сидевший в
Пронске и не оказавший великому князю никакого сопро-
тивления. Ворота были не просто открыты — распахнуты
настежь, духовенство вышло встречать владимирское вой-
ско с иконами и крестами, колокольный звон разносился
на несколько верст вокруг. Сам Святослав при виде вели-
кого князя упал на колени прямо возле крыльца, лобызал
ему руки и рыдал, всю вину за содеянное перекадывая на
князя Романа как на старшего и, следовательно, самого
зловредного из братьев. У Всеволода не поднялась рука
сжечь Пронск.

И вообще, гнев его, по мере того как он гонялся за
Глебовичами, утихал. Во всех городах и селениях дружину
великого князя встречали с большим почетом. Вокруг на-
бирала силу весна, все расцветало. Потратив месяц на по-
иски неуловимых старших братьев и посчитав, что напугал
их достаточно и какое-то время вреда от них не будет,
Всеволод повернул обратно.

Была у него еще тайная мысль — задержаться на не-
сколько дней в Коломне. Еще когда великий князь только

выступил, он провел день во дворце у Всеволода Глебовича.
За обедом прислуживала все та же неизменившаяся ключ-
ница Фимья, и великий князь остался ночевать в отведен-
ных ему покоях с особенным удовольствием. Теперь, после
месячного похода, он намеревался еще раз насладиться та-
ким отдыхом и уж после этого возвращаться во Владимир.

Но передумал и в Коломну не заглянул.

Вернувшись домой, великий князь, к досаде своей, об-
наружил там непрошеного гостя — епископ Порфирий
явился из Чернигова в качестве заступника Глебовичей.
Уже во второй раз он приезжал к Всеволоду Юрьевичу
просить за них и, конечно, не по своему желанию, а по
воле Святослава. Почему-то Святославу было нужно, чтобы
со старшими Глебовичами ничего не случилось.

Своим красноречием Порфирий сумел склонить на свою
сторону епископа Луку, и они принялись уговаривать вели-
кого князя вдвоем — прости-де неразумных братьев, ибо
они молят о прощении. Против такого напора Всеволод ус-
тоять не смог. Хотя он и понимал, что война с Рязанью
не закончена, а только откладывается, но обещал пока воен-
ных действий не предпринимать и даже отпустил пленных,
которых удалось взять, отлавливая небольшие отряды Ро-
мана и Игоря, собиравшие продовольствие по селам. С эти-
ми пленными великий князь усла в Рязань и Порфирия —
не столько надеясь, что своим пастьерским словом тот при-
ведет братьев к покорности, сколько желая поскорее от не-
го избавиться. Не нужно было омрачать присутствием Пор-
фирия надвигавшееся важное и, пожалуй, радостное дело.

Кроме Прокофия во Владимир к великому князю при-
было посольство из Чернигова — брат Святослава Киевско-
го, князь Ярослав, напоминал о сватовстве сына. Вместе с
посольством прибыл и жених Всеславы — князь Ростислав
Ярославич, застенчивый и нескладный юноша. Всеволод ре-
шил, что откладывать нельзя, этот брак должен был послу-
жить укреплению хороших отношений между Владимиром
и Черниговом. Посольство было обласкано, одарено, Рос-
тиславу издалека позволили посмотреть на невесту, свадьба
была назначена на лето — здесь, во Владимире. Посольство
отбыло. Начались приготовления.

Всеславе было всего девять лет. Княгиня Марья была
против этого брака, но Всеволода ей не удалось переубе-
дить. Хотя ему тоже не хотелось расставаться с любимой
дочкой, но государственная необходимость пересилила его
отцовские чувства. Они с княгиней много говорили об
этом, Марьюшка принималась плакать, он ее утешал, сам

едва сдерживая слезы. Иногда и плакал. И все-таки пытался убедить жену, напоминая ей, что она вышла за него, будучи немногим старше Всеслава — всего на три года.

Казалось, меньше всего огорчена предстоящим событием сама Всеслава. Может, ей казалось, что в ее жизни начинается какая-то сказка: отец и мать стали к ней особенно ласковы, исполняли любые ее желания, вокруг нее стала создаваться обстановка такого умиления и восторженной почтительности, к которым даже она, выросшая во дворце дочь великого князя, была непривычна. Вот-вот должен был появиться прекрасный царевич и увести ее.

Прекрасный царевич прибыл вместе с отцом в начале июля. Пожилой годами, не уступавший старшему брату в гордости, Ярослав не посчитал ущербом для своей чести прибыть во Владимир. Ольгович, да еще и один из самых знаменитых Ольговичей, приехал к старшему из Мономаховичей за невестой для сына. Знаменательно!

В начале июля Ростислав Ярославич и Всеслава были обвенчаны.

Великий князь устроил такую свадьбу, какой еще не знали во Владимире. Наверное, вся Владимирская земля пировала на этой свадьбе — весь обширный княжеский двор был уставлен столами, угощение выставлялось и на улицах. Под нож пошло целое стадо коров, а уж гусей, кур и уток — не счесть. Меда и вина выпили столько, что почти опустошили запасы великого князя. Подарков молодым было поднесено великое множество, одного серебра, наверное, хватило бы построить город.

Всех удивил свояк великого князя — Ярослав Владимирович. На свадебном пиру он затмил собою и хозяев, и гостей, и жениха с невестой: без конца произносил восторженные речи, целовался со всеми подряд. Он был, казалось, везде — руководил поварями, распределял угощение среди гостей, наставлял песельников и плясунов и к концу дня так упился, что был на руках отнесен в покои. Отопавшись, снова ринулся в свадебный водоворот, и опять никому от него не было поблажки. Великий князь, удивляясь тому, как разошелся Ярослав Владимирович, обычно несколько скучноватый и даже вялый, и опасаясь, как бы свояку не попасть в неловкое положение, велел его ненадолго спавать, чтобы он поскорее приобрел неподвижность. Но не так просто оказалось свалить Ярослава Владимировича: он пил много, ведь ему усердно подливали, но в усмерть упивался только к вечеру, когда и так приходила пора заканчивать застолье — до завтрашнего дня.

Среди песен, исполненных на свадьбе, одна вызвала у всех гостей особенный восторг. Это было новое сказание, недавно сочиненное в Киеве и посвященное походу Игоря Святославича на половцев. Исполняли сказание два приехавших с черниговским князем песельника, на два голоса — когда один заканчивал, другой тут же подхватывал. Оно было прекрасно, это сказание, и тот, кто его составил, дивно был одарен Господом. Песельники пели, а тем, кто слушал, чудилось ржание коней, пение стрел, звон мечей о шлемы половецкие. Веяло на слушающих сладковато-горьким запахом степных трав, прохладой рек, жаром раскаленной солнцем земли.

В этом сказании возносилась хвала многим ныне живущим князьям, более всего — Святославу Киевскому. Но и великий князь Всеволод Юрьевич не последним упоминался в нем.

Правда, самому великому князю это упоминание, кажется, не доставляло удовольствия. Он благосклонно выслушал сказание от начала до конца, но все, кто хорошо знал Всеволода, видели: государь сердится и сдерживает себя только потому, что не хочет портить свадьбу. Все же он принял в подарок поднесенный ему Ярославом Черниговским список сказания, очень изящно выполненный, с золотом и киноварью изукрашенным заглавием: «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова», с буквицами в виде диковинных зверей. От этих буквиц тянулись по белому полю ровные черные строки, и, ухватив такую строку взглядом, не хотелось уже отпускать, хотелось следовать за ней все дальше и дальше — за храбрыми полками князя Игоря, идущими на верную смерть. Все же великий князь отложил чтение на потом.

Свадебные пиры продолжались целую неделю. И вот наконец гости стали собираться в обратный путь. Молодые, Ростислав и Всеслава, дичившиеся друг друга, сидели в расписном возке как деревянные: оба они устали от долгих торжеств, за время которых не успели даже как следует рассмотреть друг друга. Свадебный поезд был огромен, в нем ехало до пятисот человек гостей и провожающих, многие возы с подарками охранялись отборной дружиной великого князя. Сам Всеволод с княгиней Марьей провожали молодых и доехали до границ Владимирской земли, где и распрощались с дочерью и зятем. Суждено ли им будет увидаться еще когда-нибудь? Целуясь на прощание с князем черниговским Ярославом, Всеволод думал: а не придется ли в следующий раз встретиться в бою? Сколько ни вы-

давай за них дочерей, но Ольговичи остаются Ольговичами, и то, за что сегодня Ярослав благодарит великого князя, завтра может стать причиной новых раздоров и усобиц.

В числе дружинников, сопровождавших княжеский свадебный поезд, был Добрыня. Великий князь допустил его в свою свиту по просьбе Юрты. Добрыня был спокоен, сосредоточен, серьезен не по годам. Никто, разумеется, не догадывался, отчего вроде бы не очень эта серьезность соответствовала юному возрасту Добрыни. А он просто был поражен в самое сердце: вот как всеильные государи расстаются с любимыми дочерьми! Он сам видел заплаканное лицо Всеволода Юрьевича, не говоря уж о княгине Марье, которая лила слезы, будто отдавала Всеславу злему Змею Горынычу. Что же это за сила, заставившая такого всевластного князя расстаться с любимой доченькой, не дав ей хотя бы подрасти немного? Добрыня знал, что государей сильнее, чем Всеволод Юрьевич, в Русской земле нет, и свадьба эта была честью для старого князя Ярослава Черниговского, и если бы отец Всеславы захотел, то мог велеть Ярославу и подождать еще годика два-три, а то и все пять, а потом уж присылать сватов. Зато еще побыл бы с любимой дочерью, и княгиня тоже. Но великий князь не воспользовался своим правом.

Добрыня понимал теперь, что такая же участь ждет и Верхуславу. Девочка подрастала — почему же великому князю не отдать ее кому-нибудь, если так уж надо? Наверное, Юрта прав: нечего простым людям в их княжескую жизнь лезть. Но когда Добрыня глядел на жениха — князя Ростислава, то никак не мог поверить, что этот мальчик со скучным лицом, подозрительно посматривавший из своего возка на едущих рядом дружинников, настолько лучше его, Добрыни, что за него, за Ростислава, можно отдать княжескую дочь, а за Добрыню — нельзя.

Разложили последний стан, устроили последний пир. До самой ночи пировали, и опять веселее всех был князь Ярослав Владимирович. Казалось, он радовался этому браку больше всех, не хотел, чтобы свадьба заканчивалась так скоро, и собирался провожать молодых до самого Чернигова. И утром отправился со свадебным поездом дальше, а великий князь с княгиней Марьей, в последний раз поцеловав заплаканную Всеславу, повернули назад. Всю дорогу до Владимира Добрыня страстно мечтал, чтобы на них напали враги, к примеру — поганые налетели бы. Вот тогда бы великий князь увидел Добрыню отвагу и, может, задумался бы: а не выдать ли Верхуславу за этого богатыря замуж?

Но никто до самого Владимира на них не напал — вся земля жила отвратительно мирной жизнью, в которой не было места славным богатырским подвигам. Дозревали хлеба на широких полях, тучные луга возле извилистых речек пестрели многочисленными стадами, возле сел на огородах млела под солнцем всякая овощь. Все в мире текло своим путем по строго определенному руслу, и ничего не нужно было менять. Та самая сила, которая заставляла пшеничный колос наливаться зерном, понуждала воду течь куда-то и водила солнце по небу, та сила и отделила когда-то князей от простых людей и дала всему свои законы, преступать которые было нельзя. И когда подъезжали к Владимиру, Добрыня поклялся забыть о младшей дочери великого князя и постараться никогда больше не видеть Верхуславу.

Великий же князь возвращался во Владимир в весьма плохом настроении. И не только потому, что расстался с дочерью. Его мучила обида, словно точил изнутри назойливый червь, вползший в душу еще на свадьбе, во время шумного пира, когда все сидевшие с ним рядом за столом ахали и восторгались, слушая новую песнь, исполняемую черниговскими песельниками. Великий князь знал, эту песнь поют сейчас по всей Руси, переписывают слова, заучивают наизусть. И каждый раз, когда поют ее или читают в списке — смеются над ним, великим князем Всеволодом.

Выходит так, что Русской земле по-настоящему мил не он, князь владимирский, хозяин и жизнеустроитель, а те, которые только и делают, что размахивают мечами да, не жалея, льют русскую кровь.

Пожаловаться, поделиться своими тяжелыми мыслями было не с кем, кроме княгини Марьи. Она одна могла понять и успокоить Всеволода. А ему очень хотелось успокоиться, поверить в то, что его подозрения напрасны.

Оказывается, самое плохое в жизни — это не то, когда тебя ненавидят, а то, когда над тобой презрительно посмеиваются.

Злоба врагов понятна, она даже придает силы. Но если знаешь, что все твои труды, раздумья, переживания, все, что ты делал во имя великой цели — установления мира и порядка на Русской земле, — не только не приносит тебе общего безоговорочного уважения, но и вызывает усмешку, — от этого охватывает злая тоска.

Вечером, придя на княгинину половину, великий князь захватил с собой список новой песни. Посидел немного, дождавшись, пока уведут спать Верхуславу и унесут сыно-

вей, и только когда они с Марьей остались наедине, начал разговор.

— Вот, Марьюшка, — сказал он, — какую славу обо мне разносят.

— А что такое случилось, Митюшка? — спросила княгиня встревоженно. — Это что на свадьбе пели? Ты из-за этого такой печальный?

— Послушай, я тебе прочту. Уж извини, из меня песельник никудышный. Я тебе так прочту, — сказал Всеволод. Но читать не стал. — Помнишь, я говорил про князя Игоря, что погубил дружину свою? Я и тогда говорил, что про него сказки сочинять станут. Это что же получается? Дружину положил зазря, поганым руки развязал, впустил их в свою вотчину — и все равно про него песни поют!

— Так ведь, Митюшка, там и про тебя сказано.

— Да как сказано-то? Вот, — Всеволод зашелестел тонкими листами, — вот: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию тя прилетети издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти. Аже ты был, то была бы чага по ногате, а кощей по резани...» Вот, слушай: «Ты бо можеши посуху живыми шерешеры стреляти — удалыми сыны Глебовы!» ...Удалыми сыны Глебовы, — повторил Всеволод. Глаза его темнели гневным огнем. — Это ли не насмешка надо мной? Человек, кто это написал, был, наверное, у Святослава в войске, видел, как этих удалых сынов Глебовых тот же Игорь Святославич гнал со свистом, будто зайцев. Их храбрость всему свету известна. Эти удалые Глебовичи скоро друг друга перережут. Теперь все надо мной насмеваются!

— Да что ты, Митюшка, — успокаивающе сказала княгиня Марья, — тебе мнится только. Нет насмешки здесь.

— Нет, Марьюшка, не мнится. Это теперь пойдет по всем городам. То-то князья посмеются! Вот, мол, какие у князя Всеволода слуги удалые. Ты послушай: ни про кого больше так не сказано. Вот: «Святослав плачет-убивается, жалко ему племянников Игоря да Всеволода». Знаю я, как он их жалеет. Кроме себя, Святослав никогда никого не жалел! Того же князя Игоря, если б мог, живым съел! А ему теперь, князю Святославу-то, по всей Руси славу поют: первый печальник по Русской земле. А он на эту землю поганых наводил сколько раз — про это уж никто не помнит.

— Про князя Святослава ты верно говоришь, Митюшка, — сказала княгиня Марья.

— Еще бы не верно. Я ведь знаю его. Я, Марьюшка, поверишь ли, уж думаю, не пойти ли мне на них? Дружи-

ны у меня много. Киев сожгу, Чернигов сожгу — может, и мне тогда славу запоют песельники?

— Что ты! Как можно так думать!

— Знаю, что нельзя, Марьюшка. Им — все можно. А мне нельзя... Им все простится. А мне этих удалых Глебовичей еще долго припоминать будут. Ну, ладно. Я им теперь, Глебовичам-то, покажу, кто удалой, а кто нет. А то уж я про них и забывать стал. Порфирия-епископа к ним послал — уговаривать.

— Опять воевать будешь с ними? — спросила княгиня.

— Это уж решено, — ответил Всеволод. — Я и воеводе сказал, чтоб дружину готовил. Я ведь к тебе и пришел-то сказать, что через три дня выступаем.

— Опять уходишь, — грустно сказала княгиня Марья. — В этот раз надолго ли?

— Да пока не побью их как следует, — твердо ответил великий князь, — Глебовичей-то удалых.

Княгиня вздохнула. Она знала, что отговаривать мужа бесполезно: война была его делом, и он не терпел, когда она вмешивалась.

— А это, — Всеволод потряс листами в воздухе, — я нынче же в печку брошу. Чтоб мне больше этого не видеть и не слышать. Хотя, — и он вдруг смущенно улыбнулся Марье, — хотя, сказать по правде, жалко жечь-то. Уж очень красиво написано.

ГЛАВА 28

Как ни был великий князь раздосадован насмешкой, которую усмотрел в новом, получившем известность сказании, все же сжечь список у него не поднялась рука. Эти слегка измятые листы он положил на самое дно просторного, отделанного серебром и желтоватой костью ларца, где хранились книги и рукописи. Поразмыслив, он понял, что, уничтожив один список сказания, он все равно не сможет приостановить его распространение по всей Руси. Кроме того, ценивший все красивое, он сумел уловить в своей душе трепетное движение, говорившее о том, что сам он никогда уже не сможет забыть чарующих слов этой песни. Теперь до конца жизни песнь будет жить в его сердце.

Нынешний рязанский поход Всеволода был вызван не государственной необходимостью и даже не желанием навсегда примирить Глебовичей, — судя по их уверениям, они уже были готовы примириться сами, и еще неизвестно, стоило ли окончательно доводить дело до этого. Уже по-

сылая Всеволода Глебовича на старших братьев, великий князь пришел к мысли, что, может быть, не нужно тратить столько сил на борьбу с их природным коварством, а следует подумать, как это коварство использовать для его, великого князя, выгоды. Не станут ли смертельно обиженные друг на друга Глебовичи, вынужденные жить в постоянном ожидании удара со стороны любого из братьев, чаще припадать к стопам великого князя Владимирского с просьбами о защите и покровительстве? Это надо было хорошо обдумать: зная Глебовичей, решить, кому из них надлежит стать обиженным, кому позволить стать обидчиком, а кого — приласкать, чтобы вызвать зависть у всех остальных. Но это все — в будущем. Сейчас же растревоженная душа Всеволода Юрьевича требовала действий, и он знал, что не переговоры, не увещевания, а именно война успокоит его.

Обида, которую чувствовал великий князь, слушая или читая в списке песню о неудачном походе князя Игоря Святославича на половцев, была на самом деле гораздо глубже и значительней, чем просто обида, испытываемая человеком — пусть даже и великим князем — от какого-нибудь злого слова или действия. Все это поддавалось забвению или отпущению. Но Всеволод Юрьевич даже княгине Марье не признался в том, как уязвило его обнаруженное им в песне словно бы противопоставление его, великого князя Владимирского, человеку, которого он очень высоко ставил и с детских лет уважал и любил. И если это противопоставление получилось у песнетворца Ходына — так, кажется, его зовут — случайно, тем обиднее: ведь и в обычном разговоре нечаянная обмолвка может ранить больнее, чем прямое оскорбление.

Человеком этим, так красочно и восторженно воспетым в песне, был галицкий князь Ярослав Владимирович, давно уже и в народе, и среди князей называемый Осьмомыслом. Такое прозвище, пожалуй, было куда труднее заслужить, чем, скажем, имя Храбрый или Святоша. В обращении песнетворца к галицкому князю не было и тени насмешки: «Галицкий Осьмомысле Ярославе! Высоко седиши на своем златокованном столе, подпер горы Угорские своими железными полки, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча бремены через облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяеши Киеву врата, стреляеши с отня злата стола салтаны за землями. Стреляй, господине, Кончака поганого, кощя, за землю Русскую, за раны Игоревы, буюго Святославлича!» Лучше, с большим почтением сказать трудно, и Всеволод был полностью со-

гласен с такой оценкой князя Ярослава Владимировича. Но в том-то и таилось обидное: Осьмомысл воспевался как надежда и защита всей Русской земли, а за великим князем Владимирским признавалось лишь то, что он обладает большим войском. Осьмомысл загораживает Русь от врагов, а Всеволод Юрьевич годится лишь на то, чтобы разбрызгивать Волгу веслами да распоряжаться удалыми Глебовичами, которые при маломальской опасности всегда готовы дать тягу, как это было на берегах Влены. Кроме того, к Осьмомыслу обращается прямой призыв: стреляй, господине! Великому же князю будто попеняли на то, что, имея многочисленное войско, он не желает защищать Русскую землю, а впрочем, много от него и не ждут.

Всеволод Юрьевич знал Осьмомысла давно. Еще мальчиком, живя при дворе своего дяди, императора Мануила, слышал от него много хорошего о Ярославе, галицком князе, с которым тот был дружен и состоял в союзе против венгров. Тогда еще князь Ярослав не назывался Осьмомыслом. При дворе Мануила юный Всеволод и увидел впервые галицкого князя и полюбил его: князь Ярослав Владимирович был не заносчив, ласков, к Всеволоду, несмотря на разницу в возрасте, относился как к равному, не ставил ему в укор его молодую неопытность и весьма сочувственно отнесся к его нелегкой судьбе изгнанника. К тому же приходился Всеволоду довольно близким родственником: тогда еще Ярослав Владимирович был женат на сводной сестре Всеволода, княгине Ольге, которую, впрочем, Всеволод ни разу не видел.

Уже тогда лелея честолюбивые замыслы, веря — хоть никому не признавался в этом — в свое великое призвание, будущий великий князь, может, пока и неосознанно, избрал галицкого князя образцом, которому хотел подражать.

Юный Всеволод желал быть именно таким государем — мудрым и незлобивым, держащим своих подданных не в страхе, а в уважении и почтении к себе. Он жадно прислушивался к новостям, приходившим из Галича, сравнивал то, как поступал Ярослав Владимирович в каких-либо случаях, с тем, как бы ему самому хотелось поступить. И никогда такое сравнение не разочаровывало Всеволода. Галицкий князь не вмешивался в ссоры соседей, но пекся прежде всего о благе своих подданных. Земля его процветала благодаря тому, что он не стремился увеличивать налоги, а способствовал расширению торговли. Он действительно мог подпереть Угорские горы железными полками, но порой, чтобы не лить зря крови своих людей, нанимал войско у

иноземцев — у поляков, например. Он предпочитал не оставлять без присмотра внутренние дела своего княжества и во время вынужденных войн во главе своей рати посылал воевод — тех, чье воинское искусство он справедливо полагал выше собственного. Он без применения силы сумел припугнуть самых алчных и властолюбивых соседей, и в первую очередь — самого Святослава Киевского, который не только не посягал на его земли, но и не смел предлагать Осьмомыслу признать себя старшим среди князей, а ведь это было едва ли не главной целью в жизни Святослава.

И вот — плоды этого мудрого правления: не найдется на Руси человека, захотевшего бы сказать об Осьмомысле худое слово. За исключением, может, княгини Ольги, не простившей супругу измены и постригшейся в монахини. Впрочем, Ольга уже шесть лет как преставилась в монастыре недалеко от Владимира и под именем смиренной инокини Ефросинии похоронена у храма Святой Богородицы Златоверхой. Да еще Осьмомысл не дождался бы доброго слова от сына своего и княгини Ольги — Владимира, известного приверженностью к вину и бесстыдным любо-страстием.

Великий князь поддерживал отношения с Осьмомыслом и знал, что тот продолжает к нему хорошо относиться и одобряет его дела, признавая за Всеволодом правоту его в споре с Ольговичами, и в первую очередь — со Святославом. И это неудивительно: владимирский князь так же, как и Ярослав Галицкий, желает мира, не хочет кровопролития, печется о благе подданных.

Но есть между ними большая разница: Осьмомысл управляет в одной Галицкой волости, великого же князя заботит мир во всей Русской земле. Он никогда не отступит от своей убежденности в том, что высшим благом для Руси может быть лишь единая власть. Только единовластный государь сможет избавить Русскую землю от страшных бед, среди которых главная, страшнее половцев и литвы, венгров и чуди, — княжеские распри.

Да, сначала Всеволоду казалось, что возможно победить их умом и великодушием, но теперь великий князь знает, что так добыться порядка лишь в своем доме, а если хочешь владеть и управлять всей Русью, то сначала она должна испытать страх.

Русь, признавая за великим князем силу, считает возможным посмеяться над ним? Что ж, пусть смеется. В таком случае она испытает страх. Если люди не хотят проносить имя великого князя с почтением — будут произ-

носить его со страхом. Любое пренебрежение волей Всеволода Юрьевича повлечет за собой наказание. И первыми, кто в этом отныне и навсегда убедится, будут князья рязанские, сыновья покойного князя Глеба.

В середине июля войско великого князя вступило в рязанские пределы.

Глебовичи уклонялись от встреч с владимирским войском, не желали даже защищать свои владения. Один за другим великому князю сдались Пронск, Ожск, Ольгов, Добрый Сот, Осетр, Белгород рязанский. Тысячи жителей брали в плен и отправляли во Владимир, откуда им предстояло быть расселенными по всему Владимиро-Суздальскому княжеству. Уже во второй раз Всеволод Юрьевич осаждал Рязань, и второй раз она сдавалась ему без боя. Тяжело нагруженные добычей обозы тянулись вдоль Оки, ползли по лесным дорогам, и никто не делал попытки их отбивать. Рязанская земля расплачивалась за непокорность своих князей.

Самых же Глебовичей — Романа, Игоря и Владимира — в Рязани не было.

Причина отсутствия их в волости вскоре стала известна, и, узнав эту причину, Всеволод Юрьевич поначалу испытал удивление. Удивляться главным образом нужно было самому себе. Его опять провели как мальчишку, а он словно и не догадывался, что такое может случиться.

Вечный заступник рязанских князей епископ Порфирий на этот раз сумел исполнить свой долг миротворца. Во время пребывания во Владимире убедив великого князя остановить войну против Глебовичей и даже склонив на свою сторону доверчивого епископа Луку, он уехал в Рязань. Но не затем, чтобы убедить братьев покориться великому князю, а затем, чтобы предложить им более сильное, на его взгляд, покровительство. Святослав, князь киевский, сообщил Порфирию Глебовичам, сочувствует им, готов их поддержать в борьбе против несправедливостей, творимых владимирским князем, и в крайнем случае — предоставит убежище до лучших времен. Взамен князь киевский хочет лишь одного — чтобы братья признали его своим покровителем, отложились от Всеволода Юрьевича. Святослав даже не требовал от них ходить в его воле, но они должны были создать такое впечатление у великого князя. Глебовичи охотно согласились и даже приободрились, но когда узнали, что великий князь с дружиной идет к ним, трусили и сейчас, наверное, уже находились в Киеве.

Коварство Святослава не было новостью для великого князя. Только что его родной брат породнился со Всеволо-

дом Юрьевичем, только недавно посол от Святослава, прибывший вместе с епископом Порфирием во Владимир, передавал, что Святослав желает мира и молит великого князя не обнажать меча на неразумных и поверить их искреннему раскаянию. А в это время епископ Порфирий, получивший указания, как надо действовать, усыплял бдительный гнев Всеволода Юрьевича. Святославовы козни хоть и раздражали, но были уже как-то привычны.

Но Порфирий! Ведь он клялся на святом кресте и обречах, что послужит великому князю и избавит его от необходимости применять силу, примирит Глебовичей и приведет их словом Божиим к повиновению. Клялся, зная, что дает ложную клятву. Переветник! И такой является пастырем духовным для многих людей? Не бывать этому! Великий князь отдал распоряжение найти Порфирия, где бы он ни был, взять его и доставить во Владимир.

Но потом понял бессмысленность этой затеи. Что, в самом деле, пойманный Порфирий мог изменить в уже содеянном? Что мог сделать с ним великий князь — казнить? Навлечь на себя гнев отцов Церкви? Это Всеволоду было совсем не нужно. Первый мстительный порыв быстро прошел, и Всеволод отменил приказание.

Войну можно было заканчивать. Рязань наказана достаточно, не начинать же новую войну уже с Ольговичами из-за братьев Глебовичей! В конце лета владимирское войско вернулось домой. Разумеется, великий князь не хотел оставлять без внимания Святославовы козни: он написал в Киев весьма строгое письмо, дав понять Святославу, что, если тот будет продолжать злодействовать, возмездие не заставит себя ждать.

Письмо было написано намеренно грубо. Всеволод никогда так не писал. Оно было совершенно в духе Боголюбского, который такими письмами начинал войну. Великому князю надоела притворная вежливость отношений со Святославом, и он вспомнил о мудром совете: не мечите бисера перед свиньями. Как ни был Святослав разозлен и даже оскорблен письмом владимирского князя, он не решился ни на войну, ни хотя бы на такой же грубый ответ. Лишь недоумевал: чем он мог провиниться перед князем Всеволодом Юрьевичем, которого издавна считал своим братом и сыном. За епископа Порфирия отвечать отказался: мол, духовный владыка действовал по своему желанию и усмотрению. Понял наконец Святослав, что сильнее владимирского князя сейчас никого нет и, значит, с ним нужно соблюдать осторожность, чтобы не вышло какой беды. В нача-

ле осени все три брата Глебовичи — Роман, Игорь и Владимир — прибыли к великому князю с покаянием, снова валялись у него в ногах и обещали, обещали, обещали до конца дней своих быть великому князю преданнейшими слугами.

Он хотел было, как несколько лет назад, поддержать их в своей темнице, чтобы лучше осознали свое положение, да и чтобы самому не казалось, что братья отделались чересчур легко. Но — чувствовать их присутствие рядом с собой? Слышать их постоянные просьбы о помиловании и новые клятвы? Этого ему не хотелось. Не объявив Глебовичам о своем прощении, он велел им разъезжаться по уделам и сидеть тихо. То, что он не простил их, удручило Глебовичей: зная отходчивый нрав великого князя, они рассчитывали, что все пойдет по-старому. Нет, великий князь теперь был не тот, что прежде.

Снова настало мирное время. Снова собирался и укладывался в закрома урожай, стекались в хозяйство великого князя изобильные земные плоды. Понемногу вырастал Успенский собор — стены, окружавшие старое здание, поднялись уже до его половины. Была готова яма для отливки первого колокола, выкопали ее недалеко от стройки, чтобы не тащить потом непомерную тяжесть, а поднимать здесь же на звонницу, которую тоже решено было делать из камня.

Казалось, что во всей Русской земле один владимирский князь наслаждается покоем. Сведения, поступавшие из разных краев, говорили об убоицах, смутах и войнах.

В Смоленске князь Давид решил наконец на усмирении своих граждан. Помнившие еще недавнее увлечение мягкого и добродушного князя Романа Ростиславича, жители Смоленска роптали на Давида: обложил-де непосильными вирами, лишает тех, кто не раболепствует перед ним, имущества, отписывая все на себя, гоняет на общественные работы, за которые не платит.

Больше всего оснований негодовать на Давида имели бояре — еще Романовы. Пользуясь слабостями своего покойного князя, они в этих слабостях находили неплохой источник дохода — годами ничего не платили в казну, да и просто воровали у князя Романа, прибирая к рукам его земли и людей, живущих на них. Простой же народ, которому, в сущности, было все равно кому отдавать налоги — князю ли, боярам ли его, обижался, что прекратились частые угощения, устраивавшиеся покойным князем. Князь Давид, отличавшийся скупостью, запретил столь любимый народом обычай по праздникам разбрасывать в толпе серебро, и что самое обидное — запретил вече.

А в былые времена князь Роман не только не отменял его, но и сам всякий раз являлся на такое вече — узнать, чего народ хочет. И можно было даже ругать князя при всем народе, кричать ему в лицо разные оскорбительные слова. Кроткий Роман не позволял дружине хватать крикунов, хотя видно было, что огорчается. Говоря проще, народ при князе Ромane чувствовал свою силу настолько, что даже в разговорах на улице можно было услышать, как какой-нибудь захудалый мужичонко-ремесленник, у которого всего имущества — топор за поясом, домик об одном окошке да восьмеро детей, запросто, никого не боясь, рассуждает: вот, мол, князя нашего уберем да другого посадим — глядишь, и жизнь настанет другая, хорошая. Теперь же за такие речи дружинник тащил на суд: за бесчестье князю отдерут плетью, да потом плати еще, а нечем — садись в яму.

Такое мало кому могло понравиться. Но стерпели бы, приспособились, если бы не помнили так свежо своего покойного князя. Все Давидовы строгости невольно сравнивались с Романовыми вольностями, и от этого обида зрела, копилась в каждой душе. Бояре, конечно, почуяли, что могут найти себе в народе сильную поддержку. Пустили по слободам своих людей, те нашептывали: надо-де подняться на постылого Давида всем миром, да и прогнать его, как двенадцать лет назад прогнали Ярополка Романовича, а после того-то и Роман, напуганный смлою народной, стал мягок и ласков и всем позволял жить хорошо.

И подняли народ. Забурлил Смоленск, потекли по улицам в сторону княжеского дворца толпы, вооруженные кто чем — многие вилами, а кто и в полной броне с хорошим мечом. Сила собралась огромная. Первым делом сожгли подворье тысяцкого Братилы, где многие успели вкусить княжеского суда. Сам тысяцкий едва успел уйт к князю, со своими гриднями прорубившись сквозь толпу горожан. А его не надо было бы упускать.

Потому что князь Давид бросил на город всю свою дружину и, чего мало кто ожидал, велел ей не разгонять бунтовщиков по домам, а убивать на месте всякого, не разбираясь — с оружием он или без оружия, явился сюда беспорядки устраивать или просто так, поглазеть.

А дружина исполнила приказание весьма добросовестно. Где было разношерстному городскому ополчению противиться дружине? Горожане были плохо вооружены, никто ими не руководил, а многие и не совсем понимали, что нужно делать. Дружинники же были все на конях, воору-

жение у них имелось отличное, а во главе их был сам князь Давид, державший возле себя тысяцкого Братилу, который всех главных крикунов и подстрекателей знал в лицо. Двух часов не понадобилось князю Давиду, чтобы, у глав улицы города мертвыми и ранеными, разогнать толпы мятежников. А потом тысяцкий водил дружину — показывал, где живут те, кто спалил его подворье, да и на боярские дома наводил. Тех, кто попроще, рубили прямо во дворах, тех, кто познатнее — на веревке, привязав за шею, гнали к князю, бросали в яму до завтрашнего дня. Ох, многие, сидя в этой яме, волосы на себе драли: зачем взялись в смуту? Ожидали все же, что князь Давид удовлетворится тем, что уже сделано, потомит доброименитых мужей в яме да и сменит гнев на милость.

Но назавтра князь Давид объявил казнь. На площади, у церкви Святого Глеба, где в прошлом собиралось буйное вече, были поставлены колоды, притащенные сюда горожанами, подгоняемыми плетью. На этих колодах им и стали рубить головы. Такого в Смоленске никогда еще не было. Более трехсот голов самых заметных горожан скатились с этих колод. Казненных дружинники волочили по земле за конем и возле дома, где жил мятежник, тело отвязывали, голову бросали рядом — чтоб семья смотрела. И не раз получалась путаница: туловище оказывалось от одного человека, а голова — от другого.

Город затих в страхе. Несколько дней на улицах нельзя было встретить человека, не слышно было голосов, только петухи кричали да собаки потягивали по дворам. В этой тишине по улицам ходили бирючи с княжевым указом: князь велел горожанам жить дальше, назначал за то, что подняли на него руку, налог с каждого дома, с домов казненных — особо, отменял впредь всякие собрания, кроме тех, что сам созовет. Город смирился.

В это время сын князя Давида, Мстислав, сменивший в Новгороде свояка великого князя Ярослава Владимировича, воевал с кривскими областями. Ходил с новгородской дружиной на Полоцк и заключил мир. Не прекращались войны с чудью, на этот раз — весьма успешные для Новгорода.

Но самые печальные события происходили на Руси южной. Воодушевленная недавней легкой победой над русскими князьями, половецкая степь вновь, как и восемь лет назад, прихлынула к черниговским, переяславльским и киевским землям. Кончак, разбив Игоря Святославича, не дождался со стороны Руси никакого возмездия, а для него это был самый верный знак того, что Русь слаба. Огромная

орда — кумания, единовластным правителем которой был теперь Кончак, не могла сидеть без дела и требовала от своего хана новых походов. Для начала Кончак отпустил на Русь пленных князей Всеволода Святославича и Владимира Игоревича, последний был Кончаку зятем. Вместе с Владимиром к отцу в Новгород-Северский уезжали дочь Кончаковна и их ребенок, приходившийся Кончаку внуком. Повелитель половецкой орды будто нарочно хотел показать всей Руси, что не боится ее князей и отпускает таких крепких на рати воинов, как Всеволод и Владимир, чтобы снова сразиться с ними. Князья были торжественно встречены в Киеве, но торжества длились недолго — пришлось спешно собирать дружины и отражать половецкое нашествие.

Ни один из властительных князей к тому времени не был настолько силен, чтобы в одиночку отбиваться от многочисленных поганых орд. Пришлось Рюрику и Святославу вновь объединиться и выставить общее войско. С огромным трудом, едва поспевая отгонять половцев от городов, осаждаемых ими, князья держали границы со степью. Половецкое войско двигалось быстро и старалось не принимать прямого боя: Кончак словно играл с русскими князьями. Для того чтобы охватить поганых с нескольких сторон и уничтожить, у русских не хватало сил. Они могли надеяться на всегдашнюю твердость в бою своих дружинников против половцев — и искать боя. И всякий раз опаздывали: поганые, пограбив и захватив пленных, уже успевали отойти.

Святослав и Рюрик могли попросить помощи у великого князя Владимирского. Но не просили. Даже возможность навсегда избавиться от степной угрозы — такая заманчивая возможность с помощью владимирских войск разгромить Кончака — не была для них настолько заманчива, чтобы склониться перед Всеволодом Юрьевичем. Они предпочитали отдавать поганым на разграбление свои уделы, чем признаться великому князю, что без его помощи не могут справиться.

Великий князь знал, что его помощь нужна, но сам предлагать ее не торопился. Опыт прошлых лет говорил ему, что эта помощь может обернуться против него же самого. Зачем своими руками укреплять Святослава? Да и Рюрик, избавившись от половецкой угрозы, начнет копить силы, чтобы сделаться сильнейшим и главнейшим среди Мономаховичей. К этому он всегда стремился. Великого князя вполне устраивали Святослав и Рюрик, противодействующие друг другу даже в мирные дни. Пусть-ка они уп-

равятся с Кончаком, а когда управятся — снова начнут соперничать между собой.

Осенью на Владимирскую землю пришла неожиданная беда. Видно, за что-то разгневался Господь — наслал на жителей мор, о каком прежде не слыхивали.

Болезнь настигала человека внезапно: начинала болеть голова, охватывал жар и появлялась сильная жажда, человек пил и никак не мог напиться. Потом опухал и лежал без всякого желания жить, никого не узнавая и выпуская из себя все, что успел выпить. Тело покрывалось язвами, от которых шел дурной запах. Никто не знал, что это за болезнь, но в народе бродили слухи, что это непогребенные мертвецы мстят живым за то, что их не предали земле. Лекарши при дворе великого князя — два немца и армянин — только разводили руками: они не знали, как лечить эту болезнь, несмотря на свои обширнейшие познания в лекарском деле.

Зимой болезнь началась и в самом Владимире. Люди оставляли свои села, избы, в которых было невозможно находиться, потому что страшно сидеть и ожидать смерти, наспех хоронили умерших родных и, захватив пожитки, брели в столицу, где под защитой городских стен и чудотворной иконы Божией Матери надеялись пережить эту напасть. Сотни беженцев заполняли улицы, церковные паперты и торговые места — просили милостыню, рассказывали, как вымирали их селения, до того, что в иных домах некому было похоронить умерших. Поначалу они вызывали сочувствие и собирали толпы зевак, им щедро подавали, пускали к себе, кормили, оставляли ночевать. Вскоре всякое любопытство к беженцам пропало, и они вызывали уже раздражение: в городских домах тоже запахло гноем, и бабий плач слышался почти из каждого двора. Трупы лежали на улицах, и поскольку зимние холода препятствовали их разложению, то их не торопились убирать. Раз в неделю проезжала телега, на которую грузили окоченевшие тела, словно дрова, и увозили за город, к ямам, куда их и сваливали, наскоро читая молитву и слегка забрасывая снегом и землей.

Великий князь по совету врачей не покидал двора и запретил сюда въезд из города. Эту зиму, выдавшуюся особенно лютой, он переживал тяжело — беспокоил крошечный сын Борис, не знали, что с ним делать: мальчик постоянно кричал, отказывался брать грудь, худенькое тельце его, казалось, неохотно удерживает жизнь. Сына оперыскивал святой водой сам епископ Лука, и новый духов-

■ К великого князя, отец Иоанн, денно и нощно молился о здравии младенца, но ни молитвы, ни заботы врачей, потчевавших Бориса отварами каких-то трав, не помогали. Нужно было готовиться к худшему.

Во дворце было тихо. Изредка доносился размеренный звон со стороны города: значит, опять везли кого-то хоронить, кому-то повезло, потому что о нем есть кому позаботиться и даже заказать церковное поминовение.

Поздней осенью великий князь получил известие, что в Галиче умер князь Ярослав Владимирович Осьмомысл. Всеволод переживал утрату: галицкий князь был, пожалуй, единственным, в ком великий князь мог найти искреннего союзника. Теперь его не было. Всеволод предчувствовал, что смерть Осьмомысла будет иметь горькие последствия: мудрый князь Ярослав Владимирович, за свою жизнь сумев создать богатое и цветущее государство, так и не сумел обрести преемника этому богатству и силе. Княжество, окруженное алчными соседями, давно разевавшими рот на Галич, в ближайшее время должно было подвергнуться нападению — либо извне, со стороны венгерского короля Белы, либо свои князья начнут усобицу. Скорее всего, следовало ожидать и того и другого.

Наступал новый год, принося с собой печаль и тревожные ожидания. Мор, болезнь сына и вот теперь — грядущая галицкая война.

Хорошо было, однако, что Галич находился от Владимира на достаточном расстоянии.

ГЛАВА 29

К весне мор закончился — люди перестали умирать. По-прежнему возвращалась жизнь на городские улицы, оживленнее стало в слободах, на торгу. словно весеннее солнышко выжгло эту болезнь, а первая капель смыла всю ее грязь и звонкими ручьями унесла из города прочь. Теперь можно было, оплакав умерших, вздохнув и перекрестившись, снова начинать жить. С первыми весенними теплыми ливнями пришла радость к великому князю: Марыюшка родила ему третьего сына.

В пару Борису его назвали Глебом. Великий князь на радостях объявил в городе праздник с угощением. Соскучившиеся по веселью горожане как на манну небесную набрасывались на яства — мясо, вареные овощи, соленья, щедро выставленные на площадях перед церквями. Заодно было решено совершить постригу над Константином. Го-

родские умельцы сделали и преподнесли Константину все для этого необходимое: крошечный меч, шлем, кольчужку, нагрудники и наколенники. В присутствии бояр, старост, тысяцкого и многих знатных мужей Константин, одетый в полное воинское снаряжение, оказавшееся ему великоватым, был посажен на коня, епископ Лука с благословением отрезал Константину прядь волос — и на русской земле появился еще один владетельный князь, Константин Всеволодович — наследник отцовского могущества. Теперь его можно было сажать на любой стол, а верные бояре помогли бы ему править. Сам юный князь этого еще не осознавал. Маленькие, но тяжелые для него доспехи не радовали Константина. Он хмуро оглядывал с высоты седла собравшихся вокруг веселых людей и, казалось, ждал, чтобы утомительный обряд поскорее закончился.

Постригу полагалось праздновать не хуже, чем рождение нового сына. Просторные гридницы дворца великого князя наполнились шумом, звоном и приветственными криками. Сам хозяин зорким взглядом следил, чтобы все пили усердно, и если замечал, что чей-то кубок пуст, давал распоряжение слугам наполнить, а иной раз и сам брался за кувшин и наливал. Попробуй не выпей, когда великий князь тебя потчует.

Пиршества продолжались несколько дней, но наконец закончились. Наступали будни. Следовало приводить в порядок дела, изрядно расстроившиеся за долгую печальную зиму.

Разбежавшийся из сел и уцелевший после мора народ начинал возвращаться по домам. Пора было готовиться к пахоте. Людей в селах заметно поубавилось. Дружинники отлавливали по лесам и дорогам разных бродячий люд и насильно водворяли в опустевшие села. Жизнь продолжалась.

В один из дней в конце апреля второй сын великого князя — Борис, закашлявшись, вдруг замер и больше не смог вздохнуть. Личико его посинело, глаза закатились — из-под полуоткрытых век белели полоски глазных яблок. Ему дули в нос, встряхивали, растирали худенькую, как у зайчонка, грудку. Но он больше не задышал.

Великий князь хоронил уже второго своего ребенка. После смерти Бориса он постарел: в черных волосах появились первые блески седины, глубже обозначились складки возле губ. Чтобы поскорей забыть горе, Всеволод искал себе занятия. Снова стал подгонять строительство собора, торопил отливку первого колокола, а когда тот был отлит, велел разбить его и делать новый: первый показался ему

недостаточно красивым и сладкозвучным для такого великого храма, каким должен стать Успенский собор.

Но дома, во Владимире, занятий было немного, и Всеволод старался больше находиться в отъезде — посещал города свои, надолго останавливался в монастырях, умилая братию и игуменов своей страстью к молитве. Просто ездил по окрестным лесам, надеясь, что терпкий запах молодой листвы, теплое дыхание земли и звонкий шум птичьих свадеб помогут ему обрести прежнюю жизненную силу. И действительно — вдали от людей ему становилось легче.

Княгиня Марья не удерживала его возле себя. Может, чувствовала какую-то вину перед мужем: не сумела родить здорового сына, не сумела уберечь. Она тоже искала занятий, вновь увлеклась строительством своего монастыря, который уже так и назывался — княгинин, в поминание Бориса отписала монастырю большое село недалеко от Владимира.

Редко видевшиеся в эту пору Всеволод и Марья были особенно нежны друг с другом, будто боялись неосторожным словом или взглядом разрушить тот тонкий ледок забвения, что уже понемногу затягивал пышущую злым холодом пустоту утраты. Княгиня старалась ни в чем не перечить мужу, а он пытался угадывать ее желания и исполнял их. Почему-то оба полюбили говорить о предстоящем замужестве Верхуславы — может, потому, что она должна была покинуть родительское гнездо по их родительской воле, и эта потеря была иной, не такой, как та, которой они помешать не смогли.

За зиму в окружении великого князя умерло несколько бояр, в их числе — Федор Ноздря. Оба его взрослых сына — Ноздрятичи Симеон и Григорий, конечно, не смогли бы заменить отца: гораздо менее его они были озабочены государственными делами, желанием служить великому князю — больше заботились о своих развлечениях. Потеря Федора очень огорчила великого князя: боярин был опытным и умным советником, его можно было посылать хоть в Киев, к Святославу, не опасаясь, что Федор Ноздря не сможет выполнить поручения. Зная за собой поддержку великого князя и верно служа ему, Федор не робел ни перед кем и чести своего государя не ронял. Всеволод похоронил его с княжескими почестями недалеко от строящегося Успенского собора.

Еще одна смерть посетила за зиму княжеские покои: от неизвестных причин скончался телохранитель Ждан, немой, тенью следовавший за своим государем в походах и разъ-

ездах, даже в самом дворце следивший, чтоб великого князя ничто не потревожило. Поначалу его боялись — пугало его умение владеть оружием, которое он в миг готов был применить. Но потом как-то привыкли к Немому: человеком он был незлым, выше, чем он есть, себя не осознавал. Если бы не вырезали ему язык — может, дослужился бы до хорошей должности в дружине. А так — что он мог? Мечом махать да преданность свою князю безмолвно высказывать. Нашли его мертвым в той самой светелке, которую занимал в прошлом подручник княжеский Юрята. А отчего помер Немой — так и не удалось понять. Лежал он на полу, вытянувшись в сторону двери, будто последнее его желание было — выйти наружу. Но смерть ему этого не позволила. Хороший был человек, все его жалели. И великий князь жалел.

Но больше всех, конечно, по Немому горевал Добрыня. Он знал, что Немой любил его. Он и сам любил этого человека. Ждан учил Добрыню владеть мечом. Ему можно было доверять самые сокровенные мысли — не потому, что он никому не расскажет, а потому, что в глазах у него прочтешь столько сочувствия и понимания, сколько и у отца не найдешь. Не будучи в состоянии разговаривать языком, Немой разговаривал сердцем, и Добрынино сердце тоже раскрывалось ему навстречу.

Окончательно посевший за зиму Юрята — волосы его теперь отливали чистым, еще не тусклым серебром — тоже жалел Немого. Он вдруг обеспокоился за великого князя. Раньше, когда Немой был рядом с государем, Юрята не тревожился за Всеволода — знал, что тот защищен надежно от всяких неожиданностей. Теперь же он, как бывало в молодые годы, сначала даже испытал страх, что Всеволод остался один перед грозящей ему опасностью. Юрята стал думать, кем заменить Немого — ему казалось, что это надо сделать незамедлительно. Подумал, что Добрыня, наверное, сможет стать великому князю охраной не хуже, чем был покойный Ждан, но одернул себя, потому что Добрыня был достоин лучшей судьбы. И только потом Юрята удивился себе: надо же, как стал думать. Давно ли счастье состоять при князе Юрята казалось самым дорогим подарком судьбы и он не захотел бы никакого другого? Во всяком случае, теперь он не желал, чтобы сыновья его были просто княжескими телохранителями; сам он, может, еще согласился бы на это, но уже без прежнего восторга в сердце: уже и князь стал не тот, и сам Юрята, и вдобавок постарел он для этой должности.

Нового телохранителя себе великий князь не стал заводить, и Юрята счел это правильным. В самом деле — кого бояться государю? Его сила и величие сами по себе отпугивают врагов. Если случится война, дружина защитит, да великий князь и не полезет в гущу сражения. А от того врага, который в нас самих, не убережет никакой телохранитель.

Юрята, пожалуй, впервые так отчетливо подумал о дальнейшей судьбе сыновей. Пока жив — он обеспечивает Добрыне и Бориске видное положение: все-таки они дети подручника и думца великого князя. В дружину не вписаны, потому что простыми дружинниками им вроде бы быть неуместно. Дружина не ропщет, когда приходится уделять им долю добычи — заслуженную, кстати, честно. Но кто знает: умри Юрята сегодня, примет ли дружина Добрыню и Бориску с такой же доброжелательностью, как сейчас? Да и захотят ли они сами стать простыми дружинниками, ведь оба способны на большее. К тому же есть еще одна сложность: Бориска все-таки боярский сын и может искать себе службы у великого князя смело. А Добрыня? Как бы ему не припомнили низкое происхождение. Это пока его все любят, потому что Юрята побаиваются, а после Юрятиной смерти не станут ли тыкать: смерд! найденыш! прочь с княжеского двора! У бояр сыновей много, а служба у великого князя заманчива. Да, думал Юрята, нужно за Добрыню хлопотать перед государем, благо возможность эта пока у Юрята есть.

Но заговорить со Всеволодом Юрьевичем о сыновьях Юрята все никак не решался. Не подворачивалось удобного случая, да к тому же великому князю было в последнее время не до того. Государь сына Бориса оплакивает — а ты к нему со своими переживаниями. Он ведь что может подумать: у меня, мол, сын умер, а у этих-то сыновья не мрут, им только должности подавай. Вот как может подумает великий князь.

Хотя если посмотреть, то один Юрята и смущается. Вон — Захар Нездинич еще одного своего родственника пристроил тиуном княжеским в Переяславль. Прокофий, старший ловчий князев, тоже брата родного облагодетельствовал: уехал брат его посадником в Белоозеро. Там, вдали от великого князя, сиди да радуйся — сам себе князь. Прокофию-то самому, кроме его собак, да ловчего снаряда, да зверей лесных, ничего не нужно. Ладно, выпадет возможность — Юрята прямо скажет великому князю о своих опасениях насчет Добрыниной судьбы. Неужели Всеволод Юрьевич откажет ему?

Надо бы их женить поскорей обоих, думал Юрята. Об этом можно было и с Любавой посоветоваться. Насчет чего другого, скажем, еще надо погодить совет спрашивать у нее. Например, о том, кому из сыновей после смерти Юрята какая часть имущества достанется. Здесь Любава могла воспротивиться: все же достояние ее покойного мужа — два села с землями и приписными людьми да дом в Суздале — хоть и числилось сейчас Юрятиным, но достаться должно законному наследнику — Бориске. Бориска мог считаться даже более законным наследником, чем маленький Любим. Так что тут надо было подумать, как лучше сделать. А вот о женитьбе сыновей с Любавой можно посоветоваться. И даже нужно. Может, удастся женить Добрыню так, что и Борискиного добра ему не нужно будет. Эх, давно бы надо было его женить. Сейчас бы Юрята был спокоен.

Он заговорил с ней о женитьбе сыновей, когда вечером легли. Любава, привычно подавшаяся к Юрята — что-то стала она в последнее время его утомлять своими приставаниями, — когда он высказал ей свое желание найти ребятам хороших невест, сразу оставила попытки расшевелить мужа и даже отстранилась от него, приподнявшись на локте.

— Это ты верно придумал и хорошо, — сказала она задумчиво. — Их женить давно пора.

— Пора-то пора, — вздохнул Юрята. — Да ведь не хочется — второпях. Найти еще надо девок. Да с приданым, да из хорошего рода. Не дай Бог со мной что случится.

— А что с тобой случится? Ты не заболел ли? — встревожилась Любава. Снова потянулась к Юрята, будто хотела тут же проверить — в самом деле не заболел ли?

— Нет, нет, — поспешно ответил Юрята. — Я-то здоров пока. Но вдруг? Зимой-то что делалось — помнишь? Все мы под Богом ходим.

— А, — отозвалась Любава, — это так. Ну что ж, это ты правильно решил — женить их. Я уж поищу невест-то. А что? Любая пойдет. Как вот я за тебя пошла. Великий князь был сватом.

— А если бы не он — не пошла бы? — спросил Юрята и вдруг спохватился: зря спросил, сейчас опять приставать будет.

Но Любава не стала приставать. Она обдумывала его вопрос.

— Пошла бы и без князя, — сообщила она. — Без сватовства его. Ты ведь все равно у него был на виду. Да и мне сразу полюбили. Нет, с сыночками нашими надо не так, не с наскоку. Посмотреть, поискать. На царевнах заморских женим.

— На княжнах половецких, — попробовал пошутить Юрята. Но она не слушала его.

— Княгиню Марью попросить... а им сказать: мы не хуже вашего... можно на красоту-то не смотреть... — бормотала она, разговаривая с невидимыми собеседниками. Захватило ее. Юрята шлепнул ее по ноге.

— А? — встrepенулась она. — Да это я так, думаю про себя. Ладно. Давай спать. Я уж что-нибудь придумаю.

Юрята хоть и избегал мыслей об этом, все же порой вспоминал тот разговор с Добрыней, так встревоживший его. То, что сын влюбился в княжну и не боялся говорить об этом, было для Юраты еще одним препятствием, мешавшим ему обратиться к великому князю. Юрате почему-то казалось, что князь сразу учует в Добрыне эту преступную любовь, и тогда — лучше не думать, что может случиться. Но, приглядываясь к сыну, пытаясь понять, есть ли у него еще остатки любви к Верхуслане (прямо спросить Добрыню он не мог), Юрята уверял себя, что Добрыня поумнел и давно выбросил княжну из головы.

После того разговора Любава как в омут бросилась — так усердно занялась поиском достойных невест для Добрыни и Бориски. Оставив Любимушку на попечении девок — Ульяна уже старая стала, ей доверять дитя было боязно, — Любава надолго отлучалась из дому. Для таких выходов заставила Юрату приобрести красивый возок с кожаными подушками, чтобы удобней сидеть. Возок запрягался парой коней, а возчиком она всегда брала степенного старика, княжеского холопа, состоявшего при конюшнях: испросила у княгини Марьи разрешение.

У Любавы много приятельниц завелось во Владимире. Вскоре она знала, наверное, всех невест в городе, достойных составить пару ее сыновьям. Но — то ли никак не могла выбрать из тех, что уже имелись, то ли надеялась найти повыгоднее — пока она ни на что не решалась. Юрате тоже ничего не говорила, на его осторожные расспросы отвечала: когда будет о чем говорить, тогда скажу, а пока не мешай. Юрята был доволен тем, как жена управлялась с этим делом, и решил во всем на нее полагаться: сватовство, что ни говори, забота бабья, и Любава со всем справится лучше его.

Сыновьям они пока решили ничего не сообщать — за чем расстраивать ребят раньше времени. Юрата даже всякие разговоры про женитьбу прекратил, чтобы не проговориться случайно. Теперь, когда невесты должны были вот-вот найтись, Юрате было немного жаль сыновей: как-то у

них сложится? Он с грустью вспоминал былое время, когда Добрыня и Бориска были маленькими. Насколько ему было с ними проще и милей! Хорошо бы, если бы дети всю жизнь оставались при тебе и были всегда малышами. Конечно, если бы и ты не старился.

Юрята ничего не знал о том, что творится в душах у сыновей, да и неудивительно: оба они стали совсем взрослыми мужчинами. Бориска — стройный, гибкий, лицом похож на мать, такой же синеглазый и курносый. Усы уже густые... А Добрыня — тот и вовсе богатырь: огромный, широкий, с ясным взглядом и могучими руками. Как-то Юрята в шутку попробовал с ним побороться, а Добрыня так его сжал — дыхание перехватило. Испугался даже за отца. Не умеет еще как следует чувствовать свою силу. Вот и пойдй узнай, что у них на душе. Да и к чему это — выяснять? Оба — воины, походной жизнью испытанные, кровавого мяса войны отведавшие — до нежностей ли им?

А между тем у каждого из них на сердце лежал камень. Трудно сказать, кому было хуже. Может, Добрыне, который так и не смог побороть в себе неотвязную, как наваждение, и словно растущую с каждым днем любовь к дочери великого князя. Дав себе слово стараться никогда ее больше не видеть, он чуть ли не ежедневно это слово нарушал. И не всегда по своей вине! Наверное, маленькая колдунья почувствовала свою власть над этим великаном, который запросто мог посадить ее к себе на ладонь и носить на вытянутой руке, но в присутствии Верхуслavy становился таким смешным — красным и беспомощным.

Отрокиница Верхуслава уже начала превращаться в девушку, но пока — хоть и была просватана — часто вела себя по-детски, и осуждать ее за это никто не собирался.

Порой она играла с Добрыней: пряталась за окошком ли, за резными балясинами крыльца, подкарауливала и, когда он, не подозревая об этом, проходил мимо, тихонько, так, что самой было еле слышно, окликала: Добрыня! Он умел расслышать этот тихий зов, даже если в этот миг через двор, стуча копытами по утопанной земле, проезжали конные, — сразу останавливался как вкопанный. Озирался и вдруг видел ее, разглядывавшую свою жертву с невинной улыбкой. Начинала его расспрашивать: куда он идет, да откуда, да почему на охоту не поехал, да не жарко ли ему в кафтане, а напоследок обязательно спрашивала: почему он такой красный, особенно уши? И со смехом убегала, чтобы опять спрятаться и тайком следить, как он долго еще будет топтаться на месте, прежде чем неуверенно тро-

нуться дальше — часто в сторону, противоположную той, куда направлялся.

Что ее отдадут за князя Ростислава, сына Рюрика, в этом не было никакого сомнения: если сестра ее Всеслава досталась сыну черниговского князя, давнего противника Мономаховичей, то как мог великий князь отказать Рюрику и не породниться с отважным Ростиславом, который в свои юные годы успел так удачно повоевать с половцами, побил их множество и брал в плен половецких князей? Добрыня даже хотел, чтобы это произошло скорее — может, когда князь Ростислав увезет маленькую мучительницу, она забудется сама собой? И сколько еще осталось до того страшного дня, когда душа Добрынина разорвется на части, и до долгожданного дня, когда душа его начнет медленно заживать?

А что Бориска? Он все храбрился перед самим собой, пытался уверить себя в том, что сумел стать для возлюбленной Потворы кем-то вроде хозяина и, если захочет, легко отпустит ее на свободу, но только если захочет. Вышло же не так. Он понемногу, не заметив, привязался к ней и теперь, когда, кажется, Потворе надоел, понял, какое место в его жизни она стала занимать. Может, он и не надоел ей, но, будучи старше Бориски, она решила, что тайная любовь с красивым отроком долго продолжаться не может.

Потвора объявила Бориске, что собирается устроить свою жизнь и выходит замуж за достойного человека — своего соседа, тоже из купцов, овдовевшего во время зимнего мора и потерявшего двух или трех дочерей, что были у него с женой. Он давно уж ей приглянулся, сказала Потвора, а вот теперь сама судьба им на пути друг к другу убрала все препятствия. Ей, Потворе, уже сообщили, что купец собирается засылать к ней сватов. Она любит Бориску, но все же просит его больше не приходить. Вернее — прийти еще несколько раз, а потом — все. И Бориска прикидывал про себя, сколько это будет раз: то ли десять, то ли два. О том, чтобы самому жениться на Потворе, он даже не думал: этого ему не позволят, хотя он был вполне взрослый человек и повидавший виды ратник. Он знал, что рано или поздно потеряет свою «старушку», как он ее называл про себя, но чувствовал, что без нее жизнь опустеет. Никакая другая — из тех, что зазывно поглядывают на него, от боярских дочек до простых девок вроде Малявы — не сможет заменить Потвору.

Иногда Бориска в отчаянии думал: а что, если решиться и продлить ту связь, что была между ним и Потворой? Но каким образом? Он ничего не мог придумать, кроме одно-

го — встретить где-нибудь этого соседского купца, найти причину для ссоры и хладнокровно убить соперника. Но не возненавидит ли его после этого Потвора, она ведь все поймет, даже если убить купца без свидетелей, а потом — ведь может появиться новый купец со сватами. Их, купцов, немало нынче овдовело. Если рубить каждого, то подорвешь городскую торговлю, а потом — купцы часто сами неплохие ратники, ведь им порой приходится в дороге отбиваться от лихих людей, и кто знает, может, не Бориска убьет купца, а тот его. Тогда уж Потвора точно будет потеряна навсегда.

Вот так они оба — Бориска и Добрыня — молча переживали каждый свою беду. Всегда откровенные, они об этих тайнах ни слова не сказали друг другу: Добрыня и мысли не допускал, что Бориска может страдать по Верхуслану, а Бориска считал, что уж Добрыня-то не позволит какой-нибудь Потворе затащить себя в сети.

Между тем ребята не подозревали, что перемены в их жизни понемногу приближаются.

Любава была женщиной неглупой и расчетливой и решила подойти к поиску невест с той стороны, которая была бы для сыновей наиболее выгодна: во-первых, невесты должны быть богаты и знатны. Ну, а уж во-вторых, третьих и четвертых, можно будет выбирать и красивых, и добрых, и юных.

Дело это оказалось нелегким. Собственно, богатых девушек, принадлежащих к известным родам, было не так уж много. Но даже не это останавливало Любаву. Ей хотелось выбрать так, чтобы были и богатыми, и знатными, и красивыми — и все же невеста для Бориски в ее собственных, Любавиных, глазах выгодно отличалась бы от Добрыниной. Любаве казалось, что с таким расчетом она наилучшим образом исполнит свой долг по отношению к родному сыну — Бориске, при этом не сделав зла Добрыне — сыну приемному. Но попробуй подбери такую пару невест, да еще когда приходится спешить, ведь богатые и знатные — товар, который быстро раскупается.

Поэтому все шло не так быстро, как Любаве хотелось. Но она от задуманного отступать не собиралась: мало ли, что не получается сегодня — получится завтра, когда подрастут девчонки. Ведь они так быстро растут.

Пока Любава думала над устройством семейной жизни сыновей, Юрята не переставал мечтать, как пристроит их на хорошие места в жизни государственной. Он все больше убеждался: они способны на славные дела. Дай каждо-

му из них хоть сейчас в управление целый город — они справятся не хуже любого опытного боярина, отцы и деды которого сидели тиунами да посадниками испокон веку. Пора, пора Юрте замолвить за них слово перед великим князем. Но он все никак не решался. Лето стало входить в свою жаркую срединную пору, а Юрта со дня на день откладывал важный разговор.

Наверное, потому, что хорошо знал своего государя и в глубине души верил: тот, нуждаясь в верных слугах, не сможет не вспомнить про Юртиных сыновей. Ведь видит же великий князь, как постарел сам Юрта, ведь наверняка задумывается, что подручник не вечен и когда-то придется подыскивать ему замену. И Юрта оказался прав.

— Ты что насчет детишек своих думаешь? — спросил как-то Юрту Всеволод. Только что они обсуждали, надо ли в этом году тревожить болгар или пока попридержать войско, опасаясь удара половецкой орды.

— Да, по правде сказать, — замялся Юрта, — думаю, государь. Оба они ребята крепкие, могут и мечом постучать, и умом не обижены.

— Знаю, знаю, — сказал князь. — Сыновья у тебя добрые.

— Можно им, конечно, еще с дружиной походить, — задумчиво произнес Юрта. — Да только пользы тебе, государь, они могут больше принести.

— А почему ты за них не просишь?

— Государь, — смутился Юрта, — ты меня знаешь давно...

— Ну так и что же? Ты ведь — отец, тебе за них и хлопотать полагается.

— Ну вот, я и хлопочу.

— Эх ты, хлопотун, — грустно улыбаясь, сказал Всеволод. — Знаешь ведь сам, как меня просят. Одному то дай, другому это. Одного сюда поставь, другого туда. И ведь иной раз думаешь: отказать бы надо, а не отказываешь. Захар вон — скоро всю свою родню сюда переселит. Все под себя подгребет.

— Насчет Захара что я думаю — ты, государь, знаешь.

— Что с того? — спросил великий князь. — Что мне делать, если честных слуг сначала найди, а потом уговаривай. А Захарка, песий сын, знает, нюхом чует, когда мне человек надежный нужен. Тут ко мне и подкатывается.

— Я бы давно попросил, — сказал Юрта. — Да еще молодые они. Думал — рано.

— Молодые? Ты вспомни меня, вспомни себя. — Великий князь нахмурился. — И ты был молодой, и я был моложе. Состарятся, не бойся. Когда-то ведь им и учиться надо.

— Верно говоришь, княже, надо.

— У меня тоже сыновья растут, — сказал Всеволод и на мгновение запнулся. — Да, растут понемногу сыновья. Вырастают — не успею оглянуться. А ведь им тоже понадобятся верные люди. А ты сыновей прячешь.

— Нет, государь, не прячу. Прошу у тебя для них службы.

— Хорошо, ладно, — сказал князь. — Ну, в думе рядом с тобой им пока делать нечего.

— Да, нечего.

— Но послужить их попрошу. Дело им хочу поручить трудное. Пусть из Ростова привезут серебро, что у посадника скопилось. Да по записям проверят — все ли собрано да со всех ли? Мне самому всей волости не объехать. Да и негоже великому князю дань собирать — на это у меня должны быть доверенные люди. Дорога из Ростова опасная, пусть возьмут с собой дружины сколько нужно. Слышал я — на дорогах там пошаливают. Купцов грабили многожды. Жалуются торговые люди: целая шайка появилась, то ли бродники, то ли еще кто. Войско против них не пошлешь — уйдут в леса. А серебро ростовское им приманкой послужит. Так что сыновьям твоим задача хитрая — и серебро в целости доставить, и разбойников этих, если нападут на них, уничтожить. Тут не только мечом придется поработать, но и умом раскинуть. Как думаешь — справятся твои ребята?

— Справятся, государь.

— Ну, добро. Завтра поутру пришлешь их ко мне. Я им все и расскажу.

Всеволод улыбнулся и поглядел на смущенно-радостного Юрту.

ГЛАВА 30

Задача, которую поручил ребятам великий князь, была сложнее, чем могло показаться с первого взгляда. Ростовский посадник боярин Роман Бутович счел прибытие отряда, возглавляемого столь юными отроками, едва ли не оскорблением своей чести, хотя прямо заявлять об этом опасался. Будучи младшим братом покойного Матвея Бутовича, воевавшего когда-то вместе с мятежными Ярополком и Мстиславом против юного, только что ставшего князем владимирским Всеволода, он остро ощущал зыбкость своего положения, даже несмотря на то, что сам великий князь утвердил его на этой должности. Всячески стараясь угодить Всеволоду Юрьевичу, посадник в то же время не хо-

тел выглядеть чересчур усердствующим в глазах ростовских именитых мужей, среди которых многие никак не могли позабыть своего поражения на Юрьевском поле. То, что за данью приезжал сам великий князь, придавало посаднику больше веса у ростовского боярства. К тому же у него была возможность лишний раз выразить великому князю свою преданность и готовность служить и далее. Прибытие же небольшого отряда из Владимира Роман Бутович склонен был расценивать как понижение значения своего посадничества. И даже пытался поначалу показать свой нрав и дать непрошеным гостям надлежащий отпор: пусть, мол, знают, куда приехали.

Прибывшие вели себя весьма нагло. Двое молодых боярских сыновей, особенно тот, что пониже ростом, по имени Борис, не только уязвили самолюбие посадника тем, что приказали ему собрать и приготовить все, что положено, побыстрее, но и потребовали подробной описи — откуда что взято, нет ли недонимок или неправильного расчета.

С тяжелым сердцем посадник выдал им все, что причиталось с Ростова великому князю — почти полторы тысячи гривен серебра в слитках, да еще увесистый ларец с драгоценными изделиями ростовских златокузнецов. Большое богатство! Всегда передача великому князю ежегодной городской подати отличалась особой торжественностью — под стать такому богатству. А нынче — прислал государь небольшой отряд да двух молокососов во главе: недосуг, мол, такими мелочами заниматься. Может, и вправду стал слишком богат великий князь, и для него этот драгоценный груз серебра и золота — мелочь? Или надо так понимать, что чем-то Роман Бутович не угодил и с него достаточно будет лишь беспрекословно подчиниться юным слугам великого князя? Сами они ничего посаднику объяснить не пожелали, заявив только, что такова воля государя, а сам он прибудет в Ростов, когда сочтет нужным.

Дружины для сопровождения драгоценного груза пришло с отроками мало — десятка два человек. Посадник предложил было этому Борису взять людей из ростовского полка, но Борис будто даже обиделся на такое предложение, чем поверг Романа Бутовича в еще более тяжкие раздумья. Все это сильно походило на княжескую немилость — и лично к посаднику, и ко всему городу Ростову. Нужно было бы самому отправиться во Владимир и попытаться узнать причину такой немилости. Но Роман Бутович представил, что ему, пожилому человеку, придется в пути находиться под началом этого Бориса, и раздумал ехать. Ре-

шил отправиться позднее, выждав приличное время. С тем и отпустил отряд, попросив лишь, кланяться великому князю, что и было посаднику снисходительно обещано.

С посадником объяснялся в основном Борис. Добрыня же, оказавшись в городе, где родился и где была похоронена его мать, испытывал такое волнение, что цель приезда сюда его мало заботила. Ему страшно хотелось увидеть родительский дом, если он еще сохранился, может, увидеть кого-то из знакомых. Его-то наверняка никто не узнает.

За то время, что Добрыня не был здесь, город почти не изменился — все те же золоченые купола горели на солнце и так же, как и прежде, отражались в спокойном широком озере. Добрыня думал, что мог и сейчас жить здесь, в своем доме. Не мог только придумать, кем бы он сейчас был. В лучшем случае — мелким торговцем или, может, пошел в ученики к кузнецу: в детстве любил наблюдать, как бьют молотками по красному горячему железу. Так, может, стоит благодарить судьбу, что вырвала его безжалостной рукой из родного дома и бросила в кипящий котел жизни? Теперь он, Добрыня, служит самому великому князю и знает, что впереди его ждут большие и славные дела. Для этих больших дел он и был рожден. Но, значит, и отец его погиб, и мамка умерла — тоже для этого?

Добрыня, предоставив Бориске разговаривать с посадником, все же съездил в тот конец, где жил раньше. Родной дом он отыскал легко. Но дом этот, в детстве казавшийся огромным, поразил его убогим и бедным видом. На лавке возле покосившихся ворот сидел чужой тощий мужик, тупо глядевший перед собой и не обративший на Добрыню никакого внимания. Две девушки, проходившие мимо, наоборот — уставились на красивого всадника с таким любопытством, что даже позабыли о смущении, а всадник вдруг снял шапку и вытер ею глаза — неужели заплакал? А потом резко повернул коня и, горбясь в седле, тяжело поскакал прочь.

Могилу мамки Добрыня отыскал не сразу. Но детская память подсказала ему, оглядываясь по сторонам, он увидел почти незаметный, осевший и заросший травой холмик с небольшим камнем в изножье. Странно, но именно здесь, рядом с мамкой, Добрыня никак не мог вспомнить лицо матери, словно что-то ему мешало вызвать в памяти милый облик. Словно что-то подсказывало: твоя мамка не здесь, ищи ее всегда в своем сердце, а больше нигде не найдешь. Добрыня постоял над могилкой, пошептал немного, поговорил с мамкой, но не дождался от нее ответа,

лишь почувствовал, как пусто стало на душе. Это уже был не его погост, не его город, не его жизнь. Отсюда можно было уходить, и он ушел.

Вернувшись на подворье ростовского посадника и снова увидев важного Бориску, Добрыня похвалил себя, что догадался не взять брата с собой. Что бы он показал ему? Нищету, из которой вышел? Не нужно, чтобы Бориска знал об этой нищете. Добрыня захотелось домой, во Владимир. Он деятельно стал помогать Бориске разбираться с посадником — проверять по спискам, сколько сдано серебра, пересчитывать и еще раз пересчитывать тяжелые гривны, укладывая их в кожаные мешки. Завтра на рассвете тронутся в путь. Бориска так был увлечен препирательствами с посадником, что даже не полюбопытствовал, куда это отлучался Добрыня. Суета, связанная со сборами, отвлекла Добрыню от грустных мыслей. Осталось только ощущение, что он слишком рано вернулся в этот город и что когда-нибудь он сюда вернется по-другому. Может, станет хозяином этого города. А иначе, пожалуй, не стоит сюда возвращаться.

Из города выехали, когда было еще темно. В окружении своих дружинников Добрыня вновь почувствовал силу и уверенность в себе. Теперь им предстояло ждать нападения, о чем предупреждал их с Борисом великий князь, давая наставления перед дорогой. Наверняка у шайки разбойников, которая хозяйничает в окрестностях Ростова, есть в городе свои люди. И, узнав о драгоценном грузе, шайка непременно вздумает напасть на отряд, особенно когда узнает, что охраны немного — всего два десятка всадников. Для этого-то и нужно было основную часть отряда укрыть в лесу и, на обратном пути соединившись с ней, постараться придумать какую-нибудь хитрость, чтобы выманить на себя разбойников, не подозревающих о действительной численности охраны.

Хитрость эта, впрочем, была уже придумана. И подсказал ее Добрыня и Бориске сам великий князь. Когда-то, очень давно, рассказывал он, в Греции произошел один случай, весьма назидательный. Войско осаждало мощную крепость и никак не могло ее взять. Тогда осаждавшие сделали из дерева огромного коня, внутрь которого посадили самых храбрых воинов. И преподнесли этого коня защитникам крепости, как бы в знак восхищения их мужеством. Коня затащили внутрь крепости, спрятанные воины вышли наружу и перебили всех защитников. Бориска сразу подхватил мысль великого князя и сказал, что коня пустого им сделать не удастся, да и по лесной дороге его не

провезешь, а вот спрятать в крытых возах несколько десятков дружинников очень даже можно. Великий князь выдумку Борискину одобрил и намекнул, что от того, как юноши справятся с поручением, может зависеть их дальнейшая судьба. Добрыня же просто пришел в восторг от предстоящего дела. Наконец-то! Это не то что мечом размахивать, гоняясь по степи за удирающими булгарами. Это будет настоящий подвиг, если им с Бориской удастся избавить всех от шайки злодеев. В душе Добрыни пробуждались какие-то смутные надежды, в которых он сам себе боялся признаваться.

На рассвете они подъехали к месту, где в лесу были спрятаны телеги и находившаяся в них дружина. Все шло, как и было условлено. Старший при засаде дружинник Твердила увидел знак, поданный ему Бориской, и через небольшое время телеги, крытые наподобие половецких — шатрами, стали одна за другой выезжать на дорогу. Повозки производили впечатление груженных разным добром, и это впечатление не было обманчивым: в каждой из них сидело по пять человек, вооруженных луками и мечами, с большим запасом сулиц; снаружи никого не видно. Повозные — тоже дружинники, под простой холщовой рубахой у каждого надето кольчуга. Все было продумано. В молчании отряд Бориски и Добрыни поравнялся с обозом, рассредоточился вдоль него. Телеги с грузом серебра и золота, прикрытого сеном, были поставлены в середину обоза. Добрыня ехал сзади, чтобы видеть все. Когда стало совсем светло, Бориска присоединился к нему.

— Ну что? — спросил он вполголоса. — Хуже мы, что ли, тех греков?

— Князю скажи спасибо, — тихо ответил Добрыня.

— Я тебе, так уж и быть, скажу, — наклонился поближе Бориска. — Я, между прочим, раньше князя это придумал. Просто не успел первый сказать. А потом уж как-то неловко стало признаваться.

Добрыня, однако, не расположен был шутить. Вдохнул, покачал головой.

— Смотри лучше по сторонам.

Тележные оси были густо смазаны салом — чтобы не скрипели. Но все равно движущийся обоз производил достаточно шума и заглушал нечаянный хруст сучка под ногой. Для того чтобы услышать крадущихся тайком, нужно было напряженно вслушиваться в звуки окружавшего леса.

А утренний лес понемногу наполнялся звуками и шумами вовсе не тревожными. Запели птицы, послышался дело-

витый стук дятла. Лесная дорога, вся в солнечных стрелах, пробивавшихся сквозь листву, не выглядела опасной. Можно было посочувствовать тем, кто ехал в закрытых повозках и не видел всей прелести этого погожего летнего утра.

— А ты зачем в город ездил? — спросил Бориска.

Добрыня даже вздрогнул. Несколько мгновений раздумывал: говорить или не говорить? Сейчас почему-то особенно не хотелось врать Бориске или уклоняться от ответа. Решил сказать.

— Мамка у меня там похоронена. К ней ходил.

Бориска, кажется, сам не рад был, что полез с расспросами. Давно еще и Юрята и Любава запретили ему говорить с Добрыней о его настоящих родителях. Неловко получилось.

Дальше ехали молча. Прислушивались, приглядывались. Нет — лес был по-прежнему тих и спокоен. Никто пока не собирався на них нападать.

— Ты не сердись на меня, Добрыня, — неожиданно виновато сказал Бориска. — Я ведь не знал.

Добрыня улыбнулся, хотя Бориске показалось, что на глазах у него блеснули слезы.

— Ничего, брат, — сказал Добрыня.

Если бы та шайка разбойников напала на них именно сейчас, то она выбрала бы самое неудачное для этого время. Добрыня был готов сразиться хоть с целым полком. Он даже мечтал, чтобы разбойников оказалось как можно больше, потому что броситься в самую гущу и рубить наотмашь — это было самое лучшее, чем он мог выразить свою любовь к брату. Добрыня знал, как бывает сладко в упоении битвы хоть на краткий миг вспоминать о том, что бьешься, защищая близких тебе людей.

Но все было тихо, и скоро это пьянящее чувство ушло, сменившись прежним состоянием спокойной готовности.

Солнце между тем поднялось уже совсем высоко, начало изрядно припекать. Всадников клонило в сон — в эту ночь они почти не спали. Из-под тележных укрытий кое-кто стал проситься по нужде. Бориска злился, шепотом уговаривал спрятанных дружинников потерпеть, как терпели, должно быть, когда-то древние греки, но уже сам понимал, что остановку делать придется. И может, сейчас ее даже лучше сделать, пока не видно никакой опасности. Стали искать место, где расположить повозки так, чтобы их не разглядели со стороны. Ничего подходящего не попадалось: по обеим сторонам дороги стоял густой лес, и отъехать вбок, чтобы сиряться, было невозможно. Бори-

ска велел остановиться. Торопил самых нетерпеливых. Если кто-нибудь наблюдает за ними из леса, то пропала вся их греческая хитрость.

— Хорошо было грекам, они небось до ветру не ходили, не то что наши остолопы, — бурчал Бориска.

Остановка получилась недолгой, вскоре тронулись дальше. Послали вперед двух дозорных. Через некоторое время те вернулись, ничего подозрительного не обнаружив.

— Знаешь, Бориска, что я думаю? — спросил Добрыня. И сам ответил: — Думаю, что мы спокойно до дому доедем.

— И мне так кажется, — согласился Бориска.

Ехать становилось все скучнее. Всякая военная хитрость лишь тогда может считаться таковой, когда она удастся. Взять тех же греков... Если бы осажденные в крепости отказались брать дареного коня, а пихнули его куда-нибудь в овраг — вот смеху-то было бы... В самом смешном положении оказывается тот, кто сам себя перехитрил. Нынешняя, устроенная по совету великого князя уловка уже представлялась Бориске ненужной и глупой. Будто князь нарочно решил над ними посмеяться, а они, дураки, поверили. Теперь дружина проходу не даст! Каждый, кто сейчас в телеге парится, станет зубоскалить, мстя своим юным начальникам за вынужденные походные неудобства. Не будешь ведь оправдываться, что приказ самого князя Всеволода исполняли.

Бориска показалось, что Твердила, сидевший на месте повозного, ухмыльнулся. Ну вот — начинается. Хоть сам беги в лес, ищи тех разбойников да приглашай княжескую казну пограбить. Бориска подумал, что всем дружинникам из отряда, которых они с Добрыней так придиричиво отбирали, должно быть смешно. В самом деле, дружинники эти — народ бывалый, по возрасту старше обоих своих начальников, ходили на войну и с воеводами, и с великим князем, а теперь их, словно баранов, покидали на телеги, прикрыли сверху тряпками да шкурами и велели сидеть тихо, ждать, когда злодеи прибегут. То-то, поди, насмешничают сейчас да ругаются, хоть и шепотом, потому что разговаривать громко им запрещено.

Твердила еще раз поглядел на Бориску, ехавшего рядом и пытавшегося сохранить невозмутимый вид, потом оглянулся на свой возок и теперь уже открыто издевательски улыбнулся, покачив головой.

Эх, как они с Добрыней радовались, берясь за это дело! А теперь — сиди в седле, лови недовольные, презрительные взгляды. Бориска сжал зубы до скрипа. Надо было что-то предпринять. Но что? Ругаться с дружинниками, объяс-

нять? Еще смешнее выглядеть будешь. Бориска придержал коня, подождал, пока Добрыня поравняется с ним. Надо посоветоваться.

— Над нами уж смеются, — дрожащим от обиды голосом сказал Бориска. — Зря мы это затеяли. Открывать надо возы, пускай так едут.

— Кто это смеется? — спросил Добрыня. Спросил так спокойно и даже чуть властно, что Бориске сразу полегчало.

— Да все они. Твердила зубы скалит, — сказал Бориска, чувствуя, как мстительная радость загорается внутри слабым огоньком. Вот сейчас все будет в порядке. Он посмотрел на Добрыню, который чуть сдвинул брови и вроде бы стал еще больше. Как под ним конь-то не падает?

— Поеду посмотрю, как там, — небрежно проговорил Добрыня. Тронул поводья, поскакал вдоль обоза — туда, где один из дружинников, Сысой, о чем-то оживленно разговаривал с Твердилой. Разговор у них был веселый и громкий, им явно хотелось, чтобы их все слышали. Добрыня подъехал, как раз когда с повозки, которой правил Твердила, раздался приглушенный шатром смех нескольких человек.

— Кому тут весело? — приближаясь, спросил Добрыня таким безразличным голосом, что смех сразу оборвался. Сысой заторопился вперед, в голову обоза, где и должно было быть его место. Твердила еще пытался сохранить улыбку на лице, но под прищуренным взглядом Добрыни улыбка эта скисла.

Таким Добрыню Твердила еще не видел. Был раньше отрок как отрок, здоровый, правда, как буйвол, но вполне добродушный. Можно было и пошутить над ним, и похвалить его снисходительно — мальчишка все принимал как должное. Теперь Твердила видел перед собой грозную мощь, способную раздавить одним движением любого, кто станет поперек пути. Опытный ратник, всегда кичившийся своим бесстрашием, Твердила под взглядом этих беспощадных глаз понял себе истинную цену, как понимает ее заяц, увлекшийся радостным бегом и вдруг натолкнувшийся на медведя.

— Если еще услышу веселье, — так же не повышая голоса, произнес Добрыня, — сильно огорчу.

Казалось, даже обозные кони старались ступать потише. Добрыня остановился и подождал, пока с ним поравняется последняя повозка, рядом с которой ехал брат. Двинулись вместе. По выражению Борискиного лица было видно — доволен.

— А знаешь, Добрыня, — сказал он, — мне мать говорила, что женить нас собирается. Может, нам и вправду пора?

— Может, и пора, — ответил Добрыня, сразу помрачнев.

Опять что-то не так сказал, расстроился Бориска. Наверное, у брата зазноба есть, вот он и переживает. Может, и замужняя. Или не любит его, Добрыню. Хотя — как такого не любить?

— Ты не печалься, брат. — Бориска притронулся к Добрыниной руке. — Отца попроси, он тебе любую засватает, хоть боярскую дочку, хоть половецкую княжну. Видел ведь, какие они, половчанки-то, бывают? — Бориска закатил глаза и покачался в седле, сраженный красотой воображаемой половецкой княжны. — Глаза у них — как звезды ночью. — Бориска подумал, какие еще достоинства половчанок предъявить Добрыне, но, как назло, кроме глаз раскосых, ничего не мог вспомнить, потому что больше ничего у степных красавиц и не видал. Помолчал и добавил: — И по-нашему они почти не понимают.

Добрыня отмахнулся:

— Нет уж. Таких красавиц нам не надо.

— Ну и напрасно. Жена должна быть красивая, — убежденно сказал Бориска. — А то гляди — женят на приданом да на квашне какой-нибудь. Вот и любуйся на нее всю жизнь.

— А ты от нее на войну чаще бегай.

— На войну... А возвращаться-то придется, — размышлял Бориска. — Вот тыходишь в дом: встречай, жена! А она сидит на лавке и встать не может: пф, пф. — Он изобразил лицом некрасивую толстую бабу. Получилось похоже.

— Смотри по сторонам лучше, — строго сказал Добрыня. Ему казалось неловко разговаривать после того, как он запретил это другим. Но Бориске молчать не хотелось. Он просто перешел на шепот.

— Добрыня, — прошептал он, наклоняясь к брату. — А ты уже с бабой пробовал?

— Что — пробовал? — таким же шепотом отозвался Добрыня.

— Ну, ясно что, — тихо засмеялся Бориска. — Эх ты. Ну, ладно, брат. Вот домой вернемся, пойдем в баню — я Мавру к тебе пошлю.

Теперь Добрыня не выглядел таким грозным, как некоторое время назад.

— Зачем?

— Да ты не бойся. Она тебя научит. Она знает, какая сладкая?

Добрыня подумал, что надо рассердиться, и неловкость, возникшая от Борискиного шепота, пройдет. Но рассердиться не удавалось. Почему-то баня встала перед глазами — лава, высохший полук, каменка, крохотное окошко в стене. Снаружи кто-то вкрадчиво стучит в дверь. Сейчас Малява войдет.

Добрыня вскинулся: от головы обоза послышался дробный стук копыт. Быстро приближался дозорный, тот самый Сысой, любитель посмеяться. Лицо взволнованное. Подъехал. Замаялся, видно, не знает, как обратиться. Добрыня вырубил его:

— Что там? — Он снова был грозным начальником, не меньше воеводы.

— Там, впереди, — Сысой обернулся, указал вперед, — лоси пробежали. Спутнули их. Кто-то есть в лесу.

— Может, зверя испугались? — спросил Бориска, вроде бы недовольный, что прервался такой занимательный разговор.

— Нет, боярин. Не зверь их напугал, — замотал головой дружинник. — Я лосей-то знаю. От зверя они так бежать не станут. Они так только от людей бегут. Кто-то в лесу их стронул с места.

Ну вот, начинается, подумал Добрыня. Бориске тоже расхотелось разговаривать, он подобрался телом, потянул лук из сумки, притороченной к седлу. Отворил тулу со стрелами.

— Значит, так, — сказал Добрыня. — Сысой! Скачи вперед. Сюда посылай пятерых, больше не надо. Делаем, как было уговорено. Да! На возах всем скажите, чтоб готовы были.

— Ага. — Сысой ускакал.

— Бориска! Это место помнишь? Мосток-то? — спросил Добрыня.

— Помню. Ну, брат, твоя правда оказалась.

Они приближались к тому месту, которое позавчера Добрыня определил как самое удобное для нападения со стороны на обоз. Лес здесь немного отступал от дороги. Сама дорога шла под уклон, полого подходя к речке. Мост был узкий и на вид хлипкий, так что груженный обоз неминуемо должен был остановиться перед ним. И если бы кому в голову пришло этот обоз захватить, он бы обязательно ударил сверху вниз — с бугра, закрывавшего обзор справа. Кинулся вниз, чтоб напугать коней, которые станут разворачивать возы, путаясь и мешая обороняться. Даже не имея численного превосходства над обороняющимися обоз, их можно расстреливать с бугра, бить копьями с набега.

На такой случай Добрыня придумал, что делать. Как только нападение произойдет, всей охране, не ввязываясь в драку, разъезжаться — одна часть убегает вперед, другая часть — назад. И тут же, позволяя нападающим подойти вплотную к возам, охрана заворачивает и начинает их охватывать кольцом, отрезая путь к бегству. Потому что те непременно побегут, увидев, что в возах вооруженные ратники. Главное — напугать разбойников неожиданностью, заставить поверить, что они попались в ловушку. Ну а потом — догонять и руби.

— Добрыня! — возбужденным шепотом прокричал Бориска. — За бугром есть кто-то. Голова высунулась!

— Тихо, тихо, — прошептал Добрыня. — Пусть думают, что мы их не видим.

Обоз медленно, со скрипом, спускался к реке.

Бориска мельком взглянул на брата. Ну конечно, опять улыбается. Глаза Добрыни сияли, как на празднике.

Наверное, кто-то из охраны в голове обоза тоже заметил изготовившихся злодеев. Уж слишком явно дружинники не глядели в ту сторону, откуда сейчас должны были на них напасть.

И тут один из разбойников — может, не выдержал, а может, просто по неосторожности — выпустил первую стрелу. Сразу же на бугре появились и бросились вниз оружие люди. Головной отряд охраны дрогнул, подался к реке. Дружинник, выскочивший сторяча на мост, обвалил его, рухнув в воду, — опоры моста, конечно, были подрублены.

— Заворачиваем, заворачиваем! — закричал Добрыня, успев заметить, что для лесных бродников, живущих под открытым небом и проводящих ночи у костров, нападавшие были одеты слишком хорошо.

Путь к обозу был открыт. Разбойники — а было их не меньше трех десятков — побежали за струсившим головным отрядом, который уже скрылся из виду, оглябая бугор слева. Добрыня, Бориска и с ними еще пятеро дружинников кинулись вверх по дороге, чтобы выйти на бугор справа.

На бугре, ближе к лесу, стояло несколько телег. Возле них копошились люди. Один, заметив ратников, закричал, замахал руками и побежал туда, куда бросилось только что его разбойное войско, — предупредить, что охрана зашла им в тыл. Но не успел добежать до верха бугра — Бориска оказался проворнее. В несколько прыжков нагнал бегущего разбойника и с остервенением вбил в него стрелу. Потом, уже упавшего, пригвоздил к земле.

От обоза послышался многоголосый рев. Это те дружинники, что были на телегах, вступили в бой. Со стороны реки на бугор выехал головной отряд. Пора, решил Добрыня.

— Бориска! — крикнул он. — Телеги держи! Возьми вот его. — Он ткнул пальцем в подъехавшего Сысоя. — Остальные — за мной!

Конный отряд посыпался вниз. Бориска оглянулся на разбойничьи телеги. Возле них уже почти никого не было видно. Наверное, дунули в лес. Однако кто-то еще пытался заворачивать коней, не желая оставлять добычу неприятелю. Бориска бросил лук, выхватил саблю и поскакал к разбойнику, который держался за оглоблю, не догадываясь бросить неповоротливую телегу и спастись. Огляделся. Увидел еще одного. Тот шарил руками в тележном сене, слепо глядя перед собой. Когда Бориска приблизился, разбойник уже вытаскивал длинную рогатину с железным концом, и лицо его оживилось надеждой. Но приготовиться для удара он не успел — Бориска был рядом. Руки, державшие рогатину, окрасились кровью. Тело разбойника сползло с телеги.

Закричал Сысой. Он вертелся в седле, пытаясь достать что-то у себя за спиной. В спине его, поближе к плечу, сидела стрела. Откуда ударили? — подумал Бориска. И тут же увидел. То, что он впопыхах принял за мешок, стоявший на телеге, оказалось бабой. Невесть откуда она вытащила новую стрелу и теперь, даже будто не торопясь, накладывала ее, злобными глазами глядя то на дергавшегося Сысоя, то на Бориску. Решила, что Бориска опаснее, и спокойно, по-мужски, натянула тетиву, прицеливаясь. Бориска тут же вспомнил, что щит его остался в телеге. Он мгновенно нырнул с коня вниз головой, едва не напоровшись на свою саблю. Оказавшись на земле, услышал, как зарыдал от боли его конь и грязно заругалась баба. Нельзя было ей давать времени, чтобы она достала стрелу из-под своего подола. Бориска метнулся под телегу, стараясь не выпустить саблю из руки — и выскочил перед бабой, когда она прилаживала еще одну стрелу. Увидев Бориску, затропилась и никак не могла пяткой стрелы попасть на тетиву. Поняла: не успеет — и вскинула лук, желая им защититься. Нет, подумал Бориска, некрасивых нам не надо. Теперь уже не ненавистью, а бабьим страхом были полны ее маленькие глазки. Он взмахнул рукой. Со звоном лопнула тетива, баба, смертельно раненная, забилась, выбросив наружу толстую белую ногу, — и затихла.

Больше никого из разбойников у телег не было. Сысой, так и не сумев достать свою стрелу, склонился на конскую

гриву с бессильно повисшей рукой и туманно глядел на Бориску, словно не узнавая его. Бориска бросился к своему коню. Конь испуганно прынул, заржал, но не убежал. С облегчением Бориска увидел, что стрела хоть и вошла глубоко, но скользнула под кожей. Конец стрелы торчал возле холки. Обломив наконечник, Бориска рывком выдернул гладкое древко из раны. Конь вздрогнул, но хозяин уже влезал на него, и он, словно понимая, чего от него хотят, сам пошел туда, откуда были слышны звуки невидимого боя.

Бой уже затихал. Разбойное войско, окруженное со всех сторон, почти все осталось лежать на земле. Лишь несколько человек, размахивая топорами, бросались на наставленные копы, но и они один за другим падали под ударами стрел или метко брошенных сулиц.

Когда Бориска подъехал, возле обоза остался только один размахивавший топором разбойник. Он все никак не хотел уняться, хотя ему со всех сторон кричали, чтобы он бросил топор и сдавался. Зеленый, хорошего сукна кафтан его метался перед возами: разбойник искал пути к отступлению, но найти их не мог. Наконец он завизжал и метнул топор в ближнего к нему дружинника, успевшего закрыться щитом. Топор со стуком отскочил, и в следующий миг тот, в зеленом кафтане, уже оседал на землю, хватаясь руками за торчавшие из него сулицы.

Бориска взглядом отыскал Добрыню. Брат, спешившись, вязал кого-то, лежавшего вниз лицом на траве. Заметив Бориску, кивнул на связываемого:

— Вот — главный у них, наверное, был. Уйти хотел. — Добрыня ласково похлопал лежавшего широкой ладонью по спине. — А я ему говорю: куда это ты собрался? Полежи, милый. Ну, как там? — Добрыня глянул на бугор.

— Сысоя ранили. Сысоею помочь надо. Двоих я порешил, троих то есть, — подумав, добавил Бориска.

Добрыня закончил вязать пленного. Он снова был старшим в своем войске, из равного всем бойца став начальником. Сел на коня, велел оттащить трупы разбойников дальше от дороги. Приказал привести телеги разбойничьи.

Подошел растерянный Твердила. Он вел Сысоеву лошадь, одной рукой поддерживая Сысоя в седле. Стрела покачивалась у того над склоненным плечом.

— Видишь, какое дело, боярин. Кончается Сысойка.

К ним подбежали, помогли снять раненого с седла. Потрогали стрелу.

— Нет, не вытащить. Глубоко засела.

— Потянуть если — растревожишь там все. Кровью изойдет.

Сысой вдруг засучил ногами, задергал головой, пальцы стали рвать траву. Левая рука лежала безжизненно. Его держало несколько человек, но он так же внезапно, как и начал биться, затих. Твердила посмотрел на Добрыню.

— Все. Спаси, Господи, раба твоего Сысой. — Он перекинулся, все за ним.

Оружие нападавших собрали, трупы отволокли к реке. Пора было двигаться дальше. Пленного посадили на свою телегу. Бориска рассмотрел его повнимательней. Это был пожилой уже человек, седой, грузный, с красным лицом, одна половина которого так оплыла, что глаз совсем закрылся.

Нашли неподалеку брод. Тронулись. Бориска пожаловался Добрыне, что коня стрелой ранило.

— Куда? Покажи.

— Вот. Под кожу зашло. Боюсь, загноится плечо у него. Добрыня прищурился.

— Погоди-ка.

Сошел с коня, передал поводья Бориске. Шагнул в траву с дороги, что-то высматривая под ногами. Нашел, сорвал, протянул Бориске.

— Вот, на-ко. Пожуй и на рану ему выплюнь. Не загноится.

— А это что ты сорвал?

— Травка такая. Очень полезная. Да ты жуй, только не съешь, смотри.

Бориска, морщась — вкус был неприятный, — прожевал несколько листиков, свернув их сначала в трубочку. Выплюнул зеленую кашицу на ладонь. Приложил комочек к ране. Конь дернул плечом.

— Что это ты про травку вспомнил? — спросил Бориска.

— Не знаю. Вспомнил. Когда-то мне про нее рассказывали.

Теперь ехали не таясь. Дружинники сидели на телегах открыто, оживленно переговаривались. Намолчались за день. И хотя Бориска не мог разобрать, о чем они говорят, он знал, что обсуждают его и Добрыню, и обсуждают одобрительно. Да, теперь не стыдно было во Владимир возвращаться.

— Знаешь, брат, — сказал Бориска. — А ведь там, на телегах-то, баба сидела. Сысой она убила.

Но Добрыня почему-то не захотел слушать про бабу.

— Погоди-ка, — сказал он и подбехал к телеге, на которой находился связанный пленник. Нагнувшись с седла, о

чем-то спросил его. Вроде бы они перекинулись несколькими словами — Бориске не было слышно о чем. Он только увидел, что пленник вдруг выгнулся, словно хотел отпрянуть от Добрыни, сунувшегося к нему. Но веревки не пустили, и он тяжело повалился на бок. Добрыня все смотрел на него, ехал рядом. Потом покачал головой и остановился, поджидая Бориску.

— А ведь я узнал его, Бориска, — задумчиво сказал Добрыня. — Сначала-то не узнал, а потом как про травку вспомнил, так и его сразу вспомнил. Зовут его Ярыга Ондрей. Соседом нашим был.

Бориска удивился: надо же. Но спрашивать дальше не стал. Ждал, что Добрыня сам расскажет.

— Это он, собака, сыновей своих, дворню свою вооружил — и по лесам их водит. А днем в городе на торгу вынюхивает: кто куда едет да что везет. Все думают — шайка бродячая. А знаешь, — удивленно сказал Добрыня, — это из-за него мы с дедушкой из Ростова уехали.

— С твоим дедушкой?

— Да. Из-за него уехали, дедушка говорил. Может, и не из-за него только, но и он постарался. Я маленький был, а дедушка мне тогда про него рассказывал. — Добрыня неожиданно рассмеялся и на вопросительный Борискин взгляд ответил: — Это я подумал просто. Если бы тогда не уехали мы из Ростова, то я сейчас, может, у него, — Добрыня указал на пленного, — в шайке был. А что? Валялся бы сейчас возле речки, как те.

И тут Добрыня нахмурился и замолчал. Потом сказал твердо:

— Нет. Никогда бы я у него в шайке не очутился. Никогда.

И больше в этот день Добрыня не произнес ни слова. Когда остановились на ночлег, поел быстро, велел выставить сторожу и лег, завернувшись в шкуру. Заснул.

На следующий день миновали Юрьев. Не стали в город заходить: все-таки груз ценный везли, да и домой торопились. А назавтра к полудню уже можно было разглядеть вдали золотой огонек на куполе строящегося Успенского собора. Недавно великий князь велел начать позолоту его, чтобы строительство приобрело более праздничный вид. Дом был совсем близко.

Еще через некоторое время стали слышны колокола, звонившие во Владимире.

— Не нас ли это встречают? — удивился Бориска.

Добрыня велел двигаться быстрее. Но дружинников не нужно было подгонять. Они и так торопили коней — всем хотелось скорее добраться до дому, похвастаться военной хитростью, о которой теперь пойдут рассказы по всей земле. Завидовать будут.

— Праздник какой, что ли? — все спрашивал Бориска. Ему отвечали, что праздника никакого нет.

К городским воротам отряд подъехал еще засветло. Воротные сторожа, узнавая своих, приветственно махали шапками. Поравнявшись со стражей, Добрыня спросил, что за звон был в городе.

— Праздник большой у князя, — охотно ответили ему. — Князь Всеволод Юрьевич дочку замуж выдает. Сваты нынче прибыли. А завтра, говорили, повезут ее к жениху.

Добрыня почувствовал комок в горле. Он почти душил его, этот знакомый горький комок. Но вдруг очень быстро начал таять, таять. Это обрадовало Добрыню и опечалило — теперь он знал, что прощается с самим собой — таким, каким он был в детстве. Не дожидаясь, пока комок в горле растает окончательно, Добрыня кивнул сторожам:

— Это хорошо. Свадьба — дело хорошее.

И поехал в город.

ГЛАВА 31

Мудрость, благочестие, искусство красноречия и многие знания — все эти качества хороши в любом человеке, но если ими обладает государь, то ценность этих качеств неизмеримо возрастает. Благодатным дождем проливаются на подданных милости, украшается и процветает земля. Если же государь при этом тверд волей, крепок в ратном деле, умеет защитить свою землю от врага — то кто может пожелать себе лучшего государя?

Сказитель, воспевая Владимира Мономаха, великого князя Киевского, жалел, что не вечен был Мономах, правил бы он тогда бесконечно, никем не сменяемый, на радость людям и всей Русской земле. Когда умирает князь — сиротеет земля, и тот, кому она достается, порой уничтожает все хорошее, что было создано предшественником, и людям приходится лишь с горечью вспоминать о мудрости своего государя.

Уж как славен был князь галицкий Ярослав, как был мудр и дальновиден, как возвеличил и обогатил землю свою и свой народ. Но самого главного — передать эту землю в надежные руки — не сумел. И тем положил нача-

ло ужасным бедствиям, охватившим Галицкую землю после его смерти. Да, прожил Осьмомысл правильную жизнь, но исполнил ли он долг свой, выполнил ли предназначение свое? Что толку спрашивать — сам он уже не ответит на эти вопросы, а те, кого он оставил после себя, слишком озабочены различными напастями и бедами, чтобы в славном прошлом искать корни этих бед. Помянут покойного государя добрым словом — и хорошо.

Умевший управляться с огромной Галицкой волостью, Осьмомысл не смог так же мудро управиться со своими семейными делами. Он был женат, но любил другую женщину, по имени Анастасия. Семейными неурядицами раздражал всех, и дело дошло до мятежа, закончившегося сожжением Анастасии на костре — по требованию народа. Подчиняясь воле бояр и отцов Церкви, Ярослав пытался наладить семейную жизнь, но ничего из этого не вышло. В конце концов жена его ушла от него в монастырь, где и скончалась монахиней. Законный сын Владимир не унаследовал отцовских добродетелей: с малых лет был привержен к пьянству, имел непобедимую страсть к женскому полу. Отца не любил, в воле его ходить отказывался, за что Осьмомысл трижды изгонял его из дома.

Был у Ярослава еще один сын — любимый, но незаконнорожденный. Вот ему-то, Олегу, Ярослав и готовился передать свое княжение. Словно не знал, что незаконность рождения низводит Олега в глазах галицких бояр едва ли не до положения простого смерда — ему даже отказывали в отчестве, никто не называл его Ярославичем, а именovali презрительно по матери — Настасьичем.

Все это Ярослав Осьмомысл хорошо знал. Знал, что Олега не любили и не стали бы терпеть его как своего князя. Можно было до кончины своей успеть вооружить тихого и кроткого Олега, укрепить его — чтоб хотя бы страх помог ему смирить галицких бояр. Но вместо этого мудрый Осьмомысл решил, что будет достаточно, если он хорошо попросит боярство признать Олега своим государем. Перед смертью Ярослав взял с них клятву, и они обещали, целовали крест Олегу.

Не успев еще, однако, предать тело покойного князя земле, бояре выгнали Олега из родительского дома и вообще из Галича. Почему они сделали это? Главной причиной Олегова изгнания называлось его происхождение: галицкая гордость боярская не захотела Настасьиногo ублюдка. Но дело было, наверное, в другом — избаловавшиеся при мудром и незлобивом правителе, бояре захотели теперь прави-

теля слабого и безвольного, которым можно помыкать. Таким правителем представлялся им законный сын Ярослава — Владимир.

Что ж, Олег не стал добиваться своих прав, хотя у многих русских властителей мог найти помощь. Он добровольно отказался от всяких притязаний на власть, попросил убежища у Рюрика Ростиславича и с той поры так и жил у него в Овруче.

Удалив из Галича нелюбимого Настасьича, бояре возвели на княжеский стол Владимира. С этого дня спокойная и мирная жизнь, к которой все привыкли, начала рушиться.

Княжеский дворец в Галиче с давних пор был средоточием милости, справедливости и защиты для горожан и всех жителей Галицкой земли. Теперь он понемногу превращался в одно из страшных мест. Мимо него боялись ходить. Дружина князя Владимира, быстро перенявшая у своего государя его отношение к чужой собственности — если мне что понравилось, так я беру это себе, — раздвала и обирала жителей чуть ли не средь бела дня. Во дворце шло непрерывное пьянство, и вместо звуков церковного колокола княжеский двор все чаще оглашался дикими разгульными криками и шумом пьяных побоищ.

Старый Осьмомысл всегда приглашал к себе на совет бояр и других именитых и уважаемых горожан, охотно прислушивался к их мнению. Владимир с первого дня стал приверженцем лишь одного мнения — своего. Никто при нем и пикнуть не смел: шепчись, если хочешь, по углам, но только смотри, чтоб князю не стало известно. Наказывать князь любил и умел.

Став владетелем Галицкой земли, Владимир решил жениться во второй раз. Первую жену он тут же велел отправить в отдаленный монастырь, а новую — объявил — выберет сам. И, увидев на улице понравившуюся ему женщину, просто приказал взять ее и доставить к себе во дворец. Перепуганную, ее привели в княжеские покои, где она дожидалась прихода князя. Звали ее Еленой, и она была замужем — только недавно стала женой молодого священника. Священник тот исчез в ту же ночь, а Елена стала не то наложницей, не то женой галицкого князя.

Смирившись, она решила не горевать по законному мужу, а постаралась извлечь все выгоды из своего нового положения. Сумела привязать к себе князя Владимира, да так крепко, что он не выгнал ее, когда она понесла, и тем самым вроде бы признал женой своей. Потом даже венчались. Елена была хитра, она понимала, что назад ей пути

нет. В глазах людей она все равно была порченой, раз при живом муже стала жить с князем. Поэтому она решила не злить нового супруга упреками в недостойном поведении и не тратить сил на утверждение только своего на него права. Елена, родив Владимиру двух сыновей-близнецов, хотела обеспечить их будущее. Что могло им обеспечить это будущее с таким-то происхождением? Только богатство. И Елена начала обогащаться, пользуясь теми возможностями, которые ей вдруг открылись.

Она взяла хозяйство в свои руки. По ее приказу увеличивались налоги на торговлю, была установлена дополнительная вира на вывоз соли, которая доставлялась из Галицкой земли во все русские княжества. Она лишала имущества любого, кто высказывал недовольство ее поступками. Пока князь Владимир пьянствовал со все новыми собутыльниками, которые как мухи на сладкое слетались отовсюду, прослышав о веселой жизни в княжеском дворце, Елена грабила город и набивала сокровищами свои ларцы. Ее возненавидели все. Теперь именно она казалась виновницей несчастий, постигших Галич с того дня, как бояре дружно и по собственной воле усадили Владимира на княжеский стол.

Между тем Владимир проводил жизнь в поисках все новых удовольствий; он объезжал город, пьяно покачиваясь в седле и обшаривая взглядом попадавшихся ему навстречу женщин. На понравившуюся просто указывал пальцем. Дружина тут же хватала жертву, и князь возвращался во дворец, где незамедлительно овладевал пленницей — ею могла оказаться и совсем юная отроковица. Он не брезговал и простолюдниками, женами и дочерьми ремесленников и торговых людей. Но чаще всего выбирал женщин из боярских семей, выражая, наверное, таким образом благодарность галицкому боярству за то, что оно призвало его на княжение.

И это было бы еще ничего, если бы призвание Владимира на галицкий стол привело только к пьянству во дворце и бесчестию для благородных девиц и жен боярских. Перемена власти после смерти Осьмомысла имела гораздо более тяжелые последствия: она нарушила существовавшее равновесие и вызвала к действию дремавшие дотоле силы.

В соседней Волыни, в городе Владимире Волынском, вот уже почти двадцать лет сидел князем Роман Мстиславич, сын киевского князя Мстислава Изяславича, правнук Мстислава Великого, праправнук Мономахов. Он княжил спокойно, не совершая великих дел, и, казалось, был доволен своей жизнью. Но так только казалось.

Жизнь его сложилась неудачно, хотя начало ее было блистательным. Роман Мстиславич в юности, не достигнув еще пятнадцатилетнего возраста, был призван на княжеский стол самым Великим Новгородом. То было тревожное для Новгорода время — его независимости грозил Андрей Боголюбский со своими многочисленными суздальскими полками. Слава Боголюбского гремела тогда по всей Руси, его жестокость и сила заставляли трепетать всех. Каково было юному Роману Мстиславичу ощущать себя противником столь могучего врага? Но сердцем и душой, полными отваги, Роман был истинным наследником великих князей и не уstraшил опасности. Он сумел воспламенить и вдохновить на битву новгородцев. Боголюбский осадил Новгород, но неожиданно для себя получил отпор. Битва была ужасной. Тысячи суздальцев лезли на укрепленные Романом новгородские стены, поливая их сверху донизу своей кровью. Но города взять не могли. В этой битве юный князь сражался как простой ратник, на стенах вместе с горожанами и дружиной. Тогда случилось знамение: стрела, пущенная кем-то из суздальцев, попала в икону Божией Матери, выставленную на стене, и икона, источив слезы, отвернулась от войска Боголюбского. Может, это знамение, а может, воинский пыл и отвага князя Романа Мстиславича помогли новгородцам, но, как бы то ни было, они одержали победу.

Великий князь Андрей был разбит, да так страшно, как еще не бывало. Из суздальского войска домой вернулась едва пятая часть, большей же частью оно было истреблено, взято в плен и рассеяно по окрестным новгородским лесам, где лютые морозы и дикое зверье еще долго довершали расправу. Тогда новгородцы отдавали десять пленных суздальцев за гривну — так дешево оказался этот товар.

Новгород надолго отбил охоту у всякого покушаться на свои древние вольности. Казалось бы, юному князю Роману предстояло и дальше со славой княжить в древнейшем русском княжестве — кто больше его был достоин этого? Новгородский княжеский стол мог удовлетворить любое самолюбие — и князь Роман не хотел бы для себя лучшей доли.

Но через три месяца после блестящей победы новгородцы изгнали своего спасителя! Причина такого несправедливого поступка была проста: нехватка хлеба. Новгород вошел в дружеские отношения с Боголюбским, предпочтя своей воинской славе мирную торговлю. Роман выехал из Новгорода оскорбленный. Хлопотами своих дядьев Ростис-

лавичей он добился небольшого городка на Волыни и сел там. Какие чувства раздирали тогда душу Романа? Он, после победы над князем Андреем ставший известным всей Руси, теперь был обречен доживать жизнь в тихом окраинном Владимире Волынском, не имея ни сил, ни средств добиваться для себя более высокого положения.

Смерть соседнего могущественного галицкого князя и последовавшие за ней события вновь всколыхнули душу Романа Мстиславича. Он вдруг увидел, что великолепный и славный Галич можно взять голыми руками, и делать это нужно скорее, пока не опередил другой. Неожиданно пробудившееся тщеславие охватило Романа. Он, узнавая вести из Галича, радовался — князь Владимир, пьянствуя и развратничая, очень облегчал для Романа задачу сесть на галицкий стол. Больше того, Роман решил лично ускорить события — и появился при дворе князя Владимира как друг, сотрапезник и участник всех его развлечений. Он был принят Владимиром с радостью.

Словно проросли в душе князя Романа Мстиславича семена зла, посеянные когда-то новгородцами. Он дни и ночи проводил с Владимиром, спивал его, подбивал на новые проказы, в придумывании которых оказался очень ловок, а сам тем временем, пока горожане возмущались, вел тайные переговоры с боярами и богатейшими из галичан, убеждая прогнать князя Владимира, а его избрать своим государем.

У Романа нашлось среди влиятельных мужей много сообщников, примкнувших к нему не столько потому, что Роман Мстиславич так уж был им приятен, сколько потому, что им был неприятен их собственный князь Владимир. Роман получил достаточную поддержку.

И в один прекрасный день — прекрасный для кого угодно, но только не для князя Владимира — на княжеском дворе собралось много вооруженного народу, оказалось, дворец окружен и князь находится во власти мятежников. Мятежники, однако, не помышляли об убийстве Владимира. Они потребовали его жену Елену — для сожжения, так же как много лет назад их отцы требовали Анастасию у Ярослава. Самому же Владимиру было предложено оставить и город, и Галицкую волость навсегда.

Владимир не стал искушать судьбу и этой же ночью бежал из дворца, сумев к тому же, спасая от народного гнева, увести с собой Елену с двумя сыновьями, да еще вывез много добра. Он отправился к давнему сопернику галицких князей — королю Беле, в Венгрию. Владимир на-

деялся испросить у Белы, который числился другом, помощи для умирения Галича, приняв решение не вмешивать в это дело русских князей. И это было большой ошибкой.

Когда угрюмый, тоскующий по утраченной княжеской власти и сладкой жизни Владимир продвигался в сторону венгерской границы, в Галиче торжествующий Роман принимал епископское благословение и целовал крест. Он был уверен, что сел на галицкий стол навсегда, и на радостях отдал свой Владимир Волынский родному брату — Всеволоду Мстиславичу, который, узнав об этом, поторопился в городе сесть.

Те, кто сомневался в благочестии нового князя галицкого, оказались правы. Роман — то ли будучи не в силах остановиться после недавних совместных кутежей с князем Владимиром, то ли вознаграждая себя за долгие годы воздержания — предавался разгулу, не смущаясь даже присутствием супруги своей, дочери князя Рюрика. Это было неумно и слишком вызывающе. Ему стали напоминать, что за такие же дела он сам осуждал Владимира. Роман поразмыслил и стал вести себя тише. Но то, что бурлило в его душе, требовало выхода — если не в разгульных пирах, то в борьбе с непокорными. Так же круто, как и пировал, он взялся за укрепление личной власти — искал недовольных, расправлялся с ними, утверждал новые, выгодные себе, а не горожанам законы, всюду насаждал своих приверженцев. Но добивался этим прямо противоположного: лишь увеличивал число недоброжелателей и, озлобляя население, озлоблялся сам.

Король Бела встретил изгнанного князя Владимира как дорогого гостя: он тоже, как и Роман Мстиславич, внимательно следил за тем, что происходит в Галиче, и с той же самой целью. Ярослав Осмомысл умел сдерживать желание венгерского короля завладеть Галицкой землей, а теперь эти желания сдерживать было некому. И пока князь Владимир излагал суть случившегося, в хитроумной голове Белы все придумалось. На просьбу князя Владимира вернуть ему потерянное Бела ответил совершенным согласием, и только согласием, без каких-либо оговорок.

Тут же Бела начал собирать войско. Отборное войско было собрано в несколько дней. Самые славные венгерские рыцари изъявили желание участвовать в походе. Мало того, не доверив своим военачальникам такого святого дела, как помощь несправедливо обиженному русскому князю, сам венгерский король решил возглавить поход на Галич. Пока шли приготовления, князь Владимир жил в королев-

ском дворце, где ему оказывали почести не хуже королевских. Это все больше убеждало князя Владимира в собственной значительности: разве он не один из достойнейших князей русских, если даже бывший неприятель Бела ценит его настолько, что согласился бескорыстно помочь?

Вскоре выступили. Венгерский король, заботясь о спокойствии жены князя Владимира и его двух сыновей-крошек, отсоветовал брать их с собой в поход. Жизнь военная — не для женщин и детей. Вот когда Галич будет освобожден от князя Романа, тогда Владимир Ярославич сможет без помех забрать их к себе.

Князь Роман, узнав о приближении венгерского войска, не стал долго раздумывать. Он знал, что жители Галича еще не успели полюбить его настолько, что станут отдавать жизнь, защищая своего князя. Роман опустошил дворцовую казну, забрал с собой преданных людей и, никем не провожаемый, оставил Галич. Жители же не думали об обороне, зная, что возвращается Владимир.

Венгры, подойдя к Галичу, увидели ворота открытыми. Довольный князь Владимир Ярославич на правах хозяина ввел своего друга короля Белу в город. Приказал по этому поводу радоваться и звонить в колокола. Это было исполнено горожанами, решившими проявлять послушание. На завтра князь Владимир объявил выборным городским представителем, что собирается вновь с подобающей торжественностью занять свой наследственный стол, и назначил день для этого события. Впрочем, жители — и бояре и простолюдины — были рады, что не пришлось хотя бы воевать с венгерским королем. А с князем Владимиром жить можно, надо только стараться пореже выпускать дочерей и жен на улицу.

А Роман Мстиславич возвращался во Владимир Волынский, теперь видя в нем не просто удел, но прибежище оскорбленной души. Второй раз в его жизни происходило так, что он лишался знаменитого на всю Русь древнего княжения — Галич стоил Новгорода, еще как стоил. Скоро Роману должно было исполниться тридцать пять лет, и он чувствовал, что проснулся от долгой спячки и готов для великих дел. Если от него отвернулась удача — что ж, он больше не будет полагаться на ее милость. Он всего будет добиваться сам — и добьется, займет законное место среди великих русских князей. Прав тот, кто силен. Только силой можно дорожить в этой жизни, а больше — ничем. Он станет сильным. Получив передышку, он использует ее на благо себе и на горе другим. Сейчас над ним станут смеять-

ся: бросил город, испугался венгров. Он не испугался. Он просто понял, что время его еще не настало. Но оно настанет, и никто не посмеет смеяться над князем Романом!

Город Владимир Волынский встретил Романа Мстиславича закрытыми воротами. Родной брат Всеволод отказывался впускать его — того, из чьих рук он и получил этот город! Может, просто не узнал брата? Стоя в растерянности перед заложенными изнутри тяжелыми створами, Роман настолько потерял самообладание, что сам закричал тем, кто был на стене:

— Эй, там! Вы что — не узнали меня?

Сверху ответили:

— Как не узнать. Ты наш князь бывший, Роман.

На миг Роман Мстиславич почувствовал удовлетворение: хоть ответили без наглости.

— Почему не пускаете? — крикнул он.

— Князь Всеволод велел ворота закрыть, — ответили со стены.

— Пойдите скажите ему — пусть велит открыть! Это мой город! Это я ему город отдал!

Получалось совсем неприлично: двадцать лет он был владельцем этих людей, двадцать лет они при каждой встрече кланялись ему в ноги, глаз не смели поднять, разговор с ним считали за счастье. И вот он препирается с ними, как припозднившийся постоялец с хозяйкой, не желающей его впускать. Роман решил больше не говорить ни слова — только стоять гордо и ждать ответа от князя Всеволода. Сверху ему пообещали, что сейчас же пойдут, еще раз спросят князя.

Обидное было еще и в том, что все происходило на глазах у свиты, у жены, у детей. Роман вглядывался в тех, на стене, — запомнить лица, чтобы знать, с кого первого спустить шкуру, когда он вернется в город победителем. Но те, словно учув намерение князя, отворачивались, как бы ненароком отходили под прикрытие стенных забрал.

Ожидание тянулось долго, и Роман Мстиславич понимал почему. Добраться до князя Всеволода можно было быстро, и во дворец посланного с такой вестью пропустили бы легко. Нарочно братец выдерживает, томит. А ведь от Романа ничего плохого в жизни не видел, кроме благодеяний, в их числе — этот город. Нет, на этом свете может прожить только сильный и беспощадный. Приди сейчас Роман с войском к городу — брат Всеволод небось сам бы выбежал навстречу, кланяясь. А раз войска нет, то можно в морду плевать.

Он так увлекся, представляя себе, как подходит к брату — боком, чтоб размах получился пошире, отводит руку с мечом, глядя Всеволоду в бессмысленные от испуга глаза, одновременно думая, что ведь надо успеть отскочить, а то брызнет на одежду, испачкаешься, — что вздрогнул, когда его еще раз окликнули сверху:

— Князь! А князь!

Молча поднял надменное лицо. Слов они больше не усыпают.

— Наш-то велел тебе так сказать: он здесь князь, а не ты. Он кого хочет, того и пускает в город. А тебя, мол, не хочет. Уж не прогневайся, князь Роман Мстиславич. Мы люди подневольные.

То-то, что подневольные. Не отвечая, Роман повернул коня и тронулся обратно — без определенной цели, а лишь бы поскорее скрыться с глаз тех, что, наверное, сейчас смеялись ему вслед.

Свита тоже разворачивалась, спешила за князем. Надо было успеть до захода солнца выбрать место для ночлега. Впору было досадовать на князя: не дал взять с собой достаточно припасов, походных шатров. Как же — не во вражескую землю едем, скоро будем ночевать под крышей родного дома. Вот тебе и родной дом. Куда теперь идти, сколько еще ночей придется провести под открытым небом?

Если Галич мог подождать, то меры против Всеволода Мстиславича следовало принимать незамедлительно. Не получишь обратно Владимир Волынский — можешь забыть о будущем величии, о больших делах. Вся жизнь проживешь скитальцем, вечным гостем у счастливых родичей. На Руси тесно и без тебя, неудачника. Единственная милость, на которую еще можно надеяться — село для прокорма, если дадут, или на дочерей кто позарится, возьмет замуж — тогда как тесть будешь иногда допускаться к княжеским пиршественным столам.

Роман решил просить помощи у тестя — сильного Рюрика Ростиславича. Когда-то Рюрик помогал Роману сесть во Владимире Волынском. Теперь пусть поможет получить его обратно.

А в Галиче наступил день, когда Владимира Ярославича должны были возводить на княжеский трон. Этот день и вправду вышел торжественным и праздничным. С утра звенели колокола, бирючи на улицах скликали народ, обещая угощение. Если бы не большое количество иноземных воинов в городе, пытающихся к тому же вести себя по-хазайски, то можно было даже подумать, что близок конец

всем волнениям и беспокойствам. Вот-вот князь Владимир займет свое место, а впредь, наученный горьким опытом изгнания, станет вести себя хорошо — править Галицкой землей мудро и благочестиво. А венгры попируют немного — все же издалека шли — и удалятся.

И когда на княжеском дворе у расставленных столов с вином и закусками собрались выборные от городских сословий и король Бела объявил, что князем галицким теперь станет отнюдь не Владимир Ярославич, известный своей безнравственностью, а сын самого Белы, королевич Андрей, то все, кроме князя Владимира, ощутили не гнев, а какое-то усталое раздражение: ведь все было ясно с самого начала. Пировать уже не хотелось. Хотелось разойтись по домам и обдумать случившееся. Ведь случилось-то такое, о чем раньше и сказать было смешно: мирно, спокойно, без единого удара мечом жители из свободных граждан превратились в данников венгерской короны. К этой короне при покойном князе Ярославе Владимировиче галичане имели, конечно, отношение, но только в том смысле, что Ярослав любил по ней постучать, да так, что Бела старался не слишком часто подставлять ему корону под меч.

Неожиданно — теперь уже и для князя Владимира, и для горожан — венгерского короля поддерживали галицкие бояре. Они стали уверять народ, что благородный король галицкий Андрей будет править, во всем послушный их воле и воле народной. Уверяли настойчиво, ссылались на то, что сам король Бела дал клятву, а королевская клятва — это уж такое дело, что к ней и добавить нечего. Ну, можно было, правда, спросить: неужели король венгерский, сидя в своем королевстве, только и мечтал о том, как бы поскорее начать выполнять волю галицких бояр? Но почему-то об этом никто не стал спрашивать, тем более что венгерских ратников оказалось на княжеском дворе больше, чем выборных представителей.

Изумленного князя Владимира тут же связали на глазах у галичан. Многие из присутствовавших не раз мечтали об этом, но теперь радости по такому поводу не испытывали. Пир в честь нового галицкого короля получился вялый и скучный. Все съели и выпили в основном венгры, да при этом еще говорили на своем языке, мало кому из жителей понятном.

Подождав еще несколько дней и убедившись, что никто в городе роптать или поднимать мятеж против королевича Андрея не собирается, король Бела отбыл домой, увозя князя Владимира пленником. Войско, правда, осталось в Галиче.

Теперь огромная волость была подчинена иноземцам. Не только галичане, но и сами венгры понимали, что так долго продолжаться не может: кто-нибудь захочет вернуть Галич в лоно великой Руси. Но для галичан очень важно было — кто именно захочет? Если войско к Галичу придет, к примеру, Рюрик Ростиславич или Святослав Киевский, возмущенный потерей такого большого княжества, то это одно дело: тут можно русским князьям и помочь разделиться с венграми. Если же силой попробует вернуть себе княжение, скажем, Роман Мстиславич, то в таком случае жители Галича станут венграм союзниками. Уж этот-то, разделившись с королевичем Андреем, отомстит городу жестоко. Ведь Галич, в сущности, изгнал и Романа, отказавшись сражаться за него с войсками Белы. Положение галичан в один миг стало таким странным, что оставалось лишь качать головами и вздыхать. Выбирать теперь приходилось не между хорошим и плохим, а между плохим и ужасным.

Князь Роман забыл уже про Галич — ему во что бы то ни стало требовалось получить обратно свой Владимир Волынский. Трудность возврата усугублялась еще и тем, что, как и галичане, жители Владимира понимали, какую обиду нанес город своему бывшему князю, и собирались обороняться отчаянно, предпочитая смерть в бою на стенах долгим мучениям на остром колу, в яме с нечистотами или на высоком помосте. Поэтому Роману сил для взятия родного города нужно было много.

У Романа нашлись заступники. Родные дядья по матери — польский король Казимир Справедливый и брат его Мечислав — дали племяннику требуемую помощь. Не отказал в помощи и Рюрик Ростиславич. Правда, он настойчиво советовал Роману воевать именно Галич и, наверное, был в этом прав: овладев сильным городом, впоследствии легче будет вернуть себе и Владимир. Роман согласился с Рюриком. В конце лета начались походы.

Оба похода — и Рюриковой дружины на Галич, и Казимира с Мечиславом к Владимиру Волынскому — окончились неудачно. В обоих случаях жители отчаянно защищались, и нападавшим пришлось бесславно отступить.

Польские дядья, посетовав на упорство владимирцев и посочувствовав князю Роману, вернулись обратно в Польшу. Они могли считать, что сделали для племянника все возможное. Иное дело — Рюрик. Взявши помогать Роману, он не мог бросить начатое, не dokonчив его. Поняв, что с Галичем придется повременить, Рюрик обратил свой гнев на Всеволода Мстиславича, который отказывался пус-

тить брата во Владимир. Гнев Рюрика возымел действие. Для Всеволода Мстиславича Рюрик был, конечно, противником куда более грозным, чем поляки. Сочувствуя жителям Владимира Волынского, Всеволод обговорил условие: князь Роман отказывается от мести, соглашаясь считать виноватым только его, Всеволода Мстиславича, — и выехал в свой удел, небольшой городок Белз. Он слабо верил в то, что Роман выполнит это условие.

Но Роман не казнил никого. Не потому, что пожалел подневольных людей, а потому, что счел временное свое великодушие более выгодным для себя. Месть еще впереди. Пока же он должен набирать силу, обзаводиться могучим и послушным войском. Это было проще сделать, не казня, а милуя подданных.

Таким образом, на Волыни начала образовываться новая сила. Появлялся новый могущественный и властолюбивый государь, не обремененный ни чувством долга, ни совестью, ни жалостью к ближнему, обуреваемый только одной страстью: добиваться исполнения своих желаний силой оружия. Князь Роман Мстиславич, когда-то храбрый защитник и спаситель Новгорода, превратился в кровожадное и беспощадное чудовище.

ГЛАВА 32

Сын великого князя, младенец Глеб, умер в конце сентября. Поэтому свадьбы сыновей Юрия отложил на неопределенный срок. Не станешь же веселиться, когда государь горюет. Хотя прямого запрета, конечно, не было — женись, пожалуйста, если хочешь. Да какие уж тут свадьбы.

Ожидался, впрочем, в недалеком будущем и повод для веселья, хотя говорить об этом было еще рано. Княгиня Марья была беременна на седьмом месяце, то есть зимой должна была родить великому князю нового сына. К этому событию и рассчитывал Юрия приурочить Добрыню и Бориску свадьбы.

Еще была одна причина, по которой следовало повременить: Юрия хотел, чтобы венчальный обряд справил епископ. Положение, которое сыновья теперь занимали, не просто позволяло — требовало этого. Но епископ владимирский, кроткий Лука, едва успев освятить достроенный наконец Успенский собор, тихо скончался. Новым же епископом великий князь захотел поставить духовника своего — отца Иоанна, но это была долгая канитель: следовало испрашивать на это благословения киевского митрополита, а тот,

недовольный, что у него спрашивают не дозволения, а лишь благословения, мог затянуть дело, сославшись на необходимость снестись с константинопольским патриархом. Все же Юрия надеялся, что к тому времени, когда сын великого князя появится на свет, совершать над ним таинство крещения будет готов владимирский епископ Иоанн.

А может, и митрополит Иоанн. Слава Богу, собор выстроили такой, что митрополиту в нем и служить, и самому уже ставить епископов в землях, подвластных великому князю. Собор Успения — пятиглавый, вознесший к небу золото своих куполов, расправивший белоснежные плечи ажурных прясел, подпоясавшийся резным колончатым поясом — стал величайшим и прекраснейшим храмом Русской земли. Не только гости любят на него подолгу — сами владимирцы, на глазах которых рождалось это белое великолепие, до сих пор не могут привыкнуть. Уж на что хорош был старый храм, а перестроенный великим князем стал еще прекраснее.

Невесты Добрыне и Бориске — теперь его, впрочем, называли Борисом или Борисом Юрятчем — выбраны были Любовью удачные, Юрия ее выбор одобрил.

Блестяще выполнив сложное поручение Всеволода Юрьевича, Добрыня и Борис были великим князем щедро награждены и возвышены.

Особенно Добрыня. Ему великий князь пожаловал звание боярина, отписав в вечное владение несколько сел — в том числе и село Утицу, то самое, в котором маленький Добрыня когда-то жил. После гибели Боголюбского монастыря его земли перешли во владение князя владимирского, и вот теперь Всеволод Юрьевич награждал новоиспеченного боярина. Оба они — и Добрыня и Борис — были возведены в должность советников, становились членами старшей дружины, получали право собирать дань во всей Владимирской и других подвластных великому князю землях, а кроме того, начальствовать полками во время войны и в таком качестве могли иметь над собой старшими лишь воеводу Ратишича и самого великого князя. Конечно, пока не подрастут сыновья Всеволода Юрьевича — Константин и те, которые еще непременно родятся. Великий князь поручил Добрыне опеку юного князя Константина.

Помня, сколько значил в его жизни друг и наставник Юрия, Всеволод Юрьевич пожелал, чтобы и Константин, подрастая, видел рядом с собой такого же друга и наставника, и богатырь Добрыня, прямой и честный, казался великому князю подходящим для этого человеком. Добрыня

же воспринял это поручение с таким спокойным достоинством, будто всю жизнь только и готовился и ждал, чтобы стать дядькой юного княжича.

Он сразу стал вхож во дворец, и вскоре обитателям его — от великого князя до мальчика, приносящего воду для умывания, — уже казалось, что именно этот огромный и добродушный человек делает так, что жизнь княжеского дворца освобождается от суеты, мелких дразг и ссор — всего того, что присуще большим княжеским дворцам с многочисленной дворней.

Великий князь, любивший чтение книг, узнав, что Добрыня не очень-то подвержен этой страсти, объявил, что сделает из него настоящего книгочея. Княгиня Марья мужа в этом поддерживала — они давали Добрыне книги, заставляли пересказывать прочитанное. Но толку из этого вышло немного: Добрыня, хоть и послушно старался выполнять требования князя и княгини, как выполнил бы любое поручение, данное ему, все же не сумел воспитать в себе любви к книжному слову. Сначала это сердило великого князя, потом смешило, и в конце концов он махнул рукой и оставил Добрыню в покое.

Тем более что произошло событие, которое заслонило собой многое. Дочь великого князя, Елена, ставшая уже совсем взрослой девушкой, влюбилась в Добрыню. Во всяком случае, именно так хотелось назвать чувство, которое она стала испытывать к наставнику и опекуну своего юного брата. При виде Добрыни она даже улыбалась, чего раньше почти никогда не делала. Улыбка ее была неумелой, лишенной девичьего лукавства или опытной женской приветливости, но это была счастливая улыбка. Когда Елена видела Добрыню, щеки ее розовели, румянились, в глазах появлялась жизнь. Вообще Елена оживлялась и, как подметила княгиня, оживлялась по-женски, чего мать от нее уж и вовсе не ожидала. Стала говорить больше слов. Просто не узнать ее было. Княгиня Марья понимала, что, наверное, исходившая от Добрыни мощь неожиданным образом смогла разбудить что-то дремавшее в Елениной душе. Какую-то самую тайную частицу, которую здоровый человек не показывает другим. Но — думала княгиня — вдруг вслед за этой частицей начнут пробуждаться и другие и Елена проснется вся? Княгиня и надеялась на это, и боялась. Начала думать — и чего только не передумала! Удалить, что ли, Добрыню из дворца, убрать его подальше от Еленушки или, может, женить на ней? Княгиня знала, каким преобразующим воздействием на девушку обладает

мужская сила, и то хотела оградить Еленушку от этой силы, то желала дочери испытать ее во всей полноте.

В таком деле даже властью великого князя ничего не решишь. Княгиня все рассказала мужу. Он тоже обеспокоился, но, подумав, сказал, что, какие бы действия ни предпринять сейчас — все будет глупо, и уж лучше положиться во всем на волю Божию, не оставляя при этом Елену без присмотра, а Добрыне ничего не говорить, но последить за ним: как себя поведет? Насильно ведь не заставишь ни Елену его разлюбить, ни Добрыню полюбить ее. Княгиня Марья согласилась с мужем и стала наблюдать.

Добрыня заметил и понял состояние Еленушки и старался теперь как можно реже попадаться ей на глаза. Стал реже заходить во дворец, а если бывал там, избегал появлений на княгининой половине — даже когда нужно было позвать Константина, любившего подолгу сидеть у матери, просил кого-нибудь.

Елена сама начала искать с ним встреч. Всю жизнь просидевшая в своей светелке, она теперь выбиралась из нее и ходила по всему дворцу своей неуклюжей походкой, осторожно и с надеждой заглядывая за каждый угол. Не найдя нигде Добрыню, грустнела, возвращалась к себе, садилась на привычное место в уголке и сидела, полуприкрыв глаза. Две старые няньки, догадывавшиеся, в чем дело, утешали ее так же, как делали это в ее детские годы, — гладили по головке, давали сладости, которые она иногда брала и безразлично ела, понежному забывая, зачем только что обошла весь дворец и что искала.

Когда княгиня Марья приходила к ней, Елена улыбалась матери какой-то новой улыбкой — в этой улыбке Марья видела смущение: дочь словно понимала, что ее чувства матери известны. Елена после долгих и бесплодных поисков своего избранника успокаивалась, и порой надолго, но потом снова вдруг вспоминала, начинала волноваться и опять подолгу смотрела во двор из окошка, выискивая его взглядом. Иногда Добрыня, заметив этот взгляд, торопился уйти: невозможно было не вспоминать в такие мгновения, как шалила милая Верхулавушка, дразня его из окна. Белое круглое лицо Елены в окошке почему-то пугало Добрыню. В том, что полоумная княжеская дочка испытывала к нему такие же, наверное, чувства, какие он испытывал к Верхулаве, Добрыня боялся углядеть зловещее предостережение судьбы: это тебе, мол, за то, что осмелился мечтать о недостижимом.

А в остальном у Добрыни все шло хорошо. Слава Богу — никаких разговоров о Елене он ни от великого князя, ни

от княгини Марьи не слышал, от маленького Константина его не отлучали.

Четырехлетний Константин привязался к Добрыне сразу, не тратя времени на долгое привыкание к огромным размерам своего нового дядьки. Добрыня учил его держаться на коне, рассказывал о битвах, удивлял княжича искусным обращением со своим мечом. Добрыню умиляло, что хотя Константин и был мал и смотрел на своего воспитателя восторженными глазами, все же он был уже настоящий князь, с княжеской гордостью, уверенностью в праве повелевать, и уже начинал выказывать особый, княжеский подход ко всему, о чем говорил и что видел.

Этого мальчика никем больше нельзя было представить — только князем, господином над людьми. Увидев на улице нищего, просящего подаяния, Константин тут же хотел узнать: чей он, если свободный, то почему осиротел, а если приписной, то почему тот, к кому он приписан, допускает такое. Однажды так рассердился на боярина Нежила, чьи смерды, разоренные боярином вконец, выпрашивали себе на пропитание на папертях и на Торгу, что пожаловался великому князю — и ведь добился, что великий князь отобрал у старого Нежила два подчистую обобранных села и переписал на себя. Под князем крестьянам жилось гораздо легче: Всеволод Юрьевич не велел огнищанам брать с людей непосильных налогов. Если у Добрыни с Константином заходил разговор о половцах, княжич не задавал детских вопросов: почему, мол, они такие страшные и не едят ли живое мясо, а хотел узнать, какие у куманов старшие князья, да где их земли, да сколько людей в ордах? Спросил однажды Добрыню: знает ли самый главный половецкий хан Кончак, что он, Константин, уже родился и живет на свете? Добрыня, подумав, уверенно ответил, что Кончак об этом знает. Княжич кивнул, лицо стало строгим.

Любава видела, что Добрыня, будучи приближен великим князем и княгиней, обошел Бориса по положению, и окончательно оставила свои намерения женитьбой сыновей обозначить разницу между ними. Теперь их жизнями распоряжались силы гораздо более могущественные, чем ее женская хитрость, и спорить с этими силами или помогать им было неразумно. Хотя Любава и ревновала немного к Добрыниному успеху, но на самого Добрыню зла не держала. А после того как узнала, что дочь великого князя, убогая Елена, пылает к Добрыне любовной страстью, сама заторопилась со свадьбой сыновей.

Узнала же об этом несчастье Любава непостижимыми путями: никто ей ничего не сообщал и даже в разговорах с княгиней Марьей ни о чем таком не упоминалось. Нюхом женским учуяла, когда случайно заметила брошенный Еленой на Добрыню взгляд.

В жалком чувстве бедняжки Елены Любава увидела смутную угрозу всей своей семье и уже не хотела прибегать к сватовству великого князя. Она испугалась. Надо знать свое место, надо держаться своего круга. Так будет умнее.

Любава остановила свой выбор на дочерях воеводы Кузьмы Ратишича, зная, что тот рад будет породниться с Юрьтой. Все четыре воеводины дочки были хороши, но Любаве понравились младшие — Орина и Влада. Орину Любава назначила Борису, а Владу — Добрыне. У Орины черты лица были тоньше, чем у сестры, была она стройнее Влады и пониже ее ростом, на вид — мягче нравом и тише. Влада же — рослая, ясноликая, с открытым взглядом голубых глаз — как нельзя лучше подходила Добрыне. Юрята говорил с Ратишичем о возможном браке детей и получил его радостное согласие.

Самая же главная причина, заставившая Любаву отказаться от мысли о княжеском сватовстве, была такая, о какой ей и думать было страшно. В глубине души хранила Любава жгучую тайну, ждала себе Божией кары за то, что совершила когда-то, и увидела эту кару в бессмысленной и стыдной тяге Елены к Добрыне. И на эту тайну свою посмотрела совсем по-другому и еще больше ужаснулась: как могла пойти на такой грех, почему не нашла силы побороть злую волю, толкнувшую ее на это? Ведь это верно: великие государи — как огонь, что может согреть, а может и спалить. Возле него, огня этого, сиди, грейся, а руку совать остерегись — сожжешь.

А тайна Любавы была такая: когда-то незабвенной зимой, когда Юрята с войском ушел воевать с булгарами, Любава изменила мужу. Изменила, и не с кем-нибудь — с великим князем.

Тогда у государя случилась беда: только что похоронил свою дочь Сбыславу и сильно горевал. Горевала и княгиня Марья, и Любава много времени проводила с ней во дворце — утешала, стараясь отвлечь. Тут и привязался к Любаве кравчий великого князя Захар Нездинич, стал ее уговаривать пожалеть государя, который так страдает и сильно ее, Любаву, хочет. Околдовал ее кравчий, что ли, но Любава будто с ума сошла — согласилась, да так вдруг загорелась

желанием, что в тот же день Захар проводил ее в дальнюю светелку, куда несколько погодя и пришел молчаливый князь Всеволод Юрьевич. Сама себя не помня, не сказав ни слова государю, не устыдившись ни на миг, Любава отдалась ему, а он после их торопливой близости подарил ей завернутые в платок две искусно сделанные золотые серьги, улыбнулся на прощание и ушел. А еще немного спустя Захар — масляный и ласковый — вывел ее потихоньку на княгинину половину, и оттуда она уже ушла домой.

Украшения, заработанные у великого князя, Любава спрятала далеко, но иногда, оставаясь одна, доставала и разглядывала, будто эти блестящие серьги могли помочь ей понять, как случилось то, что случилось. И ведь поняла! Захар ей сказал, что князь ее хочет, а князю, видно, сказал то же самое про Любаву: дескать, уступи, государь, женскому желанию, снизойди до нее. Таким образом кравчий повязывал себя с князем общей тайной и, значит, получал над ним еще немного власти. О такой власти над великим князем тут же начала мечтать и Любава. Забывала порой даже о том, что он — великий государь, и думала о Всеволоде Юрьевиче просто как о мужчине. Даже — более близком, чем Юрята, потому что после того свидания с князем Любава забеременела.

Юрята ни о чем не догадается — на войну он ушел незадолго до того. И никто не догадается и не узнает, думала Любава. А ребеночек будет от самого государя. Какой женщине не лестно родить ребенка от всеильного властителя?

Она виделась после того с Всеволодом Юрьевичем — в княгининых покоях встречала его. С жадностью взглядывала: хотела поймать в его глазах ласку, обращенную к ней. Но никакой ласки не видела. Князь был с ней приветлив, как и раньше. Вот то-то и удивило Любаву: не стал к ней приветливее, не стал суровее, а остался таким же, будто ничего и не было.

Другая на ее месте, наверное, постаралась бы скорее все забыть. А Любаве какой-то бес все время нашептывал: не уппусти случая, не прозевай удачу. Можешь приблизиться к сильным мира сего! И в то время Любава о чем только не мечтала — додумывалась даже до того, что ребеночек, которого она носит, впоследствии станет таким же владетельным князем, как Всеволод Юрьевич.

Она еще долго мечтала — пока не родила сына Любимушку. Тогда осознала свою вину перед мужем, хотела даже ему признаться во всем, но поняла: это будет страшно

не только для нее, но и для Юрята. Оставалось одно — забыть все как можно скорее.

И вот нынешнее влечение Елены к Добрыне неожиданно открыло Любаве глаза: ведь все это могло подвергнуть их семью большой опасности. Узнает про это великий князь — и что он может подумать? Ведь чувства Елены — тайна не менее стыдная, чем ее собственная. Не слишком ли много стыдных тайн связывает великого князя с семьей Юрята? И не самый ли лучший способ сохранить эти тайны — отдалиться от этой семьи?

Любава ужаснулась. Силы, окружающие великого князя, служащие ему, могли стереть с лица земли и Любаву с Любимушкой, и Добрыню с Борисом, и самого Юрята. Вон телохранитель княжеский и оруженосец Ждан — почему умер? Не потому ли, что узнал нечто такое, чего не должен был знать и что могло повредить тем силам, на которые во многом опирается великая княжеская власть? Любава была уверена, что Немого отравили — ему совершенно не с чего было умирать: здоровее его, наверное, во всем дворце никого не было.

Вот почему Добрыню и Бориса нужно было срочно женить. Этим успокоить великие страшные силы: мы, мол, знаем свое место, ни на что другое не покушаемся, живем, как Бог и великий государь велит, служим верно и преданно. И ничего больше нам не надо, мы люди малые.

Любава стала готовиться к свадьбам сыновей. Но тут, через три недели после того, как освятил Успенский собор, умер старый Лука — епископ владимирский и суздальский. Юрята велел отложить свадьбы. Он, конечно, не понимал, почему надо спешить. Юрята пребывал в благодушном настроении, довольный сыновьями.

А в конце сентября умер юный князь Глеб Всеволодович. На долгое время нужно было вообще забыть о всяких свадьбах. Великий князь не выходил из дворца, не ходил даже к княгине на ее половину — сидел у себя, никого не желал видеть.

Сколько пережила Любава — было ей одной известно. Смерть младенца Глеба, которой ничто не предвещало, она поняла так: у великого князя почти одновременно родилось двое сыновей — Глеб и Любимушка. И то, что Бог прибрал Глеба, могло означать, что Любим-то и был настоящим князем, и Господь именно ему явил свою благосклонность. И если к такому же выводу придет великий князь — то не подумает ли он о маленьком Любиме со злобой? Любава трепетала. Посреди каждой ночи ее стало непреодолимо

тянуть посмотреть — не случилось ли чего с сыночком? За ночь она несколько раз бегала к нему, тревожа и пугая старую Ульяну. Но сыночек спал спокойно, хорошо, за день с ним тоже ничего не случилось — и понемногу страхи покинули Любаву. Тем более что великий князь теперь едва ли думал о чем-то, кроме своей Марьюшки, уже донашивавшей нового сына.

И сын этот родился в декабре, его назвали Георгием, в честь деда — князя Долгорукого. С его рождением будто и жизнь во дворце возродилась. Видно было, что великий князь воспрянул духом, повеселел. Хотя пережитое горе сумело немного состарить Всеволода Юрьевича — он стал словно чуть ниже ростом, и морщины появились. Но на Любавин взгляд, великий князь выглядел теперь как мужчина гораздо привлекательнее, чем когда она увидела его в первый раз. Был Всеволод в расцвете сил, сам понимал это и радовался своему состоянию. Это еще больше успокоило Любаву; она знала: если мужчина, даже пусть и великий князь, доволен собой и рад жизни, он меньше способен творить зло.

А великий князь и впрямь был рад жизни, рад, несмотря на то что год оказался таким трудным. Да, он ощущал в себе великие силы, как, наверное, ощущает их всякий отец после рождения сына. Но не меньше его радовала уверенность в своем государственном могуществе. Он твердо знал, что сильнее и богаче его нет князя на Руси, а если захочет, то сможет стать сильнее всех князей, вместе взятых. И все князья это знали. И великому князю не нужно было уже воевать с ними, чтобы доказывать свое преимущество, — стоило лишь сердито взглянуть. Его мощь — не только в большой дружине. Она — во всем: в обильном плодородии земли, в красоте храмов, в богатстве и многолюдии городов и сел. В самом великом князе, наконец. В его имени, его мудрости и расчетливости, его сыновьях Константине и Георгии, его жене княгине Марье, которая родит ему сыновей. Господь не оставляет Всеволода. Ни мор, ни пожары, ни смерть детей, ни жадная зависть близких соседей, ни злоба дальних врагов — ничто не поколебало могущества владимирского князя. Наоборот, он стал спокойнее, сильнее и увереннее.

В конце января киевский митрополит Никифор без всяких возражений утвердил постановление епископом во Владимире отца Иоанна. Это тоже было доказательством огромного влияния великого князя в Русской земле. Никифор, торопясь угодить Всеволоду Юрьевичу, не побоялся даже раздражить этим своего ближнего господина, князя

Святослава. А может, и большего опасался митрополит Никифор — не хотел ссориться с великим князем, а то как бы тот не завел митрополита у себя. Владимирский князь может и константинопольского патриарха попросить, и тот не откажет. Еще бы — в окружении стольких врагов греческому владыке очень полезно иметь дружеские отношения с великим князем. В феврале Иоанн уже епископом прибыл в Суздальскую землю. Сначала ему полагалось в новом звании объехать всю епархию. Приехал в Ростов, потом должен был ехать в Переяславль, Юрьев, Дмитров, Суздаль, а к концу марта, к масленой неделе, его надо было ждать во Владимире.

Решив с Юрятьой насчет дочерей Ратишича, Любава уселась с мужем ничего пока Добрыне и Борису не сообщать. Мало ли что. Но теперь время пришло. Теперь, в конце зимы, она велела Юрятье все сказать сыновьям.

Собрались за ужином. Не так уж часто собирались все вместе — у ребят появилось много дел, и не только княжеских, но и своих. Любава с грустью подумала, что скоро, пожалуй, совсем редко придется так посиживать: обзаведутся семьями сыночки, поселятся в своих домах и видеться с ними будешь по праздникам. Когда ужин подходил к концу, она велела Малаве принести вина, а сама, сославшись на недомогание, ушла к себе, провожаемая удивленными взглядами сыновей. И вино в будний день, и то, что Любава как бы подчеркивала, что ее присутствие нежелательно, — все заметили ребята. Да, наверное, уже и догадались, что за разговор сейчас предстоит.

Сначала выпили. Вино было дорогое, греческое. Не то чтобы лучше своего, домашнего меда, но как-то больше подходило для важного разговора.

— Милые мои сыновья, — начал Юрята.

Он вдруг заволновался, словно ребят предстояло подвергнуть какому-то испытанию. Вспомнил, что не было такого волнения, даже когда в первый раз брал их с собой на войну, и это его развеселило. Волнение сразу прошло.

— Вот что хочу я вам сказать. Вы уже взрослые, сами на ногах стоите. У князя на виду. И решили мы с матерью, что пора вам и семьи свои заводить. Давно пора. Что скажете на это?

Борис улыбался с таким видом, словно ему заранее все было известно, Добрыня молчал и, казалось, тоже сдерживал улыбку.

— Надо так надо, — одобрительно сказал Борис. — Я согласен. А ты, брат?

— Наверное, пора. Тятя правду говорит.

— Ну вот и хорошо, — торопливо произнес Юрята. — Значит, на днях будем сговариваться. А на Пасху свадьбы сыграем.

— Только про невест хотелось бы узнать, — озабоченным голосом сказал Борис. — Не кривые ли, не горбатые ли?

Юрята засмеялся, заметив, что Добрыня при словах брата тоже насторожился. Только Борис — понарошку, как всегда, а Добрыня — по-настоящему. Тоже как всегда.

— Не кривые и не горбатые. Девки — хоть куда. Дочерей воеводы вы ведь знаете?

Юрята с удовлетворением заметил, что выражение озабоченности сошло с их лиц. Теперь в глазах сыновей было одинаковое любопытство.

— А то — смотрите. Если эти не нравятся, других найдем. Искать, что ли, других-то?

— Нет! Не надо искать! — сказали оба одновременно. Переглянулись и засмеялись.

— Ну, значит, не будем искать. Мы с матерью так выбрали: тебе, Добрыня, — Владу, а тебе, Борис, — Орину. Глядите, если эти не годятся, у Ратишича еще есть две, — сказал Юрята. — Он, воевода-то, правда, говорил, что те обе у него уж назначены, не сказал только — кому. Но я думаю — нам не откажет, если которому из вас старшая дочь будет по душе.

— Да нет, отец. Я согласен. Мы согласны, — глянув на Добрыню, сказал Борис.

Они оба еще раз переглянулись. Встали, вышли из-за стола, разом поклонились Юрте.

— Спасибо, отец.

У Юрты даже слезы на глаза навернулись и горло перехватило сладкой удавкой. Он уже не помнил, когда такое с ним бывало. Дождался, пока горло отпустит. Поглядел еще раз на сыновей. Поглядел на стол.

— Давайте-ка, сынки, выпьем, — сказал он.

ГЛАВА 33

Великий князь ехал впереди, рядом с княжичем Константином. Сразу за ними держались Добрыня, которому не полагалось далеко отходить от воспитанника, и Прокофий — на правах старшего ловчего, а уж за ними — бояре и гости великого князя: оба зятя его, князья Ростислав Ярославич и Ростислав Рюрикович, и сын Глеба Рязанского, князь Святослав. Следом тянулся по первому снежку сан-

ный обоз с сетями и тенетами для зайцев, разным прочим припасом. Выжлятники держали на сворках по десятку — не меньше — гончих. На всякий случай в санях везли медвежьих рогатины, сулицы, луки со стрелами. Мало ли какой зверь попадется — может, и лось, может, сам буйвол. Его тенетами не поймашь.

Накануне, когда Всеволод Юрьевич обсуждал с Прокофием завтрашнюю охоту, ловчий все переживал, что издох пардус. Он и был какой-то не очень здоровый с виду, но все же летом его удалось опробовать на олени. Он оленя взял, но потом улегся и долго не желал подниматься. Великий князь приказал беречь зверя, кормить отборным мясом. Хотелось посмотреть, каков будет этот пардус зимой. Не то чтобы Всеволод Юрьевич так нуждался в ловчем звере — с ним больше хлопот, чем пользы от него, а уж собак вместе с ним на ловлю и брать не думай. Забудут и про зайцев, и про оленей, только и станут голосить на пардуса. А он — на них ощериваться, уши прижимать. Нет, не для добычи хотел взять великий князь диковинного зверя по первому снегу. А хотелось полюбоваться, как он станет выглядеть — желтошкурый, в черных пятнах, телом переливчатый — на белоснежном покрове. Может, захочет в пушистом снегу поваляться, как котята валяются на ковре, — тоже будет красивое зрелище. Ибо ловля звериная — развлечение не только для тела, но и для души. И вот — пардус издох, как раз перед первым снегом. Шкуру содрали, отдали скорнякам. Будет теперь возле постели князя на полу лежать — тоже красиво.

Оба Ростислава приехали с женами — дочками великого князя. Святослав же Глебович прибыл во Владимир еще в начале осени — жаловаться на старших братьев из-за какой-то ничтожной причины, но ответа на свою жалобу не получил, ждал, ждал, вот с тех пор так и зажился. Не понимал князь Святослав, что по мелочам великому князю жаловаться на братьев нельзя. Всеволод Юрьевич сначала про него забыл, потом как-то увидел и удивился: неужели еще не уехал Святослав? Решил гнать домой. Но тут один за другим приехали зятя. Оба Ростислава цену рязанскому князьку знали, не прочь были над ним понасмешничать, обращались весьма непочтительно, а он вроде бы не обижался. И Всеволод Юрьевич решил: ладно, можно свозить его, Святослава Глебовича, еще и на ловлю — все будет зятьям развлечение.

Хотелось великому князю и дочерей своих взять с собой, но мать не отпустила. Сидят сейчас, наверное, все

вместе, рассказывают новости, с маленьким Георгием забавляются, а может, и слезы льют. За эти дни столько пролили уже! Княгиня даже лицом чуть опухла. Оно и понятно: обе — ее любимицы, родная кровиночка — живут далеко в чужих землях, за мужьями и, шутка сказать, в свои отроческие лета — уже женщины, скоро, того и гляди, матерями станут, сделают великого князя и княгиню дедом с бабкой. Живут дочери, правда, хорошо, грех жаловаться. Мужьям полюбились. Особенно Верхуслava с Рюриковым сыном — как два голубя воркуют, не поймешь — то ли муж с женой, то ли старший брат с юной сестричкой. Рано, рано, конечно, отдали их обеих. Да ведь все равно — отдавать, а зато теперь они уже привыкли и, похоже, не жалеют.

Зятья тоже не жалеют — лестно им иметь такого тестя. С юным Константином тоже разговаривают уважительно. Это хорошо, значит, понимают молодые князья, что настанет время — и придется им ходить в воле Константиновой. А он-то хоть каждому из Ростиславов едва до пояса достаёт, но тоже, кажется, это понимает. У великого князя сердце радуется: сын растет такой, какого хотел. Он все в свои руки возьмет.

Но еще не скоро, конечно. Еще пока великий князь сам поддержит власть в своих руках. Ничего нет этого слаще. Невозможно себе уже представить, что смог бы, например, вот так ехать за кем-то, как сейчас за ним, великим князем, едут. А ведь когда-то было.

Ощущением своей власти Всеволод Юрьевич дорожил, и с годами знаки уважения к этой власти, а значит, и к нему лично, выраженные другими, доставляли ему удовольствия не меньше, а больше, чем было в молодости. Иногда даже на такой пустяк, как на князя Святослава Глебовича, хотелось посмотреть с ответной теплотой: надо же, издали-ка прибежал, чтобы покорность свою показать, пожаловаться на обиды. Как маленький мальчик прибегает в отца.

Что ж, не один Святослав Глебович так. Летом приехали к нему с тем же самым гордые Ростиславичи — Рюрик и Давид. Славные князья, воспетые сказителями отважные воины, жестокие правители. Ведь было время — как Рюрик полонцев бил, а Давид со своих подданных головы снимал! А пришла пора — и кинулись к великому князю с жалобой на Святослава Киевского. Тот-де решил, что в Смоленской земле и его вотчина есть, объявил братьям, что собирается часть смоленских земель под себя взять. Ну и защищайте свою собственность! И сил хватит со Святославом спра-

виться. А побежали во Владимир: заступись, князь Всеволод! Не столько Святослава испугались, сколько великого князя не захотели сердить усобицами. Пришлось на киевского властителя с гневом воздвигнуть брови: что ты, князь Святослав? Киева тебе мало? Не зарься на чужое, не нарушай мира! На столь любезный твоему сердцу киевский стол ты, князь Святослав, сел потому, что обещал ничего больше у Мономаховичей не требовать, а мы тебе поверили. Не прикажешь ли начать войну?

И Святослав сразу же отказался от своих притязаний. Он дал слово, что больше ничего подобного не будет предпринимать. На этот раз великий князь знал, что Святослав говорит правду. Это не значило, что он стал миролюбивее. Это значило, что недовольство великого князя стало для всех князей самой страшной угрозой.

А беспутный племянник, князь Владимир Ярославич Галицкий! Случай с ним даже приятнее самолюбию великого князя, чем покорность Святослава. Такое там произошло, что впору сказителей звать: ну-ка, воспойте! Того бы найти, который об Игоре Святославиче написал сказание, да велеть ему придумать новую песню, про князя Владимира, но только чтобы все в песне было рассказано от начала до самого конца. Надо было попросить у Святослава Киевского этого сказителя, вот не догадался! Но, может, оно и лучше, что не догадался, а то под горячую руку посадил бы его в яму: та насмешка великому князю еще помнится.

А с беспутным племянником вот что произошло. Не обладая большим умом, он преподнес Галич венгерскому королю, словно на блюде. И сам же стал пленником Белы III, которого Осьмомысл одним движением брови приводил в трепет.

И, видно только став пленником, князь Владимир поумнел, настолько поумнел, что совершил поступок, достойный хитроумного грека Одиссея. Король Бела держал князя Владимира в своем замке под строгой охраной. В высокой башне поставил шатер, полагая, очевидно, что для русского князя это самое удобное жилище, потому что привычное. И вот окончательно протрезвевший князь Владимир ночью режет шатер на куски, сплетает из этих кусков веревку и по ней спускается с башни. Один, в чужой стране, каждый миг подвергаясь опасности быть схваченным, пробирается тайком — не на Русь, потому что понимает: после того как сам отдал город старинному врагу, да еще иноземному, вряд ли найдет сочувствие у русских князей и помощи не получит. Он бежит в немецкую землю, к знаменитому Фри-

дерику Красной Бороде, императору. Князь Владимир знал, чем можно заслужить у Барбароссы ласковый прием — он назвал себя и пояснил, что приходится племянником великому князю Владимирскому. И получил то, чего хотел. Имя великого князя послужило Владимиру Ярославичу ключом к сердцу императора Фридерика. Он обещал помощь и дал ее. Правда, свои войска посылать не стал, но обязал польского короля Казимира выгнать венгров из Галича. Пришлось Казимиру, который еще недавно старался помочь врагу князя Владимира — Роману, теперь послужить Владимиру. Казимир вступил на Галицкую землю, и к концу лета Галич снова был в руках князя Владимира Ярославича.

И что же делает поумневший князь Владимир? Он делает самый лучший ход, возможный в его положении. Он ищет теперь покровительства у великого князя. Говорит, что признает его своим государем и жelaет во всем ему повиноваться, но только ему одному. Великий князь принял его под свою руку, известил о том всех соседей Галицкой земли, в том числе королей Белу и Казимира Справедливого. И теперь князь Владимир как за каменной стеной — может не опасаться никого и править спокойно. Какой пример для всех русских князей! Теперь еще и Галич можно считать подвластным великому князю.

Приятное воспоминание вызвало у Всеволода Юрьевича желание обернуться и посмотреть на зятя. Но он подавил это желание: неприлично великому князю вертеться в седле. Пока едут — неприлично. А с другой стороны, желания великого князя — не выше ли всех приличий? Скучно стало ехать просто так. Да и угождать уже рядом. Наверное, начинать пора.

— Прокша! — позвал Всеволод.

Глухой стук копыт сзади — и вот уже старший ловчий искательно заглядывает государю в лицо. Да, прошли годы, теперь это уже не тот мальчик, обмирающий при виде Всеволода, счастливый от каждой его похвалы. Потолстел Прокофий, при дворе княжеском чувствует себя как рыба в воде, вернее — как олень в лесу. Но так и остался ловчим. Вся жизнь его — в охоте, все разговоры и думы — о ней. Если с великим князем не согласен, может и спор начать, может и переспорить, настоять на своем. А может, так оно и лучше? Пусть бы каждый занимался только своим делом, тогда бы и дела скорее делались. Ловчий — охотой, кравчий — припасами да поварнями, воевода — войнами и дружиной, а великий князь спокойно бы всеми правил, в свое и подданных удовольствие.

— Не пора ли начинать? — спросил Всеволод. — Так и замерзнуть можно, едучи.

— Немного еще проехать надо, государь. Я же рассказывал тебе — там, на старом пожарище, на гари, в молодняке — там все зайцы-то, — сказал Прокофий.

— Зайцы везде должны быть, — поддразнивая ловчего, назидательно произнес Всеволод.

Жидкие усики Прокофия, заиндеветшие от горячего дыхания, возмущенно вздрогнули.

— А вот и не везде, — загорячился он. — В молодняке им и корма больше, и лежку делать способнее, и от лисы-волка проще уйти.

— Ишь ты! Лежку, говоришь? Ну ладно, нечего им разлеживаться. Посылай людей, а мы сети метнем. Вон там поставим. — Всеволод указал концом небольшой свернутой плети туда, где деревья расступались, образуя длинный прогал. — Прямо сейчас и начнем ставить. А люди пусть гонят зайца на нас.

Прокофий с сомнением пожал плечами:

— Далековато, государь. Давай еще проедем.

— Сказал — здесь, значит — здесь. Ты что? Скоро уж темнеть начнет.

— Где темнеть-то? Только рассвело!

— Ты мне брось разговоры! — привычно строго прикрикнул великий князь. — Твое дело зайцев гонять, а не разговаривать.

— Слушаю, государь. Ну, посылать, что ли?

— Делай.

Прокофий ускакал к своим выжлятникам и вскоре вместе с толпой конных, которых как бы тянули за собой рвущиеся на сворках псы, уехал вперед — рядить загон. Всеволод спешился. Глядя на него, поспешно слезли с коней и все остальные. Княжич Константин спрыгнул неловко, оступился, упал, но тотчас поднялся, отряхивая снег и улыбаясь, чтобы скрыть смущение.

— Не замерз, князь Константин? — спросил Всеволод.

— Нет, батюшка.

— Ничего. На охоте не замерзнешь. Сейчас тенета метать будем, — согреешься.

Подошел Добрыня, склонился над Константином, помогая отряхнуть кафтанчик сзади.

Никого не надо было учить, что делать. Заячья ловля была известна всем. Только Константин впервые участвовал в такой охоте. Пока повозные отводили сани в сторону, челядь вдоль лесного прогала забивала в твердую зем-

лю заранее приготовленные колья. Стали вынимать из саней свернутые сети, расправлять их. Всеволод захотел ставить среднюю сеть — самую длинную. Оба зятя помогали ему, нарочно не подпуская Святослава Глебовича, который суетился рядом. Обычное возбуждение, предшествующее ловле, охватило всех. Ростислав Ярославич, правда, чуть было не испортил настроение великому князю, чересчур грубо пошутив со Святославом и едва не разодравшись с ним.

— Ты, князь Святослав, лучше бы с загонными пошел, — сказал он громко, так, чтобы все слышали. — Вот бы зайцев напугал-то!

Даже неприхотливый Святослав понимал такие оскорбления. Он вспыхнул:

— Сам иди зайцев пугать! Сам иди!

— Ну, ну, князь Святослав, — вмешался Всеволод Юрьевич. — Не видишь, что ли, — шутит он. А ты, князь Ростислав, — помрачнев, обернулся он к зятю, — думай, когда говоришь. На охоте мне ссор не надо!

Ростислав Ярославич и сам видел, что перегнул палку. Извиняться, однако, не стал, буркнул что-то и потащил конец сети — привязывать к дальнему колу. Великий князь, глядя ему вслед, подумал, что зять, пожалуй, не очень умен. Нет в нем той душевной тонкости, которую Всеволод так ценил в себе и других. Первый признак недоброго и неумного человека — это если он любит унижать тех, кто слабее его. Нелегко будет за ним Всеславе. Да теперь уж что об этом говорить.

Всеволод вдруг рассердился на себя. Что за мысли грустные на охоте? Зять как зять. Подумаешь — сказал несуразицу. Молод еще — вот и вся причина.

Он заставил себя развеселиться, улыбнулся даже насупленному Святославу Глебовичу.

— Не сердись, князь Святослав. Ты мой гость, а значит — ничего не бойся. Ну-ка, помоги лучше.

Сразу просияв, Святослав кинулся помогать разматывать туго скрученный конец ловчей сети.

Добрыня работал в паре с Константином. Юный княжич все хотел делать сам, и Добрыня не мог наглядеться на своего воспитанника. Не имея представления о том, что это за сети и как их ставят, Константин все же из гордости вел себя так, будто на своем веку этих сетей поставил множество. Не спрашивал, что делать, даже у Добрыни, который, поняв, что княжич не хочет, чтобы ему подсказывали, молчал. Искоса поглядывал Константин по сторонам и, видя, что делают другие, тут же повторял это, сразу

схватывая суть. Рукавицы он снял и не обращал внимания на покрасневшие замерзшие руки. Когда сеть была поставлена, Константин сам догадался растянуть низ, уложив его на снегу пошире — чтобы заяц, если захочет подлезть под сеть, как он делает, пробираясь по кустарнику, оказался полностью накрытым сверху.

— Правильно сделал, княжич, — похвалил Добрыня.

Хоть Константин и разумянился на морозе, а видно было, что еще сильнее покраснел от похвалы. Больше же ничем своего удовольствия не выдал.

Добрыня нет-нет да и поглядывал на князя Ростислава Рюриковича. Его словно тянуло разглядывать мужа Верхуславы. Да, дело прошлое, Добрыня уже не тот, дома ждет его милая Владушка — ненаглядная жена, но любовь к маленькой княжне, оказывается, до сих пор живет в душе. Это Добрыня понял, когда увидел Верхуславу несколько дней назад. Нет сомнений — жена Владушка куда дороже ему всех на свете княжон, но ведь обе эти любви, что помещаются в душе у Добрыни, — разные. К жене — одна, к повзрослевшей Верхуславе — другая. Выходит, человек, сколько бы любовей ни испытывал в жизни, все их сохраняет в сердце и все ему дороги. Может, и его Владу тоже кто-нибудь хранит в своей душе? Добрыня понял, что смотрит на Ростислава Рюриковича с сочувствием, хотя и слегка ревнивым.

— Уходим, уходим! — объявил великий князь. — Скоро гнать начнут!

Все сети были уже поставлены. Теперь надо было отойти, спрятаться за деревьями, чтобы не пугать выбегавших к сетям зайцев.

Уже скакал, приближался Прокофий. Он всегда ухитрялся всюду успевать. Да и в самом деле, если ловчий пропустит самое главное на охоте — то и зачем она ему? Увидев, что тетенга стоит, Прокофий отъехал на коне подальше в лес, к саням, спешился, привязал коня. Подошел к великому князю.

Всеволод знал, что все в порядке, иначе ловчий не появился бы здесь. Но по привычке строго спросил:

— Где зайцы?

— Одного видал, — с готовностью отозвался Прокофий. — Сейчас приведут.

Во время охоты у них с великим князем считалось, что они вроде как равны. Не совсем, конечно. Наверное, это было правильно — ведь зверь, он не различает, где князь, а где последний холоп. Значит, и законы на охоте другие.

— Большой заяц-то? — подыграл ловчему Всеволод.

— Да не очень. С половину этой вот сосны будет всего, — постучал по дереву Прокофий. — А с рогами и до верху достанет.

— Где же вы такого рогатого нашли?

— Да не мы, а он сам нас нашел. Сейчас собак наших гоняет.

Они бы еще долго перешучивались, но вот лай стал слышен отчетливее, громче, и вдруг на поляну к сетям выбежал первый заяц. Увидев сети, остановился. Видимо, был уверен, что оторвался от погони достаточно далеко. Погоня была такая, что от нее не спасешься, запутывая следы. Пришлось уходить далеко от привычного места. Теперь он не спешил. Ковыляя, прошелся вдоль сетей — выискивал, куда бы пролезть. Потом полез — и попался: запрыгал, забился, запутываясь окончательно. Наконец затих, не понимая, что с ним случилось. Время от времени вскидывался, бил задними лапами, но снова, убедившись, что не помогает, замирал.

— Это тот, что ли? — тихо смеясь, спросил Всеволод ловчего.

— Я и то гляжу — он или не он, — зашептал Прокофий. Но тут на поляну выскочило еще штук десять. И пошло. И пошло! Зайцы появлялись один за другим, с разбегу влетали в тенета, бились там, запутывались. Много их уже лежало, накрытых сетями сверху. Мечущиеся перед сетями, оглушенные близким лаем собак, зайцы уже не обращали внимания на людей, что стояли, не скрываясь, и наблюдали за заячьей бедой.

За деревьями впереди замелькало, и вдруг то, что многие принимали за отряд загонщиков, оказалось большим стадом оленей. Стадо выбежало на поляну и, увидев перед собой сети, набитые скачущими зайцами, и охотников, которые уже близко подошли к сетям, резко свернуло направо и стало уходить. Как назло, почти ни у кого не оказалось оружия с собой. Кто-то кинул короткое копье — не попал, кто-то побежал к саням — доставать луки со стрелами...

Сбегал за оружием и Добрыня. Принес две сулицы — себе и княжичу, а также две короткие дубинки, увидев которые Константин не понял — зачем они. Спрашивать не стал, взял протянутую ему дубинку, увидев, что все вокруг тоже взяли такие же и даже великий князь покачивает дубинку в руке, словно проверяя дерево на тяжесть и прочность.

Охота заканчивалась. Теперь и загонщики вышли к сетям, спешили, собирали беснующихся собак, сажали их на сворки, оттащивали в сторону.

— Костров не будем разводить, государь? — спросил Прокофий.

— Зачем они? Собираемся да едем домой, — ответил Всеволод Юрьевич.

— Вот и правильно, — сказал ловчий. — Что в нем, в зайце-то, сейчас? Никакого вкуса нет. Горечь одна.

— Это так. Им полежать надо недельку на холоде — тогда дойдут, — сказал великий князь, чувствуя, как проголодался. Действительно, если зайца подержать в погребе несколько дней, прямо неободренного, то он перестает пахнуть лесом, корой древесной, становится мягче, словно даже душистее, жирнее. Вот тогда его ободрать, выпотрошить и в котле на слабом жару потомить с полдня — гляди, как бы язык не откусить! Всеволод представил себе блюдо с кусками мягкой тушеной зайчатины и сглотнул слюну. Заканчивать — и скорее домой.

Он шагнул к сетям, которые тяжело лежали, наполненные шевелящимися в тесноте заячьими тельцами. За Всеволодом двинулись и все остальные.

Константин с Добрыней тоже подошли.

Добрыня увидел, что княжич теперь понимает, зачем ему дубинка. Константин, наверное, не ожидал, что случится в самом конце веселой охоты. Подойдя к сетям, он испуганно смотрел по сторонам, не зная, как себя вести. Прямо на него уставился умоляющим взглядом молодой заяц, сумевший просунуть голову в ячейку сети, но не полностью — одно ухо торчало наружу, трепыхалось, другое же было как бы сломано, притяннуто нитями к заячьей спине. Заяц не шевелился сам, только удары и толчки находившихся рядом собратьев двигали его. Он же не обращал на это внимания, глядя на подошедшего Константина с ужасом, как будто среди всех зайцев только один и догадывался, что сейчас произойдет. Начинался забой.

Константин, забыв, что нужно вести себя как бывалому и хладнокровному охотнику, поворачивал по сторонам бледное лицо, и Добрыня, заметив это, сразу пожалел, что не увел княжича. Впрочем, Константин вряд ли дал бы себя увести.

Вокруг работали дубинками. Стоял стук от ударов твердого дерева по заячьим головам.

Сам великий князь, засучив широкий рукав своего корзна на меху, принимал участие в избииении. Он ходил вдоль сетей, всматриваясь, выбирал себе жертву — не каждого подряд, а только самых крупных — и точным ударом успокаивал ее.

Святослав Глебович двигался за великим князем, стараясь попадать по тем зверькам, что находились рядом с убитыми Всеволодом Юрьевичем. Может, ему казалось, что так он угождает великому князю, доканчивая за него работу, которую тот не доделал.

Ростислав Ярославич, подобрав губы, с сощуренными глазами молотил по чем попало, от возбуждения притоптывая ногами. Многие зайцы после его ударов оставались живыми, громко, как дети, кричали от боли и ужаса. Плакали. Этот плач злил Ростислава Ярославича, и он вместо одного верного и милосердного удара обрушивал на зайца сразу несколько, попадая по лапам, по спине, словно хотел не просто забить зверька, но и наказать его за непослушание.

Ростислав же Рюрикович работал быстро и чисто. Не делал ни одного лишнего взмаха дубинкой, и после него не оставалось живых и дергающихся тел. Он уже находился недалеко от Константина и временами взглядывал на княжича, видя, что Константин растерянно стоит перед сетью и не решается ударить. Княжич заметил эти взгляды. И вдруг беспомощно обернулся к Добрыне, который тоже с опущенной дубинкой стоял рядом, как неподвижная скала.

— Что ты, княжич? — понимающим голосом спросил Добрыня. — Может, уйдем отсюда?

Бледный Константин — у него весь румянец сошел со щек — отрицательно помотал головой. Огляделся еще раз по сторонам, и, внезапно решившись, зажмурился — и ударил, стараясь попасть по тому самому зайцу, что с надеждой глядел на него из сети. Ударив, разожмурился и увидел, что попал удачно. Раскосые заячьи глаза все так же смотрели на княжича, но теперь в них не было ни испуга, ни мольбы. Будто заяц что-то понял. Так Константину показалось. Он выбрал следующего и, примерившись, убил его. Из-под убитого зайца тут же вылез, толкая головой сетку, следующий. Константин убил и его. Потом двумя ударами убил еще одного. Еще один заяц забился возле самых ног княжича. Константин стал бить его то ногой, то дубинкой, пока заяц не затих. В холодном воздухе остро пахло заячьей мочой.

Тут Добрыня заметил, что Константина колотит крупная дрожь. Опять ругнул себя: пожалуй, рановато княжичу таким делом заниматься. Шагнул к воспитаннику:

— Княжич! Хватит, пойдем отсюда.

Константин обернулся и замахнулся дубинкой на Добрыню. Это было так неожиданно, что Добрыня отпрянул назад. Княжич еще никогда не был таким.

Замахнувшись, Константин не ударил. Он бросил свое оружие на снег. Губы его тряслись, он начинал рыдать. Добрыня быстро шагнул к нему, обнял за плечи, опустился на колени и прижал худенькое, вздрагивающее тельце мальчика к груди. Развязал свой пояс, отпахнул теплый кафтан, закрыл мальчика полой, как наседка цыпленка.

Всеволод Юрьевич, встревоженный, подходил к ним.

— Что с княжичем? — испуганно спросил он.

— С непривычки, государь, — вполголоса объяснил Добрыня, чтобы никто рядом не слышал.

Великий князь почувствовал досаду. Надо же — не подумал, не догадался уберечь мальчика от такого зрелища. А ведь княгиня говорила: не бери его с собой, рано ему еще. Вот тебе и душевная тонкость. А впрочем, ничего. Все равно привыкать надо.

Он подошел к стоящему на коленях Добрыне, взял его за полу кафтана, которой тот прикрывал княжича. Открыл. Константин обернулся заплаканным лицом, увидел отца и — сунулся обратно Добрыне под мышку, стараясь залезть поглубже, спрятаться.

— Князь Константин, — сказал Всеволод. — Все на тебя смотрят. Пойдем. Надо домой ехать.

Добрыня так и стоял на коленях, не решаясь ни запахнуть кафтан, ни высвободить княжича. Положение, в котором Добрыня оказался, увиделось ему страшно неловким, и он не знал, что делать, понимая, что любое движение сразу поставит его либо на сторону отца, либо на сторону сына. А этого ему не хотелось. Но и продолжать так стоять было невозможно. Он, наконец, отважился бы и поднялся, тем более что колени начинало поламывать от холода. И вдруг почувствовал, как перестает у него под мышкой трястись от рыданий Константин. Вот еще немного — и он совсем затих. Сам вылез, освободив Добрыню, который тут же поднялся с колен. Лицо княжича, хоть и заплаканное, было спокойно и даже слегка надменно.

— Пойдем, батюшка, — сказал Константин.

ГЛАВА 34

Владимирская земля благоденствовала. Бурные события, сотрясавшие Русь, обходили стороной владения великого князя Всеволода Юрьевича.

Воевал со шведами и чудью Новгорода, умывался кровью Смоленск, отбивался от венгров Галич, здерживали нападения дикой степи Киев, Чернигов, Переяславль. Булгары и

мордва опустошали Рязанское княжество, заставляя сыновей князя Глеба забывать о междоусобной вражде и спасать свои жизни совместно. Владимирское же княжество словно нежилось под благодатным ярким солнцем. Ушли в прошлое войны. Города и села полнились людьми, бежавшими со всей Руси, искавшими спасения и находившими его здесь, под спокойной и сильной властью великого князя.

Шли годы. Они всегда проходят быстро, эти мирные годы. Только трудные времена тянутся долго, будто кто-то нарочно замедляет их течение, чтобы люди успели полной мерой испытать выпавшие на их долю страдания и больше ценили радости тихой и мирной жизни.

У великого князя родился еще один сын, которого называли Ярославом. Крещеное имя ему дали — Феодор.

Когда Всеволод Юрьевич был моложе, долгое отсутствие войны вызывало у него беспокойство. Теперь оно только наполняло его уверенностью в своей силе. Раньше он ждал, когда войну против него начнут другие. Теперь же начать или не начать войну, разрешить кому-то воевать или наложить запрет — все это зависело от его воли.

Великий князь больше не вспоминал о том, как мучился, боясь, что не сможет выполнить своего предназначения. Он уже его выполнил! Он устроил землю свою, заставил уважать себя даже врагов, родил трех сыновей, построил храм, равный которому трудно сыскать. Кто сделал больше его? А ведь он был еще, может, лишь в середине своего жизненного пути.

Великий князь наслаждался покоем. Он будто позволил себе сделать передышку, за время которой можно было отдохнуть от волнений и потрясений, обдумать дальнейшую жизнь — не спеша, на долгие годы вперед — и накопить еще больше сил, чтобы совершить все задуманное. Свои дни Всеволод заполнял самыми обычными делами — семьей, хозяйством, церковью, охотой, застольями. Военные дела поручал воеводам, и касались эти дела лишь половцев и болгар. Куманы, в страхе перед железными полками великого князя, откочевали далеко на юг, не осмеливаясь приближаться к границам Владимирского княжества.

Кто мог бы сказать, что такая жизнь недостойна государя, наносит ущерб его чести? Может быть, тот, кто по завидовал бы такой жизни?

Поучение, которое оставил потомкам своим великий дед великого князя Владимир Мономах, стало любимым чтением Всеволода Юрьевича, руководством и наставлением, опорой в поступках. Пусть и не все советы этого поучения

удавалось выполнить. Но кто из князей Мономахова рода следовал поучению с таким послушанием, как великий князь? Впрочем, и сам Мономах говорил, что был бы доволен, если бы потомки следовали хоть половине его советов.

«О, дети мои! — писал Мономах. — Хвалите Бога! Любите также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет вас, но благодеяния. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время. Не скрывайте богатства в недрах земли: сие противно христианству. Будьте отцами сирот: судите вдовиц сами, не давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виноватого: жизнь и душа христианина священны».

Да ведь это прямо сказано про Всеволода Юрьевича! Разве не для того он копил богатства и силу, чтобы все это служило процветанию его земли? Мало ли вдов и сирот получило от него помощь? А насчет жизней христианских — тут даже у самого злого врага не повернулся бы язык, чтобы упрекнуть великого князя. Ведь он всегда стремился не проливать русской крови. Врагов своих миловал. Даже самого большого ненавистника своего — князя Ярополка Ростиславича — давно уже приказал выпустить из темницы и отправить туда, куда захочет. Даже серебра дал на дорогу. Выпускали его, конечно, тайком, ночью, чтобы никто не видел — так великий князь спас закланного врага своего от народного гнева.

«Бойтесь всякой лжи, пьянства и любожества. Чтите старых людей как отцов, любите юных как братьев. В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите, не полагайтесь на отроков и тиунов, да гости не осудят ни дома, ни обеда вашего».

И тут великий князь все заветы выполнил. Исключая, может, того, что касается любожества. Но что называть любожествием, губящим тело и душу? Всеволод Юрьевич никогда не прибегал к насилию, и если порой не мог противиться желаниям тела, то при этом и тела не губил, помогая ему освобождаться от греховных желаний, и душу не губил также, ибо всегда раскаивался в содеянном. Другие князья при живых женах содержат наложниц — вот это действительно грех. А то, что произошло с великим князем несколько раз и, наверное, произойдет еще когда-нибудь, — не грех, а лишь сладкое отдохновение от своего долга, отдохновение краткое, мимолетное, после которого долг выполняется с еще большим рвением. И, за исключением неясного места о любожестве, в поучении Мономаха дальше к великому князю можно отнести все:

«Путешествуя в своих областях, не давайте жителей в обиду княжеским отрокам, а где остановитесь — напоите, накормите хозяина. Всего же больше чтите гостя — и знаменитого, и простого, и купца, и посла. Если не можете одарить его, то хотя бы брашном и питием удивляйтесь, ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу. Приветствуйте всякого человека, когда идете мимо. Любите жен своих, но не давайте им власти над собою».

Опять же — что называть властью жены над собой. Порой и власть жены — благо, если жена мудра, незлобива и любит супруга своего. А княгиня Марья именно такова.

До глубокой старости дожил Мономах. Много славных дел совершил, среди которых одно из славнейших — то, что построил город Владимир. Внуки Мономаховы сделали этот город великокняжеским. Отсюда теперь исходит воля, которой подчиняются многие славнейшие властители земли Русской. Так есть, так будет.

Три сына великого князя — три наследника и продолжателя его дел — росли, слава Богу, здоровыми. Скоро Константин должен был войти в отроческий возраст.

Великий князь и княгиня заботились о его воспитании. Не только мечом размахивать да рядить войско должен уметь властитель, каковым станет Константин. Главная сила — в уме, а его надо развивать с детских лет. Для этого к княжичу были приставлены учителя, учившие его письму и языкам. Необходимо также было учиться счету. Должен был уметь князь разбираться в торговых делах, судейской премудрости, вирах и продажах, строительстве крепостей и храмов — много умения и знаний нужно властителю. И Константин, радуя отца и мать, хорошо усваивал то, чему его учили. Судя по всему, он обещал оправдать возлагаемые на него надежды.

Однако книжная премудрость — хорошо, но самой лучшей наукой для Константина великий князь считал познание жизни — как она есть на самом деле, без прикрас. В этом он и сам мог быть для сына хорошим учителем: позволял ему присутствовать при разбирательствах всевозможных дел, которыми, как государь, обязан был заниматься. Брал сына с собой на полюдье — когда объезжал обширные владения, верша на местах справедливый суд, а иногда, для пользы юного князя, и беспощадную расправу с теми, кто ее заслужил: Константин должен был осознать, что такое княжеская власть и как она беспредельна.

Константин уже имел собственное боярское окружение и свои приписные земли, которым был полный хозяин. Он имел доходы, свою конюшню с полусотней великолепных коней, дворовую челядь, небольшую, пока вроде игрушечную думу, обсуждавшую с княжичем разные мелкие вопросы его маленького внутреннего княжества. У Константина был даже свой полк, состоявший из молодых дружинников и боярских детей. Сотника Крюка княжич называл воеводой, и никто над этим не смеялся. Видя, каким не по возрасту разумным становится Константин, знатнейшие мужи владимирские считали за большую честь добиться благосклонности княжича или пристроить возле него своих детей — для будущей службы будущему великому князю.

Но, конечно, самым главным человеком в окружении Константина оставался Добрыня Юртыч. Когда Добрыня был с княжичем, тот делался и разумнее, и веселее, и спокойнее — Константину словно передавалась частица той силы и доброты, что исходила от любимого дядьки и воспитателя.

Их отношения были не такими, как в свое время у Всеволода и Юрты. Добрыня не стал княжичу Константину слугой, нянькой и тенью — для этого у Константина было достаточно других людей, не то что у Всеволода в юности. Добрыня стал настоящим другом княжича — любящим и всегда стремящимся понять и помочь. Для этого и стараться было не нужно — он полюбил Константина и даже иногда жалел, что тот — сын великого князя, а не его, Добрыни. Именно такого сыночка он хотел иметь.

Общаться им приходилось, однако, не так часто: иногда великий князь сам занимался сыном, иногда Добрыня уезжал выполнять поручения государя. Кроме того, в отличие от Юрты, посвящавшего Всеволоду все свое время, Добрыня был семейным человеком, и юный Константин никогда не старался его задерживать возле себя, если видел, что друга тянет к семье. Княжич не сердился за это на Добрыню.

А того действительно тянуло в семью. То ли причиной была прямая и бесхитростная природа его, раз и навсегда повелевшая: вот жена твоя, и люби ее, потому что другой не будет, то ли ясноликая Влада оказалась именно такой, какая ему была нужна, но жили они хорошо — душа в душу, едва ли не с первых дней супружества, когда еще не преодолено было взаимное смущение. Добрыня и Влада сразу подошли друг другу, как из целой связки перстней в лавке у торговца узорочьем лишь один перстень, бывает, подходит к пальцу. Мастерницей оказалась Любава, выбрав Владу для своего приемного сына.

Свадьбы сыновьям Юрята справлял по очереди. Сначала женил Бориса, потом Добрыню. Средств на это у Юрята, слава Богу, хватило. И венчал обоих сыновей новый епископ Иоанн, и обе свадьбы получились такими, что не стыдно ни перед кем, — шумными, веселыми, с множеством знатных гостей. Великий князь с княгиней побывали на обеих.

С Еленой тоже все обошлось. Уже после свадьбы Любава выведала, что княжна, узнав, что милый ее женится, даже как-то успокоилась, не плакала, не кричала, наоборот, словно обрадовалась: сидела молча, улыбаясь бессмысленной улыбкой, покачивалась, прижимая что-то к груди, мычала под нос, как будто убаюкивала младенца. И с этого дня стала тише, погруженная в свои думы, будто знала что-то такое, что недоступно было понять другим. Старухи, состоявшие при Елене, говорили: она стала лучше, чем раньше была. Любава, перекрестившись с облегчением, решила — это Бог их всех спас, вразумил княжну.

Добрыня с Владей жили своим домом. С позволения великого князя Юрята выстроил молодым дом неподалеку от своего. Борис же с Ориной остались жить в старом доме, при отце и матери. Хотел Юрята и Борису дом выстроить, но великий князь посоветовал не спешить с этим, потому что имел на Бориса виды. Ну, виды великого князя есть причина уважительная. С тем и зажили.

Не прошло и года, как Влада родила Добрыне дочь. Назвали Улитой и окрестили под этим именем, но с Добрыниной легкой руки для всех она была Первуня.

А Юрята, наверное, радовался больше всех — внука ведь появилась у него. Он сильно постарел, выглядел совсем дедушкой. Хоть и была еще сила в руках, но уже не та, что всего несколько лет назад. Теперь, для того чтобы на коня влезть и мечом взмахнуть, приходилось напрягаться. Совсем не то что в молодости, когда своих телесных усилий не чувствуешь — и руки и ноги делают все сами и не знают усталости. А сейчас, когда сыновья большие, младший сын Любимушка тоже растет как колос под летним солнцем, да и внуки пошли — того и гляди Борис подсыплет, да и Добрыня не остановится же на единственной дочери — сейчас молодиться было уже вроде и ни к чему. Пора жизни идти к своему завершению, да Бога надо благодарить, что так славно она завершается.

Любава, женив сыновей, или, как она говорила — сбыв их с рук, будто новой любовью загорелась к мужу. Такая стала ласковая да покорная, во всем ему угождала. Сына

Любима вдруг взялась растить в каком-то чрезмерном почтении к отцу, пресекала всякое слово или действие сына, если ей казалось, что это сказано или сделано без священного трепета перед Юратой. Самому Юрате, не привыкшему, чтобы перед ним трепетали, даже становилось неловко, он одергивал жену — и это была единственная причина, из-за которой у них происходили небольшие размолвки.

У Бориса с молодой женой складывалось не так счастливо, как у Добрыни, но об этом знали только Борис и Орина, которой казалось, что муж к ней холоден. Молодые не ссорились, на людях бывали вместе, но по ночам Орина, бывало, плакала. Она старалась плакать незаметно для Бориса, он все же это видел — и не спешил ее утешать. И это ее огорчало еще больше.

Когда на свадьбе сидели рядом, Борис казался ей таким ласковым и влюбленным. Но потом, когда их отвели в спальню, он разочаровал ее, исполнив лишь то необходимое, что требовалось для брачной ночи. Но сверх того ничего молодой жене не подарил, словно скупой, больше всего опасавшийся, как бы не переплатить за товар. Это ли не обида для девушки? Ведь Орина знала, как это бывает, — ей рассказывали.

Ну хорошо, первая ночь — понятно, устали за день, в храме настоялись, переволновался муж. Орина заснула, как в воду опустилась. Но и в следующие ночи было так же скучно.

А Борис, конечно, не мог ей ничего объяснить и поделаться с собой ничего не мог. Никак не шла у него из головы Потвора, купеческая вдова. Уж он ее и бросать собирался, и она ему велела больше не приходить — дескать, замуж собралась. Но через некоторое время все опять начиналось. Узнай кто-нибудь о том, что она принимает у себя боярского сына, — дом сожгут, а ее если не прибьют до смерти, то в монастырь сошлют навечно. И она испытывала облегчение, когда он уходил. И совесть Потвору мучила, не заглушаемая больше ее веселым нравом, и понимала она, что все это довольно скоро должно кончиться, потому что Борис не женится на ней, а годы проходят. Ей вдруг захотелось принадлежать огромному мужику с жесткой бородой и мозолистыми лапищами. А таких в их конце жило немало, и тут можно было без шуток начинать подумывать о замужестве. Но проходило несколько дней — и Потвора с утра внезапно начинала ощущать острую тоску по Борису. Маялась весь день, вспоминала его, кляла себя за то, что прогнала его в прошлый раз. А как только тем-

цело — слышала тихий стук в окошко, условный стук, которым Борис извещал ее о своем приходе.

Потвора, имевшая склонность к колдовству, верившая в волхвов и русалок, считала, что ничего удивительного в этом нет, кто-то, значит, их приворожил, ее — к нему, его — к ней. Бориса же это пугало, он не хотел такой зависимости, она не вязалась с его дальнейшей судьбой. И когда Юрята сообщил, что хочет женить сыновей, и Борис узнал, кто его суженая — а Орину он заметил давно, — то воспринял известие о своей женитьбе с радостью. Рядом с красивой Ориной он найдет успокоение и познает наконец истинную любовь.

Но как ни пытался Борис полюбить Орину, как ни истирал душу и сердце, пока ничего не выходило. Он все так же искал любой предлог, чтобы отлучиться из дому и навестить Потвору, хотя теперь делать это стало неизмеримо труднее и удавалось в основном днем, а это было опасно.

И тут произошло событие, которое помогло Борису освободиться. Причиной всему стал великий князь. Наверное, только он один мог изменить судьбу Бориса, и он ее изменил.

Длительное мирное время заставляло великого князя искать, куда бы он мог направить накопившиеся силы. Ему пришлось на ум расширить свои уделы, укрепившись на юге — потому что он узнал, как это можно сделать, не ведя войны.

Дело в том, что более полусотни лет назад возле Киева Ольговичами был сожжен небольшой городок — Остерский Городец, бывший законной вотчиной Мономаха, который его и построил. Со времени Долгорукого суздальские князья имели право на этот город. Но, увы, сын Мономаха, князь Ярополк Владимирович, когда-то не сумел его защитить. Городец Остерский больше не восстанавливался, так и лежал грудой углей и золы, постепенно зараставшей травой и мхом.

Но место-то оставалось! И оно по-прежнему было за суздальским князем, то есть за Всеволодом Юрьевичем. И ему очень захотелось этот Городец отстроить заново. Мысль укрепиться посреди Южной Руси и на глазах у Святослава, недалеко от Чернигова, вблизи днепровских городов Рюрика, захватила великого князя.

Это должно было стать еще одним доказательством его силы. Да, отстроить город! А к Городцу — свободный проезд по Смоленской и Черниговской землям. Кто попробует войску великого князя запретить свободно пройти к своему городу? А когда у Святослава, у Давида, у Рюрика под

носом окажется сила владимирская, то гордые князья станут гораздо более сговорчивы.

Нужен был для нового строительства Остерского Городца великому князю особый человек. Во-первых, он должен быть достаточно родовит. Чернеца Акинфия на такое дело не пошлешь, это все равно что теленка посылать в волчью стаю — сожрут. Так вот, чтобы не сожрали, этот человек должен быть способен распорядиться силой дружины. Но воеводу посылать на строительство глупо. А этот человек должен быть для всех на юге новым, и желательно — молодым: молодые да честолюбивые не так легко идут на сделки, и меньше опасности, что задание, порученное великим князем, посчитают менее важным, чем устройство собственных дел. Искушений же разных там, на юге, придется увидеть много! Человек этот должен быть кем-то из своих, хорошо укорененным на Владимирской земле.

И лучше молодого боярина Бориса Юрятича строителя не нашлось.

— Поезжай, — сказал Борису великий князь. — Если город мне построишь — награжу щедро. Среди именитых мужей будешь одним из первых. Помни: город этот мне нужен.

Для строительства города много чего требуется. Особенно если строить его далеко от своей земли, где и люди знающие всегда найдутся, и работники, и припасы, и помощь. Борису предстояла задача, которую выполнить мог далеко не каждый. Он решил, что сможет.

Чтобы не возникло недоразумения, великий князь известил всех южных владетелей, что собирается возродить город, построенный дедом, и поскольку законность этого никто не может оспорить, то всякие помехи строительству станут считать для себя оскорблением. Борис выехал в Городец, оставив дома беременную жену — не в шатре же ей жить.

Городец Остерский предполагалось прежде всего хорошо укрепить. Нашлись у великого князя мастера, умевшие строить крепостные стены по всем правилам военной науки. С собой Борис выпросил самого Пятку и двух его помощников — только что они закончили постройку внешней стены в Суздале. Мастеров этих Борис хотел убедить в том, что укрепления нового города лучше всего строить наподобие тех, что окружают город Торжок. Он помнил, как не смогло войско великого князя взять их приступом, отчетливо помнил и как они устроены. Мастер Пятка, однако, сказал, что крепость ту торжокскую помнит, восхищения боярина Бориса не разделяет и вообще — надо сначала на месте посмотреть, что и как, а там само скажется.

С рабочими решили так: своих от дела не отрывать, а нанимать на месте. Если нужно — покупать села с людьми там же. Смотря по тому, что выйдет дешевле — платить наемным или сразу купить своих. Две тысячи гривен выдал великий князь Борису, предупредив, что потребует отчета. Для отчета к серебру был приставлен писец.

Прибыв на место, начали осматриваться. Три сотни дружинников, переданные воеводой под начало зятю Борису, разбили стан, и место, где суждено было подняться из праха и развалин новому Городцу, стало напоминать поле битвы, а не попроще для созидательных трудов.

Вокруг осевших, размытых дождями земляных валов и заросшего пожарища зияло пустое пространство, некогда бывшее лесом, который вырубili на постройку города. Невдалеке темнели боры, которые предполагалось пустить на новые бревна. Внизу, под высоким крутым берегом, медленно катился широкий Днепр. На другом берегу Днепра, раскинувшись на холмах, блестя на солнце золотом куполов, лежал Киев, древняя столица всей Русской земли.

Оказалось, мастер Пятка имеет знакомцев в Киеве и может обеспечить строительство наемными работниками — умелыми, недорогими и вдобавок со своим оружием. Для Бориса Пятка оказался настоящей находкой. Без него пришлось бы изрядно помучиться, разыскивая в ближних окрестностях людей, умеющих не просто держать в руках топор или лопату, но знающих, как и зачем возводить земляные валы, прокладывать рвы, устраивать водостоки, ладить основания для стен и ворот, поднимать стены с бойницами, наводить забрала и ставить сторожевые башни. Работа началась уже через неделю. Услышав про строительство, со всей округи потянулись желающие заработать. Пятка отбирал самых подходящих.

К зиме средства кончились — две тысячи гривен были истрачены. А еще и треть работы не была сделана. Борис, захватив с собой писца, мастера Пятку и десяток дружинников, кинулся во Владимир — объяснять великому князю, что нужно еще серебра. Он обмирал от мысли, что Всеволод Юрьевич заподозрит его в том, что он зря растратил средства, выданные ему, ничего не сделав. Но ничего не произошло. Великий князь был доволен, средства обещал, велел Борису пожить дома до тех пор, пока не будет собрано еще тысяч пять гривен, но мелочью — кунами и резанями. Борис сам просил, так удобнее было рассчитывать с работниками.

Самое радостное для Бориса оказалось все же не то, что великий князь похвалил его. Дома, встретившись со всеми домашними, полюбовавшись на сына Кузьму, названного в честь деда, Борис почувствовал, что соскучился по Орине. Она после родов утратила юное очарование, которое было в ней, но стала красива какой-то тихой, особенной красотой расцветшей женщины. Борис поразился: как мог он не оценить ее? Вспомнил Потвору — и ничто не шевельнулось в груди. Приятное воспоминание, а больше ничего. Получалось так, словно Борис второй раз женился. Потвора отпустила его. Для Бориса и Орины началась новая жизнь.

Он задержался в родном доме дольше, чем хотел. Но великий князь поторопил его, и Борис с трудом оторвался от семьи. Теперь ему хотелось скорее достроить Городец и вернуться обратно.

О Потворе он больше не думал.

И вот он вернулся во Владимир, доложил великому князю, что поручение его выполнено: Городец Остерский стоит над Днепром, имеет крепкие стены, в нем есть место, где можно размещать дружину, селить людей. Есть даже пристань на Днепре, куда приставать судам. Оставалось посадить туда ловкого и хитрого посадника, чтобы город жил и процветал. Великий князь захотел приблизить его к себе. Борис был назначен опекуном юного князя Георгия, как Добрыня был при Константине. Кроме того, занял место в боярской думе вместе с Юртой и Добрыней. Вот теперь можно было строить свой дом. Да что там дом — целые палаты. Великий князь выделил для этого землю рядом с новым Успенским собором, где стояли дома богатейших и знатнейших мужей владимирских.

Борис больше никогда не был на Заболонье — не имел никаких дел с торговым людом. Поэтому он так и не узнал, почему Потвора освободила его. Она умерла через несколько дней после того, как он отправился строить город для великого князя. Умерла тихо. Отчего? Ведь не болела ничем, не жаловалась. Нашли ее в спальне. Она, видимо, готовилась ко сну, но до постели не добралась, лежала на полу, навзничь, с открытыми глазами.

Вскоре Борис уже стоял рядом с маленьким князем Георгием во время пострига, подводил его к епископу Иоанну, помогал взобраться в высокое седло. И сам себе дивился: попробуй ему раньше кто-нибудь скажи, что возню с младенцем, пусть даже и сыном великого князя, Борис сочтет делом важным и даже почетным! Он посмеялся бы и не поверил. Нынче же, став отцом, он сознавал: воспи-

тать мальчика — воина, мужа, защитника и добытчика — есть высший долг мужчины. Георгий же был не простой мальчик. Он должен стать хозяином земли, хозяином самого Бориса и его детей. И Борису очень захотелось вырастить из него достойного хозяина.

Будущий же хозяин этот по природе и душевному складу Борису подходил вполне. В свои три года был лукав, смешлив, проказлив. Даже во время пострига баловался — важно надувал щеки, а сам еле удерживался, чтобы не прыснуть. Константин был строгий, вдумчивый, склонный к мечтательности. Георгий же напоминал Борису его самого в детстве. С ним было легко и приятно.

Весной великий князь решил строить новый храм. Не в городе, не митрополичий собор — таким мог стать уже строящийся Рождественский собор, заложенный вместе с монастырем недалеко от Владимира на берегу Клязьмы. Великий князь захотел построить свой храм при дворе.

Такой храм задумал великий князь, какого еще ни у кого не было на Руси. Носить он станет имя святого Димитрия Солунского, воина — покровителя всех славян и самого великого князя. Построен будет от основания до креста своими, владимирскими мастерами. Даже Акинфий, занятый с епископом Иоанном на строительстве Рождественского монастыря, не будет строить новый храм.

Это будет самая красивая церковь на Руси — из всех, что были до нее, и всех, что будут построены после. Она воплотит в себе все искусство, которым славятся русские мастера, всю красоту Русской земли и все величие князя Всеволода Юрьевича. Она навеки прославит его. Внуки и правнуки станут вспоминать о нем с восхищением и благодарностью.

Давно уже великий князь хотел построить такой храм. Давно уже собирал во Владимире умельцев. Давно представлял, каким этот храм должен быть. Но никто не знал, что замысел его родился тогда, когда он заметил в сказании о походе Игоря Святославича на половцев насмешку над собой. Там говорится, что великий князь может Волгу расплескать веслами, а Дон вычерпать шеломами. Этим храмом он ответит всей Руси: да, я все могу. И Волгу, и Дон, а если нужно — то и Днепр вычерпаю. Но могу и больше. Сколько ни вычерпывай реку — она все равно будет течь, да и для того, чтобы веслами махать, особой мудрости не нужно. А храм Святого Димитрия воссияет на века, и те, кто позволил себе посмеиваться над великим князем, во все века будут посрамлены.

С первыми теплыми днями начали строительство.

Храм решено было ставить рядом с княжеским дворцом. Зодчий Веденей — коренной владимирский, построивший несколько церквей в городе и помогавший Акинфию на Успенском соборе, — разметил самое ладное место, которое выбирали с князем, вышагивая по двору, присматриваясь то из одного конца, то из другого. У них обоих храм уже существовал в воображении, поэтому место определили одно и то же, независимо друг от друга — на небольшом взгорке, почти посередине двора, шагах в полсотне от крыльца. Взгорок этот был целый день открыт солнцу, никакая тень не падала на него, а весной на нем первом ставил утоптаный за зиму снег.

По сухому пути были отправлены обозы за камнем. Единственное — камень приходилось использовать иноземный, все же он был лучше местного — белее, плотнее, легче выдерживал резьбу. А резьбы предполагалось много.

Веденей, хоть и не был знатного рода, стал вхож во дворец вроде иного ближнего боярина. Приближен был по совету Акинфия и за умение обласкан великим князем. Всем строго предписывалось знатностью перед Веденеем не кичиться и грубостей по отношению к нему не допускать. И он пользовался этим — похаживал мимо бояр да свысока на них поглядывал. Не на всех, конечно. С Добрыней Юрятичем, например, сдружился, мог ему подолгу рассказывать про будущий храм. Боярин Добрыня был прост и, несмотря на свои богатырские размеры — маленький Веденей головой едва доходил Добрыне до груди — испытывал благоговение перед искусством зодчего.

Боярин Добрыня относился к Веденею так уважительно не только из-за одного его мастерства. Каждый в этой жизни что-то умеет, каждому что-нибудь дано Богом, и хвалы достоин только тот, кто этот Божий дар в себе самом разглядит и не даст ему пропасть.

А просто Добрыня чувствовал, что храм этот каким-то образом повлияет на его судьбу.

ГЛАВА 35

Святослав Всеволодович, князь Киевский, с горечью понимал, что жизнь его, подходящая к концу, заканчивается совсем не так, как он хотел бы. Горечь его усугублялась сознанием собственной старости. Пока чувствуешь в себе достаточно сил, любые неудачи кажутся временными, надежда оживляет и подбадривает дух, отмеренный жизненный срок еще вполне долог, чтобы попытаться изменить судьбу.

С юных лет Святослав был нацелен на достижение высшей власти. Союзы, которые он заключал, клятвы, которые давал, войны, которые вел или отказывался вести, — все служило одному: подняться над всеми, стать главным властителем Руси. А когда это будет достигнуто, никто не станет вспоминать о нарушенных клятвах, преданных союзниках, братоубийственных войнах — все склонится перед великим князем Киевским, отдадут ему свои мечи и жизни.

За плечами пятьдесят лет борьбы за власть. Состарилось тело, руки уже не в состоянии вынуть меч из ножен, натянуть тетиву. На коня приходится влезать с помощью слуг, к тому же нечасто. Куда ездить князю? До церкви пешком дойдешь, а если куда подальше нужно — довезут. Давно минули времена, когда Святослав с седла поглядывал на встречавшую его коленопреклоненную толпу. Кланяются и сейчас. Называют великим князем, государем всей Руси, а сами знают, что это только одно название — великий князь, а Русская земля давно не подчиняется Святославу.

Куда ушли годы и на что? Сколько могучих и грозных властителей пережил Святослав Всеволодович, сколько видел битв, поражений, побед, возвышений и падений! Не во всех битвах сам побеждал, но в конце концов всегда оказывался победителем, умея даже из поражения своего извлечь для себя выгоду. И добился чего хотел — золотого киевского стола, старшинства среди князей Ольгова великого рода. А если подумать — чего достиг? Утешаться ли этим старшинством? Чувствуешь себя, как дедушка в большой семье: седобородый, величественный, сидит в красном углу под образами. Сыновья, внуки, снохи — уважают, привечают, за столом лучший кусок дают, делают вид, что во всем дедушке послушны, страшатся его гнева, и все это — лишь бы не тревожить его покойную старость. А у каждого уже своя жизнь, свои дела. Вот уже кто-то прячет ухмылку, когда учишь его, как надо жить. Замахнуться бы на дерзкого, да по роже бесстыжей — нет, руки-то уже не служат. Да и не хотелось бы драться, пора заботиться о душе, готовить ее к последнему походу.

Тело состарилось, и желания притупились: не хочется ни яств изысканных, ни питья хмельного, ни других усад. Тут бы и душе утихнуть, успокоиться. Но не утасает в душе огонь, никак не утасает. Не дает примириться. Как получилось, что мальчишка, юнец безудельный, что за счастье считал когда-то находиться под покровительством Святослава Всеволодовича, теперь его же и пересилил, загнал в золотую клетку киевскую? Разве трудился в своей жизни

князь Всеволод столько, сколько Святослав, разве пролил столько крови, разве провел столько лет в походных шатрах да в седле? Так почему же этот юнец стал настоящим великим князем, а не Святослав? И как перенести такое? Ведь даже Киевом своим Святослав обязан владимирскому князю: если бы Всеволод не сдерживал Ростиславичей, Давида и Рюрика, давно бы вышли они отсюда старшего среди Ольговичей. Святослав не мог испытывать к Всеволоду благодарности за такое благодеяние. Лишь бессильный гнев мучил его: изменить теперь ничего было нельзя. Слишком влиятельным стал великий князь Владимирский. Его сила позволяет ему править князьями, не выводя войско из владимирских пределов. Сидит себе во Владимире, навязывает всем свою волю, а войны не хочет, хочет мира. Это миролюбие раздражало Святослава сильнее, чем раздражала бы прямая угроза нападения.

Однако приходилось смирять свою гордость, подчиняться молодой силе Всеволода. Жить, убеждая себя, что киевский стол — это самое большее, чего может достичь человек: разве Киев не старший среди всех городов? В последние годы Святослав пытался убеждать себя в том, что он еще велик и могуч: много ездил по уделам своих сыновей, по землям черниговским и киевским, принимал знаки уважения и вмешивался во все дела, закладывал церкви и по-пробовал даже построить мост через Днепр, правда, неудачно. Вся эта деятельность не приносила ему удовлетворения. Повелевать родственниками — честь небольшая, а строительство храмов, наверное, больше засчитывается в заслугу на небе, чем на земле. Ну что ж, значит, надо было доживать, надеясь на то, что там, наверху, ему воздастся щедрее и справедливее, чем воздалось здесь.

Но владимирский князь разве даст жить спокойно? Объявил о своих правах на Мономахову вотчину — спальный Городец, о котором и думать все забыли. И тут же начал его воссоставлять. И ведь выстроил, прислав молодого и наглого боярина своего. Небольшой город, а крепкий, в таком отсидишься, отобьешься от сильного войска. Из Киева хорошо виден этот город, и не просто виден — торчит в глазу, как заноза. Будто напоминает тебе князь Всеволод каждый день, кто в Русской земле настоящий хозяин. И настал день, когда Святославово терпение кончилось.

Как часто у него бывало, началось с пустяка. Святослав сидел после обеда в покоях, отдыхал возле отворенного окна. Лето только недавно наступило, еще не мучило жарой, ласкало запахом молодой зелени. Дел никаких не бы-

ло. Чтобы скоротать время, он решил привести себя в порядок. Несмотря на годы, много внимания уделял тому, как выглядит. Тщательно причесывался, подстригал бороду, даже притираниями пользовался, чтобы скрыть морщины, хотя не очень-то их и скроешь. Для ухода за наружностью был у Святослава прибор — венецианский складной ларец с зеркалом. В это зеркало он подолгу смотрелся: никогда не отличался особой красотой, но себе нравился, а к старости стал нравиться, пожалуй, даже больше. Подсел к столику, привычно открыл ларец, глянул, повернул лицо так, эдак. И вдруг — даже губы задрожали. Почему-то подумал Святослав, что близок, близок тот день, когда он последний раз увидит себя в зеркале. Душа ведь наружности не имеет, а тело останется в земле. Скоро ему, князю Святославу, предстоит покинуть не только этот мир, на который он достаточно наглядываясь, близится самое страшное расставание — с самим собой. Незначительное это открытие помогло Святославу острее почувствовать приближение смерти, конца жизненного пути. Зароют — и все. Старая неутраченная обида на несправедливую судьбу вспыхнула с новой силой.

Святослав захотел действия. Надо было что-то делать, куда-то ехать, собирать войско. Довольно сиднем сидеть в Киеве, глядя на Остерский Городец на том берегу. Отбросив ларец, чтобы не смотреть в проклятое зеркало, позвал писцов. Велел писать князьям — брату Ярослав в Чернигов, Святославичам — Всеволоду в Курск, Игорю — в Новгород Северский, чтоб собрались. Где собрались? Хотел велеть всем собраться в Киеве, но почему-то передумал, назвал небольшой городишко Карачев в Черниговской волости Ярослава. Прибыть всем в Карачев. Сам решил выехать туда незамедлительно.

Зачем? Он еще сам не знал. Надеялся, что, собрав возле себя послушных князей, почувствовав свое старшинство, увидев их готовность повиноваться, сразу забудет душевный страх. А тогда, может, придет решение — что делать. Он все-таки великий князь Киевский, и его предназначение — совершать великие дела.

Нельзя сказать, что князья мгновенно откликнулись на его зов. Несколько дней просидел Святослав в Карачеве, пока не приехали все трое — все его нынешнее воинство: утрюмый Ярослав, схожие между собой Всеволод и Игорь Святославичи. Было видно, что они озадачены, и это разозлило Святослава. Уже похоронили меня, подумал он. Но гнев свой показывать, конечно, было ни к чему. Следовало быть спокойным и повелительным, ведь он — их покрови-

тель, их отец, а они его дети. Сели за стол, как водится. Святослав не сразу подвел разговор к тому, ради чего собрал их всех. Начал издали, от Олега Гориславича, от славных побед его, потом вспомнил, что об этих победах присутствующим хорошо известно и без него. Тогда спросил прямо: нет ли у кого обид? Таких обид, что потребуют вмешательства военной силы Ольговичей? Князья долго думали, но, понимая, что Святослав имеет в виду не половецкие набеги, ничего не могли вспомнить. Выручил Ярослав. Рязанские Глебовичи, сказал он, самовольно перенесли границу, захватив земли на правой стороне Дона. А в договоре раздел между черниговскими и рязанскими землями проходит как раз по Дону. Правда, земель они захватили немного, просто поставили городишко на правом берегу, но ведь им, Глебовичам, только начать. Забыли, поди, как Игорь со Всеволодом бивали их. Так что не пора ли городишко этот сжечь, а Глебовичей опять побить немного, чтобы знали, как на Ольговичей руку поднимать? Договор — святое дело.

Ну что же, подумал Святослав, Глебовичи так Глебовичи. Он поглядел на Игоря и Всеволода и увидел, что они не очень-то обрадовались новой возможности побить удалых сынов Глебовых.

— Князь Игорь! Князь Всеволод! Вы что скажете? — спросил Святослав.

После некоторого молчания и переглядывания Всеволод ответил за обоих.

— Рязанских побить — дело хорошее, великий княже, — сказал он. — Да только они ведь под владимирским князем ходят.

— Что с того? — озлился Святослав. — Они пусть ходят, а мы не будем. Нам обиду нанесли, а владимирский князь тут ни при чем!

Но Святославичи так не думали.

— Здесь дело непростое, великий княже, — сказал Игорь. — Как бы нам большой беды на себя не накликать.

— Глебовичей, что ли, испугался? — крикнул, не сдержавшись, Святослав. И тут же пожалел о сказанном: всем ведь все понятно, перед своими притворяться незачем. Привычка, старая привычка не говорить прямо, вилать, вынуждая других раскрываться. Что уж тут раскрывать-то?

— Глебовичей я не боюсь, князь Святослав, — с излишней гордостью в голосе произнес Игорь. — А с князем Всеволодом Юрьевичем нам ссориться нельзя. — Он немного подумал, видимо желая изложить причину поубедительнее, но dokonчил просто: — Нам не по силам.

И Святослав понял, что как бы он ни кричал, как бы ни угрожал союзникам — да и чем грозить, седой бородой своей? — они не решатся пойти против Всеволода. Ярослав, хоть и во всем подчинялся брату, тоже не хотел ссориться с владимирским князем. К тому же Всеволод Юрьевич приходился Ярославу свояком — детей они поженили.

Так Святослав попал в весьма унижительное положение. Распустить союзников по домам, а самому возвращаться в Киев? Так сделать он не мог, стыдно. Зачем тогда собирал, да еще так спешно, скажут они. Неужели сам не мог догадаться князь Святослав? Совсем, наверное, из ума выжил, будут они говорить. И вот ради самолюбия сиди теперь в Карачеве, где даже толком помолиться нельзя — ни одной приличной церкви нет, — и дожидайся неизвестно чего. Ни начать войну, ни отменить.

Все же, чтобы был повод не отпускать князей, Святослав согласился, наступив — в который раз, Господи? — на свою гордость, написать Всеволоду Юрьевичу. Составить письмо — тоже хитрость немалая. Но в таких хитростях за долгую жизнь князь Святослав поднаторел изрядно. Пришлось назвать владимирского князя братом и сыном, упомянуть о своем неустанном стремлении ко всеобщему миру, намекнуть на свои старые годы, на старшинство среди Ольговичей и только потом назвать истинную причину своего беспокойства: дескать, коварные Глебовичи, от которых наш брат и сын Всеволод Юрьевич столько перенес обид, теперь и до нас добрались, земли наши разоряют, лишают жизни и, конечно, должны за это быть наказаны, с чем князь Всеволод Юрьевич, как поборник справедливости, не согласиться не может.

Письмо было послано во Владимир, и теперь оставалось лишь ждать ответа, убивая время. Впервые князь Святослав пожалел, что непристрастен к винопитию — так и не научился за долгую жизнь топить в хмельном напитке грусть и печаль. Да и то сказать — некогда было учиться, а свою грусть с юных лет считал за лучшее топить во вражеской крови. Теперь сиди и жди — разрешит тебе мальчишка Всеволод смыть свое бесчестье кровью Глебовичей или не разрешит?

Неделя тянулась за неделей. Чтобы не скучать, ездили на ловлю зверину. Святослав не ездил: не те годы, чтобы трястись в седле, да и что толку трястись, если старческими руками и в лося не попадешь стрелой?

Уже лето перевалило за середину, когда из Владимира пришел ответ.

Великий князь Владимирский Всеволод Юрьевич писал письмо без окольных рассуждений: Глебовичи находятся под его покровительством, принадлежат ему со своими уделами и жизнью, и воевать с ними ради их наказания может только Всеволод Юрьевич. А князю Святославу великий князь Владимирский запрещает поднимать на Глебовичей руку и советует уезжать домой, в стольный город Киев.

Святослав, прочитав ответ великого князя, понял, что жизнь закончилась.

Что тут было делать? Ярослав сразу отправился в Чернигов, сославшись на множество дел. На другой день, распрощавшись со Святославом, удалились Игорь и Всеволод. К чему было и томить их целый месяц в Карачеве? С какой-то непривычной пустотой в душе Святослав думал, что ведь ему и раньше было известно, что за ответ придет из Владимира.

Он велел челяди готовиться к отъезду в Киев.

Пока люди сутились, собирая княжеский поезд, Святослав безвыходно сидел в доме посадника.

Разболелось бедро, беспокоился — сможет ли доехать до Киева? Позвал человека, тот помог снять порты. Святослав глянул: левое бедро было напухшее, а посередине опухоль налилась желвак красно-синего цвета. Послать за лекарем? Но разве найдешь здесь знающего человека? Нет, видимо, это был знак: надо скорее торопиться домой.

Когда ехали в Карачев, на всякий случай взяли с собой коня Святослава — старого спокойного жеребца, серого в яблоках, каких князь только и любил. Так и вели его в поводу рядом с княжеской повозкой: вдруг князю захочется проехать немного верхом? Но не захотелось. Теперь Святослав, поддерживаемый слугами, с трудом садясь в повозку, вновь увидел рядом этого жеребца и вдруг подумал, что это последний в его жизни конь. Мысль была такой ясной и простой, что даже не опечалила, заставила взглянуть на коня с любопытством, словно Святослав видел его впервые.

На выезде из Карачева, когда выбрались на дорогу, пришлось остановиться. По сухой дороге трясло нестерпимо, при каждой встряске боль из ноги вскидывалась вверх, била, казалось, даже в голову. Челядь и младший сын Мстислав, сопровождавший отца, были в растерянности. Как доставить князя в Киев? На коне он не ездок, в возке — тоже. Забегали сразу, испугались княжеского гнева. Но Святослав был почти равнодушен. Думал только, что, возможно, придется умереть, не доехав до любимого Киева.

Это было как последняя насмешка судьбы над ним. Лишен всего — молодости, силы, власти, а теперь вдобавок и права умереть в своем городе, под печальный звон Софии Великой, под напутствие митрополита.

Но слуги тем временем придумали выход — нарубили тут же, в лесу, молодых сосенок и березок, устроили что-то вроде волокуши. Сооружение получилось громоздкое, пришлось впрягать в него двух коней, но сидеть на упругой подушке из гибких веток было куда удобнее, чем в тряске возка, на ухабах и ямах не трясло, а будто покачивало тело над землей, как детскую игрушку на ладони. Однако ветви быстро стирались, приходилось останавливаться и устраивать новую волокушу. Святослав велел идти к Десне, ладить насады и на насадах уже плыть до Киева.

По Десне за два дня добрались до Киева, где князь с превеликой осторожностью был доставлен во дворец. Лекарь, осмотрев опухоль на бедре, промыл ее вином и отварами трав, а князю велел лежать в постели и не вставать. Утомленный долгим путем, он вроде бы стал засыпать. Особенно утомила его поездка по Десне — тихое, плавное движение мимо уходящих назад берегов, уходящих навсегда, отчего отчетливо чувствуешь себя умирающим. Во дворце все ходили на цыпочках. Была какая-то общая подавленность: князь уезжал в Карачев еще полный сил, как всем казалось, даже начинали ожидать неких событий. А вернулся дряхлым, больным стариком и тут же начал умирать. Однако Святослав не хотел залеживаться. Проснувшись, вынырнув из забытья, велел себя одевать. Объявил, что отправляется в Вышгород, поклониться мощам святых Бориса и Глеба.

Солнце уже склонялось к закату. Княгиня и другие пытались отговорить Святослава от такого безрассудства — ехать больному на ночь глядя? Он был непреклонен и даже ощутил удовлетворение от того, что приказ его все же стали выполнять — потащили в возок подушки, чтобы князю удобнее было сидеть, закладывали коней, которые поспокойнее. Вообще — подчинялись, угождали. Значит, еще он для них — государь.

В Вышгород, к святым мученикам, прибыли, когда уже стемнело. В храме никого из священников не оказалось, были только сторож да служка, гасивший свечи; они до смерти перепугались, когда увидели, что сам Святослав Всеволодович, великий князь Киевский, входит в церковь. Он сам вошел, опираясь на посох, с трудом двигая распух-

шей ногой. Никому не велел входить вместе с ним. Остановился, сотворил крестное знамение.

Медленно двигаясь к раке, в которой лежали мощи двух невинно убиенных братьев, он вдруг подумал, что никогда не оставался один в храме, и пожалел о таком упущении. Как тихо, торжественно и свято! Один Бог да ты — и больше никого. Привычно отметив про себя, что все это тоже происходит с ним в последний раз, он больше старался не думать о земном. Плача на раке Бориса и Глеба, он каялся перед ними, не ища себе оправданий. Перед ними не было смысла хитрить. Они знали о нем все. Знали и то, что князь Святослав, хотя никому в этом не признавался, всю жизнь чувствовал какую-то вину перед святыми братьями, вот уже почти два века сияющими в Русской земле примером небесной любви, чистоты помыслов и невинного мученичества. Для самого Святослава пример этот в жизни так и остался всего лишь отвлеченным понятием. Он всегда старался получить собственную выгоду и считал при этом, что если и приходится брать на душу еще один грех, то причина не в нем, князе Святославе, а в других князьях, которых приходится обманывать. Вина же перед святыми мучениками — ее не мог чувствовать лишь самый бессердечный и бездушный. Святослав себя таковым никогда не считал.

Попрощавшись с Борисом и Глебом, он захотел попроситься и с отцом, великим князем Всеволодом Ольговичем, погребенным здесь же, в боковом приделе. Но дверь, ведущая ко гробу отца, была закрыта — висел замок. Святослав постоял перед дверью, потрогал зачем-то этот замок, подергал, но тот висел крепко. Пришлось тащиться к выходу — не будешь же кричать в храме, звать сторожа, тем более только что отрыдав на святой раке. Идти было еще труднее — нога казалась огромной, пудовой, боль оглушала при каждом шаге.

Вышел наружу. В свите — облегченное движение. Поиском сторожа взглядом. Он был тут же, на коленях, робко смотрел на Святослава.

— Почему заперто? — устало спросил Святослав. — Придел, где отца гроб, почему заперт?

— Закрыв отец Никандр, — с облегчением ответил сторож. — И ключ унес. Всегда закрывают, великий княже.

— За попом послать, — тихо, ни к кому лично не обращаясь, проговорил Святослав.

Сторож испуганно дернулся, вставая с колен, но не встал: ему не хотелось, да и нельзя было бросить церковь.

К нему подошли, стали спрашивать, где найти попа. Он объяснял долго, путано.

Святослав постоял, уже поддерживаемый под руки, подумал, подумал. Представил себе, что сейчас, в темноте, поедут за попом, долго будут искать его, разбудят, потом он, спросонья испуганный, прибежит, станет суетливо копаться в замке... Ах, этого совсем не хотелось, это нарушило бы торжественность его настроения. Конечно, жаль, что не попрощался с отцом — отец любил его, любил, пожалуй, больше остальных сыновей. Все же он, Святослав, побывал рядом с гробом, а отца, наверное, скоро увидит, непременно увидит.

— Ладно. Незачем попа звать. Домой едем, — сказал он. Его повели к возку.

С этого дня Святослав больше не поднимался с постели. Ему становилось все хуже. Порой ему казалось, что вроде бы легчает: чаще стали обмороки — тихие, благодатные, длиннее стали сны, полные видений. В снах Святослав встречался и разговаривал с теми, кого знал на своем веку. Когда он лежал в таком блаженном забытии, боль в ноге не чувствовалась, поэтому он досадовал, когда выплывал из сна и понемногу начинал узнавать стоявших у изголовья жену и сыновей. Все они — Олег, Глеб, Владимир, Всеволод и Мстислав — собрались возле умирающего отца.

Последний раз душа Святослава встрепелась, как встарь, когда к нему явились бояре с послами из Греции. Сообщили, что царевич греческий, Алексей, возжелал породниться с ним, великим князем Киевским, и хочет внучку его, дочь Глеба Святославича, взять в жены. Ефимия звали внучку, и Святослав ее любил. Узнав о том, что из Греции в Киев движется большое посольство от императора, он обрадовался, взбодрился, словно ожил. Велел приподнять себя повыше. Радостно было узнать, что его попрежнему уважают и великие иноземные властители берут замуж внучек его, считая за честь.

Велел позвать Ефимию, поговорил с ней, дал наставления. Ефимия, также любившая деда, слушала его сквозь слезы, и это ему не понравилось — снова напомнило о том, что он умирает. И Святослав понял, что теряет желание заниматься браком внучки, которым еще какой-нибудь месяц назад занялся бы с большим удовольствием, ибо любил женить и выдавать замуж свое потомство, видя в этом одну из важнейших сторон государственной деятельности. Поговорив с Ефимией, едва нашел в себе силы приказать Глебу и боярам выслать навстречу императорскому посоль-

ству почетную охрану для сопровождения в Киев. Отдав приказ, заснул.

Через три дня вдруг, очнувшись, открыл глаза. Спросил дремлющую рядом на стульце супругу — когда будет день святых Маккавеев? В этот день скончался отец его, и Святославу показалось очень важным умереть в один день с отцом, с которым он так и не успел попрощаться. Жена ответила, что еще не скоро — через неделю. Не дожить, тоскливо, как сквозь туман, подумал Святослав и горестно застонал. Ему уже виделось, как кто-то неведомый манит его, манит за собой. Куда? Это было понятно — куда. Подумалось еще: перед последней дорогой надо исполнить клятву — отдать Киев Рюрику.

Еле шевеля губами, Святослав велел послать в Овруч за Рюриком Ростиславичем. Таков был уговор, таково было обещание, данное великому князю Владимирскому — Киев по смерти Святослава достается не кому-то из его сыновей, а именно Рюрику.

Прибыл игумен: князя Святослава перед смертью следовало постричь в монахи. Пока над ним совершали обряд, приподнимая его на руках, Святослав не мог понимать, что происходит. Как только он был пострижен и наречен новым именем, душа его тут же отлетела. Великий князь Киевский скончался.

На следующий день, едва успели похоронить Святослава, как в городе стало известно о приближении Рюрика в сопровождении большой свиты — бояр и дружины. Срочно стали готовить встречу — от похорон бывшего государя перешли к торжествам, к радости от вокняжения нового. Знатные мужи киевские кинулись переодеваться в лучшие одежды, от всех церквей потащили образа, хоругви, кресты, по улицам побежали бирючи — скликать народ для приветственной встречи.

Над Киевом поплыл многоголосый звон. На стенах, на дороге, ведущей от Золотых ворот к Софийским, к княжескому дворцу, собирались возбужденные толпы. В Киев въезжал новый князь, становившийся сразу великим, как это довелось от века, от отцов, дедов и прадедов.

Рюрик с удовлетворением наблюдал, как его встречают. Сбывались его мечты, сбывались, как он хотел, — Киев доставался ему, словно подарок, почтительно подносимый. Долго, долго ждал своего часа Рюрик Ростиславич. Вот она — древняя вотчина всех славнейших и знаменитейших государей русских, всех предков самого Ростиславича.

И народ его любит — вон как радуется. Что ж, великому государю приятна любовь подданных. Хотя Рюрик въезжал в Киев на коне, при всем оружии, чтобы показать, что он, новый государь, шутить не любит, ему невольно хотелось приветливо улыбаться жителям Киева, встречавшим его.

Но когда он переставал улыбаться, лицо его принимало холодное, надменное выражение.

ГЛАВА 36

Несмотря на то что Рюрик был встречен в Киеве колокольным звоном, он не спешил занимать вожденный княжеский стол. И никто не осмеливался его торопить: и в окружении Рюрика, и в самом Киеве все понимали, что без согласия великого князя Владимирского вокняжение Рюрика будет незаконным и может иметь нежелательные последствия.

Целых две недели, ожидая благоприятного ответа из Владимира, Рюрик злился на себя: зачем бросился в Киев по первому зову, как мальчишка, потерявший голову от счастья? Нужно было сидеть в Овруче и ждать, когда придут, позовут и с почетом усадят на трон. Может, прояви Рюрик чуть больше выдержки, сам великий князь Всеволод приехал бы ставить его в Киеве. И даже наверняка приехал бы — Всеволоду нужен был в Киеве именно Рюрик как видный представитель Мономахова дома. А теперь, когда отзвонили приветственные колокола, возвращаться в Овруч и сидеть там в ожидании было еще глупее. Обосновавшись в Святославовом дворце, Рюрик чувствовал себя странно — не то хозяин, не то почетный гость.

Целых две недели продолжалось такое, пока наконец из Владимира не прибыло большое посольство. Великий князь не приехал, послал вместо себя приближенных бояр, среди которых, к большой досаде своей, Рюрик увидел молодого Бориса Юрятича, недавно построившего великому князю город на земле, которую Рюрик, как властитель днепровских уделов, уже считал почти своей. Пришлось терпеть в своем — теперь уже своем — дворце этого молодца, понимавшего, что его присутствие раздражает Рюрика, и, видимо, поэтому кланявшегося с неуловимым оттенком снисходительности.

Владимирские бояре под локотки возвели Рюрика на трон, вручили ему грамоты от великого князя, митрополит Никифор благословил — и новый князь воцарился в древней белокаменной столице, которая, правда, была уже не такой

могучей, как раньше. Впрочем, обещанное покровительство великого князя делало положение Рюрика весьма прочным.

Радость снова охватила его. Из-за этой радости Рюрик забыл, что получил Киев из чужих рук, что не воинская доблесть, столь высоко ценяемая им, возвела его на золотой трон, а всего лишь смерть старого Святослава. Обладанием Киева окупалось все, даже некоторое ущемление княжеской гордости. Рюрик срочно призвал к себе брата Давида из Смоленска — нужно было начинать большой передел вотчин между сыновьями и племянниками, чтобы еще прочнее укорениться на Киевской земле. Ну и, конечно, для того чтобы устроить небывалый пир.

На несколько дней город, казалось, забыл все свои дела и занимался только едой, питьем и славословием Рюрику. Угощения к пиру выставляли сам Рюрик, сын его — зять великого князя Ростислав, князь Давид, киевские бояре, все городские слободы. Столы, поставленные на улицах, были завалены снедью, которая по мере ее поедания восполнялась из княжеских поварен. Могло показаться, что Рюрик поставил своей целью как можно лучше угодить киевлянам, сгладить в их сердцах двусмысленное впечатление от своей княжеской власти, столь зависимой от великого князя Всеволода. Наверное, так оно и было — хотел Рюрик понравиться всем, велел звать на пир даже монахов из окрестных монастырей, даже торков и берендеев, расселенных по небольшим днепровским городкам. Накормить всех до отвала и напоить допьяна — самое большее, что он мог сделать сейчас, чтобы народ поверил в его богатство и силу.

Но пиры кончились, вместе с приятными воспоминаниями оставив у Рюрика смутное чувство сожаления о своей напрасной щедрости. Ведь как обильно ни корми подданных, их желудки не смогут надолго сохранить в себе такую благодать, а значит, и благодарность народная может уйти так же легко.

Нет, не щедрыми пирами должен укрепляться на троне киевский князь. Но как? Добившись долгожданного киевского княжения, дающего ему — пусть и очень условно — право называться великим князем, Рюрик чувствовал некоторую растерянность: всю жизнь проведя в войнах — то со Святославом, то с половцами, — он не имел государственного опыта, необходимого великому князю Киевскому, не понимал чего-то такого, что, безусловно, понимали и Святослав, и Всеволод Юрьевич. А ведь раньше Рюрик считал себя вполне достойным великокняжеской власти. Оказалось, что это не так же просто, как пересечь из Овруча в Киев.

Исподволь готовя себя к великому княжению, Рюрик пытался даже в Овруче ни в чем не отставать от Святослава и Всеволода. Завел летописцев, коим в обязанность было вменено восхваление воинских подвигов Рюрика. Узловленный тем, что в знаменитом сказании о походе на половцев Игоря Святославича ему, Рюрику, высказывался упрек в неспособности русским князьям, распорядился написать такое же сказание о себе самом.

Много занимался строительством, страстно желая великолепием овручских храмов затмить киевские и владимирские. И что же? Сказание, хоть и было написано, не получило такого распространения, как «Слово о полку Игореве», а гордость Рюрикова — Васильевская церковь — в сравнении с храмами Святослава и Всеволода выглядела как одинокий воин против крепко сбитой отборной дружины. Сам себе Рюрик признался, что он рожден скорее для битв, чем для хитроумного правления. Но если признать это открыто, то этим признаешь и естественность своего подчинения более мудрому, более великому, чем сам, а именно — князю Всеволоду Юрьевичу. И с этим живи дальше.

Хотя человек знает себя порой достаточно хорошо и наедине с собой может назвать себе свою истинную цену, какой бы малой она ни была, все же ни к чему так не бывает готов, как к тому, чтобы, отбросив благоразумие, поверить в свою избранность, в свое высокое предназначение. Особенно если этому помогают обстоятельства. Не прошло и двух месяцев с того дня, как Рюрик сел в Киеве, а он уже успел забыть — или не хотел вспоминать, — кому обязан этим. Немудрено было забыть: к хорошему привыкаешь быстро, и даже великолепие киевских храмов, пышность княжеского дворца теперь казались Рюрику до того своими, будто он сам их создал. А угодливая покорность бояр, желавших побыстрее заслужить благосклонность нового государя, была благодатной почвой для возраставшего не по дням, а по часам Рюрикова самолюбия.

Он не хотел никому подчиняться. Он больше не хотел зависимости от владимирского князя. Но поскольку Всеволод Юрьевич был сильнее, то воинский разум Рюрика не смог подсказать своему хозяину иного способа избавиться от унизительного подчинения, как стать сильнее самому. Как это сделать, да побыстрее? Опять нашлось чисто военное решение: нужно объединиться с кем-то, обзавестись еще одним союзником, и тогда перевес великого князя будет не столь значительным. Оставалось только решить, кому предложить такой союз.

Самым подходящим Рюрику показался зять, Роман Мстиславич Волынский. После своего неудачного галицкого княжения он успел, сидя во Владимире Волынском, который вновь достался ему благодаря хлопотам Рюрика, перевести дух и собраться с силами. У Романа имелась к этому времени большая дружина, и он был полон честолюбивых замыслов. Он с готовностью принял предложение тестя, взамен потребовав для себя уделов в подчиненной Рюрику Киевской волости. Ради такого союза Рюрик не поскупился: целых пять городов на Днепре и в окрестностях Киева отдал Роману — Торческ, Канев, Триполь, Корсунь и Богуслав, одним этим жестом сделав зятя одним из богатейших владетелей среди русских князей.

Пожалуй, Рюрику не хватало государственной мудрости еще в большей степени, чем он сам полагал. А ведь он имел достаточно времени как следует узнать великого князя. Неукротимый нрав зятя ему тоже был хорошо известен: Романа легко было стронуть с места и трудно потом остановить. Но Рюрик был доволен собой, ему казалось, что, найдя в Романе надежного союзника, он заставит теперь великого князя Владимирского смотреть на себя уже не как на подданного, но как на равного, если не сказать больше.

А великий князь, полагая, что о Киеве, куда он посадил Рюрика, пока можно не думать, занимался своими делами. Дела были в основном приятные: княгиня Марья подарила Всеволоду Юрьевичу еще одного наследника, которого называли Владимиром-Димитрием, великий князь готовился женить старшего сына Константина, высватав ему дочь Мстислава Романовича, князя смоленского. Много времени отнимало строительство нового храма — прекраснейшего из всех храмов Русской земли. В Рязани умер Игорь Глебович, и великому князю приходилось следить, чтобы братья покойного вновь не начали междоусобицу, точа зубы на его удел. Словом, Всеволод Юрьевич пребывал в своем любимом состоянии спокойной уверенности и известию о самовольстве Рюрика воспринял как удар в спину.

Первым движением великого князя было собрать полки, вышибить Рюрика из Киева и посадить там кого-нибудь другого. Нашелся бы верный человек, который стал бы служить Всеволоду Юрьевичу, не помышляя о самостоятельности. Но идти на Киев значило развязать войну, возможно — длительную, и великий князь, подумав, счел причину для такой войны недостаточной.

Он знал, что из себя представляет Роман Волынский, и опять правильно рассчитал неизбежный ход развития собы-

тий. Рюрику просто надо было напомнить, что он оказался между молотом и наковальней, восстановив против себя великого князя и разбудив алчность зятя. Для начала следовало объявить Рюрику, что покровитель его разгневан. В Киев отправилось представительное посольство, во главе которого Всеволод поставил боярина Добрыню Юрятича. Собственно, Добрыня мог поехать и один, и даже в таком случае посольство получилось бы весьма внушительным.

Добрыня прибыл в Киев и на правах посла великого князя был немедленно допущен к Рюрику. Внешность молодого боярина произвела на Рюрика большое впечатление — перед ним стоял воин, во много раз превосходивший его в силе, да и в храбрости, наверное, не уступавший — судя по тому, как бесстрашно глядел он в глаза великому князю. В этом тоже был расчет Всеволода Юрьевича: Рюрик должен был увидеть перед собой как бы олицетворение силы великого князя и задуматься, стоит ли идти против этой силы.

— Великий князь Всеволод Юрьевич велел сказать тебе, князь Рюрик Ростиславич, что он тобой недоволен, — спокойно, будто разговаривал с ровней, начал Добрыня.

Рюрик нахмурился, сверкнул глазами на посла, но не смутил его. Да и что толку было гневаться на посла, ведь он только передает, что ему велено передать. Хотя и держится так, словно и от себя это говорит.

— Великий князь Всеволод Юрьевич — старший в Мономаховом роде, — продолжал Добрыня. — Кому ты обязан Киевом, князь Рюрик? Но ты забыл о старшинстве великого князя, раздаешь города младшим князьям, не спрашивая на то разрешения. Когда так, то великий князь велел передать, что не оспаривает твоей власти. Делись ею с кем хочешь. Тебя же, князь Рюрик, великий князь лишает своей дружбы, и пусть твои друзья защитят тебя, если смогут.

Поскольку все было сказано, Добрыня не стал ждать ответа и в тот же день отбыл, как и предписывал ему великий князь. Рюрику, не отличавшемуся быстротой ума, когда дело касалось важных решений, нужно было дать время на размышления.

Он и начал размышлять. Но ни до чего не мог додуматься, кроме как клясть себя за необдуманный поступок, который мог теперь лишить его Киева. Если великий князь двинет войско, то, конечно, Роман не станет защищать тебя, как не стал бы защищать вообще никого, кроме себя и только себя. Как могло прийти в голову именно его, Романа, избрать союзником? Не в силах ничего решить, Рюрик призвал на совет старого митрополита Никифора.

— Подчинись великому князю как старшему, исполни его волю, — сказал митрополит. — Кровавопролитие хуже всего. Зятю же, Роману, посули серебра взамен этих городов. Если же Роман станет тебя обвинять в обмане, я возьму этот грех на себя. Так и Роману скажу.

Совет был искренний, но он мало что давал Рюрику. Ему хотелось найти такой выход, чтобы примирились оба — и великий князь, и Роман. То, что митрополит собрался брать на себя грех Рюрика, могло помочь еще меньше: Романа бы это не удовлетворило, а лишь вызвало гнев.

Рюрик попытался помириться со Всеволодом и послал ему сказать, что обманывать зятя, раз уж обещал, ему не хотелось бы, и покровительства великого князя лишаться было невыгодно — так, может, великий князь, как плату за нанесенное оскорбление, возьмет себе какой-нибудь удел — на выбор — в Киевской земле и все завершится миром?

И опять Рюрику пришлось клясть себя за опрометчивость, потому что вместо какого-то удела великий князь требовал теперь себе в собственность именно те пять городов, обещанные Роману.

Рюрик принялся изворачиваться. Он послал великому князю грамоты, подтверждающие право на владение всеми пятью городами, а зятю, Роману, предложил отступного взамен на то, что Роман повременит и не будет пока требовать обещанное. Роман взял серебро, удивляясь, зачем это тестю понадобилось ему платить сверх обещанного? Ну хорошо, он повременит, но ведь все равно города будут принадлежать ему! Рюрик надеялся, что все как-нибудь образуется, кого-нибудь со временем удастся уговорить, скорее всего — зятя, подарив ему, уже по согласию с великим князем, другие города.

Но великий князь решил довести начатое до конца. Он послал во все города своих посадников, а Торческ, тот самый Торческ, в котором когда-то Рюрик и Давид осаждали Всеволодова брата Михаила, решил подарить Ростиславу Рюриковичу, мужу дочери своей Верхуславы. И Роман, конечно, узнал об этом.

Узнав о том, что тесть обманул его, Роман рассердился, но вместе с тем испытал даже нечто вроде удовлетворения. Для него наступали времена, которые позволяли ему чувствовать себя как рыба в воде. Закончилось бездейственное сидение во Владимире Волынском. Прошлые заслуги тестя можно было забыть. Теперь Роман имел полное право, как ему казалось, обнажить меч против Рюрика. Главное было — начать, а дальше пусть все решит сила. В кро-

вавой смуте сильный всегда бывает прав и возьмет все, что ему нужно. Князь Роман верил в свою силу.

Однако он был не из тех, кто идет к своей цели прямыми путями. Чего бы он добился, ополчись один против Рюрика? Ну, выгнал бы его из Киева, сел там на короткое время, пока остальные Мономаховичи при поддержке великого князя Владимирского не выгнали бы его обратно. Здесь надо действовать шире, дальновиднее, коварнее. Надо было вовлечь в войну как можно большее число участников. Надо против силы Мономаховичей поднять другую, исконно враждебную им силу. А такой силой на Руси были Ольговичи, и старший среди них после смерти Святослава — князь черниговский Ярослав Всеволодич.

Роман отправился в Чернигов. Он знал, что легко договорится с Ярославом. С потерей Киева этот род считал себя обделенным и оскорбленным, а способ, который предлагал князь Роман, был совершенно в духе Ольговичей — начать войну, отбросив все благоразумные сомнения, невзирая на опасность, которой подвергаешь Русскую землю, а потом, захватив все, что сможешь, позволить себе прислушаться к упрекам и увещаниям и даже проявить миролюбие и выглядеть защитником справедливости. Однако Ярослав колебался. При жизни Святослава во всем подчинявшийся брату, он, унаследовав старшинство, не унаследовал качества, каким старший Ольгович должен отличаться, — безрассудную решительность. К тому же Ярослав постарел и до того уверовал в непобедимую мощь великого князя Владимирского, что сразу расшевелить его Роману не удалось. Князь Ярослав сочувствовал Роману, потому что всегда сочувствуешь человеку, чей обидчик — твой обидчик тоже. Но, кроме сочувствия и туманных обещаний помощи когда-нибудь потом, князь Роман ничего не добился.

Тогда он подумал, что, может, сам Рюрик сумеет заставить Ярослава действовать быстрее. Для этого нужно было Рюрика разозлить. Роман решил ранить его отцовские чувства, принудил супругу свою, дочь Рюрикову, постричься в монахини, лишив ее всего имущества, и постарался дать знать об этом Рюрику. Кроме того, дал понять, что нашел в Ольговичах союзников.

Рюрик был и напуган и оскорблен. Теперь, перед лицом подлинной угрозы лишения Киева, он забыл, как хотел избавиться от великого князя. Теперь Всеволод Юрьевич видел в нем единственным надежным защитником и опорой. Рюрик велел отослать зятю все крестные грамоты о мире и дружбе между ними и воззвал ко Всеволоду. «Государь

и брат, — сказали во Владимире его послы. — Романко изменил нам, дружится с врагами Мономахова рода. Вооружимся и сядем на коней!» Великий князь, видя покорность Рюрика, наказанного за своеволие, обещал ему всяческую помощь.

Теперь уже Роман оказался в трудном положении. Ярослав все медлил, опасаясь столкновения с великим князем, Рюрик же, наоборот, торопил события, желая отомстить и за унижение дочери, и за то, что ему самому пришлось испытать чувство страха перед зятем. Больше во всей Русской земле не было никого, кто заступился бы за Романа. И тогда князь Роман поступил так, как всегда готов был поступить: призвал иноплемеников. Он спешно отправился в Польшу к сыновьям Казимира Справедливого просить поддержки, обещая взамен расплатиться богатствами, лежащими в подвалах княжеского дворца в Киеве.

А в Польше сыновья Казимира воевали со своим дядей Мечиславом. Роман тут же соединился с ними, рассчитывая, что после победы над дядей Казимировичи помогут ему. Казалось, князь Роман совсем лишился рассудка. Находясь на чужой земле, с небольшим войском против многочисленных полков Мечислава, он не мог надеяться на победу. Но даже призрачная возможность этой победы заставляла его бросаться в бой.

Романовы бояре понимали, что дело обречено на неудачу. Они отговаривали князя Романа, но он был непреклонен. Тогда бояре снеслись с Мечиславом, прося его предложить Роману уйти. Мечислав не только согласился на мирные переговоры, но даже попросил Романа быть посредником между ним и Казимировичами. Если бы Роман пошел на то, чтобы мирить дядю с племянниками, это могло принести ему выгоду даже большую, чем он надеялся. Мир в Польше мог быть поставлен Роману в заслугу, и тогда он мог просить помощи и у Мечислава, и у Казимировичей против Рюрика. Об этом ему говорили бояре, на это намекал сам Мечислав, всегда готовый воевать в чужой стране, особенно если это сулит выгоду. Но Романа было уже не остановить. Сама мысль, что он должен служить орудием примирения, взбесила его. Войска стояли друг против друга, и Роман дал знак начинать битву, первым бросившись в гущу полков Мечислава.

Бой шел целый день, и к вечеру Казимировичи были разбиты. Роман, трясаясь от бешенства и бессильной злобы, приказал остаткам своей дружины уходить. Сам он укрылся во Владимире Волынском, рассчитывая пересидеть неу-

дачное время. Раздосадованный, что все его усилия затеять смуту пошли прахом, Роман велел нести себя на руках до самого Владимира.

Казимировичи не хотели, однако, чтобы он уходил, просили его войти с ними в Краков и продолжить войну. Вослед Роману был послан краковский епископ, умолявший его вернуться. Но что теперь были Роману польские дела? Он только велел епископу передать Казимировичам, чтобы те собирались с силами, готовясь к новым войнам. Епископ вынужден был вернуться ни с чем, а Романа понесли дальше на носилках. То, что его несли, как-то смягчало обиду за поражение.

Во Владимире Волынском Роман узнал, что за время его польского похода обстоятельства здесь сложились весьма неблагоприятно. Великий князь Всеволод подвел свои войска к черниговским границам, Давид в Смоленске собрал дружину, чтобы идти на помощь брату, а Рюрик, сам не имея достаточных сил для войны с Ольговичами, нанял половцев.

Князь Роман заметался у себя во Владимире, как птица, пойманная сетью. Ему некуда было идти, не на кого надеяться, оставалось с дружиной сидеть и ждать, когда придут, осадят и сожгут город. И самое лучшее, что могло при этом случиться для князя Романа, — это его смерть в бою, потому что, лишившись Владимира Волынского, но сохранив жизнь, он будет вынужден влачить жалкое существование изгоя и скитальца. А он не хотел этого, не хотел! Он жаждал другой жизни, он знал, что сам куда достойнее всех этих Рюриков и Ярославов, хотя удача и счастье почему-то на их стороне, а ему не достается ничего, кроме позора и обид.

И тогда Роман решил повиниться перед тестем. Он заставил себя это сделать, считая, что если покаяние принесет ему мир, столь необходимый для передышки, то Бог с ним, с позором. Судьба должна дать ему еще одну возможность собраться с силами, а случай использовать свои силы наверняка представится. Роман ненавидел Рюрика, может, даже больше, чем всех остальных. Но он также и хорошо знал своего тестя, знал, что тот запальчив, но отходчив и всегда готов откликнуться на доброе слово, забыв старые счеты. В этом он имел пусть небольшое, но сходство со знаменитым братом своим, покойным Мстиславом Храбрым.

Роман немедленно вернул супругу из монастыря, где она лила слезы, помог ей эти слезы осушить, обласкал и

утешил нелюбимую женщину, возвратил ей все права княгини. В Киев было отправлено сразу два посольства — одно к Рюрику, другое к митрополиту Никифору, который и начал ходатайствовать за Романа перед Рюриком. И киевский князь не устоял! Он совершенно простил Романа и даже, в свою очередь, начал хлопотать за него перед великим князем, уверяя того, что Роман искренне раскаялся и не желает проливать зря ни своей, ни чужой крови.

И Всеволод Юрьевич решил простить Романа, позволил даже Рюрику в утешение подарить ему половину Торческа — того самого города, из-за которого все и началось. Казалось бы, великому князю пора прекратить прощать такие поступки. Но Всеволод Юрьевич рассудил по-другому. Прежде всего, он не простил самого Рюрика и не забыл ему своеволия. В князе Романи же великий князь сумел разглядеть ту силу, что будет служить ему. Разбуженная алчность и уязвленная гордость Романа никуда не исчезли, они только затаились до поры, и когда такая пора придет, великий князь спустит Романа, как цепного пса, на Ростиславичей — Рюрика и Давида, никак не желавших примириться с главенством Всеволода. Ссоры с ними, видимо, еще предстоят, может дойти до применения силы, воевать с родственниками — грязное дело, вот и пусть оно делается грязными руками князя Романа Мстиславича Волынского.

Итак, с Романом было на время улажено. Но теперь, раз уж к войне были сделаны все приготовления, следовало усмирить Ольговичей, которые, судя по тому, как Ярослав сочувственно отнесся к предложению Романа захватить Киев, все еще не перестали мечтать о возвращении древней столицы.

Ольговичи — не чета злокозненному Роману, с ними надо было сразу договариваться обо всем и постоянно держать их под пристальным надзором. Великий князь, Рюрик и Давид, вооруженные, требовали от Ярослава признать Киев за Мономаховым родом и никогда не домогаться его, а также Смоленска, к которому Ольговичи все время протягивали руки. В сущности, это было предложение длительного мира, мира на долгие века. Русь должна быть поделена, договор скреплен целованием креста и мечи вложены в ножны. Требование Мономаховичей было особенно убедительно тем, что оно было подкреплено стоявшими возле черниговских пределов железными полками великого князя и Давида, а также дружиной Рюрика и ордами половцев, согласившихся ему послужить.

Но все же Ольговичи были Ольговичами, и их было не легко ни убедить, ни испугать. Ярослав, Игорь Святославич, их взрослые дети, дети покойного Святослава — это была многочисленная рать, связанная общей гордостью, непокорным мятежным духом. «Мы готовы блюсти Киев за тобой или за Рюриками, — велели они передать великому князю. — Но если ты желаешь нас навсегда удалить от престола киевского, то знай, что мы не венгры, не ляхи, а потомки государя единого. Властвуйте, пока вы живы. Когда же вас не будет — древняя столица да принадлежит достойнейшему по воле Божией!» Таков был ответ Ольговичей, охваченных небывалым единодушием перед угрозой со стороны великого князя.

Война казалась неизбежной. Всеволод, считавший, что его воинская сила окажет на Ольговичей успокоительное воздействие, продолжал грозить им; войдя в черниговские земли, он продвигался к Трубчевску и Новгороду Северскому. Рюрик повел половецкую орду на Ярослава. И в это время Ярослав прислал к великому князю послов, которые передали, что во имя мира и во исполнение воли Ярослава Великого, много лет назад поделившего Русь между сыновьями, Ольговичи соглашаются на договор с Мономаховичами и просят увести войска, а взамен посылают в Чернигов большие посольства для составления и скрепления договора.

Первым на мирные предложения Ольговичей откликнулся Рюрик. Он сразу начал рассчитываться с наемными половцами, отчасти возмещая им то, что они надеялись взять сами. Пришлось тряхнуть киевской казной, и хоть она была пустовата, Рюрику удалось собрать столько серебра, что это удовлетворило орду. Она ушла. Великий князь тоже стал отводить свою рать, хотя ни на единый миг не поверил в миролюбие Ярослава.

Пока Рюрик, довольный тем, что война не состоялась, уверял черниговского князя в своих дружеских чувствах и в знак примирения на вечные времена обещал выпросить у брата Давида город Витебск, сделав его вотчиной Ярослава, великий князь отвел войско и начал ждать, что будет дальше.

Всеволод Юрьевич решил прибегнуть к такому ожиданию, потому что это напоминало ему половецкий способ ведения войны. Давно это было — еще когда стояли на Колокше друг против друга два войска — Всеволода и Глеба, а в стороне расположились половцы, которые не хотели принимать ничью сторону, а желали быть только сами

за себя. Они как бы предоставляли русским возможность сразиться друг с другом, чтобы потом напасть на ослабленного победителя.

Помнится, тогда Всеволод был возмущен коварством половцев. Он жаждал битвы, и эта битва казалась ему единственно возможным путем достижения справедливости. Юный великий князь воображал, как вся Русь с восторгом следит за сверканием его меча.

Со дня той битвы утекло много времени. Великий князь многое стал видеть другими глазами. Теперь половецкий способ, кстати, выработанный половцами в русских междоусобицах, казался великому князю не таким уж неприменимым, если дело идет о сохранении его великокняжеского могущества и влияния. Можно не поверить Ярославу и вступить с ним в бой, но драться-то будешь за Рюрика, который еще недавно готов был предать и еще много раз будет готов к предательству. Будешь защищать Давида, ненавидящего тебя и сильную, процветающую твою державу.

Так, может, стоит поберечь силы и не делать того, что могут сделать другие?

Великий князь принял меры для обороны своих границ, отправил Ярославу в Чернигов уверения в дружбе и вернулся к своим повседневным делам. Из Чернигова до Киева и Смоленска было гораздо ближе, чем до Владимира.

ГЛАВА 37

Великий князь женил сына Константина, когда с Ольговичами был заключен устный договор о взаимном ненападении. Предоставив Рюрику и Давиду договариваться о передаче Витебска Ярославу, Всеволод Юрьевич, словно бы не заботясь об их делах, целиком посвятил себя женитьбе старшего сына. Константину исполнилось десять лет, и хотя он выглядел юношей, конечно же был еще мальчиком. Однако великий князь рассудил: чем раньше Константин женится, тем больше у него будет времени привыкнуть к юной жене и начать осознавать себя по-настоящему взрослым. Сам Всеволод Юрьевич был немногим старше сына, когда женился на Марье, и теперь считал, что ранний брак — самый лучший, потому что оба юных супруга, подрастая вместе, станут как бы одним нерасторжимым целым.

Княгиня Марья браку своего любимого сына не противилась, хотя легко согласилась бы с тем, что жениться Константину пока рановато. Жить юной чете надлежало во Владимире, в княжеском дворце им были предоставлены

просторные покои, а это значило, что сын по-прежнему останется под крылом матери. И еще княгиню Марью утешало то, что ей нравилась невеста Константина — внучка смоленского князя Романа Агафья. Чем-то она напоминала Марье ее собственную дочь, скончавшуюся во младенческом возрасте Сбыславу. Такая же улыбчивая, спокойная и хорошенькая — как ангелок. Марье казалось, что Константину такая жена очень подойдет.

Сам же юный княжич к своему браку относился как к некой игре, в которую ему, может, не хотелось бы сейчас играть, да заставляют, и отказаться нельзя. Мать разрешила ему тайком поглядеть на невесту, когда ту привезли из Смоленска, но Константин никак не выразил своего отношения, только взглянул на княгиню Марью и кивнул. Эту девочку он не мог представить рядом с собой никак — ни подружкой, ни женой. А его делах, казавшихся Константину вполне взрослыми, — в занятиях с дружиной, в управлении своим хозяйством, в звериных ловлях, до которых он стал большой охотник, — подружка ему была не нужна, а больше ничего в связи с Агафьей ему в голову не приходило.

Тем не менее Константин даже с каким-то любопытством отнесся к свадебному обряду. Торжественная поездка в церковь, когда множество знатных и богатых горожан, а также простого люда приветствовали по дороге своего княжича, показалась Константину новым подтверждением его растущей значительности и княжеской власти. Даже невеста, покрытая золотым расшитым покрывалом, была совершенно к месту. И он охотно взял ее за руку, когда потребовалось, и произнес какие нужно слова, глядя в добрые глаза епископа Иоанна, венчавшего их.

На свадьбу сына великий князь позвал рязанских князей, братьев Глебовичей — Романа, Всеволода и Владимира. После смерти брата Игоря они, под присмотром великого князя, сумели не поругаться между собой, а стало быть, не раздражили Всеволода Юрьевича. И теперь он, словно в знак милости, позволил им выразить свое почтение будущему великому князю, а значит, и их, Глебовичей, покровителю и государю. Все они — и старый Роман, неотличимый уже от отца, князя Глеба, каким его запомнил великий князь, и заметно погрузневшие Владимир и Всеволод — рады были такому событию, как Константинов брак. Они привезли богатые подарки: жениху — позолоченный шлем, искусно сделанные нагрудник и поножи, меч в ножнах, украшенный камнями, а невесте — нарядный убор из золо-

той парчи и бархата. Привезли, кроме этого, и другие подарки. Хотя — чем они могли удивить великого князя? Лучшим их подарком Всеволоду Юрьевичу и его сыну была их покорность, и они старательно выражали ее на своих широких лицах.

Помимо свадебного пира, нашлись во Владимире дела и для Глебовичей, и для свата великого князя — отца невесты, Мстислава Романовича. Всеволод собрал их в своих покоях, чтобы объявить о приближающейся войне, в которой князьям придется участвовать. В клятвы Ярослава Черниговского верить нельзя, наоборот — если такие клятвы дадены, то надо ожидать прямо противоположного. А значит, Ярослав и Ольговичи в ближайшее время вторгнутся во владения смоленские, рязанские или даже владимирские — вотчину самого великого князя. И нужно быть к этому готовыми.

Сразу после окончания свадебных торжеств великий князь велел свату своему и Глебовичам возвращаться по домам и там готовиться к военным действиям. Особенно нужно было озаботиться князю Мстиславу Романовичу, так как смоленский князь Давид, престарелый и хворый, вряд ли сможет успешно защитить свою область. Этим придется заниматься Мстиславу.

Вскоре торжества закончились, гости разъехались. А в конце зимы стало известно, что все получилось именно так, как и предсказывал великий князь. Ольговичи вошли в смоленские земли и стали приступать к Витебску.

Мстислав Романович повел войско, чтобы отразить вероломных. С ним вместе шел зять князя Давида, юный сын рязанского князя Владимира Глеб, а также двоюродный брат Давида и Рюрика — Ростислав Владимирович, дорогобужский князь.

Черниговскую рать возглавляли сын Святослава Олег, соединившиеся с полоцкими князьями, Васильком и Борисом Друцким — давними союзниками Ольговичей. Узнав о приближении Мстислава, они оставили грабежи и начали изготавливаться к битве. Выбрали подходящее место — полого возвышавшийся холм, окруженный с трех сторон лесами, в которых легко было спрятать засадные полки. Ожидая подхода смоленских войск, Олег приказал всей своей дружине утапывать снег перед холмом и на его склоне, чтобы ни кони, ни люди не вязли в сугробах. Несколько дней сотни дружинников, построившись в ряды, топтали по снегу, уминали сыпучий, слежавшийся за зиму пласт, готовили себе путь для быстрого и веселого удара по смоленскому войску.

Но Мстислав Романович, понимая, что у Олега с братьей было достаточно времени, чтобы подготовиться к битве, провел свои полки лесами, сумев подойти незаметным. Он напал на Олега не там, где тот ожидал его, утапывая снег, а сбоку. Напал внезапно и стремительно, одним ударом смял черниговское войско и погнал его, сам находясь во главе преследующего отряда и рубя бегущих.

Разгоряченному боем Мстиславу не пришлось в голову оглянуться и посмотреть, что делается у него за спиной.

А в то время как Мстислав, уже уверенный в победе, готовился полностью уничтожить Олегову дружину, из леса вышел полоцкий засадный полк. Воевода Мстиславов, Михалко, вместо того чтобы ударить на половчан, бросил своих воинов и бежал. За воеводой побежали и остальные — те, кто должен был прикрыть тыл смоленского войска. Отогнав их, полоцкий полк пошел вслед за Мстиславом Романовичем, все еще не помнившим себя в горячке битвы, когда уже многие из его соратников, разглядев опасность, кинулись спасать собственные жизни. Мстислав оказался в самой гуще врагов — спереди черниговцы, сзади половчане. Окинув взглядом поле битвы и увидев, что все его воинство рассеяно и разбегается, стараясь достичь леса, Мстислав понял, что выхода нет, и сдался.

Удалось спастись с остатками смоленской дружины князьям Владимиру Глебовичу и Ростиславу Владимировичу. Они отправились в Смоленск, к Давиду.

Смоленск лежал перед Ольговичами почти беззащитный. Торжествующий Олег, узнав от пленных смоленских воинов о том, что к самому Давиду жители города не испытывают любви и не станут защищать его с отчаянностью, сообщил дяде своему Ярославу в Чернигов, что лучшего времени для взятия Смоленска не будет. Давние притязания Ольговичей на владение Смоленском могли быть удовлетворены.

Ярослав решил взять город сам и, собрав все войско, которое только мог собрать, пошел соединяться с Олегом, чтобы, не отвлекаясь больше на грабежи мелких городишек, взять главную добычу, о какой Ольговичи и не мечтали, начиная войну.

Когда полки Ольговичей соединились, к Ярославу прибыли послы от Рюрика. Они привезли из Овруча крестные грамоты о мире, когда-то скрепленные между Святославом и Ярославом с одной стороны и Рюриком и Давидом — с другой. А также письмо Рюрика Ярославу: «Ты поехал моего брата убивать. Совести не имеешь. Итак, возвращаю

тебе грамоты крестные, тобой нарушенные. Иди к Смоленску, а я пойду к Чернигову. Увидим, кто из нас окажется счастливее».

Ярослав понял, что совершил большую ошибку, оставив Чернигов без защиты. Сколь ни заманчивым был для него Смоленск, но все же наследственная вотчина Ольговичей — Чернигов — была дороже. Теперь речь уже шла не о том, как захватить князя Давида, а о том, как остановить разъяренного Рюрика, который за унижение брата не оставит от Чернигова камня на камне. Ярослав с теми же послами отправил Рюрику ответ. Оправдываться Ярославу было почти нечем, разве что тем, что Витебск, обещанный Рюриком, до сих пор находился во владении Давида и его зятя Василька Брючича. Хотя для того, чтобы объяснить причину начатой войны, это было очень слабое оправдание — к чему завоевывать город, который уже обещан тебе? Чтобы отговорить Рюрика идти на Чернигов, надо было предложить ему в письме нечто заманчивое. Конечно, Ярослав посулил отпустить сразу, без всякого выкупа Мстислава Романовича. Но самым главным своим доводом Ярослав представил Рюрику их возможный союз против великого князя. Против такого предложения Рюрик, по мнению Ярослава, устоять не сможет.

Но почему-то Рюрик устоял. Он твердо ответил Ярославу, что у всех Мономаховичей общие дела, а Всеволод Юрьевич — старший в роду. И если заключать мир, то без великого князя цена этому миру будет небольшая. «Дай моим послам свободный путь ко Всеволоду и Давиду, — писал Ярославу Рюрик. — Мы все готовы примириться».

Ярослав не пошел к Смоленску, вернулся в Чернигов, но согласия на мир не дал. Он перекрыл все дороги, чтобы великий князь, Давид и Рюрик не могли сообщаться друг с другом. Этого было достаточно, чтобы Рюрик начал войну.

Вновь были призваны половцы. Теперь Рюрик впустил их на Черниговскую землю, а сам начал грабить принадлежавшие Ольговичам днепровские города. Он действовал жестоко и безоглядно, чувствуя, что настал решительный миг навсегда расправиться с вероломным племенем. Кроме того, войну против Ольговичей велел ему начать великий князь и обещал поддержать Рюрика.

До самого лета Рюрик свирепствовал на Черниговщине. Несколько раз разбивал полки, посланные Ярославом его усмирить, и все не успокаивался, ожидая вмешательства Всеволода Юрьевича. Но слышал от него лишь одни обещания.

Неожиданно у Ольговичей нашелся союзник в борьбе против Рюрика. Этим союзником оказался не кто иной, как князь Роман Волынский. Он уже успел отдохнуть после неудачной битвы с Мечиславом и, увидев, что может причинить вред тестю, двинул свою дружину на помощь Ольговичам. Роман уже успел забыть благодеяния, оказанные ему Рюриком, успел забыть великодушные тестя, да он никогда и не помышлял о благодарности. Если гибель Рюрика принесет выгоду — что ж, Роман не видел причин, которые могли бы ему помешать добиваться его гибели. Единственно, почему нельзя убить ближнего своего, считал Роман, — это если он сильнее тебя.

Такого предательства не ожидал даже Рюрик, хорошо знавший зятя. Роман помогал Ярославу защищаться от Рюрика, воевал в Смоленской области, отвлекая на себя силы Мономаховичей. Тем временем Рюрик, не надеясь встретиться с зятем на поле боя, решил отомстить ему по-своему. Он послал своего сына, Ростислава, и племянника Мстислава Мстиславича, сына Храброго, в Романову волость. Князья, соединившись с галицким князем Владимиром, опустошили окрестности Владимира Волынского и осадили саму столицу Романа.

Тут и великий князь вступил в войну, потому что уже не мог не вступить. Громадное войско Всеволода соединилось с полками Давида и рязанских князей, которые пригласили еще соседних половцев. Войско двинулось в сторону Чернигова, не встречая на своем пути никакого сопротивления — все силы Ольговичей были оттянуты от северных границ.

Узнав, что воевать теперь придется не с Рюриком, а с непобедимым и могучим великим князем, Ярослав понял, что война эта может оказаться для Ольговичей последней. Он слишком долго испытывал терпение Всеволода Юрьевича, не ждал от него для себя никакого снисхождения и не видел никаких других способов его остановить, как все силы бросить на оборону. Ярослав приказал укреплять города Курск, Путивль, Трубчевск. Оборону Чернигова возложил на Святославичей — Глеба и Олега, нанял половцев, двинулся навстречу войску великого князя и встал у него на пути, загорюившись засеками, подрубив мосты.

Конечно, от такой силы не загорюившись — приходилось ожидать самого худшего. Но все же не следовало упускать всех возможностей для сохранения и своей жизни, и войска своего. Ярослав отправил к великому князю посольство, которому велел передать такие слова: «Дорогой брат!

Ты взял нашу вотчину и достояние. Желает ли загладить насилие дружбою? Мы любви не убегаем и готовы заключить мир согласно с твоей верховной волею. Желает ли битвы? Не убегаем и того. Пусть Бог и Святой Спас рассудят нас в поле».

Великому князю было над чем задуматься — мирное предложение Ярослава отвечало его тайным намерениям. Об этих намерениях не знал никто. Во всяком случае, Всеволод Юрьевич, получив послание Ярослава, собрал совет с Давидом, рязанскими князьями и своими боярами. Как он и ожидал, больше всех сопротивлялся миру с Ольговичами Давид. «Ты дал слово моему брату соединиться с ним под Черниговом и там уже думать — покончить ли с Ольговичами или заключить общий мир! — кричал он на совете. — А теперь хочешь один вступить в переговоры! А как же Рюрик? Ведь ты велел ему начать войну, ради тебя он предал огню и мечу свою область! Как ты можешь мириться без его согласия?» Примерно то же самое говорили рязанские князья. Только, конечно, без крика, довольно робко. Ну — этих можно было не слушать.

И Всеволод Юрьевич объявил свою верховную волю. Он согласен забыть Ольговичам все их прегрешения перед Мономаховичами, если Ярослав и его братия отпустят пленного Мстислава Романовича, разорвут союз с Романом Волынским и выгонят из Чернигова старого врага великого князя — Ярополка Ростиславича, бывшего слепца, прозревшего когда-то чудесным прозрением. Всеволод Юрьевич не случайно вспомнил о Ярополке, который давно уже не мог сделать вреда никому, тихо живя в Чернигове у Ольговичей из милости. Князь Ярополк был личным делом только великого князя, и, значит, договор с Ольговичами тоже как бы приобретал оттенок личного дела Всеволода Юрьевича, в котором ему никто не советчик, а решает только он один.

Ярослав с радостью принял условия великого князя, не согласившись всего с одним из этих условий, а именно — отказался разорвать союз с Романом Мстиславичем, князем волынским, на что великий князь втайне и рассчитывал. Мир был заключен со всеми подобающими священными обрядами, в то время как Рюрик, вооружившись, тщетно ждал от великого князя знака идти к Чернигову добить Ольговичей в их наследном гнезде.

Решение, которое единолично принял великий князь, поразило всех.

Рюрик же, узнав об этом, был как громом поражен. Несмотря на то что договор с Ольговичами приносил Рюрику

немалые выгоды — Ольговичи давали слово больше не тревожить ни киевских, ни смоленских владений, — Рюрик разразился упреками и бранью, забыв и о старшинстве Всеволода Юрьевича, и о необходимости ему повиноваться. «Так, как ты поступил, поступают одни вероломные, — писал он великому князю. — Из-за тебя я озлобил зятя, отдав тебе города его. Ты же заставил меня воевать с Ярославом, который не сделал мне зла и не искал Киева. В ожидании твоего содействия прошли лето и зима, и вот наконец ты выступаешь в поле и миришься сам собою, оставив главного моего врага, Романа, в связи с Ольговичами и господином области, им от меня полученной». Рюрик был настолько взбешен, что решил разорвать все отношения с великим князем, объявив ему, что отнимает назад города, подаренные им Всеволоду. Великий князь на упреки и угрозы Рюрика отвечать не стал.

Самая же главная причина, заставившая Рюрика выйти из себя, заключалась вот в чем: от великого князя таких поступков не ждали, к такому Всеволоду не привыкли. К нему могли относиться как угодно: могли любить, могли ненавидеть, но никто никогда не мог упрекнуть его в нарушении клятвы, в предательстве ради собственной выгоды. На великого князя обиделись, как балованные дети обижаются на родителей, вместо привычных ласк и теплых увещаний получив хорошую порку. Впервые Всеволод так откровенно, на глазах у всех, предпочел то, что выгодно только ему одному. Это делало жизнь ненадежной, более опасной. Раньше можно было каждому вести себя по своему усмотрению, имея в запасе мысль о великом князе Владимирском, к которому в случае чего можно было броситься за поддержкой в надежде получить ее. Теперь настали другие времена.

Великий князь, конечно, понимал, что поступает несправедливо. Но он хотел так поступить, долго все обдумывал и сделал, как было задумано. Если бы он пошел на поводу у Ростиславичей, то, разумеется, Ольговичей можно было разбить и даже перебить всех до единого, как предлагали ему наиболее ретивые. Скорее всего, оба Ростиславича наследовали бы богатые и обширные уделы поверженных врагов и через самое короткое время забыли бы о том, что хозяевами этих уделов они стали лишь с помощью великого князя. И глядишь, окрепнув и умножившись, Ростиславичи снова подняли бы вопрос: кто старший в их роде и почему они, такие богатые и сильные, должны подчиняться владимирскому князю? И, заключив с Ольговичами мир,

сохранив их силу, великий князь сохранил надежный противовес гордым и строптивым Ростиславичам, а вдобавок, оставив целым и невредимым Романа Волынского, получил в свое распоряжение алчного пса, который станет кусать и Рюрика с Давидом, и Ярослава с братией.

Смирив всех к явной своей пользе, великий князь возвратился во Владимир как победитель — и в первый раз увидел своего сына Святослава-Гавриила, родившегося, пока шла война и переговоры с Ярославом. Великого князя встречали с необычайной торжественностью и радостью. Дома все было хорошо. В его отсутствие все дела успешно вел Константин. И княгиня Марья, и бояре наперебой его хвалили: не по годам умен, великодушен, много добра сделал горожанам и судил справедливо. Какой отец не испытывает удовольствия, услышав о сыне такое?

А Георгию уже исполнилось семь лет, и он, похоже, не доставит родителю огорчений, хотя и не так вдумчив и способен к государственной деятельности, как Константин. Кроме них, подрастало еще трое сыновей — Ярослав, Владимир и совсем маленький Святослав. Княгиня Марья чувствовала себя хорошо и, как сама говорила, была готова родить великому князю еще хоть десяток сыновей и даже дочерей. Ну и ладно, великий князь был согласен теперь и на дочерей — успел отвыкнуть от девчонок в доме и соскучился по ним.

А на княжеском дворе уже почти достроен был Дмитриевский собор. Пока он еще не был подведен под купол и был весь закрыт лесами, но в нем уже угадывалась та гордая устремленность к небу, которой так хотел великий князь. У зодчего Веденя все получилось как нужно.

Завершение строительства стало для великого князя главным занятием. Часами он мог наблюдать, как возносятся по лесам и укладываются последние обточенные камни, подолгу находился у камнерезов, смотрел, как из бесформенных шероховатых глыб появляются цветы, птицы, грифоны, люди. Смотрел, как старый мастер с двумя подручными, освобожденные от всякой иной работы, вырезают из камня его самого — великого князя Всеволода Юрьевича. Так он сам пожелал — чтобы его изображение украшало храм: великий князь, сидящий на троне с сыном на коленях. Другие сыновья, коленопреклоненные, окружают отца. Еще ни один храм на Руси не имел изображения своего строителя — князя. Всеволод Юрьевич придумал это первый. И вот как раз теперь, смирив Ольговичей, достигнув высшего своего могущества, великий князь готовился уви-

деть подтверждение этому могуществу — свой образ, вознесенный на стену храма наравне со святым воинством и знаменитыми царями древности.

Один только нерешенный вопрос беспокоил великого князя — до сих пор выказывал свою непокорность Новгород. Но это уже не та непокорность, какой она была в прошлые времена. Наряду с вольнолюбивыми горожанами, превыше всего ставившими свою независимость, в Новгороде появилось много разумных людей — может, старые поумнели, а может, и новые подросли. Многие новгородцы держали сторону великого князя в его споре с Ольговичами. Но почему-то недовольны были Всеволодовым наместником, своимком его — князем Ярославом Владимировичем. Великий же князь рассчитывал поддержать князя Ярослава в Новгороде еще несколько лет. Он устраивал Всеволода Юрьевича во всех отношениях: беспрекословно исполнял любые требования, не мнил о себе слишком много, не перенимал этого прилипчивого свободолюбия, которое охватывало всех, кто садился на новгородский стол — и, значит, от князя Ярослава нельзя было ждать, что примет сторону Новгорода в отношениях с великим князем. Когда же приходилось воевать — с чудью, например, — то Ярослав Владимирович старался не вмешиваться в дела опытных новгородских воевод, благодаря чему все такие войны заканчивались для Новгорода более или менее успешно. Одним словом, лучшего наместника в Новгороде великий князь не мог и пожелать. И считал, что новгородцы тоже не терпят большого урона от Ярослава Владимировича.

Но Новгород есть Новгород, и никогда не поймешь толком, что ему нужно. И никогда не предугадаешь, чего можно ожидать от его горожан. Неожиданно весь город оказался охвачен недовольством. Собралось вече, на котором ругательски обругивался князь Ярослав Владимирович, тихо сидевший у себя на Городце, забавляясь с трехлетним сыном Ростиславом, что родился здесь, в Новгороде, и которому князь Ярослав посвящал большую часть времени. Итогом городских волнений стало посольство во Владимир, составленное из знатнейших новгородских бояр.

Однако ничего существенного они в упрек Ярославу Владимировичу поставить не смогли, только твердили, что князь-де Ярослав бездеятелен, ленив, а Новгороду, мол, нужен совсем другой повелитель. Великий князь, принимая посольство в своем дворце, никак не мог добиться от них ответа на свой вопрос: чем же именно бездеятельный князь Ярослав ущемил древние права и свободы новгород-

ские? Они же, посольство, об ущемлении своих прав не вспоминая, просили великого князя убрать от них своего наместника, им же дать сына Константина, молва о котором уже достигла и Новгорода. Может, и правда им хотелось Константина, а может, хотели, польстив самолюбию великого князя, обзавестись малолетним наместником и по его малолетству управлять им?

Всеволоду Юрьевичу показалось, что второе предположение близко к истине, и он очень разгневался. Велел посольству остаться во Владимире и никуда не уезжать, пока он не придумает, как быть с Новгородом.

Казалось, в вольнолюбивом городе только и ждали, чтобы великий князь задержал посольство и дал возможность новгородцам почувствовать себя оскорбленными. Обычное неразумие охватило горожан, и дальше все пошло так, как происходило всегда. Ярослав Владимирович был изгнан из Новгорода и, конечно, оказался в Торжке, где ему, как всякому изгнанному князю, позволено было сесть. Тут же вспомнили, что главным противником великого князя в только что закончившейся войне был Ярослав Черниговский. Вспомнили — решили: только у Ярослава Черниговского надо просить себе князя. И тут же отправились в Чернигов за новым князем — сыном Ярослава, Ярополком, который и сел на самый древний и знаменитый во всей Русской земле княжеский стол, удивляясь, за что ему оказана такая честь.

Великий князь ответил новгородцам на их неповиновение, как это делал всегда: перекрыл купцам все пути, ведущие в Суздаль, Тверь, Владимир и к Великим Лукам, и приказал все новгородское купечество отлавливать и приводить во владимирские темницы, в которых многие из купцов уже не раз сиживали. Не желая применять военную силу, великий князь полагал, что убытки от подорванной торговли помогут охладить самые горячие головы. Так оно и вышло. Через полгода новое посольство пало в ноги Всеволоду, моля его возвратить в Новгород князя Ярослава Владимировича, при котором им только и жилось хорошо. И снова все получилось, как обычно: Ярополк Ярославич поехал к отцу, недоумевая — чем он мог так не угодить новгородцам, лишь недавно призвавшим его. А Ярослав Владимирович возвратился в Новгород, встречаемый словно освободитель города от долгого чужеземного господства. К сожалению, князю Ярославу Владимировичу не хватило ума вести себя по-прежнему бездеятельно, и он, желая еще больше понравиться новгородцам, так восторжен-

но встретившим его, начал обнаруживать некоторые намерения по части государственных и военных дел, что со временем не могло не вызвать беспокойства великого князя.

Достроили Дмитриевский собор. Он был целиком создан и расписан изнутри руками своих мастеров, и даже колокола отливались тут же, во Владимире. На открытие и освящение собора собрался весь город — в этот день ворота княжеского двора были открыты для всех. Людские толпы проходили мимо белоснежного чуда в молчании. Рядом с ним, казалось, нельзя было громко разговаривать, а лишь молитвенно любоваться, угадывая в хитросплетении каменного узорочья диковинных птиц, зверей, растения, похожие на птиц и зверей, царя Александра Македонского, возносящегося на небо, пророка Давида, святых Бориса и Глеба, Георгия, Федора Стратилата — змеборца. И конечно, все видели самого великого князя Всеволода Юрьевича с сыновьями, это было неожиданно, но, наверное, ни в одной душе не рождало сомнений или неприятия: да, именно таков был их князь Всеволод Юрьевич, великий не только по прозвищу, но и по сути — грозный воин и защитник, мудрый правитель, построивший свой дом, свою семью, свое могущество, свою власть с такой заботой и тщательностью, с какой птица строит свое гнездо. Своим величием он возвеличивал и их: от знатнейшего боярина до ремесленника, богатство которого лишь в его мозолистых руках, — все они чувствовали себя птенцами этого большого гнезда.

Вскоре после открытия собора из Смоленска пришла весть о смерти князя Давида Ростиславича. Умер Давид, умер, наверное, так и не смирившись в душе с тем, что вынужден был признать Всеволода старшим в Мономаховом роду. Не похожий ни на кого из братьев, он не был наделен ни вспыльчивым безрассудством и отходчивостью Рюрика, ни отвагой и благородством Мстислава Храброго, ни мягкостью и великодушием Романа. Князь Давид держал Смоленск жесткой рукой и многих заметных горожан лишил жизни и имущества. Многие не любили его, но многие и оплакали его кончину. Был Давид когда-то противником Андрея Боголюбского, и Всеволод также не любил его. Поэтому с особенным удовольствием великий князь узнал, что трон свой Давид завещал племяннику, Мстиславу Романовичу, тестю Константина. Вот Мстислава, известного своим добродушием, великий князь любил.

А немного позже в Чернигове умер Ярослав. Этот и при жизни знаменитого брата своего Ярославла, и потом, став во главе Ольговичей, был злым и опасным врагом ве-

ликому князю. Хорошо, что, умирая, Ярослав не смог передать свою злобу сыновьям: Ростислав, несмотря на отцовскую ненависть к Всеволоду, все же его уважал как своего тестя, отца Всеславы, которую любил и в полном подчинении которой находился. А Ярополк, другой сын Ярослава, был вообще не способен испытывать таких сильных чувств, как ненависть.

Обе эти смерти словно довершили дело, которое великий князь начал, велел Рюрику действовать против Ольговичей. Теперь можно было ожидать, что на Русскую землю придет долгожданный покой, тем более что черниговский стол, место старшего, по завещанию Ярослава занял князь Игорь Святославич. Великому князю было приятно видеть в Чернигове именно Игоря — человека прямодушного и, в отличие от других Ольговичей, неспособного ко коварству.

Войны на Русской земле на время прекратились. Никто не тревожил общего спокойствия. Рюрик тихо сидел то в Киеве, то в Овруче, не покушаясь больше на старшинство. Даже Роман затих во Владимире Волынском, зализывая раны и ожидая лучших для себя времен.

Великий князь, уверившись, что пока опасностей для себя со стороны Руси ждать не приходится, занялся охраной своих и рязанских границ от половецких орд — они стали частенько тревожить набегами. Поганых надо было проучить.

Всеволод Юрьевич объявил подготовку к войне с погаными, на которую собрался взять — в первый раз — сына своего, Константина.

ГЛАВА 38

Вот уже и великому князю понадобился для похода конь поспокойнее. Не совсем, конечно, старая кляча, которая может лишь медленно передвигаться, но и не трехлетний злой жеребец, роющий копытом землю от нетерпения. Конь постарше, сильный и выносливый, не косящий глазом в сторону каждой кобылы. С плавным, размеренным ходом, с крепкими ногами и широкой спиной. Как раз такой, на котором подобает ездить мужчине, еще полному жизненных сил, но уже предпочитающему стремительной скачке надежную устойчивость неторопливой езды.

Князю Константину сейчас очень нравился отец, и он думал, глядя на великого князя: хорошо бы научиться у него умению — даже сидя в седле, в окружении блестящих всадников на прекрасных конях, в роскошных доспехах — оставаться среди них самым значительным с ви-

ду. Даже если, глядя со стороны, и не знаешь, что это великий князь, неизбежно на нем первом остановишь взгляд. Сам Константин понимал, что, как он ни распрямляясь в седле, ни вытягивай шею — а рядом с отцом выглядит всего лишь подростком, которого впервые в жизни взяли взрослые с собой на войну.

Чуть позади юного княжича, как всегда, ехал Добрыня. Он держался просто, как воин, и выглядел только воином и никем иным на своем могучем, под стать себе, жеребце. Впрочем, даже когда он был пешим и без оружия, все равно о нем думалось именно так: воин, честно служащий своему государю. Многие из бояр, окажись они на Добрынином месте воспитателя и советника князя Константина, надулись бы спесью от сознания высоты своего положения. Добрыня же, приблизившись к семейству великого князя, нисколько не изменился — остался таким же открытым, добродушным и неугодливым, каким был раньше. Нисколько не заносился он и перед теми, кого мог считать ниже себя по положению. Его добрая улыбка одинаково светила всем.

Правда, сейчас он не улыбался, был грустен и задумчив. Даже во время разговоров с Константином на лице Добрыни порой читалась с трудом скрываемая озабоченность. Он думал о своем отце.

Весной великий князь объявил, что желает покончить с половецкой угрозой навсегда, и стал собирать большой поход. Такого еще не бывало. Области, в которых обитали поганые, были огромны, а значит, и войско должно собраться невиданное. Готовились всю весну и вот теперь, в начале лета, отправились. Огромность ополчения делала этот поход тоже не совсем обычным: если везти с собой припасы, то обозы растянутся по всей степи, замедляя продвижение. Поэтому на военном совете было решено несколько отрядов с продовольствием отправить вперед, к самому Дону, чтобы на границах половецкого царства построить несколько укрепленных станов — на значительном расстоянии друг от друга. В этих станах должен был храниться запас продовольствия, оружия, овса для коней — словом, всего того, что могло понадобиться в долгом походе. Кроме того, в таком стане можно укрыться от противника, если он превосходит силой, — на войне всякое случается. Как сказал великий князь, в степи надо построить несколько городов для себя и уж из этих городов воевать, очищая степь от поганых.

Как только подсохли дороги, отряды с обозами ушли вперед. Во главе одного из таких отрядов находился Юря-

та — выпросил у великого князя для себя такую должность. Всеволод Юрьевич не хотел сначала его отпускать и даже сердился, говоря, что Юрята в большом полку может принести гораздо больше пользы. Говорил, что в походе привык слушать советы своего думца. Но Юрята сказал, что хотел бы ставку великого князя обустроить сам, а потом, когда начнутся боевые действия, он будет неотлучно находиться при государе.

Добрыня тоже не хотел, чтобы Юрята покидал великого князя. Или, по крайней мере, хотел отправить с отцом, раз того так тянет в степь. Но он не мог ни велеть отцу остаться, ни покинуть Константина. Поэтому распрощались, и Юрята увел свой отряд в двести копий и обоз.

Недели две назад это было, и вот с тех пор об отце — ни слуху ни духу. Добрыня не думал ни о чем плохом, вернее — старался не думать: Юрята — опытный воин, дружинники его — тоже умелый и храбрый народ. Но восточку-то о себе можно ведь подать или людей выслать навстречу, чтобы войско знало, куда идти. Наверное, отцу недосуг, думал Добрыня. Ведь сколько работы надо сделать — и место выбрать удачное, чтобы вода была рядом, и чтоб лесу хоть немного, и чтобы вокруг видно было хорошо. Не говоря уж о самом обустройстве стана: его надо строить надолго, чтобы он был удобным и неприступным. И поганые, наверное, не дают спокойно работать, тревожат наскоками. Правда, там, куда отправился Юрята, больших половецких скоплений быть не должно. Сейчас их там нет, они все южнее — где с весны травы больше, там и пасут свои стада. Разве что небольшой отряд может напасть. Так ведь отобьются, должны отбиться! Но все-таки Добрыня ощущал тревогу за отца. Лет пятнадцать назад, конечно, было другое дело — Юрята один мог справиться с пятью погаными. А теперь? Наскочит на него, старика, какой-нибудь молодец посильнее да половчее — и туго придется отцу. Скорее бы уж добраться до него.

Вот за кого Добрыня совсем не волновался — за брата Бориса. Тот тоже отправился строить становище, ему это сам великий князь поручил — помнит, как Борис построил ему город возле Киева. Княжич Георгий по малолетству остался дома, и Борис, как показалось Добрыне, словно бы с облегчением весь ушел в военные дела. И поручение великого князя воспринял с удовольствием. Да что ему! Он со своими дружинниками один пройдет всю степь туда и обратно, а вернется живой и довольный жизнью, как и всегда. Удачлив во всем. С годами Добрыня все больше

ценил названного своего брата. А вот любовь к отцу у Добрыни помимо воли стала приобретать оттенок жалости. И в бане стараешься на него меньше смотреть — широкое и костистое тело Юрята стало словно усыхать, лопатки торчат, как у мальчишки, руки истончились, приобрели старческую осторожность в движениях. Рядом с ним стыдишься своей величины и здоровья, особенно вспоминая, как раньше любил ходить с отцом в баню, исподтишка любовался, как перекачиваются у него под кожей крепкие мышцы.

Младший братишка Любим тоже собрался с ними в поход, упрасивал Юрята, Добрыню. Напомнил даже, как сам Юрята ему рассказывал, что впервые взял с собой на войну Добрыню и Бориса, когда они ненамного старше были Любима. Но тут уж Юрята встал стеной: никаких войн, пока не подрастешь. Не бойся, сказал, твои враги никуда от тебя не денутся, пусть тоже подрастут. И правда, Бориса и Добрыню Юрята брал с собой, когда сам еще был крепок. А потом — брал на осаду. Осада — одно, а биться с погаными в открытой степи — совсем другое. Так и не взяли Любима, обиженного до слез.

Донские степи были еще далеко, и войско великого князя двигалось по лесным дорогам Рязанщины. Места здесь были глухие, безлюдные. Но часто встречались разоренные и сожженные деревни, население которых разбежалось, а то было перебито или уведено в плен. Брошенные, зарастающие травой поля, в реках и речушках — вбитые в дно сваи, все, что осталось от сгоревших мостов. А сами места — благодатные, жить бы здесь людям да жить. Они и жили, пока половецкие орды, волна за волной накатывавшиеся сюда из диких степей, не вымыли из этих мест людей, которых некому было защищать.

Князья рязанские больше друг с другом сражались, чем заботились об охране своих границ. Жаловались на малые свои доходы, потому что обезлюдевшая земля доходов не приносит. А ведь могла бы. Сколько труда здесь было потрачено — по всему видно. Край был крепкий, села — большие. Попробуй раскорчуй в лесу поляну да задержи сохой неподатливую лесную землю. А таких полян много по лесу было раскорчевано, и хлеб, похоже, здесь рождался — хватило бы, чтобы прокормить большую волость. И все пропало. Ну, ничего, не зря же великий князь ополчился на поганых. Вот очистится от них степь, откатятся они в необозримые дали, чтобы обратно не возвращаться — и снова придут сюда люди, расчистят поля, построят дома, мосты.

Дороги здесь еще не успели зарости кустарником да травой, значит, по этим дорогам и придет сюда жизнь...

Князь ехал молча, слегка нахмуренный. Может, тоже с грустью размышлял о том, какие беды пронесли над этим краем. Хотя — кто знает мысли великого князя? Ведь он думает совсем не так, как другие люди, — Добрыня давно это заметил. Он смотрит — а видит не только то, что перед глазами, но и заглядывает далеко вперед, высматривая в отдаленном будущем видимое ему одному. Что ему десяток-другой сожженных деревень, когда он владеет пространствами, которые простому человеку невозможно окинуть даже умственным взором? Что для него половецкая орда, на усмирение которой он двигает свои полки, если он повелевает множеством людей — и боярами, и владетельными князьями, и среди них он — как месяц среди звезд, сияющий и пасущий их бесчисленные стада? Распоряжаясь такой силой, подвластной ему во всем, он временами должен чувствовать себя едва ли не Богом, а значит, и думать и действовать как Бог — справедливый, грозный и вездесущий. Не слишком ли тяжело это для обычного человека?

Великий князь, однако, меньше всего сейчас чувствовал себя божеством. Раздумывал: не напрасно ли сам отправился с войском? Воеводы могли с этим походом управиться и без него, а дома нашлось бы много важных дел. К тому же княгиню Марью, беременную на шестом месяце, оставил. Эту беременность — уже двенадцатую по счету — Марья переносила тяжело, жаловалась на боли, почти не вставала с постели. Конечно, есть кому за ней приглядеть, да и не впервые Всеволод Юрьевич оставляет жену, когда она на сносях, но на этот раз почему-то кажется, что ей без него будет плохо.

Но, с другой стороны, пора князю Константину вкусить походной жизни. Уже женатый человек, а на войне не был. В его годы Всеволод уже был вояка. Правда, и войны тогда случались чаще, много смуты было среди князей, да и великий князь Андрей не давал никому покоя. Вот как странно получается: хочешь, чтобы не было войны на Русской земле, а в то же время понимаешь, что мирная жизнь из князя Константина не сделает достойного преемника великому князю Владимирскому, не закалит дух, не укрепит волю, не научит посылать людей на смерть, наконец. Пожалуй, правильно, что поехал сам и Константина взял. Кто ему лучшим учителем будет, чем отец? Хотя Добрыня тоже неплохой учитель.

Великий князь оглянулся на Добрыню, который как раз в этот момент икнул и закрыл ладонью рот. Взгляд вели-

кого князя был Добрыня знаком и понятен: государь хотел, чтобы сопровождающие немного поотстали — наверное, собирался поговорить с сыном наедине, чтобы чужие уши не ловили слов, предназначенных Константину. Добрыня без лишних вопросов двинул коня вбок и придержал его, давая возможность Всеволоду Юрьевичу и Константину уехать немного вперед. Потом снова тронулся, и бояре, остановившиеся было рядом с Добрыней, продолжили путь.

— Что, князь Константин, рад вместе с отцом повоевать? — спросил немного насмешливо Всеволод.

— С тобой рад, батюшка, — Константин смущенно улыбнулся.

— Мать-то не хотела пускать. Ну, теперь уж не вернемся, дальше пойдем. Не боишься? — спросил отец. — Бояться нечего. Главное — смотри в оба.

— Я не боюсь, батюшка, — ответил Константин. — Мне бы только чего невпопад не сделать. Я лучше рядом с тобой буду. На тебя буду смотреть.

— Ну! Я, может, в самое пекло пойду. Захочу прорубиться или еще что, — сказал великий князь. — Ты вон от Добрыни не отходи. Я бы в бою тоже от него не отошел. По дому не успел соскучиться-то?

Константин знал, отец любит менять разговор. То об одном говорит, то вдруг о другом начинает. Иногда так врасплох застанет, что скажешь ему и о том, о чем хотел умолчать. Вот и сейчас: о войне, о войне и, неожиданно — о доме. Наверное, хочет знать, думает ли Константин об Агафье? Часто стал испытывать, как сын относится к своей жене.

— Соскучился, батюшка.

— О матери, поди, скучаешь? Ничего. Я, сынок, тоже о ней думаю.

— И об Агафье скучаю, — краснея, сказал Константин. Подумал, что напрасно поспешил угодить отцу ответом — великий князь не собирался спрашивать его про жену. А теперь, конечно, спросит, раз сын сам начал разговор.

— Ну что же — о жене поскучай, попечалься, — позволил великий князь. — В походе надо о жене думать, когда без дела ходишь, вот как мы сейчас. А перед боем или в бою — забудь и не вспоминай. Вспомнишь — размякнешь. Беречь себя начнешь. Так и с поля побежать недолго. А этого хуже нет — спину врагу показывать. И себя можешь не спасти, и дружину погубишь, и позором умоешься. Внука мне скоро ли подарите?

— Не знаю, батюшка, — растерянно ответил Константин и опять смутился. Дальше некоторое время ехали молча.

— Я ведь вижу, ты смущаешься, — вдруг сказал Всеволод. — Зря. Конечно, сынок, ты молод еще, не проснулся. Может, и на меня сердился не раз — что, мол, это старому в голову взбрело — женить? А только я тебе, князь Константин, вот что скажу. Женой дорожи и люби ее. У государя друзей не бывает. Бывают слуги верные, бывают союзники. Единственный друг — жена. Я тебе не хочу говорить про всякое женское в ней — это ты и без меня поймешь, не сейчас, так чуть попозже. Я скажу тебе про то, что будет у тебя такой день, когда захочется тебе душу свою открыть кому-нибудь. А государю, сынок, этого нельзя. Одной только жене сможешь открыть душу. Ей — можно.

Константин молчал. Ничего не мог ответить отцу: чувствовал какое-то несогласие с ним. Как же так можно жить, доверяясь одной Агафке? Да что она понимает? И друзья у него есть — да вот хоть Добрыня. И новые будут. Его, князя Константина, несмотря на молодость, многие уважают. Любой — хоть князь, хоть боярин — как увидит княжича, сразу улыбается. Отец, наверное, прав, но прав только насчет себя. Матушка ему друг самый первый и единственный, но ведь это матушка. Нет, у Константина жизнь будет другая, не как у отца. Для чего тогда и быть правителем, если бояться и не доверять тем, которыми правишь, не искать радостей их дружбы и любви?

А великий князь угадывал, что думает Константин, и это печалило. Многого, наверное, он не сможет передать сыну, потому что есть вещи, которым не научишь, не объяснишь — каждый должен доходить до них сам. Здесь жизнь — единственный учитель. Вот как у Всеволода Юрьевича — пришлось выпить горькую чашу в юном возрасте. Самому понять, откуда взялась у князя Андрея ненависть к братьям, малолетним и ни в чем перед ним не провинившимся. И вдоволь наглядеться жестокостей императора Мануила, который приказывал отравить вчерашнего друга, и тому за пиршественным столом подносили почетный кубок. Подросток Всеволод должен был сам до конца познать ту злобу, что заставляет князей обнажать мечи друг на друга, и научиться понимать причины этой злобы.

Но разве научишь этому князя Константина? Ведь не скажешь же ему: сын, никого не люби, никому не доверяй, старайся утверждать свое главенство всеми способами — и силой, и хитростью, и коварством, и только тогда станешь истинно великим князем! Так не скажешь, потому что это

и не совсем правда. Настоящая правда — в точном соблюдении меры добра и зла, и соблюдать эту меру сложнее всего. Иногда бывает нужно простить злодея, а на честного человека нахмурить брови, хотя и приходится при этом душу свою рвать на части. Но муки твои душевные известны лишь тебе, ими можно пренебречь, если поступок твой послужил пользе. Разве объяснишь это сыну, который растет, согретый родительской любовью, лаской и уважением окружающих? Вот едет Константин на войну — это хорошо. Но война, тем более такая — справедливая, затеянная ради защиты подданных, — самое простое из многих дел государя.

— Государь! — негромко позвал Добрыня.

Великий князь тоже заметил далеко впереди всадников, едущих навстречу. Добрыня тут же переместился во главу войска, на всякий случай прикрывая государя от возможной опасности.

Но это оказались их собственные дозорные, посланные перед войском. Что-то случилось — это было понятно по их виду. Торопились. Вскоре можно было разглядеть, что один всадник вроде бы не из дозора — без шлема, без шапки даже. Великий князь, полуобернувшись, поднял руку, и войско начало останавливаться. Зафыркали кони, зазвучали голоса сотских, стал стихать тележный скрип. Всадники приблизились, у Добрыни упало сердце: тот, без шапки, был пожилой дружинник Ласко, ушедший с отрядом, который повел Юрята. Он был еще и без оружия, только ножны от меча болтались сбоку. Конь его часто и тяжело дышал, морда была в клочьях пены. Сам Ласко тоже выглядел утомленным — видно, ему, человеку в годах, тоже нелегко далась эта гонка. При виде великого князя он начал сползать с седла, но бухнуться на колени Всеволод ему не дал, остановив нетерпеливым движением руки.

— А-а, это ты, — узнал он дружинника. — Ну, говори — чего прибежал?

— Напали на нас. Ночью налетели, государь.

— С отцом моим что? — не удержавшись, спросил Добрыня. Всеволод Юрьевич взглянул на него, переменяясь в лице, и всем телом подался к дружиннику:

— Ты с Юрятьей был? Что? Где он?

— Они отбиваться начали. Мне Юрята велел уходить, вас искать. Я и побежал. Еле жив ушел.

— Да ты-то жив! — крикнул великий князь. — А с Юрятьей что, с отрядом?

— Не знаю, государь, — Ласко все же упал на колени. — Был Юрята жив, когда я уходил.

Добрыня вдруг слепо двинулся на коленопреклоненного дружинника. Тот отшатнулся, закрываясь рукой, словно ждал удара мечом. Это отрезвило Добрыню, он виновато огляделся вокруг и успокоился, только отвердел лицом. Великий князь глянул на Добрыню, потом на Ласко.

— Где это — показать сможешь? — И, не дожидаясь ответа, крикнул куда-то назад: — Коня ему!

Тут же подвели свежего коня, помогли дружиннику взобраться в седло. Он попросил попить, и ему принесли воду в ковчеге. Пил Ласко уже на ходу.

Теперь двигались быстрее. Но все равно огромное войско, растянутое по дороге, не могло двигаться достаточно быстро. К тому же великий князь видел, как мается Добрыня, готовый в одиночку кинуться вдогон половцам, напавшим на Юрята.

Тогда решено было отправить Добрыню вперед. Идти с ним вызвались многие. Он отобрал сотни две, и скоро отряд под его началом, рванувшись, скрылся из виду.

Леса понемногу редели, расступались — войско подходило к донским степям. Уже можно было перестроиться и идти не длинной вереницей, а широким валом. Возле Дона великий князь разделил полки надвое: одну часть с воеводой отправил в глубь степей, а сам пошел вниз по течению — туда, где обычно располагались крупные половецкие вежи. Действительно, следы больших стоянок попадались все чаще, на некоторых еще была теплой от кострищ земля, и трава вокруг оставалась примятой — не успела расправиться от множества копыт, совсем недавно ее топтавших. Иногда вдаль можно было разглядеть отряды поганых — небольшие, наверное, отправленные на разведку. Они, заметив русское войско и постояв немного на виду, стремительно скрывались за перелесками. Великий князь велел двигаться быстрее, для чего оставил часть обозов и разбил войско еще на несколько частей, которым, однако, полагалось не терять друг друга из виду. Как бы поганые ни удирали, все равно столкновение с ними было неизбежно. Их, еще в большей степени, чем русских, связывало хозяйство, которое они таскали за собой, хотя оно было достаточно громоздким — и передвижные дома на колесах, которые тянули медлительные быки, и телеги со скарбом, — без всего этого не выжить в дикой степи. К тому же — женщины и дети, ведь их не бросишь.

Великий князь понимал: мелких стычек с погаными не будет, будет сразу большой бой. Строжайше всем приказано было находиться в доспехах, не снимая их, даже когда жарко, и при оружии. Хотя воинство и без всякого приказа готовилось к битве — по всему видно было, поганные близко.

Добрыня между тем мчался с отрядом туда, куда вел их Ласко. Дружинник, вымотанный долгой скачкой, едва не падал с коня. Пришлось Добрыне, скрипя зубами, позволить сделать остановку, чтобы Ласко немного выпался. Остальные, видя, что боярин следующий привал объявит не скоро, тоже воспользовались остановкой, повалились на землю и заснули. Добрыня один ходил среди спящих, время от времени подходя к Ласко и разглядывая его, словно пытался определить — не пора ли поднимать его и двигаться дальше. Потом, когда счел, что все отдохнули достаточно, поднял всех. И опять скакали до глубокой ночи, чтобы вновь — на короткое время — до рассвета провалиться в сон и утром, едва развиднеется, продолжить поиск. Два раза меняли направление — Ласко с трудом припоминал места, по которым ехал, и неудивительно: крутом раскинулась однообразная местность — степи, оживляемые кое-где небольшими рощицами или овражками, поросшими кустарником. Наконец, наведя отряд на два конских скелета, лежавших рядом, — белых, издалека заметных в зеленой траве, Ласко объявил, что они едут правильно.

Разоренный стан первым заметил Добрыня — на следующий день. Даже не заметил, а почувствовал. Там, впереди, видны были еще только стаи воронов, кружившихся над одним и тем же местом. Воронье слетелось на пиршество. Добрыня с ужасом подумал, что сейчас ему, возможно, придется увидеть мертвого Юрюту с расклеванными птицами глазами. Он уже много раз видел такое. Но отец, убитый, поруганный, не дождавшийся от сыновей помощи, глядящий багровыми глазами в небо, — Добрыня не знал, сможет ли он не тронуться рассудком? Не зря, не зря томило предчувствие, подумал он.

Теперь и все заметили место побоища. Кроме мертвых тел, разбросанных между телегами, и пирующих птиц, там больше никого не было. Вернее — были лишь несколько волков, тормозивших мертвецов, которых не успели раздеть и обобрать, — поганные торопились уйти. Волки неторопливо насыщались — без грызни, без драк. Казалось, совсем не напуганы приближающимся конным отрядом, а лишь недовольны тем, что приходится прерывать трапезу. Добрыня увидел, как большой матерый волк нехотя ото-

рвался от чьего-то разодранного мертвого тела и с достоинством, будто с некоторой ленцой поглядел Добрыне навстречу, как подлинный хозяин степи, ожидавший новой добычи, что идет прямо к нему в пасть.

Тут Добрыня не выдержал. Закричал и выхватив за чем-то меч, бросился на этого волка. Тот неторопливо повернулся и стал уходить. За ним потянулась вся отяжелевшая стая, уносившая в зубах добычу для своих детенышей. Волков было не догнать — они, стелясь по траве, без усилий уходили все дальше и дальше. Никого в степи не было быстрее волков. Соскочив с коня, первым делом бросился Добрыня к мертвецу, которого терзал вожак стаи, почему-то уверенный, что это мертвое тело и окажется Юрютой. Но нет, слава Богу, это был не он.

Уже все подбегали, спешивались, разбредались по стану, распутывая воронье, которое, однако, далеко не улетало. Дружинники искали знакомых, у многих в этом отряде были даже родственники. Горестные крики раздавались то тут, то там. Добрыня сам начал рыскать по становищу, как волк, с тревогой вглядываясь в каждое попавшееся ему тело. Юрюты не было. Заглядывая под телеги, переворачивая на спину лежавших ничком, он все же успевал отметить про себя, что припасы почти не тронуты, трупы не раздеты, с некоторых не сняты даже сапоги. Видимо, поганных было не так уж много, они воспользовались внезапностью нападения, а сил увезти всю добычу не нашлось. Может, пленных увели, с надеждой подумал Добрыня. Он крикнул, чтобы все искали его отца, и стал ждать, что вот-вот откуда-то виноватым голосом позовут: эй, боярин! — и надо будет идти на непослушных ногах туда, где лежит самый любимый человек, весь изрубленный, в дырках от стрел. А как же еще с ним могли справиться поганные, если бы он не обессилел от ран?

Но Юрюту так и не нашли. Добрыня обегал все вокруг — может, раненый отец отполз в сторону... Но никого вне стана не оказалось. Они все дрались здесь, и никто не побежал, легли, где застала смерть. Юрюту, наверное, взяли в плен из-за его боярской одежды и дорогих доспехов — за такого важного боярина всегда можно получить хороший выкуп. Надежда на то, что отец жив, горячими волнами билась в Добрыниной груди. Он уже рвался дальше — догонять, рубить. Но бросать погибших товарищей было нельзя. И так им досталось — и не посрамили они русского оружия. До дому их тоже по такой жаре было не довезти. Поэтому решили хоронить здесь.

Вся дружина принялась рыть могилу — одну на всех, чтобы легли они навеки рядом, братья по оружию, братья в смерти своей. Рыли кто чем мог: мечами, ножами резали дерн, шлемами вычерпывали черную жирную землю. Копали весь день. Добрыня тоже копал, будто последним своим служением мертвым товарищам думал искупить какую-то свою вину перед Юрятьой, страдавшим сейчас в половецком плену. Неладно было хоронить людей ближе к закату, но время не позволяло ждать завтрашнего дня. Их рядами укладывали на дно рва, выстланное травой и соломой с телег, потом закрыли чем могли, засыпали землей. И — снова вперед, пока светло, пока еще можно разглядеть дорогу в долгих летних сумерках.

Поганые умели хорошо прятать следы в траве, однако сейчас, торопясь, не сделали этого как следует. Утром, когда отряд снова двинулся вперед, те следы, по которым шли вчера, стали отчетливей, даже примятости от тележных колес виднелись в утренней росе. Добрыня подгонял, ругался, ему казалось, что едут медленно, сам вырывался вперед, нетерпеливо оглядываясь. Но коней тоже следовало беречь, ведь всадник на уставшем коне ненамного сильнее пешего. Так ехали еще день, жевали на ходу. Все время Добрыня боялся наткнуться на мертвого Юрюту, брошенного погаными. Но никто не попался на пути.

И вот они настигли половцев. Это произошло на следующий день. Видно было, как поганые расположились станом и готовятся к бою. То ли им тяжело было убежать, то ли гордость напомнила о себе — ведь они-то находились дома, в родной степи. Как бы там ни было, решили принять битву. Добрыня, заметив врагов, оживился, начал перестраивать дружину для нападения. Половцев на вид было больше, чем русских, раза в три. Зная их любимый воинский прием — стараться охватывать противника с обеих сторон, одновременно небольшим отрядом наступая спереди и отступая — заманивая, Добрыня поставил по бокам самых метких лучников, чтобы не подпускали поганых близко. И велел никому от дружины не отрываться, как бы заманчиво ни было броситься вдогонку за небольшим и медлительным отрядом. Впрочем, воины все почти были опытные, бывалые, участники и болгарских походов, и половцев бивали не раз. Они не должны были поддаться на вражеские хитрости и уловки степной войны. Решили ударить прямо на становище, вынуждая тем самым поганых броситься отбивать свое имущество и добычу.

Ну, все.

— Пошли! — крикнул Добрыня, и его полк стремительно двинулся вперед, не обращая внимания на то, как половцы разъезжаются в стороны, собираются в небольшие отряды, с визгом и криком несутся на русских, но, не доехав, останавливаются и бросаются наутек — словно собаки, натравливаемые на лося, но не решающиеся к нему подойти близко.

Когда русская дружина подошла к становищу, поганые поняли — их хитрость не удалась. В самом стане почти не было воинов, и те немногие, что пытались отстреливаться из луков, вскоре погибли, утыканные стрелами, или разбежались по становищу, ловя коней. Видя, как русские растаскивают укрепления, готовясь занять становище, откуда их невозможно будет выбить, вся орда, собираясь на ходу в единый кулак, ударила на дружину. Началась сеча.

Из луков уже никто не пытался стрелять — два войска сшиблись, перемешав и изломав свои передние ряды, и легко можно было попасть в своего. Работали мечами и саблями, многие из русских — топорами с двойным лезвием, таким топором было способнее биться в тесноте, чем мечом.

Но в руках у Добрыни, конечно, мог быть только меч — любимое с юных лет оружие. Когда половцы налетели, Добрыня оказался в середине своего войска и не сразу добрался до врага. А ему нужно, нужно было находиться там, где шла рубка! Молча, расталкивая своих ратников, которые и сами уже стали расходиться в стороны, чтобы напасть на орду с боков, Добрыня с поднятым над головой мечом, без щита, лишь намотав плащ на левую руку, пробился в первые ряды.

Добравшись до визжавшей толпы врагов, он не выдержал — страшно закричал. И таким предстал перед погаными — огромным, на могучем коне, со сверкавшей в руке молнией. Остановить Добрыню не могло ничто. Он не чувствовал своего тела, рубил со смертельной быстротой — едва заметив краем глаза движение сбоку, отмахивал туда свистящий удар и сразу же пластал следующего — с другой стороны. Поганые казались ему медлительными, неповоротливыми. Никто не успевал уклониться от тяжелой, остро заточенной смерти, а многие даже не успевали понять, что их убило. Еще больше свирепея от того, что ему не попадается достойный противник, Добрыня стал рубить быстрее, уже не примериваясь — по чему придется. Он шел, словно косец по полю, оставляя после себя проход. Проход этот расширялся — от Добрыни орда отпрянула.

Те, кто видел его приближение, бросались в стороны, мешали ряды, сталкиваясь со своими. За Добрыней в проход кинулись его дружинники. Тем временем остальные, что с самого начала были оттерты от схватки, растянулись и охватили орду с боков.

Вой многих сотен глоток понесся над степью — пришла пора поганым умирать. Звон и стук русских мечей о железные колпаки половцев и их круглые щиты смешивался с натужным, хриплым дыханием тяжело работающих дружинников. Орда таяла, как льдышка, брошенная на печь. Многие уже не думали о битве — только о спасении. Прорывалась сквозь русские ряды небольшая кучка конных, увозя какого-то маленького сторбленного половца в шапке из желтого лисьего меха — наверное, это и был главный кощей орды, который не захотел погибать вместе со своими.

Добрыня их заметил. Теперь, немного утолив свой гнев и жажду убийства, он стал внимательнее, вспомнил, что должен руководить всей дружиной. Привстав в стремях, он, перекрывая гул побоища, приказал кощей не выпускать. С удовлетворением увидев, как десятки два ратников бросились наперерез и, избивая охрану, стали теснить ее вместе с их повелителем обратно в гущу схватки, Добрыня взревел и стал прорубаться туда. Ему вдруг невыносимо захотелось самому прикончить главаря.

Дружина, видя, как их старшой пробивает себе дорогу к половецкому князьку, принялась ему в этом помогать — кощей теснили навстречу Добрыне, отсекали от него воинов охраны. Очень скоро Добрыня уже видел сморщенное злое личико, худые старческие руки, вцепившиеся в конскую гриву, чахлую седую косичку, свисавшую из-под лисьей шапки. Кощей, видимо, был так стар, что не мог даже поднять оружие. Да если бы даже и мог — что толку? Оцепенев, шевеля губами, он глядел на приближавшуюся к нему башню смерти — огромного русского витязя, которого воины кощей не могли ни убить, ни задержать. О чем думал старый кощей перед гибелью? Может, вспоминал, сколько русских погубил на своем веку, сколько девушек и женщин взял в полон, сколько продан восточным купцам. А может, просто прощался со своей жизнью и уже не увидел, как тело его разделилось от плеча вниз надвое и сначала одна половина, без головы, свесилась с коня, а там и вторая свалилась на другую сторону, словно поскользнувшись на залитом черной кровью седле.

Разрубив кощей, Добрыня оглянулся на истошный визг, перекрывший, казалось, все другие звуки, — к нему проби-

вался, не обращая внимания на русские мечи, совсем юный половчанин. В руке его была даже не сабля — нож, которым он угрожающе потрясал. Стремился он, этот юный воин, именно к Добрыне, и такая в нем была страсть, что свои расступались, пропуская его, да и русские удивленно давали ему дорогу. Юнец слишком явно шел к своей смерти. Но Добрыня не стал раздумывать, почему так спешит умереть молодой воин, — может, он сыном приходился старому кощей или еще кем-нибудь. Положение для удара у Добрыни было самое выгодное, и он даже слегка подбросил меч в руку — взяться поудобнее. И, отводя плечо, успел еще разглядеть, что лицо юного половца, перекошенное в крике, блестело от слез. Через миг конь с телом юноши пронесся мимо Добрыни, а лицо, теперь постепенно разглаживаясь, смотрело на Добрыню из травы — голова, чья стукнувшись о землю, попала в углубление, выбитое копытом, и сразу остановилась.

Добрыня обозрел поле битвы — она заканчивалась. Несколько поганых, рассыпавшись по степи, убегали, становясь точками. Остатки орды разорваны были на несколько частей, каждая часть была окружена кольцом, и выскакивали оттуда наружу только лошади. Добрыня кинулся к становищу.

Там было пусто и так знакомо, что у Добрыни, хоть он и не остыл от горячки боя, потемнело в глазах. Знакомые крытые повозки составлены были посередине — он такими их и запомнил с детства. Какой-то звук еще слышался — будто скулило сразу много щенков, потерявших своих матерей-сук. В шатрах прятались женщины и дети.

Становище стало заполняться дружинниками. Несли раненых, укладывали убитых. Пошли к шатрам. Кто-то откинул первый полог — и попятился, словно ударенный визгом, рванувшимся оттуда.

— Эй, кто там? Осторожней! — крикнул Добрыня. — Угостят стрелой или копьем ткнут. Осторожней, не суйтесь!

Он двинулся вдоль повозок, останавливаясь возле каждой, поднимал кожаную полость, заглядывал.

— Боярин, а боярин, — позвали откуда-то.

Хотел отмахнуться: не до вас, мол, пока. Потом догадался, сунулся на крик: откуда позвали? Увидел: возле одной из повозок стоят двое, зовут. Торопясь, подбежал, рванул полог на себя, обмирая, заглянул внутрь.

Юрята показался ему мертвым. Он сидел, прислонившись к мешку, словно отвернувшись ото всех и всего, что

его окружало. Связан был по рукам и ногам, верхняя одежда была с него снята, остался в нижней сорочке и в портах. Сапоги тоже с него сняли. Добрыня, почему-то не в силах оторвать взгляда от широких белых ступней отца, выглядевших совсем безжизненными, хотел позвать его, но в горле пересохло.

Наконец получилось:

— Тятя! Тятя, родной!

Юрята не пошевелился, но коротко простонал. Жив! Жив! — закричало все в душе Добрыни. Он мигом забрался на повозку, сгибаясь в три погибели, пролез под полог, припал к отцу — теплый! дышит! Надо было развязать его, но Добрыня, уцепив кожаные ремешки, стягивавшие ноги Юраты, поднатужился со стоном и разорвал их. Ремешки на запястьях рук, вывернутых за спину, пришлось резать. Добрыня прислонил отца к груди и осторожно, чтобы не тревожить вывихнутых рук, перерезал путы. Руки старика, освободившись, безвольно упали вниз, и, наверное, от боли он очнулся.

— Сынок... слава тебе, Господи... пришел...

— Тятя, ты не разговаривай пока, — как маленького, стал уговаривать Добрыня. — Сейчас я тебя на солнышко положу, тебе сразу полегчает.

Добрыня ножом вспорол кожу повозочного шатра. Полоснул еще и еще, проделывая широкое отверстие. Возле повозки столпились дружинники со строгими лицами. Кое-кто и шлем уже снял. Наверное, тоже думали, что отец их старшего мертв.

— Примите-ка, — попросил Добрыня, обеими руками приподнимая Юрату. Оглядел собравшуюся толпу и добавил: — Да поосторожней, больно ему.

Лица в толпе посветлели, заулыбались. Оживились. Протянулось множество рук. Юрату приняли бережно, как на пуховую перину. Пока Добрыня выбирался из-под шатра, спрыгивал с повозки, отца уже успели уложить на траву, подстелив плащ. Кругом заговорили.

— Погоди, барин. Вправить надо плечи-то ему.

— Грудь растереть. Сало гусиное есть у кого? Эй, сала гусиного нет ли у кого?

— Да погоди ты с салом. Вина надо дать. Но немного.

Возле Юраты опустилось еще трое или четверо. Ощупали плечевые суставы, ловко вправили. Юрята открыл глаза:

— Сынок... братья...

На него сразу зашумели:

— Да погоди ты разговаривать-то!

— Не трать силы, молчи пока. Вина дайте! У кого вино есть?

Нашлось у многих. Снимали с поясов корчажки, вынимали пробки зубами, торопились предложить.

— Вот моего, боярин. Моя хорошо его делает, на меду, с травками разными.

— У меня крепкий, для сугрева.

Юрате дали хлебнуть из нескольких корчажек по очереди. Уже и растирали, согревая. Он понемногу оживал. Начал шевелиться, застонал. Попробовал приподняться — и снова откинулся. Дышал прерывисто.

— Сынок, Добрынюшка... у меня там...

Показал глазами куда-то к животу. Добрыня догадался, задрал рубаху. Тряпка, пропитанная побуревшей кровью, обмотана была вокруг худого туловища. Вот оно что. Рядом все сразу замолчали. Потом кто-то сказал:

— Спроси, боярин, чем это ему попало. Саблей — одно, стрелой — другое. Может, ему саблей попало.

— Тятя! Тятя, чем это тебя? — наклонившись к самому уху Юраты, с надеждой спросил Добрыня.

— Трело... трелой, — с трудом выговорил старик. — Ломилась... обломилась там... сидит...

И Добрыня понял: отец умирает. С обломком стрелы, засевшим где-то внутри его старого тела, он скоро начнет пылать, как печка, перестанет узнавать Добрыню, потом примется бормотать, разговаривая с кем-то, кого видит только он, потом, словно устав от разговоров, замолчит, посинеет и уже станет холодеть навсегда. Не увидит больше ни Бориса, ни Любавы, ни внушек своих. Эх, отец, отец.

— Да постой, боярин, — сказал кто-то. — Может, и не в кишках у него стрела-то.

— И верно, — поддержал его другой. — Поглядеть надо. Под повязкой же не видать.

— А то не стали бы они его с собой возить, поганые. Они небось тоже понимают, отчего человек кончается.

Повязку, размочив вином, осторожно разрезали, подняли. И верно — крошечная дырка, как пробочкой заткнутая красным пенечком обломанной стрелы, находилась сбоку, у подреберья. Добрыня перевел дух. К тому же, подумал он, прошло уже несколько дней, и если бы зацеты были кишки или печень, то Юрята давно бы уже умер. Домой его надо везти скорей.

— Домой его надо, — сказал Добрыня. Встал, окинул взглядом становище. Повсюду из шатров выволакивали во-

пящих баб, детишек, вязали, усаживали на землю. Полон был порядочный. Да только к чему он? Хотя, может, кому-нибудь пригодятся пленные бабы.

— Собирайтесь всем! — крикнул Добрыня. — Уходим завтра на рассвете. Телеги готовьте. Остальное все сжечь!

И больше не отошел от отца и не глядел, как дружина собирала по становищу все ценное, раскладывала по повозкам. Не обращал внимания, когда под вечер в разных концах становища начали повизгивать половчанки, снова утаскиваемые в шатры. На кострах стояли котлы, пахло вареным мясом. Добрыня принесли поесть, и он поел, после того как Юрята согласился выпить немного мясного отвара.

Ночь была теплая, рядом вдобавок разложили костер, нарубив дров из разломанной повозки. Так что Юрята не мерз, спал спокойно. Добрыня всю ночь сидел над ним, изредка задремывая — одолевала усталость последних дней. Иногда Юрята пытался говорить. Спрашивал: где большое войско, где великий князь. Добрыня все ему рассказывал. Вечером к ним подошел Ласко, присел, посмотрел на Юрята, словно хотел о чем-то спросить — наверное, чтобы Юрята подтвердил, как все было, что сам отправил его за подмогой, без чего и сейчас бы находился еще в плену. Но так и не решился спросить, посидел, повздыхал, ушел. Уже под утро Юрята, очнувшись, позвал задремавшего Добрыню.

— Тятя? Чего тебе, милый?

— Увидеть... государя надо увидеть... мне... Повези меня к нему... Повези, сынок...

— Сейчас поедем, сейчас. Ты силы береги.

Заря уже разгоралась, и Добрыня приказал подниматься всем — готовиться к отходу. Положил отца в приготовленный с вечера возок, на солому, покрытую мягкими шкурами. По становищу началась беготня — усаживали своих полонянок по телегам, поджигали оставляемые шатры, обложив их сеном, подтаскивали сюда же то, что не могли взять с собой, — чтобы дольше горело. Тронулись в обратный путь — мимо поля, освещаемого неровным светом пожара в утренней полумгле и усталого телами побитых половцев. Своих убитых — немного их было — везли на двух повозках. Не хоронить же их здесь.

Через день увидели вдаль большое войско. Добрыня отправил туда дружинника — узнать, не идет ли великий князь с ними, а если нет, то куда идти, чтобы добраться до него. Почему-то Добрыня казалось, что если отец уви-

дит великого князя, то будет жить. Государь посмотрит на Юрята, улыбнется и скажет: ты что это разлегся? Одного меня хочешь оставить? И Юрята сразу полегчает.

Большое войско приближалось. Посланный дружинник издали махал призывно рукой: сюда, мол. Но Добрыня уже и сам мог разглядеть знамена и хоругви великого князя, так хорошо ему знакомые. Много хожено под этими хоругвями с избранием Спаси и святого Димитрия.

Вскоре князь Всеволод Юрьевич, ради такого случая спешившись, стоял возле повозки и печально глядел на Юрята. А старик вроде бы и не замечал печального выражения его лица, слабо улыбался.

— Что с ним? — спросил Добрыню Всеволод.

— Стрела, государь. Застряла внутри, обломилась, — ответил Добрыня и, увидев, как горько исказилось лицо Всеволода Юрьевича, осознал — здесь даже великий князь не поможет, зря надеялся, зря себя успокаивал. Все равно отец умрет. И Добрыня зарыдал, с опозданием прикрыв лицо локтем, отворачиваясь от государя. Тот же, не замечая Добрыниных рыданий, склонился над Юрятой.

— Вот какое дело, друг дорогой, — печально сказал Всеволод. — Прощаться будем.

Юрята все улыбался.

— Пришлось... свидеться... государь... — еле слышно сказал он. — Прощай, государь.

— Не держи на меня зла, — попросил великий князь. — Мы с тобой всю жизнь вместе. Мало ли что было.

— Нет... Нет, княжич, — выговорил Юрята. Всеволод усмехнулся: старый друг назвал его, как называл в детстве.

Юрята вдруг напрягся, сделал попытку податься к государю.

— Прошу... сына моего, младшего... не оставь, государь. — Юрята умоляюще глядел на Всеволода. Тот на мгновение, казалось, запнулся, но пообещал твердо:

— Не оставлю.

Юрята облегченно расслабился, закрыл глаза. Через несколько часов он, не приходя больше в сознание, умер.

Великий князь велел Добрыне отвезти тело отца во Владимир и передать, что приказывает похоронить его с почестями, возле нового собора. И чтоб сам епископ Иоанн отпевал. Убитый горем Добрыня повез Юрята в последний путь.

Всеволод, проводив глазами повозку, увозящую друга навсегда, приказал войску выступать.

Нужно было продолжать войну.

ГЛАВА 39

Родив великому князю восьмого сына, которого назвали Иоанном, княгиня Марья занемогла. Впервые не было у нее молока. Пришлось взять кормилицу. Марье становилось все хуже, проходили недели, месяцы, а она все меньше занималась новорожденным сыном, словно остывала к нему душой. А когда чуть подрос Иоанн, сделалось княгине совсем худо. Будто с этим последним сыном из нее ушли все силы.

Она не могла встать с постели, да, похоже, и не хотела. Лежала безучастно. Когда у нее спрашивали, где у нее болит, равнодушно отвечала, что болит везде. Всеволод Юрьевич выписал лекарей отовсюду, они приезжали охотно, осматривали княгинины ногти, подолгу глядели ей в глаза, но ничего утешительного великому князю сообщить не могли. Он сам старался поддерживать жену в ее страдании: приходил к ней по нескольку раз в день, сидел рядом, держа ее легкую, словно пустую внутри руку. Смешил Марьюшку рассказами о том, что делается в большом мире. Она, когда находила в себе силы, откликалась как могла, даже пыталась смеяться, но чаще всего огорчала мужа равнодушием или просто засыпала во время разговора. Она исхудала и стала походить на старенькую девочку. Всеволод и узнавал и не узнавал ее: порой ему казалось, что это вовсе не княгиня Марья, а совсем другая женщина, непонятно как очутившаяся в княгининой постели.

Дочь Елена, тоже заметно постаревшая за последнее время, вообще не отходила от матери. Сидела на стульце рядом с постелью, могла молчать целыми днями, испуганно взглядывая на всякого, кто о чем-то спрашивал ее, — на лекаря, на старую няньку, на отца, зашедшего поговорить с женой.

Сначала Всеволод Юрьевич твердо верил, что княгиня поправится. Как можно болеть, когда все складывается столь удачно, что только и жить, радуясь жизни, — исполнилось все или почти все, о чем они с Марьей мечтали в юности. Великий князь достиг высшей власти, которой и хотел достичь. Богатство князя таково, что сосчитать его невозможно. Область, подвластная великому князю, растет, ширится — уже и за Белоозером, и за Устюгом земли владимирские. Подрастают, оперяются один за другим сыновья, которых так желал великий князь — даже это его желание исполнилось. Чего еще просить у Господа? Не болеть нужно, а радоваться.

Сколько раз Всеволод и Марья представляли себе, как явится из непокорного Новгорода великое посольство и

послы — знаменитые новгородские бояре — будут бить челом об пол перед великим князем и княгиней, моля их дать наконец своего сына им на княжение. Когда-то и подумать о таком было немислимо, а теперь — вот они, послы новгородские, прибыли вместе с гордым архиепископом Мартирием — и не потому, что сами захотели, а потому, что такова воля великого князя. Как хотелось Всеволоду, чтобы Марья сидела с ним рядом, когда будут выпрашивать у них сына великие новгородские мужи! А тут — княгиня не только сидеть-то не может, но кажется, что и лежит с трудом, словно не живет, а исполняет трудную и постылую работу. Великому князю приходилось привыкать, что все радости и торжества он теперь должен переживать один, не делясь с Марьюшкой.

И с новгородским посольством пришлось поступить строже, чем хотелось. Думал отправить в Новгород Константина и тем самым навсегда утвердить свою власть над вольным городом — для себя и своих потомков. Но тут решил для чего-то поупрямиться, заставил себя поуготоваривать, будто просили у него новгородцы не господина для себя и детей своих, а царства небесного — столь настойчивы и умильны были у них лица. Глядя на послов, склонившихся перед ним, великий князь думал, что радости от присоединения Новгорода он не испытывает. Да и верить им не хотелось. Чтобы больше уважали, изобразил сомнение: дескать, придется ли сын великого князя ко двору господам новгородцам? Отложил решение, потомил их несколько дней. Потом, думая, что огорошит, смутит посольство, объявил, что согласен дать им в князья сына Святослава, младенца пятилетнего. Ничего, приняли с восторгом! Не сочли за унижение.

И это возбудило в великом князе ставшую уже привычной подозрительность. Почему они так легко согласились на Святослава? Ведь не пылают же они к великому князю любовью столь сильной, что готовы переносить ее и на несмышленное его потомство? Значит, обрадовались, потому что думают: младенцем проще управлять, посадим, мол, дитя на трон — и великого князя задобрим, и волю свою сохраним. Всеволод Юрьевич сердился про себя, но от своего слова отказаться уже не мог. Пришлось Святослава отпускать в Новгород князем, отправив вместе с ним верных бояр, чтобы присматривали — не будет ли младенцу-князю в чем обиды или ущемления. Знал великий князь, что это ненадолго. А потом подумал — и решил, что даже из этой нечаянно получившейся насмешки над Новгородом можно будет извлечь

для себя пользу. Возропшут новгородцы, когда поймут, что ими на самом деле управляет не младенец Святослав, а владимирский князь через своих бояр.— вот тогда можно Святослава от них забирать, а к ним сажать Константина. Ничего не изменится, а великого князя будут благодарить за такую милость. Вот так с ними, новгородцами, надо — приручать постепенно, опутывать. Для детей и внуков великого князя Новгород станет такой же привычной вотчиной, как Ростов, Суздаль или какая-нибудь Москва.

Константин был рад, что не его посылают в Новгород. Не хотел уезжать от матери, боялся, что, уехав, больше никогда ее не увидит. Такая чувствительность не нравилась великому князю. Еще младенцу Святославу было бы простительно, и то уехал, с матерью попрощавшись легко. А Константину уже пора начинать себя осознавать наследником великого княжения, что превыше и отца, и матери, и братьев. Никак этого не мог понять старший сын. Другой бы пришел к отцу, дерзнул бы и голос повысить: почему, мол, древнейший в Руси княжеский стол достается не мне, старшему, и даже не Георгию, а — младшему из братьев, если не считать Иоанна? И был бы прав. А Константин чуть ли не благодарит: правильно, мол, хочу еще немного возле матушки побыть и возле тебя, батюшка, конечно. Излишне тонок душой вырос первенец, с кем столько надежд связывалось. Все бы ему благотворительностью своей умилять владимирских горожан — бедным помогать, в каждую свару вмешиваться, стараться быть мудрым судьей, да ругаться с тысяцким, якобы несправедливо обижающим народ.

Есть же у Константина достоинства, которые можно отнести к подлинно государственным: любовь его к украшению храмов, например. Сколько икон по его приказу оклевано серебром и золотом и в таком виде возвращено церквям! Колокола дарит храмам, желая, чтобы в каждом приходе свой голос звучал — для красоты и благолепия. Днюет и ночует на литейном дворе, обсуждая с мастерами размеры колоколов и качество сплава. Это ему зачтется — народ любит государей набожных. Сами готовы ни во что не верить, колесу поклоняться, но уж чтоб государь был боголюбив. Это всем нравится.

Но еще больше всем нравится правитель, сочетающий с набожностью свою власть, и чем сильнее эта власть, тем лучше. Тем больше пользы для душевного блага самого государя. Вот пример: великому князю, едва он не попросил даже, а только намекнул, из Греции, из Фессалоник, привезли гробовую доску и сорочку самого святого Димитрия!

Для кого другого смогли бы греки расстаться с такой святыней? Да хоть тысячу икон оправь в золото, все равно подлинные сокровища духовные — мироточащая доска и благоухающая сорочка — перевесят все. Сильного государя Бог любит больше, чем слабого, пусть и набожного.

Вообще хоть и боялся себе в этом признаться великий князь, но, глядя на сыновей — и тех, кто повзрослее, и на остальных, — не мог ни в одном увидеть продолжателя своих дел, которому можно передать свой трон и умереть спокойно. Верно говорят: не дети, а внуки — наши подлинные наследники. Так, может, не о сыновьях надо было Господа просить, а о внуках? Сыновья — ни один не повторяет великого князя, не говоря уж о том, чтобы превосходить отца в чем-то. А внуков увидеть вряд ли придется — даже старший сын не торопится сделать великого князя счастливым дедом. Давно Всеволод Юрьевич оставил мечты, как вместе с сыновьями возьмет под себя всю Русскую землю и утвердит в ней единовластие своего рода, навеки прекратив распри и междоусобицы. Был доволен и тем, что на своей земле покончил с войнами да врагов так напугал, что не сунутся, пока он жив. А ведь не вечен. Стоит умереть сейчас, как враги поднимут головы, набросятся со всех сторон. Это должно быть и младенцу Святославу ясно. А Константин знай твердит: живи, батюшка, сто лет, а большего и не нужно. Не понимает. Хотя не может не видеть, что творится на Руси — там, куда полкам великого князя долго добираться.

А на Руси действительно творилось страшное. Обрел наконец желанную силу князь Роман Мстиславич Волынский, заняв галицкий стол после смерти Владимира Ярославича. Учредил Роман единое княжество, став сразу хозяином и Галича и Волыни. Сделался богат неизмеримо, потому что уничтожил всех бояр, которые не хотели его, да и взял их имущество. А галицкие бояре много чего имели. Говорят, князь Роман вдоволь натешился, войдя в Галич. Живыми в землю закапывал бояр, рубил на куски, вешал по всему городу и снимать не давал. Вот до чего себя можно довести, если, кроме власти над людьми, ни о чем больше не думаешь.

Но не один он такой властолюбивый оказался на Руси. Тут же нашлись охотники до золотого галицкого трона — князь Рюрик Ростиславич да Ольговичей ненасытное племя — дети Святослава и старого Игоря Северского. Забыли Ольговичи о том, что по договору, утвержденному великим князем Владимирским, должно им с Романом жить в друж-

бе. А Рюрик на бывшего своего зятя давно зуб точил. Вот и сговорились — Романа из Галича выгнать, а имение его поделить между собой. Собрались у Рюрика в Киеве, предвкушали, наверное, легкую победу, обильную добычу. Почему действительно не освободить галичан от князя-злодея? Галичане за него сражаться не станут, а освободителей своих отцами назовут.

Да только Роман оказался умнее и хитрее всех. Прознав про заговор, он первым делом послал к великому князю, напомнив ему, что при жизни Владимира Ярославича он был покровителем сего злосчастного князя, а стало быть, не откажет в покровительстве и преемнику — Роману. Это — долг великого князя, которого Роман Мстиславич признает своим господином и клянется ему в верности.

Такой Роман великому князю был выгоден, прежде всего как усмиритель Ольговичей и неугомонного Рюрика. Покровительство ему было обещано — все равно что даровано, и теперь он мог никого не бояться: все южные города признавали господство владимирского князя, а в Переяславле сидел сын Всеволода Юрьевича — Ярослав. Роман собрал войско сильное, нанял черных клобуков и подошел к Киеву — как раз когда в княжеском дворце Рюрик с Ольговичами уже договорились: кому сколько чего перепадет, как Романко-пес будет изгнан.

А жители киевские не стали сопротивляться Роману: люди всегда чувствуют сильного государя и отдают ему предпочтение перед слабым, хотя бы тот был и добр и великодушен. Рюрик же не был ни великодушен, ни добр. Князь Роман торжественно въехал в Киев и позволил заговорщикам, затворившимся в Верхнем городе, унести ноги.

Великий князь, дав Роману благословение на захват Киева, хотел от галицкого князя важной услуги. В то время половцы, отпугнутые от владимирских и рязанских пределов, принялись грабить Византийскую империю. Греки, не зная никого, кто бы мог им помочь, кроме великого князя Владимирского, бывшего к тому же греком по матери — сестре покойного императора Мануила, просили его о помощи. Оказывая благодеяние Роману, Всеволод Юрьевич потребовал от него взамен защитить империю от поганых. Князь Роман охотно принял это предложение. Еще бы! Со всем недавно прозябал в безвестности, никому не был нужен, и вот — перед ним уже трепещут русские князья, а иноземные ждут от него защиты. Как прекрасно подойдет сильному князю галицкому слава освободителя христианского мира от поганых язычников! Роман усадил в Киеве

во всем покорного ему двоюродного брата, луцкого князя Ингваря Ярославича, и двинулся на юг. Разбил там половцев, успевших обосноваться во Фракии и осаждавших Константинополь, пожег их многочисленные вежи, освободил тысячи пленников, в том числе и русских. Даровал всем свободу — победа в блистательном походе сделала его великодушным. Слава князя Романа гремела по всей Византии, а это не могло не быть приятно великому князю, да и выгодно тоже — пусть весь мир слышит о силе русского оружия! Да, князь Роман Мстиславич был подлинный союзник, понимавший, что служба, исполняемая им для великого князя, только добавляет ему самому славы и величия. Ни Рюрик, ни Давид, ни тем более Ольговичи этого никогда не понимали.

Они ничего не поняли, даже когда Роман торжественно возвратился в Галич. Успех Романа в Византии мало их занимал, а то, что в Киеве находится Ингварь Ярославич, никогда ранее не смевший об этом мечтать, да и права на Киев не имевший, по их мнению, они приняли за Романову слабость. Уверенные в том, что Роман не сможет их наказать, дети Святослава — Всеволод, Глеб, Владимир, совокупив свои дружины с Рюриковыми, чуть ли не всю казну истратив на то, чтобы нанять половцев, взяли Киев приступом.

На этот раз речь даже и не шла о княжеском столе. Ольговичами и Рюриком руководила только месть, желание наказать киевских жителей за их благосклонность к Роману Галицкому. Его полки были далеко, великий князь Владимирский мало заботы имел о Киеве, защиты городу ждать было неоткуда. Так что Киев взяли быстро.

Они совершили страшное преступление: открыли путь для грабежей и убийств иноплеменикам, да вдобавок таким, для которых в отношении русских не существовало запретов. Половцы, ворвавшись в город, стали уничтожать население.

Недолго могли горожане обороняться в своих домах: каждый дом осаждался толпой поганых, поджигался, если жители раздражали их своим упорством. Но и сдавшимся не было пощады. Молодые и здоровые юноши и девушки отбирались как скот — на продажу, остальные вырезались. Кровь стариков на улицах смешивалась с детской кровью. Тела — обезображенные и поруганные — валялись повсюду. Все, что было ценного, отбиралось, женские украшения отрезались вместе с ушами и пальцами, церкви грабили дочи́ста.

С утра до вечера шла резня — такой еще Киев не видывал со дня своего основания. Рюрик и Ольговичи стара-

лись не отставать от поганых, и поскольку им было хорошо известно, кто из горожан самый богатый, где лучше и безопаснее пожить, то в грабежах они весьма преуспели. Киев был растерзан и убит — украшения, создававшиеся веками, богатства, накапливаемые поколениями, — все было увезено, жители — или уничтожены, или уведены половцами. В один день великий город потерял и блеск и величие, опустел и умер.

Они покинули город вместе, но тут же разошлись в разные стороны — поганые в степь, Ольговичи — в Чернигов, Рюрик же отправился в свой Овруч, где и затворился, понимая, может быть, что теперь, после такого злодеяния, следует ждать возмездия. А оно должно неотвратимо наступить — и станут ли тогда Ольговичи защищать Рюрика? Ответ был ему слишком хорошо известен, и Рюрик ждал, сидя в Овруче, принимая все возможные меры для обороны. Правда, он еще не знал, кто соберется его наказывать — оскорбленный Роман или же сам великий князь, который тоже мог рассердиться и мстить.

Получилось же так, что возмездие Рюрику пришло сразу и от великого князя, и от Романа, потому что действовали они вместе.

Узнав о чудовищном преступлении, Роман не стал поступать так, как ожидал от него Рюрик, затворившийся в Овруче. Роман связался с великим князем и уговорил его для виду простить бывшего своего тестя, а самому Роману предоставить полную свободу в отношении Рюрика. Всеволод Юрьевич заставил себя смирить гнев, потому что понимал: мсть Романа будет более изощренной, чем просто взятие Овруча. Великий князь знал Романа и согласился со всеми его просьбами. Например — сообщить Ольговичам, что не держит на них зла и прощает за сотрудничество с Рюриком.

Ольговичи, поверив великому князю, занялись литвой, тревожившей их уделы. Рюрик остался один. Мало было его наказать, просто победив в бою. Он должен быть унижен, навсегда отстранен от возможности княжить и тепшить свою гордость. Это Роман великому князю твердо обещал.

Он все же подошел с войском к Овручу, но не для осады, а для того, чтобы предложить Рюрику мир, вечную дружбу и совместный поход против поганых, разрушивших Киев. Рюрик не знал, что и думать. С одной стороны — войско давнего врага стояло под стенами города, с другой стороны — давний враг уверял в любви, и не только в своей. Великий князь, оказывается, тоже готов был рас-

крыть Рюрику объятья, как блудному сыну. Больше всего Рюрик любил, когда его приглашали мириться. Он не смог не откликнуться на такой призыв — открыл ворота, впустив Романа в город. Примирение отметили, как и полагается, пиром, а через несколько дней, дожидаясь только Ярослава Всеволодовича, сына великого князя, который привел переяславскую дружину, отправились мстить поганым за разорение древней столицы. Вот это Рюрику было по сердцу! Какие могут быть счеты между русскими князьями? Вперед, все вместе, а если что и было раньше, то забудется. И действительно — никто не напоминал Рюрику о Киеве, не упрекал вероломством. Зима выдалась лютая, поход оказался трудным. Но успешным — пожгли, порубили поганых достаточно. Взяли пленных и скота немало. Возвращались с победой, и Рюрик уже подумывал: не сесть ли снова в Киеве, тем более что и Роман передавал ему согласие на то великого князя.

Но когда Киев был уже недалеко, возле Триполя, Роман велел своей дружине схватить Рюрика и бывшего вместе с ним сына, Ростислава. Дальше произошло совсем уж непонятное: Рюрик был доставлен в Киев без всякого почета, введен в Выдубицкий монастырь, где увидел супругу свою и дочь, с которой князь Роман так и не согласился когда-то жить. Здесь Рюрика и постригли в монахи вместе с женой и дочерью.

Рюрик был убит, раздавлен, уничтожен. Еще вчера считавший себя сильным, удачливым, полный надежд и намерений на будущую светлую жизнь, он вдруг оказался в старой, темной монашеской келье, одетый в рубище, принуждаемый настоятелем и братией к труду и молитве. В знак признательности за разорение монастыря ему и келью подобрали похуже, и работу заставляли делать погрязнее. Исчез из мира один из самых известных князей, гордость свою вынужденно сменил на иноческое смирение, и все, что ему осталось, — это черный хлеб, смоченный слезами бессилия, и возможность ночью, кляня себя за доверчивость, поскрипеть вдоволь зубами от злости.

По просьбе великого князя Роман посадил в Киеве на стол Рюрикова сына Ростислава, приходившегося Всеволоду Юрьевичу зятем. Ему, однако, запрещено было помогать отцу, находившемуся рядом. Но Ростислав, кажется, не очень был этим огорчен. От Ольговичей возражений по поводу нового киевского князя не поступало, да и понятно — Киев представлял из себя довольно жалкое зрелище, разоренная ими же, Ольговичами, Киевская земля была уделом неза-

видным, да и с великим князем и Романом Галицким им без особой нужды ссориться не хотелось.

Таким образом зло было наказано и взаимный мир восстановлен. Роман, вернувшись в Галич, стал искать себе нового поприща славных подвигов, и скоро нашел его, обрушившись на Польшу, где горячо вступился за Лешка Казимировича в борьбе с его дядей Мечиславом.

Казалось, сама судьба помогает Роману за все прошлые мытарства, давая возможность отомстить всем его врагам. Старый Мечислав вскоре умер, зная, что Роман берет его города один за другим. Лишившись в лице Мечислава сильного противника, Роман двинул на его сына и так успешно воевал с ним, что вся Польша стонала в пламени пожаров, и теперь даже союзник Романов, Лешка, просил его оставить в покое польскую землю. Разгоряченный Роман требовал огромного выкупа — и золотом, и землями. Ему все это было обещано, только бы вернулся в свой Галич.

Тогда же на доблестного и могучего князя обратили внимание в Риме. Зная его как защитника христиан, хотя и не считая православных вполне христианами, папа римский решил, что заполучить в свои сети Романа Галицкого будет совсем не лишним. До папы Иннокентия III еще никому не удавалось привести русских в латинскую веру, и он надеялся обращением князя Романа прославиться среди своих предшественников и преемников, а также приобрести больше веса в глазах западных монархов. К Роману в Галич отправился папский посол, был принят при княжеском дворе и долго увещевал Романа Мстиславича, пытаясь доказать, что только покровительство папы римского может радовать истинного христианина, что папа, как наследник святого Петра, поможет князю Роману овладеть землями и городами, какими только тот пожелает. И порукой тому святое оружие папы — меч Петров. Роман, услышав про меч, тут же вынул свой. «Такой ли у папы? — спросил он. — Пока ношу его при бедре, другой мне не нужен. И я сам покупаю города кровью, следуя примеру наших дедов!» После чего папскому послу ничего другого не оставалось, как удалиться, потому что он не смог найти доводов против меча в руке Романа Мстиславича.

Действуя согласно с великим князем, Роман мог достичь многого, и великий князь на это надеялся. Все же два властителя Русской земли скорее договорятся между собой, чем двадцать. Всеволод Юрьевич предполагал, что Роман, подавив Ольговичей, станет хозяином Западной Руси, лежавшей по правую сторону Днепра, а сам он возьмет

под себя левую сторону и Новгород. Делить им — двум великим князьям — будет нечего, да к тому же ни одному из них другого будет не одолеть. Равновесие станет одинаково выгодно обоим. А там уже, установив мир на веки вечные, можно будет подумать об упразднении княжеских уделов, что хотел сделать еще Боголюбский, чтобы стать единственным государем, что так необходимо Русской земле.

Но, видимо, еще рано было об этом думать: Роман внезапно погиб. Погиб случайно, нелепо. Тот, перед которым трепетали страны, кто наводил ужас на целые народы, нашел свою смерть от пущенной кем-то вслепую стрелы. Галич вновь остался без князя, огромный удел — без правителя. Опять зашевелились соседи в надежде поживиться, словно шакалы вокруг мертвого льва.

Смерть Романа посчитал достаточным основанием для своего расстрижения Рюрик. Хотя супруга и упрекала его в легкомыслии, но он-то как раз видел легкомыслие в том, чтобы сидеть в келье, когда опустел золотой трон, и не пытаться его занять. Расстриженный Рюрик, оставив супругу, теперь уже больную, в схиме¹, согнал с киевского трона родного сына, стал искать новой дружбы с Ольговичами, для того чтобы идти на Галич. После того как умер князь Игорь Святославич, потомков Ольгова рода совсем некому стало удерживать от бесчинств.

Южная Русь была ввергнута в новую страшную войну.

ГЛАВА 40

Когда Всеволод вошел к жене, она спала или просто лежала с закрытыми глазами. Для удобства ей подкладывали множество мягких подушек, и среди этой пышности княгиня Марья выглядела еще меньше, чем была. За время болезни она превратилась в былинку, и Всеволод мог носить ее на руках, не напрягаясь. Правда, делать ему этого не приходилось.

Отношение великого князя к Марье, как он сам считал, не стало хуже. Он был уверен, что до сих пор любит ее той самой любовью, которая выше простого плотского влечения. Но порой его раздражало состояние жены, никак не менявшееся — она и не выздоравливала, и не умирала. И тогда он спрашивал себя: неужели та девушка, ставшая потом молодой и красивой женщиной, и эта сморщенная старушка — княгиня Марья? Можно ли свою любовь к той,

¹ С х и м а — монашеский чин, налагающий самые строгие правила жизни.

давшей ему столько счастья, переносить на эту, со временем будто становящуюся все более чужой, незнакомой? А сам он? Не изменился ли и он столь же разительно, как княгиня Марья, хотя сам этого не ощущает? Может, его душа за долгие годы так же высохла и сморщилась, как тело жены? А если так, то стоит ли убеждать себя, что по-прежнему жива их юная любовь, дороже которой ничего, пожалуй, в жизни у него не было?

Но потом Всеволод каждый раз корил себя за бессердечие, каялся перед Марьей, рассказывал ей, что творится у него в душе. После приступов раздражения он испытывал к жене прилив жалости и сострадания, чувствовал вину перед ней, хотел ее загладить. Хотя — что он мог сделать для жены? Только прийти к ней лишний раз, поговорить ласково, ободрить, зная, что в словах ободрения мало проку, и княгиня это понимает.

Сегодня, однако, Всеволод Юрьевич зашел к ней потому, что ему передали: она просила зайти. Это случилось в последнее время так редко, что ради этого зова великий князь оставил дела, а их было немало, и срочных. Константин отправлялся в Новгород заменить Святослава на княжеском столе — немыслимо было даже представить, сколько хлопот этому сопутствовало. Только подобрать нужных людей — и то голову сломаешь. Да ведь нужно еще и Константина ко всему подготовить: решение посадить его в Новгороде давно зрело у великого князя, а созрело внезапно — даже для него самого, не то что для Константина. Одних наставлений дать надо столько, что, если бы перечислять их подряд, наверное, целого дня не хватило. Но тут прибежали, сказали: княгиня зовет. Все бросил — и к ней.

Княгиня или спала, или не слышала, как он вошел. Что бы не испугать жену, Всеволод тихонько позвал:

— Марьюшка...

Старушка открыла глаза, увидела мужа, чуть улыбнулась. Как ни изменилась она, а в улыбке ее на миг угадывалась та княгинюшка, прежняя, ласковая, чуть лукавая, с родимым пятнышком на виске. Но только на краткий миг. Теперь пятнышко разрослось во весь висок, стало страшным.

— Митюшка. Хорошо, что пришел, — тихо сказала княгиня. — Мне поговорить с тобой надо.

— Поговорим, Марьюшка. Тебе удобно ли?

— Повыше бы меня поднять. Позови кого-нибудь, пусть меня посадят.

— Зачем звать? Я сам. — Всеволод наклонился к жене, просунул руку под спину, поднял, подложил подушек. Не

часто касался ее — не любил того ощущения чуть брезгливого страха, возникавшего у него, когда он дотрагивался до невесомого тельца, бывшего когда-то таким желанным.

— Спасибо, Митюшка.

— Не за что. — Всеволод Юрьевич сел на стулец, на котором обычно сидела Елена. — Ну, о чем говорить будем?

Сказал как всегда — слегка снисходительно, но сразу понял, что сегодня так не надо. Глаза жены смотрели на него прямо и строго.

— Детей надо собрать, — сказала княгиня. — Прощаться буду.

— Как это — прощаться? — спросил Всеволод. Не понял слов жены, подумав, что она имеет в виду Константина, уезжавшего вскоре.

— Потому что постричься нужно мне. Пора уж, — сказала Марья. Вдохнула и добавила: — Я умру скоро, Митюшка.

На этот раз Всеволод промолчал. Нечего было ответить. Что же, может, так оно и лучше — в монастырь. Мысль об этом ему много раз приходила в голову, но княгиня говорила, что не оставит детей, не уйдет в монахины, пока не почувствует, что пора. Теперь, видно, почувствовала.

Значит, опять что-то заканчивается в жизни. Когда-то он лишился матери. Потом — умирали дети. Потом они больше не умирали, но Всеволод лишился жены. Теперь предстоит лишиться этой маленькой старушки. Это будет скоро. И жизнь покатится дальше.

— Марьюшка, Марьюшка, — проговорил Всеволод. — Ты прости меня.

— И ты, Митюшка, меня прости.

Всеволод судорожно подавил непонятно откуда взявшееся рыдание. Но оно вернулось, и он затрясся, уткнувшись лицом в ладони. Марья ласково смотрела на него, но казалось, что и ласка эта дается ей с большим трудом. Не было у нее уже сил ни на что.

— И Елена со мной пойдет. Слышишь?

Всеволод кивнул, не отрывая ладоней от лица.

— Ей там со мной хорошо будет. Что она здесь без меня? — Марья как будто разговаривала сама с собой, не замечая, что муж плачет.

Он поднял на нее мокрое лицо:

— И когда хочешь постригаться?

— Попрошаюсь с детьми. Потом, — сказала Марья. — Собрать бы их, Митя.

— За Ярославом послать?

— Всех надо бы.

— Хорошо, Марьюшка. Сегодня же пошлю в Переяславль, — успокаивающе сказал Всеволод.

— Далеко. Детки далеко разлетаются, — прошептала Марья. Устала говорить.

Полежала, закрыв глаза, собираясь с силами.

— А ты, Митюшка, не плачь. Ступай. А потом еще приди, я отдохну пока.

Он, ничего не говоря, встал. Дела все-таки надо было делать, от них не уйдешь.

Вот и пригодился княгинин монастырь, думал великий князь. Может, дается человеку знание своей судьбы, да только он понять его не умеет? Давно когда-то, еще молодой, Марья загорелась построить этот монастырь. И всю жизнь строила и обустраивала. Великий князь тогда шутил: не хочет ли она стать настоятельницей, матерью игуменьей? Хорошо тогда было шутить. Молодым кажется, что всегда будут молодыми. И монастырь этот — для кого-то другого. Мало ли страждущих, желающих покинуть этот мир?

А шутка-то вот когда отзывалась. Это значит, что жизнь проходит, проходит, и никакая власть, даже власть великого князя, не в состоянии задержать, остановить, вернуть хотя бы единый миг этой жизни.

И Елене давно пора в монастырь. Ей-то туда с рождения было идти предназначено.

Отправился дела доделывать и вдруг понял, что сегодня больше не хочет ничем заниматься. Сказал Константину про решение матери. Тот сразу побежал к ней — сидеть у изголовья, вздыхать, точить слезы. Честное слово, хоть сам вместо него поезжай в Новгород.

Отпустил бояр, наказав Добрыне Юрятичу завтра прийти пораньше — многое нужно было еще обсудить.

Удалился к себе. До вечера просидел над книгой, потом лег спать. Во сне видел юную княгиню Марью, и смеялся с ней, и плакал от молодого счастья.

Через неделю прибыл Ярослав, и все дети теперь были вместе, за исключением дочерей. И Всеслава и Верхуслava в свое время уже получили родительские наставления и благословения и находились теперь в воле мужей своих.

Великий князь, несмотря на свою печаль, все же не упускал случая приглядываться к детям, когда они собрались вместе. Как-то получилось, что не задумывался раньше об их взаимоотношениях.

Росли они как бы порознь. Положение детей и наследников великого князя не позволяло им держаться ватагой.

бегая всюду, подобно детям простых родителей. У каждого были свои воспитатели, свои бояре, слуги, великий князь был больше озабочен тем, чтобы из каждого сына сделать маленького государя, чем стремился вырастить братьев дружными и любящими друг друга. Только мать учила их этому. А в последние несколько лет, когда она болела, сыновья и вовсе были предоставлены сами себе, своим заботам и желаниям. И дела у всех были разные. Кто с отцом на войну едет, кто в большом уделе княжит, кто при дворе проказничает. Они и виделись-то редко. И нынче, когда матери с ними не будет совсем, не станет ли усиливаться у сыновей взаимное отчуждение?

Было видно, что Константин не выказывает особого расположения ни одному из братьев. Конечно, он привык быть первым и главным сыном, жил в своем особом мире, со своими заботами. И сам великий князь все время подчеркивал перед остальными сыновьями его старшинство. А как же иначе? Ведь именно Константин станет над ними государем после смерти отца. К тому же он готовится принять новгородское княжение. И хоть не с большой охотой туда едет, но все же осознает свое превосходство над братьями.

А вот Святослав, несмотря на то что ему всего десять лет, наверняка обижен на Константина. Уже посидел в Новгороде, понюхал власти и всего, что власти сопутствует. И боярам его, наверное, тоже понравилось управлять Новгородом. И вину за то, что Святослав отозван, приписывают Константину: конечно, возле отца сидя, выпросил себе новгородский стол, ущемил родного брата. И Святославу напели, нашептали на Константина. Недаром Святослав так поглядывает на старшего.

И вообще, все младшие братья, похоже, против Константина. Это их и объединяет. Великому князю давно известно такое свойство всех людей: нелюбовь к кому-то одному сближает тех, кто не любит его, сильнее родственных уз. Сколько раз сам Всеволод Юрьевич испытывал это в жизни! Не получилось ли то же самое с родными детьми?

Великий князь подумал: надо бы поговорить с сыновьями, убедить их не держать зла друг на друга. Правда, не очень-то надеялся, что разговор такой поможет. Волю отца они, конечно, выполняют — воспитаны в покорности. Но когда этой воли над ними не будет, согласятся ли выполнять волю старшего? К тому времени все станут взрослыми. Великий князь, даст Бог, проживет еще долго.

А став взрослыми, не кинутся ли один на другого, подобно сыновьям рязанского князя Глеба? Чтобы усмирить их, надо каждому дать столько, чтобы не чувствовал себя обделенным. Но ведь на всех не напасешься великих княжений, оно одно. Горько это признавать, но признать надо: великое княжение, то, что Всеволод Юрьевич создавал всю жизнь для блага земли своей и сыновей своих, и станет в будущем причиной раздора между детьми. Всегда великий князь чувствовал презрение, когда видел, что брат поднимает меч на брата. Неужто и его сыновьям такое суждено?

Так и не собрался поговорить с сыновьями, предоставив это матери. Надеялся, что Марья сможет найти для них слова, которые дойдут до их сердец, будут восприняты не как приказание или даже просьба, а как самое святое — материнский наказ.

Все шестеро, уже не раз побывавшие у матери поодиночке, пришли к ней накануне пострижения.

Весь город знал, что сегодня княгиня отправляется в монастырь. На улицах былолюдно. В этот первый день марта зима словно растерялась: позволила солнышку сиять, придержала мороз. Сиял снег под яркими лучами, сияли купола церквей. А народ не радовался: горожане, собравшиеся на улицах проводить княгиню Марью, стояли строгие, среди баб кое-где слышался плач. Ее любили в городе. Многим она помогла на своем веку, многих защитила от несправедливостей, которых в любой жизни хватает. Доброта и кротость великой княгини были известны всем. И люди, привыкшие к тому, что есть у них в лице княгини Марьи надежная защитница, искренне горевали, что она должна их оставить. В разных местах города с церковных звонниц раздавались медленные удары колоколов. В княгинином монастыре все было в движении — готовились встретить княгиню с большим почетом. Хоть и не принято было уход из мира сопровождать суетой, но княгиня столько добра сделала для своего монастыря, что ни у кого сомнений не вызывала необходимость воздать ей подобающие почести.

В княжеском дворце тоже шли приготовления. Мать Ефимия, настоятельница монастыря, и епископ Иоанн были у великого князя, слушали его наставления, обговаривали условия содержания княгини Марьи и дочери ее Елены. Игуменье все было ясно: княгиню она знала давно и любила ее, знала и Елену, и то, что ей, настоятельнице монастыря, говорил великий князь, было совсем лишним. Но она с благодарностью слушала его: государь только что отписал монастырю несколько сел, подарил большие луга за

Клязьмой и пообещал выделить часть доходов своих на украшение монастырских храмов, в том числе на золочение купола Успенской церкви, которая была недавно построена по просьбе княгини самим великим князем.

В ожидании княгини Марьи возле крыльца стоял возок — простые санки с сиденьем, как она просила. Они с дочерью хорошо должны были в нем разместиться — удобно и скромно, без пышности. Народ толпился возле возка, отесняемый дружинниками — чтоб не повредили чего. Похоже, многие готовы были выпрычь из возка двух спокойных пожилых мерин и вместо них сами довести матушку княгиню, не трянув по дороге, к месту последнего пребывания. Ждали молча, не решаясь разговаривать.

Людно было и перед княжескими покоями во дворце. Бояре, зная, что княгиню до возка понесут на руках, хотели удостоиться этой чести. Толпились у входа в покои, надеясь, что великий князь заметит их рвение, и каждый думал, именно его великий князь попросит оказать княгине эту последнюю услугу.

Были здесь, конечно, и оба Юрятча — Добрыня и Борис, ожидавшие своих воспитанников, когда те вернутся от матери, получив благословение на дальнейшую жизнь. Им приходилось теперь видаться редко — Добрыня с Константином не выезжал из Владимира, а Борис вместе с женой и детьми жил теперь в Суздале, при князе Георгии. Туда же, в Суздаль, Борис перевез мать и брата Любима. После смерти Юраты Любава замкнулась в себе, стала богомольной и тоже, сказывал Борис, собиралась в монастырь, как только женит младшенького. Невеста ему уже найдена.

— А сам-то он как? Хочет жениться? — улыбаясь, тихонько спросил Добрыня. Наклонился к уху Бориса, чтоб не слышали вокруг. Время, конечно, было не для веселых бесед, но, подумав о Любиме, который, наверное, стал совсем взрослым, Добрыня не смог удержаться от улыбки.

— Еще бы ему не хотеть, — так же тихо ответил Борис. — За ней приданого дают — как за княжной. На Пасху поженят.

— Как нас с тобой. — Добрыня опять хотел улыбнуться, но, вспомнив Юрату, погрузился. — Ты у нас погостишь? — спросил он Бориса. — Побудь хоть немного. Давно ведь не видались. А скоро в Новгород с княжичем уеду, так совсем надолго расстанемся.

— Не знаю, брат. Это как князь Георгий скажет. Мы ведь с тобой люди подневольные, — ответил Борис, как показалось Добрыне, с раздражением.

— Строгий он? От себя не отпускает? — спросил Добрыня.

— Нет, не строгий. — Борис словно не мог подобрать своему княжичу определения — такого, чтобы и верное было, и не прозвучало на князя Георгия хулой. — Не строгий, а, как бы тебе сказать... нравный. Сам не прикажет, а любит, чтобы угадывали, чего хочет.

— Ты-то угадываешь?

— Я-то уж наловчился, — ответил Борис с таким знакомым Добрыне смешком, но тут же одернул себя.

Стоявший недалеко от них статный и красивый лицом боярин — был это Михаил Борисович, новый главный думец и советник великого князя, — строго глянул на братьев: чего, мол, веселитесь в такой скорбный час? Но, встретив спокойный взгляд Добрыни, отвернулся с нарочито скорбным лицом. От Бориса не утайлось.

— Не любит тебя Мишка-то? — шепнул он.

У Добрыни на скулах вздулись и опали желваки. Вместо ответа он посмотрел задумчиво на свою ладонь и вдруг сжал ее в огромный мосластый кулак.

Борис понимающе взглянул на это стенобойное орудие. Он и сам знал, как это бывает трудно, когда хочешь вытащить саблю и рубануть — а не вытаскиваешь, нельзя: против подлостей человеческих приходится по-другому действовать.

— Давай-ка, брат, отойдем к окошку, — сказал Борис. — А то натопили — жарко, сил нет.

Отошли к окошку. Здесь никого не было — можно говорить спокойно, не опасаясь, что услышат, переврут и доносят.

— Так что — погостишь, брат? — спросил Добрыня. — Поговорим не таясь. Ты да Любим — больше у меня братьев нету. Когда еще увидимся?

— Говорю же — как княжич мой захочет, — ответил Борис.

— Да он сейчас, поди, не станет норов показывать, — уговаривал Добрыня. — Княгиня Марья их сейчас учит, составляет. Она добрая.

— Эх ты, Добрынюшка, — насмешливо покачал головой Борис. — Да ведь то, что им княгиня сейчас говорит, они уже сто раз слышали. И что с того? Всегда-то ты доверчив был. Она их, поди, учит, чтоб не ссорились, друг друга не обижали. А они твоему Константину завидуют, что его отец среди всех выделяет.

— Так ведь он старший.

— Ну и что? Я-то своего князя Георгия хорошо знаю. Он вместо Константина хоть сейчас бы в Новгород кинулся, — сказал Борис. — И остальные так же. Вот им княгиня Марья, поди, говорит, чтоб любили друг дружку, а они ждут, когда великий князь скончается. Чтоб ни в чей воле не ходить.

— Что ты говоришь, брат? Князь Константин не такой, — сказал Добрыня.

— Я тебе, брат, вот что скажу. — Борис посмотрел Добрыне прямо в глаза. — Они, князя, конечно, господа наши. И про них плохого ни ты, ни я сказать не можем. Только поверь моему слову, Добрынюшка. Придет время — и как бы нам с тобой не пожалеть, что мы с ними жизни свои связали. Ты — с Константином, я — с Георгием. Теперь-то редко с тобой встречаемся, а тогда — не дай Бог, может, и почаще встречаться станем. Ты с Константином — на одном краю поля, я с Георгием — на другой стороне. Так что заранее тебя прошу: меня не руби, а бери руками, я тебе сдамся.

Добрыня молчал. Борис, конечно, по своему обыкновению, мышь принимал за корову — преувеличивал. Но что уж там — и ему самому о чем-то подобном думалось иногда. Может, и правда нужно подальше держаться от государей? Но зачем и жить тогда? Жизнь вне службы великому князю и Константину представлялась Добрыне чем-то вроде монастырской жизни, к которой готовилась сейчас великая княгиня. А служба великому князю заключается в том, чтобы отбросить все дурные помыслы, довериться безгранично и верить без сомнения. Не нами это установлено, не нам и отменять. Всякое бывает, конечно. И зло тоже. Но разное зло это бывает именно потому, что те, кто обязан служить верно, не выполняют свой долг, нарушают слово, пекутся лишь о себе.

— Ты говоришь — когда в Новгород? — спросил Борис.

— Да вот князь Константин не спешит, не хочет с матерью расставаться. До распутицы, однако, должны уехать.

Борис поглядел на брата и понимающе кивнул.

Тут дверь в покои великого князя распахнулась, и всеобщее внимание обратилось туда. На пороге появился сам Всеволод Юрьевич. С ним был епископ Иоанн — в строгом священническом повседневном облачении, с напрестольным крестом в руках. Многие переглянулись: никак государь велит крест на что-то целовать? Сыновьям? Вроде бы рано, сам еще жив и здоров. Епископ уловил эти взгляды и спрятал крест в складках одеяния. Великий князь тяжело поклонился собравшимся.

— Спасибо вам, что пришли княгиню проводить, — сказал он.

Был хмурый. Пригласил всех спускаться вниз, к крыльцу. Княгиню уже готовят и скоро вынесут.

Бояре, старшины, городская знать, толпившиеся у дверей, потянулись к выходу.

Вскоре двое черноризцев вынесли великую княгиню, бережно держа на весу стулец с высокой спинкой, на котором она сидела. Следом вышли великий князь и игуменья Епифания, держа за руки шедшую вразвалку Елену. Обе — и мать и дочь — были уже в монашеских одеяниях.

Сразу за великим князем на крыльце появились все шестеро сыновей. Константин плакал, утирая слезы рукой. Георгий был сдержаннее — лицо хмурое, но спокойное. Ярослав был бледен. Остальные, младшие — Владимир, Святослав и Иоанн, — всхлипывали, смотрели по сторонам.

На Дмитриевском соборе ударил печально колокол. Вся толпа, окружавшая крыльцо, повалилась в снег, на колени. Теперь уже никто не сдерживал рыданий и горестных криков.

— Матушка наша!

— Заступница! На кого нас покидаешь?

— Как мы без тебя, голубушка наша?

Княгиня Марья с необычайно посветлевшим лицом худенькой ручкой крестила толпу, улыбалась. Елена, ведома отцом, которому, казалось, не очень нравятся несущиеся отовсюду вопли, шла, потупившись.

Княгиню усадили в повозку. Следом за ней неуклюже полезла Елена. Толпа подалась вперед.

Всем хотелось лучше увидеть. Кому-то — в последний раз посмотреть на свою благодетельницу, кто-то просто любопытствовал. Великий князь заметил, как побагровели от напряжения лица дружинников, пытавшихся сдерживать возрастающий напор толпы. Сейчас не выдержат, народ прорвет, хлынет к возку. Перевернут еще.

— Трогай! — крикнул Всеволод. И, поскольку возница черноризец замешкался, крикнул еще раз: — Пошел, говорю!

Возок быстро покотил к воротам. Толпа потекла вслед.

В тот же день княгиня Марья и дочь ее приняли постриг.

Монашество Марьи оказалось недолгим. Только восемнадцать дней прожила она в монастыре. Тихо, будто с облегчением, скончалась.

К этому времени Георгий уже уехал в Суздаль, Ярослав отправился в Южный Переяславль. Всех ждали дела.

Константину выпало дожидаться смерти матери во Владимире. В день, когда сообщили о кончине монахини Марфы — такое имя приняла княгиня, — он и выехал в Новгород, напутствуемый великим князем.

Добрыня уехал вместе с князем Константином.

ГЛАВА 41

— А ты ему верил, государь, — печально сказал Михаил Борисович, изображая лицом примерно следующее: «Уж если кому и верить на этом свете, то только мне, твоему слуге верному».

— Мало ли кому я верил. — Всеволод был с виду невозмутим. — Ведь он же сват мне. Детей мы поженили.

Михаил Борисович усмехнулся еще печальнее.

— Да-а, — протянул великий князь. — Вот тебе и сват. А ведь на словах таким другом был. Епископа своего присылал с уверениями.

Лицо у великого князя стало жестким, он махнул рукой, словно отгоняя от себя нечто неприятное.

— Я тоже хорош. Видел же на своем веку и епископов, и всех прочих видел. Но никак не могу я понять, Миша... — Он поглядел на боярина, сочувственно слушавшего. — Ведь они же, Ольговичи, его чуть не погубили. В цепях держали! Я ведь его у них отнял, выпросил. А он теперь опять к ним прибежал. Ты хоть мне объясни, Миша.

Михаил Борисович только вздохнул, развел руками: ох, грехи человеческие!

Речь шла о Мстиславе Романовиче, смоленском князе, свате Всеволода Юрьевича.

Очень задела Всеволода Юрьевича события, произошедшие в Южной Руси. Князь Мстислав Романович принял в этих событиях деятельное участие.

Дело касалось Галича. Знаменитый город, оставшийся без защитника, оказался для многих столь лакомым куском, что войне за Галич не смогло помешать даже покровительство владимирского князя, когда-то взявшего под свою руку Владимира Ярославича, потом Романа. Теперь же, после смерти князя Романа, это покровительство должно было перейти — по справедливости — к детям Романа. Все это знали, и никто не смог бы такое справедливое положение оспорить.

Но его и не собирались оспаривать. Ольговичи считали себя самыми достойными наследниками великого Галицко-Волынского княжества, и взятие Галича, кроме всевозмож-

ных выгод, сулило им, по их мнению, еще и победу над владимирским властителем, пусть и косвенную. И не только Ольговичи хотели такой победы! Неугомонный князь монах-расстрига Рюрик со всей страстностью присоединился к ним, поклявшись в вечной дружбе нынешнему старшему Ольговичу — сыну Святослава — Всеволоду Чермному.

Тут ничего удивительного для Всеволода Юрьевича не было: он знал Рюрика, знал Чермного, превосходившего и отца своего в коварстве и алчности. Знал великий князь и то, с какой легкостью Рюрик дает клятвы и обещания. Уже они с Чермным и другими Святославичами пытались овладеть Галичем, когда же не вышло — разорили любимый свой Киев. Надо было ожидать, что дерзнут захватить Галич еще раз.

Но сват! Мстислав Романович-то зачем с ними связался?

Кому же верить? Он ведь всегда был другом великому князю, воевал на его стороне. Детей поженили. Хочешь Галич — приди и честно скажи: великий княже, хочу Галич. Дай его мне. Вот и все. И под защитой владимирской мощи сиди себе там спокойно и Смоленск за собой оставь. Вместо этого Мстислав Романович долго тайно сносился с Чермным, с Рюриком, предлагал им свою дружбу для похода. А в это время посылал к великому князю смоленского епископа Игнатия, через него передавал приветствия и заверения.

Младенцу любому ясно — ни Чермному, ни Рюрику верить нельзя: обманут. И Мстислав Романович тоже ведь это знал всегда! И поди ж ты — повел дружину свою на помощь супостатам. У юных сыновей Романа Галицкого, Даниила и Василька, отнимать вотчину. Опять же зная, что ни Чермный, ни Рюрик, превратившийся в бешеного пса, не оставят младенцев живыми. Добродушный, веселый сват Мстислав, любивший детей, пошел охотно обгадить руки в детской невинной крови.

Великий князь думал: проживи он еще сто лет, словом и мечом доказывая свою правоту, его все равно не поймут. Его правота заключается в справедливости и силе. Их правота — в гордыне и алчности. Стоит ли ему бороться с тем, что победить невозможно? Ну, от борьбы, конечно, никуда не денешься. Но хотя бы пора перестать удивляться и возмущаться.

Разве не стыд, не позор для той же гордости княжеской, что иноземцы удерживают русских князей от злодеяний на Русской земле? Король Венгерский, сын Белы Андрей, явился со своим войском, чтобы защитить малых де-

тей Романа, не пустить к Галичу дружины Чермного, Рюрика и, конечно, половцев, которых Рюрик опять позвал. И свату, Мстиславу Романовичу, пришлось убираться восвояси. Теперь пусть забудет сват Мстислав о том, что был другом великому князю.

Впрочем, Бог с ним, со Мстиславом. Он свое получит непременно, как и всякий, кто связывается с Ольговичами. Не это событие обидело великого князя, а то, что явилось следствием неудавшегося похода на Галич.

Весь народ галицкий, а также вдова Романа — та, на которой он женился, загнав в монастырь Рюрикову дочь, — просили у заступника своего, короля Андрея, чтобы он позволил им пригласить в Галич на княжение сына великого князя — Ярослава. И Андрей согласился, потому что понимал: согласием этим оказывает услугу Всеволоду Юрьевичу. Иноземец — а понимает то, чего никак не могут понять свои, даже такие близкие, каким был Мстислав Романович: дружба с великим князем Владимирским гораздо выгоднее всех прочих выгод.

Но тут опять вмешались Ольговичи, которые в Галиче имели много сочувствующих из числа обиженных Романом. Эти-то сочувствующие и подняли в городе шум, доказывая всем, что Ярослав Всеволодович слишком юн, чтобы управлять Галичем, а великий князь, его отец, слишком удален от галицких земель, чтобы суметь их вовремя защитить. Был большой спор, несколько дней спорили, и за это время обе стороны успели отправить посольства — одни к Ярославу в Переяславль, другие — в Новгород Северский, за Владимиром Игоревичем, сыном покойного Игоря Святославича. Вторые послы оказались проворнее.

Великий князь не знал, гневаться ему на сына своего Ярослава или нет. Все получилось не к чести великого князя. Ярослав, обрадованный предложением, бросился в Галич, но там уже сидел Владимир Игоревич, и Ярослав со стыдом вернулся в Переяславль. Почему поехал, не посоветовавшись с отцом? В свои пятнадцать лет посчитал себя достаточно опытным и умным, чтобы такие важные дела решать самостоятельно? Теперь вся Русь смеется: дали сыну великого князя Владимирского от ворот поворот!

Впору в самом деле разгневаться на Ярослава. Но, с другой стороны, Ярослав показал хватку, не стал ждать, пока отец ему присоветует, сам отправился сесть на великий галицкий стол. И не его вина, что опередили. Многие в жизни случается не по нашей вине. Следует простить самовольство Ярославу. А что честь великого князя задета,

так ведь еще ни разу так не случилось, чтобы сделавшие это не были наказаны.

Великий князь еще подумает, как наказать Ольговичей. Хотя, если говорить правду, в последнее время он, узнавая о них новости, чувствовал какую-то растерянность: Ольговичи теперь не те, что раньше. Не знаешь, как и обращаться-то с ними. То ли времена переменялись, то ли люди другими рождаются. Он, Всеволод Юрьевич, на этом свете живет уже достаточно долго, чтобы сравнивать.

В былые времена как-то по-другому все было. Да, и жестокости хватало, и предательства. Но что-то ведь было и хорошее. Великому князю все чаще вспоминались былые времена, ушедшие люди. Даже враги его, с которыми столько боролся, казались теперь милее. И какие были враги! Киевский Святослав, например. От него, конечно, всегда приходилось ожидать зла, но ведь какой был государственный ум, как мыслил — заглядывал далеко вперед! Право, даже жаль, что не получилось с ним дружбы. И не могло, конечно: Святослав никогда не простил бы Мономаховичам, что отняли у Киева значение стольного города. Но ведь гнев Святослава и понять можно: в своем возвышении он видел путь к укреплению всей Русской земли. Поэтому и злился на Всеволода Юрьевича, который ему мешал. Ну и что же, что князь Святослав ошибался, не мог разглядеть, что не в Киеве, а во Владимире возродится бывшее русское могущество. Зато думал не только о себе, но и обо всей земле.

А какие были витязи! Храбрый Мстислав. Да хотя бы и тот же Игорь Святославич, про того даже песню сложили.

А эти, новые! Их отцы и деды — чего говорить — не ангелы. Но все-таки значительные люди, не лишённые представлений о чести, долге, совести. У новых же князей, у молодой поросли этой, кроме жадности, никаких представлений нет. Взять хоть последние галицкие события. Будь Святослав на месте этих князей, которые на Галич ходили, так он бы, захватив вождельный город, усилился бы сам и западные русские пределы укрепил. Этим же — только грабить, только разорять. А Киев? Веками создаваемое отдаленным поганым на разграбление. То-то Святослав, наверное, под могильной плитой своей ворочается! А ведь Чермный — его сын, правнук Ольгов. Да, новые князья — совсем не то что старые. Те ушли все, и с ними вместе много хорошего ушло.

Такие мысли посещали великого князя все чаще, и он, думая о молодых, явившихся на смену старым, невольно вспоминал о своих детях — они-то какими окажутся? Са-

мое обидное было, что он этого не узнает никогда — как князь Мстислав Храбрый никогда не узнает о бесчинствах брата Рюрика, как Святослав не увидит, что творит Чермный. От сознания такой несправедливости у великого князя руки опускались. Неужели его сыновья обнажат друг против друга мечи, станут разорять и жечь города, которые великий князь украшал и укреплял? А то и сам Владимир будут отнимать один у другого, в монастырь княгинин, на могилу матери своей, пустят поганых? Того гляди, и на его, великого князя, могиле остановит половец узкий своей взгляд и подумает: а не ободрать ли с князя, лежащего здесь, богатую одежду — лошади на чепрак или бабам своим на украшение да забаву? Бесили великого князя такие мысли, а взбешенный, он сразу начинал перебирать в уме: кто? Кто из сыновей может оказаться злодеем?

Меньше всего великий князь грешил на Константина. Юноша рассудительный, честный, не зря мать, княгиня Марья, его больше всех любила. Такой не станет супостатничать. Хорошо, что он старший и великое княжение унаследует. Но вот кто из братьев сможет ему позавидовать так сильно, что забудет и о старшинстве Константина, и о долге перед предками и потомками своими? Уж не Георгий ли? А может, малолетний Иоанн вырастет злодеем? Как узнать? И что нужно делать, чтобы такое не случилось? Распустить ли сыновей теперь же по уделам, подальше друг от друга? Или уже сейчас подчинить их Константину? Или поделить между старшими великое княжение?

Ничего из того, что приходило на ум, великий князь сделать не мог и не хотел. И в конце концов неизменно приходил к выводу: пусть все идет как идет, Бог рассудит братьев, а ему, Всеволоду, умнее судьбы не быть.

И без того как-то невесело жить стало. За время болезни жены успел отвыкнуть от забав: и на ловлю звериную редко ездил, и шумные застолья потеряли свою прелесть. Слишком много появилось вокруг угодливых лиц, скучно стало пировать с людьми, с которыми и шуткой не перебросишься, — они-то готовы хохотать над каждым твоим словом, будто ты невесть что смешное сказал, а сами уж шутить разучились, все норовят великому князю что-нибудь верноподданное сказать. Хвалят его, кричат, что он — самый великий среди государей земных. Это-то великий князь и сам про себя знает. И это приятно, да чего греха таить — опьяняет не хуже вина. А вот скуку жизни почему-то не излечивает. Но это и справедливо: великий государь всегда одинок, и если ему скучно, значит, во владе-

ниях его все в порядке, с подданными никаких бед не происходит. А люди, с которыми скучно не было, все умерли. И Марьюшка, и Юрята верный. В монастыре доживает свой век ключница Фимья. А новых милых людей возле себя не завел, да в его годы это и невозможно. Друзья заводятся в юных летах, когда душа мягкая и в нее, как в глину, впечатывается дружеский образ. Потом душа, как глина в печи, обжигается, твердеет, образ остается навсегда, а нового уже не оттиснешь.

Но хорошие люди все же попадают. Вот взять хоть этого — Мишу. Молодой, а понимающий. Его к великому князю приблизил Захар, кравчий, тоже уж в земле теперь. Вот человек был — услужлив и расторопен, а помер — вроде как память о себе оставил. Великий князь, глядя на Михаила Борисовича, частенько Захара вспоминал.

Да, он ведь, Миша-то, еще что-то хотел сказать. Память стала подводить великого князя, что ли?

— Ты ведь еще что-то хотел, Миша? — спросил Всеволод Юрьевич.

— Да и не знаю, государь, как сказать тебе, — настороженно произнес Михаил Борисович. — Вроде и неловко сейчас, когда такое творится.

— У меня тут ничего не творится. Говори, чего хотел.

— Насчет деревеньки той, государь.

— А-а. Помню. Это той, что у боярина Мирона оттяпать хочешь? — улыбнулся великий князь.

Старый Мирон Дедилец ему жаловался на Мишу — дескать, отбирает у него деревню, а она Дедильцу еще от отца досталась. Вообще-то дело путаное. Не поймешь, кто прав. Может, и Мирон.

— Не оттяпать, государь. Деревню эту я купил, и запись у меня есть. Конечно, государь, я понимаю — у тебя и так забот хватает. Обо всех ведь нас ты думаешь. А тут еще я со своей жалобой. А только, государь, — Михаил Борисович приложил к груди белую руку в кольцах, — веришь ли — сердце кровью обливается, какие люди жадные да завистливые бывают. Это я про Мирона говорю, — пояснил он. — У него весь род такой. Что старший брат был злодеем, что младший.

Понятно. Напомнить хочет Миша, как брат Мирона, Петр Дедилец, ушел когда-то от великого князя к Глебу в Рязань. Эх, Миша, Миша. Ты ведь тогда совсем несмышленищем был, мальчонкой беззаботным. Что ты можешь об этом знать? А Петр Дедилец-то здесь и казнен, на глазах великого князя это случилось.

А может, и не был Миша таким уж несмышленищем? Может, с детства знал все и понимал? Иначе — откуда бы ему иметь такие твердые суждения обо всем? Да и насчет Дедильца он верно сказал — род их не назовешь опорой трона. Если один такой был, как Петр, то и еще могут появиться. Вдобавок зло держат на великого князя, в смерти Петра обвиняют. Хоть виду и не подают — но такие еще опасней.

— Ладно, Миша, — сказал великий князь. — Деревеньку эту себе оставь. А Мирону я дам знать.

Михаил Борисович согнулся в поклоне, благодаря великого князя за милость. Вот ведь — и кланяться человек умеет так, что посмотреть приятно: не валится в ноги, как мужик неотесанный, а гнет поясницу с достоинством. Захар тоже так умел.

Ну что — все на сегодня? С делами закончили, теперь надо придумать, чем заняться до обеда. Спать лечь? Неохота.

— Государь! — вдруг сказал Михаил Борисович. — Еще одно есть дело. Не хотелось и тревожить тебя, да уж ладно.

По тому, как он сказал это, великий князь почувствовал, что дело важное. Кажется, будет чем заняться до обеда. Он вопросительно взглянул на Михаила Борисовича:

— Говоришь, важное дело?

— Из Новгорода, государь. Человек верный есть у меня там. Да и не только у меня. Сообщили: дела в Новгороде творятся нехорошие.

— Там всегда дела нехорошие, — насмешливо сказал великий князь. — А что человек у тебя верный в Новгороде — верю. Только как же ты мне смеешь говорить про такое?

Всеволод Юрьевич пристально поглядел на боярина. Когда он так глядел на Мишу, тот цепенел. И это нравилось Всеволоду — вот так порой взгляды на верного слугу.

— Ишь какой, — продолжал великий князь. — А моего верного человека в Новгороде тебе мало? Ты что же — умнее меня быть хочешь?

Великий князь забавлялся тем, что поймал боярина на слове. Это он, Миша, не подумав, ляпнул. У Всеволода Юрьевича сын Константин уже ровно год княжит в Новгороде. А по Мишиному выходит, что Константин вроде как не совсем верный, раз о делах новгородских не все докладывает.

Не то чтобы Всеволод Юрьевич рассердился. Наоборот — свои люди и помимо князя Константина не помешают.

Лишними не будут. Но он хотел посмотреть, как боярин Михаил Борисович будет выпутываться. Любил так поиграть с ним. Великий князь продолжал пристально, с прищуром, глядеть на боярина.

— Нет, нет, государь, плохого не подумай! — обрел наконец дар речи Михаил Борисович. — Разве же я про князя Константина что скажу? Это я к тому, что маленький человек иной раз больше знает, чем даже князь. Маленький человек — он как мышка: везде пробежит, все разнюхает. — Михаил Борисович для подтверждения своих слов сложил ладонь мышкой и потыкал ею в воздухе туда-сюда. Искательно улыбнулся, заглядывая в глаза великому князю.

Улыбнулся и Всеволод Юрьевич.

— Ну и что твоя мышка разнюхала?

— А то, государь, что князю-то Константину не все известно. Пользуются его добротой, сердцем его золотым, и обманывают. А сами о тебе, государь, недобро мыслят. Хотят так сделать, чтобы и князя Константина выгнать и тебе, государь, дани не платить.

— Кто? — жестко, озлившись, вдруг спросил великий князь.

Слишком легко в это верилось! Да, Новгород исправно платил дань, против Константина не поднимал смуты. И Константин в своих посланиях ни о чем таком не упоминал. А только новгородцы — это такой народ, что сегодня молчат да кланяются, а завтра пойдут детинец¹ громить. Всегда так было.

— Многие воду мутят, государь, — с видом человека, который знает больше, чем говорит, произнес Михаил Борисович. — А всей этой смуте голова — Олекса Сбыславич, боярин известный. Он еще князю Мстиславу присягал.

Произнеся имя Олексы Сбыславича, Миша почувствовал, как внутри все похолодело. Донос получался важный, такое пахло казнью. Оговорить Олексу Сбыславича перед великим князем Мишу просил знатный новгородец Борис Мирошкинич и уже заплатил за это вперед. Хитрый лис был этот Мирошкинич! Сразу догадался, кто может на великого князя повлиять, ну и нашел подходы к Михаилу Борисовичу. Что-то они там, эти два знатных новгородца, не поделили, наверное. А сам справиться с богатым и сильным Олексой Сбыславичем Мирошкинич не мог. Ну и придумал хитрость — руками великого князя убрать соперника. Михаил Борисович и боялся, и серебро хотелось

взять у Мирошкинича. Ни разу еще человека, да незнакого совсем к тому же, под смерть не подставлял. И все-таки решился.

А теперь струсил: вдруг великий князь знает Сбыславича или князь Константин благоволит ему? Тогда как бы свою голову на плаху деревянную не положить — вместо Олексиной-то головы. Мирошкиничем не закроешься — отопрется, свидетелей нет, а на серебре не написано, чье оно. С трепетом ждал Михаил Борисович, что скажет великий князь.

— Сбыславич? Олекса, говоришь? — раздумывал Всеволод Юрьевич. — Не помню такого, не слыхал. И что он?

— Он, государь, к Ольговичам мыслит. И связь с ними держит. — Обрадованный тем, что пронесло, Михаил Борисович на радостях принялся окончательно добивать Олексу. — От него люди в Чернигов ходят и оттуда к нему. А Святославичи ему платят, чтобы он знатных мужей новгородских подговаривал князя Константина вывести. А в Новгороде посадить Глеба Святославича. И за то будто обещают пять лет дани с Новгорода не брать да купцам за Двиной торговать велят беспоплино. Олекса-то этот им, Ольговичам, верный слуга.

Михаил Борисович, говоря все это, смотрел в сторону — боялся сбиться, глядя великому князю в глаза. Закончив донос, глянул на государя и удовлетворился: великий князь сидел, бледный от злости, пальцы его шарили возле пояса, будто ища знакомую рукоять.

— Убить собаку, — проговорил великий князь.

Михаил Борисович послушно склонил голову. Когда снова поднял, увидел, что государь, произнеся приговор, успокаивается.

— Вот ты его и убьешь, Миша, — сказал почти ласково Всеволод Юрьевич.

Со стуком Михаил Борисович исчез, как провалился. Упал на колени прямо там, где стоял, и теперь его закрывал от великого князя стоявший рядом стол, накрытый тяжелой скатертью. Поняв, что не виден государю, Миша так, на коленях, и выбежал из-за стола.

— Не вели, государь! — испуганно крикнул он. — Не смогу я! Не умею!

— А должен уметь, Миша, — еще ласковее произнес великий князь. — Мне всякая служба нужна. А то ведь я подумать могу, что жалеешь изменника. А?

— Как можно, государь? Как можно жалеть? — ужаснулся Михаил Борисович. — Просто — не смогу я этого. Не приучен!

¹ Детинец — укрепление, «внутренняя крепость», в отличие от внешней — частокола, острога. В детинце укрывались во время войны дети, отсюда и название.

Всеволод Юрьевич с любопытством разглядывал боярина.
— Ну, хорошо. Встань, — сказал он. — Кому же прикажешь? Мне, что ли, поехать в Новгород — изменника наказывать?

Миша встал с облегчением: кажется, опять пронесло.

— Лазаря отправь, государь. Лазарь все сделает.

— Ну, ладно, пускай Лазарь. Скажи там, чтоб написали князю Константину. И с моей печатью Лазарь отвезет.

Михаил Борисович уже стоял в привычном полупоклоне, кивал. Вот это была его работа.

— И чтоб казнить изменника прилюдно, — продолжал великий князь. — На Ярославовом дворе пусть казнят. И всему городу объявить — за что. И про то, что в том — моя воля, тоже объявить. Чтобы не сомневались. Ну — все, что ли?

— Все, государь-батюшка. — Михаил Борисович степенно поклонился — как всегда кланялся, завершая дела.

— Ну иди. Обед скоро ли? Поторопи там. Ступай.

Михаил Борисович медленно вышел. Великий князь поднялся с трудом — наверное, ногу отсидел. Зачем-то двинул носком сапога стул, на котором сидел все это время, — дорогой красивый стул, рыбьим зубом отделанный. Подарок Константина. Прислал из Новгорода, помнит родителя своего. Золотое сердце, вспомнил великий князь Мишины слова. Вот то-то и оно, что золотое. А должно быть железное.

Олекаса Сбыславич, значит. Нет, не мог припомнить Всеволод Юрьевич такого человека. Конечно, есть тут что-то подозрительное. Такой смутьян знаменитый, Ольговичей в Новгород тащит, — а неизвестен великому князю.

Тут Миша немного душой покривил, это без сомнения. Надо будет потом про Олексу этого узнать — что за человек был.

Вот только Константин не стал бы заступаться за изменника, перечить отцовской воле. Сердце-то золотое. Впрочем — нет, не посмеет. Сбыславич — изменник, а с ними надо сурово поступать.

Ну, а вдруг — не изменник? Вдруг оговорили его?

И тут великий князь опять почувствовал прилив раздражения против неведомого ему новгородского боярина. Чего, в самом деле, думать о нем? У великого князя забот много, если над каждой раздумывать — времени не хватит. Ладно, разберутся там, сделают все как надо. Никому пикнуть не позволю.

И вообще — пора обедать уже. Есть хочется, время пошло.

Новая угроза Южной Руси — Всеволод Святославич Чермный — была, пожалуй, опаснее, чем ляхи или половцы. Этот князь вознамерился овладеть всем, и для достижения своей цели у него не было запрещенных средств.

Чермного сильно огорчила потеря Галича. Он не мог в ближайшие годы рассчитывать овладеть этим городом — там сидели Ольговичи, дети Игоря Северского. Не то чтобы Чермный не решался выступить против своего племени, но он побаивался Владимира и Святослава Игоревичей, во многом унаследовавших черты своего отважного отца. Биться с Игоревичами, кроме того, означало навлечь на себя гнев всего рода, а также полоцких князей, давних союзников Ольговичей. Приходилось делать вид, что рад счастьем Владимира и Святослава, получивших галицкое княжение как подарок — ни за что.

Злость на Игоревичей, опередивших его, Чермный должен был обратить на кого-то иного. Кроме бывших союзников — Мстислава Романовича, смоленского князя, и Рюрика Ростиславича, — никого более подходящего не было. Еще не остыл от поцелуев крест, на котором клялись когда-то в дружбе, как Чермный обрушился на друзей своих.

Рюрик и Мстислав были тогда в Киеве и сильно удивились, когда друг и союзник начал их оттуда выбивать. К тому, чтобы держать осаду, они не были готовы и еле спаслись. Мстислав увел свою дружину в Белгород, куда дядя Мстислава, Давид, бежал в старые годы от союзника же своего — Святослава Всеволодовича. А Рюрик, кляня судьбу за столь многочисленные удары, удалился в Овруч.

Во все днепровские города Чермный посадил своих наместников, в том числе — в Остерский Городец, принадлежавший великому князю. Таким образом, потерю Галича Чермный возместил себе с лихвой — он стал в несколько дней владетелем огромных земель.

Мстислав в Белгороде кусал локти: он остался один с двумя сотнями дружинников, и не к кому было обратиться за помощью. Так вот оно какое — наказание за измену! Весьма поучительно. Недавно еще был в дружбе с великим князем, сидел в Смоленске и мог никого не бояться. А нынче в Смоленск и не попадешь — Чермный не пустит. Лучше ему в руки не попадаться. А уж если попадаться, то с непременным условием крестоцелования — что не убьет. Хотя все равно может убить. Эх, крикнуть бы, чтобы в Суздальской земле слышно было: «Государь! Великий княже! Спаси слугу твоего верного от супостата!» Крикнуть

можно. Вот только ответа не дождешься, разве что посмеется великий князь над незадачливым своим сватом. Не кушай руку, кормящую тебя!

Однако страхи Мстислава и Рюрика были преждевременными. Чермный не собирался пока их трогать. Не хотел напрасно тратить силы на пустяки. Он их не боялся ни сколько.

Силы Чермному были нужны для другого. Не получив сопротивления в днепровских областях, он вошел во вкус и пожелал взять себе Переяславль. А в Переяславле княжил Ярослав Всеволодович, сын великого князя. Обижать его было опасно. Но Чермный все же решился. Он хорошо помнил, как Ярослава не пустили в Галич, а великий отец юного князя оставил такое бесчестие неотомщенным. Чермный понял, что с Ярославом можно поступить и более жестко. Возможно, для великого князя не так важен Переяславль, как то, что Ярослав получит хороший жизненный урок. Ну а если решит князь Всеволод отомстить за бесчестие свое и сына, то ведь из Переяславля так же легко будет уйти, как из любого другого города, который не можешь удержать.

И Чермный осадил Переяславль. Изумленному князю Ярославу, пославшему спросить Чермного — как это следует понимать, он ответил с нарочитой грубостью: «Пошел вон к отцу своему! В Переяславле мои дети будут сидеть! А если не послушаешься моего повеления или, как раньше, станешь домогаться Галича, то пожалеешь об этом». Ярослав не стал сопротивляться, просил только об одном — чтобы ему дали беспрепятственно уйти с дружиной. Чермный обещал, и Ярослав ушел к отцу. Посадив сына своего, Михаила, в Переяславле, Чермный вернулся в Киев, где хотел отпраздновать свою удачливость.

Но праздновать было рано. Пока он возился с Ярославом, обиженные Рюрик и Мстислав сговорились и объединили свои небольшие силы, которых, однако, оказалось достаточно, чтобы Чермный, в один прекрасный день увидя их под стенами Киева, немедленно бежал оттуда.

Он бежал, чтобы вернуться, и вскоре привел союзников — из Галича позвал Владимира Игоревича и конечно же пригласил половецкую орду. Поганым была обещана полная свобода в днепровских областях. Рюрик опять укрылся в Овруче, а Мстислав — в Белгороде, не мечтая уже ни о какой помощи, слезно моля Чермного отпустить его в Смоленск. Чермный его не задерживал. Он опять сел в Киеве, теперь уже имея основание торжествовать.

Что делали половцы на берегах Днепра? Пожары, грабежи, резня валом прокатились по землям, принадлежавшим Чермному, который, казалось, ничего не имел против опустошения своих уделов. Люди бежали в леса целыми деревнями, селами, прятались в непроходимых чащах. Поганные были ненасытны — толпы за толпами невольников уводились в степь, а половецкие отряды рыскали в поисках все новых и новых жертв. Дружина Чермного пировала в Киеве вместе с князем своим.

У загнанных в леса жителей оставалась одна надежда — на великого владимирского князя. Люди, кто мог, пробирались во Владимир, попав к Всеволоду Юрьевичу, рассказывали ему о бедствиях, переживаемых Южной Русью. Во Владимире таких беженцев принимали сочувственно, с ужасом слушали рассказы о зверствах поганых, о коварстве Чермного. Имя его повторялось повсюду. Владимирские горожане требовали наказания вероломного князя. То, что творилось под Киевом, владимирцам представлялось особенно несправедливым, потому что сами они уже забыли, как это бывает. Мирная жизнь делала их более отзывчивыми к чужому горю.

Выборные от сословий, старосты концов и улиц также ходили к великому князю, просили заступиться за Русскую землю. Свои бояре — не все единодушно, но многие — тоже требовали похода на Чермного. Напоминали о бесчестии, нанесенном Ярославу.

И наконец великий князь объявил, что терпение его лопнуло, что он больше не намерен спускать Чермному. Как государь, он чувствует ответственность и за Южную Русь, так как это и его отечество.

Был назначен поход на Киев. Для придания этому походу более широкого значения, великий князь не стал, как и раньше, ограничиваться участием в нем только своей дружины. Он дал знать о предстоящих военных действиях Константину в Новгород, потребовал его участия. Константин без промедления повел дружину на соединение с отцовским войском.

Кроме того, великий князь приказал идти с ним рязанским князьям — Роману и Святославу Глебовичам. Роман и Святослав — только двое сыновей мятежного князя Глеба осталось на Рязанской земле. С ними подались к великому князю дети покойных Игоря и Владимира Глебовичей. Дружины рязанские князья с собой привели немного — великий князь требовал от них не военной помощи, а личного участия в походе. Недалеко от Коломны на берегу реки

Оки был разбит большой стан, где предполагалось обговорить будущие действия и, как обещал Всеволод Юрьевич, хорошоенько попировать перед тем, как двигаться на Киев.

Но никто не догадывался об истинных причинах, заставивших князя Всеволода собрать войско.

Беды жителей Приднепровья на самом деле мало заботили Всеволода Юрьевича. Давно уже он решил про себя не вмешиваться в южнорусские дела. Пусть себе князья режут друг друга — нрав их все равно не изменишь, а сил на это можно положить много. По-настоящему великого князя беспокоили лишь собственные дела.

И сейчас Всеволод Юрьевич гневался не на Чермного, а на рязанских князей, которые не подозревали об этом. Давно уже приближенные великого князя доносили ему, что Роман и Святослав Глебовичи тайно держат сторону Ольговичей. Сын покойного князя Всеволода Глебовича, Михаил, к тому же приходится Чермному зятем, и Чермный через Михаила вступает с Глебовичами в тайные сговоры. И Глебовичи будто хотят, соединившись с Чермным и другими Ольговичами, отойти от великого князя, которому так и не простили былых своих унижений. Не верить этим сведениям было нельзя: исходили они от самых преданных людей — от князя Давида из Муром, от боярина Михаила Борисовича.

Разумеется, ни о каком совместном походе на Киев с князьями рязанскими не могло быть и речи. Не хватало только великому князю на себе испытать их предательство, когда он будет находиться в чужой земле. Михаил Борисович всячески предостерегал от этого, советовал быть осторожным. Да великий князь и без него знал, что надо делать. Для всякого изменника самое опасное — застать его врасплох, когда он уверен в своей безнаказанности. Поэтому рязанских князей следовало пока держать в неведении относительно того, что великому князю все известно об их предательстве.

В ставку великого князя Глебовичи прибыли первыми. За ними явился из Муром князь Давид. Дождавшись Константина, не стали пока устраивать военных советов. Стояла ранняя осень, самая пора звериной ловли, пиров на свежем воздухе, когда легко дышится, хорошо пьется, не жарко и комары не заедают. Этим и занимались — носились за оленями по окрестным лесам, метали сети, обкладывали медведей, спускали соколов на лисиц и зайцев. А по вечерам пировали. Все были веселы, особенно великий князь. Он был как никогда ласков и приветлив с Глебови-

чами, и они, непривычные к таким отношениям со своим строгим государем, млели от счастья и на пирах громче всех кричали великому князю славу.

Наконец прибыл Константин с новгородским полком. Решено было устраивать последний совет, веселиться, а там уж — идти на Киев. Великий князь рад был видеть сына: Константин возмужал, почти утратил юношеские черты — становился настоящим грозным князем. Всеволод Юрьевич чувствовал небольшую вину перед сыном — из-за отцовского вмешательства в новгородские дела Константину пришлось туго. По поводу казни боярина Олексы Сбыславича в Новгороде случились волнения. Собиралось большое вече на торгу, ходили к княжескому дворцу, требовали объяснений. Олексу в городе уважали. Константин же не знал, как объяснить, — сам не понимал, почему такой важный боярин, ничем себя не запятнавший перед великим князем, обезглавлен. С трудом удалось Константину утихомирить толпу, чего только не наобещав новгородцам. Его не стали вышибать из Новгорода, но наверняка доверие к Константину уже было подорвано. Напрасно, наверное, убили Сбыславича этого. И великий князь, встретив Константина, был рад что сын не только ни в чем не упрекает его, а вообще ни о чем не спрашивает. Хороший сын, послушный.

Как приятно обнять родную кровь после долгой разлуки, прижать к отцовской груди. Ощутить, с какой любовью и почтением сын прижимается к отцу — точно так, как делал это маленьким.

— Ну, здравствуй, здравствуй, сын. Здравствуй, князь новгородский, — чуть насмешливо, чтобы скрыть смущение, говорил великий князь. — Пришел отцу помогать? Молодец, что пришел, молодец, спасибо.

— Что ты, батюшка, — говорил Константин. — Твоя воля, ты приказываешь. Мы тебе служить рады.

— Устал с дороги-то? Ничего, сейчас отдохнешь. В баню сходи, тут баню хорошую сладили.

Пока Константин располагал дружину на отдых — ставили походные шатры, кормили коней, — великий князь все хотел спросить сына о чем-то, что показалось ему странным в приезде Константина. Никак не мог понять — что. Потом понял:

— Князь Константин! А что, боярина твоего, Юрятича, нет с тобой?

— Нет, батюшка.

— Случилось что? Как же он тебя одного отпустил? Отец его при мне неотлучно находился.

— Он, батюшка, не смог пойти,— вроде бы смущенно ответил Константин.

— Заболел, что ли, Юрятя? Что-то не верится.— Великий князь с прищуром взглянул на сына.— Такой богатырь, а от войны бегаешь?

— Да, занемог. В груди, говорит, ноет у него.— Константин отвел глаза.

— Врешь, сын. Ничего он не заболел. Не захотел пойти, что ли?

Великий князь рассердился, забыл сразу о приветливости.

— Помыкают тобой, князь Константин. Это что же? Это если все так отказываться станут — с кем тогда и воевать? Отец его, Юрята мой, во всех походах со мной был, ни на шаг не отходил от меня. Жизнь мне спасал! А Добрыня болеет, когда князю нужен!

Константин не отвечал отцу. В чем-то, наверное, отец был прав.

— Да ведь он, Добрыня, не родной сын Юряте был,— презрительно произнес великий князь.— Боярином-то я его сделал, а он смердом был, смердом и остался. Ты его прогони, князь Константин.

Константин поглядел на отца и понял, что дело это решенное. Обиделся великий князь на Добрыню и теперь не забудет, не потерпит его рядом с сыном. Вспомнил Константин, как Добрыня просил его от этого похода избавить. Не верил, что великий князь пойдет на Черногого. Говорил, что здесь не обошлось без боярина Михаила Борисовича, как в случае с Олексой. Убеждал Константина быть осторожнее с этим Мишей, не связываться с ним: слишком большое влияние на отца имеет Михаил Борисович. Добрыню же он стойко ненавидит, и Добрыня его — тоже. И нахождение Добрыни возле Михаила Борисовича может самому Константину сильно повредить. «Мой меч, княже, принадлежит тебе,— сказал Добрыня.— И я за тебя голову положу, ты это знаешь. А от этого похода уволь. Никогда тебя ни о чем не просил, а сейчас прошу». Константин и не стал особенно настаивать. Ну, не хочет Добрыня идти — ладно. А получилось вон как. Что-то подозрительно быстро рассердился отец. Наверное, Михаил Борисович этот напел ему про Добрыню.

Подумать невозможно было о том, чтобы прогнать Добрыню, как велел великий князь. Константин решил, что не делает этого, даже если прогневает отца. Если на то пошло, Константину самому жить, самому и друзей заводить. Отец, если хочет, пусть сколько угодно окружает себя людьми вроде Михаила Борисовича.

Однако способов проявить упрямство существует много, и с великим князем надо их использовать все.

— Прости, батюшка,— сказал Константин.— Мне отдай гнев свой, а на Добрыню плохого не возводи. Он мне друг и верный слуга, а в поход не пошел по болезни. В груди ноет у него, дышать трудно. Ему и кровь пускали.

— Кровь пускали,— повторил великий князь.— Вот пошел бы с тобой на войну и пускал себе кровь на доброе здоровье.

— Я за своего боярина ручаюсь.

— Ладно. После поговорим,— уже почти миролюбиво сказал великий князь.— Теперь отдыхай. Я насчет ужина распоряжусь.

Константин, поклонившись, ушел. Всеволод Юрьевич направился к своему шатру.

Шатер был большой, вместительный, он предназначался для застолий. В нем был поставлен длинный стол и удобные широкие лавки. Для себя же, чтобы ночевать, великий князь велел устроить в шатре небольшую полстницу¹, куда удалялся, когда пир наскучивал ему. Полстница эта была удобна еще и тем, что, располагаясь в ней, великий князь мог хорошо слышать, о чем говорили в большом шатре подпившие князья и бояре, не желавшие пока расходиться. Все знали, конечно, что великий князь их может слышать, но вино есть вино, и оно всегда развязывает языки.

Возле шатра великого князя уже поджидал Михаил Борисович. Он был печален и строг перед важным событием. Обо всем они с великим князем уже договорились, но Михаилу Борисовичу, как ревностному слуге, хотелось еще раз уточнить подробности — и чтобы не оплошать, и лишний раз перед государем показать свое рвение.

— Что, Миша? — спросил Всеволод.— Не забыл?

— Не забыл, государь. Все будет, как ты велел. Ты знак только подай.

— Какой там знак. Уйду к себе — и начинайте. Людям скажи, чтоб подошли поближе — на всякий случай. Людей подобрал надежных?

— Люди мои верные. Со всеми уж договорились.

— Ладно. Ну, что ж, князь Роман, князь Роман. Поглядим, как ты отвертишься.— Всеволод Юрьевич усмехнулся недобро.

— Не отвертится, государь. Уж мы его прищучим.

¹ Полстница — полог внутри шатра, отделяющий его часть.

— Ну, Миша, — построжел великий князь. — Смотри. Иди, зови всех. Начинать пора.

Охрана возле княжеского шатра была немногочисленной. Но когда князья соберутся, шатер будет взят в плотное кольцо. Можно, конечно, и без этих предосторожностей — князья Роман и Святослав не посмеют открыто противиться великому князю. Мелковаты они против отца своего. Недоброй памяти князь Глеб был боец славный и норовом крут.

По всему стану уже загорались костры. Наступал вечер. Пора было и за стол.

Все князья собрались в шатре веселые. По случаю приезда князя Константина ожидалось, что Всеволод Юрьевич будет в хорошем настроении, и пиршество получится шумное, — какое и полагается устраивать соратникам перед большим походом.

И правда — сегодня великий князь улыбался, охотно принимал славословия себе и молодому князю Константину, шутил, смеялся, когда шутки присутствующих касались незадачливых Мстислава и Рюрика: они-де ждут нас не дождутся, а мы вот вино пьем, а как допьем — пойдем их выручать. Юный сын Игоря Глебовича, Ингварь, по просьбе Святослава изобразил Чермного: надул щеки, запыхтел, вытаращил глаза. Не было похоже, но все смеялись от души — вот он какой, Чермный-то! А мы его руками возьмем и сожжем! Он и лопнет! Великий князь, посмеявшись, вдруг слегка огорчил всех, сказав, что устал сегодня и пойдет отдохнуть. Но пусть князья на это не смотрят, продолжайте гулять. Если им будет весело — и великому князю будут хорошие сны сниться.

Всеволод Юрьевич обошел всех князей, прощаясь. Сердечно обнял Романа Глебовича, отчего тот даже растерялся: никогда еще такой ласки от великого князя не видал. Потом великий князь обнял Святослава Глебовича. Потом — двух его племянников, Ингваря и Козьму. Напоследок обнял Глеба и Олега Владимировичей. И направился к себе в полстницу.

Тут же выбрался наружу — у полстницы имелся отдельный вход. Махнул рукой, подзывая Михаила Борисовича. Тот был тут как тут.

— Ну, Миша, иди. А то заждались тебя. А где князь Давид?

— Вот он стоит, государь. Мы вместе зайдем. И люди сейчас подойдут.

— Все. — Великий князь повернулся и зашел обратно в полстницу.

Он поудобнее устроился на лежанке, рядом на всякий случай положил меч.

Вскоре из-за полотняной стенки, отделявшей великого князя от пирующих, донеслось:

— Здорово, князья!

Ага, Миша начал нарочно грубо, чтобы сразу ошеломить. Ну, послушаем.

В шатре смолкли звуки застолья — видимо, князья не знали, как ответить на боярскую наглость. Все-таки боярин — приближенный самого великого князя. Ну его — связываться.

— А, князь Давид! Приехал? — послышался голос Романа. Видимо, Роман решил не замечать Мишиной грубости, разговаривать только с Давидом. — Что ж поздно-то так? Великий князь только что ушел. Садись с нами, князь Давид!

— С тобой рядом не сяду, князь Роман! — донесся глухой голос Давида. И сразу же:

— Не сядет он с тобой, князь Роман! — Это уже Михаил Борисович.

— Да ты что, князь Давид? — после некоторого молчания растерянно спросил Роман Глебович. — Умом тронулся?

— Ты не на князя Давида, ты на себя посмотри, — нагло сказал Михаил Борисович. — Изменник!

— Пойди проспись, боярин! — загремел Роман Глебович.

— Сам проспись, собака! И нечего на меня глаза пучить! Скажи лучше — что ты князю Чермному обещал?

Послышался грохот и звон падающей посуды, пыхтение. Князь Роман, видимо, выбирался из-за стола, а его держали. Правильно, что великий князь не велел им на пир с собой оружия брать — было бы сейчас дело.

— Что ответишь, князь Роман? Или ты, князь Святослав? Вы оба Чермному писали! Мы все знаем!

— Ах ты, ах ты пес! — задыхался Роман Глебович.

— А обещал ты ему, князь Роман, со всей дружиной передаться! Сколько тебе платит Чермный-то? — Голос Михаила Борисовича звенел от справедливого гнева.

И вдруг произошло то, чего великий князь не ожидал.

— Верно! Изменник ты, князь Роман!

— От Чермного люди у тебя были, грамоту взяли от тебя!

Это были голоса племянников князя Романа — Олега и Глеба Владимировичей. Быстро сообразили. Поняли, что дядю защищать невыгодно, и накинулись на оторопевшего Романа. А может, и знали, что так будет. Миша с ними поговорил, что ли?

— Князь Глеб! Князь Олег! — кричал Роман. — Что же вы говорите? Ведь вы оба сыновцы мои! Князь Давид! Ты-то хоть заступись!

— Не буду за изменника заступаться, — пробубнил Давид Муромский. — Все правда, князь Роман, уговор у тебя был с Чермным! Признайся лучше!

За стеной опять завозились. Может, князь Роман тщетно искал оружие? Вот вскрикнули тонко. Это, наверное, Святослав или из молодых княжичей кто-то. Да, не сладко им сейчас приходится.

— Государь! Великий княже!!! — так громко вдруг завопил князь Роман, что Всеволод Юрьевич невольно вздрогнул, и рука дернулась — схватить меч. — Оговорили нас! Богом клянусь, святым Спасом! Не было того!

Тогда великий князь встал и, отодвинув занавесь, вошел в шатер. Уже и дружинники здесь были — держали крепко за руки Романа, Святослава, племянников. При появлении государя все замерли. Великий князь заметил направленный на него удивленный взгляд Константина, который за время свары не произнес ни слова. Но сейчас переглядываться с сыном было некогда. Великий князь оглядел изменников. Толстое лицо Романа светилось надеждой, Святослав в руках двух крепких дружинников поник, опустил голову, юноши смотрели на великого князя испуганно. Надо же — такие молодые, а уже с врагами государя своего дружбу водят. Это все семя Глебово проклятое! Всю жизнь на великого князя они ножи точили!

— Не верю тебе, князь Роман, — жестко сказал Всеволод Юрьевич. — То, что ты изменник, мне доподлинно известно.

Надежда на лице князя Романа утасла, оно сразу постарело, на великого князя будто глядел из прошлого старый заклятый враг — князь Глеб. Если у Всеволода Юрьевича могли оставаться какие-то сомнения, то сейчас они исчезли.

— Как ты мог, князь Роман, так оплатить мне за все? — спросил он, брезгуя смотреть на раскисшее лицо Романа. — Ешь мой хлеб и против меня же козни строишь? Я терпеть этого больше не буду!

Он еще раз окинул взглядом схваченных князей и добавил уже устало:

— В цепи их всех. Отвезти во Владимир. Дружину их разоружить. Кто сопротивляться станет — убивать на месте.

И сел на лавку рядом с Константином, глядя, как выводят князей. Глеб и Олег Владимировичи тоже суетились, по-

могая дружинникам. Их самих никто не пытался вязать — значит, они не были виноваты перед великим князем.

Когда князей увели, Константин, не решаясь ни о чем спрашивать у отца, тоже собрался уходить. Но великому князю не хотелось пока оставаться одному.

— Посиди со мной, князь Константин, — не то попросил, не то повелел он. Впрочем, это было одно и то же. — Разбросали тут все. — Великий князь оглядел разгромленный стол. — Ну, ладно, после уберут. Что скажешь, сын? Видел, какие изменники бывают?

— Позволь, батюшка, тебя спросить. То, что они к врагу хотели перейти, — это твой боярин тебе сказал?

— Не только он. И другие доносили. А что? — с подозрительностью посмотрел Всеволод Юрьевич на сына. — Думаешь — навет на них?

— Тебе виднее, батюшка.

— То-то, что виднее. Тебя, князь Константин, еще на свете не было, а эта порода уже меня извести мечтала — Глебовичи-то. Им верить ни в чем нельзя. Как они друг дружку-то сами не перерезали?

— Теперь, значит, на Киев без них пойдем? — спросил Константин.

— А мы не пойдем на Киев, — ответил великий князь. И, видя, что в глазах сына опять появилось удивление, пояснил: — Самые страшные враги, сынок, не те, что далеко, а те, что рядом. То, что мы Глебовичей взяли, — это полдела. Гнездо-то их целое осталось. — И закончил: — Мы, князь Константин, завтра на Рязань двинемся, на Пронск.

И тут Константин понял, почему Добрыня Юртыч так просил не брать его с собой в поход. Он больше ни о чем не стал спрашивать великого князя, отговорился тем, что хочет спать, поклонился отцу почтительно и ушел к себе.

Решение великого князя изменить цель похода удивило войско, но возражать никто не стал. Дружине было, в сущности, все равно, где воевать, на Рязанской земле даже предпочтительней, потому что ближе к дому, да и добычи можно было там взять гораздо больше, чем в разоренных днепровских землях. Бояре же и воевода сочли за лучшее промолчать, а многие открыто высказывали одобрение, громко восхищаясь проницательностью и мудростью государя, сумевшего разглядеть хищников в стаде своих подданных. Немногочисленная дружина Глебовичей частично была разоружена, частично перешла под знамена великого князя. Самих же Глебовичей ночью погрузили, окованных

цепями, на телеги и увезли во Владимир. Через день объединенное войско выступило.

Осадили Пронск, встретив неожиданно сильный отпор. Бывший князь пронский Михаил, зять Черного, удрал к тестю, чем подтвердил, что Глебовичи имели связь с врагом. Но покинутый Михаилом город стал оборонять князь Изяслав Владимирович, родной брат Олега и Глеба Владимировичей, которые, изблотив дядю Романа, присоединились к войску великого князя, желая наказать зло. На приступ владимирской дружины Пронск ответил так ожесточенно — и стрелами, и камнями, и даже смолой, — что вынуждены были возле мятежного города задержаться надолго.

Великий князь злился. Неудачи выводили его из себя, и он каждый день велел повторять приступ. И каждый новый приступ оказывался неудачным: дружинники великого князя не могли взять стен, не могли пробить ворота, окрашивали стены своей кровью, падали везде, куда могла достать стрела или долететь копьё из осажденного города. Стан наполнился ранеными, многих даже пришлось отвозить во Владимир, чтобы им хоть умереть и быть похороненными на родной земле.

Великий князь не в первый раз стоял под Пронском, да и многие знали про заветный ключ к взятию города — воду. Хотя покойный князь Глеб и выстроил свой город на очень выгодном и удобном для обороны месте, но не учел одного: в Пронске не оказалось ни одного колодца, ни одного источника. Князь Глеб строил город, чтобы сражаться в нем против великого князя, укрывать за стенами дружину, держать в городе запасы на случай войны. А о воде-то и не подумал. Пришлось строить водопровод от речки Прони. По деревянной трубе, закопанной в землю, в Пронск и поступала вода.

Достаточно было перекрыть эту трубу, что великий князь и приказал сделать. Конечно, ползали по реке, поискали заросшую землей, илом и водорослями трубу. Но в конце концов нашли и забили ее деревянной пробкой, обмазав глиной.

Уже через несколько дней начались ночные вылазки из города. Открыв потихоньку ворота, жители пробирались к реке, жадно напивались сами, наполняли водой принесенные с собой сосуды, нечаянным звяком поднимая переполюх в стане великого князя. Выяснив причину таких ночных беспокойств, Всеволод Юрьевич велел на ночь выставить у ворот Пронска охрану.

Теперь жителям негде было попить воды. И погода стояла сухая, ясная — без дождей. Середина осени, а с неба — ни капли. Тем не менее оборонительный пыл горожан не угас, и все попытки взять мучимый жаждой Пронск оканчивались кровавой неудачей. Пятнадцать приступов, шестнадцать, семнадцать. Великий князь велел на виду у осажденных поставить ведра и бадьи с водой и приставить к ним людей с черпаками, чтобы целый день только этим и занимались — переливали из полных ведер в пустые, повыше поднимая черпаки: пусть изнывающие от жажды дружинники князя Изяслава и горожане досыта насмотрятся на прозрачные, сверкающие под солнцем струи.

И это подбешивало лучше кровавых приступов. Пронск сдался. Великий князь смотрел, как открылись ворота и люди побежали, поковыляли, поползли к реке. Среди жаждущих, сосущих речную воду, находился и князь Изяслав Владимирович, который, напившись вдоволь, подошел затем к шатру великого князя и, стараясь не смотреть на братьев — Олега и Глеба, — признал себя пленником. Великий князь поступил с отважным Изяславом сурово. Прямо при нем, столько сил отдавшем защите города, Всеволод Юрьевич объявил князем пронским Олега, а Изяслава велел заковать и отвезти во Владимир, к остальным Глебовичам.

Теперь на очереди была Рязань. Если небольшой Пронск оказал такое сопротивление, то чего можно было ожидать от стольного города? Осаду Рязани Всеволод Юрьевич рассчитывал вести долго, может, и до зимы. Это его вполне устраивало: на войне ему было не так скучно, как дома.

Осада Рязани большим войском требовала больших припасов, приспособлений, осадных орудий. По Оке начали подвозить все необходимое. Стан строили с учетом того, что придется быть, в нем зимовать.

Князь Роман Игоревич, Глебов внук, пытался захватить суда великого князя, идущие по Оке. Но двоюродный брат князя Романа — Олег Владимирович, словно в благодарность за Пронск, разбил дружину Романа Игоревича, пришедшую с ним из Рязани.

Теперь Рязань была беззащитна. Ее спасало пока лишь то, что никак не замерзала Ока. По реке шла шуга — переезжать на лодках было опасно. Стали ждать, когда замерзнет.

Но тут рязанцы выслали навстречу великому князю послов. Во главе посольства был епископ Арсений, недавно

утвержденный самим константинопольским патриархом по просьбе великого князя, пожелавшего основать епископат в Рязани. От имени всех горожан Арсений просил государя сжалиться, не рушить и не брать города. «Государь! — сказал он. — Удержи руку мести, пощади храмы Всевышнего, где народ приносит жертвы небу и где мы за тебя молимся. Верховная воля твоя да будет нам законом». Вместе с посольством уже в качестве пленников великого князя находились все остальные рязанские князья с княгинями и детьми. Все они были тут же отправлены во Владимир. Семья Глебово нужно было искоренять.

Тут подоспели вести из Киева, которые и решили на этот раз судьбу Рязани. Великий князь узнал, что Рюрик все-таки выгнал Чермного из Киева и злобный враг удался пока в Галич — отсиживаться у Игоревичей. Дороги были еще слабые, зима наступала медленно. Не стоило начинать войну с Чермным, если не начали ее сразу. Великий князь, не тронув Рязани, вернулся во Владимир.

На этот раз народное ликование по поводу возвращения государя было весьма сдержанным.

ГЛАВА 43

Вернувшись во Владимир, великий князь думал с тоской о том, что впереди предстоит долгая зима, когда от нечего делать придется находить себе занятия — много есть, много спать, убивать время, которое хоть и тянется медленно, но с годами летит все быстрее. Зимой почему-то острее ощущаешь свой возраст, стареющее тело предъявляет новые недомогания и признаки надвигающейся немощи, мысли с большей охотой устремляются в будущее — туда, к самому концу. Пятьдесят три года — расцвет или уже увядание? Что для человека в этом возрасте более ценно — наслаждение достигнутым или стремление достичь нового?

Великий князь знал, что может еще добиться всего, чего захочет. Для этого у него достаточно сил, ума, богатства и всего прочего, что делает государя подлинно великим. Но он также понимал, что больше не станет стремиться к осуществлению мечты, когда-то не дававшей ему покоя. Он и так много сделал за свою жизнь и был доволен сделанным. А что скучно — это не беда. Скука — верная спутница душевного равновесия. Счастливым себя великий князь тоже не ощущал. Был когда-то счастлив — с молодой женой, на поле битвы, у колыбели детей. Видно, всему свое время. Подчини он себе хоть целый мир — былого

счастья не воскресишь в душе. Разве только жениться еще раз на старости лет? Может, чужая юность оживит душу, вернет желания и мечты?

Великий князь оставил Константина при себе, не разрешив ему возвращаться в Новгород. Одарив новгородскую дружину, Всеволод Юрьевич велел ей возвращаться домой без князя и передать, что за заслуги новгородцев возвращает им древнее право самоуправления. Отныне Новгороду предстояло избирать своих правителей и самому расправляться с обидчиками.

Новгородская дружина отправилась домой в некотором удивлении, а во Владимире в залог дружбы и верности великий князь оставил семь знатных новгородских горожан и посадника Дмитрия.

Многие считали, что Всеволод Юрьевич, предвидя большие народные возмущения, просто захотел избавиться от них Константина, дать ему возможность во Владимире переждать новгородскую смуту. Но это было не совсем так. Смута в Новгороде уже не занимала великого князя так сильно, как раньше, Константина он оставил при себе, чтобы иметь собеседника, а новгородских горожан задержал во Владимире по совету боярина Михаила Борисовича — для того чтобы спасти им жизни. Все эти новгородцы, пользуясь покровительством великого князя, много обид нанесли своим землякам, и как раз против них и посадника Дмитрия должна была быть направлена грядущая смута. Особенно Дмитрия новгородцы готовы были обвинять во всех своих бедах.

И действительно — вскоре в Новгороде забушевали веча, на которых Дмитрию и его родственникам был вынесен приговор. Весь город кинулся грабить Дмитриево имущество. Много было у Дмитрия серебра — даже после того, как некоторые из наиболее рьяных судей сумели отрубить награбленным, остальным горожанам вышло каждому по три гривны. Великий князь, узнав об этом, не удивился: опять страсти разгорались не столько из-за посправедливости, сколько из-за трех гривен. Этот мир был все тот же и не хотел меняться к лучшему.

Новгородский посадник Дмитрий вскоре умер во Владимире — может, от раны, полученной при осаде Пронска, а может, от огорчения по поводу того, что лишился имущества. Тело Дмитрия, привезенное в Новгород, стало причиной новых волнений: горожане, получившие по три гривны, видимо, расценили возвращение мертвого посадника как напоминание о содеянном ими. И хотя Дмитрий,

отличавшийся при жизни строгостью, уже никак не мог отомстить новгородцам, все же собралась большая толпа, гроб с телом у сопровождавших отобрали и уже несли его к мосту, чтобы сбросить в Волхов. Архиепископ Митрофан сам вышел к неистовым горожанам, остановил их, долго упрашивал не совершать такой глупости и в конце концов убедил. Тело топить не стали, а предали земле.

Вольная новгородская жизнь продолжалась весьма короткое время. Великий князь уже не мог отказаться от власти над Новгородом. Всего несколько месяцев прожив без князя, горожане опять приняли у себя Святослава Всеволодовича. Двенадцатилетний Святослав снова сел в княжеском дворце и почти не выходил оттуда, как и во время первого своего княжения. Бояре, бывшие со Святославом, прежде всего взыскали с горожан полагавшуюся новому князю часть имущества посадника Димитрия. И поскольку Новгород все еще жаждал крови оставшихся в живых родственников бывшего посадника, их от греха подальше отправили в Суздаль. Дальше началась привычная жизнь: народ понимал, что указы, издающиеся Святославом, на самом деле пишутся во Владимире и придумывает их великий князь. Никаких древних вольностей новгородцы себе не вернули. Единственное, что смогли сделать к своей пользе за короткий срок кажущегося безвластия — это пригласили в Псков младшего сына Мстислава Храброго — Владимира Мстиславича. Юный Владимир Мстиславич должен был управлять новгородским войском, чего не умел Святослав. И он управлял им весьма успешно, отбивая на западе литву, не давая ей грабить новгородские пределы.

Без князя не осталась и Рязань. Все Глебовичи собраны были под Ярославль, в небольшой городок Петров, рязанская область полностью была подчинена великому князю, а в саму Рязань Всеволод Юрьевич отправил сына Ярослава, незадачливого князя переяславского. Какое-то время все было спокойно.

Но рязанцы стали тосковать о своих исконных князьях. Не то чтобы при Ярославе им жилось хуже, чем при Романе, но, видно, старые господа всегда лучше новых. Народ зароптал. Возмущались боярами князя Ярослава, обижавшими беззащитных жителей. Очень скоро, забыв, как недавно давали великому князю клятву во всем повиноваться, рязанцы подняли бунт. Князь Ярослав не смог им противостоять или не хотел проливать крови. Некоторые бояре его были схвачены и брошены в темницу, где от неизвестных причин вскоре умерли. Ярослава никто не тро-

гал, даже делали вид, что признают его за князя и повелителя. Он, не зная, что предпринять, попросил помощи у отца. Вскоре из Владимира доставили ответ, что великий князь готовит войско и сам решил возглавить карательный поход.

Об этом стало известно, Рязань объял ужас. Стояло лето, дороги были сухими, ничто не могло преградить путь великому князю. И так как пример Глебовичей был еще достаточно свеж, рязанцы вполне могли себе представить, что их ждет. К Ярославу стекались выборные со всего города, и епископ Арсений пришел. Просили князя быть им заступником. Обещали юному Ярославу, что уж теперь-то никогда не нарушат его воли, если он уговорит великого князя пощадить Рязань.

Однако было поздно, потому что владимирское войско находилось уже в двух днях пути. Ярослав, растроганный уверениями рязанцев в покорности, мог еще выйти навстречу отцу и попробовать его уговорить вернуться назад. Но в душе юный князь не верил, что отец вернется. Это могло быть многими понято как слабость или излишнее добросердечие великого князя. Все же Ярослав собрал посольство из знатных горожан, взял с собой епископа Арсения и выехал из Рязани навстречу отцу и его дружине.

Они встретились. Великий князь был рад видеть Ярослава живым и здоровым — среди многих донесений из Рязани было и такое, что князь Ярослав со своими боярами томится в темнице. Но с другой стороны, сын возглавлял посольство мятежников, а это уже не могло понравиться Всеволоду Юрьевичу. Он сразу понял, что Ярослав стал игрушкой в руках рязанцев, сумевших обольстить его ложными посулами. Ярослав стал убеждать отца в обратном: недавний бунт пытался представить как частное дело, как ссору, возникшую из-за того, что кто-то кому-то нанес бесчестье, ну, а когда стали считаться — тут и началось. А волю великого князя Рязань чтит и исполняет.

Ярослав говорил очень убедительно и, вполне возможно, сумел бы смягчить отца. Но тут случилось такое, чего Ярослав от своего посольства никак не ожидал.

Послы — а среди них находились те самые мужи рязанские, что уморили владимирских бояр, — повели себя нагло. Не то им затмило ум, что они смогли так легко уговорить Ярослава, не то родная земля придавала им сил, но они не стали валиться в ноги великому князю. Не стали каяться, рвать на себе волосы или хотя бы оправдываться. Они заявили, что великому князю-де в Рязани делать нечего да и сына своего он может забирать от них, а им пусть вернет

князей, что ныне безвинно отлучены от подданных. Рязанцы стояли перед великим князем и излагали свои требования, а он смотрел на них с удивлением. Такой наглости он еще не видел.

Тут же на рязанцев были надеты цепи, и все посольство вместе с епископом Арсением отправили на простых телегах во Владимир. С сыном Ярославом Всеволод Юрьевич вообще не разговаривал, будто его и не было. Впрочем, Ярослав, сгорая от стыда, сам старался не попадаться на глаза отцу. Войско тут же двинулось к Рязани.

По всей Рязани звонили приветственные колокола, ворота города были не просто открыты, а распахнуты настежь: приходи, великий государь, и владей нами, а мы будем тебе с радостью повиноваться. Ни о какой битве с горожанами, подставлявшими свои покорные шеи под меч великого князя, речи идти не могло. Великий князь оказался в затруднительном положении.

Он сомневался недолго. Рязанцам объявили, что город будет сожжен. Им предлагалось, взяв с собой необходимые вещи, выйти из города и ждать дальнейшей участи. Дружина вошла в город — затем, чтобы помочь жителям поскорее выполнить приказание великого князя. Все телеги и повозки, которые только были в городе, также было велено жителям взять с собой.

Такое великий князь наблюдал впервые: целый город, и не какой-нибудь Ожск, а сама Рязань-матушка стояла перед ним на коленях. Тысячи людей, разместившихся на обширном лугу у Оки, стоя на коленях, протягивали к нему руки. Многие поднимали грудных детей, чтобы грозный князь владимирский мог их увидеть и смягчиться сердцем. Тысячеголосый вой и плач поднимался, казалось, до самого неба. Людям не хотелось лишаться родного крова.

Но великий князь не смягчился. Он поднятием руки утишил рыдания горожан и объявил, что они будут расселены во Владимирской земле и отныне станут его прямыми подданными. Наверное, великий князь думал, что это поможет рязанцам легче перенести разлуку с городом, в котором они родились и жили. Но это не помогло, они продолжали рыдать и молить его о пощаде. Он велел жечь город.

Еще дружинники выносили из городских ворот приглянувшееся им имущество, а противоположный конец города уже курился дымом. Легкий ветерок играл одиночными дымными облачками, потом эти облачка загустели, выросли, потемнели — и Рязань полыхнула. Вопль народный тоже полыхнул, но теперь уже никто не глядел на великого

князя — лица жителей были обращены к пылающему городу, вместе с которым горела вся их прошлая жизнь.

На следующий день то же самое случилось с Белгородом рязанским. Белгородцы, уже знавшие о том, что постигло Рязань, частью разбежались, частью же сидели на телегах, груженных добром, недалеко от городской стены. Так что дружине понадобилось немного времени, чтобы обшарить пустой город, взять в нем кое-что и поджечь остальное.

Владимирское войско возвратилось домой с невиданным полоном: целых два города с собой привели. Во Владимире, однако, мало кому из рязанцев удалось остаться — в основном их гнали дальше, за Суздаль и Ростов, к Волге, где им предстояло расселиться уже в качестве подданных великого князя, а точнее — приписных людей бояр.

Но до покоя на Рязанской земле было еще далеко. Из плена удалось уйти одному из князей — доблестному защитнику Пронска Изяславу Владимировичу. Он ушел в Чернигов, где встретился с бывшим пронским князем Михаилом, и они, получив у Всеволода Чермного подкрепление Михайловой дружине, отправились мстить. Что они могли поделать с великим князем, имея в своем распоряжении несколько сотен ратников? Однако отважные князья тревожили рязанские города, где сидели посадники великого князя, брали на дорогах владимирских купцов, а потом, и вовсе осмелев, перенесли свои действия на владимирские земли. Ходили к Москве, сумели сжечь несколько сел, но самой Москвы не взяли. Великому князю пришлось послать против них войско. Повел его князь Георгий Всеволодович. Это был первый военный поход Георгия, и он успешно справился с обязанностями военачальника — разбил Глебовых внуков наголову и отогнал их далеко от владений великого князя — за реку Пру.

Не давал Всеволоду Юрьевичу покоя и Новгород. В это время не у дел оказался князь торопецкий Мстислав, сын Мстислава Храброго. Он во многом походил на отца своего, за что снискал себе прозвище Удалой. Только недавно он воевал против Чермного на стороне Рюрика и Мстислава Романовича, защищал Торческ и вынужден был покинуть его. Вернувшись в Торопец, он долго не мог найти применения своей отваге, но наконец нашел, выбрав противника себе по плечу — самого великого князя. Удалой Мстислав решил добиться новгородского стола, на котором когда-то сидел его отец, Храбрый, а сейчас прозябал не имевший своей воли Святослав Всеволодович.

Мстислав знал, что память о его отце в Новгороде хранится до сих пор. Пожалуй, Храбрый был единственным со времен Гостомысла князем, полностью удовлетворявшим строгим новгородским требованиям. Он не посягал на древние вольности, был чужд стяжательству, заботило его всю жизнь только одно — воинская слава, добываемая на службе отечеству. При Храбром литва, эстонцы и чужь были приведены к покорности и даже платили дань, а новгородские купцы получили свободный проход к иноземным городам. Лучшего Новгород не желал.

Удалой поразмыслил и решил воспользоваться народной любовью к своему отцу. Он внезапно осадил Торжок — ключевой город Новгородской земли, из которого недавно волею великого князя был изгнан брат Удалого — Владимир Мстиславич. Взял Торжок, заковал в цепи Святослава наместника и тут же послал своего боярина в Новгород. Боярин, прибыв в древнюю столицу, передал мужам новгородским желание своего господина стать их князем. Мстислав сообщал, что не может спокойно смотреть, как владимирский князь попирает права народа, как его бояре и тиуны грабят новгородцев. Напоминал горожанам о том счастливом времени, когда ими управлял его отец, ныне лежащий в могиле у Святой Софии. И конечно, обещал — в случае если новгородцы его призовут, — восстановить их вольности и быть им в дальнейшем надежной защитой.

Нечего и говорить, что Новгород встретил предложение Мстислава Мстиславича ликованием. Юный князь Святослав вместе со своими боярами был извлечен из княжеского дворца. Всех их не убили потому лишь, что находились в радостном настроении по случаю прибытия нового князя. Святослава с боярами поместили в архиерейском доме, послали к Мстиславу сказать, что путь свободен и княжеский стол дожидается его. Через несколько дней под восторженные крики Мстислав Удалой въехал в Новгород.

Он не стал, однако, предаваться радости: понимал, что поднял руку на великого князя, который не прощает обид. Мстислав начал готовиться к войне, объявил об этом горожанам, и очень скоро было создано ополчение, способное противостоять великому князю. Предупреждая удар Всеволода, Мстислав двинул свои полки к границам Владимирского княжества.

Навстречу ему двинулась рать под началом Константина Всеволодовича.

Но прежде битвы великий князь поручил Константину предложить мир. Всеволод Юрьевич по-прежнему не хотел

воевать с новгородцами, против которых у него было гораздо более действенное оружие, чем меч, оружие это было — хлеб. Да к тому же великий князь боялся за Святослава — ведь его могли убить, узнав, что началась война.

«Ты мне сын, а я тебе отец, — велел передать Мстиславу великий князь. — Отпусти Святослава, а я отпущу всех новгородских торговых людей. И будем жить в мире и согласии». Мстислав был доволен. Он без промедления доставил Святослава и его бояр к князю Константину. Обе рати разошлись, не обнажив мечей. Мстислав возвратился в Новгород победителем, а Константин привел Святослава к отцу.

Великий князь знал, что все равно Новгород покорится ему. Так было уже много раз — оголодав, новгородцы признавали, что дружба с великим князем выгоднее вольностей. Святослав вернулся домой невредимым — чего еще желать любящему отцу?

Всеволод Юрьевич стал мало внимания уделять как рязанским, так и новгородским делам. Появилась другая забота: великий князь решил вступить во второй брак.

Он чувствовал себя еще вполне сильным мужчиной, ему надоело одиночество, и, в конце концов, ему просто захотелось обладать свежей юной девушкой — ласкать ее, баловать, может быть, выполнять ее прихоти, если они не окажутся чрезмерными. Ему захотелось жениться, чтобы избежать греха плотского, на который его все время тянуло. Хотел доказать сыновьям своим, что еще молод и полновластен.

Сыновья не стали возражать. Только Константин, как и ожидал великий князь, был заметно огорчен: он до сих пор в душе своей неразрывно связывал отца с памятью о матери. Хотя и был взрослым уже мужчиной и должен был понимать, каково жить одному. Наверное, думал, тоска по своей женщине свойственна лишь молодым, а в возрасте великого князя о многом пора бы и забыть.

Итак, о намерении было заявлено. Теперь оставалось найти подходящую невесту.

Едва ли не вся Русь вскоре знала, что великому князю Владимирскому понадобилась молодая княжна. Отцы, имевшие взрослых дочерей, засуетились. Шутка ли — породниться с великим государем! Во Владимир отовсюду потянулись посольства — выведать, как и что. Вслед за посольствами поехали князья. Прибывали в стольный город вместе с семьями — женами и детьми. А как еще можно было устроить, чтобы взгляд великого князя остановился на ко-

торой-нибудь из дочек? Были и такие, что приезжали по прямому приглашению: сведения о красавицах поступали к Всеволоду Юрьевичу исправно, и он желал убедиться — правдивы ли они? Глаза разбегались от такого количества девичьей красоты. Из множества выбрать было трудно, казалось, следующая девушка будет еще лучше.

Всеволод Юрьевич остановил свой выбор на дочери витебского князя Василька Брячиславича. Ей было пятнадцать лет. Звали ее Любовь.

ГЛАВА 44

Великого князя было не узнать — он словно помолодел на добрых два десятка лет, если не телом, то душой. Стал веселым, чего давно уже не видели люди, окружавшие его. Во время ожидания и подготовки к свадьбе непривычно оживлялся, и странно было видеть его увлеченным не государственными, а мелкими личными заботами: придирчивым выбором одежды, подарков для невесты, подробным обсуждением свадьбы и свадебного пира, переустройством и украшением покоев для будущей княгини. За последние годы женская половина из-за болезни, а потом и смерти княгини Марьи успела потерять уют, который был так мил сердцу молодого Всеволода Юрьевича.

Кроме своей женитьбы, его сейчас ничто не занимало — ни Ольговичи, ни Новгород, ни Рязань, ни Галич. Во Владимире всем распоряжался вместо великого князя боярин Михаил Борисович. В Суздале — Георгий, в Ростове — Константин. В сущности великий князь мог и не заниматься делами своего государства: везде повелевало уже одно его имя. Люди, враждебные владимирскому князю, его не беспокоили: одни завязли в киевских и галицких дрязгах, другие на время были умиротворены, третьи и вовсе сидели под замком, не имея возможности вредить. Так отчего же не заняться своей собственной жизнью, отчего не попытаться увидеть в этом наслаждение не меньшее, чем дает великая власть? И что может порадовать больше, чем возвращение молодости, пусть кажущееся, но так ясно ощущаемое!

Невеста была хороша. Она не походила на княгиню Марью в юности — второй такой, наверно, и не было, даже отдаленно похожей. Но Всеволод Юрьевич и не искал похожую на Марью, ему это даже в голову не приходило.

Княжна Любовь Васильковна была невысокого роста, чересчур, может быть, пышная и отличалась необычно-

венной красотой лица, словно нарочно написанного неким живописцем по образу любовной мечты. Свою судьбу она приняла спокойно, даже мужественно — не проронив ни единой слезинки, когда ей была объявлена воля отца, бывшая, по существу, волей великого князя. Если и была огорчена и напугана, то виду не подала. Хотя к своим пятнадцати годам успела ощутить на себе, как что-то привычное, взгляды молодых мужчин и юношей, жаркие и просящие, и наверняка много думала об этих взглядах, а отдаться ей предстояло человеку на сорок лет старше ее. Было у княжны достаточно гордости и честолюбия, чтобы разом отбросить, как ненужный хлам, все мысли о молодом муже; она уже заранее полюбила старого великого князя — за его огромную власть и за то, что он делает ее великой княгиней.

Свадьбу устроили осенью, вскоре после того, как князь Георгий с победой вернулся во Владимир, разбив Глебовичей под Москвой. По случаю бракосочетания отца все сыновья собрались в родительском доме — впервые с того дня, когда провожали в монастырь княгиню Марью. Из Ростова прибыл Константин, державшийся замкнуто и от этого выглядевший слегка надменным. Он был уже отцом двух сыновей-погодков: родившегося в прошлом году первенца и первого внука великого князя назвал Всеволодом, а только что появившегося на свет второго сына — Василием. Но казалось, что положение ростовского князя, взрослого человека и отца семейства не сделало Константина более терпимым. Он с раздражением смотрел на великого князя, считая его женитьбу глупой старческой выходкой, нарочитым проявлением деспотического своеволия. Князь Георгий, счастливый победитель, наоборот, относился ко всему со свойственным ему благодушием и даже был доволен, что его мачеха так соблазнительна и моложе пасынка на пять лет. Князь же Ярослав, которому Любовь была ровесницей, украдкой поглядывал на нее и, когда встречались их взгляды, краснел.

Пир продолжался неделю. Начавшись весьма торжественно и шумно, со славословиями и здравицами в честь молодых, с колокольным звоном по всему городу и приемом многочисленных посольств, продолжались, уже как бы войдя в тихое русло после половодья, не как событие государственной важности, а скорее как семейное, предназначенное для своих. От соблюдения и исполнения обычаев, от строгого, отлаженного распорядка пиры свелись к простому бесхитроостному веселью, к долгим задушевным раз-

говорам за чаркой вина и обильным столом. Многие из присутствовавших на свадьбе, по службе князевой вынужденные находиться в отдалении от столицы и княжеского дворца, умилялись той радушной и дружеской обстановке, которая царила во дворцовых палатах и гридницах. Многие, прежде бывшие в неприятелях, помирились при общем одобрении. Многие завели новые знакомства. Народ, живущий в мирное время, охотнее всего тратит душевное тепло, участвуя в совместных возлияниях.

За княжеским столом многие встретились после долгой разлуки. К таким относились и Добрыня с Борисом. Правда, сначала им не удавалось побыть вместе — оба находились каждый при своем князе, а Георгий с Константином, недолгобывав друг друга, старались держаться на расстоянии. Но потом, конечно, стало полегче. Князь Георгий, выпив, первым подошел к Константину мириться, вел себя пристойно и не без некоторого почтения. Братья облобызались, произошло это, когда великий князь на них не смотрел. Тут и Борис подсел к Добрыне, чего уж там — братья все-таки.

— Ну, брат, с большой радостью тебя.

— И тебя. Дай Бог здоровья государю!

Выпили меду из широких ковшей. Пили долго, не торопясь. Когда же допили до конца, сидели какое-то время молча, улыбаясь, разглядывали один другого, а что сказать — не знали. Борис-то знал все про домашние дела Добрыни, а тот — про Борисовы. Они ведь были женаты на родных сестрах, от жен и узнавали все новости. Новостей же было не так много, чтобы о них говорить.

— Скажи-ка, брат, — Борис вдруг спрятал улыбку, понизил голос, — правда ли, что ты в немилости у государя? Прости, что спрашиваю. Слышал краем уха где-то. А дело это такое, что мне знать надо. Да ведь и братья мы с тобой.

— Сам не знаю. — Добрыня пожал плечищами. — У меня ведь князь Константин государь. А он — ничего вроде, не обижает.

— Не хочешь говорить, — понимающе кивнул Борис. — Ну, не хочешь, так и не говори. Только ведь если государь — не князь твой Константин, а Всеволод Юрьевич — тобою недоволен, то это и мне может быть не полезно.

Добрыня опять пожал плечами, поглядел на Бориса:

— Да ты-то при чем?

— Когда припечет, тогда поздно будет спрашивать, кто при чем. Зря ты, Добрыня, великому князю свой норов по-

казываешь. Нашей воли нету. Мы — как репы у него на портах: хочет — таскает с собой, не захочет — отцепит да выкинет.

— Воли княжеской я ни в чем не нарушал, — нахмурившись, произнес Добрыня.

— Мне у князя Георгия другое говорят. — Борис горько усмехнулся. И вдруг опять спрятал усмешку, насторожился. — Постой-постой. А может, ты что-то знаешь? Если знаешь — мне скажи. Мне, как брату, скажи.

— О чем сказать-то?

— А, ладно. Не слушай. — Борис опять улыбался. Наклонился к Добрыне, спросил: — Как думаешь — долго еще Всеволод Юрьевич проживет?

Добрыня только удивленно раскрыл глаза на брата. О том, что великий князь может умереть, он никогда не думал. Великий князь казался бессмертным и вечным.

— Что смотришь? — тихо и сердито спросил Борис. — Нам с тобой об этом в первую голову думать надо. Пока жив государь — и мы с тобой спокойно сидим вместе и кушаем. А помрет? Который великое княжение наследует — Константин или Георгий? И нам уж вместе-то не сидеть так. Что у князя Константина-то слышно?

— Давай-ка, брат, выпьем лучше, — предложил Добрыня. И добавил: — Пока вместе за столом сидим.

Борис недовольно глянул на брата, кивнул, соглашаясь. Они налили меда в свои ковши и опять долго пили. Потом разговор как-то уж не клеился. Борис начал было рассказывать про московский поход князя Георгия, но прервал рассказ, вспомнив слухи о Добрыне и рязанском походе Константина. Опять выпили. Потом еще выпили, ну а после этого уже стало все равно, о чем разговаривать. Лишь когда было объявлено о том, что молодые удаляются в опочивальню, Борис опять оживился, придвинулся к Добрыне и тихо прошептал, словно сам пугаясь своей дерзости:

— Заедит она его, молодуха-то. Недолго государю осталось.

И тут же, оглянувшись — не слышит ли его кто-нибудь поблизости, торопливо налил себе меда, чтобы вместе со всеми приветствовать молодых, которые, сопровождаемые сватами, дружками и песельниками, покидали общее застолье.

Великий князь немного поторопился с уходом. По обычаю, ему с молодой женой еще долго нужно было украшать своим присутствием свадебный пир. Но ждать становилось невозможным, и он поймал взгляд Михаила Борисовича, негласно распоряжавшегося свадьбой, подал ему знак:

действуй, мол, и Михаил Борисович, выполняя волю государя, ускорил события.

Когда молодые остались одни, Всеволод Юрьевич обнаружил, что смотрит на девушку не столько с вожделением, сколько с любопытством. Любовь — уже не княжна, а княгиня — казалось, не испытывает девичьего трепета, робости перед неизбежным, а ведет себя так, будто ей предстоит трудная, но почетная работа. Она без страха смотрела на князя, приближающегося к ней, не зажимаясь и не прикрываясь, позволила оголить себя, и потом уже, когда муж лежал рядом и тяжело дышал, без стеснения разглядывала его, хотя ей еще было больно и непривычно. А он лежал, отдыхая, и думал, что вот и кончилось долгое волнующее ожидание, а с ним ушла еще часть жизни, что новый брак его, помимо всего прочего, представлявшийся ему еще и таинственной загадкой, которую хочется поскорее разгадать, оказался таким простым и, по сути, незначительным делом, а ответ на загадку вышел не таким, как ожидалось, даже немного скучноватым. Великому князю все было известно о жизни.

В эту же ночь ему впервые стало плохо — настолько плохо, что он подумал, что сейчас умрет. В груди неожиданно появилась боль, невозможно стало дышать, и ни крикнуть, ни пошевелиться не было сил.словно кто-то жесткой рукой взял его сердце и безжалостно сдавил. Голова сразу стала куда-то проваливаться. Огонек светильника, стоявшего на столике недалеко от постели, исчез, хотя Всеволод Юрьевич не закрывал глаз. Он подумал, как все станут смеяться, когда узнают, что великий князь Владимирский, государь над государями, не пережил первой же ночи с молодой женой. Потом боль прошла, жесткая рука разжалась, стало легче дышать, и он закрыл глаза. Супруга, спавшая рядом, ничего не заметила.

Когда закончились свадебные торжества, старшие сыновья разъехались — кто в Ростов, кто в Суздаль. Ярослав, заметив в нем совсем не сыновнее влечение к мачехе, великий князь услав в Юрьев — подальше с глаз, но без гнева. Снова начались будни, навалились дела.

По-прежнему единственными осязаемыми врагами Всеволода были Глебовы внуки — Изяслав и Михаил, они непрестанно тревожили владимирские границы, после того как были разбиты Георгием, сумели оправиться и своими малочисленными дружинами, способными быстро передвигаться и бесследно исчезать в лесах, причиняли немало бед селам и небольшим городишкам. Тем обиднее было — ве-

ликий князь, перед которым дрожали сильные мира сего, терпел ощутимые неудобства от столь ничтожного противника, словно лев, кусаемый надоедливой блохой. Другие враги — Чермный и князья северские — были слишком заняты утверждением старшинства среди Ольговичей, и с ними можно было жить не воюя.

Всеволод Юрьевич, оставив, как в старые времена, дома ожидающую его княгиню, возглавил войско и повел его на Глебовичей. На этот раз он действовал решительно и быстро, не дал Глебовичам закончить дело миром, разбил их дружины и пленил обоих князей. Они были присоединены к другим несчастным рязанским мужам, содержавшимся в Петрове — городе близ Ярославля.

Победоносная война, занявшая всю зиму, требовала от великого князя следующего шага, доказывавшего миролюбие и любовь к общему спокойствию. Искать мира все еще было его потребностью. Великий князь решил замириться с Ольговичами.

Это сделать было непросто — слишком все перепуталось в Южной Руси. Черного можно было бы убоготворить в Киеве, но там сидел Рюрик, который сумел извлечь уроки из своих несчастий и за короткое время сколотил порядочную дружину. И всегда был готов сам ее возглавить. Сложным представлялось и положение с днепровскими городами: когда-то они принадлежали великому князю, оспорившему их у Романа Галицкого, потом Рюрик объявил их своими, как все тогда считали — временно, пока великий князь не восстановит свои права и не заберет города обратно, но забрал их у Рюрика не он, а Чермный. Чьи же теперь днепровские города? Этот вопрос мог стать весьма спорным. А ведь еще был Переяславль, давняя вотчина Мономахова дома, а в Переяславле Чермный посадил своего сына, изгнав Ярослава Всеволодовича. Так что прежде чем заключать мир, надо было все тонко рассчитать и точно взвесить, где-то нажать, где-то уступить, стараясь не задеть ничьих притязаний, ничьей чести.

Ясно было только одно: начинать мириться следовало первым. Великий князь решил действовать через митрополита киевского Матфея — он был недавно поставлен в Киев из Константинополя, еще не попал в зависимость от князей, не имел широкой известности и должен был обращаться возможности участвовать в примирении враждующих сторон — Ольговичей и Мономаховичей. Митрополиту Матфею в случае успешного завершения дела досталась бы слава миротворца, всегда столь желанная духовным

владыкам. Великий князь пригласил митрополита к себе, тот вскоре приехал, и начались долгие переговоры.

Всеволод Юрьевич принимал митрополита Матфея ласково и радушно. Прибытие главы русского духовенства было с радостью встречено и владимирскими горожанами — целые толпы собирались возле княжеского двора, желая увидеть владыку и получить из его руки благословение. Он по несколько раз в день выходил к народу и благословлял всех, никого не пропуская, и даже не сердился, когда замечал, что некоторые ухитрялись подходить к нему по несколько раз — для надежности, и, как они, наверное, думали — для большей крепости митрополичьего благословения.

Растроганный таким приемом, Матфей, однако, умел проявить в переговорах с великим князем достаточную настойчивость и твердость. Самым трудным, конечно, оказался вопрос о Переяславле. Надо было заставить великого князя забыть обиду, простить Чермному наглое изгнание Ярослава. А Всеволод не хотел ее просто так забывать, держа в запасе как убедительный довод своей правоты в споре с Чермным.

Митрополиту Матфею пришлось поездить — от великого князя к Чермному, от Чермного к Рюрику и снова во Владимир. Условия мира обговаривались долго, но в конце концов все пришло к соглашению.

Никто заранее не мог себе представить условий, на каких это соглашение было заключено. Ради того, чтобы сесть в Киеве, Чермный решился на шаг, от которого должны были перевернуться в гробах все предки его, а нынешние Ольговичи — порвать с ним все родственные отношения. Но предки, в сущности, мало беспокоили Чермного, а те из Ольговичей, которые могли в случае надобности померяться с ним силами, были заняты дележом Галицкого княжества и борьбой друг с другом. Прочие же боялись Чермного и не решались возразить ему. В обмен на Киев Чермный отдал Чернигов — древнюю вотчину Ольговичей. Рюрику нравилось быть киевским князем не меньше Всеволода Святославича, но ради возможности достичь невозможного — сесть на черниговский стол — он согласился на такой обмен. На радостях Чермный отказался от Переяславля, возвратив его великому князю. Те пять днепровских городов, из-за которых началась когда-то война, тоже остались за Всеволодом Юрьевичем. На том были составлены грамоты, скрепленные клятвами и целованием креста.

Итак, мир был установлен. Чтобы еще больше его упрочить, великий князь предложил средство, хотя и не всег-

да помогающее, но употреблявшееся достаточно часто, — поженить детей. Тем более что князю Георгию давно стала пора жениться. И тут Чермный не стал возражать — прислал во Владимир свою дочь. Она стала женой Георгия. Звали ее, по какому-то случайному совпадению, так же, как и жену князя Константина, — Агафьей.

ГЛАВА 45

Все чаще беспокоила боль в груди. Великий князь уже научился чувствовать ее приближение, но ничего не говорил об этом ни жене, ни детям — переживал приступы боли в одиночестве. Это походило на некую игру со смертью: ждешь ее прихода, не веря, что она придет окончательно. Он, лежа в темноте спальни, готовился к боли, заранее зная, какое облегчение настанет с ее уходом. Да и сама боль стала немного другой — сердце теперь сжимала не прежняя жесткая и когтистая лапа, а будто слабая рука ребенка — может, кого-то из умерших его детей? Приступ, начавшись, отуманивал сознание, а когда оно вновь прояснялось, великий князь вспоминал о чем-то непонятном, что он видел, теряя сознание: он стал думать, что это ему было позволено на краткий миг заглянуть туда, куда не заглядывают, а сразу безоговорочно уходят. Наслаждаясь после очередного приступа легкостью и покоем, наполнявшими тело, он жалел, что не смог ничего толком рассмотреть, никому там ничего не успел сказать. Едва ли не ждал нового случая, чтобы на этот раз суметь воспользоваться оказываемой ему кем-то милостью.

Он не боялся, потому что это оказалось совсем не страшно. Ведь боязнь — от незнания, а тот, кто знает, как все происходит, тот даже смерть может принять как очередной подарок от жизни.

Все, что происходило с великим князем, заставляло его готовиться к уходу по-настоящему. Он оставлял после себя огромное наследство и должен был успеть им распорядиться.

Наследником великого князя, конечно, надлежало быть князю Константину, как старшему. Всеволод Юрьевич послал за ним в Ростов, собираясь по приезде Константина подвести владимирский люд под присягу новому великому князю. В Ростове Всеволод Юрьевич собирался посадить Георгия. Таким образом, оба старших сына должны быть довольны: Константин становился великим князем во Владимире и Суздале, а Георгий получал обширный и богатый ростовский удел. Это решение должно было обеспечить

мир между ними, а значит, и мир по всей Владимирской земле. Князь Георгий, первым узнав о воле отца, выразил согласие ей повиноваться. Оставалось дожидаться Константина — Всеволоду Юрьевичу хотелось поскорее завершить все необходимое, что связано с передачей великокняжеской власти, чтобы без помех дожить свою новую, как ему представлялось, третью по счету жизнь.

Первая жизнь его осталась далеко — в детских и юношеских годах, полных скитаний и надежд, удивления и разочарований, жаркой ненависти и нежной любви. Это было время, когда все происходит впервые, и потому события этой первой жизни так ярко и навсегда запоминаются. Сердечные порывы определяли тогда поступки и мысли юного Всеволода.

Вторая жизнь началась, когда Всеволод стал великим князем. Теперь руководителем его и помощником должен был стать — и стал — его ум, трезвый и расчетливый, хитрый и осторожный. Ум помог великому князю стать сильнее всех, победить врагов, укрепить свою власть. Умом своим великий князь гордился, любил его и дорожил им. Ни удаче, ни чьей-то помощи, а только уму он был обязан тем, что вторая его великая жизнь была такой долгой и значительной.

И вот пришло время третьей жизни, подчиненной душе. Именно душа становилась сейчас главной. Она, душа, была тем, что останется, когда умрет тело. Нужно было готовиться к неизбежному, готовить душу к своему уходу, а потом уйти вместе с ней. Это было для великого князя самое желанное, но вступить в эту третью жизнь он сможет, лишь когда почувствует уверенность и покой.

Обрести все это он надеялся после того, как утвердит среди сыновей свою последнюю волю. Однако все получилось не так, как ожидал князь.

Появилась неожиданная помеха — сыновнее неповиновение. Константин отказался прибыть ко двору. Заявил, что не отдаст Ростов Георгию, давал понять, что, как старший сын, не видит особой отцовской милости в том, что получит великое княжение — оно и так принадлежит ему по праву. Требовал Владимир и Суздаль себе в придачу к Ростову. Он желал стать единовластным хозяином всей Владимирской земли, а потом уже своей рукой раздавать уделы братьям.

Впервые в жизни великий князь сталкивался с неповиновением сына. Оно сначала даже не разозлило его — было ему непонятно. Ведь он придумал поделить все между братьями так, чтобы никого не обидеть, не ущемить. Не то чтобы великий князь растерялся — он просто не знал, как

поступить. Ведь все, казалось, было заранее предопределено: Константину самой судьбой назначалось сесть на владимирский стол, Георгию же, не получавшему великого княжения, нужно было возместить это богатым и обширным уделом. Всеволод Юрьевич послал за Константином вторично, как будто никакого отказа от него не получал.

Второй ответ Константина оказался таким же, как первый.

И тогда великий князь объявил, что созывает представителей от всех городов Владимирского княжества. Во все стороны полетели гонцы, и вскоре, на исходе зимы, в столичный город начали отовсюду съезжаться бояре, купцы, священники, знатные горожане и воинские начальники. Великий князь собирал большое собрание.

И настал день, когда они все предстали перед ним — словно сама Владимирская земля глядела на своего князя сотнями глаз. Все эти люди выросли под властью великого князя, служа ему, при нем достигли своего положения и наживали свое состояние, а значит, он мог в какой-то степени считать их творением рук своих. Все лица подданных казались ему знакомыми — многих из присутствующих он знал, а в остальных узнавал свою Русь — простодушную и лукавую, буйную и кроткую, скупую и щедрую. Сколько таких лиц прошло перед великим князем за всю долгую жизнь! Люди сражались и умирали за него, радовались его успехам, горевали вместе с ним над неудачами. Был ли он виноват перед ними? Наверное, был. Власть не может быть одинаковой для всех. Были ли они виноваты перед ним? Может быть. Он не собирался оправдываться перед ними и не хотел оправданий от них. Он был их государем и собрал здесь, в просторной княжеской гриднице, чтобы объявить им свою верховную волю.

Он начал без предисловий:

— Князь Константин, старший сын мой, мне не послушен. Поэтому наследовать мне не может. Говорю вам всем, что княжение великое владимирское отдаю по моей смерти другому сыну моему — князю Георгию. Такова моя воля. Вам же велю присягать ему на верность и на том целовать крест святой. Ему же, Георгию, поручаю свою княгиню и младших братьев, чтобы был им отцом и защитником. Согласны ли вы?

Не ожидая скорого ответа, Всеволод Юрьевич оглядел собравшихся. Большинство было озадачено таким неожиданным заявлением. Именно Константина видели они над собой князем, привыкли к этой мысли, и расстаться с ней сразу было нелегко. Кроме того, великий князь знал, что

строного и с виду неприступного Константина любят больше, чем радушного и веселого Георгия.

Великий князь не ждал от своих подданных отказа. Не важно, кто из его сыновей им больше нравится, главное было в том, что пока он, государь и великий князь Владимирский Всеволод Юрьевич, жив, его воля служила им законом, хотя бы она была направлена против их выгод и личных желаний. Но ему требовалось их согласие, высказанное всеми в присутствии всех, чтобы никто не посмел впоследствии от него отказаться.

Однако они молчали. Никто не спешил выражать его первым.

Выручил боярин Михаил Борисович. Выступив вперед, он размашисто поклонился великому князю и провозгласил:

— Государь, великий княже! Сделаем все, как ты хочешь, по воле твоей!

И вслед за ним собрание многоголосо подтвердило:

— Сделаем... по воле твоей...

— По воле твоей, княже...

— По твоей воле, государь...

Итак, новый наследник был назначен и утвержден. Дальше все прошло как положено: епископ Иоанн принял от каждого клятву и крестоцелование. Последним ко кресту подвели князя Георгия, который поклонился отцу, поклонился собранию и поклялся быть народу отцом и заступником.

Перед тем как распустить всех по домам, великий князь устроил угощение. Пир получился шумный, но как ни выкрикивали бояре славу Всеволоду Юрьевичу и сыну его, князю Георгию, как ни старались рожечники и песельники добавить веселья к вину и яствам, все же это не могло заглушить озабоченности, что неотвязно владела большинством. Выборные от городов были в основном люди старые, битые жизнью и опытные. Они очень хорошо представляли себе, что бывает, когда один богатый и сильный князь считает себя несправедливо обойденным другим сильным и богатым князем. Разъезжались по своим городам удрученные, несмотря на то что великий князь на прощанье обладал их и щедро одарил каждого.

Опасения их вскоре стали подтверждаться. Из Ростова пришли известия о том, что князь Константин заявил о своем несогласии с волей отца, но обвинял во всем почему-то не великого князя, а брата своего Георгия, считая, что именно он лестью и уговорами вынудил Всеволода

Юрьевича забрать у Константина то, что было ему положено по праву.

Сам же великий князь, казалось, нимало не был озабочен гневом старшего сына. С того дня, как он распустил собрание, тихо жил в княжеском дворце, лишь изредка выезжая отстоять службу в Успенском соборе, при большом стечении горожан. Много времени проводил с молодой женой, полюбил одаривать ее подарками, заказывал у своих златокузнецов дорогое и затейливое узорочье. Подолгу смотрел на нее, любовался Любовью, словно хотел запомнить ее не только до конца дней своих, но и на потом. Иногда становился утрюм, молчалив, по целым дням ни с кем не разговаривал, с трудом терпел возле себя лишь супругу да сына Георгия.

Стал щедр к бедным — почти каждый день посылал дворовых раздавать милостыню по самым захудалым дворам и на церковных папертях. Полюбил обходить свое обширное хозяйство — склады, поварни, мастерские, наблюдал за работой кузнецов, литейщиков, камнерезов с таким любопытством, словно видел это впервые.

Когда наступила весна и дни стали длиннее и теплее, несколько раз выезжал за город — сначала верхом, но когда понял, что это для него утомительно, велел вывозить себя в санках. В поле, в лесу оживлялся, осматривал все вокруг, глубоко дышал, смеялся, если видел зайца, или лису, или стаю тетеревов. Не велел стрелять по ним, хотя они подпускали на выстрел. Пусть живут.

Когда еще больше растеплилось, спрашивал каждый день — не тронулся ли лед на Клязьме. Нарочно приказал: как только начнется ледоход — тут же сообщить ему, хочет посмотреть. Начался ледоход — и его вывезли на высокий берег Клязьмы, и он долго смотрел, как лед сначала шел сплошным потоком, сахарно-белые глыбы наползали одна на другую, спливались с треском, разламывались, более тяжелые и крупные топили мелкие, но мелкие ухитрялись выскакивать из-под огромных туш и нападали на них с другого бока. Потом между льдинами появились просветы, битва постепенно затихала, пока не прекратилась совсем — лишь одинокие куски льда еще куда-то плыли...

В середине апреля на святой литургии в Дмитриевском соборе ему стало плохо: свечи, за ними иконостас — все уплывало куда-то вбок, в груди что-то шевельнулось и затрепетало, и он подумал, что это душа готовится к тому же, к чему он сам уже давно был готов. Князь пошатнулся, его поддержали, и он велел быстрее вести его домой.

На женскую половину заходить не стал, пошел сразу к себе. Приказав раздеть себя и разуть, лег на постель и лежал с открытыми глазами, будто не хотел пропустить чего-то очень важного. Больше не произнес ни единого слова, хотя к нему подходили, спрашивали — не нужно ли чего. Догадались — кинулись звать епископа Иоанна.

Но когда тот пришел, новый духовник великого князя уже читал над ним заупокойную молитву, а рядом с постелью, на которой покоилось тело государя, тихо подвывала Любовь.

Через четыре года после смерти Всеволода Юрьевича в битве на Липецком поле Константин, князь ростовский, со своими союзниками — князем смоленским Владимиром и князем новгородским Мстиславом разбил и уничтожил войско великого князя Владимирского Георгия Всеволодовича. Сам великий князь едва живой ушел во Владимир — один, почти раздетый, на случайно пойманном коне. Но он недолго задержался как в стольном городе, так и на великокняжеском троне. Великим князем стал по праву Константин Всеволодович.

Через три года Константин умер. Подтачиваемый болезнью, он оказался не способным твердо управлять своими подданными, оставил после себя охваченные междоусобием рязанские и новгородские земли, не смог защитить Галич, терзаемый венграми.

Великим князем опять стал Георгий. Он также не смог добиться мира ни на своих, ни на соседних землях. Пытался воевать с непокорными и алчными князьями, но эти войны не приносили пользы ни великому князю, ни его подданным. Георгий пробыл великим князем пять лет и умер.

Русскую землю ожидали многие беды, и прежде всего — неисчислимая татарская орда, слухи о которой стали доходить еще во времена Георгия.

Людям, населявшим Русскую землю, впоследствии пришлось еще не раз вспомнить о той поре, когда великий князь Всеволод держал мир и спокойствие в своих землях, к сожалению, не имея возможности управлять всей Русью.

Память о нем осталась добрая. В народе его прозвали — Большое Гнездо. Прозвище это внесено было даже в родословные книги.



КОММЕНТАРИИ

ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1956 г. в Челябинске. После окончания школы учился в политехническом и сельскохозяйственном институтах, служил в армии, был рабочим на стройке, стрелком охраны, дворником, грузчиком, лаборантом. В 1980—1985 гг. учился в Литературном институте им. Горького. По окончании института сотрудничал с издательствами и журналами в качестве рецензента. В 1987—1992 гг. работал редактором отдела прозы в журнале «Октябрь». В 1994—1995 гг. был редактором программы «Ждите ответа» на ОРТ. Член СП. Печатался в журналах. Лауреат премии Бориса Полевого (журнал «Юность»).

«По воле твоей» — первый роман Александра Филимонова. Он рассказывает о драматических событиях войны Русского Севера с Русским Югом в XII—XIII вв., о княжении на Владимиро-Суздальской Руси великого князя Всеволода III.

Текст романа «По воле твоей» печатается впервые.

Стр.12. ...князь из Новгорода, Мстислав Ростиславич... — из смоленской княжеской ветви. Прозван был Храбрым; по свидетельству летописца, боялся лишь одного Бога. Умер в 1180 г.

Стр 12-13. Когда покойный князь Андрей Боголюбский собрал войско на булгар... — Боголюбский Андрей Юрьевич (1111—1174) — суздальский князь, затем с 1157 г. великий князь, так же как и Всеволод III — из рода Юрия Долгорукого. Убит в результате боярского заговора. Булгары — народ тюркской языковой группы, живший на Средней Волге и Каме. Столица — г. Булгар (ныне развалины) близ Казани.

Стр 17. Матейи (Матфей) Бутович — лицо историческое. Летописец называет его в числе «гордых бояр ростовских».

Стр 25. *...византийский император Мануил...* — Мануил I Комнин (1123?—1180) — «последний из великих государей, сидевших на престоле византийском», как говорит историк С. М. Соловьев. Мануил заставил Венгрию и Сербию признать суверенитет Византии.

Стр 29. *...нелюбимый брат Андрей...* — Имеется в виду великий князь Андрей Боголюбский.

Стр 32. *...с плоской вершины Юрьевой горы...* — Юрьева гора, как место битвы, упоминается в Новгородской летописи.

Стр 45. *...Кузьма Ратишич, доблестный муж...* — Ратишич Козма — историческое лицо. У историка В. Н. Татищева он назван воеводою и княжеским «меченошею»; упоминается его успешный поход на болгар. Один из доверенных людей великого князя Всеволода Большое Гнездо.

Стр. 57. *...на Боголюбов и дальше на Владимир...* — Город Боголюбов был основан великим князем Андреем Юрьевичем (Боголюбским) в честь иконы Богородицы Чудотворной, в ее же честь возведен на реке Клязьме храм. Копия этой знаменитой иконы, по преданию написанной евангелистом Лукой, сегодня находится в Успенском соборе Московского Кремля и называется Владимирской. Подлинник — в Третьяковской галерее.

Стр. 70. *...король венгерский тревожит...* — Речь идет о венгерском короле Беле III, захватившем Галицкое княжество из-за предательства галицкого князя Владимира и галицких вельмож и посадившего там на княжение своего сына Андрея.

Стр 75. *...в Рязань пришел сам Борис Жидиславич...* — Жидиславич Борис — историческая личность. У Н. М. Карамзина он назван главным воеводой Андрея Боголюбского. Отличался воинским талантом.

Стр. 76. *Кончак* — половецкий хан, создавший мощное объединение половецких племен. В 70—80 гг. XII в. совершил ряд опустошительных походов на южнорусские земли. В 1185 г. разбил дружину новгород-северского князя Игоря.

Стр. 119. *...долгие годы византийского не то «гощения», не то плена.* — Речь идет об историческом эпизоде, описанном Н. М. Карамзиным, когда Андрей Боголюбский для государственного спокойствия решился на несправедливое дело: он выгнал из Суздаля братьев Мстислава, Василька, Михаила, а также двух племянников и многих знатнейших бояр Долгорукого. Мстислав и Василько Юрьевичи вместе с их матерью-вдовой удалились в Константинополь, где их с честью принял император Мануил. Вместе с ними был их восьмилетний брат Всеволод, будущий великий князь Владимирский.

Стр. 120. *...убийцам брата Андрея — Кучковичам.* — То есть детям боярина Кучки, участвовавшим в заговоре и убийстве Андрея Боголюбского.

Стр. 123. *Мастеров... выписывать из земель бенедиктинского ордена, города вольных ремесленников Рейхенау.* — То есть итальянских и немецких мастеров. Бенедиктинский орден основан в VI в. Бенедиктом Нурсийским в Италии.

...велел закладывать... церковь Святого Димитрия Солунского... — Димитрий Солунский (Фессалоникийский — от г. Фессалоники в Греции) — проконсул римского императора Максимилиана (240 — 310); был поборником веры Христовой, за что и погиб, заколотый копьями римских legionеров. Причислен к лику святых. На Руси почитаем с древнейших времен.

Стр. 157. *Вот она, ваша порода Ольгова.* — Ольг — то есть Олег; имеются в виду Ольговичи — потомки древнерусского князя Олега Святославича (? — 1115), который дважды захватывал г. Чернигов, не гнушался для достижения своих целей союзом с исконными врагами Русской земли половцами.

Стр. 187. *...начался новый, 6699 год.* — Летосчисление в те времена велось от сотворения мира.

Стр. 196. *Кривская область* — земли, на которых располагалось восточнославянское племя кривичей, занимавшееся земледелием, скотоводством, ремеслами. С IX в. они как одна из составляющих древнерусской народности вошли в состав Киевской Руси. В XI—XII вв. территория кривичей — в Смоленском и Полоцком княжествах, северо-западная часть — в новгородских владениях.

Стр. 219. *...в многочисленном потомстве колен Измаиловых...* — Имеются в виду двенадцать сыновей Измаила. Первоначально они жили к востоку от Египта. Еврейский историк и военачальник Иосиф Флавий (37 — ок. 95) свидетельствует, что потомки Измаила занимали всю страну от Евфрата до Черного моря и называли ее Наватиною. Магомет, например, тоже выдавал себя за потомка Измаила, он говорил о нем как об апостоле и пророке. Многие потомки Измаила стали идолопоклонниками, часть их обратилась в иудаизм, часть приняла христианство.

...пророчество Иезекииля... — Иезекииль — древнееврейский пророк VII в. до н. э. Призывал в своих проповедях к неуклонному соблюдению иудаизма. Автор одной из книг Ветхого Завета, носящей его имя.

Гог и Магог — имя легендарного царя и его народа, которые всем внушали ужас своей кровожадностью и свирепостью. О них упоминается в книге пророка Иезекииля. Некоторые ученые предполагают, что имена эти связаны со скифским нашествием в VII в. до н. э. Встречаются эти имена в иудейской, христианской и мусульманской мифологиях.

Стр. 319. *...знал Осьмомысла давно...* — Речь идет о князе Галицком Ярославе Владимировиче (? — 1187), сыне Владимира Володарьевича. Он был участником многочисленных походов на половцев и венгров; весьма укрепил Галицкое княжество; боролся с сепаратизмом бояр. Прозван был Осьмомыслом, то есть Восемьюмудрым. Число «8» в православной символике носит позитивную окраску и означает полноту и избыток чего-либо.

Стр. 409. *...когда будет день святых Маккавеев?* — Маккавеи — священнический еврейский род — восстали против сирийского царя Антиоха Епифана, защищая веру и отечество. Иуда Маккавей во главе войска и пятеро его братьев сумели возвратить свободу отечеству и самостоятельность, восстановили богослужение по закону Божию. Впоследствии иудейский царь Ирод истребил племя Маккавеев. Память о них отмечается церковью 1 августа.

Стр. 454. *...из Греции, из Фессалоник...* — Фессалоники — город в Греции (современные Салоники), из которого происходил святой Димитрий Солунский.

Стр. 460. *...вступился за Лешка Казимировича...* — Лешко Белый, герцог польский, сын польского короля Казимира I Справедливого.

Иннокентий III (1160 или 1161 — 1216) — римский папа с 1198 г. Боролся за верховенство пап над светской властью. Заставил английского короля и некоторых других монархов признать себя его вассалами. Инициатор четвертого крестового похода и гонимый на альбигойцев, выступавших против догматов Католической церкви, церковного землевладения и десятины.

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И КНЯЖЕНИЯ ВСЕВОЛОДА III

1154 год

Родился Всеволод III Юрьевич, сын Юрия Долгорукого.

1170 год

Всеволод Юрьевич вместе с братом Михаилом, а также торками и берендеями разбили половцев.

1171 год

Май — Андрей Боголюбский отдает киевское княжение смоленскому князю Роману.

Июль — великий князь Андрей сажает на новгородский стол своего сына Георгия.

1173 год

Рюрик, Давид, Мстислав захватили в Киеве Всеволода Юрьевича, Ярополка (племянника Андрея Боголюбского), посадили в Торческе Михаила (брата Всеволода Юрьевича).

Киевский престол захватывает Рюрик.

Киевский престол — в руках у Ярослава Луцкого.

1174 год

29 июня — в своем дворце в Боголобове заговорщиками убит великий князь Андрей.

Вече во Владимире называет своим князем старшего брата Всеволода Юрьевича — Михаила.

15 июля — Ростов и Суздаль призывают Михаила на княжение. Он, таким образом, наследует великое княжение Андрея Боголюбского.

1176 год

20 июня — кончина Михаила.

Всеволод Юрьевич стал великим князем Владимирским.

27 июня — великий князь Всеволод одерживает победу на Юрьевском поле над мятежными ростовцами, виновниками междоусобия.

1177 год

Зима — Всеволод Юрьевич побеждает рязанского князя Глеба на реке Колокше.

1178 год

Воины Всеволода сожгли Торжок, взяли в плен его жителей.

8 декабря — Всеволод бессмысленно сжигает покинутые жителями дома в Волоке Ламском.

1179 год

Озлобленные безрассудной жестокостью Всеволода, новгородцы решают не иметь с ним дел и приглашают на новгородский стол смоленского князя Романа.

Ноябрь — избрание на новгородский престол князя Мстислава.

1180 год

14 июня — кончина Мстислава.

17 августа — новгородцы, к досаде Всеволода Юрьевича, призвали княжить сына черниговского князя Святослава — Владимира.

1181 год

Раздоры между Всеволодом и черниговским князем Святославом. Великое стояние и сражение между ними на берегах Влены.

1182 год

Прекращение междоусобных войн.

1183 год

Война с булгарами.

1184 год

30 июля — русские одержали большую победу над половцами на берегах Угла и Орели, а также близ Хороля — над Кончаком.

1185 год

1 мая — поражение князя Игоря Святославича в битве с половцами.

1186 — 1187 годы

Междоусобие рязанских князей нарушило мир в Восточной Руси.

1187 год

Всеволод Юрьевич огнем и мечом опустошил рязанские земли.

ок. 1188 года

«Слово о полку Игореве».

1190-е годы

Всеволод Суздальский и Святослав Киевский держали равновесие государства: Новгород, Рязань, Муром, Смоленск, некоторые области вольнские и днепровские, подвластные Рюрику, признавали Всеволода Юрьевича своим главою.

1197 год

Возведение Дмитровского собора во Владимире.

1198 — 1199 годы

Возведение и роспись церкви Спаса-Нередицы в Новгороде.

1199 год

Всеволод укрепляет свои границы, особенно его беспокоят южные владения. Он идет в новый поход на половцев: они бегут от берегов Дона к морю.

1196 — 1201 годы

Всеволод подчиняет себе Новгород.

1202 год

Смерть Игоря Святославича.

1205 год

Всеволод Юрьевич под предлогом защиты Новгорода от внешних врагов предлагает горожанам своего сына Константина.

1206 год

Константин княжит в Новгороде.

1207 год

22 сентября — Всеволод с войском вступает в область Рязанскую, так как ему донесли, что рязанские князья — изменники. Всеволод осаждает Пронск, и город сдается.

1208 год

Всеволод отправляет в область Рязанскую княжить своего сына Ярослава-Федора.

1209 год

Великий князь Всеволод сжигает непокорный Белгород рязанский.

1210 год

Великий князь завоевывает берега Пры, где еще держались Изяслав и Михаил Рязанские.

Замирается с Ольговичами ради мира и спокойствия на Руси.

1211 год

10 апреля — брак дочери Всеволода Чермного с сыном великого князя Всеволода Георгием.

Мятеж в Галиче.

Междоусобная война Игоревичей.

Поляки и венгры в городе.

1212 год

15 апреля — кончина Всеволода Великого.

СОДЕРЖАНИЕ

Всеволод-Дмитрий Юрьевич. <i>Биографическая статья</i>	5
А. Филимонов. ПО ВОЛЕ ТВОЕЙ. <i>Роман</i>	9
К о м м е н т а р и и	515
Хронологическая таблица	519